B28 213

Граф С. Ю. ВИТТЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II

ТОМ II

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД — 1924

B28 213

Граф С. Ю. ВИТТЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II

ТОМ II

2-е издание

6564/6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924

Государственное Издательство
типография
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР
Ленинград

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
870845

Гиз. № 6845. Ленинградский Гублит № 2417. Отп. 5.000 экз.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ГЛАВА XXXIV.

МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ.

стр.

Манифест 17 октября и мой всеподданнейший доклад. Составленная мною справка о манифесте 17 октября. Записка Н. И. Вуича и князя Н. Д. Оболенского. Почему государь не решился на диктатуру? Государь приглашает меня на заседание 15 октября. Почему государь настаивал на манифесте? О князе Н. Д. Оболенском. Настроение ближайшей свиты государя. О том, что государь вел одновременно два совещания: одно при моем участии, а другое при участии Горемыкина. Как был подписан манифест 17 октября. О сношениях великого князя Николая Николаевича с черносотенной партией и с рабочим Ушаковым. О характере государя. Приезд Извольского с поручением от императрицы Марии Феодоровны и моя беседа с вдовствующей императрицей. Мои беседы с государем накануне подписания манифеста. Впечатление, произведенное манифестом. О роли социалистических идей в событиях 17 октября 1

ГЛАВА XXXV.

ПЕРВЫЕ ДНИ МОЕГО ПРЕМЬЕРСТВА.

Отставка Победоносцева, Булыгина и ген. Глазова. Моя беседа с представителями прессы. Отставка великого князя Александра Михайловича, предложение поста министра народного просвещения Таганцеву и поста товарища министра Постникову. Приглашение общественных деятелей. П. Н. Дурново. 45

ГЛАВА XXXVI.

ТРЕПОВ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Отставка Трепова и назначение его дворцовым комендантом. Сенатор Гарин. Влияние Трепова на государя. О связи Трепова с департаментом полиции. О печатании погромных прокламаций в департаменте полиции. О погроме в Гомеле. О великом князе

*

СТР.

Николае Николаевиче. О просьбе великого князя Николая Николаевича не объявлять Петербурга на военном положении. О сношениях великого князя Николая Николаевича с Дубровиным. О сокращении сроков службы воинской повинности. О волнениях в войсках и тяжелом финансовом положении 62

ГЛАВА XXXVII.

ОБРАЗОВАНИЕ КАБИНЕТА. АМНИСТИЯ. ЗАКОН О ВЫБОРАХ.

О переезде моем в Зимний Дворец и о посещениях меня рабочими. О клеветническом слухе, будто бы я находился в преступных отношениях с советом рабочих депутатов. Об успокоении, наступившем после 17 октября, и демонстрации у Технологического института. О совещаниях с общественными деятелями. Почему я настаивал на кандидатуре П. Н. Дурново. О поведении Дурново в моем кабинете. О назначении графа Толстого министром народного просвещения. О товарище министра народного просвещения Герасимове. О государственном контролере Философове и министре торговли Тимирязеве. Об отставке Хилкова и назначении Немешаева. О военном министре Редигере, морском — Бирилеве. О прокуроре святейшего синода А. Д. Оболенском. О политической амнистии. О Коковцове. О выработке закона о выборах 77

ГЛАВА XXXVIII.

БЕСПОРЯДКИ И КАРАТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ.

О забастовках, предшествовавших 17-му октября. О выступлении черносотенцев. О моем товарищеском совете рабочим не устраивать забастовки. О прекращении забастовок и об аресте Носаря. О значении забастовки 1905 года. О беспорядках в армии и флоте. О крестьянских беспорядках. О положении армии на Дальнем Востоке к моменту моего вступления в управление. О карательной экспедиции в Сибирь. Об угрозах революционеров убить моего внука. О беспорядках в Прибалтийских губерниях. Об экспедиции генерала Орлова и капитан-лейтенанта Рихтера. О генерале Орлове и Анне Танеевой. О беспорядках в Царстве Польском, об объявлении Царства Польского на военном положении и протесте общественных деятелей. О московском восстании 106

ГЛАВА XXXIX.

ОТСТАВКА МАНУХИНА И ТИМИРЯЗЕВА.

О недоброжелательстве Трепова к Манухину. Недовольство Манухиным балтийских баронов. Заседание 9 ноября под председательством государя. Отставка Манухина. Кандидаты на пост министра юстиции. Акимов и Щегловитов. О Мануйлове-Манусевиче, Гапоне и Тимирязеве. Отставка Тимирязева. Предложение мною поста министра торговли академику Янжулу. 145

ГЛАВА XL.

ОТСТАВКА КУТЛЕРА. ИНТРИГИ ПРАВЫХ.

СТР.

О записке профессора Мигулина. О комиссии под председательством Кутлера. О проекте Кутлера. Государь требует отставки Кутлера. Мое письмо государю. Желание государя назначить Кривошеина министром земледелия. Я предлагаю пост министра земледелия Самарину. Кандидатура Ермолова. Интрига правых. Записка крупных землевладельцев. О записочке государя, в которой я извещался о предположении назначить Кривошеина министром земледелия, а Рухлова министром торговли. Назначение Никольского управляющим министерства земледелия и Федорова управляющим министерства торговли. Отзыв графа Потоцкого о Рухлове 156

ГЛАВА XLI.

ЗАЕМ.

О желании моем привлечь к займу Ротшильдов и полученном от них ответе. О противодействии к заключению займа со стороны кадетов. Об отношении прессы к займу. О поездке Коковцова заграницу. О приезде Нейцлина инкогнито в Петербург. О поведении Германии. О падении министерства Рувье и организации министерства Сарьена. О сомнениях Пуанкарэ в праве императорского правительства заключить заем до созыва Государственной Думы. О заключении займа. Письмо Эрнеста фон Мендельсона-Бартольди ко мне. Роль Коковцова в заключении займа 175

ГЛАВА XLII.

ФИНЛЯНДИЯ.

Об отношении к Финляндии Александра I, Александра II, Александра III и Николая II. О проекте генерала Куропаткина и женском характере государя. Моя беседа с генералом Бобриковым накануне его назначения финляндским генерал-губернатором. Генерал Куропаткин и Плеве. Совещание под председательством государя. Мое заключение по проекту Куропаткина. Обсуждение вопроса в Государственном Совете. Утверждение государем мнения меньшинства. Политика Плеве и Бобрикова в Финляндии. Убийство Бобрикова. Назначение князя И. Оболенского. Посещение меня после 17 октября статс-секретарем по финляндским делам Линденом. Назначение Герарда. О моих беседах с Мехелином по поводу статей основных законов, касающихся Финляндии. Об отставке Герарда и назначении Бекмана. О роли императрицы Марии Феодоровны в финляндском вопросе. Об императрице Александре Феодоровне 201

ГЛАВА XLIII.

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ.

О комиссии под председательством Сольского для изменения положения о Государственной Думе и Государственном Совете. О мнении члена комиссии Половцева, моем настоянии на продолжитель-

СТР.

ности сроков полномочий членов Думы и Государственного Совета и мнении князя А. Д. Оболенского о земствах. О статье 87 основных законов и о том, как Столыпин применял эту статью. Законы о государственной росписи. Об основных законах. О выработке проекта основных законов бароном Икскулем. О моем письме государю по поводу проекта. О рассмотрении проекта в совете министров. Об изменении по моему настоянию статей, касающихся прерогатив государя. Об изменениях в проекте основных законов статей, касающихся контингента новобранцев и зависимости министров от палат. О совещании под председательством государя. О моей просьбе Трепову настоятельно советовать государю не медлить с опубликованием основных законов. О причинах, вызвавших замедление опубликования, и интриге кадет 230

ГЛАВА XLIV.

ГЛАВНЕЙШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В МОЕ ПРЕМЬЕРСТВО.

О законопроекте по поводу смертных казней. Об исключительных положениях. Об основании мною газеты «Русское Государство» и Столыпиным «России». Законы о печати. Законы о собраниях. О крестьянских законах. О положении высших учебных заведений во время моего премьерства. Об еврейском вопросе и посещении меня еврейской депутацией. О беседе моей с представителями немецкого еврейства летом 1907 года. Об анархических покушениях за время моего премьерства и о том, что я не принимал никаких мер для своей охраны 246

ГЛАВА XLV.

МОЯ ОТСТАВКА.

О Николае II и его отношении ко мне после 17 октября. О разговоре моем с Треповым, великим князем Николаем Николаевичем и Бирилевым по поводу моего желания подать в отставку. О моем письме государю с просьбой об отставке. Ответ государя. Высочайший рескрипт. Мой разговор с государем о преемниках. О разговоре с государем по поводу предложения назначить меня послом и выраженном им желании заменить графа Ламсдорфа Извольским. О дальнейшей судьбе членов моего кабинета после моей отставки. Об отставке Дурново и особых милостях государя к нему. О членах кабинета Горемыкина: Коковцове, Шванебахе, Стишинском, Щегловитове и Кауфмане. О предупреждении мною государя об имеющихся документах у графа Ламсдорфа. Государь просит возвратить имеющиеся у меня документы. О назначении графа Сольского председателем и Фриша вице-председателем нового Государственного Совета. О назначении Шауфуса министром путей сообщения. О назначении князя Ширинского-Шахматова обер-прокурором святейшего синода. О назначении Столыпина министром внутренних дел и моем мнении по поводу назначения его впоследствии председателем совета министров. Об опубликовании законов до и после моего ухода с поста премьера, выработанных при моем непосредственном участии. Об упразднении комитета министров. Об отзывах государя обо мне 265

ГЛАВА XLVI.

ПЕРВАЯ ДУМА. СТОЛЫПИН.

СТР.

О первой Думе. О невмешательстве правительства в выборы в 1-ю Государственную Думу. О лозунге «Царь и народ». О высочайшем выходе к представителям Государственной Думы и Совета в Зимнем дворце 27 апреля 1905 года. О взаимоотношениях правительства и Государственной Думы первого созыва. О роспуске ее и причинах к нему. Об участии Горемыкина в деле роспуска Государственной Думы и отношениях его и Трепова между собой. О Выборгском воззвании членов Государственной Думы. Об убеждениях и политике Столыпина до и после назначения председателем совета министров. 285

ГЛАВА XLVII.

МОЯ ПОЕЗДКА ЗАГРАНИЦУ ЛЕТОМ 1906 Г.

О знакомстве с принцем Наполеоном, претендентом на французский престол. О кончине В. Л. Нарышкина. О знакомстве с проф. Мечниковым. О посещении Экслебена, Виши и Гомбурга. Об охране меня германской полицией и причине к тому. О письме барона Фредерикса с предложением не возвращаться в Россию и моем ответе на него. О покушении на Столыпина на Аптекарском острове. О получении телеграммы от князя Андроникова об опасности для меня возвратиться в Россию и о нем, как личности 297

ГЛАВА XLVIII.

МЕЖДУ I и II ДУМАМИ.

Об издании в междудумье 1-й и 2-й Государственных Дум законов и правил по 87 статье основных законов. О мероприятиях в министерстве Столыпина с целью успокоения крестьян. О мероприятиях в министерстве Столыпина с целью подавления смуты, усиление ответственности за противоправительственную пропаганду и введение военно-полевых судов. О развившемся политическом разврате в министерство Столыпина. О покровительстве Столыпиным союзу русского народа. О прибалтийских генерал-губернаторах Соллогубе и Меллер-Закомельском и о причинах бывших смут в Прибалтийском крае. О деле Гурко-Лидваль по поставке хлеба для голодающих. О деле директора департамента полиции Лопухина. О деле по привлечению к ответственности членов 1-й Государственной Думы за подписание «Выборгского воззвания». О бойкоте некоторыми дворянскими обществами подписавших Выборгское воззвание. Постановление костромского дворянского депутатского собрания о приеме их в свое общество. Адрес совета объединенных дворянских обществ 31 губернии против постановления костромского дворянства и образование совета объединенных дворянских обществ и его деятельности. Убийство градоначальника Лауница. Убийство главного военного прокурора Павлова и введение Столыпиным по инициативе Павлова военно-полевых судов. О государственных росписях 1906—1907 г.г. Об отставке морского министра Бирилева и о проекте преобразований в управлении морским министерством. О кандидатуре в морские министры адмирала Дубасова и Алексеева. О разговоре государя об этом с адмиралом Дубасовым. О назначении адмирала Дикова морским министром и его товарищем адмирала Бострема. . 312

ГЛАВА XLIX.

ПОКУШЕНИЕ НА МОЮ ЖИЗНЬ.

СТР.

О двукратном покушении на меня. О предупредительных письмах, приезде Фредерикса по поручению государя и обнаружении двух снарядов. Об исследовании снарядов в лаборатории артиллерийской академии. Об инертности властей в деле расследования и стремлении установить симуляцию покушения. О передаче мне Щегловитовым разговора с государем по поводу покушения на меня. О Казаринове и его участии в деле покушения на меня. О странном поведении агентов охраны и моей просьбе об отмене заседания Государственного Совета. О втором подготовлявшемся покушении и о предупреждении меня Шиповым о грозящей опасности. Об убийстве Казанцева и ведении этого следствия. О заявлении Камышанского по поводу ведения дела следствия убийства Казанцева и моем разговоре с министром юстиции. О данных следствия, выяснивших принадлежность Казанцева к охране и участие его в организации покушений на меня с ведома охранной полиции и при участии правых организаций. О требовании выдачи Федорова от французского правительства. Об установлении следователем, что Казанцев—агент охранной полиции и розысках его письма ко мне с требованием денег. О переписке с Столыпиным по поводу покушений на меня 332

ГЛАВА L.

ВТОРАЯ ДУМА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 3 ИЮНЯ 1907 ГОДА.

О второй Государственной Думе, ее составе и направлении. О кончине К. П. Победоносцева. Убийство Иоллоса. О кончине председателя Государственного Совета Фриша. О назначении Акимова председателем Государственного Совета. Об увольнении директора политехнического института князя Гагарина и суде над ним. О невнесении правительством, изданных по 87 ст. основных законов, законов полицейского характера на рассмотрение Государственной Думы. О раскрытии заговора и посягательстве на жизнь государя, великого князя Николая Николаевича и Столыпина. Об отклонении Государственною Думою закона об ответственности за восхваление преступных деяний в речи и печати и о разногласии ее деятельности с видами правительства. Об авторитете Столыпина, причинах к этому и характеристика его деятельности. О моем разговоре с бароном Фредериксом перед роспуском 2-й Государственной Думы. О выработке нового выборного закона перед роспуском Государственной Думы. О раскрытии замысла 55 членов социал-демократической партии Государственной Думы ниспровергнуть существующий государственный строй. 354

ГЛАВА LI.

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 3 ИЮНЯ 1907 Г. ДО УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА 1 СЕНТЯБРЯ 1911 Г.

Об отставке Шванебаха, вследствие разногласий со Столыпиным и членами его кабинета. О графе Эрентале, его близости с кабинетом Горемыкина вообще и с Шванебахом в частности. О памфлете, составленном Шванебахом по поводу введения конституции в России,

СТР.

направленном против меня, и передаче его графом Эренталем, с одобрением Горемыкина, германскому императору. Опубликование памфлета-записки и отношение ко мне германского императора после ознакомления с ним. О заключении с Японией трактата о торговле и мореплавании и рыболовной конвенции. Свидание государя с германским императором в Свинемюнде. Освещение храма Воскресения Христова в Петербурге. Об аварии императорской яхты Штандарт в финляндских шхерах и о ее командире флаг-капитане Нилове и князе Мещерском. О государственном контролере Харитонове. Об опубликовании конвенции, заключенной Россией и Англией, и двойственности положения России вследствие этого. О посещении меня в Париже — по пути из Портсмута Поклевским-Козелл и передаче приглашения английского короля Эдуарда VII посетить его и отклонении этого приглашения. О доминирующем влиянии России в Персии и невыгодности для России заключенного соглашения с Англией в отношении Персии. О вмешательстве Германии в отношения между Россией, Англией и Персией и о заключении Россией особого соглашения с Германией в отношении Персии. О доминирующем и абсолютном влиянии Англии в Афганистане. Об опубликовании положения о созыве предстоящего чрезвычайного собора русской церкви и порядка производства дел в нем. О Грингмуте и его кончине. О моем незнакомстве с организацией секретной полиции, как причине непринятия непосредственного управления министерством внутренних дел в свои руки. Незнакомство Столыпина с той же организацией, его заведывание министерством внутренних дел и дезорганизация секретной полиции в его управление. О товарище министра внутренних дел Курлове и его карьере. Эпизод с охраной меня, в бытность премьером, вследствие слухов о намерении Хрусталева-Носаря арестовать меня. Об открытии Государственной Думы, созванной по новому выборному закону 3-го июня 1907 года. О финляндских генерал-губернаторах Герарде и Зейне и о градоначальниках с.-петербургском—Драчевском и московском—Рейнботе. Об одесском градоначальнике Толмачеве. О покушении на жизнь московского генерал-губернатора Гершельмана. Об утверждении генералом Каульбарсом двух смертных приговоров над невинными. О расследовании генерал-адъютанта Пантелеева об убийстве в г. Одессе городовым офицера и его докладе о необходимости снятия в Одессе военного положения. О переименовании в г. Одессе улицы моего имени на имя императора Петра I. О кончине министра торговли Философова. О московском градоначальнике Рейнботе, ревизии сенатора Гарина, о его деятельности и суд над ним. Об отношениях между большинством 3-й Государственной Думы и Столыпиным и политическом рауте у последнего. Об отставке министра народного просвещения Кауфмана и его товарища Герасимова. О приезде в Петербург: князя Николая черногорского, румынского наследного принца и шведского короля Густава-Адольфа. Свидание их величеств с английским королем и королевою в Ревеле. Об убийстве графа А. П. Игнатьева и об его жене. Свидание государя с французским президентом Фальером в Ревеле. Об издании положения о процентной норме для приема лиц иудейского исповедания в учебные заведения. О первоначальном отношении кабинета Столыпина к еврейскому вопросу и перемене отношения к нему впоследствии. Кончина великого князя Алексея Александровича. Отставка Редигера и назначение Сухомлинова. О комиссии обороны Государственной Думы и ее членах. Упразднение совета государственной обороны. О свидании Извольского с Эренталем и о займе, заключенном Коковцовым. Об отце Иоанне Кронштадтском. Об увольнении морского министра Дикова и назначении Воеводского. О командировке Шипова на Дальний

СТР.

Восток, его кандидатуре на пост посла в Японию, о назначении министром торговли и промышленности и увольнении. О назначении Тимирязева министром торговли и промышленности в министерстве Столыпина. О его поведении в Государственном Совете до назначения министром торговли и промышленности. О раздаче нефтяных земель министерством торговли в управление Тимирязева и уходе с поста министра И. Н. Шипова по несогласию с этой раздачей. О вторичном выборе Тимирязева в Государственный Совет от промышленности и исходатайствовании им наград коммерческим деятелям. Об отставке Тимирязева. Объяснения в Государственной Думе по поводу незаконной раздачи нефтяных земель. О моих указаниях, при начале мирных переговоров с Японией, на необходимость заключения не только мира, но и союза или дружественного согласия; об отклонении моего предложения и причинах к этому. Мои возражения против необходимости постройки Амурской ж. д. О правильности взглядов Извольского на положение России на Дальнем Востоке и целесообразности заключенных им соглашений с Японией. Об увольнении Шауфуса с поста министра путей сообщения и о назначении Рухлова. Об увольнении Извольского с поста обер-прокурора и о назначении Лукьянова. О Зиновьеве и Чарыкове, послах в Турции. Об отставке Извольского с поста министра иностранных дел и назначении Сазонова. О перевороте в Турции, чрезвычайном посольстве Магомета II и сравнении Гучковым младотурок с октябристами. О свидании государя с Германским Императором в шхерах. О полтавских торжествах по случаю 200-летия полтавской битвы. О приезде в Петергоф короля и королевы датских. О поездке государя с визитом во Францию, Англию и о свидании с германским императором. О новом ограничении евреев в праве поступления в средне-учебные заведения. О поездке государя с визитом к итальянскому королю. Кончина великого князя Михаила Николаевича. О моей поездке заграницу в 1909 году. О приезде в Петербург депутации французского парламента. О приезде в С.-Петербург царя и царицы болгарских. О приезде в Петербург короля Петра сербского. О кончине английского короля Эдуарда VII. О поездке их величеств в Ригу на торжество 200-летия присоединения прибалтийского края к России. О восшествии на престол английского короля Георга V. О поездке их величеств во Фридберг, близ Наугейма. Болезнь государыни. Мое пребывание в Гомбурге и Виши. Свидание государя с германским императором в Потсдаме и ответный визит германского императора. Назначение Сазонова из управляющего — министром иностранных дер. О кончине эмира бухарского. О кончине графа Л. Н. Толстого, его воззрениях и отношении к кончине его правительства. О назначении Кассо управляющим министерством народного просвещения. 50-летие освобождения крестьян. 200-летие правительствующего сената. О законопроекте, составленном Пихно, об изменении порядка выборов в члены Государственного Совета от юго- и северо-западного края и рассмотрении его в Совете. Законопроект о введении земств в северо- и юго-западных губерниях. О встреченных законопроектом препятствиях в Государственном Совете, моих выступлениях при рассмотрении его и непринятии закона в общем собрании Государственного Совета. О заявлении Столыпина, что единственный враг, которого он боится, это — я. О подаче Столыпина в отставку и оказанной ему поддержке августейшими особами. О кондициях Столыпина к неоставлению им поста. Принятие государем кондиций Столыпина, роспуск законодательных учреждений на 3 дня, введение закона о введении земства в 9 западных губерниях и об объяснениях Столыпина в Государственной Думе и Государственном Совете по поводу введения земства. Отставка Гучкова, отпуски по болезни Дурново и Тре-

СТР.

пова и отставка Гончарова. Мнение великого князя Николая Михайловича по поводу Столыпина и поведения Государственного Совета. О заявлении Столыпина Гучкову о несочувствии присутствию в Государственном Совете Дурново, Трепова и меня. О сообщении члена министерства внутренних дел о причинах, побудивших государя не принять отставку Столыпина, и о давлении последнего на министерство юстиции в ведении дел политических. Увольнение с поста морского министра Воеводского и назначение Григоровича. Избрание председателем Государственной Думы Родзянко. Увольнение Лукьянова с поста обер-прокурора и назначение Саблера. О приезде в Петербург германского наследника с супругой, эмира бухарского и сиамского принца Чакрабона. О посещении Кронштадта эскадрой Соединенных Штатов. Кончина великой княгини Александры Иосифовны. О смотре потешных в присутствии государя. О приезде в Петербург сербского короля Петра. О заграничной моей поездке 1911 года и двух сделанных мне операциях. О восстановлении Столыпиным против себя общественного мнения всех слоев населения и предвидения мною роковой развязки. Покушение на Столыпина в Киеве и его кончина. О шумихе в связи с убийством Столыпина и поведении его супруги. О результатах управления Столыпина. О предупреждении государем Столыпина о намерении своем дать ему другой пост. Об обвинении полиции в убийстве по ее вине Столыпина. Об отношении А. И. Гучкова и партии 17 октября к смерти Столыпина и моей полемике с Гучковым по поводу его речи в собрании партии 17 октября 364

ГЛАВА LII.

КОКОВЦОВ — ПРЕМЬЕР-МИНИСТР.

О Г. П. Сазонове. О моем с ним знакомстве и издании им газеты «России». О близости Сазонова с союзом русского народа, архиепископом Гермогеном, иеромонахом Иллиодором и Распутиным. О журнале Сазонова «Экономист» и разрешении ему министерством финансов образования банка. О письме Сазонова ко мне с сообщением о кандидатуре в министры внутренних дел Хвостова и намеками на мое возвращение в председатели совета министров. О назначении Коковцова председателем совета министров и Макарова министром внутренних дел. О назначении Крыжановского государственным секретарем. О назначении сенатора Трусевича ревизующим киевское охранное отделение, в связи с покушением на Столыпина. О политическом направлении Коковцова по занятии поста председателя совета министров и ожиданиях общества 454

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Князь В. П. Мещерский 465

Моя полемика в газетах с А. И. Гучковым 483

Именной указатель 539

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Манифест 17 октября.

* 17 октября последовал манифест «об усовершенствовании государственного порядка». Манифест этот, который, какова бы ни была его участь, составит эру в истории России, провозгласил следующее: «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжелою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным и печаль народная его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы всероссийской. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев надлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы, для успешнейшего выполнения общих предназначаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 1) Даровать населению н е з ы б л е м ы е о с н о в ы г р а ж д а н с к о й с в о б о д ы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку (т.-е., согласно закону 6 августа 1905 г., Дума и Государственный Совет). 3) Уста-

новить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед родиной, помочь прекращению неслыханной смуты и вместе с нами напречь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».

Одновременно с этим манифестом был опубликован доклад мой, как председателя комитета министров, которому, т.-е. мне, государь император несколько дней ранее повелел принять меры к объединению деятельности министров впредь до утверждения законопроекта о совете министров. Законопроект этот под заглавием «о мерах к укреплению единства деятельности министров и главных управлений» был опубликован лишь 19 октября и в тот же день я был назначен председателем вновь созданного совета министров. Законом этим в сущности создавался кабинет министров, председателем коего является премьер-министр с правом влияния на всех министров, за исключением министров: военного, морского и, в некоторой степени, министра внутренних дел.

Доклад этот с высочайшею надписью «принять к руководству», последовавшею того же 17 октября, заключался в следующем: «Волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо, как следствие частичных несовершенств государственного и социального устроения или только как результат организованных крайних партий.

Корни того волнения залегают глубже. Они в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы.

В уровень с одушевляющею благоразумное большинство общества идеею и следует поставить внешние формы русской жизни.

Первую задачу для правительства должно составлять стремление к осуществлению теперь же, впредь до законодательной санкции через Государственную Думу, основных элементов правового строя: свободы печати, совести, собраний, союзов и личной неприкосновенности. Укрепление этих важнейших основ политической жизни общества должно последовать п у т е м н о р м а л ь н о й з а к о н о д а т е л ь н о й р а з р а б о т к и, наравне с вопросами, касающимися уравнения перед законом всех русских подданных независимо от вероисповедания и национальности. Само собой разумеется, предоставление населению прав гражданской свободы должно сопровождаться законным ее

ограничением для твердого ограждения прав третьих лиц, спокойствия и безопасности государства.

Следующею задачею для правительства является установление таких учреждений и законодательных норм, которые соответствовали бы выяснившейся политической идее большинства русского общества и давали бы положительную гарантию в неотъемлемости дарованных благ гражданской свободы.

Задача эта сводится к устроению правового порядка.

Соответственно целям водворения в государстве спокойствия и безопасности, экономическая политика правительства должна быть направлена ко благу народных широких масс, разумеется, с ограждением имущественных и гражданских прав, признаваемых во всех культурных странах.

Намечаемые здесь основания правительственной деятельности для полного осуществления своего потребуют значительной законодательной работы и последовательного административного устройства.

Между постановкою принципа и претворением его в законодательные нормы, а в особенности, проведением этих норм в нравы общества и приемы правительственных агентов, не может не пройти некоторое время.

Начала правового порядка воплощаются лишь посколько население получает к ним привычку—гражданский навык. Сразу подготовить страну со 135-миллионным разнородным населением и обширнейшею администрациею, воспитанными на иных началах, к восприятию и усвоению норм правового порядка, не под силу никакому правительству. Вот почему правительству далеко недостаточно выступить с одним только лозунгом гражданской свободы. Чтобы водворить в стране порядок, нужны труд и неослабевающая последовательность. Для осуществления этого, необходимыми условиями являются однородность состава правительства и единство преследуемых им целей. Но и министерство, составленное, по возможности, из лиц одинаковых политических убеждений, должно будет приложить неимоверные старания, дабы одушевляющая его работу идея сделалась идеею всех агентов власти, от высших до низших.

Заботою правительства должно являться практическое водворение в жизнь главных стимулов гражданской свободы. Положение дела требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ее намерений. С этой целью правительство должно себе поставить непоколебимым принципом полное невмешательство в выборы в Государственную Думу и искреннее стремление к осуществлению мер, предрешенных указом 12 декабря.

В отношении к будущей Государственной Думе заботою правительства должно быть поддержание ее престижа, доверие

к ее работам и обеспечение подобающего сему учреждению значения.

Правительство не должно являться элементом противодействия решениям Думы, поскольку решения эти не будут коренным образом расходиться с величием России, достигнутым тысячелетней ее историей. Правительство должно следовать мысли, высказанной в Высочайшем манифесте об образовании Государственной Думы, что положение о Думе подлежит дальнейшему развитию в зависимости от выяснившихся несовершенств и запросов времени.

Правительству надлежит выяснить и установить эти запросы, формулировать гарантию гражданского правопорядка, руководствуясь, конечно, господствующею в большинстве общества идеею, а не отголосками, хотя бы и резко выраженных требований отдельных кружков, удовлетворение коих невозможно уже потому, что они постоянно меняются. Но удовлетворение желаний широких слоев общества путем той или иной формулировки гражданского правопорядка необходимо.

Весьма важно преобразовать Государственный Совет на началах видного участия в нем выборных элементов, ибо только при этом условии возможно установить нормальные отношения между этим учреждением и Государственной Думой.

Не перечисляя дальнейших мероприятий, которые должны находиться в зависимости от обстоятельств, я полагаю, что деятельность власти во всех ступенях должна быть охвачена следующими руководящими принципами.

1) Прямота и искренность в утверждении на всех поприщах даруемых населению благ гражданской свободы и установление гарантий сей свободы.

2) Стремление к устранению исключительных законоположений.

3) Согласование действий всех органов правительства.

4) Устранение репрессивных мер против действий, явно не угрожающих обществу и государству, и

5) Противодействие действиям, явно угрожающим обществу и государству, опираясь на закон и в духовном единении с благоразумным большинством общества.

Само собой разумеется, осуществление поставленных выше задач возможно лишь при широком и деятельном содействии общества и при соответствующем спокойствии, которое бы позволило направить силы к плодотворной работе.

Следует верить в политический такт русского общества, так как немыслимо, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства».

Оба вышеизложенные акта появились одновременно и были опубликованы рядом. Удивительно, что ни тогда, ни до настоя-

щего времени не возник вопрос, почему именно явились два акта, которые в конечных своих тенденциях однородны, которые проникнуты одним и тем же духом, но которые практически и по объему содержания далеко не одинаковы и мало между собой согласованы. Почему не появился один акт, который содержал бы те же идеи, но совершенно согласованные. Ответом на этот вопрос послужит нижеприведенная записка под заглавием «Справка об манифесте 17 октября 1905 г.». История этой справки такова:

Когда я был вынужден в апреле 1906 г. оставить пост председателя совета министров и затем в июле уехать заграницу, то до меня доходили слухи, что в дворцовых сферах говорят, что я вырвал у его величества манифест 17 октября, что я вынудил его дать этот акт. Эти слухи находились в соответствии с очевидным паролем, данным черносотенной прессе («Русское Знамя» Дубровина, «Московские Ведомости» Грингмута и пр.) ежедневно уверять, что я изменник, массон, подкуплен жидами и проч. Известно, что пресса эта питается, главным образом, из дворцовых сфер и, между прочим, из благ императрицы Александры Феодоровны. В сущности говоря, из казны, так как первоначальный источник всех почти этих средств—казна, т.-е. достояние преимущественно малосостоятельных классов. Затем, мне сделалось известным, что и императрица Александра Феодоровна считает возможным высказать, что манифест 17 октября я вырвал у ее августейшего супруга и что августейший супруг сам этого не изволит высказывать, но своим молчанием это в известной степени подтверждает, а так как государь одновременно во всех проявлениях начал ко мне относиться так, как будто я совершил в отношении государя какой-либо некорректный поступок, то этим самым его величество еще в большей степени как бы подтверждал болтовню своей свиты и неосторожные фразы императрицы. Я употребляю слово «неосторожные», не считая возможным для себя употреблять более правильное определение. Люди, которые не понимают, что распространение, при чем заведомое, слухов, что неограниченный самодержец подписывает самой величайшей важности акты, потому что у него их вырывают, начинает ужасные и позорные войны, потому что его уверяют, что мы «разнесем макак», самолично ребячески распоряжается военными действиями, потому что его уверяют, что он превосходный военный и моряк,—очевидно, хотя и желая оградить монарха, наносят самый ужасный удар его неограниченной самодержавности. Люди эти очень не умные и притом подлые, хотя и титулованы. Изложенные обстоятельства вынудили меня в начале января 1907 г. составить краткую «Справку о манифесте 17 октября 1905 г.». Справку эту я предварительно дал прочесть управляющему во время моего премьерства делами совета министров, ныне сенатору,

Вуичу, который был в курсе событий, и просил сказать, нет ли какой-нибудь неточности, хотя она была составлена в согласовании с краткими воспоминаниями Вуича по поводу этих событий, находящимися в моем архиве. Вуич подтвердил точность этой справки. Затем, я послал ее к военному министру Редигеру, единственному из нынешних министров, бывшему министром и в моем кабинете. Он сделал одно редакционное изменение, которое мною и было принято (его письмо по этому предмету находится также в моем архиве). Затем, эту справку я послал 30 января 1907 г. при письме министру двора барону В. Б. Фредериксу, как лицу, посвященному во многие перипетии того времени, на случай, если ему угодно будет указать мне какие-либо неточности, которые невольно могли вкрасться в эту справку, объясняя, что я не счел со своей стороны уместным представить эту справку государю императору только потому, что не находил возможным беспокоить его величество. В заключение в письме говорится: «Не откажите вернуть мне прилагаемую справку с вашими замечаниями».

Через несколько дней после отсылки этого письма, я виделся с директором канцелярии министра двора генералом Мосоловым, который мне сказал, что присланная мною справка найдена совершенно правильною, и что он готовит в этом смысле ответ. Затем, прошло еще несколько дней и генерал Мосолов мне передал, что он вручил проект ответного письма министру двора и посоветовал ранее, чем ответить, показать справку его величеству, и что министр так и поступит. Прошло более двух недель, и справка не возвращалась от государя. Управляющий кабинетом его величества генерал князь Оболенский мне сказал, что его величество, продержав эту справку две недели, возвратил ее министру и сказал, что справка составлена верно. Тем не менее, министр продолжал молчать и только 25 марта при свидании со мною на мой вопрос о том, когда он ответит мне по поводу справки, сказал, что присланную справку «находит составленной совершенно правильно», что в ней пропущено лишь то, что будто бы, когда он был у меня 16 октября вечером, то он между прочим сказал, что Трепов находит, что лучше сделать какое-то изменение в манифесте. Я этого не помню. Князь Оболенский, который все время присутствовал при нашем разговоре, также этого не помнит, но это и не имеет никакого значения. Затем, барон Фредерикс уклонился дать письменный ответ [1]).

[1]) Вариант:

*Вынужден я был составить эту справку по следующему поводу. По понятным причинам я не считал корректным кому бы то ни было рассказывать, как произошло 17 октября. Так прошло более года, но двор-

Справка эта такова:

СПРАВКА О МАНИФЕСТЕ 17 ОКТЯБРЯ 1905 г.

«В видах вспыхнувшей в сентябре и начале октября 1905 г., после продолжавшегося уже несколько лет сильного брожения и политических убийств, резкой смуты во всех частях России, в особенности в Петербурге и некоторых больших городах, 6 октября 1905 г. председатель комитета министров граф Витте всеподданнейше испрашивал, не угодно ли будет его величеству принять его и выслушать соображения о современном крайне тревожном положении. Это он сделал по настоятельнейшей просьбе председателя Государственного Совета графа Сольского.

8 октября его величество соизволил написать графу Витте, что он сам имел в виду его вызвать, чтобы переговорить о настоящем положении вещей, и повелел прибыть на другой день 9 октября к 6-ти часам вечера.

9 октября председатель комитета имел счастье явиться к его величеству и представить наскоро составленную всеподданнейшую записку, в которой он излагал свой взгляд на положение дела. Вместе с тем он всеподданнейше доложил его величеству, что, по его мнению, может быть два выхода: или стать на путь, указываемый в записке, в то время словесно им доложенной, или облечь соответствующее лицо (диктатора) полновластием, дабы с непоколебимой энергией путем силы подавить смуту во всех ее проявлениях. Для этой задачи нужно выбрать человека решительного и военного. Первый путь представлялся бы более соответственным, но очень может быть, что такое мнение ошибочно, а потому было бы желательно обсудить этот вопрос в совещании с другими государственными деятелями и с лицами цар-

---

цовая камарилья в это время усиленно распространяла, что я вырвал у государя 17-е октября. Делали они это для того, чтобы натравлять против меня хулиганов союза русского народа. Они и достигли своей цели, так как в сущности союз русского народа вместе с агентами правительства вложил ко мне в дом адские машины и от них шли приготовленные мне Казанцевым бомбы.

В эти разы, как и во многих других случаях, когда я подвергался страшнейшей опасности, бог меня спас. Наконец, до меня начали доходить слухи, что императрица Александра Феодоровна также изволит высказываться, что я вырвал манифест 17 октября. Вследствие сего я составил записку, которую министр двора передал государю. Государь держал ее у себя дней 15 и затем сказал барону Фредериксу: «записка составлена графом Витте правильно, но не пишите ничего ему об этом, а скажите ему на словах, что факты, изложенные в записке, изложены верно».

В тот же день когда ему это сказал государь, барон Фредерикс передал это князю Н. Д. Оболенскому, а последний мне. Как это вам нравится в устах самодержавного императора?.. Подумаешь, и это сын благороднейшего и правдивейшего венценосца Александра III...*.

*

ской семьи, коих дело это существенно может коснуться. Его величество, милостиво выслушав графа Витте, не соизволил высказать своего высочайшего мнения.

По возвращении из Петергофа граф Витте пересмотрел совместно с временно управляющим в то время делами комитета министров Н. И. Вуичем переданную им его величеству наскоро составленную записку, сделал в ней некоторые исправления и добавил в конце, что может быть есть другой исход—итти против течения, но в таком случае это надо сделать решительно и систематически, что он сомневается в успехе такого исхода, но, может быть, он ошибается; во всяком случае за выполнение того или другого плана может взяться только человек, который в него верит.

На другой день, 10 октября, в час дня граф Витте вновь имел счастье явиться к его величеству и, в присутствии государыни императрицы Александры Феодоровны, подробно изложил все свои соображения, объясняющие записку в новой ее редакции, при чем словесно доложил еще раз о другом возможном выходе, о котором докладывал государю 9 октября. Их величества не изволили высказать своего мнения, но его императорское величество соизволил заметить, что, может быть, было бы лучше основание записки опубликовать манифестом.

В течение 12 и 13 октября граф Витте не имел никаких сведений из Петергофа. Приблизительно в это время в одном из заседаний у графа Сольского, между прочим, шла речь о крайне опасном положении дела вследствие брожения, переходящего в восстание, при чем генерал-адъютант Чихачев и граф Пален высказывали решительное мнение, что нужно прежде всего подавить всякое проявление смуты силою оружия. Граф Витте не преминул сообщить об этом всеподданнейшей запиской его величеству, при чем ходатайствовал выслушать сановников, высказывающих таковое убеждение. Графа Витте затем генерал-адъютант Чихачев спрашивал, не по его ли инициативе государю императору благоугодно было его вызывать, на что он ответил, что этого не знает, но что действительно счел своим долгом доложить государю о сложившемся у некоторых сановников определенном взгляде, как нужно при данных обстоятельствах поступить, и что, по его мнению, было бы весьма полезно, если бы его величеству благоугодно было их выслушать.

Графу Витте говорили, что 11 и 12 октября его программа подверглась обсуждению. 13-го граф Витте получил от его величества следующую телеграмму: «Впредь до утверждения закона о кабинете поручаю вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью восстановить порядок повсеместно. Только при спокойном течении государственной жизни возможна

совместная созидательная работа правительства с имеющими быть свободно выбранными представителями народа моего».

Вследствие этой телеграммы граф Витте 14 числа утром снова ездил в Петергоф и всеподданнейше доложил, что одним объединением министров, смотрящих в разные стороны, смуту успокоить нельзя, и что, по его убеждению, обстоятельства требуют принятия решительных мер в том или другом направлении. При этом, вследствие сделанного его величеством замечания, что было бы целесообразнее изложить основания записки в манифесте, граф Витте представил его величеству краткий всеподданнейший доклад, резюмирующий записку, в начале коего указано, что доклад этот составлен по приказанию и указаниям его величества, и который, в случае если его величество соизволит его одобрить, подлежал бы высочайшему утверждению; что же касается манифеста, то граф Витте докладывал, что манифест, который оглашается во всех церквах, есть такой акт, в котором неудобно входить в надлежащие подробности; с другой же стороны, опубликование высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада будет только выражать принятие государем изложенной в докладе программы, что будет гораздо осторожнее, ибо в таком случае предложенные им меры лягут на его, графа Витте, ответственность и не свяжут его величество.

В это время забастовка фабричных рабочих в Петербурге и во многих городах, а равно служащих значительной части железных дорог и других учреждений была уже в полной силе, так что Петербург оставался без освещения многих торговых заведений, движения конок, телефонов и железнодорожного сообщения. Такое положение дела, в виду вышеприведенной телеграммы государя императора, понудило графа Витте собрать у себя совещание некоторых министров, в том числе военного, генерала Редигера, товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора, Трепова, министра путей сообщения, князя Хилкова, чтобы обсудить, какие меры можно принять для восстановления железнодорожного сообщения Петербурга, хотя с ближайшими окружными пунктами. На этом совещании военный министр и генерал Трепов, которому был подчинен петербургский гарнизон, заявили, что в Петербурге достаточно войск для того, чтобы подавить вооруженное восстание, если таковое проявится в Петербурге и в ближайших резиденциях государя, но что в Петербурге нет соответствующих частей, которые могли бы восстановить движение хотя бы от Петербурга до Петергофа. Вообще военный министр заявил, что в действующую армию командировано не только значительное число войсковых единиц, но много офицеров и нижних чинов из состава частей, оставшихся в Европейской России; эти части

были в свое время пополнены чинами запаса, но среди последних началось всеобщее брожение вследствие задержания их на службе после заключения мира. Это обстоятельство, в связи с продолжительным привлечением войск к несению полицейской службы, в значительной степени расстроило войска, оставшиеся внутри Империи.

14-го к вечеру графу Витте было дано знать по телефону из Петергофа князем Орловым, чтобы он явился на совещание к его величеству 15 октября, к 11-ти часам утра, при чем ему было предложено привезти с собою проект манифеста, так как необходимо, «чтобы все исходило лично от государя, и нужно вывести намеченные в его докладе меры из области обещаний в область государем даруемых фактов».

Хотя граф Витте считал более осторожным ограничиться высочайшим утверждением его всеподданнейшего доклада и надеялся, что, может быть, манифеста и не потребуется, но все же, чувствуя себя в тот вечер нездоровым, просил находившегося у него в это время члена Государственного Совета князя А. Д. Оболенского к утру набросать проект манифеста.

15-го октября утром граф Витте снова отправился в Петергоф, причем просил князя Оболенского и управляющего делами комитета министров поехать с ним. На том же пароходе ехал и министр двора барон Фредерикс. Князь Оболенский прочел в присутствии всех этих лиц набросок им составленного проекта манифеста; граф Витте сделал некоторые замечания, и так как в то время подошли в Петергофу, то он просил князя Оболенского и Вуича попытаться, на основании бывших на пароходе разговоров по поводу наброска князя Оболенского, составить более или менее окончательную редакцию манифеста, а сам вместе с бароном Фредериксом отправился во дворец. Там он застал великого князя Николая Николаевича и генерал-адъютанта Рихтера. В 11 часов его величество принял этих четырех лиц. Его величество повелел графу Витте прочесть, ранее упомянутый, его всеподданнейший доклад. Затем граф Витте доложил, что, по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода,—или диктатура, или конституция,—на путь которой его величество в сущности уже вступил манифестом 6 августа и сопровождавшими его законами. Его доклад, или программа высказывается за второй путь, который в случае его утверждения должен повести к мероприятиям, подлежащим проведению в законодательном порядке и расширяющим закон 6 августа, приводя Россию к конституционному устройству. Во время чтения доклада, с разрешения государя императора, великий князь Николай Николаевич задавал графу Витте целый ряд вопросов, на которые граф Витте давал подробные разъяснения, при чем доложил, что он не рассчитывает, чтобы после жесточайшей

войны и столь сильной смуты могло быстро наступить успокоение, но что второй путь, казалось бы, приведет скорее к такому результату.

По окончании доклада его величеству угодно было спросить графа Витте, изготовил ли он манифест. Граф Витте доложил, что предварительный проект манифеста был изготовлен, что он с ним ознакомился во время переезда в Петергоф, ныне же исправляется, но что по его мнению было бы удобнее ограничиться утверждением прочитанного им всеподданнейшего доклада. Его величество соизволил в 1 час дня отпустить присутствующих и повелел собраться к 3-м часам, а графу Витте привезти проект манифеста.

В 3 часа заседание возобновилось. Продолжался обмен мыслей по поводу доклада, затем граф Витте прочел проект манифеста. Присутствовавшие не сделали никаких возражений. Затем государю императору благоугодно было отпустить присутствующих.

16 октября к вечеру барон Фредерикс дал знать графу Витте, что он к нему приедет переговорить по поводу манифеста. После полуночи барон Фредерикс приехал вместе с директором канцелярии генералом Мосоловым и передал графу Витте, что его величество независимо от тех лиц, которые присутствовали вчера на заседании, советовался также с другими лицами и что члены Государственного Совета Горемыкин и Будберг составили два проекта манифеста, с которыми его величество поручил его ознакомить. Граф Витте прежде всего спросил, известно ли обо всем происходящем генералу Трепову, который ныне держит в своих руках всю полицию империи, на котором лежит ответственность за внешний порядок в стране; всякая крупная мера, если он, генерал Трепов, заранее в нее не будет посвящен, может иметь последствием неблагоприятные явления. Барон Фредерикс ответил, что он потому и опоздал, что был у генерала Трепова, который во все это дело посвящен. Затем барон Фредерикс дал графу Витте прочесть новые проекты [1]). Граф Витте заметил, что проект, на который было обращено его внимание, как наиболее подходящий, не может быть им принят по двум причинам:

Во-первых, потому, что он в отличие от проекта, им переданного, прямо провозглашает, что его величество со дня опубликования манифеста дарует все свободы, тогда как в его проекте его величество лишь повелевает правительству выполнить непременную его волю даровать эти свободы, что предполагает еще последующую работу правительства; во-вторых, что в манифесте пропущены другие существенные меры, которые значатся

[1]) Проекты затем были взяты бароном Фредериксом и более не удалось их достать.

в его проекте всеподданнейшего доклада, и что объявление манифеста, не согласного с одновременно опубликованным докладом, породит сразу сомнения в силе и крепости тех начал, которые в этом докладе изложены.

По этим причинам он просил барона Фредерикса доложить его величеству, что, по его мнению, издавать манифест, как он это уже несколько раз имел честь докладывать его величеству, не нужно, что достаточно и более осторожно обнародовать лишь его высочайше утвержденный всеподданнейший доклад. На это барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что реформа, предположенная всеподданнейшим докладом, должна быть возвещена народу манифестом, решен бесповоротно. Выслушав это сообщение, граф Витте просил доложить его величеству, что нужно поручить место председателя совета тому лицу, которого программа будет принята, что он чувствует, что в этом деле у его величества существует некоторое сомнение в правильности его взглядов, что при таком положении вещей было бы целесообразнее оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения действия министров, в случае окончательного отклонения предположения о назначении диктатора, для успокоения смуты силою, избрать другое лицо, программа которого была бы признана более целесоответственной.

Если прочитанные им проекты манифестов признаются целесоответственными, то, по его мнению, одного из авторов их и следовало бы назначить председателем совета. В заключение граф Витте также просил доложить его величеству, о чем он имел счастье и ранее докладывать государю, что если его деятельность нужна, то он готов послужить общему делу, но на второстепенном посту, хотя бы губернатора какой бы то ни было губернии.

На другой день, 17 октября, граф Витте снова был вызван в Петергоф, и, приехав туда, он отправился прямо к барону Фредериксу. Барон передал графу Витте, что решено принять его проект манифеста и утвердить всеподданнейший доклад им представленный, что великий князь Николай Николаевич категорически поддерживает такое решение и докладывал о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к военной диктатуре.

В 6-м часу граф Витте и барон Фредерикс приехали во дворец, при чем барон Фредерикс привез с собою, переписанный в его канцелярии, манифест. Во дворце был великий князь Николай Николаевич. Его величеству благоугодно было в их присутствии подписать манифест и утвердить всеподданнейший доклад графа Витте. Оба эти документа в тот же день были обнародованы с ведома генерала Трепова».

После того, как я передал приведенную выше справку барону Фредериксу, я ее показал человеку, к которому питаю глубокое уважение, графу Палену, министру юстиции при импера-

торе Александре II, до процесса Веры Засулич. Граф Пален просил разрешения моего показать ее и генерал-адъютанту Рихтеру. Через несколько дней генерал-адъютант Рихтер вернул ее мне при записке, в которой не выразил никакого мнения.

На другой день я его встретил в Государственном Совете и спросил, не нашел ли он в справке какой-либо неточности, на что он мне ответил, что справка составлена совершенно точно. Я дал тогда же эту справку для прочтения великому князю Владимиру Александровичу. Великий князь мне ее вернул через несколько дней и тогда же передал графу И. И. Толстому, который у него совершенно домашний человек, следующее (письмо его находится в моем архиве): «На следующий день по получении вашей записки великий князь обедал в клубе, где были Фредерикс и Мосолов. Так как о них упоминается в вашей справке, то он позвал Мосолова в отдельную комнату, объяснил ему, что получил от вас записку, и спросил его, что он знает о ней. На это Мосолов ему ответил, что записку вы через барона Фредерикса послали государю, от которого желали получить подтверждение изложенного, но что государь не соизволил на сие и что Фредерикс только словесно подтвердил ее правильность в общем».

Ранее составления этой справки по поводу событий с начала октября до 17-го 1905 г. мне передали свои воспоминания по событиям этого времени два лица, заслуживающие полного доверия и близко стоящие к сказанным событиям; это управляющий делами совета министров Н. И. Вуич, ныне сенатор, женатый на единственной дочери В. К. Плеве, и потому человек, бывший ему близким, и князь Н. Д. Оболенский, генерал свиты его величества, управлявший в то время и ныне управляющий кабинетом его величества, в сущности товарищ министра двора. Князь Оболенский был самый близкий человек к императору, был любимый из молодых флигель-адъютантов отца его, императора Александра III, он совершил путешествие на Дальний Восток с императором Николаем II, в бытность его наследником. Князь Н. Д. Оболенский пользовался большим вниманием императрицы Александры Феодоровны, так как, когда она приезжала в Петербург в качестве Alix Дармштадтской на смотрины и была забракована, как невеста наследника, то единственный кавалер, который по сему случаю от нее не отвернулся, а, напротив, удвоил к ней внимание, был князь Николай Дмитриевич Оболенский. Будучи близко знаком со мною и зная все, что делается при дворе, т.-е. в дворцовых лакейских (для высокопоставленных придворных лакеев, титулованных и мундирных), он, конечно, знал все, что происходило в это время вокруг государя. С этой точки зрения, его краткие воспоминания имеют цену. Сказанные воспоминания при сем прилагаю.

ЗАПИСКА Н. И. ВУИЧА.

21 сентября уехал на Кавказ управляющий делами комитета министров барон Нольде, вследствие чего во временное исправление должности его вступил помощник управляющего Вуич, на обязанность которого упадал поэтому и доклад всех комитетских дел председателю комитета, графу С. Ю. Витте. Граф был все время чрезвычайно озабочен и несколько раз в разговоре возвращался к тому, насколько плохо внутреннее наше положение, и что представляется неизбежным или ввести повсюду военное положение, или даровать настоящую конституцию. При этом С. Ю. Витте высказывал, что принятие каких-нибудь разрозненных мер не даст благоприятных результатов, в частности же репрессии против печати бесполезны, так как немедленно усилится подпольная пресса.

6 октября председатель поручил составить всеподданнейший доклад в том смысле, чтобы впредь, до рассмотрения совещанием графа Сольского проекта о преобразовании комитета министров, установлены были временные полномочия председателя комитета по объединению деятельности министров, при чем С. Ю. просил с составлением этого доклада поторопиться. На другой день председатель занимался подробным рассмотрением представленного ему проекта, 8-го же октября, вечером, передал для прочтения и для распоряжений о переписке к следующему утру— обширную записку, заключающую в себе разъяснение его взгляда на способы успокоения страны, с выводом о необходимости перехода к конституционному образу правления. На следующий день утром записка, переписанная, была представлена председателю. В происшедшем при этом разговоре, на замечание помощника управляющего, с какою быстротою события привели к предположению о введении конституции, С. Ю. с горячностью заметил, что за последнее время последовали Мукден, Цусима; что закрыто было сельско-хозяйственное совещание, к которому имели отношение либеральные элементы, теперь ищущие иного выхода; что он пришел к убеждению о совершенной неотвратимости предлагаемого им средства. Затем председателем дано было поручение составить краткий по этой записке всеподданнейший доклад, который мог бы быть, в случае надобности, напечатан. В течение 9 октября записка была председателем несколько изменена [1]) во вступительной части включением указания, что доклад составлен по приказанию и указаниям его величества. Вместе с тем, в конце записки было добавлено, что, может быть,

---

[1]) В этот же день она была вновь переписана и в 2-х экземплярах представлена председателю.

есть и другой исход—итти против течения, но это надо сделать решительно и систематически; С. Ю. сомневается в успехе этого, но он может и ошибаться; во всяком случае, за выполнение всякого плана может взяться только человек, который в него верит. 10 октября председатель ездил к государю и, вероятно, тогда же оставил его величеству свою записку.

После того занимались уже только кратким всеподданнейшим докладом, он еще переделывался и 13 октября, вечером, окончательно был прочитан председателем. С. Ю. сказал, что едет на другой день к государю, и пригласил Вуича его сопровождать на пароходе. 14 октября погода была немного скверная, снег с дождем, и пароход изрядно качало. Дорогою перечитывали еще раз доклад, и С. Ю. говорил, что он не может принять должность председателя совета, если доклад этот не будет утвержден.

Говорили также о постыдности положения, при котором верноподданные должны добираться к своему государю чуть ли не вплавь. С. Ю. поехал с пристани прямо во дворец, где оставался до часу, затем приехал завтракать в приготовленное помещение и говорил, что мог настоять на немедленном утверждении доклада, но не захотел вырвать согласие, и потому ему предложили еще раз вернуться во дворец.

Со второй аудиенции С. Ю. возвратился на пароход после пяти часов, так что назад ехали в темноте. Положение оставалось то же самое, и решение отложено до завтра. 15 октября опять поехали около 9-ти часов утра. На пароходе был барон Фредерикс и князь Алексей Оболенский; оказалось, что князь привез с собой проект манифеста, о котором до того от председателя ничего слышать не приходилось.

Стали читать проект. Вступление весьма красноречивое, но председатель говорит: «да это не существенно, а вот что у вас вышло в пунктах?» Первый пункт оказался о свободах. Предполагалось сказать вроде того, что на правительство возлагается обязанность немедленно выработать и в определенный срок представить государю проекты законов о свободе собраний и проч.

Далее следовал пункт о расширении выборных прав, а затем говорилось о рабочих. От последнего пункта князь тут же немедленно, в виду замечания председателя, отказался.

Стали затем пробовать сгладить редакцию первых, и в то же время у одного из присутствующих явилась мысль, нельзя ли связать эти меры с указом 12 декабря 1904 г., как продолжением этого указа. Из попытки этой ничего в ту минуту не вышло, а так как в это время подходили уже к пристани, то решили пока только установить в общих чертах содержание пунктов манифеста, наметили три таких пункта (два, предложенных князем А. Д., и третий о полномочиях Государственной Думы), и все это вкратце было отмечено на особом листе.

При этом С. Ю. сказал, что можно писать и коротко, так как все это разъяснено во всеподданнейшем докладе. Все разговоры и предположения никаких особых возражений со стороны присутствовавших не вызывали. Затем было решено, что, пока С. Ю. будет во дворце, бывшие с ним лица попробуют составить окончательный проект манифеста. К возвращению С. Ю. из дворца в приготовленное для него помещение проект был уже составлен. При этом первоначальный проект князя А. Д. остался как-то в стороне, а руководились при составлении нового проекта заметками, сделанными на пароходе. С. Ю. приехал из дворца около часу, говоря, что дело еще окончательно не решено, но что можно и подождать день или два. Князь А. Д. взволнованно доказывал нежелательность этого, в чем был поддержан и другим слушателем.

Затем проект был прочитан Сергею Юльевичу. Первый пункт о свободах казался составленным ясно в том смысле, что государь решил даровать свободы, а введение их составит ближайшую задачу правительства. Эта часть проекта при чтении ни с чьей стороны никаких замечаний не вызвала, а затем подробно говорили о двух последующих пунктах, при чем князь Оболенский высказался против дальнейших изменений приготовленного проекта, так как это вызывало бы только излишнее промедление. Тем не менее, долго говорили об этих пунктах. Обсуждалось, расширить ли выборы только по отношению рабочих или также и других частей населения, не получивших избирательных прав. С. Ю. решил, соглашаясь с князем Оболенским, поставить вопрос шире; при этом слова о неприостановлении выборов вызывали у него сомнение, так как, может быть, нельзя будет обойтись без приостановки при переделке закона, но окончательно согласился их оставить, так как, по существу дела, откладывать выборы не представлялось желательным.

По пункту о законодательной власти Думы останавливались на том, не слишком ли решительны выражения этого пункта, но затем признали, что они соответствуют смыслу всеподданнейшего доклада. Поехал С. Ю. вторично во дворец к 3 часам и, возвратившись затем, на пароходе, после 5 час., говорил, что во дворце происходило совещание с участием великого князя Николая Николаевича, барона Фредерикса и генерала Рихтера.

Великий князь сначала говорил за строгие меры, но потом присоединился решительно к мыслям С. Ю. так же, как и Рихтер. Его величество окончательно сказал: «Если я соглашусь, то дам знать вам вечером». В тот день председатель никакого уведомления более не получал и, в 10 часов вечера, говорил, крестясь, что, очевидно, бумаг ждать нечего, и он освободится от всего этого дела, так как оказалось, что в 6 часов к государю

были вызваны Горемыкин и Будберг и оттого, вероятно, и днем не был дан решительный ответ.

16 октября никаких новых сведений не было. 17-го, утром, выяснилось, что накануне и в течение ночи шли переговоры о том, чтобы всеподданнейшего доклада С. Ю. вовсе не распубликовывать, а редакцию манифеста изменить в том смысле, чтобы не упоминать о предстоящей деятельности «правительства» по осуществлению намерений государя, а прямо объявить о даровании реформ от имени его величества.

С. Ю. не счел возможным на это согласиться. Днем, на пароходе «Нева», С. Ю. отправился в Петергоф, поехал прямо к его величеству и привез из дворца подписанный манифест и утвержденный всеподданнейший доклад. На обратном пути С. Ю. высказывал мнение, что, если удастся дотянуть до собрания Думы, тогда все спасено, а если невозможны будут выборы, то ручаться ни за что нельзя.

20 октября, по распоряжению председателя, было составлено и опубликовано в «Правительственном Вестнике» правительственное сообщение, в котором объяснялось, что осуществление указанных в манифесте 17 октября реформ требует законодательных определений и ряда административных мер; до того прежние законы должны действовать.

(Подп.) Николай Вуич

31 декабря 1906 г.

ЗАПИСКА КНЯЗЯ Н. Д. ОБОЛЕНСКОГО.

Октябрь 1905 г. будет отмечен будущим русским летописцем, как исторический месяц, в течение которого произведена была первая реальная попытка пойти навстречу необходимости (в высших сферах еще в то время не вполне сознанной) совершить последний шаг по пути реформ и обновления русской жизни, начатых еще в царствование императора Александра II.

Обстановка, среди которой в эти исторические дни чувствовало себя русское общество, была скорбная, тяжелая, угнетающая. Неудачно веденная война обнаружила несовершенства государственного механизма во всей их болезненной правде. Зароненное в среду неудовлетворенного, разочарованного, оскорбленного в самом скромном честолюбии общества, неудовольствие это стало концентрически расти и захватывать все классы населения, каждый разно и по-своему толковавшие о причинах наших внешних и внутренних неудач.

Почва эта являлась благоприятным рассадником для тех лиц, которые, с интернациональными идеями разнообразных оттенков,

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ставили целью своих мыслей и действий вызвать, в какой удастся форме, смуту в России, пользуясь которой ниспровергнуть существующий, мало кого удовлетворяющий государственный порядок. Вся эта сложная многопричинная и многообразная эволюция общественной мысли выразилась в забастовках, открытых смутах, грабежах, политических убийствах и насилиях, на глазах безучастного и скорее враждебно к правительству настроенного русского общества.

Сознание ненужности безотрадно веденной, жестокой и неудачной войны с Японией находило некоторое успокоение в той мирной победе, которая была одержана в Портсмуте, когда, так или иначе, с относительно ничтожными жертвами, прекратилось безрезультатное кровопролитие, грозившее нам, к довершению бед, потерею Владивостока, Камчатки и прилегающих к Сибири островов на море, господство над которыми всецело перешло в руки японцев.

Общество под впечатлением этого акта запоздавшей государственной мудрости облегченно вздохнуло, и имя человека, приобревшего для своего отечества мир внешний, естественно приходило на мысль перед задачею внутреннего успокоения и наделения государства прочным внутренним миром. Председатель комитета министров, статс-секретарь, граф Витте, утомленный нравственно испытанными напряжениями, вернулся в Россию и, принявшись за повседневную работу, с первых шагов столкнулся с отголосками внутреннего хаоса и того нестроения, которые настоятельно требовали энергичного и неотложного разрешения.

В первых же заседаниях комитета министров и в отдельных совещаниях у графа Сольского резко определилась необходимость внести в государственную работу свежую струю, приступив к основным преобразованиям всего правительственного механизма.

6 октября С. Ю. Витте пишет государю императору письмо, в котором всеподданнейше испрашивает разрешение прибыть в Новый Петергоф для доклада некоторых своих соображений в связи с происходившими уже в то время открытыми политическими демонстрациями, многочисленными митингами и собраниями общественных деятелей и общим неустройством, принявшим острый характер явно враждебных правительству манифестаций и политической забастовки. Железные дороги бездействовали, сообщение с Новым Петергофом поддерживалось лишь пароходами по Неве.

8 октября был получен высочайший ответ: государь император писал графу Витте, что и сам он думал вызвать его к себе для обмена мыслей по вышеупомянутым вопросам и просил графа Витте прибыть в Петергоф на другой день к 6 час. вечера.

В пятницу 8 октября, вечером, граф С. Ю. Витте, при участии помощника управляющего делами комитета министров д. с. с. Вуича, составил программу намеченных реформ, с изложением в общих чертах, по пунктам, тех давно назревших у него данных, которые должны были в известной постепенности лечь в основу работы и политики будущего совета министров.

Казалось, что, выступая с такой программой, граф Витте, стоя во главе министров, мог рассчитывать удовлетворить и успокоить часть русского общества.

9 октября к 6 часам вечера граф Витте отправился в Петергоф на пароходе и, будучи принят его величеством, доложил государю императору, что из настоящего тяжелого внутреннего положения правительству, по его мнению, представляются два выхода:

1) Облечь неограниченною диктаторскою властью доверенное лицо, дабы энергично и бесповоротно в самом корне подавить всякий признак проявления какого-либо противодействия правительству,—хотя бы ценою массового пролития крови.

Для такой деятельности граф Витте не считал себя подготовленным.

2) Перейти на почву уступок общественному мнению и предначертать будущему кабинету указания вступить на путь конституционный; иначе говоря, его величество предрешает дарование конституции и утверждает программу, разработанную графом Витте.

Последний счел своим нравственным долгом обратить особое внимание государя императора на всю важность принимаемого решения, сопряженного с некоторым самоограничением; при чем возврат к прежнему порядку оказался бы немыслимым.

Вследствие этого граф Витте просил государя, до принятия окончательного решения, обсудить в особом совещании этот вопрос, привлекши к совещанию этому противников предлагаемого направления, мнения которых с достаточною ясностью определились в бывших за последнее время заседаниях и совещаниях.

Если же государю угодно будет все-таки согласиться на предлагаемую программу, то не стеснять графа Витте в выборе сотрудников, предоставив ему право распределения портфелей даже среди общественных деятелей.

Далее граф Витте, указывая на важность принимаемого решения, когда одним почерком пера изменяется весь государственный строй, и на серьезность намечаемого добровольного самоограничения прав, испрашивал пригласить на совещание ее величество государыню императрицу и великих князей.

На другой день 10 октября граф Витте был вновь приглашен в Петергоф, где повторил все сказанное накануне в присутствии только ее величества и составил свою программу.

Прошло 11 и 12 октября, и наступила среда 13 октября. За это время составленная графом Витте программа подвергалась деятельному и влиятельному обсуждению лиц приближенных, а также имевших доклад у государя. В результате в среду 13 октября граф Витте получил депешу от государя приблизительно следующего содержания:

«Назначаю вас председателем совета министров для объединения деятельности всех министров».

О программе не упоминалось вовсе. Получив такого рода депешу, граф Витте справедливо заключил, что программа, им представленная, не принята и не утверждена, и 14 ездил в Петергоф и доложил его величеству, что нравственно не считает для себя возможным исполнить высочайшее повеление сделаться первым министром, до утверждения его программы, но, вместе с тем, подтверждал еще раз необходимость программу эту всесторонне обсудить в совещании лиц, которых государю угодно было бы привлечь для этой цели, и что с каждым днем внутреннее положение ухудшается, вызывая неотложную необходимость прийти к тому или иному решению.

Его величество, после доклада графа Витте, призвал князя Орлова (граф Гейден находился в отпуске) для отдачи ему приказаний относительно приглашений на совещание для обсуждения программы графа Витте.

По указанию его величества был составлен список лиц, имеющих быть приглашенными, и предрешено было, что одну только программу графа Витте утверждать нельзя, но что для надлежащего уяснения, что все в ней изложенное исходит лично от государя, содержание ее необходимо облечь в форму манифеста.

На обсуждение программы приглашены были: великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер, граф Витте, статс-секретарь Горемыкин и барон Будберг. После этого, князю Орлову передано было через камердинера приказание его величества, дабы г.г. Горемыкин и Будберг были доставлены в Петергоф на отдельном пароходе, в самом заседании не участвовали и ожидали дальнейших приказаний во дворце.

Затем, граф Витте получил из Петергофа уведомление, что 15 октября в 11 час. утра назначено у его величества особое совещание, на которое приглашается и он. Ему предложено также привезти с собой проект манифеста, дабы все намеченное им вывести из области одних обещаний в область государем утвержденных фактов. Граф Витте первоначально решил в своей программе изменить редакцию вступления, в смысле более ясного подтверждения, что программа эта выработана по повелению и личному указанию его величества. Полагал, однако, что

облечь программу эту в форму манифеста и трудно, и, может быть, преждевременно.

Однако, случайно здесь находившемуся князю А. Д. Оболенскому граф Витте предложил попытаться за ночь составить проект манифеста и на другой день 15 октября сопровождать его в Петергоф вместе с д. с. с. Вуичем.

В субботу 15 октября, в 11 часов утра, в Петергофе под председательством государя началось совещание, на котором присутствовали: великий князь Николай Николаевич, генерал-адъютант барон Фредерикс, генерал-адъютант Рихтер и граф Витте. Великий князь Николай Николаевич испросил разрешение задавать вопросы графу Витте в виду своего незнакомства с предметом и спрашивать объяснение того, что ему покажется неясным. В заседании этом граф Витте обрисовал в общих чертах общее положение России, как оно ему представлялось в эти дни, останавливаясь с особенным вниманием на том факте, что даже умеренные элементы русского общества заявляют себя, если не активно, то пассивно против правительства, и что, по его крайнему разумению, при настоящих обстоятельствах могут быть два исхода: 1) диктатура, или 2) вступление на путь конституции; при чем доложил, с нужными пояснениями, все пункты своей программы.

В основу программы этой, как окончательная цель, легли: а) дарование законодательных прав Государственной Думе и б) дарование свободы слова, собраний, совести и неприкосновенности личности.

Великий князь Николай Николаевич неоднократно прерывал докладчика, дабы яснее усвоить себе отдельные подробности доложенного. Заседание затянулось до часу дня, и государь приказал сделать перерыв до $2^1/_2$ час., предложив к этому часу представить и проект манифеста, несмотря на то, что граф Витте еще раз доложил, что программа менее свяжет государя, и что лучше было бы манифеста не составлять, так как в нем изложить всю сущность программы было бы затруднительно.

В три часа дня заседание возобновилось. Граф Витте несколько запоздал, корректируя проект манифеста, который и подвергся обсуждению. Присутствующие не возражали, но граф Витте просил еще раз государя не решаться на подписание столь серьезного акта, не уяснив всестороннего его значения в виду чрезвычайной государственной и исторической важности делаемого шага и вероятности, что даже после этого успокоение может наступить не сразу.

Его величество отпустил всех, положил проект манифеста в стол и поблагодарил графа Витте, сказав, что помолится богу, еще подумает и скажет ему, решится ли он на этот акт или нет.

По отъезде графа Витте, государь приказал генерал-адъютанту барону Фредериксу призвать статс-секретаря Горемыкина и Будберга, ожидавших в Петергофе, и передать им на рассмотрение этот манифест. Оба тотчас приступили к его обсуждению и нашли его несоответствующим. Член Государственного Совета Горемыкин принципиально не соглашался с необходимостью такого акта, а барон Будберг, главным образом, критически отнесся к формальной стороне самого изложения манифеста, находя таковое недостаточно хорошо редактированным. Горемыкин согласился помочь в редактировании оного проекта.

В это время граф Витте случайно осведомлен был, что проект его манифеста обсуждался без него и, опасаясь, что такой манифест мог бы быть подписан государем, и что он, граф Витте, принужден будет в силу обстоятельств принять его к исполнению и руководствоваться изложенными в нем видоизменениями статс-секретаря Горемыкина и барона Будберга, телефонировал барону Фредериксу и дворцовому коменданту князю Енгалычеву, прося их доложить его величеству о том, что он ходатайствует об изменениях, сделанных в его редакции, поставить его в известность или же предложить авторам изменений стать во главе дела. Из Петергофа было отвечено, что сделанное в манифесте изменение незначительно и лишь редакционное. Граф Витте просил все-таки изменения эти, предварительно подписания, передать ему на прочтение.

В воскресенье 16 октября по Петербургу распространился слух, обсуждавшийся в различных кругах, что проект государственных преобразований графа Витте не одобрен, а утвержден и принят другой проект члена Государственного Совета Горемыкина; слухи эти в общей их сложности произвели угнетающее впечатление.

16 октября вечером (после предварительного предупреждения по телефону), около полуночи к графу Витте приехал генерал-адъютант барон Фредерикс с своим начальником канцелярии генерал-майором А. А. Мосоловым. Барон Фредерикс извинился перед графом Витте, сообщив, что манифест изменен не в редакционном только отношении, как он это сообщил, но и по существу, и просил графа Витте согласиться принять манифест в этом измененном виде к исполнению, так как измененный манифест заключал в себе, по его мнению, больше уступок, чем проектированный графом Витте.

Ознакомившись с новой редакцией манифеста, граф Витте усмотрел, что между проектом, представленным им, и проектом, ему привезенным, различие по существу сводилось к следующему:

1) В проекте у графа Витте определенно говорилось, что его величеству благоугодно повелеть своему правительству озабо-

титься проведением в жизнь его неуклонною волею предначертанных реформ; в проекте, привезенном бароном Фредериксом, те же пункты уже определены, как даруемые.

2) О праве на законодательный почин со стороны Государственной Думы в этом последнем проекте не упоминалось вовсе.

При этом, граф Витте еще раз просил барона Фредерикса испросить у государя императора не печатать пока манифеста, а лишь утвердить и обнародовать одну программу с теми изменениями, которые в ее вступлении уже сделал сам граф Витте, относя все в ней изложенное к инициативе, указаниям и воле его величества. Барон Фредерикс ответил, что вопрос о том, что настоящая реформа должна быть возвещена населению манифестом, решен бесповоротно.

В заключение граф Витте заявил барону Фредериксу, что он ясно сознает, что со стороны его величества в основу отношений к нему, несмотря на все внимание государя императора, несомненно, легло чувство некоторого недоверия, что при наличии такого серьезного фактора совместная государственная работа крайне затруднится и что, быть может, было бы целесообразнее оставить самую мысль о назначении его первым министром, а для объединения министров избрать одного из авторов измененного манифеста, при чем просил довести до сведения его величества о своей готовности и в этом случае на второстепенном посту послужить общему делу.

Высказанное графом Витте предположение имело за собою несомненное основание, так как ближайшие к государю лица не верили в искренность графа Витте и были убеждены, что он в своих честолюбивых намерениях стремится быть президентом Российской республики, и что, в предвидении возможности такого факта, находит себе объяснение та выдающаяся ласка и любезность, предметом которых сделался граф Витте, при возвращении из Портсмута, со стороны германского императора Вильгельма II, прозревшего в нем будущего русского республиканского президента.

На другой день 17 октября, в 9 час. утра, барон Фредерикс отправился с докладом к государю императору. Результатом этого доклада было немедленное приглашение туда же великого князя Николая Николаевича и графа Витте; последний мог прибыть лишь к $4^1/_2$ часам дня.

Великий князь Николай Николаевич, проникшись основательностью данных графом Витте объяснений, выразил свое полное сочувствие проекту графа Витте и доложил о невозможности, за недостатком войск, прибегнуть к военной диктатуре. Великий князь и барон Фредерикс были приняты государем раньше приезда графа Витте, при чем тут же решено было, что его величество подпишет манифест, составленный графом Витте, и утвер-

дит программу, представленную им. В канцелярии министра императорского двора, временно переведенной в Петергоф, приказано было приступить к переписке манифеста.

В 6-м часу вечера работа эта была закончена. Граф Витте, уже прибывший из Петербурга, поехал в Александрию, и в его присутствии государь император подписал манифест и утвердил программу. Таким образом, не без некоторой борьбы, колебаний и сомнений государю угодно было вернуть Россию на покинутый ею, в силу разнообразных внутренних и внешних обстоятельств, путь реформ и завершить великое дело своего августейшего деда.

При обратном возвращении в Петербург на палубе парохода находился великий князь Николай Николаевич. Он казался веселым и довольным. Обратившись к графу Витте, его высочество заметил:

«Сегодня 17 октября и 17 годовщина того дня, когда в Борках была спасена династия. Думается мне, что и теперь династия спасается от неменьшей опасности сегодня происшедшим историческим актом».

Август—сентябрь 1906 года.

В вышеприведенной «справке о манифесте 17 октября 1905 г.», в виду ее назначения при ее составлении, события изложены с математическою точностью, но совершенно кратко и при полном отсутствии эпизодических фактов, их сопровождавших.

Когда, после возвращения из Америки, я приехал в Петербург, то у меня совершенно созрело желание уехать из России, так как я ясно видел, что ничего доброго ожидать нельзя. Положение вещей было совершенно запутано, несчастная позорная война надолго обессилила Россию и вселила в ней недобрые чувства возмущения. Самое главное то, что я знал государя, знал, что мне на него положиться нельзя — знал его бессилие, недоверчивость и отсутствие всякого синтезиса при довольно развитой способности к анализу.

Уехать из России я желал не потому, что хотел уйти от грядущих событий, а потому что это представлялось мне единственным способом, чтобы меня подобно тому, как это случилось с назначением меня в Портсмут, не взяли и не бросили вновь в огонь после того, как сами, разжегши огонь, не найдут охотников лезть его гасить. Положение дел все ухудшалось, революция выходила наружу через щели и обратила эти щели в ворота. Так как граф Сольский занимал место председателя Государственного Совета, финансового комитета и председателя совета министров (вместо его величества) и под его председательством в совете (или совещании, так как в сущности по закону совет мог быть только под

председательством государя) шли всякие заседания по установлению различных законов в развитие закона 6-го августа о Государственной Думе, то я его видел довольно часто. Он, видимо, совсем пал духом, потерял всякие надежды и совместно со своей женой постоянно твердил, что все ожидают лишь спасения от меня. Как-то в начале октября, как я уже рассказывал, на эти замечания, что все ожидают лишь от меня спасения, я сказал графу Сольскому, что мое, не только желание, но решение уехать заграницу отдохнуть после портсмутского путешествия. Эти слова вызвали у Сольского волнение и он, плача, сказал мне: «Ну, что же, уезжайте и оставляйте нас здесь в с е х погибать. Мы же погибнем, так как без вас я не вижу выхода».

Этот разговор и понудил меня 6-го октября просить государя меня принять. Записка, о которой упоминается в вышеприведенной справке о 17 октября, была оставлена у его величества; она по всей вероятности находится в архивах министерства двора. Государь все время на вид казался спокойным, вообще он всегда в обращении и манере себя держит очень спокойно.

10-го октября я думал, что государь кроме императрицы пригласит кого-либо из великих князей. Императрица Мария Феодоровна находилась в то время в Дании. Он никого не пригласил, вероятно, потому, что не хотел на себя взять инициативу, а царская семья, т.-е. великие князья, за исключением двух братьев Николаевичей, тоже не горели желанием прийти на помощь главе дома. Что же касается великого князя Николая Николаевича, то он в это время охотился в своем имении, а Петр Николаевич находился, кажется, в Крыму.

Такие отношения в царском доме сложились, главным образом, благодаря императрице Александре Феодоровне. Николаевичи, женатые на черногорках, ее горничных, потому и пользовались благоволением его величества. Я после слышал от министра двора барона Фредерикса упреки великому князю Владимиру Александровичу за то, что он в это трудное время, будучи в Петербурге, не пришел на помощь государю советом. С своей стороны я думаю, что если бы великий князь в это время проявился, то тогда ему дали бы понять, чтобы он не вмешивался не в свое дело.

Государь не терпит иных, кроме тех, которых он считает глупее себя, и вообще не терпит имеющих свое суждение, отличное от мнений дворцовой камарильи (т.-е. домашних холопов), и потому эти «иные», но которые не желают портить свои отношения, стремятся пребывать в стороне. 10-го октября императрица во время моего доклада не проронила ни одного слова, а государь первый раз сказал свое мнение о манифесте.

Возвратившись домой, я долго думал об этом и к мнению о манифесте отнесся скептически и в конце концов отрицательно

вот почему. Мне прежде всего представлялось, что никакой манифест не может точно обнять предстоящие преобразования, а всякие неточности и особенно двусмысленности могут породить большие затруднения. Поэтому я находил, что преобразования должны проходить законодательным порядком и,—впредь до придания законодательным учреждениям прав решений,—в порядке совещательном или через Государственный Совет (старый) или через Булыгинскую Думу, когда она будет собрана (т.-е. по закону 6-го августа). До известной степени я боялся, чтобы манифест не произвел неожиданного толчка, который еще более бы нарушил равновесие в сознании масс как интеллигентных, так и темных.

Наконец, находясь около двух лет не у живого дела, у меня явилось желание осмотреться. 11-го числа или 12, не помню, кто-то мне сказал, что государь совещается с некоторыми лицами, с кем именно я не спрашивал, и меня это не интересовало, но я думал, что с Чихачевым, графом Паленом, а может быть, и с графом Игнатьевым, на которого я в это время указал министру двора барону Фредериксу, что, может быть, государь с ним посоветуется, и он окажется подходящим диктатором, если его величество остановится на диктатуре.

Сам я в диктатуру не верил, т.-е. не верил, чтобы она могла принести полезные плоды для государя и отечества, что я и высказывал его величеству откровенно, но в душе я имел слабость ее желать из эгоистических стремлений, так как тогда я был бы избавлен стать во главе правительства в такое трудное время и при условиях таких, хорошо известных мне свойств его величества и двора, прелесть коих я уже на себе ранее испытал и которые внушали мне самые тревожные опасения.

Я понимал, что ни на благодарность, ни на благородство души и сердца рассчитывать не могу; в случае удачи меня уничтожат, окончательно испугавшись моих успехов, а в случае неудачи будут рады на меня обрушиться вместе со всеми крайними. Желая себе выяснить, насколько можно положиться на военную силу, я устроил в течение этих дней у себя заседание, в котором участвовали два официальных представителя военной силы, военный министр и генерал Трепов, бывший в то время начальником петербургского гарнизона; они произвели на меня весьма тягостное впечатление, в их мнениях явно сквозило, что рассчитывать на успокоение через войска невозможно и не потому, что это средство само по себе, конечно, длительного и здорового успокоения дать не могло, а вследствие отчасти неблагонадежности, а главное, слабости этой силы. Вероятно, те же речи держали государю представители военной силы, а в том числе и великий князь Николай Николаевич, и по всей вероятности поэтому он не остановился на диктатуре.

Иначе я себе не могу объяснить, почему государь не решился на диктатуру, так как он, как слабый человек, более всего верит в физическую силу (других, конечно), т.-е. силу, его защищающую и уничтожающую всех его действительных и подозреваемых, основательно или по ложным наветам, врагов, при чем, конечно, враги существующего неограниченного, самопроизвольного и крепостнического режима, по его убеждению, суть и его враги.

Великий князь Николай Николаевич после того, как мы были у его величества по делу пресловутого биорского соглашения, уехал к себе в имение, и я его с тех пор не видал до заседания у государя 15-го. Оказалось, что он тогда только-что вернулся с охоты по вызову государя. Несмотря на то, что я 14-го числа снова советовал государю ограничиться утверждением моей программы, того же числа князь Орлов, передавая мне по телефону, чтобы я прибыл на следующий день, 15-го утром, на заседание, сказал мне повеление государя привезти с собой проект манифеста, «дабы все исходило лично от государя и чтобы намеченные мною меры в докладе были выведены из области обещаний в область государем даруемых фактов».

Из этого разговора с Орловым я усмотрел, что он принимает какое-то участие в деле, но какое, я не знал и не придавал ему должного значения, зная Орлова, как приятного салонного собеседника, но человека совсем не серьезного и без всякого серьезного образования. Затем я узнал от князя Н. Д. Оболенского, что он знал о разговоре Орлова со мною по телефону, что вышеприведенная формула была не случайная, а обдуманная, изложенная на записке (шпаргалке) у Орлова.

Впоследствии я узнал, что государя уговорили издать манифест не потому, что мерам, изложенным в манифесте, сочувствовали, а потому, что дали идею государю, что я хочу быть президентом всероссийской республики и потому я хочу, чтобы меры, д о л ж е н с т в у ю щ и е у с п о к о и т ь Россию, исходили от меня, а не от его величества. Вот для того, чтобы расстроить мои планы о президентстве, уговорили государя, что он непременно должен издать манифест. Нужно воспользоваться мыслями графа Витте, а затем можно с ним и прикончить.

Сначала решили ограничиться телеграммой, данной мне 13 числа, а когда я настаивал, чтобы были приняты более решительные меры и в случае принятия моей программы просил ее утверждения, тогда уже решили, что в таком случае необходим манифест, дабы я не сделался президентом республики. Как все это не невероятно, но, к сожалению, я пришел к заключению, что это было так. Князь Орлов и другие обер-лакеи его величества (не настоящие лакеи, ибо государь был окру-

жен честными слугами его физических потребностей) тогда же выказывали опасения о моем президентстве князю Оболенскому. Этот факт и то, что государь мог, хотя в некоторой степени, действовать под влиянием подобных буффонад, наглядно показывает, каким образом Россия после 8—9-летнего царствования императора Николая II упала в бездну несчастий и полной прострации.

Как мне впоследствии [1]) рассказывал князь Николай Дмитриевич Оболенский (до настоящего времени заведующий кабинетом его величества), он, усматривая из разговора с князем Орловым какое-то безумное недоразумение—с одной стороны недоверие ко мне, а с другой—потребность или, вернее, непреодолимое желание (род нравственного недуга), чтобы я стал во главе правительства, он, князь Оболенский, решился тогда же устранить это грозное по возможным последствиям и безумное недоразумение.

Зная, что государь находился совсем в руках своей августейшей супруги, которая к тому же отлично относилась к князю Н. Д. Оболенскому, по причинам, о которых я упоминал ранее в настоящих записках, он отправился к ней. Явившись к императрице, он встал на колени и умолял императрицу, чтобы государь не назначал меня председателем совета, объяснив, что из этого ничего кроме беды не выйдет, так как он ясно видит, что государь мне не доверяет, а между тем, он, князь Оболенский, меня знает, что и я с своей стороны не могу быть в чьих бы то ни было руках послушным инструментом в виду моего характера, что под 60 лет характер не меняют и что при таком положении вещей, очевидно, дело не пойдет: как только наступят признаки успокоения, государь будет слушаться других, а я этого не потерплю, буду упрямиться даже в тех случаях, когда при доверчивом отношении друг к другу шел бы на компромиссы, кончится тем, что я в самом непродолжительном времени уйду, возбужу по отношению к себе дурные, мстивые, злонамеренные чувства у государя и в результате больше всего пострадает дело—Россия и ее государь. Ее величество все сие выслушала молча и отпустила князя Оболенского.

Но после этого, а в особенности, когда я покинул пост председателя, государыня совершенно отвернулась от князя Оболенского. Прежде он был самый интимный у них в доме человек, теперь он никогда более не приглашаем. Отношения к нему самые формальные, и когда князь Оболенский остается вместо барона Фредерикса управлять министерством двора, то всегда стараются устроить так, чтобы доклады его были после 2-х часов, т.-е.

[1]) После того, как я оставил пост председателя совета министров.

после завтрака, так как, когда был раз доклад до завтрака, то государь был, видимо, в неудобном положении.

Всегда и не только в его время, но во время царствования Александра III, если Оболенский находился во дворце, то его приглашали интимно завтракать. После доклада государь чувствовал, что не пригласить завтракать неудобно, а пригласить,—пожалуй, достанется... Бедный государь... Какой маленький—великий благочестивейший самодержавнейший император Николай II!

Для того, чтобы судить о настроении ближайшей свиты государя в эти октябрьские дни, достаточно привести следующий факт. Когда мы шли в октябрьские дни на пароходе в Петергоф (в течение всего этого времени железная дорога бастовала), на заседание с нами также ехал обер-гофмаршал двора генерал-адъютант граф Бенкендорф (брат нашего посла в Лондоне), человек неглупый, образованный, преданный государю и из числа культурных дворян, окружающих престол. Он, между прочим, передавал сопровождающему меня Вуичу свои соболезнования, что в данном случае жаль, что у их величеств пятеро детей (4 великих княжны и бедный, говорят, премилый, мальчик—наследник Алексей), так как, если на-днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанища заграницей, то дети будут служить б о л ь ш и м п р е п я т с т в и е м.

Из вышеприведенной записки, бывшей на контрольном усмотрении государя императора, видно, как составлялся манифест. Очевидно, он составлялся на скорую руку, и я до самого момента его подписания думал, что государь его не подпишет. Он бы его и не подписал, если бы не великий князь Николай Николаевич—мистик, сейчас же вслед за 17 октября обратившийся в обер-черносотенца. Один из редакторов манифеста, почтеннейший князь А. Д. Оболенский, как я после рассудил, был в состоянии неврастении. Он все-таки твердил мне, что манифест необходим, а через несколько дней после 17 октября пришел ко мне с заявлением, что его сочувствие и толкание к манифесту было одним из величайших грехов в его жизни. Теперь он, повидимому, уравновесился и смотрит на вещи более здорово. Сам по себе он человек благородный и талантливый, но устойчивым равновесием бог его мало наградил.

При возвращении из Петергофа в заседании на пароходе кто-то проговорился, и я в первый раз услыхал фамилию Горемыкина. Кто-то сказал, что, вероятно, сегодня еще придется тому же пароходу, на котором мы ехали, везти из Петергофа Горемы-

кина. Как потом оказалось, его величество почти одновременно вел два заседания и совещания—одно при моем участии, а другое при участии Горемыкина.

Такой способ ведения дела меня весьма расстроил, я увидел, что его величество даже теперь не оставил свои «византийские» манеры, что он неспособен вести дело на чистоту, а все стремится ходить окольными путями, и так как он не обладает талантами ни Меттерниха, ни Талейрана, то этими обходными путями он всегда доходит до одной цели—лужи, в лучшем случае помоев, а в среднем случае—до лужи крови или окрашенной кровью.

Если сведение, случайно дошедшее до меня на пароходе о Горемыкине, меня взорвало, то, с другой стороны, оно меня и обрадовало, так как это дало мне основание уклониться от желания во что бы то ни стало поставить меня во главе правительства.

16-го днем я вызвал по телефону барона Фредерикса, министра двора, и ему, а равно дворцовому коменданту князю Енгалычеву (так как барон Фредерикс сам затруднялся говорить по телефону) говорил, что до меня дошли сведения, что в Петергофе происходят какие-то совещания с Горемыкиным и Будбергом и что предполагают изменять оставленный мною у его величества проект манифеста, что я, конечно, ничего против этих изменений не имею, но под одним условием, чтобы оставить мысль поставить меня во главе правительства; если же, несмотря на мое желание уклониться от этой чести, меня все-таки хотят назначить, то я прошу показать мне, какие изменения полагают сделать, хотя я остаюсь при мнении, что покуда никакого манифеста не нужно. На это мне барон Фредерикс ответил, что предполагается сделать только несколько редакционных изменений и что они надеются, что я не буду настаивать для выигрыша времени на том, чтобы мне показали предполагаемые изменения. Я ответил, что я все-таки прошу эти изменения мне показать. Мне ответили, что вечером барон Фредерикс будет у меня и мне изменения покажет. Вечером у меня были братья Оболенские—Алексей и Николай. Они сидели у жены. Барон Фредерикс все не приезжал.

Наконец, он приехал уже за полночь и вместе с директором своей канцелярии Мосоловым (женатым на сестре генерала Трепова). Мы, т.-е. я, барон Фредерикс и его помощник князь Н. Оболенский, уселись, и разговор начался с того, что барон Фредерикс сказал, что он ошибся, передав мне, что в проекте манифеста сделаны лишь редакционные изменения, а что он изменен по существу, и мне предъявили оба проекта, с указанием на один из них, на котором остановились. Все эти экивоки, какая-то недостойная игра, тайные совещания, при моей усталости от поездки в Портсмут и болезненном состоянии, меня совсем вывели из равновесия. Я решил внутренно, что нужно с этим положением покончить, т.-е. сделать все, чтобы меня оставили в покое. Поэтому

я отверг предъявленные мне анонимные, кем-то тайно от меня составленные проекты манифеста. Они и по существу не могли быть приняты в предложенном виде. Если бы в это, решающее на много лет судьбы России, время вели дело честно, благородно, по-царски, то многие происшедшие недоразумения были бы избегнуты. При всей противоположности моих взглядов с взглядами Горемыкина и тенденциями балтийского канцеляриста барона Будберга, если бы они были призваны открыто со мною обсуждать дело, то общее чувство ответственности, несомненно, привело бы нас к более или менее уравновешенному решению, но при игре в прятки, конечно, события шли толчками, и документы составлялись наскоро без надлежащего хладнокровия и неторопливости, требуемых важностью предмета.

Что же касается других тайных советчиков и царской дворни—князя Орлова, князя Енгалычева и пр., — то с ними никакого разговора, конечно, ни я, ни другой серьезный человек вести не мог. Эти люди могут быть только домашними советчиками бедного императора Николая II. Я сделал все для того, чтобы меня оставили в покое. Я, с свойственною моему характеру резкостью, просил барона Фредерикса передать государю, что я неоднократно ему докладывал, что ныне не следует издавать манифеста и вновь прошу доложить об этом моем мнении его величеству, но если его величество все-таки хочет манифест, то я не могу согласиться на манифесты, несогласные с моею программою, без утверждения коей я не могу принять на себя главенство в правительстве, что из всего я усматриваю, что государь мне не доверяет, поэтому он сделает большую ошибку, меня назначив на пост председателя, что ему следует назначить одного из тех лиц, с которыми он помимо меня совещается и которые составили предлагаемые проекты манифестов.

Все это я говорил таким тоном, что был уверен, что после этого меня оставят в покое. Во время этого разговора, вследствие моего вопроса—знает ли обо всем происходящем генерал Трепов, так как я с ним ни о чем не говорил и видел его только раз, на заседании, которое было у меня, барон мне ответил, что они потому поздно и приехали, что засиделись у Трепова, читая ему все проекты.

При чем бар. Фредерикс теперь говорит, что будто бы он мне тогда говорил, что Трепов сделал какие-то замечания по поводу редакции манифеста. Ни я, ни князь Оболенский этого не помним, но, может быть, что-либо в этом роде он и сказал, но так как я отрицал необходимость манифеста в данный момент, а с другой стороны, думал только о том, чтобы кончить эту игру в каш-каш, то на заявление барона Фредерикса об мнении Трепова я не обратил никакого внимания. Да мне были совершенно безразличны мнения Трепова о государственных вопросах. Мы расстались

с бароном Фредериксом поздно ночью, часа в два, и расстались в довольно возбужденном состоянии.

Когда он уехал и я остался один, я начал молиться и просить всевышнего, чтобы он меня вывел из этого сплетения трусости, слепоты, коварства и глупости. У меня была надежда, что после всего того, что я наговорил барону Фредериксу, меня оставят в покое.

На другой день я снова по вызову поехал в Петергоф. С парохода я прямо отправился к барону Фредериксу. Приезжаю и спрашиваю его—ну что, барон, передали все государю, как я вас об этом просил?—Передал,—ответил барон.—Ну? и слава богу, меня оставят в покое.—Нисколько, манифест будет подписан в редакции, вами представленной, и ваш доклад будет утвержден.—Как же это случилось?—Вот как: утром я подробно передал государю наш ночной разговор; государь ничего не ответил, вероятно, ожидая приезда великого князя Николая Николаевича. Как только я вернулся к себе, приезжает великий князь. Я ему рассказываю все происшедшее и говорю ему: следует установить диктатуру, и ты (барон Фредерикс с великим князем был на ты) должен взять на себя диктаторство. Тогда великий князь вынимает из кармана револьвер и говорит: ты видишь этот револьвер, вот я сейчас пойду к государю и буду умолять его подписать манифест и программу графа Витте; или он подпишет, или я у него же пущу себе пулю в лоб из этого револьвера,—и с этими словами он от меня быстро ушел. Через некоторое время великий князь вернулся и передал мне повеление переписать в окончательный вид манифест и доклад и затем, когда вы приедете, привезти эти документы государю для подписи.

Это сообщение барона Фредерикса меня весьма озадачило, я понял, что выхода более нет.

Впоследствии генерал Мосолов, директор канцелярии министра двора, рассказывал мне следующее: «Утром после того, что мы были у вас, я пришел к барону, у него в это время находился великий князь Николай Николаевич. Великий князь спешно вышел от барона, тогда барон мне сказал:—Нет, я не вижу иного выхода, как принятие программы графа Витте, я все рассчитывал, что дело кончится диктатурой и что естественным диктатором является великий князь Николай Николаевич, так как он безусловно предан государю и казался мне мужественным. Сейчас я убедился, что я в нем ошибся, он слабодушный и неуравновешенный человек. Все от диктаторства и власти уклоняются, боятся, все потеряли головы, поневоле приходится сдаться графу Витте.—Что произошло между бароном и вели-

ким князем, мне тогда барон не объяснил,—добавил генерал Мосолов.

Впоследствии он мне рассказывал, как великий князь, испугавшись, торопливо вырвал у государя манифест и заставил принять программу графа Витте. Под каким влиянием великий князь тогда действовал, мне было неизвестно. Мне было только совершенно известно, что великий князь не действовал под влиянием логики и разума, ибо он уже давно впал в спиритизм и, так сказать, свихнулся, а с другой стороны, по «нутру» своему представляет собою типичного носителя неограниченного самодержавия или, вернее говоря, самоволия, т.-е. «хочу и баста».

Неудивительно поэтому, что уже через несколько недель после 17 октября я узнал, что великий князь находится в интимных отношениях с главою начинающей образовываться черносотенной партии, т.-е. с пресловутым мазуриком Дубровиным, а затем он стал почти явно во главе этих революционеров правой. Они ни по приемам своим, ни по лозунгам (цель оправдывает средства) не отличаются от крайних революционеров слева, они отличаются от них только тем, что революционеры слева—люди, сбившиеся с пути, но принципиально большею частью люди честные, истинные герои, за ложные идеи жертвующие всем и своею жизнью, а черносотенцы преследуют в громадном большинстве случаев цели эгоистические, самые низкие, цели желудочные и карманные. Это типы лабазников и убийц из-за угла. Они готовы совершать убийства так же, как и революционеры левые, но последние большею частью сами идут на этот своего рода спорт, а черносотенцы нанимают убийц; их армия—это хулиганы самого низкого разряда. Благодаря влиянию великого князя Николая Николаевича и государь возлюбил после 17 октября больше всех черносотенцев, открыто провозглашая их, как первых людей Российской империи, как образцы патриотизма, как национальную гордость. И это таких людей, во главе которых стоят герои вонючего рынка, Дубровин, граф Коновницын, иеромонах Иллиодор и проч., которых сторонятся и которым во всяком случае порядочные люди не дают руки.

Мне долго не было точно известно, что побудило великого князя так ревностно перед 17 октября стоять за тот переворот, который был совершен 17 октября. Я был только убежден, что между прочим трусость, во всяком же случае растерянность. Затем уже более чем через год после этого события поведение Николая Николаевича перед 17 октября мне объяснил П. Н. Дурново влиянием на него главы одной из рабочих партий Ушакова.

Дурново ранее, нежели в моем министерстве стал министром внутренних дел, был все время товарищем министра при Сипягине, Плеве, Мирском и Булыгине и заведывал ближайшим образом почтами и телеграфом, а, следовательно, и всей перлюстрацией, потому и знал многое, чего другие не знали.

Это сообщение Дурново меня крайне удивило, и так как Ушакова я знал, так как он был видным рабочим экспедиции заготовления государственных бумаг, когда я был министром финансов, то я начал его искать, нашел и просил ко мне зайти.

По возвращении моем из Америки в сентябре 1905 г. он с несколькими рабочими являлся меня поздравить, затем, во время событий октября 1905 г., он у меня не был, после 17 октября он несколько раз заходил хлопотать о рабочих экспедиции и об урегулировании им рабочей платы после общей забастовки рабочих, бывшей в Петербурге. В октябрьские дни Ушаков не пристал к партии анархической, руководившей всей забастовкой (Носарь, Троцкий и пр.), и образовал малочисленную партию, которая по тем временам считалась крайне консервативной, а потому она преследовалась так называемым советом рабочих, который в октябрьские дни держал в руках взбунтовавшихся рабочих на всех почти фабриках.

Совет же рабочих состоял преимущественно из анархистов-революционеров. Когда в 1907 г. пришел ко мне Ушаков, то я его спросил, правда ли, что в октябре 1905 г. это он повлиял на великого князя Николая Николаевича, чтобы он настаивал на немедленном введении конституции. Ушаков мне ответил, что это действительно так было, тогда я его попросил написать мне, как именно это происходило и кем он был побужден к такой роли.

Вследствие моей просьбы он мне на другой день представил записку, которая хранится в моем архиве. Сущность записки заключается в том, что он в октябрьские дни и до этого времени вел борьбу, имея за собою некоторую часть рабочих, с революционным рабочим движением, во главе которого стоял Носарь (Хрусталев), что его ввел к Николаю Николаевичу некий Нарышкин, с которым его познакомил князь Андроников, что это было накануне 17 октября и что он убеждал великого князя, чтобы государь дал конституцию, как необходимую меру, чтобы выйти из тяжелого положения. Князь Андроников—это личность, которую я до сих пор не понимаю; одно понятно, что это дрянная личность. Он не занимает никакого положения, имеет маленькие средства, неглупый, сыщик не сыщик, плут не плут, а к порядочным личностям, несмотря на свое княжеское достоинство, причислиться не может. Он не кончил курса в пажеском корпусе, хорошо знает языки, но малого образования. Он вечно занимается мелкими политическими делами, влезает ко всем мини-

страм, великим князьям, к различным общественным деятелям, постоянно о чем-то хлопочет, интригует, ссорит между собой людей, что доставляет ему истинное удовольствие, оказывает нужным ему людям мелкие услуги; конечно, он ухаживает лишь за теми, кто в силе или в моде, и которые ему иногда открывают к себе двери. Это какой-то политический мелкий интриган из любви к искусству.

Нарышкин—это не из тех настоящих Нарышкиных, за одним из братьев коих замужем моя дочь, с этими Нарышкиными он не имеет ничего общего. По существу, это дворянский «jeune premier», промотавший свое состояние, ничего в жизни не делавший, человек петербургского общества, спортсмен-охотник, и по охоте компанион, а потому и близкий Николаю Николаевичу. Он повлиял и ввел Ушакова к великому князю. Очень может быть, что его познакомил с Ушаковым всюду проникающий князь Андроников. Впрочем, в это время даже умные люди, прожившие деловую жизнь, теряли голову; а тем, у которых головы никогда не было, ее и терять было не нужно.

В совещаниях с государем, о которых говорится в вышеприведенной справке, я, конечно, более или менее подробно высказывал свои суждения, но старался быть возможно объективнее, дабы не повлиять односторонне на его величество. Во всех моих суждениях я подробно развивал мысли, изложенные в докладе, вышеприведенном, опубликованном 17 октября вместе с манифестом, и все высказывал, что мысли эти составляли мое убеждение, к которому я пришел после обильного государственного опыта, и с которым пребываю доныне и с которым умру, но что все-таки это есть мое субъективное убеждение, что есть и другие мнения, а потому постоянно говорил и советовал его величеству выслушать тех, которые держатся других взглядов. В особенности, я обращал внимание на мысль об учреждении диктатуры. Что касается манифеста, то я не считал удобным издавать какой бы то ни было манифест, настоятельно рекомендуя только твердо утвердить мой всеподданнейший доклад (быть по сему, утверждаю—или что-либо равносильное), но когда, вопреки моему совету, непременно пожелали немедленно издать манифест и когда за моей спиной начали фабриковать манифесты, то, вопреки моему желанию, был спешно составлен манифест (Вуичем и князем А. Д. Оболенским), и я настаивал, что, если непременно хотят манифест, то я не могу допустить иного манифеста, кроме того, который я поднес. Несомненно, что по крайней спешности, взбаломученности, манифест явился не в совсем определенной редакции, а главное, неожиданно.

Провинция, находившаяся в возбужденном состоянии, неожиданным появлением манифеста в некоторых местах, где власти были трусливы, сразу пришла в горячку. В некоторых местах крайние манифестации в одном направлении вызвали манифестации с противоположной стороны. В иных местах эти реакционные манифестации, иногда связанные с погромами, конечно, «жидов», были если не организованы, то поощряемы местным начальством. Таким образом, манифест 17 октября по обстановке, в которой он появлялся, отчасти способствовал многим беспорядкам, вследствие своей неожиданности и растерянности на местах. Этого, именно, я и боялся, вследствие чего, между прочим, я высказался против манифеста. Кроме того, манифест наложил печать спешности на все остальные действия правительства, так как, предрешив и установив принципы, он, конечно, не мог установить подробности даже в крупных чертах. Пришлось все вырабатывать спешно, при полном шатании мысли как наверху, так и в обществе.

Конечно, всем этим весьма воспользовалась анархия для своих революционных целей; она сбила с толку многих темных людей, даже более темные массы. Это содействовало революции, которая готовилась уже многие годы и которая вырвалась наружу, благодаря преступной и бессмысленной войне, показавшей всю ничтожность государственного управления. Кто виноват в этой войне? В сущности, никто, ибо, единственно, кто виноват, это и самодержавный и неограниченный император Николай II. Он же не может быть признан виновным, ибо он не только, как самодержавный помазанник божий, ответствен лишь перед всевышним, но, кроме того, с точки зрения новейших принципов уголовного права, он не может быть ответствен как человек, если не совсем, то, во всяком случае, в значительной степени, невменяемый.

Таким образом нельзя не признать, что, с точки зрения логики, манифест 17 октября был актом, подлежащим порицанию; но, с другой стороны, последующие события дают полное оправдание манифесту 17 октября.

Действительно, манифест 17 октября, в редакции, на которой я настаивал, отрезает вчера от сегодня, прошедшее от будущего. Можно и должно было не спешить этой исторической операцией, сделать ее более осторожно, более антисептически, но операция эта, по моему убеждению, немного ранее или немного позже, была необходима. Это неизбежный ход истории, прогресса бытия.

Между тем, события после 17 октября, очевидно, показали, что если бы вороны не попугались, то и не оставили бы тот живой организм, с которым их клювы часто обращались, как с падалью, и это даже вошло как бы в привычку при дворцовой высшей

челяди, что развращало самого помазанника, когда таковой не мог стоять на своих ногах, жить своим разумом, своими чувствами, а главное, не отступать от того, что на сем свете признано благородными людьми считать честным.

Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только напоказ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки из дверей, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала ничего ожидать нельзя от неограниченного самодержавного правления. При такой обстановке несомненно, что если бы не было 17 октября, то, конечно, оно в конце концов произошло бы, но при значительно больших несчастиях, крови и крушениях. Поэтому, хотя я не советовал издавать манифеста 17 октября, тем не менее, слава богу, что он совершился. Лучше было отрезать, хотя не совсем ровно и поспешно, нежели пилить тупою, кривою пилою, находящейся в руке ничтожного, а потому бесчувственного оператора, тело русского народа.

В течение всех октябрьских дней государь, когда я был с ним, казался совершенно спокойным. Я не думаю, чтобы он боялся, но он был совсем растерян, иначе при его политических вкусах, конечно, он не пошел бы на конституцию.

Государь по натуре индифферент-оптимист. Такие лица ощущают чувство страха только, когда гроза перед глазами, и, как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Их чувство притуплено для явлений, происходящих на самом близком расстоянии пространства или времени. Мне думается, что государь в те дни искал опоры в силе, он не нашел никого из числа поклонников силы—все струсили, а потому сам желал манифеста, боясь, что иначе он совсем стушуется. Кроме того, в глубине души не может быть, чтобы он не чувствовал, что главный, если не единственный, виновник позорнейшей и глупейшей войны это—он; вероятно, он инстинктивно боялся последствий этого кровавого мальчуганства из-за угла (ведь, сидя у себя в золотой тюрьме, ух, как мы храбры...), а потому как бы искал в манифесте род снискания снисхождения или примирения. Когда 17-го утром, после свидания его величества с великим князем Николаем Николаевичем, великий князь, барон Фредерикс и я пришли к нему и поднесли для подписи манифест и для утверждения мой доклад, то он, обратившись ко мне, сказал, что решился подписать манифест и утвердить доклад.

Затем, он сел у стола, ранее вставши, чтобы перекреститься, а потом подписал манифест и доклад. Это происходило в его

маленьком дворце (который был построен, когда он еще был наследником и в котором он всегда жил) в Петергофе на берегу моря, в его кабинете, не у стола, стоящего на возвышенности, где он принимает доклады, а на столе, на котором он занимается, стоящем в середине комнаты.

В октябрьские дни (т.-е. с 6 по 17) великие князья, кроме Николая Николаевича, повидимому, не видали государя. Императрица Мария Феодоровна была в Дании. 15-го граф Ламсдорф мне говорил, что наш посланник в Дании едет в Петербург из Копенгагена с каким-то поручением. Затем, 18 или 19 был у меня Извольский, расспрашивал о 17 октября и сказал мне, что он приехал сюда из Копенгагена с поручением от Марии Феодоровны передать его величеству, что, по мнению императрицы, нужно дать конституцию, но что он опоздал. То же мне затем передавал граф Ламсдорф, но я не знаю, передавал ли будущий министр иностранных дел государю о своем поручении или нет.

Тогда я не обратил на это никакого внимания; мне было не до того. Я, кажется, даже забыл отослать свою карточку Извольскому. Императрица Мария Феодоровна вернулась значительно позже 17 октября. После ее приезда я у нее был в Гатчине. Она, по обыкновению, меня приняла очень ласково, что имело место всегда после смерти императора Александра III. Это был последний раз (до настоящего времени), когда я наедине довольно долго с ней говорил. Относительно 17 октября она мне сказала, что в Петергофе ей сказали, что манифест был вырван. Я ей доложил, как было дело. Относительно настоящего и будущего положения дел я ей объяснил, что положение очень серьезное, море бушует, и нужно много хладнокровия, выдержки и твердости, чтобы море успокоилось, при чем я ей высказал, что, как это обнаруживается с каждым днем все более и более, я управлять страною не могу.

Государем владеет Трепов; он, Трепов, а не государь пишет мне резолюции. Государь уже мне не доверяет. При таком направлении дел ничего, кроме постоянной чепухи, происходить не может. Или пусть государь мне доверяет, или пусть передаст власть Трепову или тому, кому он доверяет, а таким образом невозможно вести дело. На это императрица мне буквально ответила следующее: «Вы хотите сказать, что государь не имеет ни воли, ни характера—это верно, но ведь в случае чего-либо его заменит Миша (великий князь Михаил Александрович). Я знаю, что вы Мишу очень любите, но поверьте мне, что он имеет еще менее воли и характера». Я на это ответил: «Вы, может быть, правы, но от этого не легче». Не знаю, передала ли императрица-мать своему августейшему сыну настоящий разговор? Думаю, что да.

В октябрьские дни, во время свиданий с его величеством, перечисленных в вышеприведенной высочайше подтвержденной справке, я имел случай высказать довольно много мыслей по собственной инициативе, или же вследствие вопросов или суждений, высказанных присутствующими. Когда я докладывал в присутствии императрицы Александры Феодоровны, она не выронила ни одного слова, сидела, как автомат, и по обыкновению краснела, как рак.

Во время этих свиданий я, между прочим, высказал следующее мнение. Люди созданы так, что стремятся к свободе и к самоуправлению. Хорошо ли это для человечества вообще или для данной нации в частности, это вопрос с точки зрения практики государственного управления довольно праздный, как, например, праздный вопрос—хорошо ли, что человек до известного возраста растет или нет? Если во-время не давать разумные свободы, то они сами себе пробьют пути. Россия представляет страну, в которой все реформы по установлению разумной свободы и гражданственности запоздали, и все болезненные явления происходят от этой коренной причины. Покуда не было несчастной войны, прежний режим держался, хотя в последние годы перед войной он уже претерпевал потрясения; несчастная война пошатнула главное основание того режима—силу и, особенно, престиж силы, сознание силы.

Теперь нет выхода без крупных преобразований, могущих привлечь на сторону власти большинство общественных сил. Тем не менее, я не советовал действовать скоропалительно, но принять твердые решения и, затем, от них не отступать и дать убеждение России, что принятые решения бесповоротны. Я говорил государю, что будет хуже всего, если он примет какое-либо решение вопреки своему убеждению или инстинкту, ибо решение это не будет прочно.

Высказывая самым определенным образом свои убеждения, резюмированные в опубликованном 17 октября моем всеподданнейшем докладе, высочайше утвержденном, я, вместе с тем, многократно повторял, что я, может быть, ошибаюсь, а потому усиленно советовал обратиться к другим государственным деятелям, которым государь доверяет, но, конечно, я не посоветовал это делать исподтишка, по секрету, а в особенности не посоветовал бы совещаться с такими ничтожествами, как Горемыкин, Будберг, не говоря уже о царедворственных лакеях по призванию (так душа создана). Зная, что его величество не обладает способностью понимать реальную сложную обстановку, я в особенности указывал на то, что положение так болезненно, что на скорое успокоение рассчитывать невозможно, какое бы решение ни принять. Когда я видел, что его величество желает (faute de mieux) возложить все бремя власти на меня, я счел

*

нужным выяснить ему положение вещей следующим примером:

«Приходится переплыть разбушевавшийся океан. Вам советует одно лицо взять такой-то курс и сесть на такой-то пароход, другое лицо—другой курс и другой пароход, третье—третий и т. д. На какой бы вы пароход ни сели и какой бы вы курс ни взяли—переплыть океан без некоторой опасности, а в особенности без больших аварий будет невозможно. Я уверен, что мой пароход и мой курс будут менее опасными и во всяком случае, с точки зрения будущего России, наиболее целесообразными.

Но если вы решитесь поехать на моем пароходе и взять мой курс, то вот что произойдет, ваше величество. Когда мы отойдем от берега, начнет качать, затем, будут ежедневные аварии, то что-либо в машине сломается, то те или другие палубные части будет сносить, то снесет тех или других спутников и тогда вам сейчас же начнут говорить—вот, если бы вы поехали на другом пароходе, то этого не было бы, если бы вы взяли другой курс, то этого не случилось бы и проч., и проч.

Так как подобные утверждения проверять нельзя, то всему можно поверить и тогда начнутся сомнения, дергания, интриги и все это для меня, несомненно, а главное, для дела кончится очень плохо...»

Государь это выслушал и показывал, что мне верит, но, конечно, то, что я предвидел, и случилось. Что же касается уверений государя, то я уже тогда знал, что ему вообще нельзя верить. Он сам себе не должен верить, ибо человек без направлений сам не может направиться, его направляют ветры и, к сожалению, большею частью даже из нехороших источников. Я счел необходимым и нравственно себя обязанным указать государю еще на следующее весьма важное обстоятельство, хотя по понятной причине мне было это тяжело высказать моему государю, которого я знал с юности, которому служил с первого дня его царствования и который есть сын того императора, перед памятью которого я молитвенно преклоняюсь.

Я обратил внимание его на то, что все мы живем под богом; если, чего боже сохрани, с ним что-нибудь случится, то останется младенец император и регент Михаил Александрович, совсем к управлению не подготовленный. Россия после Бирона не знала регентов; и это может произойти во время самой глубокой революции—не так еще действий, как духа России. Положение сделается для династии совершенно безвыходным. В виду этого необходимо, чтобы режим управления оперся на широкую платформу, на платформу русского общественного сознания, хотя бы со всеми недостатками, присущими сознанию толпы, в особенности, малокультурной. Я говорил, что лучше воспользоваться

хотя и неудобной гаванью, но выждать бурю в гавани, нежели в бушующем океане на полугнилом корабле.

После подписания 17 октября манифеста и утверждения моего доклада мы сели на пароход и пошли обратно в Петербург, куда вернулись к обеду. Ехал великий князь Николай Николаевич, барон Фредерикс, я, князь Оболенский и Вуич... Великий князь был в хорошем расположении духа, тоже и барон Фредерикс, который, впрочем, лишен способности понимать что-либо мышлением. Князь Оболенский был в восторженно-невменяемом расположении. В последние дни перед 17-м он неотступно ходил за мною, все уверяя, что все потеряно, если немедленно не последует манифест, что не помешало ему через несколько дней после подписания манифеста, когда все поуспокоилось, и страх в нем несколько улегся, заявить мне, что самый большой грех его жизни, который он никогда себе не простит, это то, что он так настаивал передо мною на манифесте.

Теперь в Виши, тому назад две недели, П. Н. Дурново мне говорил, что будто именно князь Оболенский устроил свидание великого князя Николая Николаевича с Ушаковым и что он ему как будто хвастал, что благодаря ему последовал манифест, что это он устроил через Нарышкина. Я этому не поверил, а потому, не зная, насколько это верно, думаю, что скорее это было маленькое хвастовство. Одно несомненно, что князь Алексей Дмитриевич Оболенский—мелкий человек, либеральный дворянин, философ училища правоведения.

Великий князь, обратившись ко мне, сказал: «Сегодня 17-е—это знаменательное число. Второй раз в это число спасается императорская семья (Борки)». Привожу этот эпизод лишь для характеристики настроения. Я же был совсем не в радужном настроении. Я отлично понимал, что придется много испить, главное же, зная государя, я предчувствовал, что он и в без того трудное положение внесет еще большие трудности, и в конце концов я должен буду с ним расстаться.

В Петербурге все ждали, чем это все кончится.

Знали, что ведутся какие-то переговоры со мною и с другими лицами, что идет какая-то борьба, и ждали, чья сторона возьмет верх, граф Витте—что представляло синоним либеральных реформ, или появится последний приступ мракобесия, который на этот раз, как того с нетерпением ожидали все революционеры, совсем свалит царствующий дом. Надежды эти были весьма основательны, так как царь возбуждал или чувство отвращения, злобы или чувство жалостного равнодушия, если не

презрения; великие князья были совсем или скомпрометированы, или безавторитетны: правительство, не имея ни войска, ни денег и не имея способности справиться с общим неудовольствием и бунтами, окончательно растерялось.

Вечером знали о манифесте 17 октября не только в Петербурге, но и в провинциях. Такого крупного шага не ожидали. Все инстинктивно почувствовали, что произошел вдруг «перелом» России XX столетия, но «перелом» плоти, а не духа, ибо дух может лишь погаснуть, а не переломиться. Сразу манифест всех ошеломил. Все истинно просвещенные, не озлобленные и не утерявшие веру в политическую честность верхов, поняли что обществу дано сразу все, о чем оно так долго хлопотало и добивалось, в жертву чего было принесено столь много благородных жизней, начиная с декабристов. Озлобленные, неуравновешенные и потерявшие веру в самодержавие считали, что вместе с режимом должны быть свалены и его высшие носители и, конечно, прежде всего, самодержец, принесший своими личными качествами столько вреда России. Действительно, он Россию разорил и сдернул с пьедестала и все только благодаря своей «царской ничтожности».

Многие побуждались к сему соображением, что он сдался, испугавшись, а как только его немного укрепят, он на все начхнет (что, между прочим, он проделал и со мной) и всему даст другое толкование: я, мол, пошутил, или меня обманули,— или найдет самые разнообразные толкования в Монблане русских законов и будет давать в каждом данном случае желательное по данному времени направление. А ведь лишь бы царь пожелал плавать в этом болоте лжи и коварства, а охотников с ним в этом болоте полоскаться всегда найдутся сотни, если не тысячи. Многие, если не все инородцы, которые так много натерпелись от различных мер, против них направленных, начиная с последних годов царствования императора Александра II, и затем усилившихся в царствование императора Александра III и уже без удержа применявшихся в безумное царствование императора Николая II, конечно, были рады несчастиям России.

Они с значительным увлечением, всегда присущим смутным временам, ждали своего рода освобождения от «русско-монгольского» ига. Всякая молодежь всегда склонна к увлечениям. Русская молодежь к сему была особенно склонна, отчасти из-за общей атмосферы малокультурной России, отчасти из-за тех принципов общего управления, из-за всей административно-государственной жизни, в атмосфере которой она жила.

Принципы не соответствовали, однако, тем культурным прогрессивным идеям, которым их учили в школах, в особенности в высших, и которые проповедывались печатно, хотя в сдержанно-цензурных формах, массою писателей. Многие из них временно

гремели не столько благодаря своим талантам, сколько благодаря тем прогрессивным, бегающим идеям, которые они проповедывали.

Достаточно вспомнить, что в так называемые писаревские времена (60—70-е г.г.) Пушкин был выкинут в сор, а Некрасов поднят на поэтический пьедестал, главным образом не из-за поэзии, а за политические претензии, в его стихах содержащиеся.

Вся русская молодежь уже во времена министра внутренних дел Горемыкина кипела, и с тех пор, т.-е. в течение 11 лет, кипение это все более и более усиливалось и дошло во времена Булыгина—Трепова до безумного бурления. А ведь молодежь, а в особенности университетская, более чем кто-либо способна на всякие эксцессы, на восприятие всяких умственных и духовных болезненных эпидемий.

Что собственно представляет собою молодежь? Ведь это зеркало, часто дающее преувеличенные, но все-таки в общем верные изображения духовного состояния общества, т.-е. мыслящей России. Для того, для которого это представляет несомненную истину, достаточно изучить жизнь высших школ за время царствования императора Николая II, чтобы понять, что все назрело для того, чтобы даже при малейшей неосторожности нарыв лопнул. А тут вышла не неосторожность, а из ряда вон выходящее мальчишеское безумие—Японская война, несомненно, нами вызванная.

Замечательно, что, главным образом во время войны кипение в высших учебных заведениях заразило почти все средние учебные заведения и не только мужские, но и женские. Вся молодежь сыграла громадную роль в так называемых беспорядках, предшествующих 17 октября. 17 октября произвело одновременно перелом в обществе, а потому и в молодежи, но, конечно, в октябрьские дни молодежь находилась, если можно так выразиться, в революционном недоумении; а так как молодежи внушали «не верьте, 17 октября есть не что иное, как маневр», то естественно, что молодежь находилась в полном революционном недоумении, бросаясь то к гимну «боже царя храни», то в громадном большинстве случаев к русской марсельезе.

Громадную роль в событиях 17 октября и в последующее время сыграли социалистические идеи в различных видах и формах, отрицающие и колеблющие право собственности по принципам римского права, мысли Толстого, учение Маркса и, наконец, просто «экспроприации» или грабеж под фирмою «анархического социализма». Эти социалистические идеи вообще сделали большие завоевания в Европе и в последнее полустолетие нашли себе отличную ниву в России вследствие неуважения

прав вообще и, в частности, права собственности со стороны властей и малой культурности населения.

Когда революционеры начали сулить рабочим фабрики, а крестьянам барскую землю и им доказывать, что в сущности это им и принадлежит, а только неправильно от них отнято, то понятно, что рабочие были охвачены дикими забастовками, а крестьяне «красным петухом» или, по преступному ораторскому изречению в первой Государственной Думе Герценштейна, «иллюминациями» (даже с ораторской точки зрения это только плагиат из речи одного из ораторов в эпоху французской революции). Эти явления весьма содействовали революционным вспышкам после 17-го октября в течение первых трех, четырех месяцев*.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Первые дни моего премьерства.

*Вернувшись 17 октября к обеду домой, я на другой день должен был снова поехать в Петергоф, чтобы объясниться относительно министерства. Одобрение моей программы в форме резолюции «принять к руководству» и подписание манифеста 17 октября, который в высокоторжественной форме окончательно и бесповоротно вводит Россию на путь конституционный, т.-е. в значительной степени ограничивающий власть монарха и устанавливающий соотношение власти монарха и выборных населения, отрезал мне возможность уклониться от поста председателя совета министров, т.-е. от того, чтобы взять на себя бразды правления в самый разгар революции.

Таким образом, я очутился во главе власти вопреки моему желанию после того, как в течение 3—4 лет сделали все, чтобы доказать полную невозможность самодержавного правления без самодержца, когда уронили престиж России во всем свете и разожгли внутри России все страсти недовольства, откуда бы оно ни шло и какими бы причинами оно ни объяснялось. Конечно, я очутился у власти потому, что все другие симпатичные монаршему сердцу лица отпраздновали труса, уклонились от власти, боясь бомб и совершенно запутавшись в хаосе самых противоречивых мер и событий.

Повторилось то, что случилось перед Портсмутом; точно так, как тогда государь был вынужден обратиться ко мне, чтобы я принял на себя тяжелую миссию ликвидировать постыдную войну, ибо Нелидов (посол в Париже), Муравьев (посол в Риме), князь Оболенский (В. С.—товарищ министра иностранных дел) от сей чести отказались, один по старости, другой по болезни, а третий по добросовестности, чувствуя себя к сему неспособным;

точно так и теперь государь был вынужден обратиться ко мне, потому что Горемыкин уклонился, граф Игнатьев испугался, а Трепов запутался в противоречиях и не знал, как удрать от хаоса, который в значительной степени им самим же был создан. Как в первый раз, так и теперь, во второй, я волею государя был брошен в костер с легким чувством: «Если, мол, уцелеет, можно будет затем его отодвинуть, а если погибнет, то пусть гибнет. Неприятный он человек, ни в чем не уступает и все лучше меня знает и понимает. Этого я терпеть не могу».

В Петергофе я успел объясниться только по следующим вопросам. Во-первых, было решено, что обер-прокурор Победоносцев оставаться на своем посту не может, так как он представляет определенное прошедшее, при котором участие его в моем министерстве отнимает у меня всякую надежду на водворение в России новых порядков, требуемых временем. Я просил на пост обер-прокурора святейшего синода назначить князя Алексея Дмитриевича Оболенского. С какою легкостью государь расставался с людьми и как он мало имел в этом отношении сердца, между тысячами примеров может служить пример Победоносцева.

Его величество сразу согласился, что Победоносцев остаться не может, и распорядился, чтобы он оставался в Государственном Совете, как рядовой член, и на назначение вместо него князя Оболенского. Затем мне пришлось ходатайствовать, чтобы за Победоносцевым осталось полное содержание и до его смерти, чтобы он оставался в доме обер-прокурора на прежнем основании, т.-е. чтобы дом содержался на казенный счет. Я, кроме того, заезжал к министру двора обратить его внимание на то, чтобы со стариком поступили возможно деликатнее, и чтобы его величество ему сам сообщил о решении частно.

Если бы я об этом не позаботился, то Победоносцев просто на другой день прочел бы приказ о том, что он остается просто рядовым членом Государственного Совета, и баста. Между тем, можно иметь различные мнения о деятельности Победоносцева, но несомненно, что он был самый образованный и культурный русский государственный деятель, с которым мне приходилось иметь дело. Он был преподавателем цесаревича Николая, императора Александра III и императора Николая II. Он знал императора Николая с пеленок, может быть, поэтому он и был о нем вообще минимального мнения. Он ему много читал лекций, но не знал, знает ли его ученик что-либо или нет, так как была принята система у ученика ничего не спрашивать и экзамену не подвергать. Когда я еще не знал Николая II, когда я только что приехал в Петербург и скоро занял пост министра

путей сообщения и спросил Победоносцева: «Ну, что же, наследник занимается прилежно, что он собою представляет как образованный человек?», то Победоносцев мне ответил: «Право не знаю, насколько учение пошло в прок».

Тогда же было решено, что не может оставаться министром народного просвещения генерал Глазов, который был министром народного просвещения только по «самодержавному» недоразумению или произволению. Я же тогда еще не решил, кто должен быть министром народного просвещения. Было решено также, что должен уйти Булыгин, министр внутренних дел, честный, прямой и благородный человек, бывший отличным губернатором, затем помощником московского генерал-губернатора и назначенный министром внутренних дел вопреки своему желанию только потому, что петербургский генерал-губернатор, а затем товарищ министра внутренних дел Трепов пожелал, чтобы министром был Булыгин, с которым он служил в Москве.

Трепов же пожелал иметь министром Булыгина для того, чтобы в сущности сделаться диктатором. Он и стал диктатором и способствовал окончательному доведению России до революции. Булыгин, как честный, уравновешенный человек, конечно, ужиться с дикими приемами своего товарища, а в сущности диктатора не мог, а потому постоянно просился, чтобы его отпустили, но государь, конечно, не отпускал, несомненно, ценя в Булыгине свойства ширмы и только.

Затем было в принципе решено, что я могу привлечь на посты министров и общественных деятелей, если таковые могут помочь своею репутацией успокоить общественное волнение.

Итак, в ближайшие дни помимо меня последовал уход Победоносцева и Булыгина, а также генерала Глазова, который был назначен помощником командующего войсками московского военного округа, и одновременно последовало назначение князя А. Д. Оболенского обер-прокурором святейшего синода.

На следующий день я пригласил к себе представителей прессы, находя, что пресса может оказать наиболее существенное влияние на успокоение умов. Действительно, кажется, 19 октября, утром ко мне (на Каменноостровский пр.) явились представители большинства петербургских газет. Отчет об этом собеседовании появился на следующий день во всех газетах и с особою подробностью в «Биржевых Ведомостях», вероятно, потому, что издатель и хозяин этой газеты, состоящий таковым и до сих пор, Проппер, преимущественно и даже почти исключительно говорил со мною от всей прессы в присутствии представителей почти всех газет. Пропперу никто из присутствующих не противоречил, несмотря на крайние его взгляды в смысле рево-

люционном. Представители правых газет—«Петербургских Ведомостей» (князь Ухтомский), «Нового Времени» (Суворин), «Света», «Гражданина»—как бы молчанием подтверждали, скажу откровенно, довольно нахальные в особенности по тону (свойственному образованным евреям, преимущественно русским) не то требования, не то заявления.

Представителями крайней левой прессы, кажется, «Богатства», делались заявления столь же крайние, но в устах их эти заявления были понятны, ибо они всегда составляли убеждение этих почтенных господ, да и тон их заявлений был другой. Иначе звучали заявления эти в устах Проппера, высказанные в весьма развязном тоне, того Проппера, который явился в Россию из-за границы в качестве бедного еврея, плохо владеющего русским языком, который пролез в прессу и затем сделался хозяином «Биржевых Ведомостей», шляясь по передним влиятельных лиц, того Проппера, который вечно шлялся по моим передним, когда я был министром финансов, который выпрашивал казенные объявления, различные льготы и, наконец, выпросил у меня коммерции советника. Значит, действительно случилось в России и прежде всего в этом изгнившем Петербурге что-то особенное, какой-то особый вид умственного помешательства масс, коль скоро такой субъект заговорил таким языком, а остальные представители прессы или потакали ему или молчали.

Будущий историк удивительного периода истории русской жизни во время царствования императора Николая, который пожелал бы ознакомиться с историей акта 17 октября, пусть обратится к отчету, появившемуся в газетах («Биржевые Ведомости») о сказанном собеседовании со мною представителей прессы (наверное, найдет в Публичной библиотеке). Конечно, эти отчеты очень произвольны и субъективны, но этот их характер еще более обрисовывает то психическое состояние русского общества, в котором оно находилось в октябрьские дни.

Что же собственно заявлял мне г. Проппер в присутствии представителей всей прессы?

— «Мы правительству вообще не верим». Согласен, что оно, когда начнет говорить о либеральных мерах, часто не заслуживает доверия. Теперь Столыпинский режим это нагляднее всего показывает. Если будет когда-либо издан сборник его речей в первой, второй и третьей Думе, то всякий читатель подумает,—какой либеральный государственный деятель, и одновременно никто столько не казнил и самым безобразным образом, как он, Столыпин, никто не произвольничал так, как он, никто не оплевал так закон, как он, никто не уничтожал так хотя видимость правосудия, как он, Столыпин, и все сопровождая самыми либеральными речами и жестами. Поистине, честнейший фразер. Но все-таки не Пропперу было мне после 17 октября

заявлять, что он правительству не верит, а в особенности с тем нахальством, которое присуще только некоторой категории русских «жидов».

Затем г. Проппер заявил требование, чтобы все войска были выведены из города, и охрана города была предоставлена городской милиции. Это, конечно, революционное требование. С моей точки зрения, для лица, которому была вручена власть и которое и являлось ответственным за ее действия, такое требование было особливо не приемлемо, ибо, конечно, я отлично понимал, что если я это сделаю, то сейчас же начнутся в городе грабежи и убийства, что мне через несколько дней придется ввести в город войска и пролить кровь тысячей людей. Между тем, что я себе ставлю в особую заслугу, это то, что за полгода моего премьерства во время самой революции в Петербурге было всего убито несколько десятков людей и никто не казнен. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней во время конституционного правления, когда по общему официальному и официозному уверению последовало полное успокоение. При этом казнит совершенно зря: за грабеж казенной лавки, за кражу 6 руб., просто по недоразумению и т. п. Одновременно убийца графа А. П. Игнатьева и подобные преступники часто не казнятся. А убийцы из союза русского народа «жидов», а в особенности больших «жидов»—Герценштейна, Иоллоса, или поощряются, или же скрываются, если не за фалдами, то за тенью министров или лиц еще более их влиятельных.

Можно быть сторонником смертной казни, но Столыпинский режим уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное, убийство по недоразумению. Одним словом, явилась какая-то мешанина правительственных убийств, именуемая смертными казнями. Если бы требование г. Проппера от имени прессы, по крайней мере в присутствии почти всех представителей, сделал представитель какого-либо крайне левого листка, социалистического или анархического направления, я бы его понял, но в устах Проппера при молчаливом участии остальных представителей печати требования эти для меня служили признаком обезумения прессы. Проппер также при одобрении всех представителей прессы заявил требование о немедленном удалении генерала Трепова.

Само собой разумеется, что, раз я стал председателем совета министров, диктатор Трепов оставаться не мог, но такое требование в устах Проппера лишило меня возможности сейчас же расстаться с Треповым, который, запутавшись, жаждал удалиться к более благоприятной для своей особы роли, и, вопреки просьбе Трепова, дать ему сейчас же возможность улепетнуть, я был

вынужден задержать его некоторое время (недели две), так как немедленное удаление его имело бы вид моей слабости, т.-е. слабости власти, мне врученной. И, опять-таки, кто предъявил это требование? Господин Проппер—тот самый, который ранее, а, вероятно, и после готов бы был поспать в приемной часок, другой, чтобы затем выхлопотать у его высокопревосходительства для своей газеты ту или другую льготу... Далее г. Проппер требовал всеобщей амнистии и опять столь же нахальным тоном.

При подобных требованиях для меня было ясно, что опереться на прессу невозможно и что пресса совершенно деморализована. Единственные газеты, которые не были деморализованы, это крайне левые, но пресса эта открыто проповедывала архидемократическую республику. Вся полуеврейская пресса, типичным представителем которой являлся Проппер, вообразила, что теперь власть в их руках, а потому самозабвенно нахальничала, вся же правая поджала совсем хвост и, чувствуя, что именно те принципы, которые она так яро проповедывала (принципы самодержавия, понимаемого не как высокий долг святого служения народу, а как забава человека, по умственному развитию вечно остающегося полу-ребенком и делающего то, что ему приятно), привели отечество в позорное состояние, замолкла и ожидала, куда судьба направит Россию. Наконец, везде наибольший успех с точки зрения коммерции (а все-таки главный стимул, направляющий большую часть прессы, это денежная выгода) имеют газеты типа «чего изволите», этим же газетам в то время было выгодно быть левыми, ибо этими левыми мыслями была поглощена почти вся читающая Россия.

Затем они поправели, а теперь черносотенствуют. Разительный пример такого направления представляет весьма талантливая и влиятельная газета «Новое Время», представляющая тип газетной коммерции, хотя, сравнительно, довольно чистоплотной и в некотором роде патриотической. Это все-таки одна из лучших газет.

Итак, ожидать помощи от помутившейся прессы я не мог, напротив того, газеты или желали, чтобы я был пешкою в их руках, или же ожидали тех или иных от меня благ: непосредственных (объявления, субсидии) или посредственных в смысле установления дальнейшего того или другого более или менее спокойного или, по крайней мере, определенного бытия. Через несколько дней после этого собеседования или, так сказать, конференции я узнал, в чем дело. Еще до 17 октября, в последние месяцы диктаторства Трепова, образовались всякие союзы, т.-е. союзы различных профессий—союз наборщиков, союз техников и инженеров и т. п.; эти союзы представляли апофеоз русской революции осени 1905 г., они руководили забастовками и принципиальным ослушанием правительству. В это же время

был образован союз прессы в Петербурге, в этом союзе приняли участие почти все издания, в том числе и «Новое Время».

Союзом было решено не подчиняться цензурной администрации и, в случае напора правительственных властей, устраивать своего рода забастовки и пассивное сопротивление. В союз этот вошли и консервативные издания, т.-е. консервативная пресса «чего изволите», потому что в то время, начиная с Гапоновской демонстрации рабочих с расстрелом сотней из них, приобрели особую силу всякие рабочие союзы, а в том числе союз наборщиков. Можно сказать, что редакции были в руках своих рабочих—наборщиков, а потому не только в виду общего тяготения к либеральным идеям, но и по карманным соображениям, почти все газеты революционировали и, во всяком случае, значительно способствовали революционированию масс или, точно говоря, внесению в массы самых смутных течений, в общем сводящихся к опорочиванию существовавшего режима и к водворению общей ненависти как к режиму, так и к его слугам.

Вот почему, когда Проппер предъявлял мне, как председателю совета министров, нахальные требования, он встречал молчаливое согласие с ним представителей всей петербургской прессы. Конечно, Проппер от имени прессы предъявил требование и о полной свободе прессы, на что я ответил, что, покуда не будет издан новый закон о печати, должен исполняться старый, но что я ручаюсь, что цензура будет держать себя в смысле оповещенной манифестом 17 октября свободы слова. Это я и исполнил.

Вся пресса должна признать, что никогда в России, считая до сегодняшнего дня, печать не пользовалась фактически такою свободою, какою она пользовалась во время моего министерства. Никакие нападки на меня и мое министерство, делаемые в самых грубых и лживых формах, за время моего министерства не вызвали ни одной репрессивной меры. Были приняты меры п р о т и в н е к о т о р ы х г а з е т лишь через некоторое время после 17 октября, когда появился манифест союза рабочих, требующий прекращения внесения золота в кассы, востребования вкладов из сберегательных касс и вообще вносивший общую панику в публику относительно состоятельности государства исполнить принятые на себя обязательства; и то меры эти были приняты только относительно тех газет, которые не желали исправить свою ошибку, которые как бы являлись солидарными с революционным манифестом, который имел в виду поставить государство в положение банкротства.

Конечно, ни одно правительство самой наилиберальнейшей страны не допустило бы, или, вернее, не оставило бы безнаказанным такие явно революционные выступы, при чем выступы со сведениями заведомо ложными, рассчитанными на невежество

толпы и общую умственную и душевную смуту или, вернее, на общий психический кавардак. Подобные революционные выступы, широко поддерживаемые прессой, имели решительный успех; так в самое короткое время было взято из сберегательных касс вкладов более, чем на 150 милл. руб. Такая паника после несчастной войны, стоившей около 2.500 милл. руб., конечно, поставила наши финансы и денежное обращение в самое трудное, скажу, отчаянное положение, и одной из главных моих задач явилось не допустить государственные финансы до банкротства. Но об этом я буду иметь случай говорить дальше.

Возвращаясь к сказанному инциденту с манифестом совета союза рабочих, вспоминаю маленький, но характеристичный случай, происшедший с «Новым Временем», рисующий моральное состояние прессы в то время и специально аллюры газеты «чего изволите», т.-е. «Нового Времени».

Когда появился сказанный манифест, я собрал совет министров, на котором было принято решение, что относительно тех газет, которые его пропечатают, с целью его распространения, будут приняты экстраординарные меры. Зная давно Алексея Сергеевича Суворина, зная всю вертлявость «Нового Времени» и желая уберечь Алексея Сергеевича от урона, после принятого советом решения, я его вызвал по телефону и имел с ним приблизительно следующий коллоквиум:

«Вы знаете о появившемся возмутительнейшем манифесте, прямо враждебном родине?»—«Да, слыхал».—«Ну, как же вы думаете к нему отнестись, думаете отпечатать в утреннем номере?»—«Не знаю».—«А я вам советую узнать».—«Кажется, мои его завтра выпустят, что я с ними сделаю?»—«Ну, Алексей Сергеевич, предупреждаю вас, что вам, т.-е. «Новому Времени», от этого не поздоровится, а затем делайте, как хотите». Далее я оборвал разговор.

На другой день вышло «Новое Время» без манифеста. По справке оказалось, что манифест был набран и должен был появиться через несколько часов в «Новом Времени», но мое предупреждение всполошило Суворина, который забил тревогу, и манифест был выпущен.

Вообще, в то время газеты были в руках наборщиков, так как издатели, руководимые коммерческим расчетом, опасались забастовок «Новое Время», в том числе Алексей Сергеевич Суворин и пресловутый Меньшиков, висели между адом и раем, а когда мне удалось погасить пароксизмы революции, то эти самые господа самым наглым образом начали обвинять меня в слабости, совсем упуская из виду, что, если они сожалеют об недостаточной силе плети и расстрелов, то, ведь, они сами прежде всего должны бы были испробовать на себе плеточный способ лечения от умопомешательства.

Само собой разумеется, что после 17 октября не мог остаться в моем министерстве воплощенный интриган великий князь Александр Михайлович, да, в сущности, не мог остаться ни в каком министерстве при режиме, основанном на народном представительстве, т.-е. на парламентах. Поэтому явился вопрос, что же мне делать с этим великокняжеским ублюдком, созданным из одного отделения департамента торговли и мануфактур министерства финансов. Я мог или вернуть эту часть министерству финансов, а то, что было взято из министерства путей сообщения (порты), вернуть в это министерство, или образовать из него министерство торговли, выделив из министерства финансов, которое было вместе с тем и министерство торговли, все, что касается торговли и промышленности. Я решился на последнее, и его величество изъявил свое согласие. Но тут явилось некоторое замедление, так как мне нужно было предупредить об этом моем решении министра финансов Коковцова, представляющего собою пузырь, наполненный петербургским чиновничьим самолюбием и самообольщением. До того времени вопрос об управлении торгового мореплавания несколько дней находился в воздухе, но великий князь Александр Михайлович удалился, и временно остался его помощник Рухлов (нынешний министр путей сообщения), который знал, что должен будет из министерства моего тоже удалиться, так как я не желал иметь в его лице соглядатая великого князя Александра Михайловича.

В первые дни после 17 октября было необходимо решить вопрос о назначении, вместо генерала Глазова, министра народного просвещения. Это назначение было особенно важно, так как все учебные заведения министерства народного просвещения или бастовали или занимались более политикою, нежели учением. Политика проникла и во все средние, как мужские, так и женские учебные заведения. Я остановился на члене Государственного Совета и сенаторе, известном юристе-криминалисте, заслуженном профессоре петербургского университета Таганцеве, человеке весьма либеральных, но разумных идей, пользовавшемся большою популярностью в университетском мире, поныне находящемся в Государственном Совете на хребте или переломе так называемого центра (Столыпинских угодников) и левых. Я просил его заехать ко мне. Он приехал, и я ему передал мое предложение занять пост министра народного просвещения, на что его величество изъявил согласие. При этом я ему советовал взять в товарищи Постникова, декана экономического отделения (ныне директора) петербургского политехникума.

Против последнего он не возражал, а относительно поста министра народного просвещения просил дать подумать сутки, при чем он мне заявил, что он чувствует себя несколько больным,

нервами. Кто в это время не был болен нервами? И я тоже был совсем болен, особливо после поездки в Америку.

У меня также был Постников, я его предупредил о предположении предложить ему пост товарища министра народного просвещения и просил его повидаться с Таганцевым. На другой день они оба пришли, и произошло следующее. Таганцев, очень взволнованный, заявил мне, что он не чувствует себя в силах принять мое предложение, я его начал уговаривать, и это продолжалось несколько минут. Он схватил себя за голову и, с криком «не могу, не могу», убежал из моего кабинета; я вышел за ним, но его уже не было, он схватил пальто и шапку и убежал. Постников мне говорил, что он его тоже пробовал уговаривать, но не смог. Повидимому, в то время перспектива получить бомбу или пулю никого не прельщала быть министром.

Затем я решил ранее, чем решать дальнейшие вопросы о министерстве, призвать общественных деятелей, которым можно было бы предложить войти в министерство. Я остановился на Шипове (известном земском деятеле, затем бывшим членом Государственного Совета от московского земства), полагая предложить ему пост государственного контролера, Гучкове (нынешнем лидере октябристов в Государственной Думе, а до 17 октября шедшем вместе с кадетами Милюковым, Маклаковым, Герценштейном и пр.), полагая предложить ему пост министра торговли, князе Трубецком (профессоре московского университета, тогда профессоре киевского университета, затем члене Государственного Совета), М. А. Стаховиче (предводителе орловского дворянства, ныне члене Государственного Совета), которому я предполагал предоставить место одного из товарищей министров, наконец, князе Урусове (бывшем при Плеве кишиневским, а потом тверским губернатором, затем членом первой Государственной Думы), брате жены несчастного Лопухина. Шипова я лично знал, хотя мало; во всяком случае, он такой человек, убеждения которого можно разделять или не разделять, но которого нельзя не уважать, так как он чисто и честно провел свою долговременную общественную жизнь.

Гучкова я лично совсем не знал, знал, что он из купеческой известной московской семьи, что он университетский, бравый человек и пользовался в то время уважением так называемого съезда общественных (земских и городских) деятелей. Я после узнал, что это тот самый Гучков, которого я уволил из пограничной стражи Восточно-Китайской дороги, года два или три до моего с ним знакомства. Повидимому, этот эпизод оставил в Гучкове довольно кислое ко мне расположение [1]).

[1]) См. стр. 402.

Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле «gentilhomme», весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающийся и легкомысленный русскою легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае это во всех отношениях чистый человек. Он также все время участвовал в съезде общественных деятелей до 17 октября и после, до первой Думы, куда он был выбран от Орловской губернии членом. Зная и рассчитывая, что он будет выбран, он от всякого правительственного поста в разговоре со мной отказался, но все время участвовал в совместных совещаниях сказанных общественных деятелей со мною. Вероятно, у того или другого из этих деятелей есть мемуары о нашем совещании, с объяснениями, почему мы разошлись. Очень жаль, что я их не прочту, ибо я старее их летами.

Князя Трубецкого я тоже лично знал, но он был брат другого профессора князя Трубецкого, который государю сказал прогремевшую речь и стал этим весьма популярен. Я говорю о речи, сказанной им, когда он с некоторыми общественными деятелями, в том числе Петрункевичем, был принят государем уже во время диктаторства Трепова.

Трепов имел наивную мысль, что, если государь примет им выбранных из числа бунтующих рабочих после Гапоновской истории, а затем таких же бунтующих общественных деятелей и скажет им по шпаргалке речь более или менее такого содержания: «Я знаю ваши нужды, мною будут приняты меры, будьте покойны, верьте мне, тогда все пойдет прекрасно», то бунтующие расстают, публика прольет слезы, и все пойдет по-старому; что подобные слова могут заставить забыть всю ужасную войну и всю мальчишескую политику, к ней приведшую, политику исключительного царского произвола: «Хочу, а потому так должно быть».

Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который т о л ь к о вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование,—сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно...

Независимо от престижа брата, князь Трубецкой и лично пользовался в университетской среде прекрасной репутацией. Когда я затем, перед совещанием с вышепоименованными общественными деятелями, в первый раз увидел и познакомился с князем Трубецким, сделал ему предложение занять пост министра народного просвещения и начал с ним объясняться, то сразу

*

раскусил эту натуру. Она так открыта, так наивна и вместе так кафедро-теоретична, что ее нетрудно сразу распознать с головы до ног.

Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он, вообще, может быть министром, и, в конце концов, и я не мог удержать восклицания: «кажется, вы правы».

О князе Трубецком я, конечно, ранее слышал, но о князе Урусове совсем не слыхал. Князь Н. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, мне его усиленно рекомендовал в министры внутренних дел. Я расспрашивал о его карьере, она оказалась без каких бы то ни было изъянов, если не считать изъяном невозможность ужиться с бессовестно-полицейскими приемами Плеве, но у меня явилось сомнение в том, может ли он занять столь ответственный пост, как министра внутренних дел и полиции, в виду полной неопытности его в делах полиции, особливо русской полиции, особого рода после всех провокаторских приемов, насажденных Плеве и Треповым, которые теперь начали проявляться (шила в мешке не утаишь), т. е. выплыли наружу (Азеф, Гартинг), несмотря на все желание Столыпина эти скандальные истории затушить.

Я высказал мои сомнения князю Оболенскому, прося его не говорить князю Урусову, что ему я намерен предложить именно пост министра внутренних дел, хотя князь Оболенский старался парировать мои сомнения соображением, что князь Урусов очень тонкий человек и сумеет овладеть деликатным полицейским делом в империи, преимущественно полицейской, а при теперешнем конституционном режиме Столыпина—империи архи-полицейской, ибо суд окончательно подчинился полиции.

Я решил всех вышеупомянутых деятелей вызвать сразу, дабы иметь общее собеседование, что и поручил сделать князю Оболенскому, но приезд их замедлился, так как некоторые отсутствовали из их постоянного местожительства, а затем забастовка железных дорог задержала (например, князя Урусова, который оказался в Ялте) съезд на несколько дней.

Когда князь Урусов приехал и я с ним познакомился, он на меня произвел прекрасное впечатление, но мое предположение о том, что он не может сразу занять в такое трудное время пост министра внутренних дел, подтвердилось из разговоров с ним. Было ясно, что он не будет иметь достаточный авторитет.

Я очень мало встречался с князем Урусовым во время моего премьерства (он принял пост товарища министра внутренних дел), а после моего премьерства я его ни разу до сего времени не видал, но я не знаю ни одного до сего времени факта, который бы дурно рекомендовал его—князя Урусова. Я его считаю человеком порядочным, чистым, очень неглупым, но несколько увлекшимся. Но разве он один увлекся?..

По крайней мере он увлекся не эгоистично, а идейно и остался верным себе. А г. Гучков, ведь он исповедывал те же идеи, был обуян теми же страстями, как и князь Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17-го октября, так и после, а как только он увидал народного «зверя», как только почуял, что, мол, игру, затеянную в «свободы», народ поймет по-своему, и именно прежде всего пожелает свободы—не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость, то в нем, Гучкове, сейчас же заговорила «аршинная» душа, и он сейчас же начал проповедывать: «Государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских дворян и буржуа-аршинников определенного колера».

Итак, я был лишен возможности составить новое министерство, сочувствующее 17-му октября или, по крайней мере, понимающее его неизбежность, в течение ближайших недель, что, конечно, содействовало общей неопределенности, растерянности власти в ближайшие 10—12 дней после 17 октября. Я это предвидел, что ясно из изложения моего, как появилось 17-е октября.

В сущности, я должен был в это время один управлять Россией,—Россией поднявшеюся, революционировавшеюся, не имея в своих руках никаких орудий управления сложным механизмом империи, составляющей чуть ли не $^1/_6$ часть всей земной суши с 150 миллионным населением. Если к этому прибавить, что забастовка железных дорог, а потом почты и телеграфа мешали сообщениям, передаче распоряжений, что 17-е октября для провинциальных властей упало, как гром на голову, что большинство провинциальных властей не понимало, что случилось, что многие не сочувствовали новому положению вещей (например, одесский градоначальник Нейдгардт), что многие не знали, в какую им дудку играть, чтобы в конце концов не проиграть, что одновременно действовала провокация, преимущественно имевшая целью создавать еврейские погромы, провокация, созданная еще Плеве и затем, во время Трепова, более полно и, можно сказать, нахально организованная, то будет совершенно ясно, что в первые недели после 17-го октября проявилась полная дезорганизация власти, как говорится, «кто шел в лес, а кто по дрова», одним словом, можно сказать, действовала сломанная неорганиз-

зованная власть, которую потом окрестили растерянной властью.

Я, с своей стороны, знаю, что я был безвластный, а затем все время моего премьерства с властью, оскопленною вечною хитростью, если не сказать, коварством императора Николая II, но никогда, ни во время моего министерства (с 20-го октября 1905 г. по 20-е апреля 1906 г.), ни после его, когда правые организации не без ведома Царского Села, если не императора, организовали против меня охоту, как на дикого зверя, посредством адских машин, бомб и револьверов, ни в настоящее время я себя не чувствовал и не чувствую растерянным.

Я теперь себя чувствую серьезно нервно расшатанным—расшатанным вследствие разочарования во многих из тех знаменосцев, которые ныне держат знамена, которым мои предки и я всю свою жизнь служили и которым я не изменю до гроба, несмотря на все горькие и стыдные чувства, которые возбуждают во мне эти знаменосцы и, главнейше, их царственный глава.

Еще до 17-го октября у меня был товарищ министра внутренних дело Дурново (Петр Николаевич), который мне высказывал, что, покуда будет у власти Трепов, будет произвол, покуда же будет произвол, будут все революционные выступы. То же он счел нужным высказать и немедленно после 17-го октября, когда, вследствие оставления поста Булыгиным, он начал самостоятельно заведывать теми частями министерства внутренних дел, которых не касался Трепов или, вернее говоря, которых он считал возможным не касаться. При этих свиданиях он мне намекал, что единственно, кто мог бы удовлетворить требованиям для поста министра внутренних дел, это он. Он действительно прошел службу, давшую ему обширный опыт. Будучи сперва морским офицером, при преобразовании судебных учреждений в России он сделался судебным деятелем и дослужился до товарища прокурора судебной палаты в Киеве. Я сам несколько раз слышал от графа Палена, который был министром юстиции в самые лучшие времена новых судебных учреждений, в первое десятилетие после их постепенного введения, что он уже тогда, в семидесятых годах, хорошо знал судебного деятеля Дурново и ценил его способности и энергию.

В начале восьмидесятых годов он—Дурново—был назначен директором департамента полиции вместо Плеве, назначенного товарищем министра, того Плеве, который еще не износил свою либеральную шкуру, в которой он преклонялся перед графом Лорис-Меликовым, хотевшим положить начало народного представительства, и затем перед графом Игнатьевым, носившимся с идеею земского собора, что в наши времена (после преобразо-

ваний, начиная с Петра Великого) означает заведомый или наивный самообман.

Я очень мало, даже почти совсем не знаю деятельности Дурново, как директора департамента полиции, я имел лишь несколько раз случай слышать от лиц, имевших несчастие поделом или невинно попасть под ферулу этого заведения, что Дурново был директором довольно гуманным, но знаю по слухам причину его ухода. Дурново имел и до сего времени сохраняет некоторую слабость к женскому полу, хотя в смысле довольно продолжительных привязанностей. Будучи директором департамента, он увлекся одной дамой довольно легкого поведения и затем употребил своих агентов, чтобы раскрыть измену этой дамы с испанским послом посредством вскрытия из ящика стола сего посла писем этой дамы к послу. Затем, конечно, он сделал сцену этой особе, находившейся у него на содержании. Все это осталось бы неизвестным, если бы в данном случае дело не касалось испанского посла, который возьми да и напиши об этом императору Александру III, и если бы не царствовал такой император, который имел отвращение ко всему нравственно нечистому. Император написал такую резолюцию, обозвавши виновного соответствующим данному случаю эпитетом, что тот должен был немедленно покинуть место директора департамента полиции, с каковым положением связана большая власть и значительные денежные средства в безотчетном распоряжении.

Министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново (совсем не родственник Петру Николаевичу) еле-еле уговорил государя не увольнять его совсем, а назначить в сенат. Таким образом, он—П. Н. Дурново—был довольно долго в сенате и все время отличался между сенаторами разумно-либеральными идеями; особенно Дурново являлся всегда в сенате защитником евреев, когда слушались дела, в которых администрация старалась софистическими толкованиями сузить и без того крайне узкие и несправедливые законы для еврейства.

Таким образом П. Н. Дурново являлся в сенате сенатором, на которого обращали внимание и с логикой которого считались. Я же его лично не знал впредь до следующего эпизода. Как-то раз, уже тогда, когда министром внутренних дел был Сипягин, мне докладывают, что сенатор П. Н. Дурново просит меня его принять. Я его принял, и он сразу, в первый раз меня увидавши, отрекомендовавшись мне, просил меня выручить его из большой беды.

Он играл на бирже и проигрался: чтобы его выручить, ему нужно было безвозвратно шестьдесят тысяч рублей. Я ему ответил, что сделать это не могу и не имею никакого основания просить об этом его величество. Он меня на это спросил, как я поступлю, если ко мне обратится с подобною просьбою министр

внутренних дел Сипягин. Я ему сказал, что, несмотря на наши добрые с ним—Сипягиным—отношения, я ему откажу и советую, если он—Сипягин—обратится к его величеству, тоже меня оставить в стороне, ибо я буду противиться и государю.

На другой день я встретился с Сипягиным, и он меня спросил, как я отношусь к П. Н. Дурново; я ему ответил, что к деятельности его в сенате я отношусь с уважением, как к деятельности толкового и умного человека, а так, вообще, я Дурново не знаю. Затем он меня спросил, что я думаю, если он пригласит Дурново в товарищи; я ему на это ответил, что Дурново должен отлично знать министерство, что ему—Сипягину—необходимо умного и деятельного, а также опытного товарища, но я ему не советовал бы поручать Дурново дела полиции и вообще такие дела, в которых есть вещи неконтролируемые, делаемые не на белом свете. На это мне Сипягин ответил: «Это я знаю».

Вскоре после сего разговора были назначены товарищами министра П. Н. Дурново и генерал-майор князь Святополк-Мирский, при чем последний был командующий корпусом жандармов и в его ведении был департамент полиции, посколько сим департаментом не занимался сам министр Сипягин. Кроме того, остался товарищем министра князь Оболенский, бывший товарищем, и весьма влиятельным, при Горемыкине. Сипягин был на ты с князем Оболенским и был с ним весьма дружен, но ему не доверял; он говорил, что Оболенский прекрасный, честный человек, но очень уже любящий делать карьеру.

Что же касается Дурново, то Сипягин с ним советовался тогда, когда нуждался в том или другом совете, но специально поручил ему почты и телеграфы, и Дурново вел хорошо главное управление почт и телеграфов. Относительно выдачи какой бы то ни было суммы Дурново Сипягин ко мне никогда не обращался и после мне сознался, что он выдал Дурново, чтобы покрыть его потерю на бирже, из сумм департамента полиции. Во время Сипягина Дурново вел себя совершенно корректно. Когда Сипягин заболел и начали против него интриговать и князь Оболенский пожелал иметь личные доклады у его величества, вероятно, рассчитывая на характер государя императора, то Дурново отнесся к этим интригам, как весьма корректный человек.

Затем вступил министр Плеве; они друг друга ненавидели; Дурново занимался только почтами и телеграфами и вел себя корректно. Когда же убили Плеве, министром стал князь Мирский.

Дурново остался товарищем и при Мирском и держал себя совершенно корректно.

Наконец, когда ушел Мирский, назначили Булыгина—Трепова, Дурново держал себя совершенно корректно относительно первого и весьма критиковал Трепова.

При обсуждении мер, предуказанных указом 12 декабря, что было поручено комитету министров, а я тогда был председателем сего комитета, Дурново держал себя в высшей степени корректно и когда замещал в комитете министра высказывал мысли разумные и либеральные. Все изложенное послужит затем объяснением, почему я решился в конце концов взять в мое министерство министром внутренних дел Петра Николаевича Дурново, и это при тех обстоятельствах, при которых я очутился, было одною из существенных моих ошибок, которая значительно способствовала ухудшению и без того трудного моего положения, как председателя совета министров*.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Трепов и великий князь Николай Николаевич.

*Как только я стал председателем совета, в первые же дни генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел, а в сущности диктатор, Трепов выразил мне желание оставить свой пост и удалиться (это было выражено по телефону, а потом подтверждено письмом). Я не давал решительного ответа по причинам вышеизложенным.

Дней через 10—14 после 17 октября он меня уже официально просил его освободить, я ему ответил по телефону, что его не удерживаю. На другой день утром я еду на пристань, чтобы сесть на казенный пароход и ехать к государю с докладом, в котором между прочим хотел доложить и о просьбе Трепова. На пароходе застаю Трепова. Говорит, что едет в Петергоф. Я говорю: «Вы вернетесь со мною?» Он мне отвечает: «Нет, я больше совсем не вернусь, я остаюсь в Петергофе, будучи назначен дворцовым комендантом». Меня это крайне удивило, во-первых, потому, что я об этом совсем и никем не был предупрежден, а во-вторых, что его выезд имел характер какого-то бегства из Петербурга. Действительно, он там и остался, туда были привезены его вещи и на другой день был опубликован высочайший приказ о его назначении, для его ближайших подчиненных совершенно неожиданно.

При докладе государю я между прочим сказал, что хотел доложить о прошении Трепова, но Трепова застал на пароходе, который сообщил мне, что он—Трепов—уже назначен дворцовым комендантом. Я прибавил, что с своей стороны очень рад этому назначению, так как единственная задача дворцового коменданта есть охрана жизни его величества, и что Трепов, вероятно, теперь приобрел такую полицейскую опытность, что успешно разделит этот труд и ответственность со мною и министерством. Государь на это ничего не ответил, замял этот разговор.

Во время царствования императора Александра III, когда вещи называли своими настоящими именами, была должность начальника охраны его величества, которому подчинялись военные части, специально охраняющие государя, и в руках которого находилась вся секретная полиция, непосредственно охраняющая государя и его августейшую семью.

При Николае II, сейчас же по его вступлении на престол, было признано как бы неудобным иметь начальника охраны, кто на такого императора, как Николай II, может покуситься?... Должность начальника охраны была упразднена, но одновременно создана новая должность дворцового коменданта, как бы только начальника внешнего порядка. В действительности же получилась только разница в том, что прежде должность начальника охраны занимали такие сравнительно крупные лица, как граф Воронцов-Дашков, генерал-адъютант Черевин, а при Николае II такие сравнительно ничтожные люди, как Гессе, князь Енгалычев, наконец, и роковой Трепов, а теперь той же категории комендант Дедюлин; прежде военная охрана была гораздо малочисленнее, а теперь значительно возросла; прежде и полицейский штат был несравненно меньший и, наконец, при Александре III охрана его величества занималась только охраной его величества, а при Николае II обратилась кроме того в «черный кабинет» и «гвардию» секретной полиции.

Вслед за Треповым ушел директор департамента полиции министерства внутренних дел Гарин и был, несмотря на молодость и малую службу, прямо назначен сенатором, вопреки заключению министра юстиции, почтеннейшего Манухина.

Это тот Гарин, который теперь стреляет дробью мелкую интендантскую сошку, это обыкновенный прием Столыпинского министерства, чтобы наивным показать—вот мы какие, но, конечно, эта охота на интендантскую сошку тем и кончится и не коснется никого не только из высокопоставленных, но хотя бы из среднепоставленных лиц для того, чтобы не делать недоброжелателей. Затем сенатор Гарин начал жить в резиденциях государя, там, где дворцовый комендант Трепов, и в самом непродолжительном времени сделался неофициальным статс-секретарем генерала Трепова в новой его роли постоянного охранителя, советника и помощника государя императора в текущих делах.

Уже через несколько недель после 17 октября я почувствовал совсем другой тон многих высочайших резолюций, тон канцелярский с длинными мотивами и канцелярско-хитрыми заключениями. Помню, например, подобные резолюции, конечно,

всегда написанные собственноручно на журналах и мемориях совета:—«Это мнение не согласно с кассационным решением сената от такого-то числа, такого-то года, по делу такому-то, разъясняющим истинный смысл такой-то статьи, такого-то тома, такой-то части закона». Я недоумевал, в чем тут дело? Но скоро я узнал, что почти все доклады, кроме прямо касающихся дипломатии и обороны государства, передаются генералу Трепову; генерал Трепов при помощи находящегося у него в качестве делопроизводителя сенатора Гарина пишет проекты резолюций, которые затем представляются государю, и государь ими пользуется. Тогда мне стало ясно, в чем дело, ибо государь всю свою жизнь и по сие время никогда не открыл ни одной страницы русских законов и их кассационных толкований, да наверное и до сего времени не разъяснит, какая разница между кассационным департаментом сената и другими его департаментами.

По психологии государя сенат—это коллегия высоких чиновных лиц, им назначаемых по заслугам, симпатии и протекции, и которые, как более опытные люди, решают по справедливости и к благу государства, а следовательно прежде всего его и царской семьи, наиболее важные дела.

Министр же юстиции—это своего рода инспектор, докладывающий ему по всем делам, касающимся правосудия, когда же нужно творить уже совершенно явное неправосудие, то тогда нужно обращаться к другому его докладчику, главноуправляющему комиссией прошений или попросту сказать главному делопроизводителю одного из отделений его канцелярии.

Когда я оставил пост председателя совета и образовалось министерство Горемыкина, то один из моих приятелей, очень преданный и любящий государя, спросил министра двора, прекраснейшего барона Фредерикса: «Ну, какое же на вас производит впечатление совет при новом министерстве?» На это он получил ответ: «Вы знаете, я графа Витте весьма уважаю и ценю, но министерство Горемыкина как-то спокойнее заседает и относится как-то более сердечно и почтительно к резолюциям его величества. Вот вчера в совете читались резолюции государя с целым рядом указаний на различные статьи закона, и после заседания Горемыкин мне со слезами сказал, что он поражен памятью и знанием его величества законов». Я сказал моему приятелю: «А вы спросили барона, что чиновник-сенатор Гарин делопроизводительствует ли до сих пор при вице-императоре Трепове или нет?».

Понятно, что Трепов, товарищ министра внутренних дел, петербургский генерал-губернатор, начальник петербургского гарнизона, более или менее официальный диктатор, значи-

тельно способствовавший к приведению внутреннего состояния России в то положение, в котором она очутилась к концу 1905 года, оставив все эти официальные посты и в один прекрасный день переехавший в аппартаменты, находящиеся около покоев его величества, заняв, повидимому, скромное, не политическое положение дворцового коменданта, а в сущности положение совершенно безответственного диктатора, род азиатского евнуха европейского правителя, неотлучно находящегося при его величестве, еще большее приобрел влияние, нежели то, которым он пользовался до 17-го октября.

Вообще на всякого человека естественно может оказывать наибольшее влияние тот, кто его чаще видит, кто при нем постоянно находится, в особенности человек с столь наружными решительными аллюрами, которыми отличался Трепов, но на людей слабовольных, у коих характер заменяется упрямством, конечно, это влияние было подавляющее. К тому же вся охрана государя была в его распоряжении, необходимые суммы тоже в его бесконтрольном распоряжении, все советы, прошенные и непрошенные, могли исходить от него, он был посредником между всякими конфиденциальными записками, подаваемыми на имя его величества, а император Николай с самого начала своего царствования оказался большим охотником до всяких конфиденциальных и секретных записочек, а иногда и приемов. Это у него своего рода страсть, явившаяся может быть из чувства забавы. А тут еще в такое бурное время да при таком политическом столпе, как Трепов, полицейском генерале свиты его величества, родившемся так сказать от полиции и в полиции воспитавшемся. Понятно, что всякие проекты, критики, предположения начали сыпаться в новую главную полицейскую квартиру его величества, а от Трепова зависело, что хотел—подать государю, особенно рекомендовать царскому вниманию, а что хотел—смазать, как недостойное государева внимания. (Государю ведь действительно и без того столько приходится читать.) А если записок и проектов на желательную тему, например, такого содержания—как хорошо бы было такого-то министра прогнать—нет, то ведь всегда такую записку можно заказать, и она будет прекрасно написана, литературно и до слез патриотично. Само собою разумеется, что при таком положении вещей, как только стало ясным, что благодаря 17-му октября потрясенный трон укрепляется, что о возможности царской семье покинуть Россию не может быть речи, что интеллигентная часть общества впала в своего рода революционное опьянение не от голода, холода, нищеты и всего того, что сопровождает жизнь 100-миллионного непривилегированного русского народа или, точнее говоря, голодных подданных русского царя и русской державы, а в значительной степени от умственной чесотки и либерального ожире-

ния (Морозов, Набоков, князья Долгоруковы, Пергамент и пр., и пр.), в то опьянение, которое страшно испугало имущих и по непреложному закону вызвало страшную реакцию, когда явились все эти обстоятельства, которые вызвали в глубине души сожаление, для чего я подписал 17-е октября, то естественно явилась попытка если не аннулировать напрямик, то по крайней мере косвенными путями (не мытьем, так катаньем) стереть или протереть 17-е октября.

Для такого дела генерал Трепов преподходящий деятель, ибо он вмещал в себе сосуд всяких государственных противоположнейших возможностей—и ультралиберальнейших и ультраконсервативнейших. Вся стая тех людей, которые делают себе карьеру через великосветские будуары, через приемные высокопоставленных лиц, которые вообще ищут взобраться на лестницу мимолетной известности более житейскими приемами, нежели внутри их содержащимися достоинствами, конечно, всячески искали возможность попасть в приемные Трепова в дворцовых домах Царского Села и Петергофа; некоторые делали это из политических целей, видя в этом возможность повлиять на государя в смысле своих идей; наконец, вся клика иностранных корреспондентов добивалась этого прямо по долгу своей службы,—это их обязанность.

Трепов не прервал своих связей и с департаментом полиции, так как душа этого департамента Рачковский, ведший при Трепове всю секретную часть департамента полиции, хотя и был удален новым министром внутренних дел Дурново из высокого положения, которое Рачковский занимал в департаменте полиции, но остался по особым поручениям при новом министре и, следовательно, он мог пользоваться всеми своими связями, созданными как при начальствовании в департаменте полиции при Трепове, так в особенности при более чем пятнадцатилетнем заведывании всей секретной русской полицией заграницею, когда он имел главную квартиру при нашем посольстве в Париже.

Новый министр внутренних дел старался давать Рачковскому поручения вне Петербурга и как-то сетовал мне на то, что Рачковский неохотно берет эти поручения. Рачковский же, будучи в Петербурге без текущих дел, дневал и ночевал у нового дворцового коменданта Трепова. Поэтому были возможны, например, такие случаи. Уже в январе или феврале 1906 г., т.-е. месяца через 2—$2^1/_2$ после 17-го октября, Лопухин, бывший при Плеве директором департамента полиции и в некоторой степени начальством бывшего московского обер-полициймейстера Трепова, а потом ревельским губернатором и уже при моем министерстве, по настоянию великого князя Николая Николаевича и при сочув-

ствии дворцового коменданта, но помимо меня уволенный от этой должности и назначенный состоять при министре внутренних дел, просил меня его принять.

Я не уважал Лопухина, потому что он был директором департамента полиции в самое политически бессовестное Плевенское время. Будучи тогда министром финансов, затем председателем комитета министров, я видел, что Лопухин человек политически недобросовестный, и имел основание даже с личной точки зрения относиться к нему неприязненно, но что касается увольнения его с поста ревельского губернатора, то находил, что к этому не было достаточных оснований, но, конечно, нисколько не дорожил таким губернатором. Увольнение его произошло приблизительно по следующим обстоятельствам.

В Ревеле, кроме губернатора живет другое важное лицо—начальник дивизии. После 17 октября в прибалтийских губерниях и в том числе в Ревеле было очень неспокойно. Мне не было известно ничего, что показывало бы, что губернатор Лопухин как бы сдал власть—испугался, но губернаторы часто находятся в натянутых отношениях с начальниками войск, один гражданский начальник, другой военный, и оба независимые. Понятно, что после 17-го октября явился жгучий материал для недоразумений между двумя начальствующими петухами. Начальник дивизии донес главнокомандующему войсками петербургского военного округа великому князю Николаю Николаевичу, что губернатор из трусости крайне либеральничает и сдал власть революционерам. Великий князь сейчас же донес государю, а государь потребовал от Дурново увольнения Лопухина. Другой министр может быть отстоял бы своего подчиненного, но Дурново оказался не из таких, хотя он сам мне после говорил, что поторопились увольнением Лопухина и что он докладывал государю, что нужно ранее разобрать дело на месте, но что его величество не захотел.

После увольнения Лопухина до меня из военных сфер дошли сведения, что ревельский начальник дивизии после 17-го октября сидит, запершись, у себя на квартире и охраняется часовыми. Я как-то сказал об этом великому князю. Великий князь ответил, что это не может быть, что он хорошо знает этого начальника дивизии. Но почему-то в скором времени он послал одного генерала (кажется, Безобразова, бывшего командира Кавалергардского полка) произвести ревизию в Ревеле, и оказалось, что то, что я слыхал о сказанном начальнике дивизии, в известной мере было правильно. Он тем же великим князем был устранен от ревельского поста.

Итак, я назначил прием д. с. с. Лопухину. Он явился ко мне и передал, что ему достоверно известно, что при департаменте

полиции имеется особый отдел, который фабрикует всякие провокаторские прокламации, особливо же погромного содержания, направленные против евреев, что этим отделом заведует ротмистр Комиссаров и что прокламации эти массами посылаются в провинцию, еще на-днях тюк послан в Курск, другой в Вильну, а самый большой в Москву, что этот отдел был организован еще при Трепове и находился в ведении Рачковского, и что Рачковский и до сего времени имеет к нему отношение. Зная крайне враждебное отношение Лопухина к Трепову и Рачковскому и вообще не доверяя по вышеизвестной причине Лопухину, я ему сказал, чтобы он мне представил доказательство тому, что он говорит.

Через несколько дней я вторично принял Лопухина, который мне принес образцы отпечатанных прокламаций, уже разосланных, а равно и приготовленных для рассылки. Затем он меня предупредил, что если я не устрою так, чтобы накрыть работу сказанного отдела Комиссарова совершенно для всех неожиданно, то, конечно, все от меня будет скрыто. Я ко всем этим указаниям отнесся совершенно равнодушно. На другой же день неожиданно позвал в свой кабинет одного из находившихся в канцелярии чиновников и сказал ему, чтобы он поехал сию минуту в моем экипаже в департамент полиции и чтобы он узнал, там ли находится ротмистр Комиссаров, если же его там нет, то чтобы он поехал к нему на квартиру и сейчас же в моем экипаже привез Комиссарова ко мне. Если он не будет в форме, то пусть едет в том костюме, в котором он его застанет.

Через полчаса сказанный чиновник мне доложил, что он привез ротмистра Комиссарова.

Я его видел в первый раз. Он был одет в рабочий штатский костюм. Я его усадил и прямо начал разговор о том, как идет то весьма важное дело, которое ему поручено, которым я очень интересуюсь, и передал ему такие детали, что он сразу немного растерялся.

Я ему сказал, что посвящен во все,—тогда он начал мне докладывать различные подробности. По его словам, прокламации действительно рассылались, но он указывал цифры меньшие, нежели те, которые мне передавал Лопухин; печатанье происходит на станках, которые были забраны при арестах некоторых революционных типографий, и эта секретная прокламационная типография помещается в подвальных комнатах департамента.

На мой вопрос, кто же это организовал и кто этим руководил,— он меня начал уверять, что это он делал по собственной будто бы инициативе, без ведома начальства, из убеждения полезности этой меры, и что начальство его прежде и теперь об этом ничего не знает. Что новое начальство не знает, это совершенно воз-

можно, так как новый директор департамента полиции Вуич был только что назначен из прокуроров петербургской судебной палаты. После такого признания я сказал ротмистру Комиссарову следующее:

«Дайте мне слово, что вы немедленно, возвратившись, уничтожите весь запас прокламаций, что немедленно уничтожите или забросите в Фонтанку ваши типографские станки, и что более никогда такими вещами заниматься не будете, так как я считаю подобные действия и приемы совершенно недопустимыми, все это вы должны сделать до завтрашнего утра, так как завтра я буду объясняться по этому предмету, и если окажется, что вы не исполните то, что я вам говорю, я буду вынужден поступить с вами по закону».

Комиссаров дал мне честное слово, что он исполнит буквально то, что я ему приказал, и затем с Комиссаровым я встретился только через год после этого в моем доме на Каменноостровском проспекте, когда организация союза русского народа, с участием агентов правительства союза, особо отличаемого его величеством, заложила адские машины в печах моего дома, который уцелел только благодаря произволению божьему.

На другой день я заехал к министру внутренних дел Дурново и из разговора с ним убедился, что вся работа отдела Комиссарова была для него нова, что он во всяком случае не интересовался этим делом, но, вернее, совсем о нем не знал. Дурново, видимо, был озадачен, назначил следствие.

В моем архиве хранится сообщение Дурново о результате следствия, которое не отрицает фактов, но, конечно, значительно их преуменьшает. Эта история затем в искаженном виде проникла кратко в печать, а потом, во время первой Думы, послужила темою в Думе для одной речи депутата князя Урусова, брата жены Лопухина. Как в печати, так и в речи Урусова дело это, напротив, насколько мне оно было известно, несколько вздуто.

Во всяком случае, как со стороны Лопухина, так в особенности князя Урусова, бывшего при моем министерстве товарищем министра внутренних дел, было некорректно разглашать такие вещи, которые им сделались известными только вследствие их служебного положения.

При первом докладе я дело рассказал его величеству, государь молчал и, повидимому, все то, что я ему докладывал, ему уже было известно. В заключение я просил государя не наказывать Комиссарова, на что его величество мне заметил, что он во всяком случае его не наказал бы в виду заслуг Комиссарова по тайному добыванию военных документов во время Японской войны.

Провокаторская деятельность департамента полиции по устройству погромов дала при моем министерстве явные результаты в Гомеле.

Там в декабре последовал жестокий погром евреев. Я просил Дурново назначить следствие. Он назначил члена совета его министерства Савича, толкового и порядочного человека. Савич представил расследование, я потребовал копию. Расследованием этим неопровержимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом организован агентами полиции под руководством местного жандармского офицера графа Подгоричани, который это и не отрицал. Я потребовал, чтобы Дурново доложил это дело совету министров. Совет, выслушав доклад, резко отнесся к такой возмутительной деятельности правительственной секретной полиции и пожелал, чтобы Подгоричани был отдан под суд и устранен от службы. По обыкновению был составлен журнал заседания, в котором все это дело было по возможности смягчено. Согласно закону, журнал был представлен его величеству. На этом журнале совета министров государь с видимым неудовольствием 4-го декабря (значит через 40 дней после манифеста 17-го октября) положил такую резолюцию:

«Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела графа Подгоричани подлежит ведению министра внутренних дел».

Через несколько месяцев я узнал, что граф Подгоричани занимает пост полициймейстера в одном из черноморских городов.

Те, которые знали, что главная причина, почему я не мог после 17 октября вести дело, как я это считал нужным, и не мог оказывать влияния на государя, без коего быть во главе правительства немыслимо, мне впоследствии говорили: «Это правда, что вы при Трепове не могли вести дело, но отчасти вы сами виноваты. Зная государя, вы должны были его ежедневно видеть, стараться постоянно быть при нем, тогда вы парализовали бы влияние Трепова». Но едва ли нужно объяснять, что совет этот по меньшей мере наивный.

Государь жил в Царском Селе, а я должен был жить в столице, в Петербурге. Значит, наибольшее, что я мог сделать, это чаще ездить с личными докладами. Если же я бы ездил ежедневно; если бы, предположим невозможное, т.-е., что я бы занимался не делом, а охраною исключительно своего личного влияния на государя и жил бы в Царском Селе, то я все-таки мог бы видеть его величество только раз в день и в заранее определенный час с подготовленной обстановкой, а Трепов, в качестве хранителя физической личности государя, мог его видеть при

всякой обстановке несколько раз в день. Я бы делом не занимался и ничего бы не достиг, скорее достиг бы обратных результатов относительно влияния на государя, но, главное, совсем бы уронил себя в собственных глазах.

Несомненно, что на государя абсолютное влияние имеет императрица и не потому, что она его жена и он ее несомненно любит, но потому, что она с ним постоянно находится и может непрерывно на него влиять. Это уже такая натура.

Характерным примером того, как Трепов наподобие азиатских любимых евнухов верховенствовал, может служить внешняя часть истории с вопросом об обязательном отчуждении земель и об уходе министра земледелия Кутлера, честного, умного и дельного человека, которого травлею загнали в лагерь партийных левых кадетов [1]).

Таким образом, Трепов во время моего министерства имел гораздо больше влияния на его величество, нежели я; во всяком случае, по каждому вопросу, с которым Трепов не соглашался, мне приходилось вести борьбу. В конце концов он явился как бы безответственным главою правительства, а я ответственным, но мало влиятельным премьером.

В дальнейших рассказах это ненормальное положение вещей будет еще неоднократно иллюстрироваться фактами. Это было главнейшею причиною, вследствие которой я не мог вести дело, как считал нужным, и это привело меня к необходимости покинуть пост за несколько дней до открытия Государственной Думы. Горемыкин был призван заменить меня несомненно, между прочим, потому, что он был в отличных с Треповым отношениях. Горемыкин, когда еще был министром внутренних дел, очень заискивал все время у московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, а чтобы быть с ним в хороших отношениях, нужно было быть в хороших отношениях с его обер-полициймейстером генералом Треповым. Тогда же были у меня вполне натянутые отношения с великим князем, вследствие того, что Трепов сделал эксперименты насаждения полицейского социализма в среде московских рабочих, поведшие сперва к зубатовщине в Москве, а потом к гапоновщине в Петербурге.

Несмотря на то, что Горемыкин был назначен председателем совета министров после меня по внушению Трепова, он не мог продержаться на этом посту более 72 дней и одновременно с роспуском первой Думы Горемыкин оставил пост председателя совета не по своему желанию, как это сделал я, а по желанию его величества. Как-то раз уже в 1908 г. Горемыкин был у меня

[1]) См. главу XL.

с визитом, и я его спросил, какие были причины его ухода. На это он мне ответил, что быть председателем совета при Трепове было невозможно, что он ушел потому, что он не мог исполнять все предъявляемые ему требования его величества, которые в сущности исходили от Трепова.

Судя по его рассказу, чаша была переполнена, вследствие следующего инцидента, характеризующего положение вещей: «Как-то раз, незадолго до закрытия Думы, я получил от его величества,—говорил мне Горемыкин,—род письменной инструкции, как должен себя вести председатель совета вообще относительно Думы и специально в ее заседаниях. Инструкция эта была составлена Треповым и сводилась к тому, что председатель должен действовать более активно относительно Думы, бывать чаще на заседаниях и не давать никому спуска, т.-е. вести политику словопрения «зуб за зуб». Инструкция эта была одобрена государем и прислана мне к руководству. Я докладывал словесно его величеству, что этакое мое (Горемыкина) поведение ни к чему не приведет, что нужно просто закрыть Думу. Государь тогда с первым положением согласился (конечно, это так всегда бывает), но затем уже мои (Горемыкина) отношения к Трепову сделались невозможными, и государь, распустив первую Думу по моему совету, одновременно по совету Трепова уволил и меня». (Я себе подумал—это именно характер государя Николая II.) В заключение Горемыкин сказал: «Ведь вы знаете характер нашего несчастного государя», на что я ему ответил: «Да, хорошо знаю». Затем я его спросил: «Вот вы должны знать Столыпина, что он из себя представляет?» На это Горемыкин мне ответил: «Тип приспособляющегося провинциального либерального дворянина, но все-таки и он при Трепове бы не усидел, его счастье, что Трепов через несколько недель умер». Я тоже думаю, что, несмотря на всю приспособляемость Столыпина, он при Трепове более нескольких месяцев не высидел бы.

Другое лицо, которое во время моего министерства имело громадное влияние на государя, было — великий князь Николай Николаевич. Влияние это было связано с особыми мистическими недугами, которыми заразила государя его августейшая супруга и которыми давно страдал великий князь Николай Николаевич. Он был один из главных, если не главнейший, инициаторов того ненормального настроения православного язычества, искания чудесного, на котором, повидимому, свихнулись в высших сферах (история француза Филиппа, Сормовского, Распутина-Новых; все это фрукты одного и того же дерева). Сказать, чтобы он был умалишенный—нельзя, чтобы он был ненормальный в обыкновенном смысле этого слова—тоже нельзя, но сказать, чтобы он

был здравый в уме—тоже нельзя; он был тронут, как вся порода людей, занимающаяся и верующая в столоверчение и тому подобное шарлатанство. К тому же великий князь по натуре—человек довольно ограниченный и малокультурный.

Как я уже упоминал ранее в моих записках, когда я возвращался 17-го после подписания исторических документов с великим князем на пароходе, он в присутствии ехавших с нами князя А. Д. Оболенского, Вуича и др. сказал мне: «17 октября—замечательное число: 17-го в Борках была спасена вся царская семья и в том числе и теперешний император, будучи наследником, теперь же 17-го октября вы, граф, спасаете государя с его малолетним наследником и его семьей». Я подумал: «Дай-то бог, чтобы было так»! Кажется, тогда же, а может быть, в следующие дни, во всяком случае, при первом же свидании я ему сказал, что не смотрю на положение вещей так радужно, что придется еще много претерпеть, ранее достижения равновесия, и что я его прошу, как главнокомандующего войсками петербургского округа, на всякий случай, если мне придется в крайности объявить Петербург с его окрестностями на военном положении и принять меры к охране его величества и августейшей семьи силою, то чтобы такое положение было приведено в исполнение моментально; для сего нужно, чтобы каждая часть знала свое место и каждый квартал имел своего военного начальника, чтобы все имели определенные инструкции, дабы при помощи военного положения водворить порядок моментально.

Великий князь выслушал мои соображения во всей подробности, т.-е. то, что именно я желаю, и через несколько дней прислал ко мне генерала Рауха, будущего его начальника штаба и тогда самого доверенного генерала (а теперь уволенного куда-то на границу начальником дивизии), который мне от имени великого князя доложил, что все исполнено в точности, согласно моему желанию, т.-е. в случае, если я дам знать об объявлении Петербурга и его окрестностей на военном положении, то в несколько часов времени вся местность будет занята войсками, каждый квартал будет иметь своего начальника и каждая часть получит немедленно подробную письменную инструкцию. Я через посланного благодарил великого князя и просил ему передать, что я надеюсь и почти уверен, что к этому мне не придется прибегнуть, что Петербург и его окрестности останутся, как ныне, в нормальном положении, но что я исходил лишь из мысли «что береженого бог бережет» и, в виду ответственности, на мне лежащей, считал долгом предвидеть все, даже самые маловероятные случайности.

Не прошло затем несколько недель, как ко мне явился недавно назначенный помощником великого князя генерал Газенкампф, который меня просил от имени великого князя, чтобы в случае необходимости я не назначал военного положения, а объявил Петербург и его окрестности в чрезвычайном положении. Меня это удивило и я спросил генерала Газенкампфа, на чем основано это желание? Генерал мне ответил: «Видите ли, в случае чрезвычайного положения, передача дел в военные суды будет зависеть от Дурново (тогда уже он был назначен управляющим министерством внутренних дел) и вообще от него будут зависеть смертные казни, а при военном положении все это ляжет на великого князя, а следовательно он сделается мишенью революционеров.

Я просил передать великому князю, чтобы он не беспокоился, покуда я буду председателем совета, я надеюсь, что Петербург и его окрестности будут пребывать в нормальном положении.

В первые недели после 17 октября в действиях великого князя я не замечал ничего такого, что могло бы возбуждать во мне, как председателе совета, сомнения, но по мере того, как стало и для великого князя ясным, что успокоение не может наступить сразу и что еще предстоят большие волнения, относительное благоразумие и сдержанность его пропадали. Вскоре, я случайно узнал, что его самый близкий человек, генерал Раух, видится с Дубровиным, который только что начал укрепляться, получая поддержку от различных влиятельных лиц (князь Орлов, граф Шереметьев, думаю, что Дурново и др.). По крайней мере, после того, как я оставил пост председателя, как-то раз в разговоре с Дурново я обозвал Дубровина негодяем. Дурново мне сказал: «напрасно вы его так называете, право, он честнейший и прекраснейший человек». Затем, сношения великого князя с Дубровиным и союзом русского народа делались все более и более частыми. Свидания Рауха производились в комнатах, отдающихся в наем от яхт-клуба (помещение при клубе).

Великий князь был посетителем этого клуба и, вероятно, еще когда я был председателем, виделся с Дубровиным. После же моего ухода великий князь мало и скрывал свои отношения к Дубровину и союзу русского народа (т.-е., просто к шайке наемных хулиганов).

Одно время петербургский союз имел даже намерение избрать его почетным председателем, но затем, кажется, нашли это не совсем безопасным. Конечно, только рассчитывая на поддержку великого князя и министра внутренних дел Дурново,

Дубровин в одном из манежей собрал толпу хулиганов, говорил зажигательные речи и затем, с криками «долой подлую конституцию и смерть графу Витте», вышли из манежа, но не посмели итти по улицам.

Разительным примером полной растерянности после 17 октября великого князя Николая Николаевича служит, между прочим, следующее обстоятельство.

Во время моего премьерства последовало высочайшее повеление о сокращении сроков службы воинской повинности. Мера эта была принята без обсуждения в совете министров и без моего участия и исходила из комитета обороны, находившегося под председательством великого князя, под давлением той мысли, что это послужит к успокоению нижних воинских чинов. Относительно существа этой меры можно быть различного мнения, и я думаю, что сделанное сокращение полезно, но при принятии совокупно других мер, которые бы способствовали более быстрому навыку русского крестьянина или рабочего к военному делу при современной технике войны. Но принятие такой меры во время расстройства армии, длящегося и доныне, без принятия одновременно и даже предварительно других мер, не может быть оправдано разумными причинами и объясняется только растерянностью. Она была продиктована не потребностью обороны, а как бы говорила: «Да, мы виноваты в сраме позорной войны и гибели стольких русских воинов, зато мы вам в будущем даем такие-то облегчения, только забудьте прошлое и не волнуйтесь» [1]).

Вообще октябрьские дни мне наглядно показали, что под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость.

В течение моего председательства постоянно происходили вспышки в войсках, были волнения в Кронштадте, волнения в Се-

[1]) * По поводу сроков воинской повинности несколько месяцев тому назад (сентябрь 1909 г.) в Петербурге мне рассказывал один из высоких чиновников следующее.

Новый военный министр Сухомлинов нашел, что сделанные после 17 октября сокращения сроков воинской повинности не соответствуют положению дел, а потому испросил высочайшее повеление, отменяющее эти сокращения. Повеление это должно было быть отослано в сенат для распубликования. Другие министры об этом узнали и, зная характер государя, что если они вмешаются в это дело, то это повеление именно отменено и не будет, прибегли к следующему приему. Они уговорили военного министра доложить его величеству о неудобстве отмены сокращения воинской повинности. Военный министр уговорил государя не отменять сделанное после 17 октября сокращение сроков воинской повинности. Очевидно, военный министр Сухомлинов покуда еще переживает с его величеством медовые месяцы*.

вастополе, затем взволновался дисциплинарный батальон в Воронеже, который должен был подвергнуться осаде. В ноябре, в Киеве, рота пятого понтонного батальона произвела манифестацию. В Петербурге явилось движение в военной электротехнической школе и затем между моряками, находившимися в морских казармах на Морской около Конного полка. Моряков этих ночью окружили войсками, нагрузили на баржи и затем отправили в Кронштадт. Все это была вспышка наподобие каких-то небольших судорог в сущности в довольно прочном организме, сравнительно легко выдерживающем легкое, но довольно общее отравление. В данном случае великий князь поступил довольно энергично и самолично выехал к войскам. Насколько все эти вспышки были явно подученные и бессознательные, видно на примере этих моряков. Вся беда, с точки зрения укрепления правительства и охраны престола, заключалась в том, что не было в России войска, так как армия более, нежели в миллион человек, находилась за Байкалом, а находившаяся в России была дезорганизована и сосредоточивалась на окраинах и в Петербурге и его окрестностях.

Кроме того, наши финансы были в корне подорваны войною и затем смутою, на которую правительство, бывшее до 17-го октября, совсем не рассчитывало: сначала оно вообразило, что война с Японией будет военною забавою, а потому, когда дело пришло к миру,—что сейчас все затихнет. Поэтому министр финансов Коковцов, поддерживаемый в своих взглядах большинством финансового комитета, займами не спешил, говоря, вот война кончится, тогда выгоднее будет сделать все нужные займы. Поэтому после 17-го октября я принял управление без денег и без войск. Моя задача и заключалась в том, чтобы добыть деньги и вернуть из Забайкалья армию.

Я дал слово государю это сделать, и вот почему я не мог просить государя освободить меня от глупого положения более или менее номинального главы правительства ранее исполнения этих двух вещей. В особенности, ранее совершения займа, так как, несомненно, без меня заем не был бы совершен *.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Образование кабинета. Амнистия. Закон о выборах.

* В первые дни после 17 октября мне было сообщено из департамента полиции, что было бы неудобно мне оставаться на Каменноостровском проспекте в моем собственном доме. Так как это помещение для меня весьма удобно, то я не хотел его оставить, но мне передали, что, в виду отдаленности этого дома от министерств и центра, а с другой стороны, необходимости министрам и другим высокопоставленным лицам приезжать ко мне, будет крайне трудно их охранять во время проезда ко мне и, в особенности, въезда в мой дом.

Мне предложили занять помещение в запасном доме при Зимнем дворце, помещение, которое занимал управляющий Зимним дворцом генерал Сперанский, а для канцелярии помещение, находящееся рядом, которое занимал тоже один из чинов министерства двора. Хотя это для меня было крайне неудобно, но я был вынужден на это согласиться, и через несколько дней после моего назначения, приблизительно около 27 октября, я переехал в новое помещение налегке, почти ничего не трогая из моего дома, в который, я б ы л у в е р е н, что скоро придется вернуться или живым или мертвым.

В течение этих 10 дней, когда я продолжал жить в моем доме, я жил так же, как я жил ранее, не допуская никакой полицейской охраны, и чувствовал себя совершенно спокойным, дверь моего дома была открыта, и ко мне приходили люди без особого разбора. Дежурил только днем один чиновник комитета министров и курьер.

В городе забастовки начали улегаться и сравнительно все было спокойно. В эти ближайшие дни после 17 октября, когда я еще жил в своем доме, помню еще следующие эпизоды. Как-то

приходили ко мне рабочие, жалуясь, что некоторых из их товарищей зря арестовали. Я их послал к генерал-губернатору Трепову. Они сначала не хотели итти, а потом взяли от меня записочку на имя Трепова, в которой я просил генерал-губернатора их выслушать и, если их претензия окажется справедливой, то удовлетворить. Затем я, как до переезда в дворцовый дом, так и после, принимал несколько раз рабочего Ушакова с товарищами. Они в то время были рабочими-консерваторами, которые враждовали с рабочими-революционерами и анархистами, в лагере которых оказалось громадное большинство рабочих. Это громадное большинство образовало совет рабочих с Носарем во главе.

После моего ухода с поста председателя совета, некоторые газеты распространили слух, будто бы у меня был Носарь и депутаты совета рабочих. Нашлись такие, которые уверяли, что, собственно, чуть ли не мною создан этот совет, а негодяи из союза русского народа распространяли слух, что я находился с советом рабочих и с рабочими-революционерами в преступных отношениях.

Газета «чего изволите», т.-е. «Новое Время», также очень была недовольна моим поведением относительно сего совета. Она пустила глупую шутку, что было в это время два правительства—правительство графа Витте и правительство Носаря, и что было неизвестно, кто кого ранее арестует: я Носаря или Носарь меня. Об этом совете рабочих и Носаре я еще буду писать впоследствии. Покуда же скажу, что никогда в жизни я Носаря не видел, никогда ни в каких сношениях с ним и с советом рабочих, а равно и с рабочими-революционерами и анархистами я не состоял. Никогда рабочих, входящих в организацию совета рабочих, я, как таковых, не принимал и, если бы они ко мне явились, как таковые, то я их направил бы к градоначальнику. Вообще, этому совету я не придавал особого значения. Он и не имел такого значения. Во-первых, впредь до арестования, по моему распоряжению, совета, он имел влияние на рабочих только петербургского района и не имел значения вне Петербурга, а потому смешно говорить серьезно о значении его вообще. Во-вторых, как только оказалось нужным его арестовать, я его и арестовал без всяких инцидентов и не пролив ни капли крови.

Но так как главный стимул «Нового Времени» это нажива, а в то время рабочие типографии Суворина гораздо более слушались совета рабочих с Носарем во главе, нежели самого Суворина, то он, а потому и его газета придали совершенно исключительное значение этому совету и Носарю, сосредоточив на этом прыще революции весь революционный вопрос 1905 года.

Между тем сплетни об этом совете рабочих, Носаре и моих к ним отношениях настолько глубоко распространились, что еще в зиму этого года [1]) приезжал в Петербург агент министерства финансов в Берлине П. И. Миллер (только что теперь назначенный товарищем министра торговли Тимирязева), которого я хорошо знаю, так как он долго при мне служил, и к которому я сохранил хорошие чувства [2]).

Вот в разговоре с Миллером я его спросил, что собою представляет лейтенант Бок, который только что женился на дочери премьера Столыпина и потому получил место морского агента в Берлине. Он мне его, Бока, а также его жену очень похвалил, но прибавил, что перед выездом из Берлина (это после моей речи) он слыхал от madame Бок, что будто бы в министерстве ее батюшки Столыпина, т.-е. в министерстве внутренних дел, имеются какие-то компрометирующие меня бумаги по моим сношениям с советом рабочих и с Носарем. Не может быть, чтобы госпожа Бок слыхала это от своего батюшки, вероятнее всего, что она могла слыхать это от своей матушки или ее братьев, господ Нейдгардтов. Вот вам и порядочные люди . . .

Вообще после 17 октября на улицах было совершенно спокойно, никаких грабежей и кровопролитий не было, хотя Петербург оставался в обыкновенных условиях, без всяких усиленных, чрезвычайных и военных положений. Я просил Трепова не трогать никаких демонстрантов, если только они не нарушают порядка и активно не революционируют, и войска не держать на улицах, а в казармах и дворах всех дворцов и казенных учреждений, если только есть что существенное охранять. Трепов это исполнил, отдав такое распоряжение. Еще до 17 октября он занимал, кроме поста товарища министра внутренних дел и петербургского генерал-губернатора с особыми полномочиями, также пост начальника петербургского гарнизона, т.-е. ему подчинялись все войска, находящиеся в Петербурге. Петербург находился в обыкновенном положении во все время моего премьерства, а с моего ухода до сего времени он находится в чрезвычайном положении, т.-е. изъемлен из действий

[1]) 1909 г.

[2]) Он приезжал в Петербург как раз после моей речи в Государственном Совете по поводу штатов морского генерального штаба, чуть-чуть не свалившей все Столыпинское министерство с ним—Столыпиным—во главе. Если он тогда не свалился, то только потому, что, в сущности, делает все, что ему прикажут. Говоря мою речь, я совсем не имел в виду Столыпина и не подозревал, что он будет подавать со своими министрами голоса против взглядов, мною выставленных, с которыми его величество вынужден был согласиться, не утвердив эти штаты. Они имели громадное принципиальное значение.

общих законов. С тех пор, т.-е. со времени моего ухода, и пошли в Петербурге анархические и черносотенные покушения, убийства и грабежи.

Итак, после 17-го в Петербурге было все спокойно, ходили демонстранты по улицам с различными знаменами, но видя, что на них не обращают внимания, успокоились. Вообще, город начал быстро принимать свой обыкновенный вид—водопровод, освещение, конки и вообще городские устройства начали действовать более или менее нормально, несмотря на все усилия совета рабочих (Носаря) продолжать революционировать рабочих. Но значение совета и вообще дух революционный, объединявший рабочих, начал с каждым днем все более и более падать.

Уже некоторые фабрики начали работать и вскоре прекратилась забастовка всех фабричных рабочих и забастовки железных дорог; хотя и делались всякие попытки, чтобы создать единодушно забастовку, но это было все более и более безуспешно.

Во все время моего премьерства только раз пришлось употребить в Петербурге оружие, и при следующих условиях. Это было немедленно после 17 октября, когда я еще находился на Каменноостровском проспекте, у себя. Вызывает меня по телефону директор Технологического института, которого я лично не знал, и говорит мне, что около технологического института стоит масса народа, требуя выдачи чего-то, что было по слухам скрыто начальством в этом институте, и что для очистки улицы вызвана часть Семеновского полка, что он просит меня предупредить кровопролитие. Я ему отвечаю, что всего этого не знаю, а потому вмешиваться не могу. Он меня просил вызвать к телефону находившегося там же дежурного офицера. Офицер, почему-то дежуривший при технологическом институте, который был закрыт, подтвердил мне, что толпа стоит спокойно, что она думает, что кто-то арестован в здании института, что он, несомненно, убедит толпу, что она ошибается, а потому разойдется, но что по распоряжению генерал-губернатора вызвана часть Семеновского полка, что эта часть уже наступает, и может произойти серьезное кровопролитие по недоразумению. Я его спросил, в чьем ведении находятся войска в этом районе,—он мне ответил, что в ведении командира Семеновского полка, генерала Мина. Я его не знал и затем никогда в жизни не видел. Думаю, что он был честный человек, всегда исполнял свой долг, как военный. Он погиб возмутительно от руки революционерки после моего ухода.

Если всякие политические убийства, с какой бы стороны они ни шли—возмутительны, и не могут иметь никакого оправдания, то они в особенности возмутительны, когда относятся до лиц не лживых, не коварных, не подлых, а лишь исполняющих

свой долг, хотя бы лиц, может быть, и тупых. Я о генерале Мине и этого сказать не могу и, вообще, я о нем не знаю ничего дурного. В Москве он распоряжался при подавлении восстания, может быть, сурово-прямолинейно, но когда идет открытая бойня, с баррикадами, то военные всегда должны быть прежде всего военными, а войска—войском; иначе это не будут войска и от их непосредственных начальников нельзя требовать бисмарковских дипломатических способностей. Вечная ему память...

Итак, я вызвал генерала Мина к телефону и говорю ему, в чем дело. Он принял обидчивый тон и указал мне на закон, по которому, раз вызваны войска, дело и ответственность переходят на военноначальника, что значило, что это его дело. Я ему отвечаю, что закон этот я знаю, что он прав, что он теперь полный хозяин, но я тем не менее имею все-таки нравственное право просить его не проливать без крайней нужды крови и постараться окончить дело спокойно. «Я ведь не имею претензии вам отдавать приказания, а просто вас прошу, как человек, которому его величество счел необходимым оказать доверие», сказал я.

Этим наш разговор по телефону и кончился. Я узнал после, что этот инцидент кончился так. Насколько помню, несколько, во всяком случае не десяток, а единиц пострадали, при чем профессору Тарле была легко расшиблена голова. Это было единственное кровопролитие правительственною силою в Петербурге за все время моего премьерства. Признаться, я тогда Тарле не пожалел, так как он все смутное время в университете читал тенденциозные лекции о французской революции и не счел приличным хотя бы после 17 октября держать себя спокойно, как подобало бы себя уважающему профессору.

Возвращаюсь к образованию моего министерства после 17 октября. Из предыдущего изложения видно, что к замещению подлежали следующие посты: министра народного просвещения, министра внутренних дел, министра торговли, министра земледелия и государственного контролера, и что для замещения сих должностей мною были приглашены: князь Е. Трубецкой, князь Урусов, М. А. Стахович, Гучков и Д. Н. Шипов и что они съехались с некоторым замедлением вследствие забастовки на железных дорогах. Вот, с этими лицами у меня состоялось несколько совещаний, продолжавшихся дня два или три.

В этих совещаниях кроме перечисленных лиц участвовал и князь А. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, и более никто.

В настоящее время идут различные рассказы о том, что говорилось на этих совещаниях. Все эти рассказы не верны, и ими

преследуются те или другие цели. Только перечисленные лица могут воспроизвести в точности, что на совещаниях этих говорилось.

Во время этих совещаний уже выяснилось, что министрами юстиции будет Манухин, иностранных дел—граф Ламсдорф, военным—генерал Редигер, морским—адмирал Бирилев, обер-прокурором синода — князь Оболенский, финансов — Шипов (И. П.) и земледелия—Кутлер, так как Шванебах ушел и Стахович ранее совещания заявил, что никакого места в министерстве не примет, желая выбираться в Думу. На Кутлере я остановился как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами империи и как на человеке чистом и вообще весьма порядочном. Все перечисленные лица не сделали никаких возражений в сказанных совещаниях, т.-е. приглашенные мной общественные деятели не сделали препятствий быть коллегами сказанных лиц. Точно так при обмене мыслей относительно политики министерства также не произошло никаких несогласий, впрочем, на этом предмете долго не останавливались, так как политика моего министерства определялась моим всеподданнейшим докладом, опубликованным одновременно с манифестом 17 октября. Относительно этой политики больше всего разговора вызвал вопрос о выборах в Государственную Думу. Лица из общественных деятелей желали знать, какой политики я буду держаться относительно выборов в Думу, и здесь также у нас не вышло никаких разногласий.

Было выяснено, что вопрос о выборах уже значительно предрешен п. 2-м манифеста 17 октября, который гласит: «Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь т е п е р ь ж е к участию в Думе по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие избирательного права вновь установленному порядку». Значит, создание новых начал для выборов против уже установленных законом 6-го августа в бытность мою в Америке было невозможно, можно было только расширить круг избирателей, не нарушая основания выборного закона и не замедляя этим расширением созыва первой Государственной Думы, т.-е. осуществление на деле конституции.

Таким образом не мне принадлежали основания выборного закона, давшего первую и вторую Думы; между тем, левые упрекали меня при объявлении манифеста 17 октября, что я не провозгласил прямых, всеобщих и равных для всех выборов, а впоследствии правые, которые совсем забыли п. 2-й манифеста

17 октября, меня упрекали, что выборный закон, давший первую и вторую Думы, был чересчур широк [1]).

Затем после 6-го августа, т.-е. закона о законосовещательной Думе, с высочайшего соизволения последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина (от 22-го сентября 1905 года за № 63), требующий безотлагательного составления списков выборщиков, при чем рекомендовалось, чтобы распубликование списков последовало не позднее 15-го октября (т.-е. за два дня до манифеста 17-го). В этом циркуляре объявлялось о высочайшей воле, чтобы Дума была собрана не позднее половины января 1906 года (а между тем лишь одно расширение выборного закона без изменения его оснований было одною из главных причин, что Дума была собрана к 23 апреля). Далее в этом циркуляре говорилось:

«Священная воля его императорского величества обязывает всех, на коих лежит наблюдение за правильностью производства выборов, всеми мерами обеспечить населению возможность спокойно и без всякого постороннего вмешательства указать тех именно избранников, которые пользуются его наибольшим доверием. Посему я поручаю вашему особливому вниманию наблюдение за тем, чтобы должностные лица и учреждения не допускали с своей стороны никакого, даже самого отдаленного вмешательства в производство населением выборов в Государственную Думу» [2]).

---

[1]) * Это побудило Столыпина самым бесцеремонным образом нарушить манифест 17 октября, основные законы, изданные после манифеста, а следовательно конституцию, и издать своеобразный избирательный закон 3-го июня 1907 года посредством манифеста. Если бы этот закон был лучше прежнего выборного закона и надолго покончил с революционными эксцессами, я бы мог его оправдать, хотя, конечно, закон этот был актом государственного переворота, но мне представляется, что этот закон искусственный, что он не даст успокоения, как основанный не на каких-либо твердых принципах, а на крайне шатких подсчетах и построениях.

В законе этом выразилась все та же тенденциозная мысль, которую Столыпин выражал в Государственной Думе, что Россия существует для избранных 130.000, т.-е. для дворян, что законы делаются, имея в виду сильных, а не слабых, а потому закон 3-го июня не может претендовать на то, что он дает «выборных» членов Думы, он дает «подобранных» членов Думы, подобранных так, чтобы решения были преимущественно в пользу привилегированных и сильных. Теперешняя Государственная Дума есть Дума не «выборная», а «подобранная».*

[2]) * А за сим, когда во второй половине апреля 1906 г. я покинул пост председателя совета, «священная воля его императорского величества», чтобы выборы были свободны, не помешала государю выразить мне как бы упрек, что я и правительство не воздействовали на выборы и что потому получилась Дума такая левая. Теперь действительно выборы в значительной степени фальсифицируются, чему наглядным и поразительным примером служит то, что происходит в Одессе относительно выборов в Думу одного члена Думы завтра, 27 сентября 1908 года. Это не выборы, а издевательство над населением*.

Таким образом, в совещании с общественными деятелями, приглашенными принять участие в министерстве, был поднят только вопрос, в какой именно степени будет расширен закон, соблюдая п. 2 манифеста 17-го октября. По этому предмету я передал присутствующим, что этот вопрос не предрешен именно потому, что министерство окончательно не сформировано и что, если они войдут в министерство, то будут совершенно свободны высказывать свои мнения и принять активное и ответственное участие в составлении закона, расширяющего выборный закон 6-го августа.

Действительно, ранее этого совещания до переезда моего в дворцовый дом, но после 17-го октября, я как-то собрал в здании Государственного Совета совещание с бывшими тогда министрами, в том числе и Шванебахом, переговорить об исполнении п. 2 манифеста 17-го октября, но на этом совещании ничего не было предрешено.

Князь Оболенский (новый прокурор святейшего синода) желал, по моему мнению, чересчур широкого расширения контингента выборщиков, а напротив, Шванебах проповедывал необходимость не допускать к выборам ни рабочих, ни лиц так называемых либеральных профессий, и мои замечания по поводу доводов, представленных Шванебахом, дали ему ясно понять, что он оставаться в моем министерстве не может.

Мое разногласие с приглашенными общественными деятелями произошло на вопросе, кто будет министр внутренних дел.

К этому времени уже выяснилось, что крайние левые не успокоились манифестом 17-го октября и вообще буржуазной конституцией, что вообще смута в умах так распространилась, что еще придется переживать большие эксцессы с их стороны; но что было самое серьезное, это—то, что конституционно-демократическая партия (кадеты), затем изменившая для большей популярности кличку в партию «народной свободы», которая, конечно, в особенности тогда имела в своей среде людей наиболее культурных и серьезно образованных, не решалась явно порвать свои связи с крайними революционерами, исповедующими революционные насилия, до бомб включительно.

Такое положение вещей, конечно, требовало со стороны начальника полиции во всей империи большой опытности, в особенности в виду того, что в последние годы полиция везде была совершенно дезорганизована. Самое поверхностное знакомство с князем Урусовым привело меня к заключению, что он в этом деле не имеет никакой опытности. Князь Оболенский, который так усиленно мне рекомендовал князя Урусова, после приезда сказанных общественных деятелей на совещание, сам

выразил мне сомнение в том, может ли князь Урусов занять пост министра внутренних дел. Это меня побудило в совещании высказать, что чем более я думаю, тем более прихожу к необходимости предложить пост министра внутренних дел П. Н. Дурново, но большинство членов совещания высказалось против Дурново, с своей стороны не указывая ни на кого, кто бы мог занять этот пост. Было кем-то упомянуто имя Столыпина, некоторые отнеслись к этому предложению сочувственно, но были и такие, которые сказали, что он очень неопределенный, умеет уживаться со всяким направлением. Насколько помню, это выражал Д. Н. Шипов. Я, с своей стороны, сказал, что Столыпина не знаю, но что, как губернатор, он пользуется хорошею репутацией. Затем члены совещания настаивали, чтобы я принял на себя министерство внутренних дел. Я на это согласиться не мог, так как, во-первых, чувствовал, что не буду иметь на это времени, и, действительно, занимая лишь пост председателя совета в это еще не столько революционное, как сумасшедшее время, я занимался по 16—18 часов в сутки, а во-вторых, главное потому, что министр внутренних дел есть министр и полиции всей империи и империи полицейской par excellence, я же полицейским делом ни с какой стороны никогда в жизни не занимался, знал только, что там творится много и много гадостей.

Не в такое время, как мы переживали во время моего министерства, можно было спокойно изучать и затем преобразовывать полицию. В это время нужно было действовать, и каждый день был дорог. Поэтому в крайности я согласился бы принять всякое министерство, не исключая даже военного, тем более, что многие мне были хорошо известны, но я никогда не согласился бы принять министерство внутренних дел, которое было и до настоящего времени у нас в России и есть по преимуществу министерство полиции. Отделять же в то время полицию от министерства внутренних дел и образовывать особое министерство полиции (в виде бывшего III отделения), значило бы в глазах общества итти совершенно вразрез принципам, провозглашенным манифестом 17-го октября, т.-е. водворения гражданской свободы.

Вся предыдущая карьера П. Н. Дурново, как я высказывал присутствующим, не дает мне основания относиться к нему критически в такое трудное время. Во всяком случае я его предпочитаю сотрудникам Горемыкина (Рачковский; директор департамента полиции, ныне сенатор, Зволянский), сотрудникам Плеве (Лопухин, Зубатов, Штюрмер) и сотрудникам Трепова (тот же Рачковский, Гарин, Зубатов).

Теперь же я сказал бы, что я его предпочитаю сотрудникам Столыпина (Курлов, Толмачев, Азеф, Гартинг, Ландезен и проч.).

Князь Оболенский поддерживал мои соображения относительно Дурново. Но кто меня удивил, это князь Урусов, который высказал, что в такое время не следует вносить рознь из-за личных симпатий или антипатий, и, чтобы показать на деле, что он не имеет ничего против назначения П. Н. Дурново министром внутренних дел, он готов пойти к нему в товарищи.

После этого наше совещание было прервано, так как приглашенные решили ранее, чем сказать окончательно да или нет, переговорить и обдумать.

Тем временем я виделся с Дурново и высказал ему откровенно, что общественные деятели во всем находятся со мной в согласии и готовы вступить в министерство, но что разногласие произошло лишь по вопросу о назначении министра внутренних дел, я высказался за назначение его—Дурново, а общественные деятели желают, чтобы я принял это министерство и во всяком случае, повидимому, не желают служить с ним. Он был очень сконфужен, просил меня, если он не будет назначен, скорее его освободить от временного управления министерством после ухода Булыгина и спросил: «Что они против меня имеют?» Я ему ответил, что они не объясняют, но, вероятно, все это женские его истории, довольно в свое время нашумевшие. На это он ответил: «Да, действительно, в этом я грешен». Так мы и разошлись.

В то время, когда общественные деятели совещались, войти ли им в мое министерство при министре внутренних дел Дурново или нет, я с своей стороны окончательно решил назначить Дурново. Решение это основывалось на том, что я решительно не видел, кого мне предложить назначить помимо его из таких деятелей, которые знали бы то дело, к которому призываются, не подпадали бы под влияние всей полицейской клики и не были бы манекенами в руках удалившегося, чтобы иметь еще большее влияние, генерала Трепова.

Между тем, когда я заговорил с государем о предстоящем совещании с общественными деятелями и о Дурново, то по поводу предложения о назначении князя Урусова министром внутренних дел его величество ничего не сказал, а к назначению Дурново отнесся довольно отрицательно. Сам же во время этого разговора ни на кого не указал.

Когда же, уже будучи комендантом, меня спросил Трепов о моих кандидатах на пост министра внутренних дел и я сказал, что вопрос этот еще не решен, но имеется в виду князь Урусов, он отнесся к Урусову крайне враждебно, к Дурново недоброжелательно и советовал мне самому взять это министерство. Я ему ответил только, что это невозможно.

Такое отношение к Дурново в Царском Селе служило мне также одним из доводов именно в пользу назначения Дурново, так как я уже тогда инстинктивно понимал, что Трепов стремится управлять министерством внутренних дел или, вернее, полицией во всех ее видах, а потому желает или чтобы министром внутренних дел был его человек, или был совершенным новичком и профаном в тех тайнах и пружинах, на которых основывается все полицейское управление империей.

Вечером того же дня, когда у меня было совещание, или на другой день, хорошо не помню, мы опять собрались в том же составе, при чем Д. Н. Шипов, А. И. Гучков и князь Трубецкой высказались, что они не могут войти в министерство в случае, если министром внутренних дел будет Дурново; я же заявил, что принять министерство внутренних дел не могу и не вижу никого, кто бы мог быть назначен министром внутренних дел в настоящее время, кроме Дурново; князь Урусов заявил, что он согласен принять место товарища Дурново по министерству внутренних дел. На этом мы разошлись, при чем я был бы не искренен, если бы не высказал то, может быть совершенно неосновательное, впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власть имущих, и что это был одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души: «Лучше подальше от опасности».

Мы разошлись совершенно дружески, употребляя это слово в деловом смысле, и я просил этих лиц обсудить вопрос о том, в каком смысле и объеме можно расширить выборный закон, оставаясь в пределах манифеста 17-го октября. Они мне сказали, что им удобнее исполнить эту работу в Москве, я просил их сделать это возможно скорее, так как исполнением ст. 2 манифеста замедляются выборы и, следовательно, созыв Думы.

После этого для пополнения министерства мне предстояло пригласить министров: внутренних дел, просвещения, торговли и государственного контролера. В министры внутренних дел я представил Дурново, прося одновременно назначить его и в Государственный Совет, так как Дурново, если бы и не вошел в министерство, по всем бывшим примерам имел на то право. Государь согласился назначить Дурново членом Государственного Совета, что же касается министра внутренних дел, то назначил его лишь управляющим министерством и неохотно. Таким назначением его величество сразу дал понять Дурново: потрафишь мне, тогда на все прошедшее и в том числе на сенаторский либерализм будет поставлен крест, не потрафишь, тогда будешь

начальствовать недолго. А ведь для того, чтобы потрафить государю, нужно было прежде всего потрафить генералу Трепову.

Вот Дурново и не выдержал этот искус, он начал подделываться под государя, под великого князя Николая Николаевича, под Дубровина и даже под Трепова, поскольку Трепов качался направо, и относился к нему—Трепову—благожелательно-равнодушно при его—Трепова—скачках налево.

Дурново, во время моего премьерства, ни разу мне не говорил о своих докладах и беседах с его величеством, но, зная хорошо государя, я ясно себе представляю разговор государя с министром внутренних дел. Дурново, например, говорит: «Ваше величество, на это место следовало бы назначить такого-то, он бы показал, как либеральничать»,—ответ: «Да, это отличное назначение, почему же вы его не представляете?»—«Я не знаю, как к этому назначению отнесется граф Витте, он всех таких лиц называет черносотенцами».—«А какое до этого дело Витте, его дело председательствовать в совете и только». Или я себе представляю такую беседу:—«Вот, ваше величество, мы решили в совете уволить графа Подгоричани из корпуса жандармов за то, что он устроил еврейский погром в Гомеле».—«Я еще не видел журнала, неужели единогласно, разве вы, как министр внутренних дел и шеф жандармов, на это согласились?»—«Да, ваше величество, я не мог пойти в этом деле против графа Витте».—«Напрасно, это графа Витте совсем не касается, это не его дело. Вообще, каждый министр должен действовать самостоятельно и испрашивать моих указаний».

Когда П. Н. Дурново увидал направление государя и то, что я был назначен председателем по необходимости, что я играть роль ширмы не намерен, и что государь, как только ему окажется возможным найти более солидную ширму, со мной охотно расстанется, то он—Дурново—и решил, что лучше быть persona gratissima в Царском Селе, нежели в Петербурге у графа Витте, тем более, что наша жизнь так коротка, а пребывание на постах министров еще короче.

Дурново к 1 января уже был утвержден министром и произведен в действительные тайные советники помимо моего представления, а затем на святую пасху его дочь была сделана также без всякого моего участия фрейлиной их величеств.

Эта своего рода награда была особливо показательна. П. Н. Дурново не особенно примерный семьянин, но обожает свою дочь. Его дочь некрасива, не знатна и не богата. Конечно, для сердца Дурново при таких условиях было большой наградою, если бы его дочь была фрейлиною. Он всячески пытался этого достигнуть, но никак не мог. Об этом в свое время хлопотали и Сипягин (когда Дурново был его товарищем по министерству), и другие, но ничего не выходило. Фрейлины не делались и, ка-

жется, до сего времени не делаются без согласия обеих императриц, а императрица Мария Феодоровна, помня случай Дурново с испанским послом и резолюцию благородного императора Александра III, о назначении дочери Дурново фрейлиною и слышать не хотела. Конечно, Дурново должен был особенно услужить императору Николаю II, чтобы он переломил благородное упрямство своей матушки относительно возведения девицы Дурново во фрейлины их величеств. А затем, когда, совершенно неожиданно для него, Дурново должен был оставить пост министра внутренних дел, после того, как, наконец, моя просьба об оставлении поста премьера была принята, то в вознаграждение за такой конфуз его величеству благоугодно было выдать Дурново двести тысяч рублей, но, конечно, не из своего кармана, а из государственной казны.

Изменил ли я свое мнение относительно Дурново?—Нисколько. Я никогда не считал его человеком твердых этических правил, я в нем ценил и продолжаю ценить ум, опытность, энергию и трудоспособность, но, конечно, Дурново человек не принципов. Если бы государь сразу поставил его на корректную точку и дал ему ясно понять, что, покуда я председатель совета, его выбравший в министры, то я отвечаю за него, и он ничего серьезного не может делать без моего согласия или без моего ведома, то Дурново был бы именно тем министром, который мне был необходим в то время. Затем князь Урусов мог бы его естественно заменить, если бы это оказалось нужным.

А чем лучше Столыпин по сравнению с Дурново? Разве он все, что делал, делал с согласия Горемыкина? Разве по мере вкушения ядовитого плода—власти, почета и материальных благ, ценных для всех его родичей, в особенности родичей его супруги,—Столыпин постепенно не спускал свой конституционный и рыцарский флаг?

Если порассказать лишь то, что мне известно по этому предмету, а мне известно, вероятно, очень мало, то в конце концов нужно признать, что государь император так же обольстил Столыпина, как и Дурново; разница в том, что Дурново мне ножки не подставлял, а напротив, вероятно хотел бы, чтобы я остался, так как знал, что он премьером ни в каком случае тогда назначен не будет, а судя по отношению Горемыкина к Столыпину, едва ли он не считает, что Столыпин желал его ухода, чтобы занять его место.

Недаром государя многие иначе не называют, как charmeur'ом!..

Что государь после 17-го октября желал действовать в нужных случаях с каждым министром в отдельности и стремился, чтобы

министры не были в особом согласии с премьером, могу рассказать для примера следующий факт. Как-то раз уже месяца через 2—3 после 17-го октября встречает меня в приемной государя генерал Трепов и говорит мне, что было бы очень желательно выдать ссуду из государственного банка Скалону, офицеру лейб-гусарского полка, женатому на дочери Хомякова, нынешнего председателя Государственной Думы; я ответил ему, что для этого нужно обратиться в государственный банк; он мне ответил, что государственный банк ссуды не выдает, так как она не подходит под кредит, допускаемый уставом. Я ответил, что в таком случае Скалон ссуды не получит, что прежде иногда такие ссуды вопреки устава банка выдавались по высочайшему повелению, но что теперь это невозможно, во-первых, потому что едва ли это соответствовало бы духу 17 октября, а во-вторых, не время говорить о подобных ссудах, когда страна переживает столь сильный финансовый кризис. Что же касается существа дела, то я его не знаю, но по моей опытности в подобных делах, по внешней оболочке дела Скалона, я почти уверен, что государственный банк на этой ссуде поплатится, во всяком случае, она обратится в долгосрочную ссуду.

Затем через некоторое время приходит ко мне министр финансов Шипов и говорит, что он пришел проведать меня по поводу моего здоровья, а я с приезда из Америки все время моего премьерства был нездоров и меня поддерживало только крайне болезненное нервное напряжение. Потом он мне говорит: «Я считаю также долгом моей совести передать Сергею Юльевичу, но не как председателю совета, члену Государственного Совета графу Витте, одну вещь. Во время моего последнего всеподданнейшего доклада государь мне приказал выдать из государственного банка Скалону ссуду в 2 миллиона рублей, прибавив: «Я вас прошу об этом ничего не говорить председателю совета». Я сказал Шипову: «Ну, хорошо, председатель совета об этом ничего не будет ведать, но только мне интересно знать, как же вы поступите?» Шипов мне ответил, что, вернувшись в министерство, он сейчас же написал государю, что он его повеление исполнит, но что он считает необходимым доложить статьи устава банка, в силу которых банк таких ссуд выдавать не в праве, и что эта ссуда и по существу не обеспечена. Я ему на это сказал: «Ну, что же ответил государь?»—«Его величество вернул мне доклад с надписью—«исполните мое повеление», поэтому ссуда из банка выдана».

Но этот всеподданнейший доклад все-таки Шипову даром не прошел. Когда я покинул пост премьера, И. П. Шипова, несмотря на мое ходатайство, оставили без всякого соответствующего назначения, и Коковцов ему предоставил место члена совета государственного банка.

Что же касается этой ссуды Скалону, то еще в прошедшую зиму было представление в финансовый комитет о продлении этой ссуды, но затем представление в комитете не было заслушано. Ссуда до сих пор не заплачена и будет продолжаться до тех пор, покуда Хомяков нужен министерству, как председатель Думы.

Относительно поста министра народного просвещения я находился в затруднении. Управлял министерством Лукьянов, нынешний обер-прокурор святейшего синода, доктор по специальности, профессор патологии медицинского факультета варшавского университета, затем, неожиданно, сделавший такую быструю карьеру: директора института экспериментальной медицины принца Ольденбургского в Петербурге, затем, через несколько месяцев, он делается товарищем либеральнейшего, по специальности классика, а по натуре поэта и чистейшего человека, министра народного просвещения Зенгера, затем остается товарищем генерала Глазова, сменившего Зенгера, а в комитете министров то проводящий самые ретроградные взгляды, то высказывающий взгляды несколько противоположные. Человек неглупый, образованный, талантливый, но если принять во внимание, что одновременно Лукьянов находил время быть любимым собеседником в салоне графини Марии Александровны Сольской, где он декламировал стихи своего произведения, то такая странная карьера из доктора, при том совершенная в несколько лет, становится более объяснимой. Для меня было ясно, что Лукьянов, товарищ министра народного просвещения Глазова, не может внушить какое бы то ни было доверие в ведомстве, в котором все учебные заведения находились в расстройстве, в волнении и забастовке. С другой стороны, после сделанного опыта с профессором и членом Государственного Совета Таганцевым и князем Трубецким, я считал несвоевременным делать дальнейшие опыты. В виду этого я решил остановиться на человеке университетски образованном, не чуждом учебному делу и не могущем возбудить сомнения по своему прошлому, как в общественных слоях, так и в Царском Селе. Я остановился на вице-президенте академии художеств, гофмейстере двора его величества графе Иване Ивановиче Толстом, воспитаннике петербургского университета, в качестве помощника благороднейшего великого князя Владимира Александровича по академии художеств много лет авторитетно управлявшем этим высшим учебным заведением, человеке совершенно независимом и по происхождению хорошо знакомом с так называемым петербургским обществом и дворцовой камарильей. Я не ожидал встретить возражения по поводу этого кандидата и со стороны государя. Лично я мало знал графа Толстого, знал его больше по репутации. Остановился же я на нем,

во-первых, потому, что во время всех забастовок в петербургских высших учебных заведениях, когда многие начальники этих заведений скисли и стали игрушками в руках обезумевшей молодежи, граф Толстой показал, что он не из тех лиц, которые дают себя терроризировать, и вместе с тем он был уважаем студентами академии, во-вторых, и главным образом потому, что, когда его величество расстался с министром народного просвещения генерал-адъютантом Ванновским вследствие его либерализма (невероятно, но факт!), то великий князь Владимир Александрович рекомендовал государю в министры народного просвещения графа Толстого, и его величество усумнился в назначении, как этого, так и другого кандидата на этот пост, о котором будет речь немножко ниже, между прочим, вследствие их консерватизма, чтобы не шокировать профессуру и студентов, и остановился на товарище Ванновского по министерству, либеральном Зенгере, вероятно, рассчитывая, что он хотя и либерален, но не будет проявлять упрямой твердости характера Ванновского (бывшего все время царствования Александра III военным министром) и его менторского по отношению его величества тона.

В виду этих соображений я пригласил к себе графа Ивана Ивановича и просил его принять пост министра народного просвещения в моем кабинете. Граф Толстой совершенно искренно и без всякой аффектации мне сказал, что он не считает себя подготовленным к занятию этого поста, и советовал мне пригласить человека более к сему подготовленного, а после того, как я ему объяснил, что в настоящее время (т.-е. во время октябрьской революции 1905 года) нет охотников на посты министров и что я более медлить образованием министерства не могу, он, заявив, что считает непатриотичным отказываться от боевых постов в настоящее время и от помощи мне в осуществлении и укреплении начал, провозглашенных 17-го октября, сказал, что, если я не имею никого более подходящего, то он, конечно, примет этот пост. Его величество на это назначение сейчас же соизволил выразить согласие. Очевидно, что Лукьянов оставаться товарищем министра народного просвещения при графе Толстом не мог уже потому, что Толстой на это не согласился бы, и, кроме того, Лукьянов сам надеялся получить этот пост. Граф Толстой просил моего совета относительно того, кого ему взять в товарищи к себе. Признаться, я боялся, чтобы он не взял кого-либо из лиц с репутацией либерализма, тем более, что нужно сказать правду, что тогда редко кто не переходил пределы разумного либерализма, считающегося с действительностью и историей. Поэтому я вспомнил имя Герасимова, с которым никогда в жизни не встречался и знал о его существовании лишь по следующему поводу.

Когда его величество удалил министра народного просвещения генерал-адъютанта Ванновского, то пресловутый князь Мещерский, редактор-издатель на казенный счет пресловутого «Гражданина», имел преобладающее и подавляющее влияние на его величество, и он—князь Мещерский—мне тогда говорил, что очень советовал государю назначить министром народного просвещения Герасимова, человека твердых, консервативных принципов, на которого можно положиться. Кстати сказать, князь Мещерский был одним из тех, которые обвиняли генерал-адъютанта Ванновского в либерализме. Я тогда не интересовался узнать, кто такой Герасимов, а князь Мещерский передавал, что Герасимов заведует приютом (нечто вроде гимназии) детей дворян в Москве и находится в большом фаворе у московского предводителя дворянства князя Трубецкого, у всех столпов московского дворянства, в том числе графов Шереметьевых, а потому и у генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Я подумал, что при такой рекомендации Герасимов уже в чем, в чем, а в либерализме не погрешит. Через несколько дней граф Толстой мне передал, что он познакомился с Герасимовым, и он на него произвел отличное впечатление, и что его величество этот выбор совершенно одобрил.

Затем, в течение всего моего премьерства граф Толстой себя держал во всех отношениях умно, уравновешенно и благородно; я ему не могу поставить ни одного действия в упрек. В совете министров он всегда высказывал умеренные и здравые мысли. Герасимов после назначения мне официально представился и затем несколько раз я имел случай слышать его суждения в совете министров. Он на меня и на большинство моих коллег произвел в совете впечатление умного и знающего человека. Затем, когда я покинул пост премьера, то его величество, можно сказать, просто уволил графа И. И. Толстого, не дав ему никакого соответствующего назначения, и он—граф Толстой—черносотенной и прессою «чего изволите», а также всеми правыми Государственного Совета объявлен был, если не прямо революционером, то, во всяком случае, жидофильствующим «кадетом».

Герасимов после ухода графа Толстого остался в министерстве Горемыкина и затем Столыпина, но еще ранее ухода министра народного просвещения министерства Горемыкина, а затем и министерства Столыпина, Кауфмана, он—Герасимов—был уволен совсем от службы также за свой либерализм.

Это наглядный пример, как во время революции действий и умов происходит переоценка ценностей.

Мне, вероятно, не придется более возвращаться к Герасимову, а потому я приведу следующий факт, мне достоверно

известный. Когда через год или полтора после оставления мною премьерства его величество уволил Герасимова, то Герасимов просил государя принять его. Государь его принял, и не в общий прием, а в частной аудиенции. Я, узнавши об этом, был удивлен, потому что государь, вообще, в таких случаях уклонялся от свиданий с глазу на глаз, так как избегал не особенно приятных разговоров. Оказалось, что он принял Герасимова, потому что принимал его, когда бывал в Москве, по рекомендации великого князя Сергея Александровича и дворянства, как столпа здравых консервативных идей, и было уже больно совестно уволить такого человека и даже не дать ему возможности объясниться.

При этом свидании, между прочим, было высказано следующее. Само собой разумеется, оказалось, что Герасимов уволен государем потому, что этого желал Столыпин. Герасимов высказал, что он не понимает, почему Столыпин так против него, «что он графа Витте не успел узнать, но что он—граф Витте, повидимому, ему верил, а Столыпина успел узнать и к нему относился с доверием и не понимает причины недоверия к нему Столыпина». На это его величество счел уместным уволенному товарищу министра народного просвещения дать мне не совсем лестную аттестацию. Казалось, что его величеству было бы приличнее быть более сдержанным [1]). Герасимов этим разговором был очень удивлен и передал его нескольким лицам, а в том числе и М. А. Стаховичу, от которого об этом разговоре я знаю. После официального приема Герасимова, когда он был назначен товарищем министра, я с ним нигде не встречался наедине и увиделся только через некоторое время после его увольнения по поводу одного заседания Государственного Совета, в дебатах которого я принимал участие; из разговора с Герасимовым я вынес впечатление, что то, что мне передал Стахович, было верно.

Воображаю, какие отзывы его величеству благоугодно было высказывать обо мне господам Дубровину и прочим членам этой черносотенной шайки, когда он неоднократно наедине принимал их. Зная государя, я себе представляю приблизительно такую сцену: «Ваше величество, самодержавнейший государь, все несчастие России произошло от этой подлой конституции, от этого ужасного манифеста 17-го октября, это жидовское навождение и как это ты, обожаемый батюшка-царь, мог подписать такую бумагу?»—говорит Дубровин или ему подобный. Ответ: «Это граф Витте меня подвел».—«Самодержавнейший, благочестивей-

---

[1]) Вариант — На это его величество будто бы ответил:

— А вот я хорошо знал и знаю графа Витте, а потому ему не доверяю.

Я хотел бы думать, что такой разговор не имел места, ибо мне представляется, что каждое слово государя имеет такое значение, что пускать его на ветер не подобает.

ший государь, мы—русские люди это чуяли, мы с ним расправимся». Затем господа Дубровин и К-о и пошли действовать...

Пост государственного контролера я предложил товарищу государственного контролера Философову, человеку совершенно достойному, чистому, умному и знающему. Если я предлагал этот пост Д. Н. Шипову, то потому, что Д. Н. Шипов совершенно заслуженно пользовался, как человек и общественный деятель, доверием большинства партий, что, по моему мнению, необходимо именно для государственного контролера, доколе ведомство государственного контролера, приуроченное к самодержавно-абсолютному режиму, не будет приспособлено к новому режиму, созданному манифестом 17-го октября. В то время Философов был мало известен общественным сферам, и качества Философова знали только лица, которые с ним сталкивались по службе. Философов принял мое предложение, но поставил условием, чтобы с созывом Думы были установлены иные основания для государственного контроля вообще и государственного контролера в частности, которые бы были поставлены в соответствие с новым режимом, что до сих пор не сделано. Философов в течение всего моего премьерства вел себя во всех отношениях безукоризненно, всегда держась направления либерального и разумного.

Наконец, что касается министерства торговли, то я предложил занять это место В. И. Тимирязеву, товарищу министра финансов, заведывавшему отделом торговли до 17-го октября и образования нового министерства из этого отдела и главного управления торгового мореплавания. Тимирязева я знал давно, как неглупого чиновника, всегда занимавшегося канцелярскими делами по торговле и промышленности, в этом отношении обладающего большой опытностью, хорошо канцелярски владеющего пером и хорошо знающего иностранные языки. Когда я был директором департамента железнодорожных дел министерства финансов, он уже был вице-директором департамента торговли и мануфактур, и я близко познакомился с ним, будучи одновременно членом комиссии под председательством министра финансов Вышнеградского, которая выработала первый таможенный протекционный тариф, затем в 1890 или в 1891 году еще при Вышнеградском введенный в действие. Тимирязев был одним из делопроизводителей этой комиссии.

Когда в 1892 году я стал министром финансов, то, задавшись целью, между прочим, подъема торговли и промышленности,— а в то время министр финансов был и министром торговли,— мне пришлось, за смертью директора департамента торговли и мануфактур Бера, заместить этот пост; я хотел назначить на

это место человека более талантливого и живого, нежели Тимирязев, а потому предложил этот пост В. И. Ковалевскому, а так как Тимирязеву было неудобно оставаться при этом условии вице-директором департамента, то он был назначен агентом министерства финансов в Берлине, где и пробыл почти все время, покуда я был министром финансов. Года за полтора до моего ухода с поста министра финансов Ковалевский должен был покинуть пост моего товарища по делам торговли и промышленности, и я взял на его место Тимирязева. Я обратился к Тимирязеву потому, что не придавал этому посту особого значения, так как дела этого министерства сам знал хорошо, к тому же я назначил к нему товарищем М. М. Федорова, также хорошо знающего дела торговли и промышленности. Конечно, от Тимирязева никакой инициативы и таланта я не ожидал, и это мне и не было особенно нужно, но я ожидал корректности и в этом ошибся. Тогда же, когда назначение Тимирязева было решено, но не было еще опубликовано, ко мне пришел М. М. Федоров и советовал мне не назначать Тимирязева, как человека, политически не совсем корректного. Я на это не обратил внимания. Должен сказать, что после весьма каялся, что взял этого карьериста-чиновника в мое министерство. Прежде всего, меня удивила Тимирязевская левизна во многих его суждениях в совете министров, но на это я не обращал внимания. Затем в течение моего премьерства, покуда не ушел Тимирязев, то, что высказывалось в совете министров и даже в конфиденциальных заседаниях, когда не допускались в совет даже начальники отделений канцелярии комитета министров, каковые места в то время занимали люди испытанной скромности, на другой день сообщалось и преимущественно в левых газетах и часто в тоне, несколько рекламирующем Тимирязева. На это часто сетовали другие министры. Это меня вынуждало несколько раз в заседаниях совета просить быть более сдержанными и не разглашать ни то, что говорится в заседаниях, ни принимаемые решения, при чем я указывал на то, что заграницей в самых либеральнейших странах газеты знают из того, что говорится в заседаниях, то, что совет министров считает нужным разгласить; обыкновенно в этих случаях Тимирязев сидел и делал вид, что, конечно, эти рассуждения до него не относятся, так как он вне подозрений. Между тем, когда он покинул пост в моем министерстве, я узнал, что чуть ли не каждый день к нему приходили корреспонденты левых газет, и он им болтал все, что правительство делает и намеревается делать, всегда с выставлением себя ультра-либеральнейшим деятелем. На меня все время чиновник Тимирязев, встречавший и провожавший в Берлине с надлежащим подобострастием каждого русского сановника, уже не говоря о членах царской семьи, по отношениям к монархической власти напоминал такого слугу и то определен-

ного типа, который чесал на ночь пятки своему барину, покуда он имел средства, и вдруг перестал даже ему кланяться, когда он впал в нищету... Тимирязев, конечно, вследствие довольно долгого пребывания заграницей, вероятно, несколько позабыл, что такое Россия, и вообразил себе, что конец монархии, и наступает эра демократической республики, и соответственно сему себя держал. Когда же он увидал, что ошибся в апресиации, то повернул оглобли, но об этом скажу позже.

Еще до переезда в дворцовый дом я расстался с министром путей сообщения князем Хилковым, прекраснейшим человеком, отличным железнодорожником, но не министром путей сообщения. Он был техник-практик, милейший человек, но совсем не администратор.

Вместо него я предложил место министра путей сообщения начальнику юго-западных дорог Немешаеву. Я лично его мало знал, но он пользовался хорошею репутацией как инженер (путей сообщения) и как опытный железнодорожный администратор. Юго-западные дороги в смысле репутации своей—лучших ж. д. в России в отношении личного состава, в смысле коммерческом, как доходное предприятие, наконец, в смысле образцового порядка, в значительной степени были мною созданы, когда я проходил на этой дороге службу и был ее управляющим, а потому аттестация тамошних деятелей затем делалась мне моими бывшими подчиненными, когда мне приходилось их встречать, и, следовательно, по этим аттестациям я хорошо знал Немешаева.

Кроме того, я остановился на Немешаеве потому, что я знал, что он будет приятен государю. Государь мне в прежнее время, когда проезжал по дорогам юго-западным, всегда хвалил их и симпатично выразился о Немешаеве. Его величество сейчас же согласился на увольнение князя Хилкова, с которым я был связан дружбою десятки лет и оставался дружен до его смерти, и на назначение Немешаева на пост министра путей сообщения. Все забастовки и расстройства на железных дорогах произошли во время князя Хилкова, и Немешаеву пришлось восстанавливать порядок на железных дорогах, а также восстанавливать движение, с чем мы после 17 октября очень скоро справились.

Военным министром до 17 октября был Редигер, и я не имел в виду с ним расстаться, так как считал и поныне считаю его весьма толковым и знающим военным министром.

Морским министром был Бирилев, неглупый и недурной человек, но более болтун, нежели делец. Против него я тоже ничего не имел.

Министром юстиции был Манухин, человек весьма дельный и умный, прекрасный юрист и безусловно порядочный и честный человек. Я не только против него ничего не имел, но очень дорожил, чтобы он был в моем министерстве.

Министром иностранных дел был граф Ламсдорф, человек, которого я глубоко уважал и любил, прекраснейший министр иностранных дел, но человек весьма скромный, обидчивый и во всех отношениях не показной. О замене его в моем министерстве и речи быть не могло.

Министрами—финансов Коковцовым и земледелия Шванебахом я не дорожил, но если бы они с своей стороны перестали интриговать и вели себя спокойно, то я с ними ужился бы.

Обер-прокурором святейшего синода был назначен князь А. Д. Оболенский; он им оставался во все время моего министерства. Свое дело он вел недурно, и если бы он оставался обер-прокурором, то, может быть, он не допустил бы той черносотенной бесшабашной политической струи, которая ныне проникла в нашу православную церковь. Я говорю, может быть, так как князь представляет собою тип великосветского титулованного либерала, но никогда не забывающего «свою линию удобств и выгод».

Участвуя в заседаниях совета в качестве равноправного члена, он постоянно метался из стороны в сторону. Он томился противоположностью своего привитого дворянского либерализма 80-х годов с проявлением многих из этих либеральных начал на почве демократической действительности. Он вмешивался в вопросы всех ведомств, хлопотал об устроении положений своих родственников и знакомых и прыгал в своих мнениях от одной крайности к другой.

Когда в последние месяцы существования моего министерства он понял, что я долго не останусь, то он поднял вопрос о том, что обер-прокурор святейшего синода не должен входить в объединенное министерство, говоря прямым языком, его положение не должно было зависеть от участи того или другого министерства, и соответственно сему желал дополнения закона о совете министров. Но, желая выделить свое ведомство православных духовных дел из совета министров, он, тем не менее, как обер-прокурор, желал продолжать принимать участие в совете в качестве равноправного члена. Конечно, я свое сочувствие этому проекту не оказывал.

Еще до моего переезда в дворцовый дом, в первые дни после 17-го октября, произошло одно из чрезвычайно важных собы-

тий, которое придало акту 17-го октября как бы особую печать новой государственной жизни, отделяющей старое от нового времени, конституционного, или времени народного правительства, как предпочитают говорить теперешние министры со Столыпиным во главе, опасаясь, вероятно, чтобы заморское слово конституция не вызвало нелюбезного лица императора или руготни на жаргоне публичных домов газеты Дубровина («Русское Знамя»).

Я хочу сказать об акте политической амнистии. Манифест 17 октября никакой амнистии не обещал, но амнистия была на устах у всех. Я просил министра юстиции Манухина сообразить этот вопрос и затем я собрал совет министров в помещении генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел Трепова. Заседание было назначено в этом помещении (на Морской, бывшее помещение министра внутренних дел), так как около сего помещения преимущественно жили долженствовавшие принимать участие в заседании; присутствовали Трепов, П. Н. Дурново, Манухин, с одним из директоров департамента своего министерства Щегловитовым, Коковцов, Шванебах, государственный секретарь барон Икскуль, министр двора барон Фредерикс, Философов, товарищ государственного контролера, товарищ министра народного просвещения Лукьянов, временно управляющий министерством, остальных не помню.

Относительно необходимости после 17 октября оказать акт забвения высказались все; один только Трепов как бы высказывался против, но потом начал говорить за и под конец желал полную амнистию без всяких исключений. Манухин высказался за широкую амнистию, но за исключением убийц-революционеров, относительно же последних допустить уменьшение наказаний в определенной градации. Это мнение и было принято большинством, к которому и я присоединился и которое было высочайше утверждено и немедленно приведено в исполнение. Это была первая широкая политическая амнистия в России, связанная с признанным в то время политическим преобразованием России, т.-е. переходом от империи полицейской к империи правовой, которая немыслима без известного подразделения власти между монархом и народным представительством, конечно, представительством более или менее не фиктивным, т.-е. не таким, которое государственным переворотом, совершенным Столыпиным в июне 1907 года при усиленных чрезвычайных и военных положениях, у нас в России водворилось.

Достойно внимания, что в защиту расширения амнистии в сказанном заседании весьма толково говорил П. Н. Дурново, а докладчик Щегловитов так и сыпал доводами газеты «Речь», т.-е. крайних кадетов того времени. Я в душе немного побаивался амнистии, но считал ее необходимою, раз мы стали на путь 17 ок-

тября. И в настоящее время после всего пережитого я эту амнистию считаю мерою правильною..

Во время этого заседания барон Икскуль меня спросил, знаю ли я, что сегодня Коковцов подал государю прошение об увольнении. Я не знал и ответил, что не знаю причины этого поступка, что я не имел в виду его заменить и не думал с ним расставаться, но только решил образовать министерство торговли, взявши из министерства финансов все, что непосредственно относится до торговли и промышленности, о чем я говорил председателю Государственного Совета графу Сольскому, но что мне его заменить не представляет никакого труда. На другой день ко мне явился Коковцов и просил меня написать государю, чтобы он не давал последствия его прошению. Я ему ответил, что это теперь очень неудобно делать, и упрекал его в некорректности, что он подал прошение, меня не предупредивши. Он все свалил на графа Сольского, говоря, что ему граф Сольский это советовал, уверяя, что я с ним—Коковцовым—служить не хочу. Когда он убедился, что я этого Сольскому не говорил, то начал очень сожалеть о своем прошении, а затем начал плакать, говоря буквально следующее:

«Что я буду делать? Хорошо вам, когда вы были не у дел, читали, писали, меня же все это не интересует,—я умру со скуки».

Последовало увольнение Коковцова, и вместо него я просил назначить директора департамента казначейства Шипова, прекрасного, умного, честного и знающего человека, но только с хитрецою. Затем я узнал, что граф Сольский хочет просить государя назначить Коковцова председателем департамента экономии Государственного Совета. Но ранее государь прислал мне прошение Коковцова, из которого я усмотрел, что Коковцов в этом прошении инсинуирует против 17 октября, поэтому я категорически воспрепятствовал этому назначению.

В дворцовом доме, в который я переехал, часть помещения была отдана под залу заседаний совета министров, мой кабинет и маленькую канцелярию; заседания совета по несколько раз в неделю происходили тут, а заседание комитета министров, председателем которого я остался, попрежнему в Мариинском дворце. Особой канцелярии совета формально образовано не было, но часть канцелярии комитета занималась советскими делами, и фактическим управляющим делами совета сделался помощник управляющего делами комитета (ныне сенатор) Вуич.

Я выделил дела советские от комитетских, чтобы по советским делам не иметь постоянных сношений с управляющим делами

бароном Нольде, умным, знающим, порядочным и толковым человеком, но типом петербургского чиновника.

Вуич на меня ранее производил впечатление крайне симпатичного человека. За время моего премьерства, когда он, можно сказать, занимался при мне днем и иногда ночью, и затем и после этого,—я убедился, что это редко ч и с т ы й, добросовестный и прекрасный человек. Оригинально то, что он женат на любимой дочери Плеве, и они замечательно хорошо и семейно живут.

У Плеве было двое детей—дочь, жена Вуича —и сын, теперешний управляющий делами совета министров, из черносотенного лагеря. Честное и добросовестное служение со мною Вуича внесло раздор в семейство Плеве. Жена Вуича, конечно, была на стороне мужа.

В числе важнейших задач, которые предстояло решить моему министерству, было—переменить выборный закон, установленный при опубликовании Думы 6-го августа 1905 года (Булыгинской).

Один закон был выработан общественными деятелями в Москве. Поручение это, как уже сказано, взяли на себя Д. Н. Шипов, Гучков и князь Трубецкой или, вернее сказать, напросились на это поручение. Это обстоятельство именно несколько и замедлило опубликование закона о выборах и созыв самой Думы.

Другой закон был выработан Крыжановским (служившим в министерстве внутренних дел, составившим выборный закон и Булыгинской Думы) по моим указаниям и под моим руководством. Оба эти закона затем были рассмотрены в особом заседании комитета министров под моим председательством. В комитете министров в качестве членов по закону присутствовали председатели департаментов Государственного Совета (граф Сольский, Фриш и Голубев), некоторые приглашенные мною члены Государственного Совета—А. А. Сабуров, Таганцев, затем общественные деятели, участвовавшие в составлении их проекта: Шипов, Гучков, Стахович, Муромцев (будущий председатель первой Государственной Думы), Кузьмин-Караваев и граф Бобринский. Последний не принимал участия в составлении проекта закона, но, будучи ранее мне представлен, высказывал по тому времени довольно консервативные взгляды, особливо относительно будущего выборного закона, из-за этого именно он был мною приглашен.

В заседании значительное большинство членов склонилось к проекту, выработанному Крыжановским (ныне занимает пост государственного секретаря) под моим руководством, сделав в нем некоторые поправки второстепенного характера. В этом большинстве участвовал и граф Бобринский, который горячо спорил с остальными общественными деятелями, опровергая их проект. Остальные общественные деятели поддерживали

их проект и особенно много говорил, поддерживая проект общественных деятелей, Муромцев.

Я тогда в первый раз увидал этого почтенного старика, и он на меня не произвел особенно симпатичного впечатления. Из членов правительства, участвовавших в заседании, к проекту общественных деятелей примкнули Философов (принципиальный либеральный деятель), князь Оболенский (у которого либерализм часто был средством для личных целей) и еще один или два деятеля, не помню, кто именно. Оба проекта затем обсуждались в особом совещании под председательством государя, в котором кроме министерства, членов Государственного Совета, присутствовавших в комитете министров, государем были приглашены некоторые великие князья (помню, Михаил Александрович), еще некоторые члены Государственного Совета архи-консервативного направления (Стишинский, Горемыкин, граф Игнатьев и еще некоторые), а также общественные деятели по моему указанию: Шипов, Гучков, барон Корф и граф Бобринский. Первые двое, конечно, должны были поддерживать проект общественных деятелей, а вторые двое—я рассчитывал, будут высказываться против—граф Бобринский потому, что он горячо и убежденно высказывался против в заседании комитета министров, а барон Корф, как земец весьма умеренных взглядов, а к тому же известный императрице (а следовательно и императору) по благотворительной деятельности. Проект общественный и правительственный отличались тем, что второй исходил из начал Булыгинского закона, при чем нисколько не трогал всего, что касалось крестьянских выборов, а только расширил закон привлечением к выборам деятелей так называемых вольных профессий, квартирантов и рабочих. Первый же проект, т.-е. проект общественных деятелей, делал значительно больший шаг к идеалу того времени кадетов, т.-е. к всеобщим прямым, равным и тайным выборам, иначе говоря, к так названной четыреххвостке (вероятно, потому что осуществление этого простого проекта было бы наказанием имущих и сильных, кнутом в четыре конца).

Его величество, открыв заседание и после моих кратких объяснений, в которых я старался быть возможно более объективным, обратился к общественным деятелям и, к моему удивлению, не только Шипов и Гучков, но и граф Бобринский и барон Корф высказались за проект общественных деятелей, безусловно его поддерживая.

Я ранее говорил государю, что двое будут поддерживать проект, а двое, вероятно, возражать, поэтому его величество был удивлен речами Корфа и особливо графа Бобринского.

После того, как общественные деятели высказались, государь прервал заседание и затем отпустил этих деятелей. После

заседание возобновилось без них. Во время перерыва я подошел к графу Бобринскому и недоумевающе спросил его:

— Как же вы, граф, защищали проект, против которого вы так недавно горячо возражали?

На это он мне ответил:

— Ваше сиятельство, после заседания комитета министров я пробыл в деревне, видел много народу и пришел к убеждению, что теперь никакой проект Россию не удовлетворит, кроме крайне демократического, а потому я и поддерживал проект общественных деятелей.

Затем заседание возобновилось, несколько членов говорили за проект общественных деятелей, а большинство за правительственный, но дело не было решено. Я видел, что его величество колебался.

На другой день было какое-то торжество, я видел императрицу и заговорил с ней об этом деле, высказав, что государь сделает ошибку, согласившись на крайний проект. Это единственный раз, когда я обратился к ее величеству по вопросам государственным, рассчитывая на ее влияние. Заседание опять возобновилось, некоторые члены говорили за проект общественных деятелей, а большинство опять за правительственный проект, в том числе Таганцев и Сабуров, которые, вообще, не без основания считались и считаются культурными либералами. Мне пришлось опять говорить, при чем, стараясь быть возможно объективнее и указывая на преимущества и недостатки обоих проектов, я все-таки высказывался за правительственный, т.-е. мой проект. В результате государь сказал, что он принимает и утвердит правительственный проект. Когда этот закон был обнародован, большинство, поскольку общественное мнение выражалось в прессе, находило его недостаточно всеобщим и вообще неудовлетворяющим современным течениям общественного и народного сознания. А затем, когда начались выборы и увидали, что и этот закон дает таких представителей, которые будут выражать тенденцию «против сильных», а равно высказывается за широкое понимание акта 17 октября, и когда начали сознавать, какие же выборы получились бы, если бы был принят еще значительно более демократический проект общественных деятелей, то тогда поняли, что правительственный проект представляет maximum той демократичности, которая по тем временам была возможна [1]).

[1]) * Шипов и Гучков даже по проекту правительственному в Государственную Думу не попали. Шипов (человек принципиальный и политически, несомненно, честный) был выбран от земцев в Государственный Совет. Гучков не был выбран и во вторую Думу. Для того, чтобы он мог попасть в 3-ю Думу, нужно было, чтобы явился такой господин, как Столыпин, который, начихав на основные законы, ввел новый выборный закон, который

*

Когда выборный закон был объявлен, то у меня был граф Гейден (также один из видных общественных либеральных деятелей того времени) и между прочим сказал:

— Как хорошо, что прошел ваш выборный закон, а то, если бы прошел законопроект общественных деятелей, то получилась бы такая Дума, которую пришлось бы сейчас закрыть.

Графа Гейдена я встречал, как управляющего канцелярией главноуправляющего комиссии прошений генерал-адъютанта

основан на том начале, чтобы давать в Думу большинство сильных, т.-е. такое большинство, которое всегда будет плясать под дудочку правительства, если только таковое не будет состоять из кретинов.

Гучков же даже по этому новому выборному закону 3 июня рисковал не попасть в Думу и, так как Столыпин очень хотел, чтобы Гучков попал, то приказал для этой цели бывшему градоначальнику генералу Рейнботу пустить в ход подкуп, что Рейнбот и исполнил, как это было обнаружено на судебном следствии по делу генерала Рейнбота в Москве, когда он был без достаточных оснований устранен Столыпиным от должности и предан суду; если не считать достаточным основанием то, что одно время Рейнбот был в большой милости у государя, а потому мог явиться в будущем конкурентом Столыпину. Гучков, будучи таким образом выбран в Думу, пошел на служение г. Столыпину, а теперь обратился в тип «чего изволите», а потому сделался серьезным пайщиком «Нового Времени». Точно так и граф Бобринский попал только в 3-ю Думу по Столыпинскому закону 3-го июня, закону-собирателю «сильных».

Графа Бобринского я мало знаю, знаю, что он сначала служил в лейб-гусарском полку, а затем вышел в отставку и сделался таким красным зайцем, что государь, когда был в Ялте в девяностых годах, не пожелал принять Бобринского вследствие его левых выходок. Затем смута 1904—1905 годов, погрозившая сильно карманам богатых вообще и больших землевладельцев в частности, повидимому, сбила почтенного графа с панталыка. Попав в 3-ю Думу под знаменем 17 октября, он стал там затем националистом и нередко произносит речи à la Пуришкевич (балаганно-реакционные).

Далее говорят и, кажется, не без основания, что за его — графа Бобринского — хорошее поведение он получил из государственного банка ссуду в несколько сот тысяч рублей, без которой его дела потерпели бы полное крушение.

Во всяком случае почтеннейший граф человек очень увлекающийся и неустойчивый.

Его отец, граф Алексей Бобринский, при Александре II был министром путей сообщения, и я служил под его начальством. Это был благороднейший и честнейший человек, но тоже не без странностей. За свое благородство он угодил, будучи министром путей сообщения, на гауптвахту за то, что не потрафил княгине Долгорукой (Юрьевской) в ее денежных аферах, а затем вышел в отставку и более не являлся в столицу. Вероятно, это обстоятельство несколько повлияло на водворение в его сыне микробов либерализма, но либерализма графского, который улетучился сейчас, как только этот аристократический либерализм встретился с либерализмом голодного желудка русского народа. Вообще, после демократического освобождения в 60-х годах русского народа самодержавным императором Александром II с принудительным возмездным наделением крестьян землею, между высшим сословием Российской империи появился в большой дозе западный либерализм. Этот либерализм выражался в мечтах о конституции,

Рихтера; он на меня произвел впечатление честного, порядочного и образованного чиновника-сухаря, и я недоумевал, когда в 1904—1905 годах он вдруг явился одним из столпов общественных деятелей, стремившихся ввести конституцию. Все-таки справедливость требует сказать, что граф Гейден ранее других предусмотрел, что «народ идет», и, попав в первую Думу, он держал себя в высшей степени уравновешенно и благородно, будучи на правой стороне *.

т.-е. ограничении прав самодержавного государя императора, но в ограничении для кого? —для нас, господ дворян.

Когда же увидали, что в России, кроме монарха и дворян, есть еще народ, который также мечтает об ограничении, но не столько монарха, как правящего класса, то дворянский либерализм сразу испарился. Впрочем, в известной степени почти везде на западе было то же: сначала высшее сословие ограничивало монарха, а потом народ ограничивал это сословие, включая сюда денежную буржуазию. В настоящее время последняя стадия этого процесса резко проявляется в Англии*.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Беспорядки и карательные экспедиции.

* Я вступил в управление империей при полном ее, если не помешательстве, то замешательстве. Ближайшими признаками разложения общественной и государственной жизни было общее полное недовольство существующим положением, что объединило все классы населения; все требовали коренных мер государственного переустройства, но в мечтах различных классов желательные преобразования представлялись различно. Высший класс (дворянство) был не прочь ограничить самодержавного неограниченного государя, но только в свою пользу—создать аристократическую или дворянскую конституционную монархию; купечество-промышленность мечтало о буржуазной конституционной монархии, гегемонии капитала, об особой силе русских Ротшильдов; интеллигенция, т.-е. люди всевозможных вольных профессий—о демократической конституционной монархии с мыслями in spe перейти к буржуазной республике (на манер Франции); рабочий класс мечтал о большем пополнении желудка, а потому увлекался всяческими социалистическими государствоустроительствами; наконец, большинство России—крестьянство—желало увеличения земли, находящейся в их владении, и уничтожения произвола распоряжения им как со стороны высших поместных классов населения, так и со стороны всех видов полиции, начиная от урядника и жандарма и переходя через земского начальника до губернатора, его мечта была самодержавный царь с идеей — царь для народа, но с признанием начал великого царствования Александра II (освобождение крестьян с землею), нарушивших священную собственность; оно склонялось к идее конституционной монархии с социалистическими началами партии трудовиков, т.-е. к принципу, по которому труд, и преимущественно физический, дает право на все.

Во всяком случае все желали перемены, все вели атаку на самодержавную власть, фигурально выражаясь, на бюрократический строй. 17 октября внесло полный раздор в лагерь противников самодержавия, раскололо общество на партии, внесло между ними междоусобие, и многие уже вместо нападения на самодержавную власть, на бюрократию, стали искать у нее поддержку против своих противников. Это положение держится и по настоящее время.

Наиболее смущавшими власть явлениями были анархические покушения на представителей власти, беспорядки во всех высших и даже многих средних учебных заведениях, сопровождавшиеся различными эксцессами, беспорядки в войсках, крестьянские и рабочие беспорядки, сопровождавшиеся уничтожением имущества и нанесением увечья и смерти, и забастовки.

8-го октября 1905 года прекратилось движение на железных дорогах, примыкавших к Москве, 10 октября стачка охватила харьковский узел железных дорог, и 12 октября стал петербургский узел. В промежуточные и последующие дни прекратилось движение на прочих железных дорогах. К 17 октября почти вся железнодорожная сеть с телеграфом замерли. К этому времени приостановили работы почти все фабрики и заводы в крупных промышленных центрах России. В С.-Петербурге фабрики и заводы начали бастовать с 12 октября, а к 15 октября деловая жизнь столицы вовсе прекратилась.

В это время в Петербурге играл роль совет рабочих депутатов. Мысль об учреждении этого совета зародилась в начале октября и путем прессы стала пропагандироваться среди рабочего населения. 13 октября состоялось первое заседание совета в технологическом институте, на котором было принято обращение к рабочим, призывавшее к забастовке и к выставлению крайних политических требований. Второе заседание последовало там же 14 октября. В этом заседании председателем совета был избран помощник присяжного поверенного Носарь, из евреев, который поступил для пропаганды ткачем фабрики Чешера и там носил фамилию Хрусталева.

Почти все петербургские рабочие начали беспрекословно подчиняться решениям совета. 15 октября состоялось заседание совета опять-таки в технологическом институте, при чем в совете принимали живейшее участие некоторые профессора и другие деятели вольных профессий. 16 октября, вследствие опубликования порядка открытия собрания, здания учебных заведений были закрыты для посторонней публики, заседание совета состоялось 17 октября в зале вольно-экономического общества. Число членов совета уже значительно превысило 200 человек.

В этом собрании был избран исполнительный комитет совета в составе 30 человек. 17 октября вышел исторический манифест, и того же числа поочереди в различных типографиях начали печатать «Известия совета рабочих депутатов», орган чисто революционного характера, который, между прочим, печатался в типографиях далеко не революционных органов печати.

Одним словом, к этому времени управления Трепова-Горемыкина-Коковцева и прочей братии в стране водворился полный революционный кошмар. Фактически я вступил в управление 18 октября и мог сформировать министерство, которое было способно распознать и охватить положение дела в стране, как об этом мною говорилось ранее, только через довольно продолжительное число дней. К 17 октября совет рабочих во главе с Носарем представлял в Петербурге на первый взгляд довольно значительную силу, так как его слушалась рабочая масса и в том числе рабочие типографий. Это последнее обстоятельство имело особое значение, так как таким образом газеты подпали в известной степени в зависимость от совета, ибо от рабочих зависело не только своевременное издание, но даже издание или неиздание газеты. К этому обстоятельству особенно чувствительно отнесся А. С. Суворин, редактор-издатель «Нового Времени», которое представляло собою прежде всего выгодное коммерческое предприятие и уже издавна трактовалось с этой точки зрения, несомненно, талантливым публицистом и русским человеком, который, по мере наживы денег и увеличения миллионного состояния, все более и более жертвовал идеями и своими талантами для толстеющего кармана. Человек, который начал свою публицистическую карьеру с грошом в кармане, имея уже, как оказалось после смерти его, состояние в пять миллионов рублей, за несколько месяцев до смерти сетовал на Россию в том отношении, что вот сколько он работал, и если это было бы в Америке, то он нажил бы десятки и десятки миллионов, а что он нажил только каких-то 2—3 миллиона.

После манифеста 17 октября началось разложение общественных русских масс, сознательно или несознательно, т.-е. без учета последствий желавших и требовавших фактического уничтожения неограниченного самодержавия. 18 октября совет рабочих собрался и принял решение предложить всеобщую забастовку, так как манифест не удовлетворяет рабочие массы.

Тем не менее 19 октября забастовка в Москве и других пунктах начала прекращаться, и железные дороги возобновили движение. Под этим влиянием совет рабочих депутатов уже 19 октября постановил о прекращении с 21 октября забастовки. После 17 октября происходили на улицах стычки революцио-

неров с войсками, полицией и антиреволюционерами, при этом было убито несколько человек и, между прочим, ранен в голову около технологического института профессор петербургского университета Тарле [1]). Совет объявил демонстративные похороны убитых рабочих, но правительство не допустило демонстраций. Мною после 17 октября было отдано распоряжение, чтобы допускались всякие спокойные шествия по поводу 17 октября, но при малейшем бесчинстве и нарушении спокойствия демонстрации были подавляемы. Демонстрация по поводу похорон имела явную цель нарушить покой, а потому была недопущена. Вообще, в Петербурге через несколько дней после 17 октября водворилось спокойствие, и в течение шестимесячного моего пребывания во главе правительства я не вводил никаких экстраординарных мер по управлению Петербургом и его окрестностями, не было ни одного случая применения смертной казни. Все это было введено впоследствии, когда Столыпин начал фактически уничтожать 17 октября. В других же местностях России по поводу демонстраций 17 октября происходили смуты. Так в Кронштадте вспыхнули беспорядки 26-го и были подавлены 28 октября. Кронштадт, как город морского ведомства, был особливо революционирован. Смута, более нежели в других частях войск, внедрилась между моряками, а потому еще до 17 октября военными пронунциаментами выражалась в среде моряков в Севастополе и отчасти в Николаеве и Кронштадте. Этот революционный дух внедрился между моряками вследствие дурного управления морским начальством и вследствие того, что вообще в моряки поступают более развитые части населения, легче подвергающиеся революционированию, а тогда этому процессу подвергались громадные массы населения.

Затем, после 17 октября, во всей России появились демонстрации радости, которые вызывали контр-демонстрации со стороны шаек так называемых черносотенцев. Они были названы черносотенцами вследствие их малочисленности и были составлены преимущественно из хулиганов, но так как они находили в некоторых местах поддержку со стороны местной власти, то скоро начали возрастать, и дело иногда переходило в погромы преимущественно, если не исключительно, евреев.

С другой стороны, так как крайние левые также остались недовольны недостаточною демократичностью 17 октября и тоже бесчинствовали и не встречали достаточного нравственного отпора со стороны всей либеральной части общества, то вскоре

[1]) См. стр. 81.

и хулиганы правые, т.-е. черносотенцы, начали получать поддержку в административных властях, а затем и свыше.

Великий князь Николай Николаевич, вырвавший с револьвером, грозя себя застрелить, манифест 17 октября, уже через несколько недель после 17 октября конспирировал с известным вождем черносотенных хулиганов, доктором Дубровиным, относительно принятия мер для обезвреженія 17 октября.

Покуда же я был во главе правительства, я старался этого не допускать, после моего ухода наступило время Столыпина, а затем переворот 3-го июня, и тогда Столыпин совсем уперся на черносотенцах и на Дубровине, а когда в 3-й Думе явилась партия так называемая октябристов, которая играла у Столыпина роль, которую сперва играли черносотенцы, то брат Столыпина, публицист, содержимый «Новым Временем» преимущественно в качестве брата премьера, не стеснялся в газете сказать по адресу Дубровина: «Мавр, ты сделал свое дело, теперь ты мне больше не нужен, уходи вон» (подлинную фразу Шекспира не помню).

Немедленно после 17 октября во многих местах местные администраторы совсем спасовали, а потому допустили беспорядки и погромы вследствие трусости и растерянности. Так было в Москве с генерал-губернатором Дурново, в Киеве с генерал-губернатором Клейгельсом, в некоторых других пунктах и особливо в Одессе, где градоначальником был Нейдгардт, мною уволенный и затем выплывший на поверхность административного влияния при Столыпине в качестве брата его жены. Затем еще при генерале Трепове и Рачковском завели при департаменте полиции типографию для фабрикации погромных прокламаций, т.-е. для науськивания темных сил преимущественно против евреев.

Эта деятельность мне была открыта Лопухиным [1]) (бывшим директором департамента полиции, ныне находящимся в ссылке в Сибири) и мною ликвидирована. Но на местах она продолжалась, так при мне в Гомеле был устроен погром евреев посредством провокации жандармской полиции и, когда я открыл эту позорную историю и довел до света, то на мемории по этому делу, конечно, не без влияния министра внутренних дел Дурново, его величество соизволил написать, что эти дела не должны быть доводимы до его сведения (вероятно, по маловажности?)...

После прекращения забастовки в Петербурге с 27-го октября рабочие некоторых заводов начали вводить насильственно

[1]) См. стр. 67—68.

восьмичасовой рабочий день. Совет рабочих чувствовал, что он теряет свой престиж между рабочими. 1 ноября он постановил привести в исполнение вторую забастовку, выставляя необходимость этой меры, как демонстрации против введения в Царстве Польском военного положения и действия правительства по подавлению беспорядков в Кронштадте. Я узнал об этом ночью и дал рабочим через администрацию нескольких заводов телеграмму, предупреждая рабочих, чтобы они перестали слушаться лиц, явно ведущих их к разорению и голоду. В телеграмме этой я употребил, обращаясь к рабочим, необыденное в подобных случаях от сановника и главы правительства слово, что я им даю совет товарищеский. Это слово подхватили некоторые газеты, в том числе и «Новое Время», и начали над ним издеваться, а вожаки рабочих, имея в виду влияние, которое моя телеграмма произвела на рабочих, совсем освирепели.

Тем не менее, забастовка не удалась, рабочие перестали слушать совет и своих вожаков, и поэтому 5-го ноября совет рабочих постановил прекратить забастовку.

Вообще, с 7-го ноября везде прекратились забастовки, и государь император 7-го ноября, между прочим, мне писал: «Радуюсь, что бессмысленная железнодорожная стачка окончилась, это большой нравственный успех правительства».

Со своей стороны добавлю, что это был непосредственный результат 17-го октября, и что забастовки эти и все беспорядки были заведены до 17-го октября, когда я был не у власти, во время министерства Трепова-Булыгина-Коковцова и tutti quanti.

Когда фабриканты увидали, что правительство после 17-го октября приобретает нравственный авторитет и силу, то они объявили рабочим, что не будут платить им деньги за прогульные дни и рассчитывать их в случае неподчинения установленному рабочему времени, и они начали широко применять эту меру. Тогда рабочие увидали, что их советники им советовали неразумно, что им на своих плечах или, вернее, на желудках своих и своих семейств приходится расплачиваться за эти советы. Совет рабочих 13 ноября снова обсуждал предложение объявить забастовку, но она была отвергнута; точно так же совет был вынужден постановить «в р е м е н н о» прекратить захватное введение восьмичасового рабочего дня. С этого времени значение совета рабочих депутатов начало стремительно падать, а революционная организация проявлять разложение.

Тогда я нашел своевременным арестовать Носаря 26 ноября. Вместо Носаря был выбран советом президиум из трех лиц, совет не собрался, а собрался лишь секретно президиум. Я имел намерение арестовать Носаря ранее, но мне отсоветовал Литви-

нов-Фалинский (ныне управляющий одним из отделов [департаментов] главного управления торговли и промышленности), находя, что нужно выждать, когда рабочие будут рады этому аресту, т.-е. когда Носарь и совет потеряют всякий престиж, дабы напрасно не иметь столкновения, может быть и кровавого, с рабочими. Этот совет Литвинова был, по моему мнению, вполне благоразумным.

После ареста Носаря я распорядился арестовать весь совет, что Дурново исполнил лишь 3 декабря. Дурново опасался, что, если он начнет арестовывать членов совета врозь, то они разбегутся, и ожидал собрания. Совет же боялся собраться, а как только он собрался 3 декабря в вольно-экономическом обществе, он был арестован в числе 190 человек.

После ареста Носаря совет возбуждал вопрос о забастовке, как протесте против ареста, но это осталось без всякого влияния на рабочих. Таким образом окончилась история с советом рабочих и его вожаком Носарем, так раздутая прессою, так как эти забастовки, касаясь типографских рабочих, касались и ее карманов.

Конечно, между деятелями прессы было много лиц, принципиально сочувствовавших «революции рабочих», но это были бессеребряные журналисты, большею частью фантазеры. Во все времена всегда революция рождает таких идеалистов-фанатиков.

Со времен 1905 года более серьезных забастовок в России не было. Бывшая революционная забастовка научила кой-чему рабочих, а именно, что нужно очень скептически относиться к являющимся со стороны вождям, вроде Носаря, часто ведущим их к большим потерям. Она научила и промышленников, которые несколько улучшили положение рабочих. Она научила и правительство, которому, наконец, удалось, несмотря на возражения, хотя и скрытые за спиной других, некоторых представителей промышленности в Государственном Совете и Думе провести в этом году закон о страховании рабочих, закон, который был предрешен в Государственном Совете около двадцати лет тому назад, когда я был министром финансов, и все время встречал скрытую обструкцию. Но, повидимому, она не научила жандармскую и секретную полицию, так как жандармский офицер, некий Терещенко (что-то в этом роде), в этом году расстрелял более двухсот человек рабочих на Ленских приисках, рабочих, которые добивались улучшения своего невозможного положения путями мирными и после многолетнего испытания их терпения. Повидимому, вся местная администрация этого богатейшего золотопромышленного общества была прямо или косвенно на содержании общества и мирволила его эксплоататорским аппетитам.

Министр же внутренних дел Макаров (которого при дворе зовут честным нотариусом), представив по этому случаю в Думе самые натянутые и фактически неверные объяснения, закончил свою речь, оправдывая совершенные полицией массовые убийства, безобразным восклицанием: «Так всегда было, так и будет впредь».

Конечно, не нужно быть пророком, чтобы сказать, что если так было (хотя это было раз при истории Гапона, созданной министерством внутренних дел Плеве), то так долго не будет впредь, ибо такой режим, где подобные бойни возможны, существовать не может, и 17 октября есть начало конца такого режима. Несомненно, что никакое правительство не может допустить бунта и неповиновения закону. В этом случае проявление силы должно быть подавлено силою же, но правительство не может бездействием власти, подкупным мирволением эксплоататорских бессовестных инстинктов, провокаторством возбуждать рабочих и доводить их до забвения и отчаяния. Такое правительство в XX веке долго существовать не может, оно искрошится.

Кроме забастовки рабочих на фабриках и заводах и железных дорогах, в ноябре 1905 года разразилась совершенно неожиданно забастовка на правительственном телеграфе. Эта забастовка причинила наибольший ущерб действиям правительства, так как лишала правительство возможности делать распоряжения. Замечательно, что министр внутренних дел Дурново, который ранее долгое врем управлял почтами и телеграфом, совсем этой забастовки не ожидал.

Что касается беспорядков в армии и флоте, то я уже по этому предмету имел несколько раз случай говорить. Они начались во время войны вследствие крайней нерегулярности оной и постыдного ее ведения. Особенно резко они выражались во флоте. Крейсера черноморского флота, взбунтовавшись, бомбардировали Одессу. Один крейсер дезертировал в Румынию. Этих фактов достаточно, чтобы судить о состоянии флота.

В сухопутных войсках вся мобилизация происходила при полном неподчинении новобранцев начальству. В некоторых случаях происходили возмутительные сцены нарушения элементарных правил воинской дисциплины. Революционный дух сперва проник в войска, оставшиеся в России, а потом перескочил в действующую армию. После 17-го октября настроение в войсках продолжало быть неспокойным вследствие того, что не отпускали призванных на время войны. Я настоял на их роспуске, так как призванный элемент развращал здоровый организм войсковых частей. Эта мера значительно уменьшила количество войск в России, и без того значительно уменьшенное

вследствие ухода большой части войск за Байкал в действующую армию, но зато положила предел дальнейшему революционированию армии.

После 17-го октября происходили некоторые беспорядки в одном из полков, находившемся в Москве (вообще войска, оставшиеся в Москве, были очень распущены), а равно в Петербурге с одним морским баталионом. Об этом я имел случай говорить ранее. Происходили также беспорядки в черноморском флоте, и вследствие бунта в одной части, некоторые моряки и в том числе лейтенант (или гардемарин, не помню) Шмидт был расстрелян. По поводу расстреляния Шмидта, когда его осудили, то ко мне явился его защитник, известный присяжный поверенный и затем член Думы (депутат первой Думы от Одессы, Пергамент) и честным словом уверял меня, что Шмидт помешанный, и что его нужно не казнить, а поместить в сумасшедший дом. Так как все это дело касалось морского министерства, Шмидт судился на точном основании общих морских законов, то я счел возможным лишь довести заявление его до сведения его величества. Государь изволил мне сообщить, что он уверен, что если бы Шмидт был сумасшедшим, то суд это констатировал бы.

В общем, после 17-го октября в войсках все успокоилось. Должен сказать, что государь, с своей стороны, делал все от него зависящее, чтобы влиять на это успокоение, а именно, он все время старался и ныне старается общаться с войсками и не стеснялся делать frais de sa personne. К сожалению, мне кажется, что и теперь у нас нет правильного военного управления и нет в достаточном числе военачальников на высших постах и едва ли существующая система способствует тому, чтобы соответствующие военачальники обнаруживались. Но для того, чтобы говорить об этом, нужно было бы войти в обширные объяснения, которые здесь были бы не у места.

Что касается крестьянских беспорядков, то скажу о них только несколько слов. Бороться с крестьянскими беспорядками было очень трудно потому, что не было ни в достаточном числе сельской полиции, ни войска. Что касается полиции вообще и, в частности, сельской, то за время шестимесячного моего управления была значительно увеличена и организована как городская наружная полиция, так и сельская созданием конной полицейской стражи. Но в самый разгар беспорядков полиции не было в некоторых местах, и даже в Москве полиция не была вооружена. Полицейские приходили на посты с одним револьверным чехлом и передавали друг другу бессменный револьвер, однозарядный и часто совсем не стреляющий. Войск во многих местах совсем не было. Это происходило отчасти

оттого, что войска были на Дальнем Востоке, а отчасти оттого, что вообще дислокация войск в России со времени графа Милютина была такова, что войска были стянуты на границы, а внутри России их почти не было. Это в сущности и должно быть, если иметь в виду, что войска служат для борьбы с внешним врагом, а не населением [1]). Эта мысль была подхвачена, и нашлись военные, которые начали уверять и писать записки, что для военных целей желательно отодвинуть войска от границы. Под страхом внутренних волнений эта мысль года два тому назад и была приведена в исполнение. Со времен Милютина более тридцати лет сосредоточивали все военные силы на западной границе (преимущественно в Царстве Польском). А тут вдруг взяли, да значительное число этих войск отодвинули в центр России. Франция сделала по этому поводу гримасу, но ее начали уверять, что ей выгодно, и она сделала вид, что этому верит, а Вильгельм, конечно, потирает себе руки. Это большая бескровная победа немцев...

Таким образом, центральная и восточная Россия были почти совсем оголены от войск. Явилась мысль, которую я находил во всяком случае не бесполезною, чтобы в губернии с наибольшим брожением были командированы генерал-адъютанты его величества, дабы они своим присутствием могли повлиять на успокоение крестьян, а с другой стороны, ободрить местную администрацию и, в крайности, принять экстраординарные меры.

Это были лица, посылаемые от имени его величества. Таким образом были посланы генерал-адъютант Сахаров в Саратовскую губернию, генерал-адъютант Струков в Тамбовскую и Воронежскую, а генерал-адъютант Дубасов в Черниговскую и Курскую. Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честный человек, но неспособный ни на какие жестокости, был убит в кабинете губернатора Столыпина (ныне премьера), которого в то время анархисты не думали убивать, так как он тогда считался либеральным губернатором, во всяком случае не жестоким.

В сущности говоря, Сахаров и был послан в Саратовскую губернию, как губернию, объятую смутою, с которой не мог справиться Столыпин. Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты, теперь, после того, как он перестрелял и перевешал десятки тысяч человек и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армиею сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год.

Струков ничем себя в эту поездку не проявил. Он человек, несомненно, высоко-порядочный, хороший кавалерист, но бесцвет-

---

[1]) * После моего ухода Столыпин бросил мысль, что для спокойствия в России и во избежание крестьянских беспорядков нужно, чтобы было больше войск внутри России, дабы усмирить крестьян войсками*.

ный. Ко мне поступали лишь донесения, что он сильно пил и даже в компании телеграфистов, что вынудило министра внутренних дел Дурново войти относительно Струкова в словесные сообщения с министром двора, начальником главной квартиры бароном Фредериксом.

Дубасов действовал в Черниговской и Курской губерниях с кучкою войск весьма энергично и не вызывал нареканий ни с чьей стороны. Хотя крестьянские волнения на него, видимо, произвели сильное впечатление, так как в бытность его несколько дней, во время этой командировки, в Петербурге, он мне убежденно советовал провести закон до созыва Государственной Думы, по которому те земли, которые крестьяне насильно захватили, остались бы за ними, и на мое возражение против такой меры он мне говорил: «Этим крестьян успокоите и помещикам будет лучше, так как в противном случае они, крестьяне, отберут всю землю от частных землевладельцев».

Я привожу этот факт как иллюстрацию того настроения, которое тогда торжествовало в самых консервативных сферах. Никто Дубасова не заподозрит ни в физической, ни в моральной трусости. Если он предлагал такую крайнюю и несвоевременную меру, то потому, что был убежден в ее целесообразности и неизбежности.

Дубасов, конечно, себя отлично держал в Черниговской и Курской губерниях, где крестьянские беспорядки достигли едва ли не наибольших пределов. Он всюду появлялся сам с горстью войск, справлялся с бунтующим крестьянством, отрезвлял их и достиг почти полного успокоения.

Когда я вступил в управление, армия в России была материально и нравственно совершенно расслаблена. Материально она была расслаблена не только вследствие того, что более миллиона солдат находились вне России, но и потому, что то, что осталось в России, даже гвардейские петербургские части, были обобраны, там были взяты солдаты, там офицеры, там специальные части, наконец, обобраны части почти везде интендантские, артиллерийские, крепостные и медицинские запасы и даже вещи, находившиеся на руках. Нравственно потому, что ныне, при общей воинской повинности, недовольство в России не могло не коснуться и войска, куда также проникали самые крайние идеи, оправдывающие эксцессы до революционных актов включительно.

Оскорбление, нанесенное разгромом нашей армии, вследствие ее неготовности в безумной и ребячески затеянной войне, было, конечно, еще более чувствительно для всякого военного, нежели для лиц, не имеющих чести носить военный мундир.

После ратификации Портсмутского мирного договора, с объявлением мира, согласно закону, надлежало отпустить тех нижних чинов и вообще военных, которые призваны были под знамена только на время войны, а тот элемент был наиболее неспокоен и приводил в брожение как армию, находившуюся за Байкалом, так и военные части, оставшиеся в России.

Мне предстояло высказаться немедленно после 17-го октября, какое принять решение относительно всех воинских чинов, которые по закону должны были бы быть отпущены—отпустить ли их немедленно или, в виду неопределенного положения, ожидать возвращения хотя части действовавшей армии. Так как мне было очевидно, что вновь набранный военный элемент на время войны, вследствие того, что он не отпускается с окончанием оной, служит самым главным проводником революционных идей в армии, то я не только высказался за то, чтобы этот элемент был отпущен, но просил, кроме того, сделать это скорее.

Как только все офицерские и нижние чины, набранные на время войны, были отпущены, сравнительно небольшая часть армии, оставшаяся в России, еще значительно численно уменьшилась, но зато избавилась от разлагающего ее состава, который мог привести к непрерывным военным бунтам.

Таким образом Россия была почти оголена от войск; сравнительно достаточное количество войск было лишь в варшавском, кавказском, петербургском военных округах, но командующие войсками этих округов войск не давали, или давали с крайними затруднениями, что отчасти объясняется весьма тревожным положением на Кавказе и в Царстве Польском.

Внутри России совсем войск не было, при чем войска везде были совершенно дезорганизованы совокупностью сказанных причин. Военное начальство само не знало, сколько где войск. Я помню, например, такие случаи: вследствие крестьянских беспорядков, после долгих усиленных требований, наконец, куда-либо высылается батальон или рота солдат. Тем не менее, требование местной администрации продолжается. Мы телеграфируем, что ведь туда выслан батальон или рота. Отвечают: никакого батальона или роты не приходило, а пришло 48 или 12 человек. Говоришь военному министру. Он отвечает: как оказывается, батальон или рота теперь находится именно в таком составе впредь до возвращения соответствующих частей из действующей армии, или ежегодного обыкновенного призыва новобранцев. Таким образом воинские части, находившиеся в России и не принимавшие участия в войне, потеряли значительную часть своего состава, точно были на войне и участвовали в сражениях, при чем военное министерство не знало, какая часть оказалась в каком именно действительном составе. Мне объяснили, что все это произошло от крайне необдуманных распоряжений генерал-

адъютанта Куропаткина, не столько как главнокомандующего, но преимущественно как военного министра. Он с начала войны не ожидал, хотя возникновению ее способствовал, поэтому должен был собрать армию внезапно, а затем рассчитывал, что для войны нужно будет только 300—400 тысяч человек. Поэтому сбор армии производили без всякой заранее обдуманной системы. Думали немедленно затушить пожар маленькою струею воды, воду все подавали и подавали, а пожар именно вследствие малой, хотя продолжительной струи, к тому же пускаемой бездарным брандмейстером, не потушили. Мне его пришлось потушить в Портсмуте.

Великий князь Николай Николаевич никакого затруднения к роспуску набранных на время войны воинов не сделал. Все вошедшие в войска на время войны и подлежавшие или желавшие оставить их с окончанием оной наделали еще большие затруднения в действующей армии. С объявлением мира общее желание всех европейских воинских частей манчжурской армии было скорее вернуться во-свояси, а те, которые к тому же, возвратившись, считали себя в праве быть отпущенными, стремились домой еще усиленнее. Это общее положение поджигалось самыми невероятными слухами о том, что делается в России.

В Манчжурии знали, что вообще в России неспокойно, что смута, начавшаяся еще до войны, во время ее все усиливалась и усиливалась. Затем, когда в сентябре и октябре 1905 года беспорядки участились и распространились на большие пространства, явились забастовки и, вследствие забастовок почты и телеграфа, целыми неделями перестали получаться в армии сведения, достойные какого-либо доверия, то там начали распускаться самые невероятные сведения. Так, государь сам мне говорил, что князь Васильчиков (затем в кабинете Столыпина впоследствии занимавший пост министра земледелия, а во время войны бывший главноуполномоченным Красного Креста в действовавшей армии), возвращаясь после заключения мира в Россию, до самого Челябинска не знал точно, что в ней делается, и ожидал, судя по рассказам, приехавши в Россию, не застать уже в ней царскую семью, которая будто бы бежала заграницу, а меня с моими коллегами по министерству ожидал увидеть на Марсовом поле висящими на виселицах. Такая всюду за Челябинском ходила молва.

Я не знаю, найдется ли между военными, бывшими в действующей армии, лицо, которое правдиво и точно опишет то революционное настроение, в котором после 17-го октября пребывала действующая армия. Мне известно то настроение, в котором она находилась, со стороны, но на довольно высокой позиции

премьера министерства. Я вынес то глубокое впечатление, что армия после 17-го октября находилась в весьма революционном настроении, что многие военачальники скисли и спасовали не менее, нежели некоторые военные и гражданские начальники в России, что армия была нравственно совершенно дезорганизована и что шел поразительный дебош во многих частях, возвращавшихся в Россию, до тех пор, покуда ему не был положен, по моей инициативе, предел посредством карательных экспедиций генералов Ренненкампфа и Меллера-Закомельского и смены главнокомандующего генерала Линевича.

То, что творилось в России, не скрывалось, а то, что было в действующей армии—скрывалось и скрывается еще и теперь, чтобы не порочить действующую армию и ее порядков, чтобы не набрасывать тень вообще на военных. По моему мнению, это ложный и вредный особого рода патриотизм. Русская армия имеет свою доблестную историю, и история эта останется вечно в военных анналах, как пример, достойный подражания.

Чтобы не повторилось то, что случилось в последнюю Японскую войну, необходимо, чтобы компетентные военные свидетели раскрыли те язвы в действующей армии, которые одно время совершенно ее революционировали.

Язвы эти, главным образом, коренились в общем начальствовании. Конечно, забайкальская армия была заражена из России, но затем настало время, когда Россия начала успокаиваться, а армия все больше и больше волноваться, и я месяца через два после 17-го октября письменно докладывал государю, что теперь идет обратная революционная волна не с запада на восток, а с востока на запад, и уже действовавшая армия заражается не из России, а скорее, что Россия может заражаться некоторыми элементами, возвращающимися вместе с действующей армией.

Еще до 17-го октября явились тревожные сведения относительно состояния умов манчжурской армии, которые дали повод министру земледелия Шванебаху внести в комитет министров представление об особо льготной раздаче казенных земель Сибири нижним чинам действующей армии, кои пожелают не возвращаться в Европейскую Россию. Кому пришла эта оригинальная мысль, самому Шванебаху, прельстившему ею государя, или он взял на себя ее проведение потому, что проведение ее было желательно его величеству, я не знаю, но представление Шванебаха слушалось в комитете министров в заседании под моим председательством уже по возвращении моем из Америки, следовательно, по заключении Портсмутского мира, но до 17 октября.

Конечно, комитет министров отклонил от себя это оригинальное представление, рекомендовав обратиться, так как это

*

дело законодательного характера, в Государственный Совет. При слушании этого дела в комитете, тем не менее, г. министру земледелия пришлось наслушаться по поводу существа этого проекта много горьких, относительно его представления, истин. Это было одною из причин, которая, вероятно, дала повод Шванебаху после 17 октября, когда я был назначен председателем совета министров, подать помимо меня его величеству прошение об увольнении от должности министра земледелия.

В первые недели после 17 октября, как только Портсмутский мирный договор был ратифицирован, вся манчжурская армия пожелала скорее возвратиться домой, и то, что сделалось на Восточно-Китайской дороге с отправкою войск, производило на меня, судя по доходящим сведениям, впечатление, подобное тому, какое получается на наших русских дорогах, когда иногда дачная нагулявшаяся публика, возвращаясь на ночь домой, берет чуть ли не с боя место в поезде. Все беспорядочно спешили домой, а забастовка на железных дорогах вообще и специально на великой Сибирской дороге прерывала и замедляла железнодорожное движение. Это еще больше обостряло смуту в действующей армии. Забастовка вообще на железных дорогах имела последствием замедление месяца на $1^1/_2$—2 обыденного осеннего сбора новобранцев, а следовательно пополнение всех воинских частей, забастовки же и беспорядки на всем сибирском пути от Волги до Владивостока совершенно обеспорядочили действующую армию и возвращение ее через это замедлилось на несколько месяцев. Таким образом оголенное от войск состояние Европейской России продлилось на несколько месяцев дольше сравнительно с тем положением, которое получилось бы, если бы не было железнодорожной забастовки вообще и, в особенности, если бы не было забастовки и беспорядков на сибирских путях. Одно время сибирские железные дороги находились в руках не правительства, а каких-то самозванных сообществ и банд, во всяком случае они не подчинялись правительственной власти. Они распоряжались движением, хотели—возили, хотели—нет. Так как революционеры скоро сообразили, что войска действующей армии революционируют только, покуда не доплетутся до России, а, добравшись до нее, те воинские чины, которые отбыли воинскую службу, возвращаясь к своим занятиям, делаются спокойными, а самые войсковые части, прийдя в свои штаб-квартиры, являются оплотом порядка, то были направлены вследствие этого все усилия к продлению забастовок на сибирских дорогах.

Казалось бы, что в действующей армии должна существовать железная дисциплина, что начальство в своих действиях не стеснено, а потому может и должно поддержать порядок, присущий армии, находящейся в военном положении в чужой стране. Между тем дисциплина там расшаталась еще более, нежели

в России, и главнокомандующий действительно обратился в «папеньку», как его называли в войсках.

Тамошнее настроение войск многих даже заставляло опасаться их возвращения в Европейскую Россию, боялись, что войска вернутся и совершат военную революцию. Я же был уверен, что, вернувшись на родину, они явятся элементом порядка и, в случае нужды, водворят порядок, так как они пожелают видеть Россию крепкою и сильною, дабы она вновь, если окажется нужным, могла на поле брани восстановить свой исторический престиж.

Через несколько дней после 17 октября как-то я получаю телеграмму от главнокомандующего Линевича приблизительно такого содержания: «В действующую армию прибыло из России 14 (хорошо, именно, помню эту цифру—четырнадцать) анархистов-революционеров для того, чтобы производить возмущение в армии». Это была единственная телеграмма, которую я в свою жизнь получил от Линевича, точно так, как я никогда в жизни не получал от него ни до Портсмута, ни после Портсмута никакой бумаги официального или частного характера. Сказанную телеграмму я представил его величеству и получил ее обратно с резолюцией: «Надеюсь, что они будут повешены». Я сообщил об этом военному министру. Телеграмму же с резолюцией государя я вернул его величеству после оставления мною поста председателя совета вместе с другими бумагами.

Железнодорожное сообщение по Сибирской и Восточно-Китайской железным дорогам часто прекращалось или производилось с перерывами, войсковые части на пути производили беспорядки, а затем забастовки в телеграфе еще больше мешали составить себе понятие о размерах хаоса в действующей армии, а время шло, войска не возвращались и отсутствие войск в России существенно осложняло как внутреннее, так и международное положение России. Я многократно об этом говорил великому князю Николаю Николаевичу, военному министру и начальнику генерального штаба, генералу Палицыну. Они совершенно справедливо ссылались на начальство действующей армии и на необходимость сменить генерала Линевича.

При таком положении вещей необходимо было принять решительные меры. Вследствие сего я решился принять на себя инициативу в этом деле. Я написал государю, что так продолжать опасно. Опасно оставлять Россию без войск и опасно оставлять войска в Забайкалье, где они постепенно деморализуются. Я предложил такую меру: выбрать двух решительных и надежных генералов, дать им каждому по отряду хороших войск и снарядить два поезда, один из Харбина по направлению в Россию,

а другой из России по направлению к Харбину, и предложить этим начальникам, во что бы то ни стало, водворить порядок по Сибирской дороге и открыть на ней правильное движение, при чем я предполагал начальником отряда по направлению из Харбина назначить бывшего главнокомандующего генерала Куропаткина, имея в виду этим назначением дать ему возможность выказать свою распорядительность.

Государь сейчас же ко мне прислал начальника генерального штаба Палицына, дабы я с ним уговорился и привел эту меру в исполнение. Палицын мне сказал, что его величество выбор Куропаткина не одобряет, так как на него не надеется. Палицын предложил мне начальником отряда назначить генерала Ренненкампфа, а начальником отряда из Европейской России назначить генерала Меллер-Закомельского.

Я этих генералов до того времени не видел, но слыхал о них, как о людях решительных. Все с Палицыным было условлено. Явился вопрос, как распорядиться относительно поезда из Харбина, так как там железнодорожный телеграф был в руках забастовщиков. Решили дать телеграмму через Лондон и Пекин. Таким образом поезда были организованы и отправлены.

Генерал Меллер-Закомельский перед выездом виделся со мною. На вопрос его, какую я ему дам инструкцию, я ответил: во что бы то ни стало открыть движение по дороге и восстановить правильную эвакуацию действующей армии в Европейскую Россию. Такая же инструкция по телеграфу дана генералу Ренненкампфу. Оба эти отряда двинулись, съехались в Чите, исполнили заданную им задачу, но дело не обошлось без жертв. Дорогою оба генерала с десяток лиц расстреляли, некоторых арестовали, а генерал Меллер-Закомельский нескольких служащих (телеграфистов) за ослушание выдрал.

Движение скоро было восстановлено, началась правильная и быстрая эвакуация войск из Манчжурии в Европейскую Россию, и к тому времени, когда я подал прошение об отставке, значительная часть армии уже была в России. Дранье же генерала Меллер-Закомельского, вероятно, наверху очень понравилось, и когда я ушел из премьерства, его назначили временным генерал-губернатором в Прибалтийские губернии вместо генерала Соллогуба, весьма почтенного и культурного человека, отличного военного, назначенного на пост при мне и по моему указанию. Теперь (18 ноября 1911 г.) он в отставке и состоит членом правления Восточно-Китайской дороги.

Для характеристики, какое было тогда время, привожу следующий факт. Мой зять Нарышкин с женою и моим внуком Львом Кирилловичем Нарышкиным, которому тогда было не

более года, служил в миссии в Брюсселе. Когда Ренненкампф доехал до Читы и несколько вожаков революционеров были осуждены к смертной казни, то моя жена в тот же день получила от русских эмигрантов в Брюсселе депешу, что если сказанные революционеры будут в Чите казнены, то сейчас же моя дочь и внук будут ими убиты. Жена пришла ко мне в слезах с этой телеграммой, и я ей сказал, что если бы они не стращали, то, может быть, я бы о них ходатайствовал, но теперь этого сделать не могу. Революционеры были казнены.

Этот факт, тем не менее, показывает, что деятели революции даже в Чите находились тогда в довольно определенных связях с русскими деятелями той же партии заграницею, а равно характеризует то трудное время, которое мы переживали. Одновременно было решено сменить главнокомандующего Линевича.

Вдруг великий князь Николай Николаевич мне говорит, что он рекомендовал назначить вместо Линевича генерал-адъютанта барона Мейендорфа, почтеннейшего и прекраснейшего человека, но по свойствам своим еще более неподходящего, нежели Линевич; я рекомендовал генерала Гродекова, члена Государственного Совета, который и был назначен; он восстановил в армии порядок и совершил эвакуацию действующей армии из Манчжурии.

Это было в конце 1905 года или в начале 1906 года, с тех пор я его встретил только в прошлом году (1908 г.) в Государственном Совете; из действующей армии он был назначен генерал-губернатором в Туркестан (после Субботича), там не поладил с великим князем Николаем Николаевичем и вернулся в Государственный Совет. Встретивши меня в Государственном Совете, он спросил меня:

— Оправдал ли я вашу рекомендацию в действующей армии?

Я ответил, что, по моему, мою рекомендацию он вполне оправдал.

Полный недостаток войск в Европейской России в виду раскинутых на громадном пространстве крестьянских беспорядков усугублялся несоответствующей данному положению вещей дислокацией войск. Везде, где появлялись войска, в деревнях становилось спокойно, а где их не было, являлись то там, то в другом месте беспорядки. Как только явилась надежда, вследствие восстановления правильного движения на железных дорогах, быстрого пополнения войск нормальным сбором новобранцев и возвращающимися войсками действующей армии, я возбудил вопрос об изменении дислокации войск, и его величество

24 декабря 1905 года поручил это дело особому совещанию под моим председательством, при участии великого князя Николая Николаевича, военного министра, его помощника Поливанова, генерала Палицына и министра внутренних дел. Совещание это немедленно состоялось, и в нем были выработаны основания новой дислокации войск, и определен порядок действия войск в случае местных восстаний. Была проведена та основная мысль, которой я всегда держался, начиная с 17 октября: в случае восстания отвечать силою силе и, в таком случае, всякие нежности должны быть оставлены в стороне. Но раз нет восстания, раз порядок восстановлен, то немедленно должен быть введен нормальный порядок. Казнь огульная полевыми судами через месяцы и годы после преступления, т.-е. то, что творится уже три года со времени оставления мною премьерства до сего времени, представляет собой бессмысленную жестокость, и я был бы рад, если бы мое предчувствие, что за эту кровь жестоко будут наказаны виновные и, конечно, прежде всего главный виновник, оказалось ошибочным...

Особенно сильно разразились аграрные волнения в прибалтийских губерниях. К этому были многообразные причины и, пожалуй, главнейшая та, что правительство в последние десятки лет, с целью руссифицировать край, устраняло и даже преследовало то, что составляло там культуру, созданную интеллигентным классом балтийских немцев, преимущественно дворян, не создавая ничего прочного русского, т.-е. не вводя ничего иного взамен этой, как бы там ни было, но древней и развитой культуры.

Край этот, как известно, состоит из низшего класса крестьян-латышей и высшего—немцев; вот, чтобы руссифицировать край, наше правительство начало руссифицировать низший класс, вытравляя из него то, что было ему привито немецким дворянством, а так как русская школа и вообще свободная литература в последние десятки лет почти сплошь дышала характером освободительным, то естественно руссифицирование латышей вместе с тем натравливало их на немецкое дворянство, которое, правда, в некоторых отношениях жило средневековыми традициями.

Затем другая причина заключалась в том, что латышское население было значительно распропагандировано возвратившимися выходцами из прибалтийских губерний в соседние страны и, между прочим, в Германию,—распропагандировано в смысле социалистическом и анархическом.

Поэтому, когда революционная волна освободительного движения тронула довольно ограниченных по натуре, но упрямых

и твердых по характеру латышей, то нигде в России возмутительная «иллюминация» помещичьей собственности не приняла таких размеров, как в Прибалтийском крае. Это вынудило меня возбудить вопрос об учреждении в этом крае (Курляндская, Эстляндская и Лифляндская губернии) временного генерал-губернаторства. Временным генерал-губернатором по моей инициативе был назначен генерал-лейтенант Соллогуб. Сначала это имя как будто встретило затруднение, но потом он встретил поддержку великого князя Николая Николаевича, а потому назначение состоялось.

Во время моего председательства действиями генерал-лейтенанта Соллогуба я был доволен, так как он не боялся, не прятался, а с другой стороны, не давал разыгрываться бесшабашным проявлениям жестокости часто пьяной реакции.

В западные прибалтийские губернии были даны некоторые военные части из виленского военного округа, и затем, помимо меня, была назначена известная экспедиция еще более известного и мистериозного генерала Орлова, а в ревельский район войск послать было нельзя. Соллогуб просил у меня войск по телеграфу, а главнокомандующий великий князь и военный министр отвечали мне, что войск нет. Я как-то о таком положении вещей говорю морскому министру. Он мне ответил: «Знаете что, предложите сформировать батальон из тех моряков, которые взбунтовались в Петербурге, а теперь находятся под арестом в Кронштадте. Они будут отлично исполнять свою службу». На мои сомнения относительно того, не перейдут ли они к революционерам, он мне сказал: «Я назначу офицеров благонадежных, и поверьте мне, что здесь их могли направить на революцию, а там они будут самыми верными защитниками порядка».

Я просил морского министра доложить об этом государю. Его величество предложение адмирала Бирилева одобрил. Был сформирован батальон и отправлен в ревельский район усмирять революционеров. Через несколько дней я получил от генерал-губернатора Соллогуба телеграмму, в которой он сообщает о положении дела и, между прочим, просит меня воздействовать на капитан-лейтенанта Рихтера (сына почтеннейшего, ныне умершего, генерал-адъютанта Оттона Борисовича), дабы он относился к своим обязанностям спокойнее и законнее, так как он казнит по собственному усмотрению, без всякого суда и лиц не сопротивляющихся. Я телеграмму эту, объясняющую общее положение дел, представил его величеству, и государь мне вернул ее с надписью на том месте, где говорится о действиях капитана-лейтенанта Рихтера: «Ай да молодец!» Затем государь меня просил прислать эту телеграмму и более мне ее не возвра-

щал. Когда же я оставил пост председателя, то государь был со мною особо ласков, а затем просил вернуть все записочки и телеграммы с его личными резолюциями и удивительными царскими сентенциями. Я их почти все вернул и, признаюсь, очень теперь об этом сожалею. В этих документах отражается душа, ум и сердце этого поистине несчастного государя, с слабою умственною и моральною натурою, но, главным образом, исковерканной воспитанием, жизнью и особливо ненормальностью его августейшей супруги. Несмотря на этого «молодца», которого потом испугались, я все-таки просил Бирилева вызвать Рихтера и сделать ему соответствующее внушение, что и было исполнено, но, может быть, одновременно из «Царского Села» ему было дано внушение иного характера.

Что касается экспедиции генерала Орлова, командира уланского ее величества императрицы Александры Феодоровны полка, то она была назначена помимо меня, и генерал-губернатор в крае на военном положении, Соллогуб, мне после говорил, что он употреблял все усилия, чтобы успокоить Орлова и не впустить его в Ригу, так как, если бы он попал в Ригу,—сказал Соллогуб,—то, наверное, спалил бы часть города и, главное,—пострадало бы много невинных. Вероятно, это была одна из причин, почему генерал Соллогуб был вынужден оставить пост генерал-губернатора через несколько месяцев после моего ухода и был заменен генералом Меллером-Закомельским, человеком решительным, но другого образа мыслей относительно универсальной пользы применимости репрессий.

Генерал Соллогуб, несомненно, один из наиболее образованных, умных и характерных офицеров русского генерального штаба. Что касается генерала Орлова, то это строевой, хороший, лихой и бравый офицер (женившийся на богатой, скоро умершей) и затем весьма пристрастившийся к воспалительным средствам. Как выдающийся офицер, он получил Уланский полк императрицы, и тут началась обыкновенная (для императрицы Александры Феодоровны) мистерия спиритического характера. Началось с того, что она пожелала его женить на своей фрейлине Анне Танеевой, самой обыкновенной, глупой петербургской барышне, влюбившейся в императрицу и вечно смотрящей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами: «ах, ах!» Сама Аня Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста.

Генерал Орлов от сего удовольствия устранился. Произошло, как говорили, даже маленькое охлаждение... Аню Танееву императрица выдала замуж за лейтенанта Вырубова . .

. . . . . .

Венчание Ани Танеевой с Вырубовым было особо торжественно в Царском Селе с малым выходом и плачем. Неутешно плакала императрица, так плакала, как не плачет купчиха напоказ, выдавая своих дочек. Казалось бы, могла ее величество удержать свои слезы для пролития в своих комнатах. За невестой в Петербург ездил царский поезд. Затем Аня целовала руку не только императрице, но и императору. Всю эту комическую историю со всеми удивительными подробностями мне рассказывал адмирал Бирилев, который был приглашен на свадьбу . . . . . .

Не прошло и года, как Вырубовых развели . . . . . .
. . . . . .
. . . . . Факт тот, что теперь Вырубов состоит офицером на каком-то военном судне все в плаваниях, а госпожа Вырубова, находясь без всякого положения, числясь разведенною женою лейтенанта Вырубова, по интимности, скажу даже, исключительной интимности, самая близкая особа к императрице, а потому и в известном отношении и к императору.

За Аней Вырубовой все близкие царедворцы ухаживают, и не только они, но их жены и дочери, а она, Аня, устраивает им различные милости и влияет на приближение к государю тех или других политических деятелей. После развода Вырубовых сохранилась какая-то мистериозная связь между императрицей, Аней и генералом Орловым до его смерти, которая случилась с год тому назад. Еще недавно перед выездом императрицы в путешествие (август, сентябрь сего (1909) года) она ездила с Аней на могилу генерала Орлова в Петергофе, возила живые цветы, и обе там плакали, что я знаю чуть ли не от свидетеля этой сцены.

Затем были посылаемы и другие отряды, о которых я, как и об отряде генерала Орлова, обыкновенно узнавал post factum.

От кого эти отряды получали указания и кто был их инициатором, я в некоторых случаях совсем не знал; вероятно, иногда это делалось не без ведома и инициативы министра внутренних дел Дурново, но большею частью по инициативе местного военного начальства.

При такой дезорганизации власти отряды эти, по существу при смуте полезные и даже необходимые, часто своей необузданностью и отсутствием дисциплины являлись элементом государственного беспорядка, и я не мог иметь на них никакого направляющего объединительного влияния. Когда бесполезные и жестокие выходки начальников этих отрядов доходили до государя, то встречали его одобрение и, во всяком случае, защиту.

Я был солидарен с министром внутренних дел в том, что раз есть смута, выражающаяся в насилии и неподчинении законным требованиям властей, то против таких проявлений нужно мобилизовать силу, что мы должны прежде всего действовать морально своим присутствием, что если эта сила, т.-е. войска, встречает насилие, то это насилие должно быть подавлено силою, и, в этом случае, необходимо действовать решительно и энергично, без всякой сентиментальности. Раз же порядок восстановлен силою, затем не должно быть ни мести, ни произвола, должен войти в действие закон и законная расправа. Должен сознаться, что это в некоторых случаях не исполнялось. Военное начальство произвольничало, и я не только не имел власти воздействия, но зачастую все это делалось без всякой моей инициативы и моего влияния. Все это возбуждало общественное мнение, и понятно, что нарекания прежде всего падали на меня. Это также было одною из причин, почему я просил государя, когда я собрал первую Думу, накануне ее открытия освободить меня от премьерства. Об этом, бог даст, я буду еще иметь возможность изложить подробнее, приведя и соответствующие документы. Во всяком случае мой архив послужит освещением и освещением доказательным моих настоящих заметок, и не только освещением, но очень часто существеннейшим дополнением.

Варшавским генерал-губернатором состоял генерал-адъютант Скалон, который и занимал этот пост во все время моего председательствования. Я лично был с ним совсем незнаком, но по образу действия его и ознакомившись с ним по служебным делам, у меня осталось о нем воспоминание, как о человеке твердом, верном слуге государя, но человеке воспитанном и весьма корректных правил.

В Царстве Польском беспорядки, сопровождавшие почти во всей империи Японскую войну и начавшиеся еще несколько лет ранее этой войны и все усиливавшиеся по мере потери властью от неудач этой войны как морального престижа, так и фактической силы, вследствие отвлечения большинства войск за Байкал,—проявились с особливою интенсивностью. Беспорядки эти выражались в движении крестьян, вследствие чего не везде помещикам безопасно было жить в своих усадьбах, так особенно сильно в среде рабочих, как вследствие сравнительно большого развития в привислинских губерниях промышленности, так и по другим причинам.

Эти явления, которые имели место во многих местностях России, получили в Царстве Польском особую окраску и особую благоприятную почву вследствие так называемого польского

вопроса, до настоящего времени составляющего злобу дня, так называемого славянского дела.

В то время, как анархические и революционные течения в России встречали отпор в национально-русском патриотизме и консерватизме, основанном преимущественно на карманных интересах, так что в конце концов революция была подавлена, когда правительство дало возможность сорганизоваться консервативно-благоразумным течениям,—в Царстве Польском польско-национальный патриотизм, который, с одной стороны, имеет свои исторические традиции, а с другой—усиленный произволом русского бюрократизма, временно отодвигал все остальные течения, разъединяющие различные классы населения, и соединял большинство населения в стремлении прежде всего освободиться от русского влияния, т.-е. в стремлении в большей или меньшей степени автономизироваться. На этой политической почве объединились почти все поляки, у всех в это время проснулась надежда «освободиться», разница в желаниях заключалась только в степени и объеме этого освобождения.

Были такие, которые мечтали довести освобождение до степени образования особого царства, соединенного лишь с империей в лице одного и того же монарха, но громадное большинство не шло далее освобождения до степени самостоятельности местного управления, а многие, преимущественно высшие и состоятельные классы, не шли даже далее того, чтобы получить одинаковые во всех отношениях права с русскими, не быть, как некоторые выражались, «неграми» и устранить произвол «чиновников-поповичей» (это особый тип, можно сказать, гениальное воспроизведение коего олицетворилось в Победоносцеве), но в результате все поляки, пользуясь положением момента, желали «освободиться», а потому сочувствовали русскому освободительному движению, которое появлялось часто в уродливых формах, между прочим, в значительном ослаблении чувства меры и разумения, что все-таки великая Россия создалась тысячелетнею славною историею (если бы она не была славною, то не было бы и великой России), а потому нужно ее (Россию) совершенствовать, но не давать на поругание и издевание кого бы то ни было, а в том числе и поляков, что освобождение от произвола чиновников и кретинизма дворцовой камарильи—это одно дело, а освобождение России самой от себя, от всей своей истории, от результатов всех своих исторических подвигов, от суммы своего исторического тысячелетнего бытия, от воспоминаний о реках крови, которые мы, русские, пролили, создавая самих себя в лице великой Российской империи,—это другое дело.

Когда я вступил на пост главы кабинета, я нашел в Царстве Польском такое состояние анархии, сопровождающееся ежедневными убийствами и анархическими высту-

плениями, что я чувствовал необходимость принять решительные меры.

Вследствие этого я снесся с генерал-губернатором о том, не считает ли он нужным объявить край на военном положении. Скалон, видимо, сам этого желал, но никто из власть имущих до 17-го октября не решался взять на себя инициативу. Итак, Царство Польское было объявлено на военном положении, что, к удивлению моему, возбудило более негодования в русских крайних «освободистах», нежели в массе поляков.

Мера эта на съезде русских общественных деятелей (земских и городских) вызвала порицание, как шаг не либеральный, а русским социалистам и анархистам послужила поводом объявить вторую забастовку на фабриках и железных дорогах, которая, впрочем, оказалась неудавшеюся. Этим протестам, исходившим из русских крайних сфер, я не придал никакого значения; единственно, что меня покоробило, это то, что на съезде русских общественных деятелей явились представители Польши, известный адвокат (если не ошибаюсь) Дмовский и Врублевский, граф Тышкевич и другие (граф Тышкевич, затем вернувшись в Варшаву, продолжал вести резкую пропаганду своих крайних тенденций, а потому был выслан генерал-губернатором в северные губернии и затем, по моему предстательству, вместо северных губерний, был выслан заграницу).

На этом съезде, при сочувствии громадного большинства русских общественных quasi-представителей Польши, протестовали против действий русского правительства, требуя автономию Царства Польского.

Эти речи поляков выдвинули Гучкова, который, будучи солидарен вообще с так называемыми общественными деятелями, образовавшими затем партию кадет, отнесся несочувственно к речам поляков. Эти самые поляки затем проездом через Петербург были у меня и убеждали меня снять военное положение. Сказанный граф мне ничего нового не сказал, кроме общих фраз и положений. Он мне лишь подтвердил то положение, в котором находилось тогда Царство Польское, которое мне было ясно из объяснений с другими весьма консервативными и благоразумными поляками-аристократами (например, графом Чапским), а именно, что тогда у всех поляков на первом плане была политическая идея освобождения от гнета России (вернее, от русской администрации известного пошиба) и что в стремлении к достижению этой цели происходило объединение всех поляков, несмотря на крайнюю противоположность их идей, интересов и воспитания (например, консервативнейшего поляка-магната, смотрящего на крестьянина, как на «быдло», и анархиста-демократа, видящего в собственности и в социальном неравенстве все зло человечества, зло, которое нужно уничтожить хотя бы

динамитом). Адвокат же представлял собою человека более мыслящего и серьезного. На мои вопросы он мне объяснил, что хорошо понимает, что отделение Польши от России, это недостижимая мечта, которая вызовет лишь много крови, что сознает также и то, что правительство не могло не принять решительные меры против всех тех эксцессов, которые происходят в привислинских губерниях, что продолжать терпеть ежедневные случаи политических убийств невозможно, но он затем мне держал такую приблизительно речь: «Но кому же мы таким положением вещей обязаны? Исключительно русским порядкам и русской культуре; оттого все поляки желают как можно более от вас отделиться. Рабочий вопрос давно существует в Царстве Польском, со всеми его крайностями, но он развивался общим эволюционным порядком, каким идет везде на Западе. Откуда же явилась зараза? От вас, русских. После погрома евреев, устроенного Плеве в Кишиневе и затем повторявшегося в других местах с соизволения правительственных органов, множество евреев, ремесленников и рабочих из России прибыло в Царство Польское, где режим относительно евреев более человеческий, нежели у вас. Они принесли с собою воинствующий злобный анархизм в рабочую среду, они принесли с собою методы борьбы бомбами и браунингами. Ваши русские евреи, явившиеся к нам, заразили наших евреев, как заражает своею дикостью дикое животное—животное домашнее, а у вас они не могут не быть дикими, ибо вы у них не признаете комплекта чувств человеческой природы.

«Наши школы все заражены политическою и социалистическою на соусе русского нигилизма пропагандою. Откуда же это к нам пришло? От вас, от ваших школьных методов, от ваших преподавателей, от ваших профессоров. Наши дети чтут своих родителей, свою семью, вообще старших, свой язык. Наши дети преклоняются перед божественностью своей религии, перед святостью ее догматов, перед совершенством своего языка, своей культуры, своей литературы, а по тому самому перед своей историей и верят в могущество своей национальности, они верят, что «еще Польска не сгинела». Покуда вы не вздумали руссифицировать нашу школу, наводнять ее студентами из семинаристов русских губерний и бурсаками-преподавателями, предпочитавшими служению богу служение мамоне, до тех пор во всех наших школах наши дети учились, и школы эти поддерживали в них те чувства и традиции, которые образуют крепкую нацию, но, как только вы начали руссифицировать их, вы их развратили, нигилизировали, демократизировали, систематически колебля, вытравляя из ума и сердец наших детей то, что вы называете «польским духом». Вы взамен этого ничего им не дали и не даете, кроме русского религиозного, государственного и политического нигилизма».

В конце концов, он меня убеждал в том, что все это старое, что с искренним проведением в жизнь начал, провозглашенных манифестом 17 октября, русские порядки будут другие (дай-то бог!!!), что польское общество это понимает и что необходимо пойти на путь, так сказать, примирения и начать с того, чтобы снять военное положение. Я снесся с генерал-губернатором, который мне ответил отрицательно, но в весьма достойной форме, заявив, что с снятием военного положения он должен будет уйти. Через несколько дней после этого приехал в Петербург директор канцелярии Скалона, Ячевский, сравнительно молодой человек, хорошо знающий край, не ненавистник поляков, человек благоразумно-либеральных идей, которого я знал, когда генерал-губернатором был еще князь Имеретинский, с которым я был дружен и который также был не человеконенавистник, а потому его поляки уважали. Этот директор канцелярии явился ко мне. Я, между прочим, сказал ему о моем предположении снять военное положение в Царстве Польском, думая, что я найду в нем полное сочувствие; к моему удивлению, он отнесся к моему предположению отрицательно, сказав мне между прочим: «Поверьте мне, граф, что вместе с нашей революцией много поляков с ума посходили, но громадное большинство поляков всем этим революционным эксцессам у себя дома не сочувствуют; мало кто из поляков решается это сказать, но большинство из них, т.-е. все те, коим есть, что терять, в душе будут недовольны снятием военного положения. До 17 октября и объявления военного положения,—продолжал он,—масса состоятельных поляков, а в особенности их семейства, поуезжала заграницу, теперь, несмотря на военное положение, а, вернее, благодаря наступившему относительному спокойствию, они возвращаются к себе домой». Этот разговор меня остановил войти в разногласие с генерал-губернатором. Вся история с введением военного положения в Царстве Польском прошла без всякого прямого или косвенного воздействия из Царского Села, что также было довольно исключительно.

Из военных вспышек знаменательна была в первые месяцы моего председательствования вспышка Московского гренадерского полка, а затем восстание в Москве, разбитое энергией Дубасова.

Москва являлась центром этой смуты, которая привела к эксцессам 1905 года. Благодаря генерал-губернаторскому режиму честного, благородного, но недалекого великого князя Сергея Александровича, который всегда был водим своими обер-полициймейстерами и, в конце концов, обер-полициймейстером Треповым (впоследствии фактическим российским диктатором), вся Москва

представляла собою или явную или скрытую крайнюю оппозицию.

Представители дворянства—князья Долгоруковы, князь Голицын (бывший московский губернатор, а потом городской голова), князья Трубецкие (предводитель дворянства—с братьями известными университетскими профессорами) и проч. были в оппозиции и требовали ограничения самодержавия; земцы—Д. Н. Шипов (бывший председатель управы), Головин (его заменивший, как председатель управы, бывший затем председателем Государственной Думы) и другие тоже были в оппозиции и давали тон всему земству Российской империи, вся земская оппозиция сосредоточивалась в Москве и создала так называемые «съезды земских и городских общественных деятелей», которые требовали конституции и в которых братались Милюков, теперешний лидер кадет, крайне левый, находящийся на границе революционеров, и кадет Гучков (основатель партии 17-го октября и затем до последних дней марта 1911 года бывший председателем Государственной Думы, поклонник Столыпина, содействовавший созданию нынешней quasi-конституции, а, в сущности, скорее—самодержавия наизнанку, т.-е. не монарха, а премьера), братья Стаховичи (из которых один кадет, а другой—Михаил Александрович, прекраснейший человек, ныне член Государственного Совета от земства и находящийся в левых его рядах), Герценштейн (погибший от рук убийц, снаряженных «союзом русского народа» при благосклонном участии охранного отделения, представитель принудительного отчуждения земель в пользу крестьян), Набоков (сын бывшего министра юстиции, нынешний соиздатель газеты «Речь», бывший доцент училища правоведения, член первой Государственной Думы), и проч., и проч.

Эти съезды составляли главный штаб российской оппозиции, создавшей так называемую революцию 1905 года. Представители знатного московского купечества требовали также ограничения самодержавия. Морозов дал через актрису, за которой ухаживал, сожительницу Горького, несколько миллионов революционерам; помню, когда я еще был председателем комитета министров, до поездки моей в Америку для заключения мира—в начале 1905 года—как-то вечером Морозов просит меня по телефону его принять. Я его принял, и он мне начал говорить самые крайние речи о необходимости покончить с самодержавием, об установке парламентарной системы со всеобщими прямыми и проч. выборами, о том, что так жить нельзя долее и т. д.

Когда он поуспокоился, зная его давно и будучи летами значительно старше его, я положил ему руку на плечо и сказал ему: «Желая вам добра, вот что я вам скажу—не вмешивайтесь во всю эту политическую драму, занимайтесь вашим торгово-промышлен-

ным делом, не путайтесь в революцию, передайте этот мой совет вашим коллегам по профессии и, прежде всего, Крестовникову» (он тогда уже был председателем биржевого комитета или был кандидатом на этот пост). Морозов, видимо, смутился, мой совет его отрезвил, и он меня благодарил. После этого я его не видел. Он попался в Москве; чтобы не делать скандала, полицейская власть предложила ему выехать заграницу. Там он окончательно попал в сети революционеров и кончил самоубийством.

Уже после 17 октября, когда я занял пост премьера, и мы занимались переменою выборного закона и установлением нового положения о Государственной Думе и Государственном Совете, в начале 1906 года, во время страшного государственного финансового кризиса вследствие войны, когда финансовый устой—золотая валюта была поставлена на карту и зависела от того, заключу ли я заем или нет, т.-е. даст ли нам Европа денег, чтобы выйти из трудного положения или нет, то как-то Крестовников просил меня его принять. Он явился ко мне и от имени московского торгово-промышленного мира жаловался на то, что государственный банк держит весьма высокие учетные проценты, и просил приказать их понизить. Зная хорошо положение дела, я ему объяснил, что ныне понизить проценты невозможно, при чем я ему не счел нужным объяснить о трудности положения дела до того времени, пока мне не удастся заключить заем. После такого моего ответа Крестовников схватил себя за голову и, выходя из кабинета, кричал: «Дайте нам скорее Думу, скорее соберите Думу»... и как шальной вышел из кабинета.

Вот до какой степени тогда представители общественного мнения не понимали положения дела. Тогда уже новый выборный закон был известен, и вот представитель исключительного капитала воображал, что коль скоро явится первая Дума, то она сейчас же займется удовлетворением карманных интересов капиталистов. Все умеренные элементы и в том числе колоссальный общественный флюгер—«Новое Время», твердили: «Скорее давайте выборы, давайте нам Думу».

Когда же Дума собралась и увидели, что Россия думает, а первая Дума, конечно, представляла собою больше Россию, нежели третья, основанная на выборном законе, устранившем от выборов почти всю Россию и передавшем выборы в руки только преимущественно «сильных» и полиции, т.-е. усмотрения начальства, то тогда эти умеренные элементы, с умеренным пониманием вещей, ахнули и давай играть в попятную, чем занимаются и поныне [1]).

---

[1]) * Июль месяц 1911 года, Биарриц. В России писать не могу, в виду Столыпинского режима*.

Итак, Москва представляла собою гнездо, откуда шли все течения, приведшие к революции 1905 года, а потому естественно она обращала на себя мое внимание. В министерстве внутренних дел никаких сведений о состоянии Москвы не было, что было естественно, так как это министерство было до того времени в руках генерала Трепова, бывшего московского обер-полициймейстера, а в сущности, неограниченного правителя Москвы благодаря доверию к нему великого князя, и Трепов, конечно, воображал, что «что-что», а уж что делается в Москве, ему известно досконально.

О тех чисто революционных, анархических стремлениях, которые там имели место, мне сделалось известным благодаря одной совершенной случайности. Тот же источник давал мне сведения в течение всего моего премьерства. Но, даже не имея никаких секретных сведений, достаточно было следить за общественною жизнью Москвы и прессою для того, чтобы видеть, что там бурлит.

Когда я принял премьерство, в Москве генерал-губернатором был П. П. Дурново, а обер-полициймейстером Медем. Генерал-адъютант Дурново (не имеющий ничего общего с П. Н. Дурново, управляющим министерством внутренних дел) был богатейший человек, когда-то он был харьковским губернатором (при графе Лорис-Меликове), потом директором департамента уделов министерства двора (при графе Воронцове-Дашкове) и затем гласным петербургской думы и председателем ее.

Все эти должности он занимал просто для карьеры, так как не нуждался ни в средствах, ни в положении в обществе. Он был человек неглупый, но больше на словах, нежели на деле. Любил говорить, спорить, но никаким делом серьезно заниматься не мог.

В царствование императора Александра III, после того, как он был начальником уделов, он сошел со сцены государственной деятельности. Затем, при императоре Николае II, через графа Сольского [1]) сперва попал членом Государственного Совета, а после убиения великого князя Сергея Александровича—московским генерал-губернатором, когда я уже был председателем комитета министров и находился в первой опале, потому что, будучи министром финансов и влиятельным государственным деятелем, не соглашался с политикою, поведшей к Японской войне.

---

[1]) * Вернее, через графиню Марию Александровну Сольскую, которая своего старика-мужа совсем держала в руках *.

*

Что касается генерала Медема, то это был самый обыкновенный жандармский генерал и выдался тем, что был женат на певице . . . . . .

. . . . . .

Я лично очень мало знал П. П. Дурново, но достаточно также его знал, чтобы понимать, что он не может ни своею личностью, ни своим характером, ни своими знаниями, ни, наконец, своим прошедшим внушить какой бы то ни было престиж в какой бы то ни было партии или общественной группе. С первых же дней после 17-го октября он сейчас же растерялся, выходил на балкон своего генерал-губернаторского дворца и растерянно, будучи в военной форме, снимал совсем невпопад шапку, чуть ли не (как мне передавали) перед красными флагами, говорил невпопад речи. Это мое мнение я сейчас же передал его величеству. Но затем совершенно случайные обстоятельства дали мне возможность скоро узнать, что в Москве в действительности еще более неспокойно, нежели это казалось по внешности—по прессе, по митингам и некоторым искрам, выходящим наружу. От департамента полиции я, конечно, никаких сведений не имел, так как вообще к этому учреждению никаких отношений не имел. Министр внутренних дел ничего мне о Москве не говорил, он сетовал только на то, что вообще секретная полиция находится в полном расстройстве; что же он под этим понимал—я не знаю. Относительно Москвы, впрочем, я скоро убедился, что он действительно не знал, что там творится.

Когда я служил в комиссии графа Баранова, то познакомился в Петербурге с одним из влиятельных чиновников этой комиссии. У него в доме я встречал девицу—сестру его жены (кажется, впрочем, гражданской). Затем, когда я переехал в Киев и стал управляющим юго-западными дорогами, то ко мне явилась эта девица в слезах и просила дать ей возможность честно зарабатывать кусок хлеба. Я ее поместил в одну из многочисленных канцелярий управления. После этого я ее не встречал и вскоре опять перешел на службу в Петербург директором департамента железнодорожных дел. Вот через несколько недель после 17-го октября явилась ко мне одна дама, которая представилась, как жена московского мирового судьи Ч., очень почтенного человека и старца. Я в ней узнал сказанную выше девицу. Она мне объяснила, что вскоре после моего отъезда из Киева она вышла замуж за довольно состоятельного помещика, который изрядно протранжирил свое состояние и умер, оставив ей сына, что, живя в Киевской губернии, в деревне, она познакомилась с соседкой, очень богатой женщиной. После смерти ее мужа она переехала в Москву, где познакомилась с мировым судьею и вышла за него замуж. Хотя он гораздо старше ее, но они

отлично живут. Через короткое время умер и муж ее подруги и оставил ей порядочное состояние; она также переехала в Москву, потому что она там влюбилась до чертиков в одного молодого помещика, присяжного поверенного (забыл фамилию); сей молодой человек находится в центре революционного движения, а потому она из разговоров с ее подругой знает все, что там делается. Сей молодой человек от своей подруги ничего не скрывает, и она отдала почти все, что имела, этому молодому человеку, а он на «товарищеское» революционное дело. Вот она знает, что в Москве готовится форменное восстание со всеми атрибутами—баррикадами и проч.; революционеры отлично знают, что полиция, в сущности, ничего не знает, и спешат дать удар, покуда Москва находится в полном расстройстве с деморализованной и испуганной администрацией и не менее испуганным и деморализованным войском, при этом находящимся в очень малом количестве. Она приехала мне все это рассказать, с одной стороны желая мне отплатить добром за то, что я ее спас в Киеве, когда ей ничего не оставалось, как погибнуть, а с другой стороны, желая спасти и свою подругу, так как ее можно будет спасти только, если сказанный молодой человек скроется, а оставаясь в Москве, он погибнет и она с ним.

Подробности ее рассказа заставили меня вторично просить государя назначить кого-либо генерал-губернатором из лиц, более надежных в таких трудных обстоятельствах, и одновременно я написал государю, можно ли рассчитывать на войсковое начальство. Государь мне по вопросу о командующем войсками ответил, что он вполне полагается на почтенного старца генерала Малахова. Что же касается генерал-губернатора, то при первом свидании он меня спросил, кого полагал бы я назначить генерал-губернатором. Я ответил—генерал-адъютанта Дубасова, как человека такого твердого характера, на кого его можно вполне положиться. Государь меня спросил: «А как бы вы думали, если назначить Булыгина?» (бывшего при диктатуре Трепова министром внутренних дел). Я ответил его величеству, что считаю Булыгина человеком весьма достойным и, может быть, соответствующим генерал-губернатором в Москве, потому что его там хорошо знают, и он хорошо знает Москву. Тем дело кончилось, и перемен никаких не произошло. Между тем, революционная волна в Москве все более и более подымалась, и я имел из объясненного источника все более и более тревожные сведения. Это меня заставило обратить внимание министра внутренних дел Дурново на сказанного молодого человека в Москве.

Через несколько дней, как я узнал от сказанной госпожи, у него был сделан обыск, но еще за сутки вперед он был предупрежден полицией, что у него будет обыск,

а потому все, что могло компрометировать, было или уничтожено, или скрыто.

Приблизительно в это время произошел в Москве крестьянский съезд. О том, что будет такой съезд, я узнал из газет. Я телеграфировал генерал-губернатору, прося его обратить внимание на этот съезд, так как из газет было совершенно ясно, что к съезду этому в значительной степени прилепились такие элементы, которые если и интересуются благополучием крестьян, то, главным образом, для них крестьянский съезд служит боевым революционным оружием.

Я никакого ответа от генерал-губернатора не получил; на другой день съезд открылся. Судя по газетам, там происходили выступы чисто революционного характера, и через несколько дней съезд сам по себе закрылся, когда достаточно протрубили революционные мотивы. Только после закрытия съезда я получил от генерал-губернатора телеграмму, что съезд закрылся.

Все подобные попустительства творились под волшебным влиянием динамитных бомб.

Сколько в последние годы мне пришлось встречать людей в прессе (не далее, как старик и сын Суворин, которого фельетонист Дорошевич прозвал для краткости С. С.), в правительстве, в обществе, которые теперь кричат, что в то время «правительство ушло», «бездействовало», «перепугалось», и которые именно в то время и составляли стаю пугливых ворон, которые освободительному движению не сочувствовали, боялись за свой карман и свои привилегии, но не только не имели мужества итти против него, не только молчали, но исподтишка ему подмигивали, боясь как-нибудь не попасть под удары революционных бомб и пули браунингов...

На 9-е ноября было назначено заседание совета под председательством его величества в Царском Селе, как выразился в записочке ко мне государь, «для личного доклада министра юстиции в присутствии совета». Как оказалось потом—для устройства похорон министру юстиции, честнейшему и прекраснейшему человеку и юристу С. С. Манухину, но об этом мне еще придется говорить далее.

За несколько дней до этого заседания я уже начал получать из московского источника самые тревожные сведения. После заседания я пошел за государем и сказал ему, что необходимо немедленно назначить в Москву решительного и твердого человека, иначе я не ручаюсь, что Москва не попадет во власть революционеров, и наступит анархия, что это необходимо сделать немедленно.

Государю, видимо, было неприятно, что я его остановил, но он мне все-таки любезно сказал, что Булыгин от предложения отказался, находя себя для данного момента в Москве неподхо-

дящим, и тогда его величество меня опять спросил: «Кого же вы предлагаете?» Я опять ответил, что никого не знаю, кроме Дубасова, и уже энергично прибавил: «Позвольте вызвать Дубасова (он был в Курской губернии) и предложить ему немедленно занять пост московского генерал-губернатора». Его величество ответил «хорошо». Я сейчас же телеграфировал Дубасову, чтобы он немедленно вернулся и явился государю. Через несколько дней он уже был у меня, и я ему предложил скорее уехать в Москву и вступить в должность. Он туда и приехал за несколько дней до того момента, когда московское восстание начало разыгрываться. При назначении Дубасова я заметил, что он относился к Дурново не то что недоверчиво, но как-то несимпатично, если не употребить более энергичного выражения «гадливо». Он меня просил по важнейшим делам переговариваться со мною по телефону непосредственно, на что я охотно согласился. Дурново к назначению Дубасова отнесся как-то равнодушно. О том, как отнесся Трепов, я не знаю, но, вероятно, довольно отрицательно, так как только этим я могу объяснить какую-то нерешительность государя в назначении Дубасова. Через самое короткое время по приезде Дубасова в Москву он меня вызвал по телефону и сказал, что хотя он и доверяет вполне здешним войскам и военному командованию (потом при свидании со мною сказал, что, приехавши в Москву, он убедился, что на войска и командование положиться нельзя, но, чтобы не компрометировать военной власти, он сказал иное), но что войск там мало, что он настоятельно требует усиления военной силы из Петербурга и просил моего настоятельного содействия.

Я обратился по телефону к военному министру, который мне ответил, что выслал полк из Царства Польского, и что он через три дня будет в Москве. Прибытие этого полка несколько запоздало, так как революционеры еще далеко от Москвы спустили с рельс несколько вагонов поезда, стремясь подвергнуть поезд с одним из эшелонов этого полка крушению. Но еще до прибытия этой военной части в Москву Дубасов опять меня вызвал по телефону и просил настоятельного моего содействия, чтобы были немедленно высланы войска из Петербурга, что иначе город перейдет в руки революционеров, что войск мало, еле хватит охранять железнодорожные вокзалы, так что самый город остается собственно без войска. Он мне сказал, что он обратился непосредственно с такою же просьбою в Царское Село, но что ему не отвечают.

Чтобы не терять времени, я немедленно вызвал по телефону генерала Трепова и просил его сейчас же пойти к государю и доложить ему, что я считаю безусловно необходимым выслать экстренно войска в Москву, что если город Москва перейдет в руки революционеров, то это будет такой удар правительству его вели-

чества, который может иметь неисчислимо дурные последствия. К вечеру Трепов мне передал, что государь просил меня лично поехать к великому князю главнокомандующему и уговорить его послать войска в Москву.

Я приехал к великому князю поздно вечером и уехал домой поздно ночью. Приехав, я вкратце объяснил положение Москвы и настаивал на необходимости экстренно послать туда войска из Петербурга. Великий князь сначала ссылался на то, что уже пришел, или с часа на час придет полк из Царства Польского. Он признавал, что в Москве войск мало и что они деморализованы, а потому на энергичные действия их рассчитывать невозможно, но, тем не менее, не считал возможным уделить из своего округа ни одного солдата. Его соображения почти буквально были таковы: «При теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывают государь и его августейшая семья, что у него на это теперь достаточно войск, но в обрез; если он уделит хотя малую часть, то в случае, боже сохрани, восстания в Петербурге и его окрестностях, войск не хватит. Что же касается Москвы, то пусть она пропадает. Это ей будет урок. Когда-то Москва была действительно сердцем и разумом России, теперь это центр, откуда исходят все антимонархические и революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву разгромят, не произойдет». Я старался ему возражать, но довольно безуспешно. Я ему сказал, что касается охраны Петербурга и его окрестностей, то я могу его уверить, что никакого восстания ни в Петербурге, ни в его окрестностях не произойдет, что доходящие до него противоположные слухи только показывают, что у страха глаза велики, и что в виду лежащей на мне ответственности я настаиваю на том, чтобы были посланы немедленно войска в Москву.

Во время этого разговора, уже когда было за полночь, вдруг появился адъютант великого князя, который доложил, что от государя получился на имя великого князя с фельдъегерем пакет. Это была маленькая записочка. Великий князь прочел и сказал мне: «Государь меня просит послать войска в Москву, поэтому ваше желание будет исполнено». Я просил сделать это скорее, так как в противном случае это может быть поздно, и удалился. Вернувшись домой, я передал по телефону Дубасову, что войска из Петербурга будут высланы, что я надеюсь, что восстание будет энергично подавлено; при этом я его спросил, почему его так трудно добиваться по телефону? Он мне ответил, что в последнее время он все время ездит на заседания к командующему войсками округа. Я спросил, почему он не

делает заседания у себя? «Потому,—ответил Дубасов,—что командующий войсками по старости и болезненности не выезжает из своего помещения, так же поступает его помощник, начальник штаба, и другие, а их помещения, большею частью казенные, сосредоточены в помещении или около помещения округа».

Затем, в силу действующих законов, я уже в дело усмирения московского восстания не вмешивался. Великий князь экстренно отправил, кажется, в двух поездах, большую часть семеновского полка под командою генерала Мина, кажется, около сотни кавалерии и несколько пушек, на случай, если при движении поездов встретится препятствие.

Из того, что я слышал, я составил себе впечатление, что, так как местные гражданские власти до приезда Дубасова и военные во все время раскисли, то и подавление смуты было произведено непланомерно, и после того, как уже было ясно, что вспышка восстания подавлена, с излишнею в некоторых случаях жестокостью со стороны чинов семеновского полка. Но не я им решусь даже теперь произнести слова хуления. Войдите и в их положение. Их взяли, неожиданно отправили в неизвестную им местность, оставили без планомерных распоряжений, поставили их под различные опасности, и затем говорят, тут можно бы было и не стрелять, а тут напрасно убили такого-то или таких-то. Если кто виновен, то виновны те, которые не приняли заблаговременно надлежащих мер и раскисли, допустили деморализацию войск и сами только изрекали громкие слова из-за кустов. Несомненно, что единственный начальник, который не потерял головы и духа в Москве, был адмирал Дубасов; его мужество и честность спасли положение. Но он был не только мужественно и политически честен, но был и остался истинно благородным человеком [1]).

Как только было погашено восстание, что продолжалось несколько дней, он сейчас же написал государю, прося поставить на всем крест и судить виновных обыкновенным порядком и обыкновенным судом. Одновременно петербургские войска

[1]) Вариант: Генерал Мин был затем убит анархистом по возвращении полка в Петербург на Петергофском вокзале. Генерала Мина я лично никогда не видал, говорил с ним только раз по телефону сейчас после 17 октября во время беспорядков около технологического института. Действия генерала Мина в Москве я одобряю. По моему убеждению, революционные действия силою следует подавлять силою же. Тут не может быть ни сентиментальности, ни пощады, но коль скоро революционные действия или вспышка подавлены, продолжение пролития крови и, в этих случаях иногда, крови невинных, есть животная жестокость. К сожалению, когда вспышка восстания в Москве была подавлена, генерал Мин продолжал допускать жестокости бесцельные и бессердечные.

были возвращены обратно. Государь спросил мнение министра внутренних дел Дурново относительно желания Дубасова. Дурново высказался, что нужно судить военным судом. Государь тогда просил меня высказаться, я присоединился, конечно, к мнению Дубасова. И до тех пор, пока я и затем Дубасов не ушли, виновные были привлечены к ответственности и судились на основании общих законов.

Во всем деле погашения московского восстания, таким образом, Дурново не принимал деятельного участия, главным образом потому, что Дубасов был выбран не им и не питал к нему, Дурново, ни надлежащего уважения, ни доверия. По крайней мере, когда в те времена я заговаривал с ним о Дурново, он о нем отзывался довольно кисло. Теперь поклонники Дурново приписывают погашение восстания ему, а он с к р о м н о молчит.

Затем, как известно, Дубасову бросили бомбу в его экипаж. Рядом с ним находившийся его адъютант, граф Коновницын, был убит; кажется, той же участи подвергся его кучер. Дубасов после моего ухода сам оставил пост генерал-губернатора. Государь его не преследовал так, как он умеет преследовать, хитро, хотя хитростью, шитою белыми нитками, но был к нему довольно холоден, вероятно, потому, что Дубасов, хотя и редко, но имел случай высказывать ему мнения, довольно идущие против его шерсти. Когда Дубасов был назначен генерал-губернатором, я просил его величество назначить его и членом Государственного Совета для того, чтобы на случай, если он должен будет покинуть этот пост, он имел определенное положение. После усмирения восстания в Москве государь мне написал: «Прошу вас, граф, совместно с министром внутренних дел составить проект рескрипта на имя московского генерал-губернатора. Кроме благодарности, должно быть выражено п о о щ р е н и е н а б у д у щ е е в р е м я и назначение в члены Государственного Совета». Такой проект, но б е з п о о щ р е н и я на будущее время, был представлен, но не вышел. Не потому ли, что Дубасов настаивал вместе со мною, чтобы, усмирив восстание, поставить крест и судить всех общим порядком, т.-е. без смертных казней?

В конце концов, когда я, а со мною все министерство ушло, то в скором времени ушел и Дубасов. Причиною ухода его было то, что он был контужен взрывом динамитной бомбы, но, вероятно, он остался бы, если бы к нему отнеслись особо милостиво. Повидимому, его не особенно удерживали свыше, и я думаю, что отчасти потому, что Дубасов не пожелал военных судов. Помилуйте, ведь это слабость... А я скажу, что применение безобразных военных судов так, как они поставлены, в особенности со

времени Столыпина, после того, как экстраординарные действия, могущие вызвать такие суды, погашены и даже забыты, есть величайшая и бессмысленная, недостойная для государства месть и проявление мелких, трусливых и злобных душонок. Я уверен, что история заклеймит правление императора Николая при Столыпине за то, что это правительство до сих пор применяет военные суды, казнит без разбора и взрослых и несовершеннолетних, мужчин и женщин по политическим преступлениям, имевшим место даже два, три, четыре и даже пять лет тому назад, когда всю Россию свел с ума бывший правительственный режим до 17 октября и безумная война, затеянная императором Николаем II. Анархисты же не забыли Дубасову его усмирение Москвы.

Через год, когда он был в Петербурге членом Государственного Совета и гулял в Таврическом саду, в него почти в упор стрелял из браунинга юноша. Дубасов оказался невредим, юноша был сейчас же схвачен и сейчас же заявил, что он с одним участником анархистом назначены для отплаты Дубасову за подавление московского восстания. Я узнал об этом покушении почти сейчас же и приехал вскоре к Дубасову. Он был совершенно покоен и только беспокоился, что этого юношу, который в него стрелял, будут судить военным судом и, наверное, расстреляют. Он мне говорил: «Я не могу успокоиться, так передо мною и стоят эти детские бессознательные глаза, испуганные тем, что в меня он выстрелил; безбожно убивать таких невменяемых юношей». Он прибавил: «Я написал государю, прося его пощадить этого юношу и судить его общим порядком».

На другой день я опять был у Дубасова, и Дубасов прочел мне ответ государя. Ответ этот удивительный, написан собственноручно, складно... не знаю, как сказать, иезуитски или ребячески. Государь любезно поздравляет Дубасова с тем, что он остался цел, говорит несколько любезных фраз, а по существу просьбы Дубасова, пренаивно говорит, что никто не должен умалять силу законов, что законы должны действовать как бы механически, и то, что по закону должно быть, не должно зависеть ни от кого и ни от него—государя императора.

Одним словом, закон должен быть превыше его, и он ему подчиняется. Точно закон, по которому этот юноша был судим и затем немедленно повешен, установлен не им—императором Николаем II. Весьма недавно (несколько месяцев тому назад), после того, когда Государственная Дума подобный закон отменила, его провели, как военное законодательство, помимо законодательных собраний. Точно его величество в то же время не только не миловал осужденных из шайки крайних правых, уби-

вавших «жидов» и лиц прогрессивного направления, а еще чаще просто эти лица, заведомые убийцы и организаторы покушений, не находились полициею или не привлекались к судебному следствию... А государю разве это не было отлично известно?..

Кстати, чтобы закончить рассказ о московском восстании, вернусь к этому молодому помощнику присяжного поверенного. После, из того же источника, о котором я ранее говорил, я узнал, что он со своею дамой во-время покинули Москву и поселились у знакомого помещика около Москвы. Полицейские агенты поехали их арестовать. Прислуга помещика ранее пригласила их в трактир попить чаю. Во время пития чая сей господин, а затем и его дама бежали и очутились потом заграницею *.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Отставка Манухина и Тимирязева.

* Министр юстиции С. С. Манухин не остался все время (6 месяцев) моего премьерства и был заменен М. Г. Акимовым, ныне председателем Государственного Совета и имеющим некоторое влияние на государя. Произошло это таким образом. Манухин представляет собою в высшей степени порядочного человека, принципиального государственного деятеля, прекрасного юриста, отлично знающего судебную часть и несколько доктринерски славянофильского направления. Он был прекрасным министром юстиции, хотя, может быть, тогда смотрящим на практические вопросы теоретически, не считался со временем, которое, конечно, было в высшей степени безалаберно-революционное.

Вследствие этого он, конечно, в совете часто расходился с министром внутренних дел Дурново. Но главным его недоброжелателем являлся генерал Трепов, который еще ранее 17 октября, в качестве петербургского генерал-губернатора, предъявлял к министру юстиции Манухину различные незаконные требования, которые тот не удовлетворял и не мог удовлетворять, так как требования эти нарушали законы, чем теперь министерство Столыпина, конечно, не смутилось бы. После 17 октября Трепов упросил государя, чтобы директора департамента полиции Гарина, того самого Гарина, который теперь все занимается, большею частью для отвода глаз, сенаторскими ревизиями и который по личным отношениям к Трепову занимал, когда Трепов был товарищем министра внутренних дел, без году неделю место директора департамента полиции, сделали сенатором.

При мне государь говорил Манухину, что он полагал бы Гарина (который, когда я стал председателем совета, ушел вместе с Треповым) сделать сенатором, а Манухин представлял резонные соображения и данные о несправедливости такого назначения

в виду значительного числа деятелей во всех ведомствах гораздо более заслуженных, чем Гарин, и гораздо более серьезных, нежели он, которые, тем не менее, не пользуются этим званием; но государь сказал, что это он уже обещал, а потому Манухин и представил указ о назначении Гарина в сенат.

Конечно, это обстоятельство с Гариным усилило вражду Трепова против Манухина. Во всяком случае я неоднократно слышал от Трепова, что вся беда заключается в бездействии юстиции и что при таком бездействии невозможно подавить революцию, а такое положение будто бы поддерживает Манухин. С другой стороны, не без основания Манухин мне неоднократно говорил, что вся беда заключается в Трепове, что он своею полнейшею политическою невоспитанностью и невежеством способствовал всем событиям в 1904 и 1905 г.г., расшатавшим власть, что он имел и имеет роковое влияние на государя и государыню (которая ему доверяет по влиянию своей августейшей сестры Елизаветы Феодоровны) и прибавлял, «покуда он будет—будут вечные неожиданности». Впрочем, надо отдать справедливость его величеству, что, покуда на Манухина не ополчились более авторитетные силы, речи о необходимости его ухода не было, но затем, когда революция тронула сильно карманы, и многие почтеннейшие деятели потеряли равновесие, а между тем юстиция продолжала относиться не только объективно к делу, но иногда и с некоторою снисходительностью к левым, не имеющей оправдания в законе и, в иных случаях, внушаемою страхом возмездия со стороны крайних левых, то против такого олимпийского спокойствия начали будировать такие уравновешенные и в высшей степени почтеннейшие деятели, как бывший министр юстиции при введении новых судебных учреждений, обер-камергер, статс-секретарь, член Государственного Совета, граф Пален.

Балтийские бароны вообще были более других испуганы революцией, так как в балтийских губерняих она проявилась с особою силою; там местное население совершенно выбилось из послушания закону и властям, грабило и убивало местных помещиков, вводило свое революционное управление, что и со стороны правительства вызвало решительные военные меры, также иногда сопровождавшиеся эксцессами (например, история с экспедицией генерала Орлова, ныне умершего от чахотки и находившегося в каких-то особых отношениях к Вырубовой, а через нее в мистических отношениях к бедной, не вполне здоровой императрице).

Каково было тогда время, я приведу такой случай. Помню в октябре, когда я уже жил в запасном доме Зимнего дворца, вдруг мне утром докладывают, что ко мне пришел граф Пален

и желает меня видеть. Я сейчас же приказал его принять. Ко мне входит этот почтеннейший и культурнейший старец и мне говорит:

«Я пришел к вам, чтобы вас спросить о следующем: управляющий моим имением мне телеграфирует, что к нему явились представители революционных шаек (латыши) и требуют внесения денег по постановлениям сего правительства, и поэтому, как следует поступить—внести или не внести?»

Я его спросил, дано ли об этом знать генерал-губернатору, который имел тогда широчайшие полномочия, как начальник края, находящегося на военном положении; он мне ответил утвердительно. В таком случае,—сказал я,—по вопросу о том, следует ли исполнить требование революционной шайки или нет, предоставляю вам судить. Старик, совершенно растерянный, ушел.

7 ноября я получил от государя записку, уведомляющую, что он назначает заседание совета министров (под своим председательством) 9-го ноября, и что заседание это начинается в 11 часов утра, при чем его величество в этой записке сообщил мне, что заседание «начнется с личного доклада министра юстиции в присутствии совета. Считаю такое нововведение нужным и полезным для всех министров» (хотя это нововведение в мое время более не повторялось).

9-го ноября я и все министры поехали в Царское Село. К удивлению моему, в числе присутствовавших в заседании был граф Пален, Э. В. Фриш (вице-председатель Государственного Совета), и еще не помню кто. Заседание открыл его величество указанием, что существуют нарекания на действия юстиции и что в виду этого он счел нужным выслушать по этому предмету, в присутствии приглашенных, министра юстиции. С. С. Манухин с большим достоинством защищал подчиненное ему ведомство, указывая на то, что чины этого ведомства держатся тех оснований, на которых зиждятся новые суды; что за некоторыми исключениями действия судебных чинов совершенно правильны, а в тех случаях, когда действия эти неправильны, то принимаются меры, законами установленные; что не следует забывать, что новые суды основаны на следующих принципах: гласность, независимость судей, «лучше простить несколько виновных, нежели осудить одного невинного» и проч.

На юстицию нападал министр внутренних дел Дурново, указывая на слабость репрессии и нечто в роде забастовки судебных мест. Я с своей стороны, признавая, что такие явления, к сожалению, бывают, заявил, что вообще судебные места действуют правильно, и было бы ошибочно обобщать обвинение и подрывать одно из наиболее культурных ведомств в империи.

К удивлению моему граф Пален в своей речи, видимо, более склонялся к нападению на С. С. Манухина или, вернее, на министерство юстиции, нежели к его защите. Заседание этим кончилось, но для меня было уже ясно, что государь решил Манухина сплавить и что в значительной степени это решение основано на наушничестве генерала Трепова.

Через несколько дней ко мне пришел министр юстиции Манухин и заявил, что он при первом докладе после приведенного заседания счел нужным доложить государю, что после происшедшего в заседании совета он не считал возможным оставаться министром юстиции, так как не может изменить своих взглядов, а его взгляды, видимо, не одобряются его величеством. Государь на увольнение его согласился и просил передать об этом мне.

При первом же докладе я всеподданнейше передал о сообщении, сделанном мне Манухиным, при чем очень просил его, величество, увольняя сенатора Манухина от должности министра юстиции, назначить его членом Государственного Совета. Государь на это согласился, но не особенно охотно. Затем я спросил государя, кого он полагает назначить вместо Манухина. Его величество передал мне, что ему рекомендуют назначить Лопухина (прокурора киевской судебной палаты, родственника бывшего директора департамента полиции, ныне находящегося в Сибири). Я доложил, что Лопухина не знаю, и просил разрешить мне навести о нем справки. Для меня сразу стало ясно, что Лопухина подсунул князь Оболенский (обер-прокурор синода), имеющий слабость всюду подсовывать своих родичей и кузенов (Столыпин его кузен).

Вернувшись домой, я кстати застал у себя профессора уголовного права киевского университета Самофалова, долго служившего в судебном ведомстве и человека весьма консервативного образа мыслей, также, между прочим, находившего слабость действий в смутное время судебного ведомства. Я его спросил, знает ли он Лопухина. Он мне дал такую о нем характеристику:—весьма почтенный человек, уважаемый в судебном ведомстве и симпатичный барин. Так как такая общая характеристика меня не удовлетворяла, то я его спросил, каков он был бы министром юстиции. На это Самофалов, относившийся критически к действиям Манухина в смутное время, находя его излишне либеральным, мне ответил, что Лопухин будет Манухиным, но только без его авторитетности, серьезных юридических знаний, опытности и громадной трудоспособности. После этого я вместе с ним обратился к официальной справочной книжке, и мы начали искать, кто из сенаторов пользуется неотъемлемою репутацией правых, которые не могли бы встретить

возражений в смысле недостаточной их консервативности, носили бы русские фамилии и прошли бы все должности в судебной карьере, т.-е. были бы люди «du métier». Самофалов указал мне по списку сенаторов на трех, удовлетворяющих этим условиям: Акимова, Иванова и Щербачева.

На следующий день я видел его величество и заговорил о министре юстиции. Из разговора я увидел, что на оставление Манухина на своем посту его величество не согласится, к тому же я убедился, что и Манухин не согласится, после всего происшедшего, остаться министром юстиции.

Относительно Лопухина я высказался отрицательно. Тогда государь меня спросил: «Кто же ваши кандидаты?» Я указал его величеству вышесказанные три фамилии, объяснив, как я их выбрал. На вопрос «А вы их знаете?» — я ответил, что последних двух (Иванова и Щербачева) лично я совсем не знаю и никогда не видал, а Акимова встречал много лет тому назад, когда я был начальником эксплоатации юго-западных железных дорог, а он товарищем прокурора киевской судебной палаты. Государь мне ответил, что он его не знает, на что я позволил себе заметить, что государь также не знает Лопухина.

Государь был недоволен этим разговором и, в конце концов, сказал мне: «Пришлите ко мне Акимова тогда-то, но не говорите ему, что я имею в виду дать ему какое-либо назначение».

Возвратясь домой, я просил Акимова по телефону приехать ко мне. Когда он приехал, то я его в первый раз увидал после Киева, т.-е. после промежутка времени более 20 лет, и передал ему, что государь приказал ему явиться к его величеству тогда-то. Он меня спрашивал, не знаю ли я, для чего государь его вызывает, при чем передал, что собирался выйти в отставку и не мог только с министром юстиции уговориться о размере пенсии.

В этот самый день, когда Акимов представился государю, я получил от его величества записку, в которой он писал, что Акимов ему очень понравился и чтобы я представил указ о назначении его министром юстиции. Когда я сказал Дурново, что министром юстиции будет Акимов, а на сестре Акимова женат Дурново, то он не очень радостно встретил это известие, может быть потому, что боялся конкуренции на поприще реакционного консерватизма.

Должен сказать, что во все время, пока Акимов был министром юстиции в моем министерстве, он держал себя весьма прилично; проводя в совете консервативные идеи, он в этом напра-

влении был гораздо сдержаннее и, если так можно выразиться,— законнее, нежели Дурново. Я бы не мог указать ни одного действия Акимова, как министра юстиции, которое шло бы вразрез с тем направлением, которое естественно и логично вытекло из принципов, провозглашенных 17 октября, конечно, толкуемых в консервативном направлении, но без натяжек, «совестливо».

Между тем Дурново часто, не стесняясь, высказывал взгляды, совсем несовместимые с началами этого великого манифеста, и относился к нему недоброжелательно. Впрочем, это направление развивалось у Дурново по мере упрочения его положения, сближения с Треповым и убеждения, что это именно «по вкусу» царя. Что касается назначения Акимова, то меня удивило, что он выбрал себе в товарищи Щегловитова, который всегда высказывал столь трафаретно красные идеи, так что я просил Манухина не водить его на заседания совета (он тогда был директором департамента). На мой вопрос, знает ли он Щегловитова, он мне ответил, что его хорошо знает. Я тогда не знал всю «бессовестность» убеждений и мнений этого теперешнего министра юстиции, которые ярко обрисовались, когда он влез на этот пост, поэтому мне теперь понятно, почему Акимов тогда его выбрал в товарищи.

Такое, если можно так выразиться, поведение Акимова во время бытности его министром юстиции в моем министерстве привело меня даже к тому, что, покидая пост председателя совета, на вопрос его величества, кого бы я мог рекомендовать ему в заместители, я ему ответил, что это зависит, какого председателя он хочет: если консервативного, то пусть назначит Акимова, а если весьма корректного, но твердого и либерального, то тогда—Философова, государственного контролера. В числе достоинств последнего я указал на сравнительную его молодость.

Мне известно, что тогда государь предлагал этот пост Акимову, но он от этого назначения уклонился. Затем государь назначил Акимова председателем Государственного Совета, и на этом посту он себя часто ведет совершенно недостойно. Во-первых, по точному смыслу законов, раз член Государственного Совета назначен к присутствованию, то затем он не может быть устраненным от присутствования, и только при назначении лиц членами Государственного Совета вновь можно их назначить не к присутствованию и также пополнение членов присутствующих делать или путем назначения новых членов Государственного Совета или назначением к присутствованию неприсутствующих. Акимов допустил такую практику, что ежегодно публикуется, какие члены Государственного Совета должны быть присутствующими, и при этом в список не помещают как умерших или освобо-

жденных от присутствования по их просьбе, так же и тех, которые вели себя (говорили речи или подавали голос) так, как это не нравилось наверху или самому Акимову.

Таким образом, члены Государственного Совета не находили себя неожиданно в списке. При чем это делалось к тому же бестактно, неделикатно и в отношении членов, в благонамеренности консерватизма и порядочности коих не могло быть никакого сомнения, которые за собой имеют продолжительную достойную и постепенную государственную службу на различных должностях, например: Бутовский, Кобеко, Стевен, генерал Косич. Такую практику Акимов основал на статье закона, которая гласит о том, что в начале каждого года публикуется список членов, присутствующих в Государственном Совете. Между тем, точный смысл этой статьи в связи с другими, находящимися в том же учреждении Государственного Совета, не оставляет никакого сомнения, что так как число членов по назначению присутствующих, дающих голоса, не должно быть больше числа членов присутствующих по выбору, то в начале каждого года объявляется список тех и других для гласности и общественного контроля.

Таким образом, каждый член Государственного Совета по назначению находится под своего рода дамокловым мечом быть выкинутым из присутствования в общем собрании в случае неодобрительного поведения. Конечно, это имеет самое деморализующее влияние на членов по назначению, в большинстве в сущности старых чиновников и часто не имеющих самостоятельных средств.

Акимов ввел также своего рода негласный надзор за членами Государственного Совета. Посредством некоторых членов Государственного Совета, им же назначенных, и также чиновников государственной канцелярии, он находится в курсе того, в собраниях каких групп какие члены Государственного Совета бывают, и что они там говорят.

Затем он испрашивает предварительно у его величества, как государь желает, чтобы тот или другой законопроект прошел, или был отвергнут. Получив это указание, он оказывает различные воздействия на членов, часто прямо говоря, что если будет решено так-то, то государь будет недоволен, или что государь просил, чтобы члены по назначению давали свои голоса так-то.

Наконец, в общих собраниях, пользуясь правами, предоставленными председателю во время заседаний, он часто ведет собрания крайне пристрастно, обрывает без всяких или недостаточных оснований тех, которые говорят не в угодный ему тон, и дозволяет говорить, не стесняясь ни количеством времени ни содержанием слова, тем, которые говорят в направлении, ему угодном. В результате его величество очень доволен Акимовым, но Госу-

*

дарственный Совет роняется, и я уверен, что по многим существенным делам Государственный Совет дал бы другие вотумы, если бы не прибегали к таким недостойным приемам.

Я расскажу теперь об одной истории, которая послужила к тому, что я решил расстаться с Тимирязевым. Когда образовалась канцелярия, состоявшая при мне, как председателе совета министров, то князь Мещерский («Гражданин») просил прикомандировать к канцелярии чиновника, служащего в министерстве внутренних дел, некоего Мануилова-Манусевича. Я раз видел этого Мануилова-Манусевича в Париже перед Японской войной, когда вследствие того, что я был безусловно против политики, приведшей Россию к этой войне, я покинул пост министра финансов и был назначен председателем комитета министров. Тогда Мануилов-Манусевич был агентом министра внутренних дел Плеве в Париже, и он счел нужным явиться ко мне и, между прочим, сказать, чтобы я не был на него в претензии, если я узнаю, что за мною ездят агенты русской полиции, что в этом он непричастен и что это петербургские агенты Плеве, который желал знать, как я буду себя вести заграницею [1]). Князь Мещерский меня очень просил о прикомандировании Мануилова-Манусевича к канцелярии председателя совета, и я имел слабость не отказать ему в этой просьбе, и Мануилов-Манусевич был прикомандирован к канцелярии с согласия министра внутренних дел, оставаясь в министерстве внутренних дел. Я с ним никаких личных сношений, помимо управляющего канцелярией Вуича, не имел, а сей последний меня через несколько недель уже предупредил, что вообще с Мануиловым-Манусевичем нужно быть осторожнее, так как он имеет дурную репутацию. Через несколько дней после того, как Мануилов-Манусевич был прикомандирован к канцелярии, он явился ко мне и от имени князя Мещерского просил меня принять Гапона, который в виду того, что громадное большинство рабочих находится в руках анархистов-революционеров, искренне раскаивается в своем поступке, приведшем рабочих к расстрелу 9-го января 1905 года, желает теперь спасти рабочих и, в виду дарованной 17 октября конституции, помочь правительству успокоить смуту. Я был очень удивлен, что Гапон в Петербурге, и спросил, неужели Гапон здесь и с каких пор? Мануилов мне ответил, что он в Петербурге еще с августа месяца, т.-е. последние месяцы диктаторства Трепова он был уже в Петербурге. Я Гапона в жизни ни ранее, ни после не видел и никогда не имел с ним никаких сношений. Когда Плеве вздумал распространять в Петербурге зубатовщину, то я, уже узнавши об этом

[1]) См. т. I, стр. 227.

от фабричной инспекции, против этого протестовал, и при мне, т.-е. покуда я был министром финансов, зубатовщину в Петербурге старались скрыть. С моим уходом с поста министра финансов в августе 1903 года, когда Плеве стал хозяином положения, зубатовщина в Петербурге расцвела, явился Гапон и затем вся эта полицейская организация привела к 9 января 1905 года. Я ответил Мануилову, что никаких сношений с Гапоном иметь не желаю и что если он в течение суток не покинет Петербург и не уедет заграницу, то он будет арестован и судим за 9 января. Вечером того же дня я видел Дурново и спросил его, знает ли он, что Гапон в Петербурге. Он был очень удивлен этой новостью и спросил меня, не могу ли я сообщить ему его адрес. Я адреса не знал, а потому и не мог ему его сообщить. На другой день ко мне явился Мануилов и передал, что Гапон хочет уехать заграницу, но не имеет денег; я дал Мануилову 500 руб., сказав, что я даю ему эти деньги с тем, чтобы он довез Гапона до Вержболова и убедился, что Гапон покинул Россию. Затем, дня через два ко мне явился Мануилов и доложил, что Гапон переехал в Вержболове границу и обещал, что он в Россию не возвратится. Может быть, тогда было бы правильнее его арестовать и судить, но в виду того, что тогда все рабочие были в экстазе и Гапон пользовался еще между ними большой популярностью, я не хотел сейчас после 17 октября и амнистии усложнять положение вещей. Через некоторое время ко мне пришел князь Мещерский и убеждал меня разрешить Гапону вернуться в Петербург и принять его, говоря, что Гапон теперь принесет громадную пользу в борьбе с анархистами и революционерами в виду его влияния на рабочих и полного отчуждения от революционеров-анархистов после того, как он с ними познакомился заграницею. Я просил Мещерского оставить меня в покое и сказал, что Гапону не доверяю, никогда его не приму и ни в какие сношения с ним не вступлю. Затем, в течение нескольких месяцев о Гапоне ни слова не слыхал. В марте месяце мне как-то Дурново сказал, что Гапон в Финляндии и хочет выдать всю боевую организацию центрального революционного комитета и что за это просит сто тысяч рублей. Я его спросил: «А вы что же полагаете делать?»—На это Дурново мне сказал, что он с Гапоном ни в какие сношения не вступает и не желает вступать, что с ним ведет переговоры Рачковский, и на предложение Гапона он ответил, что готов за выдачу боевой дружины дать 25 тысяч рублей. На это я заметил, что я Гапону не верю, но, по моему мнению, в данном случае 25 или 100 тысяч не составляют сути дела.

Затем я узнал, что Гапон убит в Финляндии.

Около 10 ноября, уже после того, как я отверг ходатайство Гапона через князя Мещерского (Мануилов его воспитанник или, как он их называет,—духовный сын) и выпроводил Гапона

заграницу, управляющий моей канцелярией Н. А. Вуич, докладывая мне о лицах, желающих мне представиться, доложил, что, между прочим, представятся журналисты Матюшенский и Пильский. Уже в это время я не принимал без доклада по делам не экстренным лиц, совсем неизвестных. Он доложил мне, что оба эти журналиста работают в «Новостях», по тому времени газете либеральной, но умеренной, и, по сведениям департамента полиции, это люди не опасные, что они желают меня видеть по делам профессиональных организаций рабочих с целью отвлечения их от анархических союзов. Через несколько дней я принял Матюшенского; в это время уже Гапон по сведениям Мануилова-Манусевича был заграницею. Матюшенский мне докладывал о том, что необходимо восстановить те библиотеки и читальни, которые были основаны до катастрофы 9 января 1905 года и которые были после сего закрыты и опечатаны полициею, так как эти учреждения теперь могут оказать громадное содействие к отвлечению рабочих от революционных обществ анархического характера. Я сказал Матюшенскому, что против этого ничего принципиально не имею, но что он должен обратиться к министру торговли, который должен войти в детали этого дела, мне неизвестные. Затем он заговорил о том, что следовало бы помиловать Гапона, что я категорически отверг.

Потом он просил меня дать ему записку к министру торговли; я написал, прося выслушать Матюшенского, но, опасаясь дать ему записку на руки, позвал находившегося в канцелярии Мануилова, передал ему записку, сказав, чтобы он передал ее Тимирязеву и одновременно представил Матюшенского. После этого я Матюшенского более не видел. Моя беседа с ним была весьма непродолжительна, и он мне крайне не понравился. На другой или третий день был у меня Тимирязев и говорил, что он выслушал Матюшенского, что дело идет о восстановлении тех учреждений рабочих, которые были организованы во времена Плеве-Гапона и затем закрыты и опечатаны полицией после 9-го января 1905 года, что он по нынешним временам, чтобы отвлечь рабочих от революционеров-анархистов, этому сочувствует, и что для этого нужно будет денег.

Я ответил, что ничего против этого не имею, что относительно всего этого он должен сговориться с министром внутренних дел, а относительно денег испросить их у государя из так называемого десятимиллионного фонда, ежегодно ассигнуемого по государственной росписи для чрезвычайных расходов, которые росписью не предвидены; при этом я ему сказал, что во всяком случае на это можно дать только несколько тысяч, помню, сказал—не более шести и при условии контроля за их расходованием. Этот разговор был около 20 ноября, и затем мне Тимирязев ничего по этому делу не говорил, точно так, как мне ничего не говорил об

этом деле Мануилов, что со стороны последнего, впрочем, было довольно естественно, так как я ему никаких поручений, кроме передачи маленькой записочки и представления Матюшенского Тимирязеву, не давал, да кроме того я после предупреждения Вуича о том, что вообще Мануилов не заслуживает доверия, его не принимал.

Вдруг в конце января или начале февраля 1906 года я узнал из газет, что Матюшенскому было выдано Тимирязевым 30.000 руб. на возобновление Гапоновских организаций, что из них 23.000 Матюшенский похитил и скрылся. Это побудило меня запросить письмом, в чем дело, и из объяснений Тимирязева я узнал, что он испросил всеподданнейшим докладом у государя на организацию учреждений для рабочих 30.000, что выдал их Матюшенскому, что Матюшенский хотел украсть 23.000, что рабочие (организация умеренных рабочих) это узнали и затем, при содействии жандармской полиции, деньги эти нашли, что, наконец, Тимирязев даже видел Гапона и обо всем этом он мне никогда не говорил ни слова!

О том, что он видел Гапона, он не только не говорил мне, но и не писал даже после того, как вся эта история раскрылась. Я узнал об этом уже по оставлении им поста министра из протокола его допроса судебным следователем по делу Матюшенского.

Эта история и была причиной, почему я решил расстаться с Тимирязевым. По этому предмету в моем архиве хранится моя переписка с Тимирязевым и объяснение по поводу этой переписки Мануилова. Из характера этой переписки видно, что и в объяснениях своих Тимирязев неправдив. Уволившись совсем от службы, он, благодаря связям с некоторыми дельцами, укрепившимися во время бытности его министром торговли в моем министерстве, получил несколько мест в частных учреждениях и затем своею услужливостью добился того, что его выбрали одним из членов Государственного Совета от торговли и промышленности. Это было, повидимому, то, что он желал.

После ухода Тимирязева с поста министра торговли и промышленности я хотел предложить это место академику Янжулу (бывшему профессору финансового права московского университета и главного фабричного инспектора в Москве).

Но ранее, нежели докладывать об этом его величеству, я просил к себе Янжула, чтобы с ним объясниться. Он от этого назначения уклонился. В то время бомба еще имела магическое действие и охотников на министерские и вообще боевые посты было мало*.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ.

Отставка Кутлера. Интриги правых.

*Последние перипетии истории крестьянского вопроса довольно правильно изложены в маленькой статье, появившейся в одном из первых №№ «Вестника Европы» этого (1909) года. Самая серьезная часть русской революции 1905 г., конечно, заключалась не в фабричных, железнодорожных и тому подобных забастовках, а в крестьянском лозунге: «Дайте нам землю, она должна быть нашей, ибо мы ее работники», лозунге, осуществления которого начали добиваться силою.

Не подлежит, по моему мнению, сомнению, что на почве землевладения, так тесно связанного с жизнью всего нашего крестьянства, т.-е. в сущности России, ибо Россия есть страна преимущественно крестьянская, и будут разыгрываться дальнейшие революционные пертурбации в империи, особливо при том направлении крестьянского вопроса, которое ему хотят в последние столыпинские годы дать, когда признается за аксиому, что Россия должна существовать для 130 т. бар и что государства существуют для сильных (замечательные положения речей Столыпина).

Конечно, в этих положениях нет ничего нового, этими принципами государства жили еще до эпохи христианства. Это еврейская психология в устах quasi-русского либерального министра.

В первые недели после 17 октября, когда шло усиленное брожение и происходили вспышки в деревнях многих местностей России, когда крестьянство как будто выбилось из полицейского произвола и осталось без всякого регулирующего стимула, так как о какой-либо законности и нормальном правосудии, об институте собственности, как базисе социального порядка современных государств, оно никогда не имело и не имеет твердых

понятий, тогда многие дворяне, собственники земель, совсем потеряли головы.

Конечно, в числе их одним из первых был генерал Трепов. Как-то раз я приехал в Царское Село с докладом к его величеству; меня в приемной встречает Трепов, заводит разговор о сплошных восстаниях крестьянства и говорит мне, что для того, чтобы положить конец этому бедствию, единственное средство— это немедленное и широкое отчуждение помещичьих земель в пользу крестьянства. Я выразил сомнение, чтобы ныне, накануне созыва Государственной Думы, после 17 октября можно было принять такую поспешную и мало обдуманную меру. Он мне ответил, что все помещики будут очень рады такой мере.

«Я сам,—говорит генерал,—помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собою вторую половину».

Государь мне во время доклада об этом по существу не говорил, но только передал записку с проектами, сказав:

«Обсудите эти предположения в совете министров. Это записка и проект профессора Мигулина».

Это была записка о необходимости принудительного отчуждения земель в пользу крестьянства, как мера, которую необходимо принять немедленно непосредственною волею и приказом самодержавного государя. Я, конечно, сейчас же понял, кто доставил эту записку государю (записка эта в копии и затем письмо профессора Мигулина ко мне на ту же тему хранятся в моих бумагах).

После доклада меня Трепов опять встретил и убеждал, как помещик, провести меру, предлагаемую в переданной мне записке, как можно скорее, покуда крестьянство еще не отняло всей земли от помещиков.

Кто такой профессор Мигулин? Это прежде всего муж дочери старого профессора финансового права харьковского университета Алексеенко, затем бывшего попечителем учебного округа в Казани, человека умного и культурного, но гораздо более известного в качестве провинциального дельца, корректного, но не гнушающегося законными средствами наживы, нежели профессора экономиста-финансиста. Как такового, имя его не перейдет в потомство даже дельцов города Харькова. Теперь Алексеенко член Государственной Думы по выборному столыпинскому закону и финансовый столп октябристского (Гучковского) большинства в Думе. У него была дочь, богатая невеста, он ее выдал замуж за молодого харьковского присяжного поверенного Мигулина, человека способного, ловкого, публициста, затем как бы по наследству получившего кафедру от папаши своей супруги.

У Мигулина есть много написанных им книг, но нет ни одной, которая могла бы иметь серьезную претензию на ученость. Это ловкие компиляции, памфлеты, в которых везде руководящий мотив: «я во что бы то ни стало хочу выплыть наверх». В смутное время такие люди теряют равновесие и лезут то в одну сторону, то в другую, держатся правила, что если они не могут выплыть наверх прямо, то они должны искать обходных путей—«ищите и найдете».

А все-таки Мигулин имеет марку молодого профессора финансового права, и если его ученость имеет комическое значение между людьми действительно не чуждыми науке, то он имеет все-таки некоторый престиж в буржуазной мелкой среде и между провинциальными львицами. Поэтому, как могло случиться, чтобы профессор Мигулин не пробрался к дворцовому коменданту Трепову?..

Предположение Мигулина мы рассмотрели в совете министров и все министры, а в том числе и министр земледелия Кутлер, отнеслись к нему отрицательно, находя, что это дело касается самого важнейшего нерва жизни русского народа и требует всестороннего рассмотрения, и после 17-го октября, если какой-нибудь вопрос не может получить разрешения помимо Государственной Думы и Государственного Совета, то прежде всего этот вопрос. Но совет тогда же решил по собственной инициативе уничтожить выкупные платежи, крайне обременявшие крестьянское население, а равно расширить приобретения крестьянским банком посредством покупки от частных владельцев земель для распродажи таковых крестьянам. Меры эти совет проектировал привести в исполнение немедленно указами его величества, а затем образовать комиссию под председательством министра (начальника главного управления) земледелия для обсуждения дальнейших мероприятий, могущих существенно помочь крестьянству, с тем, чтобы таковые внести в Государственную Думу.

Таким образом, последовали указы о расширении деятельности крестьянского банка и уничтожении выкупных платежей. В это время боязнь в высших сферах, вызвавшая мысль об обязательном отчуждении частно-владельческих земель, еще не улеглась.

Тогда (в декабре) приезжал в Петербург генерал-адъютант Дубасов, бравый, благородный и честный человек. Он приехал из Черниговской и Курской губерний, куда он был назначен с особыми полномочиями в виду сильно развившихся там крестьянских беспорядков. Он явился ко мне и подробно рассказывал

о положении дела и высказывался в том смысле, что лучше всего было бы теперь же отчудить крестьянам те помещичьи земли, которые они забрали, и на мое замечание, что на принудительное отчуждение не пойду без обсуждения дела в Государственной Думе и Государственном Совете после открытия этих учреждений, он высказал мнение, что теперь такою мерою можно успокоить крестьянство, а потом «посмотрите, крестьяне захватят всю землю, и вы с ними ничего не поделаете».

Я еще недавно имел случай напомнить об этом разговоре Ф. В. Дубасову, и он заметил—«Действительно я тогда вам это говорил, я ошибся». Едва ли, однако, кто знает Дубасова, может усомниться в его твердости, решительности и консерватизме. Через несколько недель в январе, благодаря естественному ходу вещей и постепенному общему успокоению, явно начало замечаться затихание смуты и в деревнях.

Как это обыкновенно бывает в особенности с лицами мужественными и твердыми только на словах, одновременно начали меняться и мнения, вызванные растерянностью. О необходимости обязательного отчуждения в пользу крестьян (или дополнительном наделе) сначала перестали говорить, потом начали выражать сомнение в целесообразности этой меры и, наконец, самую идею принудительного отчуждения хотя бы за плату начали признавать преступною, а тех, которые придерживаются такой ереси, революционерами.

Через несколько времени после того, как был отвергнут советом проект профессора Мигулина, патронируемый генералом Треповым, об обязательном отчуждении, была образована комиссия под председательством министра Кутлера. Как-то раз после заседания совета Кутлер мне сказал, что чем глубже он занимается вопросом о дальнейших мерах по крестьянскому землевладению, тем больше он приходит к убеждению в неизбежности в пользу крестьян некоторого принудительного платного отчуждения, и спрашивал меня, что я думаю по этому предмету. Я ответил, что если можно будет решиться на такую меру, то разве только как на исключение.

Через несколько дней после обеда я нашел на своем рабочем столе пакет от Кутлера с экземплярами, оттиснутыми посредством копировальной бумаги, главных оснований предварительного проекта комиссии его об улучшении крестьянского землевладения.

Так как его величеству было угодно высказываться о необходимости поспешить всеми мерами, относящимися до крестьян, конечно, с целью их успокоения, то я сейчас же распорядился разослать по экземпляру присланную работу комиссии Кутлера

членам совета министров и членам Государственного Совета, Ермолову, Шванебаху, как бывшим министрам земледелия, а также члену Государственного Совета почтеннейшему старцу Петру Петровичу Семенову, как ближайшему сотруднику графа Ростовцева при освобождении крестьян, затем все время занимающемуся крестьянским вопросом, последнему могикану по освобождению крестьян. Один же экземпляр присланного проекта я оставил у себя на столе. Поздно вечером, очистив свой служебный стол, я взял проект комиссии Кутлера, чтобы его просмотреть, и заметил, что в нем довольно сильно и решительно проведена мысль о платном принудительном отчуждении части частно-владельческих земель в пользу малоземельных крестьян. Такой проект, после того, как еще так недавно совет министров отнесся отрицательно к подобному, хотя более решительному, проекту Мигулина, мне показался по меньшей мере несвоевременным, тем более, что я уже заметил быструю в отношении этого вопроса перемену направления в высших сферах и вообще в растерявшихся некоторых кругах дворянства, легко переходящих от «караул» к «ура».

Поэтому я позвал к себе дежурного чиновника и просил его приостановить рассылку проекта комиссии Кутлера. Чиновник мне доложил, что проект уже развозится; я приказал вытребовать его обратно и попросить ко мне завтра утром Кутлера.

На другой день утром я передал Кутлеру, что считаю неудобным подвергать обсуждению в совете проект его комиссии, что я уверен, что если даже сочувствовать этой идее, то самые предположения комиссии так не разработаны, что не могут подлежать обсуждению. Затем я его спросил, принял ли он меры, чтобы работа не пошла гулять и не послужила удобным предлогом для всяких интриг и возбуждений.

Кутлер особенно не настаивал на предположениях комиссии, но просил меня хотя бы в частном совещании совета министров обменяться мыслями относительно оснований проекта комиссии, находящейся под его председательством, так как, не зная, на каких основаниях совет министров остановится, он не может разрабатывать какого бы то ни было проекта, что же касается вопроса моего, принял ли он меры, чтобы эта сырая работа комиссии не послужила основанием для интриг, то он на это ничего ответить не мог, так как, видимо, ему и в голову не приходила эта мысль.

Частное заседание совета состоялось очень скоро, и на этом заседании все министры высказались против мысли о принудительном отчуждении частно-владельческих земель, как мере для увеличения крестьянского землевладения, при чем как главный довод всеми выставлялся принцип неприкосновенности и «святости» частной собственности; я присоединился к заключениям моих коллег, но выразил сомнение в возможности объяснить народу неосу-

ществимость принудительного отчуждения частно-владельческих земель после того, как все великое освобождение крестьян было основано на этом принципе платного принудительного отчуждения; такая мера в настоящее время, по моему мнению, невозможна, потому что она способна окончательно поколебать и без того расшатанное финансовое и экономическое положение России войной и смутою.

Я говорил, что я буду поддерживать основание проекта, представленного Кутлером, только тогда, если он докажет, что то, что он предлагает, не обессилит Россию. Кутлер высказал, что он тоже думает, что принудительное отчуждение, им предлагаемое, может отрицательно повлиять на теперешнее экономическое состояние России, но что по его мнению это единственное средство устойчиво и не кратковременно успокоить крестьянство.

Но вообще он особенно настойчиво проект комиссии не защищал. Затем совет поручил Кутлеру переработать проект комиссии, им председательствуемой, при чем решил назначить в комиссию новых членов из других ведомств кроме членов ведомства земледелия. Тогда же было решено назначить из министерства финансов А. П. Никольского (управлявшего всеми сберегательными кассами, много занимавшегося крестьянским вопросом), из министерства внутренних дел—Гурко (товарища министра внутренних дел), т.-е. таких влиятельных членов, которые были известны, как решительные противники принудительного отчуждения.

Кутлер против этих решений не возражал и согласился переработать проект. После заседания я еще говорил с Кутлером, он меня благодарил за то, что я ему дал возможность обменяться мыслями с коллегами, и отнесся к принятым решениям вполне доброжелательно.

Замечательно, что на другой день я получил от П. П. Семенова записочку (она, вероятно, хранится в моем архиве), в которой он сочувственно отнесся к проекту Кутлера.

Через несколько дней после сказанного заседания совета министров я получил от государя записочку, требующую присылки проекта Кутлера о крестьянском устройстве и принудительном отчуждении. Я ответил его величеству, что такого проекта нет, что был составлен, так сказать, набросок (я его приложил к моему ответу), который рассматривался в частном совещании министров, и что все министры и я высказались против всякого проекта, основанного на принудительном отчуждении, точно так, как мы высказались против такого же проекта профессора Мигулина, переданного нам некоторое время тому назад

его величеством, что Кутлер согласился с этим заключением и теперь комиссия в другом составе под его же председательством перерабатывает проект.

Затем, при одном из ближайших личных докладов государь соизволил заговорить со мною о проекте Кутлера и сказать, что против Кутлера все восстают, и что он желал бы, чтобы вместо Кутлера был другой министр. Я просил государя в случае ухода Кутлера назначить его членом Государственного Совета, против чего его величество препятствий не встретил. Но не успел я возвратиться из Царского Села в Петербург, как получил собственноручную записочку государя, в которой он соизволил мне сообщить, что считает неудобным назначить Кутлера членом Государственного Совета.

Через несколько дней при личном докладе, когда возобновился разговор об уходе Кутлера, я просил его величество назначить его по крайней мере сенатором. Его величество соизволил согласиться, но как только я возвратился домой, я снова получил высочайшую записку, в которой сообщалось, что, обдумав, он нашел неудобным назначить Кутлера и сенатором, при чем мнение это высочайше мотивировалось.

Это меня вынудило написать государю 2-го февраля следующее письмо, случайно сохранившееся у меня в копии:

«Вашему императорскому величеству благоугодно было мне сообщить, что назначение Кутлера в сенат столь же нежелательно, как и оставление его в настоящей должности, и что следует отстать от привычки набивать Государственный Совет и сенат бывшими министрами. Вместе с тем вашему величеству благоугодно указать, что в этом случае пример западных государств поучителен и полезен и что при переменах министров необходимо приобрести навык в этом направлении. Мне кажется, что было бы весьма полезно, как в отношении назначений и увольнений министров, так и вообще в отношении организации государственной службы, многое заимствовать из законов и практики западных государств, но при этом не следует упускать из виду, что в западных государствах все эти порядки вытекают из конституционного устройства и определяются или положительными законами или конституционною практикою. У нас же государство правится самодержавным монархом, и потому наша практика была совершенно иная. Но какою сиçтемою ни руководствоваться, всякая система должна иметь в своей основе справедливость, ибо только справедливостью определяется тот или другой образ действий. Кутлер до назначения министром занимал с успехом место товарища министра внутренних дел и товарища министра финансов и принял пост министра, подчиняясь велению вашего величества.

Обыкновенно товарищи министров назначаются в сенат, а иногда и в Государственный Совет, как, например, недавно

Рухлов [1]), очень недолго служивший, назначен членом Государственного Совета и бывший весьма недолго директором департамента полиции Гарин (ушедший вместе с Треповым) назначен сенатором. Поэтому я думал, что, ходатайствуя о назначении Кутлера сенатором, я не выходил из рамок возможного и справедливого.

Угодно ли вашему императорскому величеству, чтобы я передал Кутлеру о том, чтобы он подал прошение об отставке, или вам благоугодно это сделать другим путем?»

Государь мне изволил ответить, что он признает дальнейшее пребывание Кутлера во главе ведомства нежелательным, и потребовал представить ему список намеченных мною кандидатов.

Я попросил Кутлера прийти ко мне и сказал ему, что в виду целого ряда недоразумений, вызванных его проектом о принудительном отчуждении, я советую ему написать прошение об отставке. Кутлер тут же написал прошение и затем я с ним расстался (февраль 1906 г.) и встретился только теперь перед выездом из Петербурга (июль 1909 г.) у графини Гудович по ее личным делам. Он сначала был уверен, что я заставил его подать в отставку, а также, что я его должным образом не защищал. Теперь, кажется, он знает, что я его защищал, но, вероятно, убежден, что недостаточно.

Таким образом, лица в известном положении, в котором я так долго находился, делают себе недоброжелателей, а иногда и врагов...

Прошение его я отправил к его величеству, а затем был у государя с докладом. Я просил назначить Кутлеру пенсию, и его величество милостиво сейчас же изволил согласиться назначить пенсию в семь тысяч рублей в год. Государь высказал мне, что он желал бы, чтобы Кутлера заменил его товарищ (помощник) по министерству Кривошеин. При этом указании его величества я сразу понял, откуда все идет, а потому высказался о назначении Кривошеина отрицательно. Государь соизволил заметить, что не потому ли я против Кривошеина, что мысли его консервативны. Я ответил его величеству:

«Ваше величество, вы сами Кривошеина не знаете, а хотите его назначить по рекомендации лиц неответственных; я даже не могу допустить в министерство, в котором я председательствую, лиц, делающих себе карьеру не прямыми путями. Я готов, чтобы на место Кутлера был назначен человек с наиконсервативнейшими взглядами, но если он исповедует эти взгляды по убеждению, а не из-за выгоды и карьеризма».

---

[1]) Товарищ великого князя Александра Михайловича по посту начальника главного управления мореплавания, ушедший после образования моего министерства.

На это государь спросил:

«Кого же вы могли бы из таких лиц рекомендовать?»

Я ответил: «Например Федора Самарина, я его лично не знаю, вероятно мы во многом расходимся с ним, но он пользуется общею репутацией политически честного и убежденного общественного деятеля, и я уважаю его имя».

На это государь мне ответил:

«На Самарина и я соглашусь; покуда же пусть Кутлер сдаст должность Кривошеину».

Видя, что я этого опасаюсь, он добавил:

«Успокойтесь, временно, покуда не будет назначен постоянный».

Я Кривошеина знал давно, с 80-х годов, когда он еще был юрисконсультом Донецкой железной дороги, каковое место получил потому, что сроднился с московским купечеством, женившись на одной из Морозовых. Ничего дурного о Кривошеине я не знал и не знаю, считал и считаю его трудолюбивым, очень неглупым человеком, но карьеристом и карьеристом очень ловким.

У нас очень долго был домашним доктором корпусный врач пограничной стражи, тайный советник Шапиров, который поэтому был довольно близкий в нашем семействе. Он был женат на сестре вдовы начальника военно-медицинской академии Пашутиной, которая была очень дружна с Кривошеиным. Там с ним Шапиров часто виделся. Кривошеин был назначен товарищем главноуправляющего земледелием еще при Шванебахе, а затем, конечно, остался и при Кутлере его товарищем. Шапиров после 17-го октября иногда рассказывал некоторые факты, касающиеся Трепова. Я его как-то спросил: «Откуда вы это знаете?» Он ответил, что от Кривошеина, и объяснил, что Кривошеин через одного из своих бывших сослуживцев по министерству внутренних дел Трепова (директора департамента общих дел министерства внутренних дел при Сипягине и затем из-за какой-то денежной истории переведенного с этого поста таврическим губернатором, ныне, конечно, назначен членом Государственного Совета, как ультра-правый), близко сошелся с генералом Треповым и иногда ездит к нему в Царское Село...

Я просил Самарина приехать в Петербург и сделал ему предложение занять пост министра земледелия. По этому случаю я имел довольно продолжительное объяснение с Самариным, который мне честно и, с его точки зрения, толково объяснил, что, с одной стороны, он считает 17-е октября как несомненное введение в России конституции актом гибельным, ибо он исповедует идеи

славянофильства (Аксаков, Самарин—60-е годы), а потому не может сделаться членом моего министерства, а во-вторых, его здоровье и недостаточность его знаний и опыта не позволяют ему принять такой важный и ответственный пост. Я его уговаривал, но безуспешно. В заключение я просил Самарина написать мне причины его отказа, так как я должен буду наш разговор передать государю и могут быть — как со стороны его величества, так и его—сомнения, все ли и точно ли я передал причины его отказа. Самарин мне прислал письмо, в котором он высказывает причины отказа так, как их мне передавал, и я в тот же день письмо это отправил государю. Затем я больше никогда с Самариным наедине не виделся. Он был избран от дворянства в Государственный Совет, и там как-то раз я с ним говорил. Это было в первую Думу. Он все революционные эксцессы приписывал 17-му октября, а я выражал мнение, что при бывших и данных обстоятельствах в нем Россия только и могла найти спасение. Но этот благородный человек остался верным себе. Известно, что министерство Столыпина по статье 87-й издало основание крестьяноустройства, в корне нарушившее так называемую конституцию. Статья эта помещена в основные законы, изданные в мое министерство, поэтому я имею право думать, что я могу знать ее смысл. Ее смысл не дает основания ни малейшему сомнению, что она дает право, помимо Думы, принимать в экстраординарных случаях только такие меры, которые экстренны и которые могут быть отменены. Ни одному из этих условий не отвечает тот предмет, который касается указа 9 ноября, изданный по статье 87-й. Крестьянский вопрос, ждавший десятки лет, мог подождать несколько месяцев, и очевидно, что раз начав применять новые основания землепользования крестьянами с явным нарушением общинного пользования, то будет затем невозможно перейти к прежним порядкам, не водворивши окончательного сумбура. Кроме того, правила, установленные указом 9-го ноября, в корне нарушили всю теорию славянофильства, основанную на особого рода общественных (общинных) порядках, будто бы социально составляющих особенность и суть русской крестьянской жизни. Когда приближалось время, что указ этот должен был пройти через Думу, и было ясно, что услужливая Дума, в качестве отделения столыпинской канцелярии, примет основания этого указа, а следовательно дело дойдет до Государственного Совета, то Самарин, с одной стороны, чтобы не насиловать своих убеждений, а с другой—не подавать голоса против оснований, санкционированных царем, которые царь, повидимому, признает до сих пор правильными (если только царь может сознательно разобраться в этом вопросе; я, конечно, знаю, что не может и говорит свои суждения с чужих нот), отказался от звания члена Государственного Совета.

После отказа Самарина я на словах предлагал его величеству назначить министром земледелия Ермолова, бывшего при Бунге директором департамента неокладных сборов, затем моим товарищем (очень недолго), когда я стал министром финансов, и потом назначенного министром земледелия Александром III и бывшим на этом посту до 1904 г., каковой он оставил не по своему желанию, а вследствие интриг своего товарища Шванебаха и Горемыкина, будучи признан чересчур либеральных идей. Этот Ермолов—министр Александра III—чистейший и благороднейший человек, но тип образованного, либерального и маловольного чиновника, из каждой ноты коего течет либеральный мед, так хорошо приготовлявшийся в последние десятилетия в царскосельском лицее (что на Каменноостровском пр.). Теперь он один из корифеев центра Государственного Совета, статс-секретарь его величества и им до известной степени жалуемый. Государь на это не согласился. Я предлагал назначить начальника уделов князя Кочубея, большого землевладельца, весьма консервативного, но порядочного человека. Он, кажется, отказался. Тогда я предлагал кого-либо из товарищей других министров (кроме министерства земледелия), не чуждого поместной земледельческой жизни, например, товарища министра внутренних дел князя Урусова. Государь на это не соизволил. Я просил подумать и переговорить с другими министрами. Между тем, интрига уже в это время шла во-всю. Может быть, благодаря ей Трепов и многие другие, с испуга желавшие провести манифестом принудительное отчуждение (Мигулинский проект), предположение неосуществленное только потому, что я и затем мои коллеги (в том числе и Кутлер) по различным причинам признавали это невозможным и во всяком случае несвоевременным, затем, сами испугавшись своих радикальных проектов, внушенных трусостью, чтобы загладить свою вину и получить более солидную марку благонадежности и верности «истинно-русским началам», рады были свалить всю ересь на Кутлера и возопить: «ату его!»

До меня доходили почти ежедневно от лиц, мне более или менее преданных или сочувствующих, что государю постоянно подаются большею частью через генерала Трепова доносы и различные записки и, по мере того, как шло успокоение и уменьшалась трусость, эти записки имели при дворе все больший и больший вес.

В январе по железным дорогам делал инспекционную поездку министр путей сообщения и, возвратясь в Петербург, мне передал, что по России ходит для подписи между крупными землевладельцами записка, в которой предъявляются относительно Кутлера,

министра финансов Шипова (совершенно правого по убеждениям, но, конечно, не черносотенного), Путилова (товарища его, управляющего дворянским и крестьянским банком) обвинения в революционных замыслах и требование смены моего министерства. В это время мои отношения с его величеством уже были натянуты до крайности, и я оставался на своем посту только из-за преданности к монархическому принципу; все это будет более ясно, если мне удастся окончить эти наброски. Но каковы были мои отношения, видно из следующего моего письма, сохранившегося у меня в копии, которое я тогда написал государю: «При сем имею честь представить вашему императорскому величеству петицию (ее можно найти в моих архивах), которая ходит по рукам землевладельцев для собирания подписей. Она напечатана в Киеве, хотя инициатива ее появления, конечно, исходит из Петербурга. О замыслах сей петиции мне передавали несколько недель тому назад, а теперь мне передал ее приехавший с юга К. С. Немешаев. Конечно, я мог бы узнать о ее авторах и ее инициаторах, но я считаю излишним тратить на это время, тем более, что мне, как и всем живущим общественною жизнью, известно, что инициатива этого дела исходит от так называемой у нас в Государственном Совете «черной сотни Государственного Совета». А затем плодотворная мысль такой петиции принадлежит ли графу А. П. Игнатьеву, Стишинскому [1]) или Штюрмеру, или Горемыкину, или Абазе [2]), это совершенно безразлично.

Впрочем, я думаю, что эта почтенная компания не добивается [3]) стать у власти, так как им не желательно ставить в игру [4]) свои особы, а потому они предпочитают действовать и распространять всякую ложь из-за кустов в петербургских гостиных и посредством преданной им прессы» [5]). Записка, которая была приложена к этому докладу, довольно длинная и начинается так:

«Пережив продолжительный период революционной смуты и правительственного безвластия, постепенно возраставших, не взирая на великодушно дарованные подвластным скипетру вашему народам вольности, вся Россия с надеждою взирала на энергичные и разумные мероприятия, которые министр внутренних дел (Дурново) совместно с министром юстиции (Акимовым) и при самоотверженном содействии верных престолу и отечеству войск предпринимал (?) в делах восстановления законности и порядка в стране».

---

[1]) Назначенному министром земледелия после моего ухода и образования министерства Горемыкина.

[2]) Помощнику Безобразова по устройству авантюры на Ялу, приведшей к Японской войне.

[3]) Покуда.

[4]) Т.-е. под бомбы.

[5]) Грингмут, Шарапов, Никольский-профессор и проч.

Из этого введения уже ясно, откуда записка шла. Затем излагаются всякие страхи, грозящие землевладельцам от земельных проектов.

«Великую смуту как среди землевладельцев, так и среди крестьян (?),—говорит в одном месте записка,—внес опубликованный в печати слух о существовании законопроекта, выработанного одним из ближайших сотрудников графа Витте, действительным статским советником Кутлером, по которому предполагается установить максимальные нормы землевладения, с обязательным отчуждением в п о л ь з у к р е с т ь я н всех частновладельческих земель, превышающих означенные нормы». (Конечно, такого проекта не существовало, и авторы записки отлично это знали.)

«Трудно допустить, говорится еще далее в записке, чтобы лица, приявшие из рук вашего величества бразды правления, обладали недостаточными знаниями и житейскою опытностью, а потому немудрено, что в обществе раздаются голоса, утверждающие, будто бы утопические законопроекты кабинета графа Витте вырабатываются с затаенною целью неудавшуюся среди городов и рабочих классов революцию перенести в села и в деревни».

В заключение, между прочим, говорится: «Считаем священным долгом верноподданных удостоверить перед вашим величеством, что нынешнее правительство, олицетворяемое главою его, графом Витте, не пользуется доверием страны и что в с я Р о с с и я ожидает от вашего величества замены этого всевластного сановника лицом более твердых государственных принципов и более опытного в выборе надежных и заслуживающих народного доверия сотрудников».

Наконец, около 10 февраля 1906 года, когда уже интрига против меня со стороны крайних правых успела окрепнуть, а левые в безумном стремлении считать недостаточным то, что было дано 17 октября и последующими действиями моего министерства, шли против меня, лишая меня поддержки, вследствие чего мое положение пошатнулось, я получил от его величества не то повеление, не то предположение назначить министром торговли и промышленности Рухлова, а земледелия—Кривошеина. О последнем я уже говорил ранее. Что же касается Рухлова, то это умный и дельный, но малокультурный в европейском смысле чиновник; по политическому образу мыслей это—«чего изволите». Он был помощником Коковцова, когда Коковцов был статс-секретарем Государственного Совета по департаменту экономии Государственного Совета. Когда Коковцова я взял к себе, будучи министром финансов, в товарищи,—Рухлов занял его место. Когда же, опять-таки благодаря моему ходатайству,

Коковцов сделался государственным секретарем, то Рухлов хотел, чтобы я его взял в товарищи, о чем со мною заговаривал граф Сольский, но я уклонился от этого шага.

Через некоторое время, когда у меня опять освободилось место товарища, я во внимание к просьбе графа Сольского передал ему, что я готов взять в товарищи Рухлова, но тогда Рухлов от этого назначения уклонился, чему я был весьма рад. Когда образовалось пресловутое главное управление мореходства с главноуправляющим (министром) великим князем Александром Михайловичем, то он взял к себе товарищем прославившегося в дальне-восточной авантюре Абазу, а когда контр-адмирал Абаза получил пост управляющего делами Дальнего Востока, комитета, который был последним этапом, приведшим нас к Японской войне, то вместо него был назначен, вероятно, по рекомендации того же графа Сольского—Рухлов. Это назначение было по нем; как умный человек он, конечно, не мог не сознавать всю, вежливо выражаясь, не пахучую розами несостоятельность этого нового министерства, как угодливый человек он готов был преклоняться перед малейшими желаниями своего великокняжеского шефа, а как хороший чиновник он все-таки во внешних отношениях соблюдал принятые формы и давал видимость серьезности этому весьма несерьезному министерству.

Записочка его величества, в которой я извещался, что он предполагает назначить министром земледелия Кривошеина, а министром торговли Рухлова, меня так взорвала, что я решился послать прошение об отставке и, желая быть корректным в отношении моих коллег, созвал их, чтобы им об этом заявить. Они начали меня уговаривать остаться, каждый из них приводя свои доводы. После долгих разговоров я решил послать государю следующий доклад, при них редактированный: «Все нарекания, обвинения и озлобления за действия правительства направляются прежде всего на меня. Это естественно вытекает из закона о совете министров, хотя закон этот в точности не исполняется, и я часто узнаю о весьма серьезных и печальных мерах, в особенности, местных властей из газет. Все это ставит меня в крайне трудное положение, которое я покуда выношу, несмотря на мою усталость и нездоровье, в виду критического положения государства по долгу присяги вашему императорскому величеству и любви к родине. Но я и теперь лишен возможности должным образом объединять действия правительства.

Между тем, в скором времени предстоит открытие Думы, перед которой и преобразованным Государственным Советом я буду поставлен в тяжкую необходимость давать объяснения за действия, к которым я непричастен, за принятие мер, которые я привести в исполнение не имею возможности, и по проектам, которых я не разделяю.

При сложившемся порядке вещей совершенно невозможно правительство, которое, если не однородно по убеждениям, то по крайней мере солидарно по взаимным друг к другу отношениям. Я не имею ни к Кривошеину, ни к Рухлову тех элементарных чувств, которые давали бы мне возможность с ними работать. Относительно Кривошеина я имел честь всеподданнейше докладывать вашему величеству, и вам благоугодно было дважды высочайше передавать мне, что он будет заведывать главным управлением только несколько дней. Вследствие получения мною сегодня предположения вашего величества о назначении Кривошеина главноуправляющим земледелием, а Рухлова министром торговли, я счел необходимым проверить свои взгляды на сказанных лиц посредством обмена мыслей со всеми членами Совета.

Сегодня же собрались у меня на частное совещание все министры [1]), и по обсуждении дела мы единогласно пришли к заключению, что Кривошеин и Рухлов не могут удовлетворить ныне тем условиям, которые необходимы для занятия предположенных для них постов, и что назначение их в министерство совершенно затруднит дальнейшее ведение дел в Совете, а меня поставит в еще более тяжкое положение, посему все министры уполномочили меня всеподданнейше довести о вышеизложенном до сведения вашего величества и просить дать возможность правительству, без расстройства его состава, довести возложенную на него крайне трудную задачу до созыва Государственной Думы».

Доклад этот был послан 12 февраля и того же дня был возвращен с высочайшей резолюцией: «Кто же ваши кандидаты за исключением отвергнутых мною?» Собственно говоря, никто его величеством отвергнут не был. Кутлера его величество не согласился оставить, несмотря на мою просьбу его оставить на посту главноуправляющего земледелием, Самарин, на которого я указал и его величество согласился, сам отказался, мельком я говорил о назначении товарища министра внутренних дел князя Урусова, будущего кадета, и его величество оставил это указание без ответа, а что касается министра торговли, то я никого не предлагал, и потому его величество никого не отвергал.

Еще дней за 9 или 10 был у нас доктор Шапиров, который говорил, что Кривошеин очень просит согласиться на его назна-

[1]) Министры: военный — генерал Редигер, путей сообщения — Немешаев, морской — адмирал Бирилев, внутренних дел — Дурново, иностранных дел — граф Ламсдорф, народного просвещения — И. И. Толстой, юстиции — Акимов, государственный контролер — Философов и обер-прокурор св. синода — князь Оболенский.

чение министром земледелия, о чем я получу сообщение государя. Затем и я получил вышеупомянутое сообщение. Для меня было ясно, что покуда я буду представлять кандидатов, которые будут нетерпимы Кривошеиным, Трепов будет их хулить и, таким образом, Кривошеин будет продолжать управлять министерством. Вследствие сего, я решил предложить назначить А. Никольского (ныне члена Государственного Совета), который служил со мною или при мне со времен комиссии графа Баранова (конец 70-х и начало 80-х годов), будучи все время и постоянным сотрудником «Нового Времени». Он мною, когда я был министром финансов, был назначен управляющим всеми сберегательными кассами, каковое место занимал и в 1906 году, оказывал мне живое сотрудничество, когда я был председателем сельско-хозяйственного совещания, так внезапно закрытого высочайшим указом, а с 1904 года, т.-е. со времени освободительного движения, стал резко на консервативную точку, которую постоянно поддерживал в «Новом Времени».

Никольский в особенности много писал о крестьянском вопросе, близко знавши этот вопрос, как теоретически, так и практически (Кажется, он сам из крестьян.). Против него не нашли никаких возражений, вероятно потому, между прочим, что он был в хороших отношениях с Кривошеиным. Его величеству угодно было согласиться на назначение Никольского, но не министром, а управляющим министерством.

На пост министра торговли я предложил товарища Тимирязева по министерству торговли, Федорова, который был назначен лишь управляющим министерством и оставался на этом посту до моего ухода. Он давно служил в министерстве финансов, сначала в качестве помощника редактора «Вестника финансов, торговли и промышленности», затем—редактора этого журнала, потом он был начальником отдела торговли и промышленности министерства финансов, а затем, когда образовалось министерство торговли после 17 октября,—то товарищем министра торговли. Тогда же, когда я решил назначить министром Тимирязева, он меня предупреждал о его беспринципности, политической хитрости и пустоцветности. Сам Федоров очень чистый, знающий человек, весьма культурный, но не в европейском смысле, либерал и бессеребренник. Он не впадал в крайности и был против программы кадетов о земельном устройстве, а потому и расходился со взглядами Кутлера в последних стадиях его министерской деятельности.

Когда я ушел и образовалось министерство Горемыкина, то ему было предложено занять пост министра в этом министерстве, т.-е. из управляющего министерством сделаться мини-

стром, но он отказался, заявив, что не разделяет взглядов Горемыкина и большинства членов его министерства. Он вышел в отставку и начал издавать газету, которая, конечно, при произвольности режима Столыпина существовать долго не могла. Теперь он не у дел. Замечательно, что государь хотел, чтобы в мое министерство перед открытием Государственной Думы вступили Кривошеин и Рухлов, между тем, когда я ушел перед открытием Думы и образовалось министерство Горемыкина, то даже в это министерство они не вошли; место главноуправляющего земледелием занял Стишинский, а министра путей сообщения Шауфус.

Когда распустили первую Думу и образовалось министерство Столыпина, то и тогда эти господа не вошли въ министерство и нужно было несколько лет, в течение которых Столыпина выкрасили сажей, чтобы наконец Кривошеин занял место главноуправляющего земледелием, а Рухлов—министра путей сообщения, хотя он имел в своей жизни отношение к путям сообщения вообще и железнодорожному делу в особенности, как я к медицине. Мне остается объяснить, почему я не желал, чтобы Рухлов вошел в мое министерство. Прежде всего потому, что Рухлов это человек великого князя Александра Михайловича, и государь его знал только потому, что он был товарищем великого князя, когда его высочество был главноуправляющим мореходством.

Таким образом, ко всем закулисным интригам я рисковал прибавить, пожалуй, одну из наиболее рафинированных. Затем, сама личность Рухлова такого свойства, что не могла внушать симпатии во мне, а в то время и в большинстве политических групп. Тогда она не могла внушать симпатии даже у черносотенцев, так как тогда Рухлов, конечно, не был бы с ними потому, что при мне они не имели и не могли иметь значения, не соответствующего их силе. Их сила и теперь основывается на физической силе правительства. Ведь и палач силен только потому, что он защищен оружием! Чтобы охарактеризовать физиономию г. Рухлова, я приведу маленький рассказ.

В прошедшую жизнь я несколько раз встречался с графом Потоцким, женатым на княжне Радзивилл (дочери генерал-адъютанта Вильгельма I), с отцом которого, наместником Галиции (Краков), я еще был знаком. Этот граф Потоцкий—русский подданный, так как владеет громадным майоратом в Волынской губ. около Шепетовки (станция на юго-западных ж. дор.). Он давно хлопочет о проведении ж. дороги от Шепетовки к Проскурову. Наконец, образовалась компания, во главе которой стал граф Потоцкий. Была целая история, покуда это дело прошло через совет министров и департамент Государственного Совета. Столыпин, выдвинув на первый план своеобразный принцип русского

национализма, в силу которого, чтобы быть верным сыном своей родины великой Российской империи и верноподданным государя, нужно иметь фамилию, оканчивающуюся на «ов», быть православным и родиться в центре России (конечно, еще лучше если патриот может представить доказательство, что он, если не убил, то по крайней мере искалечил несколько мирных жидов), поддерживаемый некоторыми другими членами министерства, делал препятствия в виду того, что главою дела состоял граф Потоцкий—поляк.

Наконец, совет разрешил образовать компанию на акциях с гарантированным облигационным капиталом и с тем, чтобы были введены в устав различные ограничения относительно участия в обществе и службе на железной дороге лиц «не-русского происхождения». Министерству путей сообщения соответственно сим решениям было поручено составление устава.

Вот граф Потоцкий и отправился представиться министру П. С. Рухлову и объясниться относительно пределов ограничения участия в деле лиц не-русского происхождения. Как раз в этот день я случайно обедал у одного знакомого с графом Потоцким. После обеда он мне сказал: «Какой у вас, однако, странный министр путей сообщения. Сегодня я к нему являлся и затем заговорил об уставе дороги Шепетовка—Проскуров. Оказывается, что он намеревается не ограничить, как то постановил совет министров, участие лиц не-русского происхождения в этом деле, а совсем их исключить, находя это участие опасным в политическом отношении в этом крае. Я его спросил: «Ваше в-во, изволите ли вы знать этот край? Вы, вероятно, судите по неверным сообщениям». На это господин министр мне ответил: «Нет, я сам служил в этом крае. Я служил помощником смотрителя тюрьмы в Летичеве». На что я позволил себе,—заключил гр. Потоцкий,—почтительно заметить его высокопревосходительству, что он, вероятно, знаком только с клиентами того заведения, в управлении которого он принимал участие, а не с жителями этого края вообще».

Чтобы надлежаще оценить тон моего всеподданнейшего доклада о довольно неожиданном предложении государя назначить главноуправляющим земледелием Кривошеина и министром путей сообщения Рухлова, нужно не забывать, что к концу января 1906 года, когда высшие классы и камарилья двора почувствовали, что благодаря 17 октября и последовавшим мерам столь казавшаяся страшною революция уже значительно утеряла в своей страшности, интрига против меня уже пошла во всю, и государь в свою очередь, чувствуя, что гроза как бы пролетела, уже начал со мною менее церемониться или, точнее говоря, уже допускал мысль, что теперь, пожалуй, и без меня справятся.

Я же с своей стороны остался тем, чем был, т.-е. не умеющим склоняться и в лавировании по ветру искать свою фортуну. Образчиком существовавших отношений служил вышеприведенный всеподданнейший доклад.

Из приведенного одного штриха тех интриг, которые в то время творились, и того аллюра, с которым я к ним относился, видно, что я был очень нужен, если еще после этого оставался вопреки моему желанию два месяца у власти. Действительно, покуда я не заключил небывалый по своим размерам внешний заем (а без меня его бы никто не заключил) и не обеспечил быстрый возврат армии из Забайкалья, все находилось на острие, а когда это я сделал и собрал Государственную Думу, то, как говорится, всякий дурак уже справился бы с русской революцией 1905 года.

Когда я видел, к чему камарилья ведет государя, а я знал хорошо государя и понимал, что ему этот путь мил, то уже в феврале заговорил о том, чтобы его величество меня отпустил, к тому же действительно я уже тогда был болен. Но государь сам и через генерала Трепова просил меня не уходить и во всяком случае окончить дело займа и сбора Думы.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ.

Заем.

* Окончание войны требовало приведения всех расходов, вызванных войной, в ясность и ликвидации их. Вследствие войны и затем смуты, финансы, а главное денежное обращение начали трещать. Война требовала преимущественно расходы заграницею, а смута так перепугала россиян, что масса денег—сотни миллионов были переведены заграницу. Таким образом образовался значительный отлив золота.

Я уже ранее писал, что такое положение вещей озабочивало министра финансов Коковцова еще до 17 октября. Когда еще в 1904 году я в качестве уполномоченного ездил заключать торговый договор с Германией, то и тогда уже мои попытки заключить заем наталкивались на затруднения.

Война еще в 1904 году стеснила наши финансы; поэтому, когда в 1905 году я поехал в Америку вести с японцами переговоры по заключению мира (Портсмутский договор), то вел между прочим переговоры о возможности нового займа как во Франции, так и в Америке. Во Франции выяснилось, что заем будет возможен только по заключении мира. Возвратившись из Америки, я уже повел в Париже более определенные разговоры о займе. Об этом я уже писал ранее, а также и о разговорах моих с императором Вильгельмом в замке Роминтен и как удалось мне устроить Алжезирасскую конференцию. Это был первый шаг, затем нужно было ожидать решения международных представителей.

Конференция тянулась с ноября-декабря 1905 года до конца марта 1906 года, и все это время мне не удалось устроить надлежащего займа. Между тем, вернувшись в Петербург и после 17 октября вступив во власть, я ясно увидел, что для того, чтобы Россия пережила революционный кризис и дом Романовых не был потрясен, необходимы две вещи—добыть посредством займа большую сумму денег, так, чтобы не нуждаться в деньгах

(т.-е. в займах) несколько лет, и вернуть большую часть армии из Забайкалья в Европейскую Россию.

Имея деньги и войско, а затем ведя добросовестную политику в точности согласно обещаниям, данным манифестом 17 октября и в духе моего всеподданнейшего доклада, опубликованного одновременно с манифестом с царскою собственноручною надписью «принять к руководству», я был уверен, что в конце концов все успокоится и войдет в норму, ибо жизнь 150 милл. населения того потребовала бы.

Что касается денег, то, приняв власть, я поставил себе задачею не только запастись деньгами, но сделать это до созыва Государственной Думы, покуда не вступило в силу новое положение государственных вещей, ибо, конечно, мне было ясно, что если первая Государственная Дума, которая, несомненно, должна была быть неуравновешенной и в некоторой степени мстительной, будет созвана, покуда правительство императора Николая II не будет иметь хороший запас денег и войско и начнет трактовать заем при Думе, то заем совершится не скоро, а время не терпело, и будет неудачен, так как банкиры предъявят более тяжелые требования, а затем правительство без денег может совсем лишиться свободы действий, необходимой в известной мере вообще, а в смутное время, которое тогда переживалось, в особенности.

Итак, вступив после 17 октября во власть, мне стало ясно, что надо запастись деньгами не только для покрытия произведенных из-за войны расходов, но и про запас, что это может быть сделано, лишь уладивши марокккский вопрос на Алжезирасской конференции. Явился вопрос, с кем делать заем, т.-е. какую группу поставить во главе этого дела. Так как предстояло сделать громадный заем, то было очевидно, что сие может быть делано лишь при главенстве Франции, поэтому, будучи в Париже, я уже говорил по этому предмету с Г. Нейцлином, главою первоклассного банка «de Paris et Pays Bas». Нужно было также выяснить, можно ли привлечь к делу Ротшильдов.

Во Франции в то время были две главнейшие группы синдикатов банкиров: одна называется еврейскою, потому что во главе ее становился дом Ротшильдов, а другая, так называемая христианская, во главе которой стоял «Crédit Lyonnais», покуда был жив глава этого банка Жермен, а затем стал банк «de Paris et Pays Bas», т.-е. Нейцлин.

Я очень хорошо знал главу дома Ротшильдов, знаменитого барона Альфонса Ротшильда (семейство которого было близко с Наполеоном III, в замке которого Ферьер, близ Парижа, во время войны 70-го года, поселился на правах сильного импе-

ратор Вильгельм I с своим штабом). Он за несколько месяцев до того времени умер, а потому, будучи в Париже, я с Ротшильдами не виделся. Кроме того я знал, что в виду гонения на евреев в России, так усердно осуществленных в 1904 году Плеве, они на помощь России без условий относительно облегчения участи русских евреев не пойдут, а сделать это по поводу займа я считал неудобным.

Я счел нужным пощупать почву, как отнесутся Ротшильды к займу, и поручил это нашему финансовому агенту в Париже Рафаловичу. Парижские и лондонские дома Ротшильдов между собою весьма связаны, со смертью барона Альфонса главенство перешло в руки лондонского лорда Ротшильда, поэтому Рафалович поехал в Лондон, и затем я получил от Рафаловича такой приблизительно ответ: «В виду уважения, питаемого Ротшильдами к личности графа Витте, как государственного деятеля, они охотно оказали бы полную поддержку займу, но не могут этого сделать, покуда в России не будут приняты меры к более гуманному обращению с русскими евреями, т.-е. не будут проведены законы, облегчающие положение евреев в России». Так как я не считал достойным для власти по поводу займа подымать еврейский вопрос, то полученный мною ответ меня убедил, что с Ротшильдами дело это сделать нельзя.

Между тем финансовое положение страны в смысле прочности денежного обращения вследствие последствий войны и смуты все ухудшалось. Революционные элементы считали 17 октября безделушкою, они имели в виду демократическую республику, основанную на более или менее коммунистическом экономическом строе; партия конституционно-демократическая (кадеты), которая перед выборами в Государственную Думу прозвала также себя партией народной свободы, находила, что по пути 17 октября нужно пойти далее, настаивая, чтобы избирательный закон был основан на так называемой четыреххвостке, т.-е., чтобы выборы были всеобщие, прямые, равные и одинаковые для всех.

Эта партия, в состав которой, несомненно, входили русские подданные наиболее культурные и серьезно научно-образованные, совсем заела удила. Не помню, рассказывал ли я ранее такой эпизод. После вступления мною в должность председателя совета министров, т.-е. в течение ближайших дней после 17 октября, был у меня И. В. Гессен. Это был один из видных деятелей этой партии, особливо в смысле публицистическом. Он и до настоящего времени один из редакторов кадетской «Речи». Ранее я его знал, так как он служил в министерстве юстиции при Муравьеве, а затем он был замешан в политическое дело и при

министре внутренних дел князе Святополк-Мирском вместе с Милюковым угодил в тюрьму. Тогда жена его, которую я не знал, обратилась ко мне, прося выручить ее мужа, и вследствие моего вмешательства он был освобожден. Так вот этот Гессен явился ко мне, чтобы узнать, как я буду относиться к партии кадетов.

В то время к этой партии, т.-е. к партии народной свободы, примыкали и Шипов, и Гучков, и многие другие, затем перешедшие к партиям прогрессистов, 17 октября (облыжно себя так называвшая), националистов и проч. Я ему сказал, что вообще к взглядам этой партии отношусь симпатично и многие воззрения ее разделяю и что потому я готов поддержать ее, но при одном непременном условии, чтобы она отрезала революционный хвост, т.-е. резко и открыто стала против партии революционеров (в то время еще правых революционеров не было, были только левые), орудовавших бомбами и браунингами (револьверами). На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут, и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, т.-е. войска во всех его видах.

После такого обмена мнений у меня во все мое министерство уже никаких серьезных разговоров с кадетами не было. Мы ясно пошли по различным дорогам: я считал, что после 17 октября задача заключается в добросовестном и мирном осуществлении того, что этим актом было дано, помня, что всякое необдуманное быстрое и резкое изменение в жизни государства везде вызывает реакцию и подымает из реакционного болота разбойников и негодяев реакционных трущоб (Дубровин, Пуришкевич, Марков II, Казанцев, Казаринов и tutti quanti), а кадеты считали, что нужно сразу перестроить Россию на новый либеральный космополитический лад, сведя власть русского монарха к власти monsieur Falliére'a (президента французской республики). Партия эта между прочим, конечно, желала, чтобы министерство было зависимо от Думы, а следовательно состояло из кадетов, и поэтому принципиально относилась неблагожелательно ко всякому министерству, назначенному императором по своему благоусмотрению. Само собою разумеется, что эти общественные деятели понимали, что для того, чтобы правительство государя (во главе которого стоял я) не восприяло силу, необходимо прежде всего, чтобы оно не располагало деньгами, находилось в этом отношении в полной зависимости от Думы, а затем, чтобы не держало в руках и войска.

Революционеры-анархисты работали в войсках, а господа кадеты, узнав о старании моем совершить заем, действовали в Париже, дабы французское правительство не соглашалось на заем ранее созыва Государственной Думы, указывая на то, будто

бы правительство государя не может совершить заем без аппробации Думы. Эту миссию исполняли в Париже, являясь к французским государственным деятелям, между прочим князь Долгоруков—кадет и затем член Государственной Думы, в сущности весьма порядочный человек, хотя не отличающийся политическими талантами, а также Маклаков, член 3-й Государственной Думы, также совершенно порядочный человек и к тому же большого ума и таланта. Я уверен, что эти лица теперь с горестью в душе вспоминают об этих едва ли патриотических шагах, и оправданием им может служить только то, что тогда значительная часть России, особливо России мыслящей, находилась в состоянии невменяемости, в состоянии опьянения напитком, составленным из позора (Японская война) и более ста лет жданного кажущегося обладания политическим яблоком рая свободы (17 октября). Эти лица увлекались и все-таки остались тем, чем были—людьми безусловно порядочными, а сколько таких, которые в то время орали о свободе, о необходимости ограничить ненавистную бюрократию (понимай государя императора), а ныне чуть ли не служат в охранке и во всяком случае запродали себя за ордена, чины, теплые местечки или прямо «темные деньги» (импровизация Столыпина).

Пресса в то время также мало способствовала успешности займа. Русская пресса в частности не способствовала установлению заграницею психологии, поощряющей возможность совершения займа. Пресса выражала в сущности тот сумбур, который овладел умами большинства мыслящей России, при чем одни выражали этот сумбур искренно, а другие лицемерно. Конечно, пальма первенства в лицемерии принадлежала «Новому Времени». До 17 октября оно первое пером своего основателя талантливейшего публициста-фельетониста А. С. Суворина с радостью провозгласило предстоящую «весну»: «Весна идет».

Она действительно пришла 17 октября. Но эта мелкая лавочка не предполагала или упустила, что часто весна приходит вместе с бурями. Она перепугалась бури и потеряла равновесие. С одной стороны, «Новое Время» все требовало, чтобы я скорее созвал Думу, думая, что там найдется счастливый покой. Конечно, публицисты «Нового Времени» не ожидали первую Думу с господами Аладьиными и проч. С другой,—они не знали, как им быть с г. г. Носарями, Бурцевым и прочими революционерами всех оттенков до анархистов включительно.

Я уже рассказывал, что эта русская пресса опубликовала воззвание революционеров, чтобы публика забирала золото из банка и казначейств и не вносила такового в казну и банк, дабы принудить правительство прекратить размен и объявить

государственную финансовую несостоятельность и, если этот хитрец старик Суворин не напечатал это воззвание, то только потому, что я его в два часа ночи вызвал к телефону и предупредил, что если воззвание будет напечатано, то я закрою газету «Новое Время». Но это воззвание было напечатано в большинстве газет.

Таким образом, наша пресса нисколько не способствовала совершению займа посредством успокоения заграничной публики. Это было на руку большинству заграницею, относившемуся с некоторым злорадством к тяжелому положению, в котором очутилась Россия. Вот, например, что доносил мне 8 января 1906 года (нового стиля) из Парижа наш финансовый агент Рафалович: «Les difficultés de la situation se manifestent très nettement dans l'attitude de la presse financière et économique. Alors que M-r Paul Leroy Beaulieu (знаменитый финансовый деятель) — avec l'autorité, que lui donne sa compétence toute spéciale,cherche à rassurer et à éclairer le public et que M-r Kergell (редактор почтенного финансового журнала — «Revue Economique») s'efforce d'agir dans le même sens, il y a d'autres publications hebdomadaires qui se livrent à toutes les démonstrations q u' i n s p i r e l a h a i n e a u t o u r d' u n c a d a v r e d' u n e n n e m i».

«L'Economiste anglais dont l'animosité est chronique parle de l'effochement de l'étalon d'or en Russie. Mal renseigné il annonce que la Russie est forcée de recevoir au cours forcé et a l'émission du papier monnaie non couvert. D'autres journaux racontent qu'une partie des ressources en or auraient été absorbées par des achats de fonds russes à l'étranger pour soutenir les cours». «La Russie est réduite à faire des billets escomptables». C'est le cris de guerre des ennemis du crédit de la Russie».

Уже в ноябре месяце 1905 года положение денежного обращения стало весьма критическим, и я счел нужным держать в курсе дела комитет финансов. Комитет финансов с моего согласия поручил это своим членам: В. Н. Коковцову, бывшему министру финансов до 17 октября и оставившему этот пост по недоразумению без моего на то желания, и Шванебаху, бывшему до 17 октября министром земледелия и оставившему этот пост по моему желанию. Оба члена финансового комитета с министром финансов И. П. Шиповым следили за ходом операций с золотом и вообще операций государственного банка, но, конечно, ничего для улучшения дела предложить не могли.

Так как положение все ухудшалось, то я предложил Коковцову, так как видел, что он желал бы поехать заграницу, съездить в Париж попробовать сделать заем, хотя знал, что до разрешения марокккского вопроса заем невозможен. Посвящать членов

финансового комитета в политическое положение дела я не считал возможным, а так как некоторые из них выражали мнение, что заграничный заем может быть возможен, то я и предложил Коковцову съездить заграницу, снабдив его надлежащими полномочиями.

Он был в Париже в 20 числах декабря 1905 года, переговорил с Рувье, но ему был дан известный мне заранее ответ, что до улажения Марокккского дела заем сделать нельзя. Коковцов пожелал в Париже явиться к президенту Лубэ и просил на это разрешения. Разрешение по моему представлению было дано.

Согласно моему разрешению Коковцову удалось только получить 100 миллионов рублей авансом в счет будущего займа от банкиров, с которыми я вел переговоры о займе. Эти 100 милл. не могли оказать никакой помощи, так как в Берлине скоро наступал срок краткосрочным обязательствам, выпущенным еще до 17 октября Коковцовым; поэтому я просил его при обратном пути остановиться в Берлине с тем, чтобы постараться отсрочить эти обязательства на несколько месяцев, что им и было сделано; при этом случае он являлся к Вильгельму. Ему удалось отсрочить, что, впрочем, было не трудно, так как германское правительство еще находилось в недоумении относительно моего образа действий по отношению внешней политики.

Ранее я имел случай рассказать, каким образом в Биорках в 1905 году, как раз когда я, едучи в Америку переговаривать с японцами, остановился в Париже, Вильгельм сумел подвести нашего государя и формально заключить за обоюдоподписанием и скрепою бывших с ними высших сановников невозможный договор, ставивший царя и Россию в самое непристойное положение относительно Франции и имевший целью охранить Германию русскою кровью от нападения как Франции, так и преимущественно Англии, и как мне удалось аннулировать этот договор, но оставляя все-таки в перспективе желательность заключения такого договора, который бы объединил Россию, Германию и Францию в единое целое, держащее в руках судьбы, если не мира, то Европы. Это всегда была моя мысль и мой план, который так и не осуществился по недостатку прозорливости как нашей, так преимущественно Вильгельма. После аннулирования биоркского договора германское правительство, вероятно, охотно бы отказалось от Алжезираса и приняло бы тот путь, которого оно держалось в Париже, когда я возвращался из Америки, т.-е. путь давления на Францию, дабы она приняла все условия Берлина, которые в результате водворили бы в Марокко такое же влияние немцев, как и французов.

От такого положения дальнейший шаг был бы водворение в Марокко преимущественного влияния немцев. После моего пребывания в Роминтене Вильгельм уже согласился на конференцию, а уклониться от нее для Германии было невозможно. Алжезирасская конференция уже была факт. Тогда началась игра в Алжезирасе. Наш интерес заключался в том, чтобы как можно скорее на этой конференции кончился Мароккский вопрос и чтобы мы могли совершить заем, ставивший правительство государя на твердую почву, хотя бы в денежном отношении.

Лично мне этот вопрос был особенно важен: я создал в 1896 году золотую валюту и установил правильное денежное обращение, и мне, создателю этого российского блага, было вдвойне больно быть во главе власти при провале золотого денежного обращения, хотя провале не по моей вине, а с одной стороны, вследствие безумной войны, из-за которой еще до ее начала я покинул пост министра финансов, а с другой—по недостаточной прозорливости бывшего министра финансов во время войны Коковцова, который, боясь во время войны сделать большой заем по сравнительно низкому курсу, все ждал скорого окончания войны, надеясь, что тогда заем будет более выгоден. Он не предвидел смуты после войны, которая расстроила этот план. Впрочем, должен сказать, что не он один, а почти все государственные деятели смуты не предвидели.

Франция желала не без основания, чтобы были приняты в Алжезирасе такие условия, при которых она сохранила бы в Марокко главенство, и рассчитывала в этом отношении на поддержку Англии и особливо нашу поддержку, не только как союзницы, но, кроме того, зная, что нам деньги нужны и нужны скоро. Сделать же большой заем до окончания Алжезираса и окончания благополучного было нельзя, потому что французское правительство не разрешит этот заем и еще потому, что до улажения мароккского вопроса общее политическое положение было столь неопределенно, что не представляло удобного момента для сколько бы то ни было большой операции на европейских рынках.

Германия же старалась возможно долее затянуть конференцию, во-первых, руководствуясь обыденным в этих случаях правилом, особенно излюбленным германскою дипломатиею: что чем больше торгуешься, тем больше выторгуешь, а затем, чтобы поставить правительство царя в возможно более затруднительное положение, надеясь, что этим путем мы с ними будем более кулантны; во-вторых же, чтобы отомстить мне за уничтожение удивительного биоркского договора.

Вильгельм не мог простить мне и графу Ламсдорфу, что мы уничтожили биоркское соглашение, т.-е. прорвали капкан,

сплетенный им, и высвободили из него Николая II. В первые месяцы моего премьерства, так приблизительно до первого января 1906 года, Вильгельм еще не знал, как относительно меня держаться, милостиво или же отвернуться, но по мере того, как мое влияние падало, ко мне и в Берлине начали относиться холодно, а в конце концов, когда увидали, что я у императора Николая II подкошен и недолговечен, то начали относиться прямо враждебно, и я думаю, что Вильгельм немало влиял на Николая в смысле критическом к моим действиям. Недружелюбное отношение ко мне Вильгельма усилилось ходом дел на Алжезирасской конференции, где представителем нашим был наш посол в Испании Кассини.

Германский император желал, чтобы на этой конференции, на которую он согласился по моему ходатайству, мы поддерживали его представителей, а не представителей французской республики. Я с своей стороны желал, чтобы были приняты во внимание желания Германии, но должен был поддерживать интересы Франции в тех случаях, когда я видел, что в данном вопросе Франция не уступит.

Таким образом стараясь действовать на обе стороны умеряюще, в тех случаях, когда нельзя было достигнуть соглашения, приходилось подавать голос с французами (на конференции этой в случае разногласия вопрос решался большинством голосов держав, в конференции участвующих). Между тем, нам было необходимо, чтобы конференция эта кончилась скорее, так как тогда я мог совершить заем, необходимый для уплаты военных расходов и приведения финансов, пошатнувшихся от войны, в порядок. Вероятно, Рувье это понимал, а потому представители Франции на конференции являлись неуступчивыми, а так как за Францию в большинстве случаев подавали голоса большинство держав и таким образом решалось большинство вопросов в пользу Франции, то представители Германии с своей стороны всячески замедляли решение вопросов.

Между тем наступил январь, и я счел нужным войти в более детальное обсуждение условий займа, о котором я принципиально вел разговоры с Рувье и Нейцлиным еще со времени проезда моего через Париж. Ехать для сего заграницу я не мог, доверить дело министру финансов И. П. Шипову по его неопытности в таких больших делах я тоже не мог; после неудачной поездки Коковцова заграницу в декабре я также не решался сделать вторично ту же пробу. Для переговоров мне нужно было войти в соглашение с главою французского синдиката Нейцлиным, а приезд его в Россию огласился бы, это могло повредить ходу дела в Алжезирасе, и, кроме того, как только биржа узнала бы о его приезде,

*

пошла бы спекулятивная игра на повышение, а вернее на понижение русских фондов, которые вследствие войны и смуты и без того понизились более, нежели на 20% со времени оставления мною поста министра финансов перед войною.

В виду всего этого я просил Нейцлина приехать инкогнито ко мне и, чтобы приезд его не был обнаружен в Петербурге, я просил великого князя Владимира Александровича разрешить этому иностранцу остановиться в запасном доме при его дворце в Царском Селе. Его высочество на это любезно согласился. Конечно, во все это был посвящен государь император.

Нейцлин приехал 2 февраля и пробыл в Царском 5 дней. В течение этого времени я виделся с ним несколько раз и в присутствии министра финансов Шипова я установил с ним условия займа. Прежде всего Нейцлин высказал пожелание, чтобы заем был осуществлен лишь после созыва Думы. На это я решительно не согласился, выяснив ему, что если отложить дело до Думы, то затем в виду первого опыта народного представительства я убежден в том, что дело крайне замедлится, а необходимо этим делом спешить. Кроме того, на почве этого займа возбудится в Думе вопрос о бывшей войне и многие другие крупные политические вопросы, непосредственно с займом не связанные, а между тем способные совершенно сбить с толку заграничную публику.

Поэтому было принято первоначальное решение, чтобы совершить заем немедленно, как только из работ в Алжезирасе будет ясно, что марокккский вопрос улажен. Затем было решено, что заем должен быть сделан в возможно большем размере, дабы затем не прибегать возможно дольше к займовым операциям и погасить временные займы, заключенные во Франции (Коковцовым) и Германии. Я настаивал на цифре 2.750.000.000 франков номинальных, в действительности же заем был совершен в цифре 2.250.000.000 франков — 843.750.000 рублей вследствие коварства Германии и Моргана. Заем должен был обойтись России не дороже как в 6%. Нейцлин все время в Царском и после добивался $6^1/_4$%, я на это не согласился. Заем не может быть конвертирован ранее 10 лет. Синдикат должен был быть составлен из французских домов и банков голландских, английских, германских, американских и русских. Австрийские дома также могли принять участие в займе. Деньги, реализованные от займа, должны были быть оставлены у участников займа из $1^1/_4$% и затем передаваемы правительству в определенной постепенности в течение не менее года. Не менее половины займа синдикат должен был взять на свой счет твердо (ferme). Затем были условлены более второстепенные детали. Перед выездом Нейцлин спросил меня, не считаю ли я удобным, чтобы он виделся с В. Н. Коковцовым, который о приезде Нейцлина не знал, так

как он—Коковцов—может обидеться. Я, конечно, сказал, что решительно не имею никаких препятствий, и передал В. Н. Коковцову о том, что Нейцлин здесь. Они раз виделись. Нейцлин вернулся к себе, виделся с участниками группы, в общих чертах все было установлено так, как было условлено со мною, при чем по всем вопросам я продолжал давать указания Нейцлину, и он обращался от имени синдиката ко мне вплоть до самого заключения займа. Заем же не мог осуществиться так быстро, как я желал, вследствие затруднений, делаемых в Алжезирасе Германией. Я частным образом советовал Рувье, дабы они в мелочах были более уступчивы, но на самой конференции нашему представителю, послу в Испании, графу Кассини, была выдана инструкция давать голос за Францию, хотя стараться, чтобы вопросы решались миролюбиво. Это вследствие задора Германии не удавалось.

В конце концов, как это было условлено при созыве конференции, вопросы решались большинством голосов представителей великих держав, а в большинстве случаев большинство получала Франция; Россия и Англия всегда подавали голос с французами. Насколько же притязания Германии были тенденциозны, видно из того, что даже представители ее союзниц—Австрии и Италии—по некоторым вопросам подавали голоса против Германии за Францию.

Такое положение дела еще 10 февраля вынудило меня в докладе о положении переговоров по займу, между прочим, всеподданнейше представлять его величеству:

«Соображая положение дела—все мои разговоры в Роминтене (с императором Вильгельмом) и ход дела по желанию сближения России, Германии и Франции, я не могу отделаться от некоторых, вероятно неосновательных, сомнений относительно образа действий германского правительства.

Несомненно, что с точки зрения эгоистической политики, для Германии ныне представлялся такой случай надавить на Францию, который редко представлялся и, вероятно, долго не представится. Россия теперь бессильна оказать сколько-нибудь существенную вооруженную помощь Франции. Австрия и Италия мешать Германии не будут. Англия оказать сухопутную помощь Франции не может, а Германия, конечно, может помять Францию. Следовательно, с эгоистической точки зрения большой соблазн. Но если даже не доводить дела до войны, то соблазнительно, с одной стороны, помешать одному соседу (России) быстро оправиться от войны, для чего прежде всего нужны деньги, а с другой стороны, показать Франции, что, мол, она должна искать поддержку не от ее союзницы России, а от сближения с немцами.

Поэтому невольно рождается сомнение, не хитрит ли германская политика, выбрав объектом политических махинаций в сущности не имеющий для нее интереса марокккский вопрос. По крайней мере сколько ни приходится замечать, Германия всегда только на словах очень любезна и предупредительна».

Почти одновременно, по моему настоянию, министр иностранных дел граф Ламсдорф дал нашему послу графу Остен-Сакену такую телеграмму:

«Франция дошла до крайних пределов уступчивости, согласившись (на конференции) принять почти все пункты последних предложений берлинского кабинета. Справедливость требует признать, что ныне подлежало бы Германии явить доказательство своего миролюбия, о котором по поводу марокккских дел неоднократно заявляли как сам император, так и князь Бюлов.

Между тем Германия, не видя в проектированных Францией изменениях статей о полиции достаточных гарантий сохранения в последней международного характера, отклонила таковые (в Алжезирасе) в надежде, что Франция найдет иной выход из затруднений. Было бы крайне прискорбно, если бы из-за сравнительно ничтожного вопроса полиции, по которому решительно все державы держатся тождественного мнения, конференция в Алжезирасе вынуждена была прервать свои занятия.

Мы отказываемся верить, чтобы император Вильгельм, с твердым убеждением высказавшийся перед нашим августейшим монархом за необходимость, в интересах всего человечества, сохранения мира, а также сближения, при посредстве России, между Германией и Францией, решился вызвать разрыв конференции и таким образом не только отказаться от намеченной политической программы, но и, вместе с тем, посеять среди европейских держав тревогу, которая по многосложным последствиям не менее пагубна, чем открытая война. Германскому правительству также хорошо известно, что с благополучным окончанием Алжезирасской конференции тесно связан вопрос о чрезвычайно важных для России денежных операциях; только с осуществлением последних императорское правительство в состоянии будет принять все необходимые меры к окончательному искоренению революционного движения, имевшего уже отголосок в соседних монархических государствах, которыми признано было необходимым действовать сообща против надвигающейся опасности со стороны анархических международных обществ.

Вопреки распространяемому мнению, будто препятствием к заключению Россией займа служит еврейская агитация, мы имеем положительные данные о том, что лишь полная неизвестность исхода Алжезирасской конференции побуждает французских банкиров воздерживаться от всяких финансовых сделок. Если бы император Вильгельм или канцлер коснулся в беседе с вами

Марокккских дел, вы можете вполне откровенно высказаться в смысле настоящей телеграммы».

Ссылка в этой телеграмме на евреев основана на том, что государь император передал мне и графу Ламсдорфу, что Вильгельм ему писал, что мне заем не удается не от того, что дело не клеится в Алжезирасе, а потому что все еврейские денежные короли не желают принимать участия в операции.

Тогда же я телеграфировал нашему агенту в Париже Рафаловичу:

«Berlin essaye avec insistance de suggérer que conférence Algésiras n'a absolument aucun rapport avec la possibilité de conclure un emprunt que ce sont les juifs qui entrevoient et entreverront l'emprunt et que la conférence quand et de quelle manière elle se termine ne changera en rien la situation. Il est très désirable que Vous parliez à ce sujet avec Rouvier et que je puisse soumettre l'opinion de Rouvier à qui de droit».

На эту телеграмму я получил от Рафаловича следующий ответ, который и был представлен его величеству:

«Rouvier a répondu—«Berlin voit les choses d'un point de vue faux, car ce sont pas les israélites mais tous les gens, dont l'opinion a autorité, estiment opération impossible avant que l'horizon politique éclaire, avant qu'intervienne solution à conférence montrant paix européenne garantie». J'ajoute: les journaux donnent impression pessimiste. Je suis d'avis que l'Empereur Allemand tient clef de notre opération».

Иначе говоря, германский император знает, что нам нужны деньги, что правительству нужно сделать большой заем, и, не желая этого, делает затруднение в Алжезирасе. В ответ на телеграмму графа Ламсдорфа наш посол 9-го февраля телеграфировал, что канцлер Бюлов передал ему, что заем не может быть совершен не от Алжезирасской конференции, а вследствие революционного движения в России, затем, что касается конференции, то высказал о необходимости нашего влияния на Францию, чтобы она на конференции была уступчивее.

Вследствие сего также 9-го февраля граф Ламсдорф, между прочим, телеграфировал нашему послу: «Все сказанное вам князем Бюловым производит странное впечатление, будто внимание его, главным образом, обращено было на наш заем и внутренние дела России. Оба вопроса, конечно, стоят в связи с тем или иным исходом Алжезирасской конференции, при чем, казалось бы, революционное движение в России не менее затрагивает и интересы Германии, как монархической державы. В объяснениях с канцлером необходимо на первый план выставлять почти полное пренебрежение берлинского кабинета к тем усилиям, которые проявляли французские делегаты, чтобы достигнуть соглашения.

«Нетерпимость именно Германии, а вовсе не Франции лишний раз обнаружилась в доводах, представленных вам канцлером, который упускает из виду все уступки, сделанные парижским кабинетом...».

«В виду изложенного нам представляется едва ли возможным произвести какое-либо влияние на Францию, уже явившую бесспорные доказательства уступчивости...»

«Если таким образом последует разрыв конференции, то в среде всех держав, несомненно, утвердится убеждение, что неуспех соглашения в Алжезирасе является исключительно следствием агрессивных замыслов Германии».

Но Германия все продолжала делать затруднения. Это вынудило меня обратиться к императору Вильгельму с ведома моего государя. Я ранее рассказывал, что, будучи в Ромингене у германского императора, он на прощание сказал мне, что, если мне что-либо будет нужно, то чтобы я к нему обращался через князя Эйленбурга, бывшего в Ромингене с нами, сказав, что я могу быть уверенным, что то, что я ему напишу, будет все им, императором, прочитано, а то, что мне напишет Эйленбург, это равносильно тому, что если бы он сам мне написал. Судя по тем более нежели интимным отношениям между императором и князем Эйленбургом, свидетелем которых я был в Ромингене, я не мог, конечно, сомневаться, что путь через князя Эйленбурга наиболее прямой и конфиденциальный.

У меня нет под руками этой переписки, которая хранится между прочими документами в моем архиве. В письме к князю Эйленбургу я просил его передать императору Вильгельму, что я его очень прошу соблаговолить повелеть скорее окончить благополучно так долго тянувшуюся конференцию в Алжезирасе, что весь Марокккский вопрос по существу для Германии не имеет существенного значения и, напротив, важен для Франции, что в виду той политики, которая была принципиально решена в Биорках и о которой мы так долго говорили в Ромингене—сближение до степени союза России, Германии и Франции, именно Марокккский вопрос, представляет хороший случай Германии выказать свою кулантность и германскому императору свое великодушие по отношению Франции, а между тем для России крайне важно скорейшее улажение марокккского дела и благополучное окончание Алжезирасской конференции по известным денежным причинам. Письмо это было мною послано особым нарочным, который скоро привез мне ответ, что император ознакомился с моим письмом, что император не может без ущерба для престижа Германии отступить от некоторых условий, и затем обыкновенный совет действовать на Францию, чтобы она была уступчивее.

Изложенный образ действий Германии, конечно, меня весьма возмущал, а потому я как-то раз, когда ко мне обратился германский посол по какому-то делу, ему это дал понять. Результатом моего разговора с ним была его телеграмма канцлеру 20 февраля, которая, как и ответная телеграмма канцлера, попали мне в руки, что их авторами не предполагалось. Посол телеграфировал канцлеру:

«Граф Витте при сегодняшней встрече начал со мною разговор о марокккском вопросе и привел те же аргументы, что и граф Ламсдорф; он подчеркнул только откровеннее и с большим ударением весьма затруднительное положение России при продолжении напряжения (чего немцы желали), а также вытекающую отсюда сдержанность банкиров.

Принимая во внимание великие планы и миролюбивые намерения, о которых его императорское величество изволил высказывать в Роминтене, он выразил свое удивление по поводу того, что мы в марокккском вопросе столь мало придаем значения французским уступкам, выразившимся в пожертвовании Делькассе и в предупредительных предложениях Франции. Я возразил, что падение Делькассе представляет событие внутренней политики... Политика его императорского величества направлена, как и ранее, к миру, согласию и доверию. Однако, из этого не следует, чтобы мы пожертвовали твердо обоснованными правами и интересами, которым угрожают другие. Неудача конференции с ее неисчислимыми последствиями будет избегнута, если Франция согласится на находящиеся предложения, которые в достаточной степени будут сообразоваться с международным правом».

На это князь Бюлов отвечал послу 21 февраля: «Граф Витте в беседе с вашим превосходительством подчеркнул, что мы по марокккскому вопросу слишком мало придаем значения французским уступкам, выразившимся в пожертвовании Делькассе...» «Пожертвование Делькассе было актом внутренней французской политики, что было тогда же точно высказано Рувье. Если Франция ныне утверждает, что Делькассе был принесен в жертву ради Германии, то соображение это соответствует известным событиям в 1870 году, когда Франция считала, что удалением Оливье она устранила всякую причину к войне и сняла с себя всякую вину...» «Желаемое Францией исключительное положение в данном вопросе обозначало бы поражение Германии. Если граф Витте указывает на русские интересы, которые могли бы пострадать, то было бы настоятельно целесообразнее, чтобы он пытался побудить французское правительство отказаться от интриг, приняв более соответственный образ действия».

Через несколько дней после сего, а именно 23 февраля, пал кабинет Рувье на вопросах внутренней политики. Был сформирован новый кабинет с Сарриен во главе (насколько помню), пост министра финансов занял Пуанкарэ (которого лично я не знал), а пост министра иностранных дел в этом кабинете занял Буржуа. Как раз в это время возбудилась полемика между газетою «Temps» и немецкими газетами по поводу одной статьи «Temps», касающейся инструкции, нами данной Кассини.

Я просил графа Ламсдорфа объяснить мне, в чем дело, и вот что граф Ламсдорф ответил мне 11-го марта:

«Инцидент исчерпан. Я объяснился с Шеном и телеграфировал Остен-Сакену. В сущности немцы кругом виноваты; они с некоторых пор лгут постоянно и им, конечно, очень неприятно, когда их неблаговидные проделки обнаруживаются. На прошлой неделе германское правительство распространило слух, будто бы английский посол в Алжезирасе поддерживает его притязания. Лондонский кабинет официально опровергнул это известие.

Тому назад несколько дней Бомпар (французский посол) явился ко мне по поручению Фальера (президента республики) и Буржуа с просьбою рассеять странное впечатление, произведенное во Франции пущенным в ход (Германией) слухом о том, что нашему уполномоченному в Алжезирасе предписано поддерживать требование германского правительства относительно порта Казабианка.

Я протелеграфировал тотчас же графу Кассини, что, поддерживая нашу союзницу Францию в справедливых ее домогательствах, мы не можем вдаваться в частности и преследуем постоянно одну цель—умиротворение и изыскание почвы для соглашения, вполне достойного обеих дружественных держав (Франции и Германии). Содержание телеграммы моей Кассини было сообщено графу Остен-Сакену (послу в Берлине) и Нелидову (послу в Париже). Нелидов в беседе с одним из сотрудников газеты «Temps» имел неосторожность упомянуть об инструкции, посланной Кассини, что дало повод помещению этой инструкции в совершенно искаженном виде на другой же день в «Temps».

Конечно, первоначальный пущенный слух, будто бы мы дали инструкцию Кассини поддерживать притязания Германии относительно Казабианка, а затем помещение инструкции графа Ламсдорфа в «Temps» в искаженном виде, неблагоприятном для Германии, дало повод, с одной стороны, к недоумению французов, а с другой, — немцев, что, конечно, не могло способствовать ускорению дел в Алжезирасе».

Граф Ламсдорф далее пишет мне в письме: «Графу Сакену было поручено сообщить Бюлову подлинный текст пресловутой телеграммы, который я вчера сам прочел Шену. Сегодня появится

опровержение статьи «Temps». После этого немцам будет решительно не к чему придраться, с чем должен был согласиться германский посол, но, конечно, в Берлине очень неприятно, что все выдумки и некрасивые проделки Бюлова обнаруживаются и не достигают цели всех перессорить в пользу Германии».

По тому же предмету тогда мне писал наш агент министерства финансов в Париже Рафалович: «Je ne saurais assez déplorer la polémique engagée avec les journaux allemands par le «Temps». L'auteur de ces articles est un ancien jeune diplomate (Tardieu). C'est lui, qui a obligé le Comte Lamsdorf de remettre les choses au point juste. Notre excellent ambassadeur M. Nélidoff a été victime de la maladresse de Tardieu, qui a accentué sous sa propre responsabilité dans un sens anti-allemand une communication reçue de Grenelle (улица, где находится наше посольство)».

«Il faut faire écrire par les journalistes ce qu'on veut qu'ils publient, le relire et ne pas se fier à leur mémoire. M. Nélidoff en a fait l'expérience à ses dépens. Ma conclusion est qu'il faut être très allié et très ami de la France, mais que cela ne comporte en aucune façon la necessité de se brouiller avec personne ni de froisser l'Allemagne».

Я дал это письмо прочесть графу Ламсдорфу, который, возвращая его мне, между прочим, писал: «Нелидов действительно проявил странное легкомыслие, но немцы бессовестно раздули этот инцидент».

С своей стороны скажу, что Нелидов часто проявлял странное легкомыслие еще в более серьезных делах. В последние годы своего пребывания послом в Турции чуть не ввел нас в авантюру захвата Босфора [1]), а затем, конечно, в европейскую войну, и мне с трудом удалось устранить эту затею, затем, будучи переведен послом в Рим в 1904 году, по поводу предполагавшейся отдачи нашим императором визита итальянскому королю, напутал так, что король просил убрать его из Рима, когда же затем в 1905 году явилась мысль послать его в Америку вести с японцами переговоры о мире, вдруг с испугу заболел и проч....., но это все между прочим.

Как только образовалось министерство Сарриена вместо министерства Рувье, я дал инструкцию Рафаловичу явиться к министру финансов Пуанкарэ и доложить ему весь ход дела о займе. То же должен был сделать и представитель синдиката банкиров Нейцлин, с которым я все время находился в непрерывных телеграфных сношениях как по поводу проведения, так

[1]) См. т. I, гл. VI.

и условий займа, в существенных частях условленных уже в Царском Селе.

В начале марта Рафалович видел сначала M. Henry, директора коммерческого и консульского отдела министерства иностранных дел (человека, очень близкого министру Буржуа), а затем и нового министра финансов Пуанкарэ, которым в подробности объяснил все дело о займе, при чем высказал, что я считаю, что между мною и Рувье состоялось соглашение, по которому я должен оказать всякое содействие к урегулированию Марокканского вопроса, а когда Алжезирас кончится благополучно, то французское правительство должно оказать нам всякое содействие к совершению займа, все основания которого уже условлены мною с Нейцлиным.

Новое министерство и специально министр финансов Пуанкарэ отнеслись к делу сочувственно, но употребили некоторое время на изучение дела. Рувье им передал с своей стороны весь ход этого дела. Дело же все-таки ожидало окончания Алжеризасской конференции, а эта конференция, по причинам, достаточно выясненным предыдущим изложением, тянулась вместо недели месяцы. Германия делала все от нее зависящее, чтобы затянуть дело, прижать Францию, и поставить императорское правительство в трудное положение, но так как всему есть конец, то и конференции наступил конец; державы, участвовавшие в конференции, все более становились на сторону Франции, видя преднамеренное упорство Германии. Германия не решалась пойти против конференции, и потому она, рассмотрев все вопросы, должна была кончиться. Уже 16 марта граф Ламсдорф мне написал: «Из весьма секретного источника (сообщения канцлера послу Шену) явствует, что князь Бюлов считает дело в Алжезирасе благополучно оконченным и стремится только уверить ныне Германию, что им достигнуто все то, что она могла желать».

12 же марта Нейцлин, между прочим, писал мне о своих предположениях относительно дальнейших сроков ведения этого дела и оговаривался, что при условии благополучного окончания Алжезираса наш представитель должен будет приехать в Париж около 10 апреля (н. ст.) (для чего?) «pour achever la rédaction et conclure avec le syndicat le contrat».

В этом же письме как и в других сообщениях он мне указывал, что Пуанкарэ возбуждает постоянно вопрос о праве императорского правительства без Государственной Думы заключить заем. Я ответил, что по этому вопросу, когда наступит момент заключения займа, представлю доказательства такого права. С этою целью я просил профессора международного права Мартенса (члена совета министерства иностранных дел) составить

надлежащее разъяснение. Обратился я к Мартенсу потому, что он заграницею считался большим авторитетом в подобных вопросах. Мартенс составил на французском языке надлежащую записку, в которой выяснялось право правительства на совершение такой операции. Записка эта была мною передана нашему уполномоченному для подписания контракта займа. Тогда же я дал все указания Нейцлина Рафаловичу относительно сношений с прессою по приготовлению к займу. Так как в то время было уже ясно, что Алжезирасская конференция благополучно кончается, то я доложил государю императору, что это дело можно считать конченным и что для окончания некоторых второстепенных вопросов, связанных с каждым займом, а также подписания контракта нужно назначить уполномоченного, который поехал бы в Париж, так как в данном случае заем международный и приезжать уполномоченным от банкиров различных стран, принимающих участие в займе, неудобно.

Его величество меня спросил, кого я полагаю назначить?

Я ответил, что министр финансов, вследствие серьезности положения дела здесь, ехать не может, и что, так как в сущности все сделано и условлено мною, а остается мелочь, так называемая финансовая кухня, то можно послать хотя бы управляющего государственным банком Тимашева (нынешний министр торговли). На это государь мне сказал, что если мне все равно, то чтобы я послал Коковцова, чтобы его не обижать. Я ответил, что мне безразлично кого послать, так как в сущности дело кончено.

Со дня возвращения Коковцова из Парижа, в декабре 1905 года, я более с ним речи о займе не вел и во всех переговорах он не принимал решительно никакого участия.

Около 20-го марта Нейцлин уехал в Лондон, чтобы встретиться там с представителями лондонских фирм (Ревельстоком), берлинских (Фишелем, участником дома Мендельсона) и Морганом (Америка).

22-го марта Нейцлин мне телеграфировал о переговорах с Ревельстоком, Фишелем и Морганом, при чем в телеграмме было сказано, что Фишель ожидает окончательного разрешения германского правительства завтра, а что Морган уже не так благосклонно относится к займу, как прежде. А с Морганом (отцом) я условился о займе еще в Америке, и он мне обещал принять участие в синдикате.

23-го марта Нейцлин мне телеграфировал из Лондона, что ему Фишель сейчас сообщил, что он получил указание, что германское правительство не разрешает Германии принять участие в займе.

Итак, Германия сначала тянула Алжезирас в расчете, что мы вследствие замедления в займе должны будем спустить флаг свободного обмена кредитных билетов на золото. Это ей не удалось. Тогда в последний момент перед займом коварно приказала своим банкирам не принимать участия в займе.

Ранее же Вильгельм все уверял государя императора, что мне не удастся совершить заем, потому что еврейские дома не примут в нем участия, на что я между прочим отвечал, что еврейские дома не примут официального участия в синдикате займа, но, конечно, будут охотно подписываться на заем в качестве частных лиц, если заем этот будет для них выгоден.

Само собою разумеется, что Германии было бы очень выгодно, чтобы Россия прекратила обмен кредитных билетов на золото и была в зависимости от биржевой игры в Берлине, как это долго было, покуда я не ввел золотую валюту.

Вслед за Германией от участия в займе отказался и Морган, к которому лично весьма благоволил Вильгельм и который всегда, несмотря на демократизм американца, очень дорожил вниманием столь высокой коронованной особы. Но и этот коварный шаг Германии не удался.

На сообщение Нейцлина я ему 24-го марта отвечал:

«Je vous ai prévenu des dispositions en Allemagne. On y attendait un prétexte pour faire difficultés. N'ayant pas trouvé d'autres prétextes ils ont décidé émettre emprunt ce qui n'était pas du tout urgent. Au fond c'est une vengeance pour Algésiras et pour approchement avec l'Angleterre. Dans pareilles circonstances non seulement il n'y a pas de raison pour que les autres pays diminuent leurs parts, mais au contraire il serait logique de les augmenter. De même il n'y a pas de raison pour remettre l'affaire, il faudrait plutôt l'accélèrer».

Давая эту телеграмму, я был уверен, что все-таки германский рынок, в особенности в лице самого важного германского банкирского дома Мендельсона, с главою которого Эрнестом я был в самых прекрасных отношениях, имея в виду, что этот дом уже около ста лет был верен финансовым интересам России, примет участие в займе, хотя берлинские дома и не будут в синдикате. В ночь с 23-го на 24-ое марта я также дал Рафаловичу такую телеграмму:

«Le gouvernement allemand pour venger Algésiras et craignant que l'emprunt nous réunira avec la France encore davantage et posera le commencement du rapprochement avec Angleterre au dernier moment ne donna pas aux banquiers l'autorisation d'entrer dans le syndicat international. Pour trouver un prétexte plausible de cet acte hostile le gouvernement allemand émet d'une manière

inattendue emprunt. Il y a deux semaines encore quand Mendelsohn était venu à St.-Pétersbourg ayant des instructions de son gouvernement (он приезжал для того, чтобы переговорить со мною по некоторым вопросам, касающимся предстоящего займа); il ne s'agissait pas de refus. La décision était prise par le gouvernement allemand tout à fait inopinément pour déranger l'affaire et démontrer: Vous avez un temps soutenu la France, maintenant Vous verrez que Vous avez fait une faute. Renseignez les journaux français d'un ton conforme toute cette machination».

Отказ немцев и американцев от участия в займе не повлиял на англичан. Напротив того, Нейцлин сейчас же после отказа Фишеля телеграфировал мне, что отказ немцев и американцев не произвел впечатления на Ревельстока. Вообще Алжезирас был после многих и многих десятков лет первым проявлением сближения России с Англией. Как Россия, так и Англия твердо поддерживали там Францию и таким образом являли всему свету полную солидарность.

Австрийские дома также, несмотря на отказ Германии, не отказались от своего ранее принятого решения участвовать в займе. Италия от участия в займе отказалась, но по чисто финансовым соображениям. Эта страна недавно только установила размен. Итальянский король, будучи несколько лет ранее этого времени в России, подарил мне итальянский золотой, сказав при этом любезность, что он привез этот первый золотой, вычеканенный на итальянском монетном дворе, дабы подарить его создателю золотого обращения в великой Российской империи.

Вообще можно сказать, что Германия вела не умную политику в Алжезирасе. Вместо того, чтобы воспользоваться этой конференцией для проложения первого этапа к действительному сближению с Францией и стремлению к союзу России, Германии и Франции, который должен был увенчаться союзом континентальной Европы, о чем именно и была речь и, повидимому, было условлено императором Вильгельмом со мною в Роминтене, конференция эта послужила мотивом к сближению России с Англией.

Я до сих пор не могу себе представить, что это случилось по недальновидности германской политики, я склонен думать, что выходящая из ряда вон любезность, проявленная по отношению меня Вильгельмом в Роминтене, и разговоры со мною об осуществлении моей заветной идеи континентального союза посредством союза России, Франции и Германии были только шаги, чтобы очаровать меня, зная, что, когда я через несколько дней вернусь в Петербург, от меня во многом будет зависеть привести в исполнение пресловутый и поразительный договор,

подписанный обоими императорами в Биорках, когда я проездом в Америку был в Париже.

Когда Вильгельм увидал, что с моим приездом договор этот был аннулирован, германская дипломатия была озадачена, но думала, что я еще одумаюсь, а когда увидала, что, с одной стороны, я поставлен в крайнее затруднение грозящим расстройством имперских финансов, а с другой, — что мы поддерживаем на конференции Францию, то дипломатия эта вздумала отомстить мне, как руководителю императорского правительства, вынудив Россию прекратить размен и, между прочим, подушить исконного неприятеля—Францию. После приема, который оказал мне Вильгельм в Роминтене, приема самого фамильярного и не как обыкновенного смертного, а лица, украшенного особыми дарами, несмотря на разочарование его, происшедшее вследствие аннулирования биоркского договора по приезде моем в Петербург, Вильгельм еще не решался отвернуться от меня и 1-го января поздравил меня, прислав с собственноручною надписью открытку, изображающую один из моментов свиданий императоров в Биорках, что должно было как бы напомнить мне, что все-таки, хотя и в другом виде, мысли, проводимые в Биорках и потом в Роминтене, нужно реализировать.

Вильгельм в этом отношении не ошибался, я действительно всегда сочувствовал принципу сближения России, Франции и Германии, и если бы оставался у власти, то провел бы, по крайней мере старался бы всеми силами провести сближение этих трех держав.

Вероятно уже после января Вильгельм заметил, что первый пароксизм революции был потушен 17-м октябрем и Трепов и Дурново меня отодвинули и затушевали в чувствах государя, а потому, предугадывая непрочность моего положения, он уже забыл свои слова, сказанные в Роминтене, что когда мне (конечно, не по личным же делам?) будет что-либо нужно, то я могу всегда к нему обратиться через князя Эйленбурга, и он меня постарается поддержать. Когда же я к нему обратился, прося покончить с Алжезирасской конференцией в виду трудности положения России, то он не внял моей просьбе и дал уклончивый ответ, а затем коварным отказом от займа думал поставить меня в полное затруднение. Это не удалось, и немцы, не участвуя в синдикате, как это я сейчас объясню, все-таки приняли участие в операции.

Когда все политические затруднения по займу были устранены, а заем во всех своих главных частях был установлен посредством переговоров, веденных мною в течение трех месяцев, и, как это мною сказано ранее, согласно желанию государя было решено послать для подписания контракта и установления с банкирами деталей Коковцова, то около 20-го марта я попросил его к себе, объяснил ему все положение дела, распорядился, чтобы

ему были предъявлены все условия, на которых мы остановились, дал ему самые определенные инструкции и после 26-го марта отправил его в Париж (кажется, 26 или 27-го), при чем вместе с ним поехал Вышнеградский (сын бывшего министра финансов), бывший все время, когда я был министром финансов, моим сотрудником, служа в кредитной канцелярии сперва начальником отделения, а потом вице-директором; ныне он руководитель одного из наибольших русских банков—с.-петербургского международного банка; он всю финансовую кухню займов и вообще кредитную часть знал в совершенстве. Таким образом я был покоен, что и в этом отношении не будет сделано промаха.

Через несколько дней по приезде Коковцова и Вышнеградского в Париж контракт на заем был подписан (3-го апреля) Коковцовым, как представителем русского правительства, а затем представителями всех участников международного синдиката банкиров. Уже через 8 или 9 дней Коковцов с Вышнеградским возвращались в Россию, везя с собою контракт. Контракт этот был передан мне и затем представлен министром финансов Шиповым по принятому порядку в комитет финансов, который, рассмотрев его и утвердив, представил через министра финансов Шипова на утверждение его величества.

По возвращении из Парижа Вышнеградского, через него мне прислал глава банкирского дома Мендельсон и К-о в Берлине, главнейшего банкирского дома всей Германии, Эрнест фон Мендельсон-Бартольди следующее письмо от 5-18 апреля:

«Je profite du passage de M. Wichnegradsky pour Vous faire parvenir ces lignes qui doivent vous féliciter de la conclusion de la grande affaire et vous dire avec quelle profonde satisfaction nous voyons cette importante transaction enfin arrivée au port. J'aimerais bien vous dire avec quels sentiments nous nous trouvons hors de l'action après tous les travaux, toutes les peines que nous nous sommes donneés: mais Vous savez tout cela, et je n'ai pas besoin de mots pour Vous l'exprimer. La seule chose que nous ayons pu faire, c'est d'avoir tâché de contribuer partout (sur les places etrangères) à exciter et fortifier l'intérêt pour le nouvel emprunt, et ce non seulement en théorie par notre correspondance et nos entretiens avec nos différents amis, mais aussi en pratique. A cet égard je tiens à Vous dire (m a i s à V o u s s e u l, car, pour des raisons que Vous comprendrez, il faut absolument que cela reste dans le plus strict secret) que nous avons pris un intérêt dans l'affaire à Paris, à Londres, à Amsterdam et à Pétersbourg, séparément dans chacune de ces quatres places, afin que l'une ne le sache de l'autre; naturellement nous l'avons fait pour faire le plus d'effet possible sur les maisons respectives pour contrecarrer

des l'abord une fâcheuse impression qui pourrait être produite par l'abstention de l'Allemagne. Je crois qu'en effet cette politique de notre part a porté ses fruits et une certaine angoisse que nous avions aperçue çà et là a été entièrement bannie. Nous en sommes très heureux! Je suis très content de pouvoir Vous dire que nous apercevons des tendances très favorables pour l'affaire dans les c e r c l e s f i n a n c i e r s».

Из этого письма первого германского банкира видно, что германское правительство и на этот раз нанесло удар мимо. Действительно уже 17-30 апреля главнейший представитель синдиката всех участников займа Нейцлин мне сообщал:

«L'emprunt international est un fait accompli, la dernière étape a été franchie hier. Cette grande victoire financière est aujourd'hui le thème de la conversation générale, et le crédit russe est pour la première fois, depuis le commencement de la guerre, en train de faire de nouvelles racines dans un terrain considérablement élargi. En constatant ce fait dont, grâce à Votre Excellence, j'ai eu l'honneur d'être l'ouvrier de la premiére à la dernière heure, je me tourne vers Votre Excellence, rempli d'une profonde reconnaissance pour la confiance qu'Elle m'a témoignée pendant tout le cours de l'opération. En abandonnant, dans notre conversation à Tzarskoé Sélo, les plans préparés d'avance Votre Excellence m'a donné la pleine mesure de son approbation qui m'a, seule, soutenu et encouragé pendant les moments critiques que la négociation a traversés».

Совершенный заем был действительно делом чрезвычайной важности. Заем этот был самый большой, который когда-либо заключался в иностранных государствах в истории жизни народов. После франко-прусской войны Тьеру удалось заключить заем несколько больший, но заем этот был по преимуществу внутренний, а нынешний заем был почти целиком распродан заграницею. Благодаря ему Россия удержала в целости установленное мною еще в 1896 году денежное обращение, основанное на золоте; благодаря целости денежного обращения сохранились в целости все основания нашего финансового устройства, которые преимущественно были установлены мною, которые не без похвальной стойкости поддерживает Коковцов, и которые, между прочим, дали возможность России поправиться после несчастнейшей войны и сумбурной смуты или русской революции. Заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906—1910 годов, дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти. Как же относился ко всем перипетиям займа государь император?

Его величество вполне сознавал всю важность совершить заем и все бедствия, которые произойдут, если это дело не удастся. Как во всех финансовых делах всегда, как и прежде во все время моей бытности министром финансов, он мне вполне доверял и не мешал мне действовать; поскольку эта финансовая операция зависела от политических действий и здесь, он мне предоставил действовать по моему усмотрению. Он был как бы посторонним зрителем большой финансово-политической шахматной игры, но зрителем, сознающим всю важность для России результатов этой игры и интересующимся ее исходом. Когда в феврале и марте месяце мне уже было невтерпеж от проявления реакционных выступлений против 17 октября, когда уже меня в известном лагере начали заочно величать изменником, и когда многие действия господ Дурново, временных генерал-губернаторов и многих других, покровительствуемых дворцовыми сферами, производились помимо меня, но естественно ложились на мою ответственность, как на главу правительства, и я начал заговаривать, что не отпустят ли меня и не назначат ли вместо меня человека, которому более доверяют, то прямо говорили, что, покуда не кончится дело займа, это невозможно. Государь ясно сознавал, что заем могу совершить только я, во-первых, в виду моего престижа во всех денежных заграничных сферах и, во-вторых, в виду моей опытности.

15 апреля в собственноручном письме ко мне его величеству было угодно написать: «Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России». Как видно, государь отлично оценил значение займа.

В заключение рассказа о займе я хочу вернуться еще к Коковцову. Когда он возвратился из Парижа и привез контракт, то явился ко мне и поздравил меня с успехом. Я его благодарил за точное исполнение данного ему поручения. Вместе с тем он заговорил со мною о том, не могу ли я ему выхлопотать из этого займа вознаграждение тысяч восемьдесят. Это заявление в то крайне критическое денежное положение меня озадачило, и я не нашелся, что ему ответить, сказав, что поговорю с министром финансов Шиповым. Я виделся с Шиповым, рассказал ему об этом разговоре с Коковцовым и выразил мнение, что, вероятно, Коковцов полагает, что министры финансов и их сотрудники, как в прежнее время до Александра III, получают вознаграждение при совершении займов из сумм займа. Обычай этот был уничтожен Александром III.

Шипов был очень удивлен шагом Коковцова, высказался возмущенно против просьбы его, и я ему, Шипову, поручил объяс-

ниться с Коковцовым, благо он с ним в хороших отношениях, и советовал, чтобы Коковцов этого вопроса более не подымал. Затем Коковцов просил председателя Государственного Совета Сольского, дабы он устроил ему по поводу займа награду. Граф Сольский говорил по этому предмету со мной, и я не встретил к этому препятствий. Ему при рескрипте был дан Александр Невский.

Наконец, открылась Государственная Дума. Я ушел. Было образовано министерство Горемыкина.

Горемыкин предложил место министра финансов Коковцову; Коковцов зашел ко мне, спросил моего мнения по поводу этого предложения. Я ему посоветовал согласиться. Затем к моему большому удивлению он в Государственной Думе заявил о том, как финансовое положение России было спасено займом 1906 года, как ему трудно было его совершить, и какие мучения он испытал при ведении дела. Одним словом почтеннейший Владимир Николаевич рассчитывал на то, что, так как ни Государственной Думе, ни россиянам неизвестно, как совершалось это чрезвычайное дело, то все поверят, что он—Владимир Николаевич—явился спасителем России. Тут весь Коковцов...

Вследствие таких заявлений его я собрал сохранившиеся у меня документы по займу 1906 года, которые составляют отдельную папку в моем архиве. Некоторыми из этих документов я выше и воспользовался, так как случайно они оказались у меня под руками *.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ.

Финляндия.

* Во время моего председательства состоялось назначение члена Государственного Совета Герарда финляндским генерал-губернатором. Я не разделял политики относительно Финляндии, предпринятой в царствование императора Николая II со времени назначения управляющим министерством Куропаткина, и затем назначения генерал-губернатором Бобрикова, приведшего этот край в смутное состояние, которое не кончилось, как думают некоторые, от проведения скоропалительно, тому назад два месяца (сегодня июль 1910 г.), через новые законодательные учреждения довольно бессовестного закона о порядке решения дел, касающихся Финляндии. Какие будут последствия этой меры, увидим, но несомненно, что многое будет зависеть от общего положения, в котором будет находиться империя в ближайшие годы или десятилетия.

Если обстоятельства будут складываться неблагоприятно, то затеянное своеобразное руссифицирование Финляндии, как вообще поход против инородцев, может иметь весьма тяжелые для империи и династии последствия. Дай бог, чтобы это не случилось, чтобы «карта была бита». Я употребляю это выражение азартных игроков, так как теперешняя политика во многом напоминает азартную игру; сам Столыпин употребляет выражение, что таким-то законом он «ставит ставку» на то-то; например, в крестьянском законе он поставил «ставку на сильного». По случаю нового закона о порядке решения дел, касающихся Финляндии, появилась целая литература, которая совместно с речами, которые были произнесены по этому предмету в законодательных учреждениях, несмотря на крайние протесты ведения прений председателями (в особенности Государственного Совета) и послушным правительству большинством, может служить хорошим материалом для лиц, желающих изучить это дело.

По моему убеждению при мало-мальски объективном изучении дела нельзя отрицать, что сто лет тому назад император

Александр I дал присоединенной к империи Финляндии конституцию, т.-е. политическое самоуправление, что Финляндия, будучи присоединена к Российской державе, составляет окраину особого рода, главным звеном соединения которой с империей составляет то, что российский самодержавный император есть вместе с тем великий князь финляндский, т.-е. конституционный монарх Финляндии, управляемой по особой конституции, ей данной.

Конституция эта получила свое жизненное основание и свои определенные условия в самом факте ее действия и существования в течение ста лет, но независимо от того она была оформлена рядом письменных актов и определенным законодательством в царствование императора Александра II и, наконец, императора Николая II после 17 октября 1905 года. Все монархи, вступая на имперский престол и по тому самому делаясь великими князьями финляндскими, в особых манифестах по великому княжеству Финляндскому свидетельствовали о верности финляндского народа престолу, о том, что Финляндия управляется монархом на особых основаниях и о том, что новый монарх как бы перед всем светом дает свое монаршее слово продолжать управлять этим великим княжеством на тех же началах. Какие это начала?—Те, которые применялись в течение ста лет. Управление людское не есть мертвая синематография, она вечно видоизменяется, но всякий честный человек, а особливо добросовестный правитель, коего царское положение обязывает особою царскою честью, конечно, понимает или, во всяком случае, должен понимать, что такое значит и означало, что Финляндия имеет и управляется на основании своей особой политической конституции. Финляндская конституция видоизменялась, но видоизменялась до появления в центральном управлении Куропаткина, а потом Плеве и Бобрикова в первых ролях, лишь в сторону конституционно-расширительную, но не обратно.

Наши историки, получившие свою историко-научную премудрость по финляндским делам преимущественно в петербургских канцеляриях, разыскивают такую склонность русских самодержцев в их в данном случае несознательности, а с другой стороны, в изменах и предательствах сановных людей, самими самодержцами выбранных, которые пользовались их доверием; но нужно сказать, что эти историки писали это, служа в петербургских канцеляриях, в то время, когда сии самодержцы уже покоились в земле и в данный момент от них уже ничего получить было нельзя, а новое направление, истекшее из теории «необязательности царского слова, если того благо требует», давало небезосновательную надежду, топча престиж усопших самодержцев, заслужить благоволение от холопов (слуг) благополучно царствующих.

Замечательно, что упрек в несознательности самодержцев в отношении действий по Финляндии и вообще в склонности к утопическому либерализму относится исключительно к Александру I и Александру II, т.-е. именно к таким самодержцам, которые по праву уже занимают самое видное положение в истории России и даже в общей культуре всего человечества. Я не был на свете на нашей планете в царствование «императора благословенного» и имел честь весьма мало знать «освободителя», но зато имел величайшее счастье, которое только может иметь русский человек, хорошо знать и быть ближайшим сотрудником «миротворца». Сие название дано императору Александру III не гласом народа, а в одном из актов, последовавших немедленно после его смерти и вышедших из-под пера канцелярии тогдашнего министра двора (ныне наместника кавказского графа Воронцова-Дашкова) в Ялте. Этим названием, по моему мнению, совершенно справедливо не вполне был доволен вступивший на престол искренно любивший его сын, ныне благополучно царствующий император Николай II.

Когда через несколько месяцев после смерти его отца мне пришлось представить ему один акт для подписания, в котором его отец был назван императором миротворцем, каковое название было дано в предыдущих актах, его величество соизволил сказать мне, нельзя ли вычеркнуть «миротворец», заметив: «это название совсем не соответствует фигуре моего отца, оно дает представление, не соответствующее его силе, как будто он боялся войны. Это Воронцов поднес мне к подписанию манифест, а я находился в таком состоянии, что не обратил внимания на это не вполне соответствующее название».

Действительно, император Александр III процарствовал мирно и значительно поднял престиж империи не потому, что он был миротворец, а потому, что он был честен и тверд, как скала. Если нужно дать ему определение одним словом, то уже скорее его назвать «чистый», «светлый», даже, пожалуй, «честный» в высшем значении этого слова. И я знаю, как относился сей «император» к финляндскому вопросу, ибо мне приходилось неоднократно слышать его по этому предмету суждения. Он вообще был по рождению, по характеру, по всему своему душевному и умственному складу «император неограниченный самодержец», и он был «самодержец» не потому, что это ему было приятно, а потому, что он был убежден, что это составляет благо искренно любимого его народа и его родины; понятно, поэтому он не относился особенно любовно к конституции Финляндии.

Он относился очень неодобрительно к стремлениям расширить фактически всю эту политическую конституционную

самостоятельность, которою Финляндия пользовалась. Он старался в пределах признаваемой им политической конституции Финляндии вводить объединительные основания для управления Финляндией на общих основаниях со всей империей (почтовое управление, основы уголовных законов, особенно по государственным преступлениям), посколько сие было возможно, не нарушая финляндскую конституцию. Часто плавал в финляндских шхерах без всяких охран, помп, и встречался попросту с населением. Ему нравились многие черты финляндского народа: их трезвость, устойчивость, верность, а равно культурность их простого быта; с другой стороны и финляндцы сознавали, что император Александр III не любит, а терпит их конституцию, были уверены, что этот «честный» император то, что «дано», будет считать «данным» и никакие политические софизмы вроде, например, софизма, что «сам бог, если увидит, что для блага нужно отказаться от своего слова, от него откажется», от его прямой натуры будут отлетать как резиновые бомбы от гранитной скалы. В царствование императора Александра III были возбуждены вопросы о большем объединении с русским финляндского войска, об установлении определенного порядка решения общеимперских дел, касающихся Финляндии. По этому предмету существовали комиссии и совещания, все эти работы установили, что необходимо в этом направлении делать постепенные объединительные шаги и во всяком случае прекратить ту полную разобщенность действий финляндского законодательного аппарата и русского, но из того, что такие мысли существовали и что император Александр III обратил внимание на эти общеимперские дефекты, конечно, отнюдь не следует, чтобы этот император мог одобрить путь отрицания финляндской конституции—путь политического провоцирования Финляндии для создания там таких явлений, которые затем могли бы оправдать русское насилие физическое или законодательное, а в особенности путь политического иезуитизма, путь политического лукавства, по которому, с одной стороны, проводятся законодательные меры с курьерскою скоростью, дающие русской администрации возможность полного произвола, в корне нарушающие основные начала конституционной самостоятельности Финляндии, а с другой стороны, уверяют, что этим отнюдь не уничтожается финляндская конституция, и что закон этот проводится не императорским правительством, пользуясь большинством случайно составленным и подобранным в законодательных собраниях, а «мол, по желанию народа и его представителей».

Император Александр III, во-первых, никогда не отрекся бы от своих конституционных, но все-таки весьма обширных прав,

как великий князь финляндский, в пользу законодательных русских выборных собраний, что собственно делает только что проведенный закон о финляндском законодательстве, если, конечно, смотреть на эти собрания (Государственной Думы и Совета) искренно, как на учреждения конституционные народного представительства, во-вторых, если смотреть на эти учреждения как на удобное орудие бессильного самодержавия и проводить через них сказанный закон, дабы делать в Финляндии coup d'état руками этих учреждений, якобы представляющих народные желания и волю, то такой двоедушный шаг совершенно не соответствовал бы прямому характеру почившего государя.

В тех же комиссиях, которые работали в царствование императора Александра III с целью большего объединения Финляндии с империей, принимал наибольшее участие их председатель Н. Х. Бунге (председатель в то время комитета министров), он в комиссиях являлся сторонником мысли о необходимости принятия решительных мер к ограничительному определению объема финляндской конституции. Достаточно прочесть оставленную им посмертную записку о положении Российской империи, записку, которая писалась для прочтения ее его учеником императором Николаем II, дабы понять, что руссифицированные тенденции Бунге вообще и способы применения их к Финляндии в частности резко разошлись бы со взглядами наших современных правительственных руссификаторов и писак, находящихся у них на казенном пайке, получаемом из рук в руки или косвенными способами—объявлениями, наградами и проч...

В царствование Александра III самым ярым противником конституционной самостоятельности Финляндии являлся профессор и вместе с тем сенатор Таганцев. И даже он, будучи уже членом Государственного Совета, при обсуждении сказанного проекта в Государственном Совете нашел, что этот проект зашел чересчур далеко, и голосовал по некоторым пунктам в смысле его осуждения.

С одной стороны, закон этот ничего не говорит, и с другой—говорит все. Он так составлен. Согласно этому закону—«хочу, все оставлю так, как было до сих пор, не хочу, то имею полное право, несмотря на выдуманную конституцию, стереть Финляндию в порошок и обратить в Мурманскую пустынь». «По закону, слышите ли, по закону, вотированному своеобразными народными представителями русских палат, хочу, обрежу лишь кончики финляндских волос, а захочу, слоями бритвами буду снимать часть головы и сниму всю голову до самых плеч».

Возвращаясь к моим воспоминаниям о взглядах императора Александра III о Финляндии, я помню такую его фразу:

«Мне финляндская конституция не по душе. Я не допущу ее дальнейшего расширения, но то, что дано Финляндии моими предками, для меня так же обязательно, как если бы это я сам дал. И незыблемость управления Финляндии на особых основаниях подтверждена моим словом при вступлении на престол». Такой взгляд нисколько не исключал зоркого отношения к тому, чтобы соблюдение тех или других потребностей Финляндии, которые все могут осуществляться только с утверждения императора — великого князя финляндского, не колебало общеимперских интересов. Приведу следующий характерный случай.

За год или два до кончины императора, финляндский сейм решил о сооружении железной дороги с целью соединения рельсовой сети Финляндии у Торнео с сетью шведских дорог. Статс-секретарь по делам Финляндии генерала-лейтенант Ден спросил мое заключение, как министра финансов, в руках коего в то время находилась железнодорожная политика. Я ответил, что не встречаю для утверждения решения сейма с своей стороны препятствий. Через несколько дней я получил уведомление генерала Дена, что его величество приказал передать мне, что он хочет переговорить со мною по этому делу при первом моем всеподданнейшем докладе. Государь мне сказал: «Я не согласен с вашим мнением о допустимости соединения финляндской сети жел. дорог с шведскою; в случае войны это может служить для нас большим неудобством». Я доложил государю, что все равно неприятель может достигать финляндской сети посредством короткой переправы через пролив, отделяющий Финляндию от Швеции; на что его величество мне заметил, что если еще мы соединим финляндские дороги со шведскими, то откроем второй путь для военного передвижения из Швеции в Финляндию». Так государь не согласился утвердить решение сейма.

Через непродолжительное время вступил на престол Николай. Тот же самый статс-секретарь по делам Финляндии Ден очень скоро после перемены царствования мне опять сообщает, что государь желает со мною переговорить по поводу вторичного ходатайства сейма о соединении у Торнео финляндской сети железных дорог со шведскою. При первом же, после этого сообщения, всеподданнейшем докладе государь мне говорит: «Сейм представил вторично решение о соединении финляндских железных дорог со шведскими. Генерал Ден мне доложил, что отец мой не утвердил это решение, хотя вы не встретили к этому препятствий, и что вам известно, почему мой батюшка не согласился с решением сейма». Я доложил его величеству мой разговор с его отцом. На что государь меня спросил: «А как вы теперь по этому вопросу думаете?» Я ответил: «Я думаю, что ваш августейший батюшка был прав, во всяком случае самое худшее в делах высшей политики это неустойчивость и колебания, подрывающие

престиж монаршей власти». На что государь мне сказал: «А я утвержу решение сейма, потому что я того мнения, что на Финляндию, как это она доказала, я могу вполне положиться, а финляндцы это вернейшие мои подданные».

Такое отношение императора к Финляндии существовало в первые годы его царствования впредь до появления на политической деятельности в качестве управляющего военным министерством генерала-лейтенанта Куропаткина (начальника закаспийской области)[1]). Это был первый военный министр, назначенный молодым императором Николаем. Он и сменил военного министра старика Ванновского, бывшего военным министром во время всего царствования его отца и относившегося несколько менторски к молодому императору, которого он знал с детства. А Николай II своеобразно самолюбив. Он мог терпеть многое, чего не потерпел его отец, но не переносил того, на что его отец не обращал бы никакого внимания. Александр III был самолюбивый царь и благодушный и простой дворянин. Николай II—малосамолюбивый царь и весьма самолюбивый и манерный преображенский полковник. Поэтому его стесняли все те министры, которые были министрами его отца, так как у них являлся иногда менторский тон, естественно связанный с их опытностью, так сказать дипломированною его отцом. Он, например, как мне часто говорили, часто шокировался не содержанием того, что мне в критические минуты государственного бытия приходилось говорить, а тоном моих слов и манерою моей речи. И на это мне всегда приходилось отвечать, что неужели моя манера была резка и неприлична, однако, я всегда говорил по форме также его отцу, и отец его за эту манеру, за тон никогда не претендовал, а напротив, он всегда ценил мою искренность. Итак, молодой император есть, конечно, прежде всего военный, и военные характеры также ведь бывают различные. Я помню, его отец, одобривший мои действия в 1894 году, приведшие к таможенной войне с Германией и вынудившие ее сделать уступки и заключить с нами терпимый торговый договор в то время, когда весь двор и большинство моих коллег по министерству боялись, чтобы таможенная война не перешла в настоящую, тем не менее, мне как-то говорил: «Тот, кто сам был на войне (император Александр III, будучи наследником, командовал и успешно отдельным отрядом во время

---

[1]) Вариант. Затем настроение его величества постепенно менялось: с одной стороны, вследствие докладов некоторых из сановников, преимущественно из сфер военных, а с другой стороны, я не могу не признать что и в то время, как и всегда, финляндцы не вполне корректны.

Если финляндцы во многих вопросах были бы более тактичны, не так резки и сухи, что отчасти соответствует их лойяльному, но упрямому характеру, — то может быть полное благоволение к ним государя не изменилось бы.

восточной войны конца 70-х годов) и видел ее ужасы, не может любить войну».

Он поэтому и процарствовал без войны, хотя своим характером, определенностью и царскою честностью поднял внешний престиж России так высоко, как он никогда ранее не стоял, и он был бы поражен, видя, как уронили этот престиж после его смерти. А вот военная черта его сына императора Николая II. Государь вступил на престол, командуя до того времени в чине полковника батальоном Преображенского полка, и, как известно, никогда на войне не был и ни в какой экспедиции не участвовал. За некоторое время до ухода Ванновского с поста военного министра, он болел, а потому одно лето совсем не присутствовал в красносельском лагере. Военный министр генерал Ванновский вернулся осенью, и вскоре я его видел после одного всеподданнейшего доклада, и он с некоторою почтительною усмешкою мне сказал: «Вот я сегодня был у государя. Его величество мне сказал, что он сожалеет, что я по болезни не был в красносельском лагере и не присутствовал при обыкновенном параде, заключающем лагерные сборы. Он прибавил, что большинство частей и в особенности Преображенский полк представились ему в отличном виде, сказав: ведь вы знаете, Петр Семенович, что кого угодно, а меня уже в этом деле не проведешь».

Генерал Куропаткин, сделавшись военным министром, конечно, прежде всего бросился на проекты, которые разрабатывались в этом министерстве, но оставались по тем или других причинам временно или навсегда без движения. Как в области командования армиями, так еще в большей степени в области организационной у него не было никакого творческого таланта, он всегда брал чью-либо мысль, чей-либо проблеск воли и на них выделывал всякие, часто прескучные, узоры. Если у него не было творчества, то взамен сего он обладал большим трудолюбием. В числе массы проектов, которые в различные времена составлялись в министерстве, был проект, имевший целью большее сближение русских войск имперских с войсками великого княжества Финляндского.

Нужно заметить, что наш государь Николай II имеет женский характер. Кем-то было сделано замечание, что только по игре природы незадолго до рождения он был снабжен аттрибутами, отличающими мужчину от женщины.

Всякий его докладчик, в особенности им назначенный, (а не наследственный от отца) в первое время после назначения пользуется особою его благосклонностью, часто переходящею

границы умеренности, но затем более или менее скоро благосклонность эта сменяется индифферентностью, а иногда и нередко чувством какой-то злобы, связанной с злопамятством, за то, что когда-то он его любил, и, значит, недостойно, если чувство это прошло. В первое время Куропаткин совсем овладел сердцем государя и государыни. Георгиевский кавалер (даже 2-й степени) с репутацией, совершенно верной, человека отменно храброго и мужественного (храброго лично), офицер генерального штаба с отлично повешенным языком.

А ведь большинство наших офицеров генерального штаба все знают, кроме того, что им более всего нужно было бы знать: искусство воевать; они обо всем судят.

Европейски культурный человек скоро бы заметил, что Куропаткин субъект, с европейской точки зрения, довольно невежественный, но государь этого заметить не мог. Он мог разве заметить, что Куропаткин салонно мало культурен, например, ест рыбу ножом, не говорит на иностранных языках и т. п., но зато он с «истинно» русскими чувствами вояка. Чтобы проявить наглядно эти чувства, он сейчас же и поднял финляндский вопрос: надо же их сделать русскими, по крайней мере войска.

Мысль о необходимости такой меры имелась еще у Александра III, но затем она не получила осуществления, вероятно, потому, что она не вызывалась практическими неотложными государственными интересами в виду многократно проявленной и доказанной верности финляндских войск императору и великому князю финляндскому. Генерал Куропаткин взял в свои руки этот проект, при чем пошел в нем гораздо далее первоначальных предположений (еще графа Милютина, с которым, однако, император Александр II не согласился). Было очевидно, что сейм не примет такой крайний проект. Тогда явился вопрос о порядке разрешения финляндских дел обще-государственного значения, который уже давно стоял на очереди, но не являлась такая практическая необходимость решения этого вопроса. Вопрос этот, действительно, следовало решить, и было бы согласно закону, если бы подлежащий министр внес его в законосовещательное учреждение того времени, т.-е. в Государственный Совет.

Покуда был жив генерал-губернатор, почтеннейший и достойнейший человек граф Гейден, генерал-адъютант, бывший начальник главного штаба при графе Милютине, он несколько сдерживал порывы, но скоро граф Гейден умер; явился вопрос о его заместительстве.

В это время приехал с визитом к государю король румынский. Во время парадного обеда королю я сидел рядом с генерал-

адъютантом Бобриковым, начальником штаба петербургского военного округа. Перед обедом я узнал, что он назначен вместо Гейдена. Я его поздравил. Его назначение мне ничего не говорило. Бобриков никогда ни в чем себя не проявил, на войнах никогда не был, он представлял тип бесталанного штабного писаря, но он был начальником штаба великого князя Владимира Александровича, прекрасного, благороднейшего человека, человека весьма образованного и культурного, хотя не всегда уравновешенного. Во всяком случае он был действительно царский сын. Я спросил Бобрикова, доволен ли он этим назначением. Он мне ответил, что он находит, что его миссия тождественна или подобна миссии графа Муравьева, когда он был назначен генерал-губернатором в Вильну. На это неожиданное сравнение я ему ответил, что не могу согласиться с таким сравнением. «Муравьев был назначен, чтобы погасить восстание, а вы, повидимому, назначены, чтобы создать восстание...» После этого я уже никогда в интимные разговоры с Бобриковым не пускался...*

Генерал Куропаткин уговорил его величество пойти более решительно по пути объединения финляндских войск с войсками Российской империи и сломить те возражения, которые представлял по этому предмету финляндский сейм и финляндский главный управитель. Для того, чтобы совершить эту операцию, 17 августа 1899 года государственный секретарь Плеве был назначен министром статс-секретарем великого княжества Финляндского вместо умершего, весьма почтенного финляндского статс-секретаря Дена, который, конечно, не мог бы сочувствовать тому направлению дел, которое хотел дать Куропаткин, и всякий статс-секретарь Финляндии, который был бы назначен из финляндцев, хотя бы он был и русский генерал, служивший в русских войсках всю свою жизнь, на такую операцию не пошел бы. Для этого нужно было назначить не финляндца, а человека, который умеет кривить душой и руководствоваться не столько принципами, сколько выгодами как личными своими, так, пожалуй, и государственными, — так, как их понимали генерал Куропаткин и В. К. Плеве.

*Руководствуясь ранее довольно часто делаемыми исключениями, было бы не особливо исключительно, если бы соответствующий проект прошел через комитет министров или совет министров. В. К. Плеве, как умный человек, понимал, что при обоих указанных путях, несомненно, встретится много возражений, и что хотя большинство как в первом, так и во втором из указанных учреждений выскажется за то, чтобы несомненные общеимперские дела, касающиеся Финляндии, проходили через

Государственный Совет и получали окончательное решение после обсуждения их в сейме в порядке, указанном в учреждении Государственного Совета, но что, с другой стороны, будут установлены правила, вполне гарантирующие исполнение разумных и действительных потребностей Финляндии. Может быть, он опасался, чтобы при решении вопроса этим путем не явились какие-либо влияния (например, императрицы-матери или международные, например, Дании и Швеции), которые отклонят государя от решения покончить с этим вопросом, существенно затрагивающим финляндскую de facto конституцию.

В конце концов, факт тот, что Плеве (будучи одновременно и государственным секретарем) уговорил провести закон о порядке решений финляндских дел общеимперского значения помимо законоустановленных учреждений, т.-е. Государственного Совета.

Государь собрал совещание, в котором участвовали только несколько человек (в том числе граф Сольский, Фриш, великий князь Михаил Николаевич и Плеве), и неожиданно появился указ, в силу которого все обще-имперские вопросы, касающиеся Финляндии, должны по обсуждении в сейме проходить через Государственный Совет и представляться его величеству на окончательное решение после обсуждения их в Государственном Совете в установленном для этого учреждения порядке, при чем, при обсуждении этих вопросов в Государственном Совете должны участвовать на правах членов Государственного Совета подлежащие сенаторы финляндского сената (не помню, сколько человек, кажется два, во всяком случае не больше четырех, а всего членов Государственного Совета было около ста человек). Указ этот, конечно, не был в согласии с конституцией великого княжества Финляндского, но представлял все-таки выход из положения по тем временам, когда великий князь Финляндский был самодержавный и, вместе с тем, неограниченный император Российской империи. Недостаток этого указа в моих глазах заключается в том, что он не давал определения вопросам обще-имперским, и ожидалось, что вслед за сим последует это определение в пределах, безусловно необходимых для действительных интересов империи, как то понимали в то время лица, занимавшиеся по воле императора финляндским вопросом и являвшиеся защитниками идеи ограничения финляндского сейма (финляндской конституции) в области чисто обще-имперских вопросов.

Помню, что через несколько дней после обнародования этого указа, я встретился у Нарышкина (обер-камергера Эмануила Дмитриевича) с Борисом Николаевичем Чичериным (известным профессором государственного права, ученым публи-

цистом, бывшим московским городским головой), братом жены Нарышкина. Чичерин напал на меня за этот указ, указывая на то, что это явление нарушение конституции Финляндии и царских обещаний ряда императоров, говоря, что мы дурные советники государя и ведем его к бедам. Я заметил, что не принимал никакого участия в этом указе, тем не менее, приводил мотивы, его отчасти оправдывающие, и главный мотив—практическая необходимость.

Конечно, этот указ был вызван предстоящим рассмотрением сеймом проекта военного министра генерала Куропаткина, переданного сейму на обсуждение. Заключение сейма по проекту Куропаткина было отправлено в Государственный Совет.

Я, в качестве министра финансов, должен был написать свое заключение по проекту Куропаткина и по принятому порядку представил свой отзыв в печатном виде для раздачи всем членам Государственного Совета. Ранее обсуждения дела в стенах Государственного Совета оно обсуждалось в частном совещании под председательством генерал-адъютанта Ванновского, в котором участвовали Куропаткин, Бобриков, Плеве, Сипягин (министр внутренних дел), я и еще несколько человек. Куропаткин, поддерживаемый Бобриковым, защищал свой проект; я защищал свою точку зрения. Моя же точка зрения была такова.

Государь, как неограниченный в то время самодержавный император российский и великий князь финляндский, имеет долг принимать меры, поскольку они вызываются существенною необходимостью для общей всех его подданных государственной пользы, хотя бы они касались и Финляндии. Таким образом существо вопроса по моему убеждению лежало не в праве, а в действительной необходимости проектируемых Куропаткиным мер. По моему же мнению меры эти в значительной своей части не вызываются существенными интересами империи, а между тем рождают существенные неудобства для финляндцев.

Поэтому, не соглашаясь всецело ни с проектом Куропаткина, ни с отрицательным отношением к нему сейма, я предлагал такие изменения в проекте Куропаткина, которые, удовлетворяя, по моему мнению, действительные интересы империи, не представляют излишних и тягостных требований к Финляндии. При этом в своем отзыве я касался общих суждений относительно действий умерших самодержцев, которые потому, что умерли, подвергались довольно развязной критике, и специально останавливались на Александре III, которому был приписан сказанный проект, т.-е. говорилось, что будто бы он был одобрен императором Александром III. Тогда Александр III имел еще большой авторитет в глазах своего царствующего сына, а потому, с одной

стороны, ссылка на Александра III была до известной степени гарантией твердости в данном деле Николая II, а с другой— в глазах финляндцев тот odium, который, правильно или неправильно, возбуждал в них проект Куропаткина, слагался с благополучно царствующего на умершего императора. Что же касается моих предложений, то в смысле большого объединения финляндских войск с русскими они шли дальше того, что в свое время было предложено графом Милютиным и что не было принято Александром II во внимание к ходатайству финляндского генерал-губернатора генерал-адъютанта графа Адлерберга, подкрепленному ходатайством финляндского статс-секретаря.

Это произошло тогда, когда было утверждено Александром II положение о финляндских войсках. После сказанного совещания под председательством П. С. Ванновского я получил от генерала Куропаткина копию всеподданнейшего письма его, в котором он докладывал государю, что мой отзыв в Государственном Совете по проекту закона о финляндской воинской повинности поставит его и его единомышленников в Государственном Совете в крайне неловкое положение, так как в этом отзыве я дезавуирую ссылку на Александра III и вообще представляю соображения, крайне неудобные для проведения его проекта. В результате этого письма я должен был просить Плеве уничтожить все экземпляры моего отзыва и взамен его разослать другой, вновь ему препровожденный, в котором были пропущены все наиболее сильные места против соображений военного министра Куропаткина.

В моем архиве имеется отзыв в первоначальной редакции и затем в последующей, одобренной государем, в которой выкинуты нежелательные места, в виду возможности их распространения, в особенности на западе. Скоро открылось заседание по сказанному делу в Государственном Совете в силу упомянутого указа о рассмотрении обще-имперских финляндских дел. Как в департаменте, так и в общем собрании голоса разделились. Решение сейма никто кроме финляндских сенаторов не поддерживал, но громадное большинство членов не согласилось также с проектом военного министра, а поддерживало мои умеренные предложения, которые, как я сказал, шли дальше того, чего в свое время добивался бывший военный министр.

Во время обсуждения дела в департаментах, когда оба мнения обрисовались, некоторые члены обратились к присутствовавшим финляндским сенаторам и спросили их, как они думают, если будет принято мнение большинства, поддерживавшего мои предложения, и затем передано на вторичное обсуждение сейма, то

сейм присоединится ли к нему или будет продолжать настаивать на своем проекте, на что сенаторы заявили, что они не имеют полномочия на решение этого вопроса, но что они лично уверены, что сейм будет настолько благоразумен, что присоединится к мнению большинства, как оно выяснилось в департаментах. При обсуждении дела в общем собрании Государственного Совета громадное большинство также присоединилось к умеренному проекту, мною представленному (более 50 голосов, в том числе великий князь Михаил Александрович, Владимир и Алексей Александровичи, а также принц Ольденбургский), а за проект Куропаткина голоса подали только около 15 человек (в том числе великий князь Михаил Николаевич и, конечно, Плеве и Бобриков).

Присоединение великого князя Михаила Николаевича к меньшинству для меня было ясным указателем, что государь колеблется и что именно в виду этого Плеве прибег к великому князю. Михаил Николаевич всегда жил умом покойной жены великой княгини Ольги Феодоровны и его ближайшего сотрудника. После смерти жены—умом только ближайшего сотрудника. Человек же он добрый, достойный и великий князь, т.-е. человек благородный. Плеве был в то время государственный секретарь, т.-е. его секретарь как председателя Государственного Совета, великий князь Плеве не любил, но часто находился под его влиянием.

Если бы тогда его величество утвердил мнение большинства, то конфликт бы кончился; военный финляндский вопрос получил бы решение, соответствующее действительным русским потребностям, и такое благополучное для взаимных интересов решение наиболее существенного дела укрепило бы, дало бы так сказать право политического гражданства указу, который по способу его появления являлся довольно произвольным. К сожалению, это сделано не было.

Когда государю в установленном порядке были представлены оба мнения, он собрал частное совещание из следующих лиц: великого князя Михаила Николаевича, Куропаткина, Бобрикова, Плеве и Сипягина; приглашенные советовали государю утвердить мнение меньшинства, впрочем, государь отлично знал, что они другого совета не дадут, и потому именно их и пригласил. При таком положении дела Сипягин, который мне рассказывал, что происходило в совещании, видя, что государь с мнением большинства не согласился, и находя опасным утверждение крайнего мнения меньшинства, как могущее внести смуту в окраину, которая была спокойна и лояльна, поставил вопрос о том, чего собственно опасаются в утверждении мнения большинства и по-

чему вообще вопрос о военном устройстве в Финляндии был поднят с такою горячностью. На это последовал ответ, что опасение заключается в том, чтобы эти войска в случае каких-либо неожиданностей не революционировались и не пошли против своего монарха и империи. Сипягин ответил на это, что хотя он такой возможности не верит в силу того, что вся предыдущая история со времени образования великого княжества Финляндского показывает обратное, но, тем не менее, если делать такие невероятные предположения, то мнение меньшинства также не устраняет предполагаемую возможность, что раз предполагать возможность такой случайности, то нужно совсем уничтожить финляндские войска и призыв финляндцев в войска.

Соответственно всему изложенному его величество принял такое сложное решение. Он утвердил мнение меньшинства, но одновременно особым актом объявил, что впредь до последующих его распоряжений мнение это не приводить в исполнение, а уничтожить все финляндские войска, за исключением финляндского гвардейского баталиона, всегда находившегося в Петербурге, и одного конного драгунского финляндского полка, недавно только учрежденного усопшим августейшим отцом его величества.

При чем о том, чтобы взамен уничтожения финляндских войск, предпринятого совершенно неожиданно для Финляндии, брать с финляндского казначейства какое-либо денежное вознаграждение в пользу обще-имперской казны, не было и речи и не могло быть речи, так как решение об уничтожении финляндских войск последовало вопреки мнению и желанию финляндского сейма и не согласно ни с мнением большинства, ни с мнением меньшинства членов Государственного Совета. Это решение крайне обострило финляндский вопрос. Финляндия пришла в брожение. Бобриков и Плеве начали руссифицировать Финляндию, т.-е. принимать целый ряд с точки зрения финляндцев незаконных мер, вводить русский язык, наводнять Финляндию русскими агентами, увольнять сенаторов и ставить вместо них людей, ничего общего с Финляндией не имеющих, а также высылать из пределов Финляндии лиц, которые так или иначе протестовали против подобного произвола. Плеве, чтобы угодить государю, пустил в ход свои полицейские порядки во-всю.

При приведении этой политики в исполнение начались трения и в силу обще-мирового закона, что действие вызывает противодействие, а затем это противодействие—новое действие впредь до того или другого рода катастрофы, и пошла история с различными инцидентами Бобринского и генерал-губернатора Финляндии, кончившаяся печальным убийством гененерала Бобрикова

*

сыном одного бывшего финляндского сенатора, пострадавшего во время этих треволнений. Убийца сейчас же покончил с собой. Бобриков, как я слышал, умер с честью, т.-е. как должен умереть в подобных случаях государственный деятель, себя уважающий.

Припоминаю, что во время обсуждения дела о воинском устройстве в Финляндии Плеве себя держал в заседании крайне сдержанно и осторожно, хотя он в сущности вел все дело и довел его до указанного конца. Что же касается Куропаткина, то после мне пришлось от него несколько раз слышать неодобрение действиям Бобрикова, при чем он высказывал, что заходят в финляндских делах чересчур далеко. Я в финляндских делах после решения воинского вопроса через Государственный Совет, но вопреки высказанным им мнениям, никакого участия не принимал, так как дела финляндские до министерства финансов не касались за это время.

Затем в Государственный Совет более никаких обще-имперских дел не вносилось, так что сказанный указ, так удивительно появившийся на свет, более не применялся. Да и едва ли удобно было его применять после сделанной пробы. Решили подвергать решения сейма, так сказать, контрольному суждению Государственного Совета, а в конце концов принимать неожиданно решение по обсуждению в частном совещании, не согласное ни с проектом военного министра, ни с решением сейма и, наконец, не согласное ни с мнением большинства, ни с мнением меньшинства Государственного Совета. Зачем же в таком случае потребовалось выслушивание суждения высшего законодательного учреждения империи?..

Политика Бобрикова и Плеве привела к убийству Бобрикова. Нужно заметить, что во все время русской революции было только два политических убийства в Финляндии—Бобрикова и одного прокурора. Оба убийства совершены не анархистами, не революционерами, а финляндцами за национальные идеи.

Финляндцы по натуре корректные люди, чтущие законы, и им чужды безобразнейшие убийства, ежедневно совершаемые в России на политической почве революционерами, анархистами и отчасти «истинно-русскими» людьми. Очень жаль, что нашлись два финляндца, которые совершили эти два политические убийства и запятнали Финляндию политическою кровью. Убийство—есть всегда и все-таки убийство—самое ужасное, анти-религиозное, анти-государственное и анти-человеческое преступление.

После убийства Бобрикова явился вопрос назначения нового финляндского генерал-губернатора. В это время уже в России бродила внутри «революция», окончательно выскочившая наружу

в 1905 году, благодаря безумной и несчастной Русско-Японской войне. Приблизительно в это время отличился харьковский губернатор, шталмейстер князь И. Оболенский тем, что он произвел сплошное и триумфальное сечение бунтовавших и неспокойных крестьян вверенной его попечению губернии, затем на него за это анархист (невменяемый) сделал покушение, но к счастью неудачное, и после всего этого он сейчас же был сделан сенатором. То, что он так лихо выдрал крестьян, было аттестатом его молодечества и решительности. «Вот так молодец, здорово». «Кому же, как не ему, быть финляндским генерал-губернатором?»

Тогда был лозунг: «нужно драть, и все успокоится», как впоследствии явился лозунг: «нужно расстреливать, и все успокоится». Одно из главных обвинений, до сих пор мне предъявляемых, это то, что я, будучи председателем совета, после 17 октября мало расстреливал и другим мешал этим заниматься. Кого я должен был расстреливать, до сих пор мне никто не ответил. «Витте смутился, даже перепугался, мало расстреливал, вешал; кто не умеет проливать кровь, не должен занимать такие высокие посты».

Таким образом князь Оболенский был, к всеобщему удивлению, назначен финляндскми генерал-губернатором, но, что особенно всех поразило, это то, что он вдруг был сделан и генерал-адъютантом. Он только в молодости и очень недолго служил в моряках, в чине лейтенанта вышел в отставку и с того времени был статским, не имея никакого отношения к военному делу. Такие назначения генерал-адъютантами делались только при Павле Петровиче. Князь Оболенский был неглупый и хороший человек, но не особенно серьезный и страшный балагур, при чем для балагурства готов был часто фантазию смешивать с истиной. Его даже в семействе Оболенских иначе не звали, как Ваня Хлестаков. Когда он стал генерал-губернатором, то был у меня и просил моих советов. Я ему советовал не вести столь резкую политику, какую завел Бобриков, и вообще вернуться к прежним традициям, которых без существенных изменений самодержцы держались около столетия, но одновременно постепенно добиваться большего объединения финляндских интересов с обще-имперскими.

Конечно, от Плеве он получил обратные указания, т.-е. продолжать политику Бобрикова, что он и делал, но по свойству своего характера не так серьезно, как его твердый предшественник. Это было как раз в 1904—1905 г.г., когда приготовлялась наша доморощенная революция, охватившая русский рассудок благодаря ребяческой и безумной Японской войне, затеянной тем режимом, против которого революция была в конце концов направлена.

В эти именно годы многие наши революционные и ультралиберальные элементы сплетали себе гнезда относительной безопасности в Финляндии, откуда они и действовали в России, так что там как бы образовался тыл русских революционных сил. Силы эти действовали сами по себе, финляндцы в этих комплотах и выступлениях не участвовали активно, но значительная часть финляндцев, вероятно, им сочувствовала, во всяком случае эта революционная гидра находила себе довольно безопасный приют в Финляндии на границе, недалекой от столицы.

Финляндская администрация считала, что все это до них не относится, а русская администрация была стеснена и весьма ограничена в своих действиях в Финляндии. Русское же правительство (Булыгин, Трепов, Плеве, князь Оболенский, Линден) не делало главного, не потребовало и не имело нравственного авторитета, чтобы настоять, дабы финляндская администрация ради спокойствия Финляндии и целости ее конституции заставила русских революционеров и освобожденцев найти себе другое место для своих действий, нежели Финляндию. После я больше с князем Оболенским не встречался, а если и встречался, то с ним не говорил.

Само собою разумеется, что если бы в России не было смуты, не явилась бы горячка освободительного движения, раскаленного позорнейшей войной, то окраины не подняли бы так головы и не начали бы предъявлять вместе с справедливыми и нахальные требования. Окраины воспользовались ослаблением России, вызванным войной и революцией, чтобы показать зубы. Они начали мстить за все многолетние действительные притеснения и меры совершенно правильные, но которые не мирились с национальным чувством завоеванных инородцев.

Это с точки зрения нашей, русской, возмутительно, подло,— все это так, по-человечески. Вся ошибка нашей многодесятилетней политики—это то, что мы до сих пор еще не сознали, что со времени Петра Великого и Екатерины Великой нет России, а есть Российская империя. Когда около 35% населения инородцев, а русские разделяются на великороссов, малороссов и белороссов, то невозможно в XIX и XX веках вести политику, игнорируя этот исторический капитальной важности факт, игнорируя национальные свойства других национальностей, вошедших в Российскую империю—их религию, их язык и проч.

Девиз такой империи не может быть—«обращу всех в истинно-русских». Этот идеал не может создать общего идеала всех подданных русского императора, не может сплотить все население, создать одну политическую душу. Может быть, для нас, русских, было бы лучше, чтобы была Россия, и мы были только русские, а не сыны общей для всех подданных царя Российской империи. В таком случае откажитесь от окраин, которые не

могут и не примирятся с таким государственным идеалом. Но ведь этого наши цари не желали, и государь ныне далек от этой мысли. Нам мало поляков, финляндцев, немцев, латышей, грузин, армян, татар и пр. и пр., мы пожелали еще присоединить территорию с монголами, китайцами, корейцами. Из-за этого и произошла война, потрясшая Российскую империю; и когда мы опять придем в равновесие, и придем ли вообще? Во всяком случае еще произойдут большие потрясения. А при теперешней политике, когда по крайней мере скрытыми идеалами царя—это идеалы полупомешанной ничтожной партии «истинно-русских людей»—можно, не будучи пророком, предвидеть и чуять еще большие беды... Господи, помилуй...

Уже в начале 1905 года Финляндия была вся в скрытом пожаре, а во второй половине, когда у нас началась революция, таковая началась и там. Оболенский сейчас же спасовал, хотел взять правильный курс, но для него уже это было поздно.

Когда после 17 октября я стал главою имперского правительства (это было несколько дней после 17-го), вдруг мне докладывают, что статс-секретарь по финляндским делам Линден просит его немедленно принять. Я ему назначил час. Явившись ко мне, он мне предъявил проект высочайшего манифеста, сущность которого состояла в том, что все сделанное режимом Бобрикова, начиная с указа о способе решения обще-имперских финляндских вопросов, шло на смарку, при чем давались различные обещания относительно большего расширения финляндской конституции в смысле не только либеральном, но едва ли не излишне демократичном. Я спросил Линдена, что он собственно от меня хочет, что я, как председатель совета, не могу высказать мнение правительства по этому документу без обсуждения его в совете министров с моими коллегами, сам же, как председатель совета, высказать официально свое мнение я не уполномочен законом. Линден меня просил высказать мое личное мнение. Я спросил его, что представляет собою рассматриваемый проект. Он мне ответил, что это проект, представленный князем Оболенским, который находит, что его необходимо осуществить. Я спросил Линдена: «А вы разделяете мнение князя Оболенского?» На что Линден мне ответил, что и он считает этот манифест необходимым. Тогда я ответил, что если генерал-губернатор представил такой проект, считая его осуществление необходимым, и статс-секретарь по делам Финляндии того же мнения, то я лично препятствий к этому делать не могу, но только нахожу некоторые выражения неосторожными, при чем выразил сожаление, что делаются с Финляндией такие резкие скачки, то в одну, то в другую сторону.

При обсуждении финляндского вопроса в этом году (1910) в законодательных учреждениях, в газетной полемике возбудили вопрос, передал ли я тогда Линдену мое мнение на имя его величества письменно по поводу этого проекта манифеста или нет? Говорили, что я тогда же написал свое мнение государю и передал Линдену. В те дни (после 17 октября 1905 г.) я ежедневно писал многократно всеподданнейшие собственноручные записки государю. Может быть, Линден меня просил написать государю то, что я ему сказал по поводу манифеста, и я тогда же собственноручно написал его величеству несколько слов и передал письмо Линдену. Это были дни перелома революции очень бурные. Если я написал, то моя записочка, вероятно, хранится в царском архиве. Я упоминаю об этом обстоятельстве только потому, что в прошедшую зиму начали говорить, что будто бы я был инициатором манифеста по финляндским делам, что неверно, и что будто бы я писал государю через Линдена по поводу манифеста, вследствие чего я ответил, что не помню, чтобы об этом я что-либо писал государю, и это дало повод к замечанию—«Как это он может не помнить, что писал государю?».

В то время я был председателем совета министров, с революцией в разгаре, со слабою по численности и организации полицией и без войска. При таком положении вещей полное восстание в Финляндии заварило бы в России еще больший революционный хаос. С другой стороны, я по убеждению не разделял политики по отношению к Финляндии, принятой за последнее время; я находил и нахожу эту политику неправильной с точки зрения русских интересов и политически некорректной, если не сказать недобросовестной. Ко мне явились главные политические деятели Финляндии во главе с Мехелином. Они мне дали слово, что Финляндия успокоится, будет вести себя совершенно корректно, забудет все сделанное в последние годы, если русское правительство вернется к прежней политике и будет добросовестно исполнять льготы, ей дарованные императорами Александром I и II. Я с своей стороны высказал государю мое убеждение, что необходимо вернуться к прежней политике его предков, что в высокой степени опасно создать вторую Польшу под Петербургом, что финляндцы до тех пор, покуда мы были корректны, были вполне корректны. Это единственная окраина, которая нам ничего не стоила и не сосала соки из великорусских крестьян. Я не указывал на конкретные меры, так как это не входило в мою компетенцию и у меня не было для сего времени, но только настаивал на нравственном примирении и на корректности действий. Как это сделать, это дело суждения ближайшего

генерал-губернатора. Значит, дело сводилось к назначению соответствующего лица на этот пост.

Не помню, спросил ли его величество непосредственно мое мнение о том, кого бы следовало назначить, или он сделал это через великого князя Николая Николаевича. Я высказал, что следовало бы назначить человека умеренных взглядов, человека, привыкшего уважать законность и твердого, так, как я это понимаю, т.-е. твердого в смысле человека, не меняющего своих убеждений из угодничества для благ жизни и сохранения во что бы то ни стало власти. При этом я указал, как на такого человека, на члена Государственного Совета Н. Н. Герарда. Я домами совсем не знал Герарда и не имел с ним никаких личных отношений, встречался с ним только в заседаниях Государственного Совета, а затем в заседаниях высшего совещания по сельскохозяйственной промышленности, которое было под моим председательством и членом которого был между прочим Герард. Всегда Герард являлся в своих суждениях весьма корректным и консервативным законником. Указал я на него потому, что он вводил наши русские суды в Царстве Польском, и несмотря на то, что поляки относились к этому нововведению принципиально враждебно, тем не менее, после этого преобразования они признали за нашими судами несравненное преимущество против их прежних судов, и Герард оставил о себе в Царстве Польском, как у русских, так и у поляков, самую лучшую память.

Государь к моей рекомендации отнесся молчаливо и подверг ее проверке. Я с своей стороны отнесся довольно равнодушно к тому, будет ли назначен в Финляндию Герард или кто-либо из других, но достойных деятелей. 6 ноября (1905 г.) государь мне написал: «Мой выбор на пост финляндского генерал-губернатора окончательно остановился на Герарде. Прошу дать ему знать, что я его приму завтра в понедельник в 12 часов». А 7-го числа государь мне между прочим писал: «С Герардом переговорил сегодня и согласился на его просьбу, подожду его ответа в среду на сделанную ему честь».

Когда я получил первую записку государя и вызвал Герарда, чтобы передать повеление его величества, то Герард не подозревал о том, что его полагают назначить в Финляндию, и когда я ему сказал, что я думаю, что государь его вызывает по этому поводу, то он был чрезвычайно смущен. От государя Герард приехал ко мне и говорил, что он всячески отказывался от назначения, и сказал, что государь дал ему срок для ответа до среды, при чем из его рассказа я заключил, зная характер его величества, что он недоволен этими отказами. Я понимаю, что можно было быть недовольным, так как в это сумасшедшее

время те лица, которые душу готовы заложить, чтобы попасть в министры или генерал-губернаторы, вследствие бомбобоязни улепетывали от этих постов. Теперь только они сделались храбрыми и спасителями отечества... Впрочем, я не отношу этого замечания к Герарду, который отказывался от финляндского генерал-губернаторства из скромности. Через несколько дней последовало его назначение. Главным военным начальником был назначен Бекман, т.-е. начальником дивизии. Затем во время моего премьерства я видел раза два-три Герарда. Это было по поводу его некоторых просьб дать места бывшим сотрудникам Бобрикова в Финляндии. Позже мне пришлось иметь дело с Герардом, как финляндским генерал-губернатором, при обсуждении проекта основных законов. Тогда финляндский генерал-губернатор совсем не зависел ни от премьера, ни от министерства вообще, а имел непосредственные отношения к его величеству, и государь стремился иметь дело даже с министрами объединенного министерства помимо председателя совета, так сказать, «en cachette» от него, и в действительности имел такие отношения со всеми, если можно так выразиться, некорректными министрами, как, например, Дурново, с которым мои ненормальные отношения слагались более всего на этой почве, хотя я его выбрал и, по моему настоянию, вопреки несимпатии к нему государя, он был назначен.

Впрочем, несимпатия эта основывалась, главным образом, на том, что государь опасался, что он будет недостаточно реакционный министр. Если бы при таком настроении государя я заявил претензию влиять на финляндские дела, то, конечно, его величество почел бы это неудобным, если не сказать более.

Что же касается истории основных законов, то я рассчитываю об этом говорить далее; покуда же скажу, что как только я получил проект основных законов, составленный по обыкновению «en cachette», то ко мне явился известный финляндский деятель Мехелин. Тогда уже он был назначен вице-председателем сената. Ранее сего я его видел два раза, при чем первый раз кажется еще до 17 октября. Оба раза я говорил с ним весьма недолго по неимению времени, но он произвел впечатление умного, культурного и образованного человека, но заядлого финляндца. Это, конечно, не порок, но с этим русский государственный деятель должен считаться. Явившись ко мне в третий раз, он мне заявил, что ему сделалось известным, что заготовлен проект основных законов, в которых совершенно уничтожается финляндская конституция. Я ему ответил, чтобы он не верил всяким ходячим толкам.

В то время ходила целая масса самых невероятных басен, которые многие принимали за действительность. Он мне отве-

тил, что ему это передавали из достоверных источников и что этот слух, если он распространится в Финляндии, опять внесет там смуту, после того как край начал успокаиваться и приходить в себя от «бобриковского кошмара». В то время еще вся империя была в смуте, а потому, находя нежелательным, чтобы распространялись неверные сведения, могущие мутить население вообще и финляндцев в частности, я ему сказал: «Я вас могу положительно уверить, что слухи, до вас дошедшие, не верны, дайте мне слово, что если я вам это сейчас докажу, то вы немедленно поедете в Финляндию и примете все меры, чтобы там не распространялись неверные сведения, распускаемые смутьянами, и что то, что я вам прочту, покуда останется между нами». Когда он мне дал это слово, которое он в точности и исполнил, то я ему сказал: «как раз только вчера я получил от его величества проект основных законов, составленный помимо совета министров, для обсуждения его в совете». Там есть только одна статья, касающаяся Финляндии, которая гласит: «Великое княжество Финляндское, состоя в державном обладании Российской империи и составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих делах управляется на особых основаниях»— и затем более ни слова. Мехелин видимо успокоился, но просил меня продиктовать ему эту статью. Я ее продиктовал, затем он мне сказал, что статья эта вследствие неопределенности своей редакции может вызвать впоследствии недоразумения, а потому просил меня разрешить ему представить к этому предмету соображения. Я это разрешил, и он мне представил краткую записку с проектом своей редакции (находится в архиве совета министров). Я почел нужным, как статью проекта основных законов о Финляндии, так и записку Мехелина с предложенной им редакцией сейчас же переслать Герарду и просить его прибыть на заседание совета министров, в котором обсуждалась, между прочим, статья о Финляндии. Это был второй раз, когда я видел Герарда с тех пор, как он стал генерал-губернатором, и на этот раз обсуждал с ним вопрос, касающийся Финляндии. На заседания совета, в которых рассматривался проект основных законов, имея в виду Финляндию, кроме генерал-губернатора Герарда я пригласил вице-председателя Государственного Совета Фриша и члена Государственного Совета известного профессора Таганцева, как лиц, которые в последние 10—15 лет до 17 октября участвовали во всех комиссиях, имевших целью большее объединение Финляндии с империей, и которые (в особенности Таганцев) считались большими партизанами мысли наибольшего объединения хотя бы с нарушением некоторых данных или присвоенных Финляндией конституционных вольностей. На этом заседании была единогласно отвергнута редакция Мехелина, и взамен вышеприведенной редакции была принята

следующая, приобревшая силу основного закона: «Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства».

Редакция эта была установлена в полном согласии с Герардом. Указывая, что, будучи премьером, все дела, касающиеся Финляндии, решались помимо меня, я этим нисколько не хочу сказать, что Н. Н. Герард сделал какую-либо ошибку в своем управлении. Напротив того, я уверен в том, что он вел по тому времени вполне разумную политику, что благодаря ему Финляндия тогда начала успокаиваться. Я думаю даже, что если бы он остался, то Финляндия вполне успокоилась бы. Все упреки в том, что он будто бы мирволил финляндцам, что он вел Финляндию почти к полному отделению от империи,—все подобные упреки черносотенной и рептильной печати (особливо «Нового Времени») представляют сплошную ложь и клевету.

Конечно, Н. Н. Герард и умнее, и патриотичнее, и государственнее всех его подобных критиков. Но, может быть, действительно новый выборный закон в Финляндии пошел более, нежели это было осторожно, в сторону демократическую, точно так и другие законодательные меры пошли более, нежели это было осторожно, в левую сторону. Но едва ли Герард здесь в чем-либо грешил; это было осуществление манифеста по Финляндии от 22 октября, именно того манифеста, о котором я говорил ранее и в появлении коего на свет Герард не принимал никакого участия. Герард стоял строго на почве законности и конституционных начал так, как они понимались по отношению Финляндии вплоть до наступления Бобриковского режима.

То, что дано и получило историческою давностью права гражданства, он защищал и в этих пределах строго поддерживал интересы империи и в особенности права великого князя финляндского, императора всероссийского.

Такою лойяльною политикою он внушил к себе уважение финляндцев, и следует думать, что этим путем он достиг бы желательного объединения, скажу более, отождествления интересов Финляндии с интересами всей империи. Это путь медленный, но зато прочный и бескровный... Затем я виделся с Герардом лишь после того, как он оставил пост финляндского генерал-губернатора в 1909—1910 году.

На мой вопрос о том, как к нему относился государь император во время его генерал-губернаторства и при оставлении поста этого, он мне ответил, что, принимая место финляндского генерал-губернатора, он подробно докладывал его величеству

свои взгляды и план своего управления и что его величество вполне все это одобрил, что затем он все время пользовался благоволением и одобрением государя, и что таким образом он не может сказать, что его уход был вызван государем, но что у него являлись постоянные скрытые несогласия не столько с мнениями министерства, сколько с его действиями или, вернее, с кликою бывших сотрудников Бобрикова и Плеве, которыми себя окружал Столыпин...

На мое замечание, что ведь Столыпин то действует не без одобрения государя, он мне заметил: «Но вы же знаете его величество?» Затем у нас перешел разговор на Столыпина. Тогда я искренно считал Столыпина честным политическим деятелем, т.-е. за человека с убеждениями, не могущим действовать иначе, как по убеждению; иначе говоря, я его не считал политическим угодником, действующим из-за карьеры и из-за положения, и приписывал многие его странные действия неопытности и государственной необразованности. Я это высказал Герарду, резюмируя мое мнение словами: «Столыпин человек ограниченный, но честный и бравый», на это Герард мне заметил: «Поверьте мне, что Столыпин не так ограничен, как вы думаете, и, в особенности, далеко не так честен, как вы воображаете. Это я вам говорю на основании моих с ним отношений во время моего генерал-губернаторства, и в доказательство сего я имею много фактов».

Зная, что Н. Н. Герард зря таких слов не скажет, я все-таки первое время после этого свидания не хотел верить Герарду, говоря себе: «Нет, он ошибается». К сожалению, после мне часто приходило на мысль: «А ведь Герард был более нежели прав»...

Вместо Герарда был назначен начальник дивизии в Финляндии генерал-лейтенант Бекман. Когда Бекман был назначен, он почему-то счел нужным ко мне явиться в мундире с лентой. Я был очень удивлен такою непривычною в последние годы (после моего ухода с премьерства, когда его величеству было угодно выказывать мне на каждом шагу знаки своего пренебрежительного неблаговоления) любезностью.

Я его в первый раз видел, и он произвел впечатление прямодушного и честного генерала. Я его спросил, в каких отношениях он находится с Герардом; он мне ответил—в самых лучших, и отлично отозвался о Герарде. На мой вопрос, какой же политики он намерен держаться, он мне ответил: «той, какой мне м о й в е л и к и й к н я з ь укажет». Я сначала думал, что он говорит о великом князе финляндском, самодержце всероссийском, и такой ответ в устах генерала Бекмана, всю жизнь проведшего в войсках, мне показался совершенно естественным, но из дальнейшего разговора я понял, что он с в о и м великим

князем называет главнокомандующего войсками петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича...

Затем я вторично увидал генерала Бекмана, когда он подвергся участи Герарда и был назначен в Государственный Совет, как член неприсутствующий. Он вторично, по случаю назначения членом Государственного Совета, почел нужным ко мне явиться (в 1910 г.). Я его спросил, почему он был вынужден уйти? На это он мне дал характеристичный ответ. Характеристичный в том смысле, что он иллюстрирует всю политику, которую ныне ведет власть в России: «Герард не считал возможным изменять существующие в Финляндии законы иначе, как в порядке финляндской конституции, и понимал эти законы по их точному разуму и истинному духу. Я не держался этого мнения, я держусь того убеждения, что государь император может изменить эти законы своею властью и издать вместо них новые, но от меня требовали, чтобы я существующие в Финляндии законы понимал и исполнял не по их точному разуму и истинному духу, а по тому толкованию, какое признается правительством в данный момент удобным; на последнее я согласиться не мог, так как я честный солдат».

После, когда Государственная Дума и Государственный Совет в угоду правительству провели недавний закон о порядке решения финляндских дел, имеющих обще-имперский характер, в силу которого можно признать всякий финляндский вопрос общеимперским и решить вопреки мнению сейма, и притом провели этот закон с иезуитским утверждением, будто бы все это находится в совершенном соглашении с финляндской конституцией, я себе подумал: «Вероятно, солдатская честность, о которой говорил генерал Бекман, есть особая честность»...

По поводу финляндских дел не могу не указать на роль, которую играла в этих делах императрица Мария Феодоровна. Как только Куропаткин затеял травлю финляндцев, она стала против этой политики. Она терпеть не могла Плеве, а относительно Куропаткина говорила (я сам слышал), что не считает его серьезным человеком, и его беда заключается в том, что он хочет себе памятник еще при жизни. Она уговаривала государя не травить финляндцев. Ее отец, старик, король датский, дед государя, писал ему то же самое.

В результате государь перестал при путешествиях заграницу заезжать к своему деду в Данию. Императрица же Мария Феодоровна постепенно начала терять всякое влияние на своего сына. Теперь отношения самые натянутые, поскольку это возможно в их положении.

Императрица Мария Феодоровна женщина невыдающегося ума, весьма почтенная, благородная, много в жизни перенесла и потому многому научилась, замечательно приветливая, верная в своих чувствах, благодарная, она действительно — императрица. Замечательно, что по мере того, как влияние ее на государя падало и отношения между ней и молодой императрицей делались все более и более натянутыми, в среду революционеров-анархистов систематически пускались ложные слухи, и я имею некоторое основание полагать, что слухи эти пускались добровольными лакеями молодой императрицы о таких действиях императрицы-матери, которые возбуждали анархистов к террористическим действиям, т.-е. к покушениям против ее величества. Так, одно время распускали слух, что императрица-мать против конституции и что она советует государю взять обратно 17 октября.

Я знаю достоверно, что ничего подобного не было и нет, да она уже не имела никакого влияния на государя.

Не она, а императрица Александра Феодоровна конспирирует с союзом «истинно-русских людей», со всеми Дубровиными, отцами Иллиодорами и прочими политическими негодяями и кликушами. Не она им денежно помогает и не она привела государя в то постыдное положение, в котором наш государь ныне находится. Уж если кто в этом наиболее виновен, то это императрица Александра Феодоровна.

Этого убеждения держатся все умные царедворцы, в интимных разговорах это тихонько высказывают, но, конечно, на виду перед нею преклоняются и лакейничают.

Императрица Мария Феодоровна кроме того мужественна; несмотря на то, что ее предупреждают об опасностях, она ездит всюду и заграницу и приезжает в Петербург.

Императрица же Александра Феодоровна заперлась с венценосным супругом в крепости—дворцах Царского Села и Петергофа. Они никуда не показываются и оттуда дают телеграммы женам мужей, за них погибающих от рук подлых убийц-революционеров, хваля их мужество, и объявляют, что «мне жизнь не дорога, лишь бы Россия была счастлива» (телеграмма Государственному Совету в этом году по поводу открытия довольно о т д а л е н н о г о п р и г о т о в л е н и я к неопределенному покушению на жизнь государя и некоторых сановников) [1].

[1]) Как потом оказалось, это было провокаторство, устроенное Азефом—агентом нашей полиции.

Странная особа императрица Александра Феодоровна. Когда подбирали жену цесаревичу (будущему императору Николаю II), за несколько лет до смерти Александра III, ее привозили в Петербург на смотрины. Она не понравилась. Прошло два года. Цесаревичу невесты не нашли, да серьезно и не искали, что было большой политической ошибкой. Цесаревич естественно сошелся с танцовщицей Кшесинской (полькой). Об этом Александр III не знал, но это подняло приближенных, все советовавших скорее женить наследника.

Наконец император заболел. Он и сам решил скорее женить сына. Вспомнили опять о забракованной невесте Алисе Дармштадтской. Послали туда наследника делать предложение. Привожу по этому предмету рассказ, сделанный мне глаз-на-глаз нашим нынешним почтеннейшим послом в Берлине, графом Остен-Сакеном, когда я был проездом в Берлине, едучи в Нордерней к канцлеру, тогда еще графу Бюлову, заключить торговый договор (1904 г.).

«При Александре II я был поверенным в делах в Дармштадте и знал всю великогерцогскую семью.

При Александре III этот пост был уничтожен, и я был переведен в Мюнхен. Когда наследник поехал в Дармштадт, меня туда командировали. В первый день приезда после парадного обеда я пошел к старику обер-гофмаршалу, с которым был очень дружен, когда еще был поверенным в делах в Дармштадте. Разговорившись с ним, говорю: когда я уезжал, принцесса была девочкой, скажите откровенно, что она из себя представляет? Тогда он встал, осмотрел все двери, чтобы убедиться, не слушает ли кто-нибудь, и говорил мне:

«Какое для Гессен-Дармштадта счастье, что вы от нас ее берете».

Когда она приняла предложение (еще бы не принять!), то она, несомненно, искренно выражала печаль, что ей приходится переменить религию. Вообще это тяжело, а при ее узком и упрямом характере это было, вероятно, особенно тяжело. Как ни говорите, а если мы и в особенности «истинно-русские» люди хулим субъекта, переменяющего религию по убеждению, то ведь не особенно красивый подвиг переменить таковую из-за благ мирских. Не из-за чистоты и возвышенности православия (по существу православия это, несомненно, так) принцесса Alix решилась переменить свою веру. Ведь о православии она имела такое же представление, как младенец о теории пертурбации небесных планет.

Но, раз решившись переменить религию, она должна была уверить себя, что это единственная правильная религия человечества. Конечно, она и до сих пор не постигает ее сущности (и многие ли ее понимают?), но затем совершенно обуялась ее формами, в особенности столь красивыми и возвышенно поэтич-

ными, в каковых она представляется в дворцовых архиерейских служениях.

С ее тупым, эгоистическим характером и узким мировоззрением, в чаду всей роскоши русского двора, довольно естественно, что она впала всеми фибрами своего «я» в то, что я называю православным язычеством, т.-е. поклонение формам без сознания духа—проповедь насилием, а не убеждением: или поклоняйся, или ты мой враг, и против тебя будет мой самодержавный и неограниченный меч; я так думаю, значит, это так; я так хочу, значит, это правда и правда—мое право. При такой психологии, окруженной низкопоклонными лакеями и интриганами, легко впасть во всякие заблуждения.

На этой почве появилась своего рода мистика—Филипп, Серафим, гадания, кликуши, «истинно-русские» люди. Чем больше неудач, чем больше огорчений, тем более душа ищет забвения, подъема оптимизма в гадании о будущем. Ведь предсказатели всегда, особенно царям, говорят: потерпи, а потом ты победишь, и все будут у ног твоих, все признают, что только то, что исходит от тебя, есть истина и спасение...

Если бы государь имел волю, то такая жена, как Александра Феодоровна была бы соответственная. Она жена императора и только. Но несчастье в том, что государь безвольный. Кто может иметь на него прочное и непрерывное влияние? Конечно, только жена. К тому же она красива, с волею, отличная мать семейства. Может быть она была бы неприятна для царя с волей, но не для нашего царя. В конце концов она забрала в руки государя. Несомненно, что она его любит, желает ему добра—ведь в его счастии ее счастие. Может быть, она была бы хорошею советчицею какого-либо супруга—немецкого князька, но является пагубнейшею советчицею самодержавного владыки Российской империи. Наконец, она приносит несчастье себе, ему и всей России... Подумаешь, от чего зависят империя и жизни десятков, если не сотен миллионов существ, называемых людьми. О том, какое она имеет влияние на государя, приведу следующий факт, несколько раз повторявшийся. Когда после 17 октября государь принимал решения, которые я советовал не принимать, я несколько раз спрашивал его величество, кто ему это посоветовал. Государь мне иногда отвечал: «Человек, которому я безусловно верю».

И когда я однажды позволил себе спросить, кто сей человек, то его величество мне ответил: «Моя жена».

Конечно, и императрица Александра Феодоровна, и бедный государь, и мы все, которые должны быть его верными слугами до гроба, а главное Россия были бы гораздо счастливее, если бы принцесса Alix сделалась в свое время какой-нибудь немецкой княгиней или графиней...*

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ.

Учреждение Государственной Думы. Основные законы.

* После 17-го октября в соответствии с манифестом и моим всеподданнейшим докладом предстояло изменить закон о Государственной Думе 6-го августа и соответственно изменить положение об учреждении Государственного Совета. Обе эти работы должны были быть, согласно высочайшему повелению, произведены в особой комиссии под председательством председателя Государственного Совета графа Сольского в составе всего министерства, председателей департаментов Государственного Совета и некоторых приглашенных членов Государственного Совета. Работа эта была поручена комиссии под председательством графа Сольского, с одной стороны, потому что касалась учреждения Государственного Совета, а с другой—потому, что совет министров был завален другими более горячими делами. Обе эти работы не вызвали никаких особых разногласий и прений, так как принципы были установлены 17-м октября.

Мне недавно пришлось читать в каком-то русском издании, будто после17-го октября вся законодательная власть должна была быть передана Государственной Думе, а Государственный Совет должен был быть если не уничтожен, то кастрирован. Едва ли такое мнение имеет какое-либо основание и вытекает из актов 17-го октября. Отчасти эта мысль верна в том отношении, что тогда никто в комиссии графа Сольского не предполагал, что Государственный Совет будет буквально повторять всю работу Думы, а будет лишь относиться в работе Думы принципиально и не соглашаться с Думою лишь в случае принципиальных разногласий. Вышло так, что явилось как бы две палаты, производящие

одни и те же манипуляции с проектами, внесенными на их обсуждение: это произошло отчасти вследствие неопытности Государственной Думы в редактировании законопроектов, а затем вследствие того, что правая часть Государственного Совета являлась большею частью принципиальным противником Думы, а потому, раз Дума сказала «белое», эта партия Государственного Совета уже по тому самому склонна сказать «черное».

При обсуждении в комиссии графа Сольского учреждений Думы и Государственного Совета в соответствии с актами 17-го октября один член оной, Половцев, обращал внимание на то, что Дума и Государственный Совет не будут в состоянии заниматься редактированием законопроектов, что они лишь должны решать все основания их, а для редактирования их нужно организовать особую комиссию из членов Думы и Государственного Совета, но на это предложение не было обращено внимания, так как все спешили. Между тем мысль эта, сочувствие которой я высказал тогда же, заслуживает внимания. Дума и Государственный Совет не могут подобающим образом заниматься редакцией. Многие разногласия между этими учреждениями—редакционные и подлежали бы в учреждениях соответствующей инстанции устранению.

При обсуждении сказанных учреждений Думы и Государственного Совета, конечно, как глава правительства и в виду моего влияния на графа Сольского, я имел преимущественное влияние на решения. Тогда я поддерживал мысль, чтобы члены Думы выбирались на более или менее продолжительный срок, дабы не приходилось постоянно иметь дело с новичками в работе и чтобы вырабатывались в Думе традиции. В виду этого был принят пятилетний срок полномочий членов Думы.

Я также предлагал, чтобы выборные члены Государственного Совета выбирались на девять лет и чтобы каждые три года из этого девятилетия одна треть выбывала по жребию и вместо нее производились новые выборы трети. Это тоже было принято, но тогда же против моего предложения относительно выборных членов Государственного Совета от земства запротестовал обер-прокурор святейшего синода князь А. Д. Оболенский. Он заявил, что существующие ныне земства по положению 80-х годов (Александра III) не пользуются сочувствием населения, что после 17-го октября Россия прежде всего ждет изменения этого положения и возвращения к принципам земского положения 60-х годов (Александра II) и что, не изменив земского положения, совершать выбор членов Государственного Совета по положению 80-х годов значит возбуждать все общественное мнение. Это заявление произвело впечатление, и для членов Государствен-

ного Совета от земства был установлен срок трехлетний, с тем, чтобы после, когда положение о земствах изменится, был введен и для них девятилетний срок с трехлетним обновлением трети членов. Но вот прошло с тех пор 6 лет—и об изменении земского положения и слуха нет. Положение о земствах 80-х годов считали неудовлетворительным, так как в нем умалено значение голосов крестьянства, иначе говоря, что это земство преимущественно интересов сильных, а не слабых, и что потому нужно вернуться к началам земства 60-х годов, где интересы слабых (крестьян) представляются с большей полнотой. Если же по нынешним временам вздумали бы менять положение о земстве, то, конечно, усилили бы еще больше влияние сильных, а не слабых, т.-е. еще принизили бы голос крестьян и усилили бы значение поместного владения, особливо партии революционного маразма. Действительно, в эти годы ввели земства в некоторых западных губерниях, при чем в положении об этих земствах голос крестьянства был существенно принижен в пользу голосов п р а в о с л а в н ы х помещиков.

Вот как переменились времена, но на долго ли?...

При объявлении в манифесте от 20-го февраля новых положений о Государственной Думе и Государственном Совете было определено, как правительство будет поступать при прекращении занятий Государственной Думы, т.-е. при ее вакациях. Тогда говорилось в манифесте:

«Если ч р е з в ы ч а й н ы е обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, совет министров представляет о ней нам непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменения ни в основные государственные законы, ни в учреждения Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Государственную Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект, или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет».

Это положение буквально и вошло в основные законы (статья 87), о которых я буду говорить далее.

Как же Столыпин без зазрения совести начал применять эту статью?

Он под меры, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами, начал подводить самые капитальнейшие вещи, которые ждали своего осуществления десятки и десятки лет (крестьянский вопрос, вопросы веротерпимости), и начал объявлять новые за-

коны капитальнейшей важности на основании статьи 87-й, для этого он распускал и во-время не собирал Думы и даже распускал законодательные учреждения на 3 дня, чтобы провести капитальнейшие законы, ждавшие десятки лет своего осуществления (земства в западных губерниях). Одним словом, на основании этой статьи, бессовестно коверкая настоящий и совершенно ясный смысл ее, он начал перекраивать Россию.

Третья Государственная Дума, в большинстве своем лакейская, угодническая, все это переносила, против этого должным образом Дума не реагировала, ибо она была не выбрана Россией, а подобрана Столыпиным. Сам закон 3 июня, который был введен как государственный переворот (coup d'état), таков, чтобы Дума в большинстве своем не выбиралась, а подбиралась правительством.

Почти одновременно с учреждениями Государственного Совета и Думы были опубликованы законы о составлении и исполнении государственной росписи. Законы эти составлялись также в совещании под председательством графа Сольского, но все главнейшие основания были мною указаны. Когда статс-секретарь Государственного Совета после заседаний принес мне проект этих правил для прочтения, то я ему сказал, что правила эти изображают те мысли, которые я в заседании высказывал, а потому я их разумею, но, с своей стороны, нахожу, что в некоторых местах редакция этих правил столь неопределенна, что может при исполнении породить недоразумения, на что статс-секретарь мне ответил:

«Ваше сиятельство, я не могу об этом доложить графу Сольскому; если я приеду и ему доложу, что он сделал, по вашему мнению, что-либо неумное, он не обидится, но если я ему скажу, что редакция, им одобренная и исправленная, по вашему мнению, неудовлетворительна, то он горько обидится».

Хотя в некоторых местах редакция и была немного исправлена, но в общем осталась прежняя. Третья Государственная Дума в этом году намеревалась изменить эти правила, но закон не прошел вследствие разногласия с Государственным Советом. Правила эти с самого открытия новых законодательных учреждений в главном не исполнялись и не исполняются. Согласно этим правилам, 1-го декабря проект государственной росписи должен уже быть представлен Думою Совету, а Совет должен рассмотреть бюджет так, чтобы с 1-го января государственная роспись была уже законом и исключение из сего, т.-е. замедление на несколько дней предполагалось, как исключение. В действительности же государственная роспись никогда за все время существования Думы не опубликовывалась ранее конца апреля—июня месяца.

Таким образом страна живет добрую часть года без законной росписи. Согласно этим правилам проект открывает в пределах проекта росписи временные кредиты. В других странах, если эти кредиты открываются, то законодательными палатами, а не министерством. Так как я предполагал, что роспись будет, как общее правило, опубликовываться до 1-го января и в виде исключения (отъезд государя или какой-либо непредвиденный случай) может вызвать незначительное опоздание, то на этот случай предвидел открытие временных кредитов правительством. Повод к нарушению закона о срочности росписи дало само правительство, не собирая своевременно Государственную Думу в сентябре месяце и не настаивая на исполнении законных сроков. Может быть, это сначала и было выгодно правительству Столыпина, так как этим путем оно являлось до известной степени произвольным распорядителем росписи. Действительно, раз в первой части года нет законной росписи, которая вступает в силу только во второй половине его, а затем отчет государственного контроля вносится на рассмотрение Думы лишь через год, да при этом без должных объяснений цифр или, вернее, с недомолвками там, где эти недомолвки нужны для правительства, то, конечно, при таком положении вещей утверждение Думою росписи не имеет должного значения. Практика третьей Думы показала, что рассмотрение Думою отчета государственного контроля есть простая формальность. Правительство там, где хочет, отмалчивается, а Государственная Дума, отчасти по неопытности, а главнейше по угодничеству, на серьезном анализе отчета не настаивает, может быть, руководствуясь пословицею, «что с воза упало—то пропало». Затем согласно этим правилам о государственной росписи расход на непредвиденные надобности в 10 миллионов рублей не подлежит обсуждению, и только его увеличение подлежит утверждению законодательных собраний. Когда писался этот закон, то предполагалось, что остается в силе другой закон, в силу которого министр финансов представлял ежемесячно Государственному Совету сведения о расходах, производимых из этого десятимиллионного фонда. Между тем, правительство никаких сведений новым законодательным собраниям об этих расходах не представляет, ссылаясь на то, будто закон о представлении ежемесячных сведений не имеет силы, потому что там говорилось о старом Государственном Совете. Третья Государственная Дума молчаливо согласилась с таким объяснением, хотя оно по меньшей мере спорно. Если прежде ежемесячно представлялись сведения в старое законодательное собрание, то казалось бы, что они должны представляться и в новые. Затем правительство применяет самым широчайшим образом статью 17 правил, тогда как я имел в виду, что они могут применяться только в исключительных слу-

чаях, что, впрочем, явствует из добросовестного толкования ее редакции.

Одним из наиболее важных законов, прошедших через мое министерство, но обнародованных через несколько дней после моего ухода и назначения председателем совета Горемыкина, были основные государственные законы. Законы эти в значительной степени забронировали новый государственный строй, введенный 17-м октября и ныне действующий в исковерканном виде вследствие беззакония, совершенного Столыпиным 3 июня.

Основной государственный закон Российской империи в самом демократическом духе с выборами по четыреххвостке и с приведением власти государя к власти главы Швейцарской (даже не Французской) республики выработала еще в конце 1904 года или в начале 1905 года группа земских деятелей, принимавших участие в известных в то время совещаниях земских и городских деятелей. По образовании моего министерства в первые два месяца ни в совете министров, ни у меня в голове не подымался еще вопрос о необходимости, согласно манифесту 17-го октября и новым законам об учреждении Государственной Думы и Совета и государственной росписи, составить новые основные законы, ибо прежние были совершенно поколеблены актами 17-го октября. Тогда еще не поднимали вопроса, когда издать эти законы, до созыва Государственной Думы или после, с тем, чтобы она приняла в этой работе участие.

Как-то в самом начале 1905 года граф Сольский в частном разговоре мне сказал, что его величество поручил государственному секретарю разработать проект основных законов, что работой этой занимается государственный секретарь барон Икскуль (человек весьма порядочный, принципиальный, культурный, несколько ядовитый, с большою бюрократическою опытностью, но не с большими идеями) и его товарищ Харитонов (человек умный, отличный чиновник, благодушный, культурный и не принципиальный; Столыпин его совсем обратил в лагерь «чего изволите?»), что он—граф Сольский—слышал, что работа их затем будет передана на рассмотрение частной комиссии под его председательством из сановников по его—Сольского—усмотрению, и что он очень просит меня принять в ней участие.

Несмотря на мои прекрасные отношения к графу, я наотрез отказался, и так как он продолжал меня уговаривать, то я ему сказал, что решил больше не принимать участия в таких комиссиях, ибо одно мое присутствие налагает на меня исключительную ответственность перед современниками и потомством: так было и прежде, а в особенности будет теперь, а между тем многие законы, таким образом вырабатываемые, страдают различными

недостатками. По моему мнению, как вопрос об основных законах, так и самые законы должны составить предмет суждения совета министров, члены которого и я, как председатель, первый буду нести за них ответственность. Ему мой отказ очень не понравился, и через некоторое время после того он мне сказал, что государь решил передать работу Икскуля на его заключение, а потом она будет внесена в совет министров.

В конце февраля я получил от графа Сольского проект основных законов в том виде, в котором он представил его государю. По этому случаю я тогда же всеподданнейше писал его величеству:

«Проект, по моему мнению, с одной стороны, содержит несколько статей таких, которые допустить опасно, а с другой—не содержит таких положений, которые при новом порядке вещей являются безусловно необходимыми. Я говорю об определении, что такое закон, что такое постановление (декрет), издаваемое в порядке верховного управления. В настоящее время почти все представляется законом, ибо, при точном соблюдении положения о Государственном Совете, почти все должно бы было проходить через Государственный Совет. Если такой порядок вещей представлял удобство для монарха, когда Государственный Совет являлся совещательным учреждением, то он может представить самые большие затруднения при новом положении вещей. Об этом я заявлял неоднократно в заседаниях, рассматривавших новые положения о Государственном Совете и Государственной Думе. В экземпляре, переданном мне графом Сольским, статей, касающихся этого предмета, не имеется. Затем у меня есть сомнения относительно основных законов, касающихся опеки. В свое время К. П. Победоносцев и Н. В. Муравьев мне говорили, что ваше величество полагаете в них внести изменение» [1]).

Я в течение всего времени никаких указаний его величества относительно основных законов не получал. Повидимому, в этом деле была какая-то закулисная игра, которая мне открылась впоследствии.

Инициатором вопроса о необходимости основных законов был генерал Трепов, и дело это он хотел провести помимо меня и вообще совета министров, или, вернее, с моим участием лишь в качестве «tête de turc», т.-е. ответчика. Так как я отказался

[1]) Это было после болезни государя в Ялте тифом, когда явился вопрос о престолонаследии в виду особого положения, в котором находилась императрица.

от такой роли, то передали мне проект основных законов через Сольского без всяких указаний. Конечно, государь сам эту работу не читал, покуда она в переделанном виде не была представлена мною его величеству и затем не подверглась обсуждению в совещании под председательством государя.

Совет рассматривал это дело первостепеннейшей важности спешно в течение нескольких заседаний. Сначала само собой явился вопрос, нужно ли издавать основные законы до созыва Думы или нет? В сущности я понимал, что вопрос сводился к тому—сохранить ли новый государственный строй, провозглашенный 17 октября, или посредством кровавых актов его низвергнуть?

В первом случае необходимо было издать основные законы, соответствующие 17 октября, до созыва Думы, во втором—не издавать и в таком случае мне было ясно, что Дума обратится в учредительное собрание, что это вызовет необходимость вмешательства вооруженной силы и что в результате новый строй погибнет. Будет ли это к лучшему?.. Пожалуй, да, если бы явился Петр Великий...

Но такого не было и покуда не предвидится. Поэтому я стоял за необходимость издания основных законов до Думы. Такого же мнения были все члены совета, включая Дурново и Акимова, кроме князя А. Д. Оболенского, который к этому времени совсем сбился с панталыка и кидался от крайнего либерализма к такому же консерватизму. Он, кажется, высказывал, что нужно предоставить это сделать Думе, но я на его мнение уже к тому времени не обращал никакого внимания, и остальные члены совета относились к нему точно так же—одни саркастически, а другие любовно, как к bon enfant. Хотя, вероятно, остальные члены совета не шли в своих предвидениях, которых я и не высказывал, так далеко, как я, и только предвидели вместо Думы учредительное собрание. Мысль совета по этому предмету в журнале, при котором был представлен проект основных законов, переделанных советом, была выражена так:

«Отсрочить составление основных законов до созыва Думы и произвести пересмотр их при ее участии невозможно, что значило бы вместо приступа к деловой, созидательной работе вовлечь впервые собранных представителей населения в опасные и бесплодные прения о пределах собственных их прав и природе отношений их к верховной власти».

Приступив к рассмотрению проекта, нам препровожденного графом Сольским, я прежде всего спросил министра иностранных дел (графа Ламсдорфа) и министров военного и морского (Редигера и Бирилева), нет ли с их стороны по поводу статей, непо-

средственно касающихся отраслей государственного управления, находящихся в их управлении, возражений, и был очень удивлен, когда они мне ответили, что никаких принципиальных возражений они не имеют. Тогда я со своей стороны им высказал, что не могу согласиться с постановкой вопросов в проекте по части внешних сношений, а равно верховенства над вооруженными силами России.

По моему мнению, как ведение внешних отношений, так и управление вооруженными силами должно принадлежать верховному главе правительства, т.-е. императору, и должно составлять предмет обсуждения Думы и Государственного Совета только с точки зрения финансовой, т.-е. государственной росписи. Вследствие такого моего заявления граф Ламсдорф, а затем военный министр по соглашению с морским представили свои соображения и проекты подлежащих статей, которые были рассмотрены совещанием и составили предмет изменений и новых статей в основных законах, в силу которых государь является свободным руководителем и вершителем внешних сношений, а также властным державным вождем армии и флота.

Я считал и поныне убежденно считаю, что вмешательство в эти дела Думы при существующих условиях страны, которые еще долго не переменятся, было бы бедствием и имело бы последствием понижение мирового влияния России. Наверно, мне будут возражать, указывая на безобразие затеи и исполнения Японской войны. Ошибки, безумие всегда возможны в человечестве но, тем не менее, стоит только посмотреть на карту России при Иоанне Грозном, Петре Великом и при Николае II, чтобы видеть, что едва ли какая-либо страна в мире сделала в такой промежуток такие гигантские шаги в области внешних сношений и приобретений. В царствование Николая II были сделаны громадные ошибки в этой области. Дай бог, чтобы они не повторялись...

Затем в совете я снова поднял вопрос, о котором, как сказано выше, я писал его величеству, о необходимости в основных законах разграничить области действия закона и декрета. Совет по этому предмету высказал, что, в виду доказанной законодательным опытом невозможности точно разграничить по содержанию своему законы от повелений в порядке верховного управления, необходимо подробнее определить в основных законах те области, в которых верховная власть осуществляется единолично. Поэтому совет почел необходимым, согласно с действовавшим в то время законом, точно определить существо принадлежащей императору власти верховного управления; при чем было придано указам о проведении законов в исполнение более распространительное определение: было упомянуто о праве государя издавать указы для устройства частей государственного управления, для ограждения государственной и общественной без-

опасности и порядка и для обеспечения народного благосостояния. Далее совет счел необходимым более подробно определить власть монарха по отношению к состоящим на государственной службе должностным лицам, при чем особо оговорил права государя увольнять от службы всех состоящих на государственной службе и только относительно представителей судебного ведомства в совете министров произошло разногласие.

Большинство, в котором состоял и я, полагало, что это право императора должно относиться и к деятелям судебного ведомства, а меньшинство полагало сохранить право несменяемости судей, установленной судебным уставом Александра II. Затем совет нашел необходимым упомянуть в основных законах о праве государя: чеканки монеты, объявления местности на военном и исключительном положении, давать общее прощение лицам, совершившим преступные деяния, слагать казенные взыскания, установлять ограничения в отношении свободы жительства и приобретения имущества в местностях, признаваемых важными в военном отношении. Совет почел необходимым далее оговорить в законе, что от государя вполне зависит определение пространства и свойства прав в отношении имущества царствующего императора, удельных и кабинетных, так и устройства ведомства мператорского двора.

Во избежание каких-либо недоразумений в основных законах совет постановил подтвердить права императора утверждать предположения подлежащих установлений и должностных лиц относительно возбуждения уголовного преследования против высших служащих и предания их суду, а также относительно лишения прав лиц привилегированных состояний.

Затем, так как проект основных законов Российской империи будет отличаться от прочих законов не только своей капитальной важностью, а также и тем, что они в силу сих законов будут подлежать пересмотру только по почину верховной власти, тогда как остальные законы по учреждениям Государственной Думы и Государственного Совета могут с открытием законодательных палат, при соблюдении в учреждениях этих определенных условий, изменяться по их инициативе, то совет почел необходимым внести в основные законы наиболее важные постановления только что тогда высочайше утвержденных новых правил государственной росписи. Было также включено советом в основные законы правило о том, что при неутверждении к установленному сроку (1 мая) законопроекта о контингенте новобранцев, количество призываемых в войска определяется не свыше прошлогоднего призыва. Правило это включено в основные законы

с целью устранения в таком жизненном для государства деле обструкции законодательных палат.

Далее была несколько изменена глава 5-я о совете министров, которая была редактирована в смысле некоторой зависимости министерства от палат (парламентаризм) и ответственности министров за направление деятельности только перед императором, а за нарушение долга службы перед судом, а также была включена статья, подтверждающая свободу совести на основании указа от 17-го апреля 1905 года об укреплении веротерпимости. Я перечислил только главнейшие изменения, которые внес совет в проект основных законов, мне по высочайшему повелению переданный графом Сольским.

Это дело является характерным показателем того сумбурного психологического состояния, которым в то время было охвачено не только русское общество, все без каких бы то ни было заметных исключений, но и его представители. Почин изданию основных законов дает дворцовый комендант, вроде диктатора, генерал Трепов.

О нем я достаточно говорил ранее. Какие пружины им руководили, мы увидим далее.

Работа эта с высочайшего соизволения поручается государственному секретарю (благонамеренному либералу) и его товарищу (умному чиновнику pour tout faire). Компилятивная из всяких конституций работа этих чиновников попадает в руки образованнейшего, благодушно-либерального, талантливого иерарха русской петербургской аристократо-бюрократии (учился в лицее, а затем всю жизнь работал в Государственном Совете, как же не аристократ-чиновник?), а затем под его штемпелем приходит ко мне, главе правительства, в то революционное время. И если бы эти основные законы я пропустил, то оказалось бы, что государь вторично после 17 октября добровольно, или, вернее, бессознательно ограничил свою власть не только до степени несравненно ниже власти микадо нашумевшей в последние десятилетия Японской империи, но ниже власти французского, а в некотором отношении даже швейцарского президента республики. С такими основными законами государство и его правительство было бы политически кастрировано, находясь под ударами таких сдвинувшихся из равновесия людей, какими являлись в значительном числе депутаты первых Государственных Дум. И, конечно, в конце концов, кто бы оказался виновным в беззубых основных законах, которые бы еще усилили смуту? Конечно, не кто иной, как Витте...

20 марта я представил государю проект основных законов так, как они были изменены советом.

Наступили светлые праздники, и его величество для рассмотрения этого дела собрал совещание под своим председательством после праздников, в конце марта или начале апреля. В совещании присутствовали: министерство, значительное число членов Государственного Совета, в том числе граф Пален (бывший при Александре II министром юстиции), Горемыкин, граф Игнатьев—все по приглашению его величества, затем великие князья Владимир Александрович, Николай Николаевич и Михаил Александрович со своим не то воспитателем, не то советником, генералом Потоцким.

При обсуждении были некоторые характеристичные прения. Главнокомандующий войсками гвардии великий князь Николай Николаевич по поводу статьи о новобранцах выражал мнение, что было бы желательно, чтобы количество призываемых ежегодно новобранцев определялось в порядке верховного управления помимо законодательных собраний. Ему возражал великий князь Владимир Александрович, что количество призываемых новобранцев весьма затрагивает весь быт населения и что поэтому, если разрешили организовать Думу и Государственный Совет, то нельзя помимо их издавать указы, очевидно, имеющие характер не повеления, а закона, что одно из двух: или не верить, или верить в будущую Думу; если не верить в патриотичность русских людей, то нечего и созывать Думу, а если верить, то нельзя такой важный закон, как определяющий число новобранцев, проводить без Думы. В заключение великий князь Владимир Александрович сказал: «Я с своей стороны верю в Россию, в русских людей, верю, что Дума будет патриотична, потому что она будет состоять из русских людей, а потому отношусь к будущему без опасения». В результате предложение великого князя Николая Николаевича не было принято государем.

Затем прения вызвали разногласие между членами совета министров о несменяемости судебных деятелей. За сменяемость говорили министр юстиции Акимов и я.

Мои соображения заключались в том, что принцип несменяемости судей у нас был принят при самодержавном и неограниченном императоре и касался не государя, а министра юстиции и вообще высшей юстиции и администрации, что после 17 октября является новое положение вещей, при котором атрибут неограниченности монарха отпадает, а потому является вопрос, который должен быть решен ныне основными законами, будет ли государь иметь право в случае, если он признает нужным, сменить судью или нет. Мне кажется, что если это право будет принадлежать государю, но не подчиненным ему лицам и учреждениям, то оно скорее будет служить обеспечению независимости и беспристрастности судей.

Граф Пален горячо возражал против сменяемости, упустив, вероятно, из виду, что он сам, будучи министром юстиции, вследствие принципа несменяемости уничтожил назначение судебных следователей, как лиц, затем не сменяемых, и всюду ввел исправляющих должность судебных следователей, дабы они были сменяемы. И теперь у нас почти все судебные следователи—исполняющие должность. Затем Горемыкин также настаивал на несменяемости.

Государь согласился с меньшинством.

Во что же ныне обратилась эта несменяемость при режиме Столыпина-Щегловитова?..

Как предлагало большинство членов совета, сменяемость допускалась в виде исключения по усмотрению государя, а теперь, несмотря на несменяемость, господин Щегловитов сменяет кого вздумает, и судебное ведомство впало в маразм угодничества министру юстиции, от которого зависит благосостояние судебного персонала.

По поводу статьи 35 о неприкосновенности частной собственности произошел между мною и Горемыкиным обмен мнений, который, как я тогда не думал, будет затем иметь важное значение.

Рассуждая об этой статье, которая осталась в редакции, установленной советом, Горемыкин между прочим высказал, что предстоящую Думу, а срок открытия ее уже приближался, вообще не следует допускать говорить о принудительном, хотя бы возмездном отчуждении, а в случае, если она не подчинится этому требованию, то правительство должно будет Думу разогнать.

Это решительное мнение, повидимому, понравилось многим присутствовавшим и, кажется, государю. Я с своей стороны заметил, что не могу согласиться с таким заключением и советом. Можно не разделять мнения о принудительности отчуждения, но из этого не следует, чтобы Думе воспрещать обсуждать эту меру и проектировать по этому предмету законы. Это именно такой вопрос, который должен составить предмет преимущественных суждений Думы, и если эти обсуждения будут корректны по форме, то я решительно не вижу причины за то, что она захочет сосредоточиться на крестьянском вопросе, Думу разогнать. Если она решит что-либо несоответствующее, то для этого и проектирована вторая палата—Государственный Совет, чтобы недомыслия или увлечения Думы не пропускать. Этот обмен мыслей так и кончился. А затем, как это будет видно далее, это разногласие во мнениях послужило одним из мотивов моего прошения об отставке. Оно послужило Горемыкину лестни-

цею, чтобы при помощи Трепова занять после меня пост председателя, а затем, по крестьянскому вопросу, и разогнать первую Думу. Мысли, им тогда выраженные, как бы служили представлением его программы, а когда он был назначен, то и должен был эту программу выполнить.

В конце концов после обсуждения основных законов в проекте, представленном советом, государю благоугодно было сказать, что он принимает этот проект с теми незначительными, преимущественно редакционными, изменениями, которые были во время совещания решены. Проект в окончательной редакции был подписан, и дело я считал конченным. Это уже было в начале апреля.

В это время я уже окончил дело с займом и немедленно вслед за тем, а именно 14 апреля, написал государю письмо, прося его освободить меня от поста председателя совета. 15 апреля последовало согласие его величества и 22 апреля оно было официально опубликовано. Я явился к государю и государыне. Их величества были весьма любезны и милостивы со мною. Уже было решено, что мое место займет Горемыкин, который составлял новое министерство, а между тем основные законы все не опубликовывались. До меня уже дошли слухи, что они и не будут опубликованы.

Тогда уже, переехавши из запасной половины Зимнего дворца к себе в дом, я позвал по телефону генерала Трепова и сказал ему следующее: «Всем известно, что я уже более не председатель совета министров, а просто член Государственного Совета, и я не несу ответственности за последующие действия, но я вас все-таки прошу явиться сейчас же к государю и сказать ему, что я, как верноподданный его слуга, всеподданнейше советую ему немедленно опубликовать основные законы, ибо через несколько дней (27 апреля) открывается Государственная Дума, и если в эти дни до открытия Думы законы не будут опубликованы и Дума начнет действовать, не находясь в рамках этих законов, то последуют большие бедствия».

Генерал Трепов через некоторое время вызвал меня по телефону и сказал мне, что он передал государю в точности мои слова.

27-го апреля законы были опубликованы с некоторыми незначительными изменениями.

Чтобы понять происшедшее замедление в опубликовании основных законов и характер сказанных изменений, следует иметь следующее в виду, сделавшееся мне известным лишь в 1907 году от Владимира Ивановича Ковалевского, бывшего моим

товарищем по посту министра финансов и вышедшего, когда я еще был министром финансов, в отставку. Я не хотел верить Ковалевскому, но он мне представил к своему рассказу доказательства, хранящиеся в моем архиве.

Как только совет министров представил проект основных законов его величеству, он, конечно, сделался известным генералу Трепову, который познакомил с ним В. И. Ковалевского, прося Ковалевского обсудить этот проект и представить свои соображения. Ковалевский пригласил к обсуждению Муромцева (кадет, председатель первой Думы), Милюкова, И. В. Гессена (оба кадета) и М. М. Ковалевского (культурный, образованный, либеральный ученый и теперешний член Государственного Совета). Они составили записку, которая В. И. Ковалевским была передана генералу Трепову 18-го апреля, значит тогда же была представлена его величеству.

Записка эта начинается так: «Выработанный советом министров проект основных законов производит самое грустное впечатление. Под видом сохранения прерогатив верховной власти составители проекта стремились сохранить существующую безответственность и произвол министров» и т. д. в этом роде.

Затем в записке говорится: «Во избежание коренной переработки проекта он принят в основание и затем в него введены частью более или менее существенные, частью редакционные изменения».

Далее следуют все предлагаемые изменения, сводящие власть государя к власти господина Фальера и вводящие парламентаризм, не говоря о крайне либеральном и легковесном решении целого ряда капитальнейших вопросов русской исторической жизни. Эта записка, повидимому, поколебала его величество, и он не утверждал основные законы. Наконец, под влиянием моего разговора с генералом Треповым по телефону, законы эти были утверждены, но были, вероятно, в угоду советникам из заднего крыльца и под влиянием генерала Трепова, либерального вахмистра по воспитанию и городового по убеждению, внесены в них несколько, впрочем, не существенных, изменений. Главнейшие из них следующие:

Ограничено право государя императора издавать указы, вследствие чего увеличилась так называемая законодательная вермишель, загромождающая законодательные собрания, что во время Столыпина, вопреки основным законам, не помешало издать манифест 3-го июня и издавать указы, явно противоречащие законам; введено, что все указы государя императора должны скрепляться председателем совета министров или подлежащим министром, что должно было представлять, как бы тень парламентаризма, ответственность министров не перед одним государем; статья (39-я) о веротерпимости существенно сужена против

редакции, установленной советом и в совещании под председательством его величества, вероятно, под влиянием некоторых иерархов через императрицу Александру Феодоровну.

Изложенная история создания основных законов показывает, как все колебалось в то время и как под влиянием какого-то страха были склонны впадать то в одну, то в другую крайность, и какие разнообразные закулисные воздействия в то время имели место, при чем играла, конечно, значительную роль интрига.

Какое же ныне мое мнение об основных законах так, как они созданы? Конечно, если бы было время, то можно было бы составить их более основательно. Тем не менее, я и теперь убежден в том, что благодаря моему твердому настоянию на проведении этих законов и именно в их нынешней редакции мы избегли окончательного разгона Думы и уничтожения 17 октября, а вследствие того, что законы эти сохранили за государем обширнейшие верховные и державные права, иначе говоря, что они установили конституцию, но конституцию консервативную и без парламентаризма—есть надежда, что режим 17 октября в конце концов привьется, одним словом, что нет более возможности вернуться к старому режиму.

Хорошо ли это? Я думаю, что хорошо, так как Россия ныне не имеет тех элементов и не обладает тою психологией, при которой возможно самодержавное неограниченное управление. Но все это будет недурно, если эти законы будут исполняться. Если же будут продолжать злоупотреблять статьей 87-й, если вопреки основным законам будут в порядке верховного управления держать Россию в режиме всяких исключительных положений, если будут отбирать то, что дано по указу 12-го декабря 1904 года, в том числе полную веротерпимость, если будут продолжать практиковать, несмотря на так называемую конституцию, полицейский режим полнейшего произвола, не бывший даже во времена Плеве, то тогда, конечно, совершенно бесполезно составлять какие бы то ни было законы *.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ.

Главнейшие законодательные меры, проведенные в мое премьерство.

* Из числа законодательных мер, проведенных во время моего премьерства, заслуживают внимания следующие. Одна законодательная мера, не осуществленная, характеристична с точки зрения показателя существовавших в то время настроений. Я говорю о законопроекте по поводу смертных казней.

До 17 октября существовал закон, в силу которого генерал-губернаторы могли предавать преступников военному суду, при чем суд сей обыкновенно кончался смертною казнью преступника. В местностях же, где нет генерал-губернаторов, предание военному суду могло совершаться лишь по соглашению министра внутренних дел с министром юстиции. До 1904 года законом этим пользовались довольно редко. По мере развития революционного настроения этот закон начал применяться чаще.

В 1905 году до 17-го октября и после 17-го, когда начали создаваться временные генерал-губернаторства с объявлением тех или других местностей в исключительном положении и П. Н. Дурново начал усердствовать в угождении развившегося реакционного направления, смертные казни приняли совершенно произвольный характер. За одни и те же преступления в одних местностях предавали военному суду, а в других не предавали. Приговоры военных судов всегда давали смертные казни, при чем в одних случаях приговоры эти получали утверждение, а в других, совершенно одинаковых, не получали. Для того, чтобы обуздать эту игру в рулетку смертных казней, я настоял, чтобы был выработан закон в з а м е н существующего, в силу которого военному суду обязательно предаются лица, совершившие следующие политические преступления: покушение на здоровье

или жизнь правительственных агентов и приготовление, а равно действие взрывчатыми бомбами. За эти преступления анархического характера виновные обязательно должны были предаваться военному суду; суд, признав подсудимого виновным, должен был его присуждать к смертной казни и мог уменьшить это наказание до каторжных работ только при особых обстоятельствах, заслуживающих подсудимому снисхождение. Приговор суда не требовал санкции административной власти (генерал-губернатора или министра внутренних дел). Таким образом случаи предания военному суду весьма суживались. Предание военному суду независимо от административного усмотрения—над подсудимым творили суд, хотя и военный, но независимый. Утверждение решения суда не зависело от административного усмотрения.

Можно быть в принципе за смертную казнь или против нее, но во всяком случае предложенный мною временный закон, уничтоживший существовавший закон о присуждении военными судами к смертной казни, вносил в это дело некоторую закономерность и весьма суживал применение этого рода наказания.

В совете министров два члена—князь Оболенский и Тимирязев—с целью показательного либерализма в то либерально-революционное время высказались против законопроекта. Дабы не ставить его величество в необходимость решать это кровавое дело (в то время министерство полагало, что имя государя должно поменьше касаться крови), законопроект был представлен в старый Государственный Совет, который существовал до предстоящего в ближайшее время открытия новых законодательных учреждений.

Государственный Совет подавляющим большинством голосов принял этот проект. В меньшинстве между прочим был почтеннейший член Государственного Совета, известный профессор Таганцев, который принципиально вообще высказывался против смертной казни, как уголовного наказания. Были и такие члены, которые говорили, что после 17-го октября не следует вводить нового закона со смертной казнью, пусть до поры до времени доживают свой век старые.

Мемория Государственного Совета была представлена его величеству. Государю было угодно согласиться с меньшинством. Он со мною по этому предмету ни разу не говорил. Я слышал, что на него повлиял обер-прокурор святейшего синода, все тот же князь Оболенский, пустив даже в ход влияние митрополита Антония.

Я сожалел, что вопрос о наказании смертною казнью остался в столь безобразном состоянии, но хотел думать, что по крайней мере это служит как бы признаком, что его величество в душе против смертных казней.

*

Затем я ушел. Явилось министерство Столыпина. Как только он вступил после разгона первой Думы Горемыкиным, в министерстве которого Столыпин занимал пост министра внутренних дел, он ввел полевые военные суды по статье 87-й основных законов высочайшим повелением, вероятно, находя, что и прежний закон стеснителен для расходившейся администрации и либерала премьера Столыпина.

По этому закону открывался полный произвол администрации в применении смертной казни. Закон даже требовал, чтобы судьи были не военные юристы, а просто строевые офицеры. Тот же закон был представлен в совет министров главным военным прокурором Павловым (впоследствии убитым анархистом) в мое министерство. Мое министерство единогласно признало этот закон неприемлемым, и более всего возражал против него министр юстиции (ныне председатель Государственного Совета) Акимов.

Собралась вторая Государственная Дума, она не приняла закона о полевых судах, изданного по статье 87. Тогда Столыпин прямо изменил несколько параграфов военного и морского законодательства через военные и адмиралтейские советы так, что в сущности военные и полевые суды, им введенные, сохранились в неприкосновенности. И начали казнить направо и налево, прямо по усмотрению администрации; смертную казнь обратили в у б и й с т в о п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и в л а с т я м и. Казнят через пять, шесть лет после совершения преступления, казнят и за политическое убийство и за ограбление винной лавки на 5 р., женщин и мужчин, взрослых и несовершеннолетних, и эта вакханалия смертных казней существует и поныне.

Третья Государственная Дума, составленная из п о д о б р а н н ы х членов, на все это ни разу не реагировала, как будто она этого не знает. Это тянется уже шестой год, и после того, как Столыпин объявил об «успокоении», его за такие действия укокошили, а порядок, им введенный, поныне действует, и общество на него не реагирует. Наступило то время, когда общественное мнение преимущественно реагирует на карманные интересы...

По манифесту 17 октября было государем императором решено и торжественно обещано даровать населению незыблемые основы гражданской свободы по началам действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов. Гарантиею гражданской свободы служат везде, где такая свобода существует, более или менее культурные законы, соответствующие принципиальным взглядам на граждан (на общество и их членов), установившимся прочно в цивилизованных нациях в XIX столетии; строгое соблюдение сих законов без возможности допущения административного усмотрения и произ-

вола, что, главным образом, достигается независимостью суда; законная неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, союзов.

Что касается наших законов, как их застал манифест 17 октября, то они в общем со времени императора Александра II, можно сказать, соответствовали культурности нации. Императором Александром III под влиянием события 1-го марта законы эти были несколько испорчены преимущественно временными законами, проходившими через комитет министров, в том числе законом об исключительных положениях, суть которых заключается в объявлении той или иной местности вообще или в некоторых отношениях стоящей вне закона, а зависящей от административного, гражданского или военного усмотрения.

Установление законодательных независимых учреждений (Думы и Государственного Совета) давало основание надеяться, что бывшие недочеты в нашем законодательстве будут устранены, и что законодательные собрания эти будут на страже нелицеприятного и строгого исполнения существующих законов. Такая надежда и осуществилась бы, если бы, с одной стороны, Дума политически не опьянела, полагая, что после 17 октября всю монархическую Россию можно свести насмарку, водворив культ принципов демократической республики, а с другой—явился бы более культурный руководитель судьбами России, нежели Столыпин, который бы, поняв необходимость привести Думу к практическому государственному разуму, не сделал этого посредством легкомысленного государственного переворота манифестом и законом 3-го июня 1907 года.

Что касается вопроса неприкосновенности личности, то таковая должна была быть гарантирована законностью и устранением исключительных положений. Закон об исключительном положении был проведен при Александре III не через Государственный Совет, а через комитет министров, а тем не менее, это есть закон, как и многие другие, которые проводились не через Государственный Совет, а через комитет министров—вообще временные политические законы. Закон об исключительном положении, как я сказал, был издан при Александре III, как временный, и потому, когда истекал срок его, то он продолжался временным законом на несколько лет. Последний раз он был продолжен уже после 17 октября через комитет министров на срок трехлетний, при чем в комитете было высказано, что это последнее продолжение закона, что он через три года должен будет или потерять свою силу, или проведен через новые государственные учреждения (Думу и Государственный Совет). В комитете также высказывалась надежда, что закон продол-

жается на три года в уверенности, что в этот срок жизнь России на новых началах войдет в нормальную новую колею, и в законе об исключительном положении не будет и надобности.

До истечения сказанного трехлетнего срока Столыпин внес новый закон об исключительном положении, третья Дума не удосужилась его рассмотреть. Столыпин продолжил действие прежнего закона прямо высочайшим повелением, при чем третья Государственная Дума сделала вид, как будто она это беззаконие не видит. При таком положении вещей дело стоит по настоящее время. Не только исключительное положение вводится по административному усмотрению, но, кроме того, Столыпин дал законам об исключительном положении посредством произвольных толкований гораздо более широкий смысл, нежели законы эти имеют в действительности, так, как их понимали их авторы (Плеве), и так, как их понимали в течение почти 30-летнего применения до времен Столыпина. Дело дошло до того, что прямо приходят на квартиру, обставляя ее фалангою жандармов, арестуют по жандармскому постановлению, забирают все бумаги, переворачивают всю движимость, затем копаются во всех бумагах. Ежели покажется что-нибудь интересным, забирают, если могут придраться, то затем таким образом арестованного ссылают куда-либо на жительство или прогулку, например, заграницу, а если не к чему придраться, то, как это было недавно с публицистом, сотрудником «Русского Слова», весьма вхожим к председателю совета министров Коковцову, Румановым, через десять дней выпускают из политической тюрьмы (Кресты), и затем министр внутренних дел (в данном случае Макаров, честный, но деревянный человек) извиняется перед таким образом ошеломленным и оскорбленным человеком за ошибку, допущенную департаментом полиции. И только...

Что касается вопроса о неприкосновенности личности, то большим злом служит перлюстрация писем. Это было заведено издавна до 17 октября в широких размерах, а за время Столыпина машина перлюстрации еще усовершенствована и развита.

Когда я вступил в должность председателя совета, то ко мне явился от имени министра внутренних дел чиновник, кажется, по фамилии Тимофеев, доложить мне, что он прислан министром на случай, если я имею дать какие-либо указания относительно доставления мне перлюстрированных писем, причем объяснил мне всю процедуру этого дела по всей России. Я никакого указания этому тайному советнику не дал и по этому вопросу затем не имел никаких объяснений с Дурново, но он мне аккуратно ежедневно присылал папку с перлюстрированными письмами. Конечно, он для меня выбирал только те, которые хотел. Я их пробегал и за все время моего председательства не наткнулся ни на одно письмо, которое, с точки зрения государственной и по-

лицейской, могло бы быть сколько-нибудь полезным. Очень часто приходилось читать ругательства по моему адресу. Помню один случай. Я и моя жена были в очень хороших отношениях с графом С. Д. Шереметьевым, ныне обер-егермейстером и молчальником—членом Государственного Совета, бывшим когда-то кавалергардом и адъютантом цесаревича Александра (будущего императора Александра III). Я с ним особенно сблизился через Сипягина, который был женат на сестре жены Шереметьева (княжне Вяземской, дочери поэта).

Когда я был министром финансов, то, конечно, Шереметьев обращался ко мне с различными просьбами. После смерти (убийства) Сипягина это событие еще более сблизило семейство графа Шереметьева с моим и меня с графом Шереметьевым. Я, как и все знакомые с графом, знал, что он человек не совсем нормальный, человек с так называемым зайчиком, но все считали его за человека благороднейшего, рыцаря. Перед 17 октября после сельско-хозяйственного совещания, бывшего под моим председательством, в котором граф Шереметьев по моему представлению был членом, наши отношения, вследствие разности наших взглядов на крестьянский вопрос, несколько охладели, но после Портсмутского договора он опять возгорелся ко мне почитанием и любовью и выражал это особыми письменными излияниями моей жене. После 17 октября он приказал портрет государя, висевший в его комнате, повесить на чердак, что, конечно, не помешало ему продолжать усердно царедворствовать, и мне в перлюстрированной переписке подносили копии его писем с очень нелестными обо мне мнениями, что тем не менее не мешало ему, покуда я был председателем совета, любезно со мною встречаться. Мне сделалось противно давать ему руку, и с тех пор я стараюсь его избегать и не входить с ним ни в какие общения.

Таким образом та перлюстрационная переписка, которая мне доставлялась, не приносила никакой государственной пользы, и я имею основание полагать, что она вообще, по крайней мере в том виде, в каком совершается у нас, скорее вредна, чем полезна. Вредна потому, что вводит администрацию во многие личные неприкосновенные дела, составляющие чисто семейные секреты, и дает министрам внутренних дел орудие для сведения личных счетов. Я, например, знаю, что покойный Столыпин, если бы при узкости своего характера и чувств не увлекался изучением перлюстрационной переписки, то поступал бы в отношении многих лиц корректнее, нежели поступал, и не делал бы себе личных врагов. Характерная черта Столыпина между прочим та, что когда в Государственной Думе при обсуждении сметы почт и телеграфов заговорили о перлюстрационной организации, то представитель министерства внутренних дел возмущенно

ответил, что это нечто вроде бабьих сказок, что ничего подобного не существует.

Между тем, это с особою интенсивностью существовало во все время главенства Столыпина и существует и до настоящего времени. Еще недавно я заговорил об этом предмете с Коковцовым, и он мне откровенно сказал, что получает ежедневно пачку перлюстрированных писем для прочтения и возмущенно добавил, что еще сегодня он в одном письме прочел о неблагоприятном отзыве, данном о нем главноуправляющим земледелием Кривошеиным, и для того, чтобы сконфузить Кривошеина, он его вызвал к телефону и дружески посоветовал ему впредь быть более осторожным, на что Кривошеин ему ответил, что автор перлюстрированного письма, очевидно, его не понял, при чем улыбаясь Коковцов мне прибавил: «Конечно, Кривошеин врет».

Бесцеремонность, если не сказать бессовестность, утверждений Столыпина в законодательных собраниях напоминает мне другой случай подобного же рода. Довольно обыкновенно, что иногда министрам в парламенте задают вопросы или ставят в положение, склоняющее сказать: да или нет, и когда по тем или другим соображениям министр сказать правду не может, то он уклоняется от объяснения, но—с позволения сказать—не говорит ложь с благородными жестами. Столыпин держался другого правила, он прямо говорил неправду очень убедительным тоном.

Когда я сделался председателем совета, то особенно в виду того, что в то время вся пресса, не исключая таких услужливых органов, как «Новое Время», прямо революционировалась, то для того, чтобы давать обществу надлежащие объяснения и для опровержения всевозможных выдумок, которыми кишели все газеты, я основал правительственный орган под заглавием «Русское Государство» (который издавался «Правительственным Вестником»), но в более литературной и более свойственной ежедневным газетам форме.

Мысль об издании такой газеты мне дал Татищев (бывший дипломат, человек весьма способный, известный в литературе, особливо в журнальной, автор истории Александра II, сотрудник «Нового Времени», был одно время агентом министерства финансов в Лондоне, когда я был министром финансов, но по моему желанию должен был покинуть этот пост и поступить в министерство внутренних дел к Плеве); Александр III со свойственною ему прямолинейностью почитал его человеком ненадежным, но при императоре Николае II он, благодаря своей талантливости и нетвердости в принципах, пользовался некоторым фавором. Я предполагал Татищева редактором этой газеты, но как раз в это время он умер, и я назначил исправляющим должность

редактора Н. А. Гурьева, так как его величество, имея от генерала Трепова неблагоприятные сведения о Гурьеве, не согласился на его назначение редактором и не желал отказать мне в моем представлении, то соизволил решить, чтобы он, Гурьев, был в действительности редактор, а подписывал бы газету другой кто-либо из «Правительственного Вестника».

Таким образом явилась правительственная газета, так сразу и оглашенная под действительным редакторством Гурьева. Газета эта существовала все время моего министерства и издавалась талантливо, проводя мысли правительства.

После моего ухода и затем образования министерства Столыпина правительство или, вернее, Столыпин нашел, что «Русское Государство», как орган правительственный, не может иметь надлежащего воздействия на общество, а потому газету эту закрыл, но взамен ее на правительственные же средства открыл газету «Россия», которая ранее существовала, но в крайне мизерном виде, поставив редактором Сыромятникова, а главными деятелями того же Гурьева и чиновника министерства внутренних дел ренегата еврея Гурлянда (сын еврейского одесского раввина, принявший православие и на почве полицейского угодничества составивший себе карьеру).

Столыпин наивно воображал, что таким образом он введет в заблуждение общественное мнение, но, конечно, эта наивная хитрость никого в заблуждение не ввела, вся Россия отлично знает, что газета «Россия» есть правительственный орган, содержанный на счет правительства, секретных фондов и доходов «Правительственного Вестника», имеющего большие доходы вследствие массы обязательных объявлений.

Но как-то Дума поинтересовалась узнать, что же стоит «Россия» и откуда она берет средства? Тогда Столыпин не постеснялся послать в Думу Крыжановского, своего товарища, благородно заявить (попросту соврать), что газета «Россия» есть частное издание. С тех пор «Россия», которая существует до сих пор и, конечно, никакого влияния на общественное мнение не имеет, всегда в печати именуется как «частное издание» в скобках—Россия.

Через два или три дня после вступления моего в должность премьера у меня были представители печати. Свидание это мною ранее было описано. Тогда г. Проппер от имени печати требовал смены Трепова, вывода из Петербурга войск, образования милиции и других несообразностей. Тогда же более благоразумные журналисты спрашивали у меня разъяснения, что значит в манифесте дарование «свободы слова», я им разъяснил, что это означает преимущественно свободу печати. Такого я был тогда убеждения и остаюсь при этом убеждении и теперь.

Конечно, в каждом явлении на этом свете есть хорошие и дурные стороны, начиная от процесса самой жизни человека; точно так же и в свободе печати есть дурные и хорошие стороны. В результате хорошие стороны свободы печати значительно превышают дурные. Правовой порядок не может существовать без свободы слова и свободная печать при всех ее злоупотреблениях служит одною из могущественных гарантий законности и ограничения всяких злоупотреблений.

Конечно, в общественной жизни нет и ничего не может быть безграничного, и как жизнь общества, так и печать должны быть ограничены известными рамками, и это ограничение должно существовать именно для того, чтобы печать оставалась свободною и не обратилась в преступную. Поэтому, по моему распоряжению, уже 19 октября последовало циркулярное распоряжение главного управления по делам печати, в котором говорилось, что впредь до издания новых законов о печати цензорам следует сообразоваться с новыми условиями, в которые поставлена печать (манифестом 17 октября), и личным тактом и устранением требований, не основанных на законе, избегать возможности справедливых нареканий, при чем отменяются все циркулярные распоряжения, изданные цензурным ведомством в порядке административном.

По указу 12 декабря 1904 года было решено издать новые законы о печати, и работа эта была поручена особой комиссии под председательством члена Государственного Совета, директора императорской публичной библиотеки д. т. с. Кобеко [1]).

Кобеко мне заявил, что вся работа еще будет окончена не скоро, но он представил временные правила о повременных изданиях, которые были рассмотрены сначала в совете министров, затем в Государственном Совете и изданы при указе от 24 ноября 1905 года, в котором говорилось: «Манифестом 17 октября сего года мы возложили на обязанность правительства выполнение непреклонной нашей воли даровать населению незыблемые основы гражданской свободы, одним из условий коих является свобода слова. Обеспечивающий свободу слова устав о печати имеет в свое время восприять силу по утверждении его нами в порядке законодательном (т.-е. по рассмотрении в предстоящей к открытию Думе и новом Государственном Совете). Ныне, впредь до издания общего о печати закона, приняли мы за благо утвердить правила о повременных изданиях, выработанные в совете министров (на основании данных, представленных Кобеко) и рассмотренные в Государственном Совете (старом).

Правилами этими устраняется применение в области периодической печати административного воздей-

[1]) См. т. I, стр. 292.

ствия, с восстановлением порядка разрешения судом дел о совершенных путем печатного слова преступных деяниях. Соответственно сему повелеваем:...».

Затем следуют подробные правила, имеющие силу закона. На практике правила встретили некоторые затруднения в том смысле, что появилась масса новых газет, которые уклонялись от исполнения некоторых требований этих правил; вследствие сего при особом указе в марте были объявлены некоторые дополнения и изменения этих правил, которые не нарушали основного принципа свободы открытия периодических изданий при соблюдении известных, в законе определенных, условий и устранении всякого административного воздействия на периодическую печать с ответственностью за совершение преступлений печатным словом только по суду.

Затем через несколько дней после моего ухода, а именно 26 апреля, за день до открытия Государственной Думы были объявлены правила, имеющие силу закона для неповременной печати. Правила эти были выработаны советом министров также под моим председательством и затем рассмотрены Государственным Советом.

С тех пор прошло 8 лет и никакого устава о печати, как то было обещано, выработано и издано не было. Вся печать номинально регулируется вышеуказанными законами, выработанными под моим председательством; в действительности же эти законы, которые составляли бы в настоящее время pium desiderium печати, самым бесцеремонным образом нарушаются, и Столыпин положил этому начало и затем систематически нарушал их. Третья Государственная Дума этому потворствовала. При первых двух Думах Столыпин, конечно, не смел нарушать эти законы, а когда вторая Дума была разогнана, то сейчас же пошло и избиение печати.

Я помню как летом в 1907 г. я заехал как-то к Коковцову, который тогда был министром финансов, на дачу, занимаемую им на Елагином острове. Он в это время разговаривал с министром народного просвещения Кауфманом по телефону о вчерашнем заседании совета министров и, окончив разговор, объяснил мне, что Столыпин находит существующие законы о печати, в мое министерство изданные, чересчур либеральными и требующими изменений. Тогда он с Кауфманом предложили выработать новый закон и внести в Думу, но Столыпин, поддержанный другими членами министерства, с этим не согласился и предложил прибегнуть к исключительным положениям, в силу которых предоставить градоначальникам и губернаторам штра-

фовать газеты, так как в столицах и других крупных городах всегда можно держать исключительное положение, то, следовательно, и можно штрафовать газеты по усмотрению.

Затем, так как благодаря Щегловитову (министру юстиции) суд сделался в значительной степени зависимым от министра юстиции, то можно также привлекать газеты к суду, соответственно толкуя законы, квалифицирующие те или другие преступления печати. Хотя Столыпину присутствовавшие министры объяснили, что по смыслу закона об исключительных положениях администрация не может штрафовать газеты и что такой способ расправы не применялся никогда в течение всего продолжительного времени действия закона об исключительных положениях, но Столыпин остался при своем мнении, и с тех пор снова водворился полный административный произвол по отношению печати. Какая-либо статья не понравится, сейчас высшие чины и министр вызывают по телефону градоначальника или его правителя канцелярии, приказывают оштрафовать газету, и это сейчас же приводится в исполнение. И этого показалось мало. Если полагают, что штрафами не могут досадить газете, то прямо в силу того же исключительного положения градоначальник или губернатор прямо в административном порядке сажают редактора на несколько месяцев в тюрьму, и на такой произвол нет никакой расправы...

Таким образом свобода печати осталась покуда торжественным, но не исполненным обещанием, при чем происходит обыкновенная история—правые кричат о распущенности прессы и необходимости ее обуздания, но как только ее тронут, что бывает по личным вопросам, когда они заденут кого-либо из высокопоставленных, то сейчас же орут о невозможном стеснении печати; умеренные, особливо направления «чего изволите», гнутся на все стороны и также иногда считают необходимым обуздать, но только их конкурентов, преимущественно русских публицистов евреев, у них не служащих, но если только их заденут, начинают проповедывать необходимость внесения в Думу закона о печати; а левые всякий закон о печати, стесняющий их демократические размахи, клонящие существующую Российскую империю в пропасть, конечно, принципиально считают политическим преступлением... Бедный же Кобеко навлек на себя немилость государя и за его либеральные тенденции после 50-летнего служения родине на высших административных постах был исключен из присутствующих членов Государственного Совета. Мне один из царедворцев (не помню кто) передавал, что его величество, как-то говоря о Кобеко, сказал:

«Я ему никогда не забуду его направления в деле о законах печати».

Еще до 17 октября под председательством графа Сольского было образовано совещание, которое выработало временные меры о собраниях, объявленные при указе от 12 октября 1905 года. С изданием манифеста 17 октября во исполнение п. 1-го необходимо было издать законы об обществах и союзах, а кроме того издать законы относительно собраний с большей полнотою и более соответствующие манифесту, выражавшему непреклонную волю даровать населению гражданскую свободу. Все эти законы были выработаны советом министров под моим председательством и затем после рассмотрения их в Государственном Совете изданы при двух указах от 4-го марта. Один указ сопровождался обширным законом об обществах и союзах, а другой о собраниях. В обоих из них сказано, что эти законы издаются как временные, впредь до издания общего закона через новые законодательные учреждения, которые должны были открыться через несколько недель. С этими законами случилось то же, что и с законами о печати. Когда они были изданы, большая часть прессы и общества нашли их недостаточно либеральными, выражали желание о предоставлении еще большей свободы, в этом отношении возлагали надежды на Думу и новый Государственный Совет. Но вот Дума уже существует 7 лет, но до сих пор никакого нового закона не издано так же, как о печати, ни об обществах, ни о союзах и ни о собраниях, а после совершения государственного переворота 3-го июня и созыва подобранной третьей Думы в отношении свободы образования обществ, союзов и собраний действуют еще более беззастенчиво, нежели с печатью. Законы на бумаге существуют сами по себе, а жизнь идет сама по себе; то, что администрация хочет, то и делается. Такой лозунг дал Столыпин, и развращающее влияние этого лозунга проникло так глубоко, будучи поддержано третьей Думой, преимущественно так называемой партией (развратной) 17 октября Гучкова, что нужно будет совершить большие операции, чтобы очистить кровеносные сосуды русской общественной жизни. Итак, существеннейший пункт манифеста 17 октября о даровании гражданской свободы был моим министерством в действительности в точности исполнен:

1) исключительные положения с открытием Думы и нового Государственного Совета не могли действовать помимо законодательных учреждений;

2) были даны законы о свободе печати, обществ, союзов и собраний;

3) начала веротерпимости установил еще указ 17 апреля 1905 г.;

4) законодательным учреждениям был дан достаточный контроль над действиями администрации.

Тем не менее, ныне через семь лет в России не только нет гражданской свободы, но даже эта свобода, которая существо-

вала до 17 октября 1905 года, умалена административным произволом, который в последнее пятидесятилетие никогда так беззастенчиво не проявлялся. Причиною такому положению вещей следующие обстоятельства: 1) полнейшая политическая бестактность и близорукость не только крайних революционных партий, но и почти всех либеральных партий того времени; они точно сорвались с цепи и вместо того, чтобы считаться с действительностью, обалдели: и акт 17 октября считался недостаточным, и указ 17 апреля о веротерпимости недостаточно широким, а изданные законы о печати, собраниях и проч.— все им представлялось крайне консервативным; 2) как это обыкновенно бывало во многих странах, такой безумный натиск на существующий строй 150 миллионов населения с великой историей и составляющих великую империю, конечно, многих перепугал, и так как новый строй, конечно, был не по шерсти верхам, то начала образовываться реакция, находившая особое покровительство наверху, реакция, в своих правых флангах явившаяся столь же безумною и нахальною, как левые фланги революционно-либеральных партий; 3) тогда явилось правительство Столыпина, которое имитируется и настоящим правительством, для которого решительно все равно, будет ли конституция или неограниченный абсолютизм, лишь бы составить карьеру, и начали вести такую политику: на словах «мы за 17 октября, за свободу», а на деле, благо это возможно и выгодно, «за полнейший полицейский произвол». Чем же это кончится?.. В конце концов я убежден в том, что Россия сделается конституционным государством de facto, и в ней, как и в других цивилизованных государствах, незыблемо водворятся основы гражданской свободы. Раз над Россией прогудел голос 17 октября, его не потушить ни политическими хитростями, ни даже военною силою. Вопрос лишь в том, совершится ли это спокойно и разумно или вытечет из потоков крови. Как искренний монархист, как верноподданный слуга царствующего дома Романовых, как бывший преданный деятель императора Николая II, к нему в глубине души привязанный и его жалеющий, я молю бога, чтобы это совершилось бескровно и мирно...

Конечно, я не стану перечислять всех законодательных мер, принятых в течение шестимесячного моего премьерства. Я скажу еще несколько слов о капитальнейших законах, положивших начало полному крестьянскому переустройству, мною, к сожалению, не законченному, а законченному Столыпиным со внесением в это дело доминирующей полицейской тенденции, что грозит России в будущем большими пертурбациями. Начало крестьянскому переустройству положили труды особого кре-

стьянского совещания, выдвинутого по моей инициативе и совершившего капитальные труды, к сожалению, не доконченные вследствие внезапного его закрытия по интриге Горемыкина и Трепова. Совещание это проводило начала индивидуальной собственности крестьян и сравнение крестьян в правовом отношении со всеми подданными Российской империи. Взамен моего совещания явилось совещание Горемыкина, ровно ничего по себе не оставившего, но работавшего под флагом принципа стадного уравнения крестьян (община и полицейское попечительство).

После 17 октября 1905 года особое совещание Горемыкина полетело вверх тормашками, и профессор Мигулин через растерявшегося дворцового диктатора генерала Трепова представил его величеству проект принудительного отчуждения. Совет министров под моим председательством единогласно отверг этот проект и предложил сложение выкупных платежей и разрешение деятельности крестьянского банка по покупке частновладельческих земель. В результате последовал манифест и указ 3 ноября 1905 года, которыми менее нежели через два месяца п о с л е 17 о к т я б р я были уничтожены выкупные платежи крестьян за земли, им наделенные Александром II при освобождении их от крепостной зависимости, а равно значительно расширена деятельность крестьянского банка, и обе эти меры, требовавшие громадных финансовых жертв, были мною приняты в самый разгар финансового расстройства, о котором я говорил ранее. Вслед затем были образованы при главном управлении земледелия и на местах соответствующие органы для изучения аграрного положения крестьян и оказания им соответствующей помощи. Это положило реальное основание к облегчению крестьян и переустройству их быта. Далее этого мое министерство не считало возможным итти без обсуждения первейшего вопроса русской государственной жизни, вопроса крестьянского, в законодательных учреждениях, уже созываемых, но оно детально выработало программу крестьянского преобразования, руководствуясь преимущественно трудами сельско-хозяйственного совещания, о котором я говорил ранее. Программа эта была выработана в форме вопросов и должна была быть внесена в Думу немедленно после ее открытия. В основании преобразования мое министерство полагало оставить индивидуальную собственность крестьян с дарованием им одинаковых с прочими сословиями и во всяком случае культурных, принятых во всех цивилизованных странах, гражданских прав, при чем предполагалось переход из общего владения к индивидуальному совершать без всякого принуждения и постепенно. Все эти труды послужили основанием министерству Столыпина, а затем и третьей Государственной Думе совершить крестьянское преобразование, которое ныне приводится в исполнение и, к сожа-

лению, в будущем может грозить значительными и даже крупными революционными осложнениями. Министерство Столыпина принялось энергично за это преобразование не в сознании государственной необходимости этой меры, а в соображениях полицейских по такой логике: необходимо обеспечить спокойствие частных владельцев (преимущественно дворян, численность которых Столыпин исчислил в 700 тысяч на 150 миллионов населения), чтобы более не было дворянских погромов. Как это сделать?— Очень просто. Возможно больше увеличить частных собственников из крестьян, тогда они будут заинтересованы в спокойствии частной собственности. Итак, нужно насадить в крестьянстве индивидуальную собственность во что бы то ни стало, а потому в проекте проведен принцип принуждения выхода из общины, т.-е. насильственное уничтожение такого крестьянского института, который имеет вековую давность. Независимо от сего, вводя насильственно-индивидуальную собственность, вошедший в силу закон не озаботился одновременно крестьянам частным собственникам дать все гражданские права, которыми мы пользуемся, и прежде всего определенные права наследства, и создал таким образом, так сказать, бесправных или полуправных частных собственников - крестьян. Вводя крестьянскую реформу по политически-полицейским соображениям с спешностью и необдуманностью, одновременно не заботились разрешением целой массы бытовых крестьянских вопросов. В результате получится масса хаоса и несомненное нарождение из крестьян десятков миллионов пролетариев...

Во время моего министерства почти все высшие учебные заведения были закрыты. Большинство профессоров либеральничало и многие выходили из рамок спокойного благоразумия, но я был уверен, что при том уважении, которое сумел внушить к себе министр народного просвещения граф И. И. Толстой, все в непродолжительном времени успокоится.

И действительно, 17-е октября значительно уменьшило угар в среде профессоров, и после летних вакаций все высшие учебные заведения открылись, но тогда уже министром народного просвещения был Кауфман.

До 17-го октября были постоянно беспорядки в высших учебных заведениях, и эти беспорядки поглотили внимание высшего начальства. При графе Толстом в моем министерстве оказалось, что дух беспорядков давно проник и в средние учебные заведения, но только это скрывали. Граф Толстой ввел так называемые родительские комитеты при гимназиях, которым давалось право следить за поведением учащихся и за общим порядком учебного заведения. Комитеты эти принесли большую

пользу в смысле направления учебных заведений к спокойным занятиям.

Теперь министр народного просвещения, бесшабашный Кассо, эти комитеты стремится уничтожить, вероятно, находя их весьма либеральными учреждениями. Граф Толстой входил в совет с представлением об уничтожении ограничительных норм для приема евреев в учебные заведения, исходя из той, по моему мнению, совершенно правильной мысли, что самое естественное разрешение еврейского вопроса заключается в приобщении их к национальному образованию. Совет министров после продолжительного обсуждения этого вопроса склонился к принятию предложения министра народного просвещения.

Журнал был представлен на утверждение государя императора. Его величество не утвердил журнал, а вернул его с резолюцией, что он даст по этому предмету указания впоследствии.

Столыпин сначала предполагал также оказать некоторые льготы еврейству в смысле уничтожений некоторых ограничений, относительно его существующих. По этому предмету был составлен журнал и представлен его величеству. Государь снова резолюцией отложил решение вопроса. Затем Столыпин, видя, что можно иметь в будущем хорошие перспективы, налегая на евреев и взяв курс неонационализма, иначе говоря лозунг гонения всех русских подданных не-русского происхождения ($^1/_3$ или около 60 миллионов жителей Российской империи), начал вводить новые ограничения для еврейства и существовавшие нормы для евреев в учебных заведениях еще более сузил. Теперь идет сплошная травля евреев, и я думаю, что натравщики сами не знают, куда они идут и что полагают этим достигнуть. Можно не симпатизировать евреям, можно считать эту нацию как бы носящею клеймо проклятия, но все-таки евреи суть люди, русские подданные, евреи суть русские граждане и другого способа борьбы или обращения с ними, чем который принят во всех цивилизованных странах (Германии, Франции, Англии, Италии, Америке и пр. и пр.), не существует, как постепенное приобщение их к общей и равноправной гражданской культуре.

Хотелось мне сказать несколько слов об еврейском вопросе во время моего премьерства. Нужно сказать правду, что во время освободительного движения евреи играли выдающуюся роль в смысле раздувания, а иногда и руководства смутою. Конечно, такое положение в значительной степени объясняется и, пожалуй, оправдывается тем особливо бесправным положением, в котором они находились, а равно теми погромами их чернью, которые правительство не только допускало, но само устраивало. Так,

например, громаднейший погром в Кишиневе был прямо устроен Плеве, но все-таки факт исключительного участия евреев в смуте и революционной каше остается неоспоримым фактом.

Как только я стал премьером, еврейская депутация с бароном Гинзбургом во главе (человеком почтенным и весьма богатым) просила быть принятой. Я ее принял. Помню, что кроме барона Гинзбурга были: Винавер (присяжный поверенный, будущий выдающийся член первой Государственной Думы от города С.-Петербурга), Слиозберг (также присяжный поверенный), Кулишер (тоже присяжный поверенный, которого я еще знал в Киеве, когда он принимал участие в весьма либеральной по тому времени газете «Заря»), Варшавский (довольно богатый человек, сын очень богатого и известного Варшавского, строителя железных дорог и сочлена пресловутой интендантской компании Горвиц-Коган и Варшавский в прошлую Восточную войну 70-х годов) и другие. Они явились ходатайствовать, чтобы я просил у государя и провел еврейское равноправие в России.

По этому поводу я им откровенно высказал, что, как всем известно, я не юдофоб и считаю, что в конце концов другого решения еврейского вопроса в будущем, как то, которое имело место во всех цивилизованных странах, как предоставление евреям равноправия, нет, но, во-первых, это может быть сделано лишь постепенно, ибо в противном случае в некоторых сельских местностях еврейское равноправие может вызвать не искусственные, а действительные погромы, а во-вторых, для того, чтобы в то время я мог поднять вопрос о предоставлении существенных льгот еврейству или, вернее говоря, для того, чтобы я мог выставить принцип еврейского равноправия, необходимо, чтобы еврейство усвоило себе совсем иное поведение, нежели то, которому оно следовало. Оно должно во всеуслышание заявить монарху и свое заявление подкрепить соответствующим поведением, что оно ничего от его величества не просит, кроме одного обращения с ними, как со всеми остальными подданными. Между тем в последнее время евреи являются деятелями в различных политических партиях и проповедуют самые крайние политические идеи. Я им говорил: «Это не ваше дело, предоставьте это русским по крови и по гражданскому положению, не ваше дело нас учить, заботьтесь о себе. Вот вы увидите, посколько от такого поведения вашего, которому вы теперь следуете, вы и ваши дети пострадают».

Барон Гинзбург заявил, что он совершенно разделяет мое мнение. Слиозберг и Кулишер также заявили, что и они разделяют мое мнение. Остальные же присутствовавшие евреи не соглашались с моими увещеваниями. В особенности возражал Винавер, заявивший, что теперь настал момент, когда Россия

добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных, и что потому евреи и должны всеми своими силами поддерживать русских, которые этого добиваются и за это воюют с властью. Так свидание это и кончилось.

Затем, когда я оставил пост главы правительства и был во Франкфурте на-Майне (летом 1907 года), то главы тамошних евреев просили с ними свидеться. Я виделся с ними у Аскенази (богатого франкфуртского гражданина, почтенного человека, русского по происхождению, которого издавна знал); там присутствовали главные представители немецкого еврейства и из Берлина приехал известный доктор Натан.

Я им опять говорил то же, и то, что мне возражал Винавер в Петербурге, говорил Натан во Франкфурте. Из Франкфурта я приехал в Париж, там я виделся у барона Эдуарда Ротшильда с несколькими французскими евреями. Я им опять повторил то же; они мне ответили, что они моего мнения, но что они бессильны подействовать на русское еврейство. Я думаю, что теперь евреи видят, кто был прав: я или их бестактные, если не сказать более, советники. Никогда еврейский вопрос не стоял так жестоко в России, как теперь, и никогда евреи не подвергались таким притеснениям.

Анархических покушений на представителей власти в мое время было относительно высших лиц сравнительно мало, но относительно мелких чинов, преимущественно полицейских, довольно много. Тем не менее, на меня, особливо на Дурново, происходила постоянная охота. Я жил в запасном доме Зимнего дворца, у меня не было никакой охраны, но я постоянно получал предупреждения от департамента полиции, чтобы я не ездил туда-то и не выходил совсем в некоторые дни. Я не обращал на эти предупреждения никакого внимания не от того, чтобы я не боялся смерти, но потому, что считал, что в моем положении бояться нельзя, ибо на меня все смотрят. Я ежедневно выходил пешком, а чаще всего ездил на своем автомобиле, всем известном, в особенности, по его шумливости. Бог мне дал такой характер, что я боюсь опасности, когда далек от нее, и боязнь эта проходит, когда она ко мне близка или находится передо мною. Дома я ее боялся, а когда выходил на улицу, то страх проходил. Дурново также бравировал опасностью. Он имел вне дома очень хорошую знакомую, к которой ежедневно ходил, что составило заботу его охраны. Впрочем, в мое время даже министр внутренних дел имел самую маленькую охрану. Это уже во времена Столыпина начали тратить на охрану премьера миллионы, строить крепости в месте жительства премьера (Елагинский дворец), переодевать охранников в служителей Государственного Совета,

*

Думы, в лакеев, в извозчиков и кучеров, что не спасло Столыпина от пули охранника Богрова. Должен сказать, что эти безумные траты на охрану нисколько не выражали, что Столыпин был трусом. Нет, он был, несомненно, храбр, но это была своего рода мания.

Когда я оставил пост главы правительства, ко мне пришел мой большой приятель, князь Меликов (умерший), тифлисский предводитель дворянства, и передал мне, что у него были сегодня два члена Думы крайние революционеры-анархисты и выражали искреннюю радость, что я ушел, ибо я должен был быть убитым одним из их товарищей, вынувшим жребий, и что все-таки им меня было жалко, так как я тоже уроженец Кавказа, и я равно, как и мои родители, на Кавказе пользовался уважением и любовью ".

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ.

Моя отставка.

* Из всех моих предыдущих заметок едва ли не ясно то, что мне, как участнику и близкому свидетелю всего происшедшего, ясно, как божий день, что император Николай II, вступивши на престол совсем неожиданно, представляя собою человека доброго, далеко неглупого, но неглубокого, слабовольного, в конце концов человека хорошего, но унаследовавшего все качества матери и отчасти своих предков (Павла) и весьма мало качеств отца, не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия, в особенности. Основные его качества—любезность, когда он этого хотел (Александр I), хитрость и полная бесхарактерность и безвольность.

Вступивши на престол, будучи насыщен придворными льстивыми уверениями, что он самим богом создан для неограниченного управления русским народом для его блага, что он является таким образом орудием всевышнего, посредством которого всевышний управляет Российскою империею, он по наущению Победоносцева—Дурново на привет местных людей, явившихся поздравить государя со вступлением на престол и намекнувших на необходимость привлечь общественные силы к высшему управлению, ответствовал, что нужно бросить эти «напрасные мечтания».

И если бы император Николай II обладал, как государь, более положительными качествами, нежели он обладает, то действительно желания местных людей, вероятно, надолго остались бы «напрасными мечтаниями». Очень может быть, что если бы он, как государь, удачно женился, т.-е. женился на умной и нормальной женщине, то его недостатки могли бы в значительной степени уравновеситься качествами его жены.

К сожалению, и этого не случилось. Он женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было не трудно при его безвольности.

Таким образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но, напротив того, в значительной степени их усугубила, и ее ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий ее августейшего супруга. Вследствие такого положения вещей с первых же годов царствования императора Николая II начались шатания то в одну, то в другую сторону и проявления различных авантюр. В общем же направление было не в смысле прогресса, а в сторону регресса; не в сторону начал царствования императора Александра II, а в сторону начал царствования императора Александра III, начал, выдвинутых убийством императора Александра II и смутою, от которых император Александр III сам в последние годы начал постепенно отходить.

Такое положение вещей подрывало престиж власти, усилило деятельность революционно-анархических элементов, которые не встречали дружного и искреннего отпора в благоразумных и имущих классах населения; все как бы жили под давлением убеждения или идеи: «Так жить дольше нельзя, нужно что-то переменить, нужно обуздать «б ю р о к р а т и ю». А что такое «бюрократия»? Не что иное, как неограниченное правление, как неограниченный император, не ограниченный выборными общественными элементами. Отсюда до конституции не один шаг, а один вершок. Этот вершок и ускользнул, когда император, склонный к советникам с заднего крыльца, втянулся в Японскую войну и легкомысленно подверг жизнь сотен тысяч своих подданных и благосостояние империи уничтожению, а престиж империи позорному умалению.

Явился акт 17 октября 1905 года. Этот акт, конечно, не был добровольный в том смысле, что Николай II никогда не согласился бы осуществить «напрасные мечтания», если он не видел, что в данный момент у него нет другого выхода, обещающего успокоение. Этот выход мною ему был указан, и под влиянием силы не только русского, но мирового общественного мнения он заставил меня и принять бразды правления. Должен сказать, что как ни несоблазнителен был выход 17 октября для императора и особливо для всей дворцовой клики и той части дворян, которая издавна состояла нахлебником достояния народа, Николай II исполнил бы данные 17 октября обещания, если бы культурные классы населения выказали благоразумие и сразу отрезали бы от себя революционные хвосты. Но этого не случилось; культурные классы населения оказались не на

высоте положения, которое, впрочем, приобретается большим политическим и государственным опытом.

17 октября дало повод культурным либеральным классам населения предъявить крайние требования, до которых можно доходить лишь постепенно, приспосабливая к ним государственную жизнь, двигающуюся преемственно, иначе водворяется хаотическое состояние. Крайние левые революционные партии продолжали анархические выпады и бесчинства. Это с прекращением войны вызвало создание правых революционных партий, которые нашли оплот в дворцовых сферах и в конце концов у самого императора. Сначала эта поддержка была тайная или, вернее, не демонстративная, а с моим уходом сделалась явною, ни чем не стесняющейся. Постепенно начали на поверхность влияния и власти выходить деятели «чего изволите», а особенно всякого рода политические хулиганы, в роде Дубровина, Пуришкевича и прочей братии.

Первое время после 17 октября его величество меня слушал, затем по мере того, как смута начала успокаиваться и страх перед внезапной революцией начал проходить, государь начал избегать меня слушать, хитрить, принимать различные действия помимо меня и даже в секрете от меня.

Его величество не хотел, чтобы министром внутренних дел был Дурново, так как Дурново в то время либеральничал и соперничал с Треповым, когда они оба были товарищами у Булыгина: Трепов по полиции почти диктатор, а Дурново в загоне по управлению почтами и телеграфами и в качестве умного человека.

Когда же его величество увидел, что хотя Дурново был назначен по моему желанию, но он готов для своей карьеры подставлять мне ножки или вообще отречься от меня и сблизиться с Треповым, то государь уже начал меньше стесняться моими мнениями. Уже 31 января его величество на одном из моих докладов изволил написать: «По моему мнению роль председателя совета министров должна ограничиваться объединением деятельности министров, а вся исполнительная работа должна оставаться на обязанности подлежащих министров», а так как исполнительная часть может производиться непосредственно по докладам государю или непосредственным указаниям государя, то этим путем главу правительства во всех случаях, когда желали обойти несговорчивого премьера, оставляли в стороне и делали желаемое помимо его.

Стремление обходить меня при моей несговорчивости все усиливалось по мере успокоения, но все-таки боялись со мною

расстаться, боялись государственного банкротства и отсутствия войск в империи. Я с своей стороны чувствовал, что при таких условиях я оставаться на посту полуноминального главы правительства не могу.

Как-то раз я виделся с Треповым и передал ему, что должен буду просить его величество освободить меня, на что Трепов через несколько дней мне передал, что государь на это никак не согласится. С тою же целью я виделся с великим князем Николаем Николаевичем, и на заявление мое, что я желаю, чтобы государь меня освободил, так как я готов отвечать перед Россией за свои действия, но не желаю отвечать за действия, совершаемые помимо меня, великий князь отмолчался. Я говорил с Треповым и великим князем Николаем Николаевичем потому; что в это время это были два лица, наиболее доверенные у его величества. Наконец, на ту же тему я несколько раз заводил разговор с государем, и его величество или ускользал от этой беседы, или давал мне понять, что еще есть важные дела, которые я должен сделать, и прежде всего совершить заем, дабы спасти наши финансы. Когда мне удалось перевести значительную часть войск в империю и тем усилить правительство и совершить колоссальный заем, то, в виду крайне ненормального положения, в которое я был поставлен, я решил официально просить государя освободить меня.

Ранее того я передал о моем решении некоторым из моих коллег и в том числе морскому министру Бирилеву. Бирилев на другой день приходил меня отговаривать, при чем для меня было ясно, что, впрочем, он не скрывал, что он имел такое поручение от императрицы, благоволением которой он пользовался в то время. Но мое положение сделалось невыносимым и при всей преданности моей государю я решился положить этому положению конец.

В беседе с Бирилевым по этому предмету я ему между прочим сказал:

— Я от своей линии не отступлю, мои отношения к государю уже теперь, вследствие моего несогласия итти на веревочке, которая номинально находится в царской руке, а в действительности дергается то одною, то другою рукой, совершенно ненормальны; коль скоро я деньги достал и войско начало возвращаться из Забайкалья, то как только почувствуют, что без меня могут обойтись, отношения эти станут еще более анормальны. Вы говорите, что я должен остаться, если не для царя, то для родины. Оставаться пешкой в руках генерала Трепова, великого князя Николая Николаевича и целой фаланги нарождающихся черносотенцев я не могу, так как тогда я буду бесполезен и царю

и родине, а все равно, как только государь почувствует, что меня можно спустить, то он спустит на первом моем сопротивлении, которым еще ныне он уступает, боясь опять того, что было до 17-го октября.

Адмирал Бирилев не согласился со мною в определении отношений дворца к людям с самостоятельными убеждениями. Он мне сказал:

— Когда государь меня назначил министром, я поставил ему одно условие—сказать мне откровенно, когда он перестанет мне доверять, и он обещал это сделать.

Мне случалось несколько раз слышать такие суждения, что я должен был сразу, как только государь не соизволил согласиться со мною в какой-либо важной мере, сейчас же бросить и уйти. Я этого не сделал, и если бы пришлось вторично находиться в том же положении, я бы это все-таки не сделал бы.

По моему убеждению это было бы с моей стороны непорядочно ни по отношению России, ни по отношению его величества. По отношению России потому, что я тогда принес бы ей непоправимое или трудно поправимое зло, а по отношению государя потому, что я связан с императорским домом не только тем, что мои предки были ему верные слуги, но и тем, что я был одним из любимых министров отца императора Николая II, знаю его с юности, был при нем долго министром и высшим сановником. Мой долг был сделать от меня все зависящее, чтобы не создавать для императора непреодолимых или тяжких затруднений. Я родился монархистом и надеюсь умереть таковым, а раз не будет Николая II при всех его плачевных недостатках, монархия в России может быть поколеблена в самой своей основе. Дай бог мне этого не видеть...

Хотя через три, четыре месяца после 17 октября я внутренно решил уйти с поста премьера, как только я окончу главнейшие задачи, на меня упавшие, что должно было быть сделано к открытию Государственной Думы, никак не позже мая месяца, я, тем не менее, все время с своей стороны делал все от меня зависящее, чтобы приготовить к открытию Государственной Думы все необходимые законопроекты, истекающие из преобразования 17 октября и являющиеся последствием потрясения, которому Россия подверглась от войны с Японией и смуты.

Об этом неоднократно велась речь в заседаниях совета. Специально же этому вопросу было посвящено заседание 5-го марта. В этом заседании я снова поднял вопрос о необходимости подготовить и своевременно обсудить в совете законопроекты, подготовляемые для Государственной Думы, при этом я высказал, что необходимо сразу направить занятия Государ-

ственной Думы к определенным, широким, но трезвым и деловым задачам и тем обеспечить производительность ее работ. В соответствии с этим правительству необходимо выступить перед выборными людьми во всеоружии с готовой и стройной программой. Совет в этом заседании между прочим высказал, что наиболее важным является скорейшее окончание подготовительных работ по крестьянскому делу, так как вопрос об устройстве быта крестьян является бесспорно наиболее жизненным и насущным.

В виду этих суждений уже в середине апреля был приготовлен в Государственную Думу целый ряд законопроектов по различным отраслям государственного управления и была разработана подробнейшая программа крестьянского преобразования, изложенная в виде вопросов. Этот труд и послужил Столыпину для составления закона 9 ноября о крестьянском преобразовании со внесением в него к сожалению принудительного уничтожения общины для создания полу—если не совсем бесправных крестьян—частных собственников.

Так как каждое представление нужно было доставить в Государственную Думу в нескольких стах экземплярах по числу членов, то шутили, что мое министерство приготовило для Думы целый поезд представлений.

14-го апреля 1906 года я послал его величеству следующее письмо: «Ваше императорское величество. Я имел честь всеподданнейше просить ваше императорское величество, для пользы дела, освободить меня от обязанностей председателя совета министров до открытия Государственной Думы, когда я кончу дело о займе, и ваше величество соизволили милостиво выслушать мои соображения. Позволяю себе всеподданнейше формулировать основания, которые побуждают меня верноподданнически поддерживать мою вышеизложенную просьбу.

1. Я чувствую себя от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно в положении председателя совета министров, в особенности при новых условиях.

2. Отдавая должную справедливость твердости и энергии министра внутренних дел, я, тем не менее, как вашему императорскому величеству известно, находил несоответственным его образ действия и действия некоторых местных администраторов, в особенности в последние два месяца, после того, когда фактическое проявление революции скопом было подавлено. По моему мнению, этот прямолинейный образ действий раздражил боль-

шинство населения и способствовал выборам крайних элементов в Думу, как протест против политики правительства.

3. Появление мое в Думе вместе с П. Н. Дурново поставит меня и его в трудное положение. Я должен буду отмалчиваться по всем запросам по таким действиям правительства, которые совершались без моего ведома или вопреки моему мнению, так как я никакой исполнительной властью не обладал. Министр же внутренних дел, вероятно, будет стеснен в моем присутствии давать объяснения, которые я могу не разделять.

4. По некоторым важным вопросам государственной жизни, как, например: крестьянскому, еврейскому, вероисповедному и некоторым другим, ни в совете министров, ни в влиятельных сферах нет единства. Вообще, я неспособен защищать такие идеи, которые не соответствуют моему убеждению, а потому я не могу разделять взгляды крайних консерваторов, ставшие, в п о с л е д н е е в р е м я, политическим credo министра внутренних дел.

5. В последнем совещании [1]) об основных законах член Государственного Совета граф Пален и считающийся в некоторых сферах знатоком крестьянского вопроса член Государственного Совета и председатель крестьянского совещания Горемыкин высказали свои убеждения не только по существу этого вопроса [2]), но и по предстоящему образу действия правительства [3]). Крестьянский вопрос определяет весь характер деятельности Думы. Если убеждения их (Палена и Горемыкина) правильны, то, казалось бы, они должны были бы иметь возможность провести их на практике [4]).

6. В течение шести месяцев я был предметом травли всего кричащего и пишущего в русском обществе и подвергался систематическим нападкам имеющих доступ к вашему императорскому величеству крайних элементов. Революционеры меня клянут за то, что я всем своим авторитетом и с полнейшим убеждением поддерживал самые решительные меры во время активной революции; либералы за то, что я по долгу присяги и совести защищал и до гроба буду защищать, прерогативы императорской власти, а консерваторы потому, что неправильно мне приписывают те изменения в порядке государственного управления, которые произошли со времени назначения князя Святополк-Мирского министром внутренних дел [5]). Покуда я нахожусь

---

[1]) Совещание было под председательством его величества.

[2]) О недопустимости ни в коем случае возмездного отчуждения земли в пользу крестьян.

[3]) Горемыкин заявил, что если Дума поднимет вопрос о принудительном отчуждении в пользу крестьян (возмездном), то ее следует немедленно распустить.

[4]) Государь как бы по моему указанию и назначил Горемыкина.

[5]) Я очень сочувствовал этому назначению, к князю Мирскому питая дружбу и уважение, но он был назначен без всякого моего участия, ибо я тогда был в опале, занимая пост председателя к о м и т е т а министров.

у власти, я буду предметом ярых нападок со всех сторон. Более всего вредно для дела недоверие к председателю совета крайних консерваторов—дворян и высших служилых людей, которые естественно всегда имели и будут иметь доступ к царю, а потому неизбежно вселяли и будут вселять сомнения в действиях и даже намерениях людей, им неугодных.

7. По открытии Думы политика правительства должна быть направлена к достижению соглашения с нею или же получить направление весьма твердое и решительное, готовое на крайние меры. В первом случае изменение состава министерства должно облегчить задачу, устранив почву для наиболее страстных нападок, направленных против отдельных министров и в особенности главы министерства, по отношению которых за бурное время накопилось раздражение той или другой влиятельной партии, в таком случае все соглашения будут достигнуты гораздо легче. При втором решении правительственная деятельность должна сосредоточиться в лице министров внутренних дел, юстиции и военных властей и при таком направлении дела я мог бы быть только помехою и, как бы я себя ни держал, в особенности крайние консерваторы будут подвергать меня злобной критике.

Я бы мог всеподданнейше представить и другие, по моему мнению, основательные доводы, говорящие в пользу моей просьбы освободить меня от поста председателя совета министров до открытия Думы, но мне представляется, что и приведенных доводов достаточно, чтобы моя просьба была милостиво принята вашим величеством. Я бы гораздо раньше обратился с этой просьбою, уже тогда, когда я заметил, что положение мое, как председателя совета министров, было поколеблено, но я не считал себя в праве этого сделать, пока финансовое состояние России внушало столь серьезные опасения. Я сознавал свою обязанность приложить все мои силы, дабы Россию не постиг финансовый крах или, что еще хуже, чтобы не создались такие условия, при которых Дума, пользуясь нуждою правительства в деньгах, могла заставить итти на уступки, отвечающие целям партий, а не пользам всего государства, неразрывно связанным с интересами вашего императорского величества. Все революционные и анти-правительственные партии недаром ставят мне в особенную мою вину мое преимущественное, если не исключительное участие в этом деле. Теперь, когда заем окончен и окончен благополучно, когда ваше императорское величество можете, не заботясь о средствах для ликвидации счетов минувшей войны и при наступившем, до известной, по крайней мере, степени, успокоении, обратить все высочайшее внимание на внутреннее устроение империи, направив в надлежащее русло деятельность Думы, я считаю за собою некоторое нравственное

право возобновить перед вашим величеством мою просьбу. Поэтому осмеливаюсь повергнуть к стопам вашего императорского величества всеподданнейшее мое ходатайство о всемилостивейшем соизволении на увольнение меня от должности председателя совета министров».

Вечером того же 14 апреля я созвал совет министров и прочел им уже посланное мною прошение об увольнении. П. Н. Дурново выслушал его спокойно. Всем министрам, а в том числе Дурново, был, видимо, неприятен этот мой шаг, так как это ставило вопрос о том, как будет с ними. Некоторые из министров выражали желание также немедленно послать просьбу об увольнении, я их отговаривал это делать [1]). Министр народного просвещения граф И. И. Толстой высказал свое удовольствие, что я принял этот шаг, сказав, что ему известно, какая интрига все время шла против меня во дворце, и что все равно, как только государь почувствовал бы, что он может справиться без меня, он бы сейчас это сделал в виду моей несговорчивости.

16 апреля, уже на другой день к вечеру, я получил от государя следующее, собственноручное письмо:

«Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил письмо ваше, в котором вы просите об увольнении от занимаемых должностей. Я изъявляю согласие на вашу просьбу.

Благополучное заключение займа составляет лучшую страницу вашей деятельности. Это большой нравственный успех правительства и залог будущего спокойствия и мирного развития России. Видно, что и в Европе престиж нашей родины высок [2]).

Как сложатся обстоятельства после открытия Думы, одному богу известно. Но я не смотрю на ближайшее будущее так черно, как вы на него смотрите [3]). Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря о выборах, инертности консервативной массы населения и полнейшего воздержания

---

[1]) Вариант. — Никто из министров одновременно со мною не подал прошения об увольнении, да если бы они и вздумали подать, то я бы настаивал на том, чтобы они этого не делали, так как я не хотел, чтобы перед созывом Думы водворился порядок парламентского ухода всего министерства вместе, предпочитая, чтобы они остались на своих постах.

[2]) Вероятно, государь думал, что наш престиж особенно высок в Азии после только что кончившейся позорной Русско-Японской войны. Мне, впрочем, несколько придворных лиц говорили, что его величество выражал им мнение, что русские расколотили японцев.

[3]) Дальнейшие обстоятельства едва ли не подтвердили, что я имел основание смотреть на будущее не радужно.

всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах [1]). Благодарю вас и с к р е н н о, Сергей Юльевич, за вашу преданность мне и за ваше усердие, которое вы проявили по мере сил на том трудном посту, который вы занимали в течение шести месяцев при исключительно тяжелых обстоятельствах. Желаю вам отдохнуть и восстановить ваши силы. Благодарный вам Николай».

На другой день я видел государя, и государь спрашивал меня, кого бы я ему посоветовал назначить вместо меня; я ему указал на Философова (государственного секретаря, а затем при Столыпине министра торговли) или Акимова (министра юстиции) в зависимости от того, какую он желает вести политику—в духе ли осуществления 17 октября или в духе его ограничения. Государь, как потом я узнал, предлагал это место Акимову, но этот уклонился. В это время с заднего крыльца при помощи Трепова Горемыкин развернул интригу во-всю. 22-го апреля последовал следующий высочайший рескрипт на мое имя:

«Граф Сергей Юльевич. Ослабление здоровья от понесенных вами чрезмерных трудов побудило вас ходатайствовать об освобождении от должности председателя совета министров. Призвав вас на этот важный пост для исполнения предначертаний моих и привлечения моих подданных к участию в делах законодательства, я был уверен, что ваши испытанные государственные способности облегчат проведение в жизнь новых выборных установлений, созданных с целью осуществления дарованных мною населению прав. Благодаря настойчивым и просвещенным трудам вашим, эти учреждения ныне образованы и готовы к открытию, несмотря на препятствия, чинимые крамольниками, в борьбе с которыми вы проявили отличающую вас энергию и решительность. Одновременно своею опытностью в финансовом деле вы содействовали упрочению государственных рессурсов, обеспечив успех заключенного Россией займа. Снисходя на принесенную вами всеподданнейшую просьбу, я испытываю сердечную потребность выразить вам мою искреннюю признательность за многочисленные услуги, оказанные вами родине, в воздаяние коих жалую вас кавалером ордена святого благо-

[1]) Правительство действительно совсем не вмешивалось в выборы, во-первых, потому, что я принципиально против тех приемов вмешательства, которые практиковал Столыпин, а теперь Коковцов, а во-вторых, потому, что как только было опубликовано положение о Государственной Думе, 6-го августа последовал циркуляр министра внутренних дел Булыгина, чтобы по высочайшему повелению администрация не вмешивалась в выборы; было бы совсем бессовестно затем после 17 октября тайно влиять на выборы.

верного Александра Невского (собственноручная приписка) с бриллиантами. Пребываю неизменно к вам благосклонный (далее собственноручно) и искренно благодарный Николай».

На другой день я официально в мундире явился благодарить государя за исполнение моей просьбы, при чем я имел случай явиться откланяться также государыне. Государыня и государь были со мною очень любезны, хотя ее величество никогда ко мне не была расположена, и говорят, что, когда она узнала о моем уходе, то у нее вырвалось восклицание: «Ух!», в знак облегчения*.

Государь просил меня, чтобы я занял первый открывшийся пост посла его величества заграницей. Опасаясь, не имеет ли в виду государь назначить меня в Токио, и будучи по своему здоровью не в состоянии принять пост посла в столь отдаленном месте, я спросил государя, не думает ли его величество послать меня в Токио? На что государь сказал мне: что он желает, чтобы я был послом где-нибудь в Европе и прибавил: «Пожалуйста, как только откроется первый пост посла, вы мне напомните, так как я непременно вас назначу» [1]).

Когда я был у его величества, чтобы откланяться, т.-е. как раз в то мое представление, когда государь предложил мне пост посла, то его величество, между прочим, сказал:

— Я остановился, чтобы назначить на ваше место, на ваших врагах, но не думайте, что это потому, что они ваши враги, а потому, что я нахожу в настоящее время такое назначение полезным.

Тогда я спросил государя:

— Ваше величество, может быть вам будет угодно мне сказать: кто это такие мои враги, ибо я не догадываюсь о том.

Тогда его величество мне ответил:

— Председателем совета министров я назначу Горемыкина.

На это я государя императора спросил:

— Какой же, ваше величество, Горемыкин мой враг? Во всяком случае, если все остальные лица такого калибра, как Горемыкин, то они мне представляются врагами, очень мало опасными.

Государь на это улыбнулся.

О том, что председателем совета министров будет Горемыкин, я знал ранее, нежели услышал это от государя императора, и для меня было ясно, что назначение это делается, главным образом, по рекомендации всесильного в то время дворцового коменданта, а, в сущности говоря, полу-диктатора Трепова.

---

[1]) * Через год я это сделал, но никогда никакого ответа от государя не получал*.

Должен сказать, что недели за две, за три до того времени, когда я решился просить его величество о моем увольнении, я говорил об этом моем решении Трепову, при чем Трепов меня убеждал не делать этого, указывая на то, что его величеству это будет крайне неприятно.

Я хорошо понимал, что Трепов действительно не желал, чтобы я ушел; он желал только, чтобы я творил многое вопреки моим убеждениям, по указке из Царского Села, а инспиратором всех этих указок—или по крайней мере большинства их—всегда был Трепов.

Вот, на эту-то роль я и не хотел соглашаться; это порождало постоянные недоразумения и недовольство на меня со стороны государя императора, и это привело меня к твердому решению оставить пост председателя совета министров, если не будут приняты те условия, которые мною были изложены и которые изложены в сказанном моем письме к его величеству, в котором я просил государя императора освободить меня от поста председателя совета министров.

Когда его величество мне сказал, что думает назначить меня послом на первую открывшуюся вакансию в Европе, на что я ответил государю, что готов исполнить приказание его величества и буду рад этому назначению, дабы хоть несколько лет пробыть вне России,—то государь спросил меня:

— А вы не встретите препятствий в том, что министр иностранных дел будет гораздо моложе вас?

Я не понял этого намека и сказал государю, что граф Ламсдорф по производству в действительные тайные советники несколько моложе меня, но по службе он старше. Наконец, у меня такие дружеские отношения с Ламсдорфом, что это обстоятельство не может иметь никакого значения.

На это государь ответил:

— Да ведь министром иностранных дел будет не граф Ламсдорф, а Извольский!

Тогда я государю сказал:

— Раз вашему величеству угодно меня назначить послом, то ведь послы от министра иностранных дел не зависят, а зависят непосредственно от вашего величества.

Государь император сказал: «Конечно, так».

Вследствие этого разговора, когда я оставил его величество и вернулся в Петербург, то я сейчас же предупредил графа Ламсдорфа о том, что вот имеются такие предположения.

Еще ранее, когда я подал прошение об увольнении, граф Ламсдорф спрашивал меня: подавать ли ему прошение об уволь-

нении или нет? Тогда я ему отвечал—не подавать, между прочим и потому, что я явно видел, что сам граф Ламсдорф очень бы желал не покидать своего поста, хотя товарищ его и закадычный друг, князь Оболенский, думал обратно,—очень настаивал на том, чтобы Ламсдорф подал прошение об увольнении с поста министра иностранных дел [1]).

Теперь же, после слов государя, вернувшись из Царского Села в город, я, напротив, советовал графу Ламсдорфу немедленно послать прошение об увольнении, дабы уход его был совершен по его инициативе.

Граф Ламсдорф так и сделал и получил увольнение перед отправлением моего письма его величеству о моем увольнении от службы. Государь его милостиво принял и, как мне Ламсдорф говорил, прослезился, прощаясь с ним.

Назначение Извольского последовало, главным образом, по тем же мотивам, по которым последовало назначение и графа Муравьева, т.-е. именно потому, что он был посланником в Дании.

Так как мой уход произошел отчасти вследствие того, что моя политика не сходилась с политикой Дурново, а политика Дурново была в соответствии и следовала исключительно желаниям генерала Трепова и тем указаниям, которые он получал в Царском Селе, то мне казалось несомненным, что, во всяком случае, Дурново останется министром внутренних дел.

Между тем, к моему удивлению, все министры моего министерства, кроме военного и морского, и без их прошений об увольнении, были уволены вслед за моим увольнением.

Это вынудило меня писать его величеству и просить государя, чтобы он устроил этих министров, в смысле дачи им соответствующего положения.

Но это сделано не было.

Министр финансов Шипов, человек весьма порядочный, и, как его считали, мой человек,—хотя он человек с совершенно самостоятельными мнениями, получил место члена совета в государственном банке.

Министр путей сообщения Немешаев—возвратился на свое прежнее место начальника юго-западных дорог.

Главноуправляющий землеустройством и земледелием Никольский, который в некоторой степени пользовался протекцией и Трепова, получил место сенатора.

---

[1]) * После барон Фредерикс (министр Двора) мне откровенно говорил, что увольнение графа Ламсдорфа было неизбежно, так как было необходимо «свалить на кого-нибудь последствия японской катастрофы»*.

Министр народного просвещения граф И. И. Толстой не получил никакого места и до настоящего времени не получил никакого назначения, хотя через несколько лет после моего ухода—Шипов, Никольский, а в этом году и Немешаев—сделаны членами Государственного Совета.

Государственный контролер Философов был сделан сенатором.

Министр юстиции Акимов—получил назначение членом Государственного Совета.

Что же касается Дурново, то в его карьере произошло неожиданное течение.

После моего ухода, при первом докладе министра внутренних дел государю императору, его величество объявил ему свое желание, чтобы он остался министром внутренних дел. Дурново, конечно, этому был чрезвычайно рад.

Я не видел Дурново, но его жена в тот же самый день заезжала к моей жене и говорила о том, что государь просил ее мужа остаться и что вот теперь она едет на Аптекарский Остров осматривать дачу министра внутренних дел, так как они намерены в самом непродолжительном времени туда переехать.

Но через два дня после этого последовал указ об увольнении Дурново, при чем в утешение государь император повелел ему выдать 200.000 руб.

Вообще, Петр Николаевич Дурново за время его министерства,—в то время, когда я был председателем,—получил целый ряд наград: он был сделан статс-секретарем, действительным тайным советником, членом Государственного Совета; дочь его была сделана фрейлиной и, наконец, на прощание Дурново получил 200.000 рублей.

Из этого перечня видно, что П. Н. Дурново был вполне вознагражден за его довольно коварное поведение в отношении меня, как председателя совета министров, хотя я, в сущности, и назначил его министром внутренних дел. Из этого видно, что коварство не всегда наказуется, но иногда и щедро награждается судьбой.

Министром финансов вместо Шипова был назначен Владимир Николаевич Коковцов; это было вполне соответствующее назначение, так как В. Н. Коковцов, несомненно, являлся одним из наиболее подходящих кандидатов на пост министра финансов.

Вместо государственного контролера Философова был назначен Шванебах. Ну, назначение Шванебаха государственным контролером ничем оправдываться не могло, так как Шванебах

точно так же мог быть назначен и митрополитом, как он был назначен государственным контролером. Вся его заслуга заключалась в том, что он угодил черногорским принцессам.

Вместо Никольского—был назначен Стишинский. Стишинский представляет собою лицо ненадежного характера и реакционных тенденций. Как чиновник,—он человек подходящий, но имеет все свойства ренегата. Я не сомневаюсь, что или он, или его близкие предки были поляками.

Министром юстиции был назначен Щегловитов. Это—самое ужасное назначение из всех назначений министров, после моего ухода, в течение этих последних лет и до настоящего времени! Щегловитов, можно сказать, уничтожил суд. Теперь трудно определить: где кончается суд, где начинается полиция и где начинаются Азефы. Щегловитов в корне уничтожил все традиции судебной реформы 60-х годов. Я убежден в том, что его будут поминать лихом во всем судебном ведомстве многие и многие десятки лет.

Место министра народного просвещения занял—Кауфман. Почему он был назначен министром народного просвещения—догадаться трудно. К этому министерству он никогда не имел решительно никакого касательства. Будучи сам лицеистом, Кауфман об университетской жизни понятия не имел; от всякой науки он был довольно далек. Кауфман служил в государственной канцелярии, а затем товарищем начальника учреждений императрицы Марии, генерал-адъютанта Протасова. Только в этой должности Кауфман несколько касался учебных заведений, но и то, главным образом, институтов, воспитанницы которых едва ли имеют до своего выхода из институтов что-нибудь общее со студентами. Впрочем, все-таки Кауфман человек не глупый и весьма порядочный, что уже доказывается тем, что ни он не мог ужиться со Столыпиным, ни Столыпин не мог переварить его направления, чуждого полицейского сыска и полицейского воздействия, а потому Кауфман, против своего желания, должен был оставить министерство Столыпина.

При последнем моем представлении его величеству, когда я покинул пост председателя совета и когда я узнал, что граф Ламсдорф должен будет покинуть свой пост, я говорил, между прочим, государю, что я бы посоветовал его величеству, когда будет уходить граф Ламсдорф, просить его, чтобы он представил его величеству все документы, лично у него хранящиеся, так как я знал, что все документы, касающиеся пресловутого договора, заключенного в Биорках в 1905 году, находятся лично у него.

Его величество сказал мне, что будет иметь это в виду, хотя все документы остались у графа Ламсдорфа и после того, как он оставил пост министра, и были взяты лишь после его смерти.

*

По поводу этого разговора его величество меня спросил: где находятся документы, которые я имею, как председатель совета министров?

Я сказал его величеству, что все документы, которые я счел возможным отдать в канцелярию, находятся в канцелярии, — это составляет большинство документов, а некоторые отдельные документы, большею частью записки его величества, находятся лично у меня.

Тогда его величество мне сказал:

— Я бы вас очень просил: не можете ли вы вернуть мне все эти мои записки?

Я сказал государю, что, конечно, исполню в точности его приказание и что я сделал бы это даже и в том случае, если бы государь мне об этом не сказал [1]).

Как только последовал указ о моем увольнении, я в тот же день переехал из запасной половины Зимнего дворца к себе на Каменноостровский проспект, а поэтому ни в этот, ни в следующий день не мог разобрать моих бумаг.

На третий день ко мне приехал министр двора барон Фредерикс и напомнил мне о документах. Я в тот же самый день все эти документы опечатал и отправил лично на имя его величества.

Таким образом я лишился многих документов, которые в значительной степени объясняли бы мои действия, служившие впоследствии предметом критики, при чем критики, исходящей, большей частью, из дворцовых сфер.

Председателем нового Государственного Совета был назначен граф Сольский, который был и председателем старого Государственного Совета; граф Сольский был назначен на пост председателя после великого князя Михаила Николаевича.

На пост вице-председателя был назначен Фриш. Оба эти лица—были лица в высокой степени почтенные.

Я должен еще прибавить, что на место Немешаева был назначен инженерный генерал Шауфус, бывший в то время начальником Николаевской железной дороги, человек очень почтенный. Я знал Шауфуса еще с молодых лет, когда он был только начальником ремонта Курско-Киевской жел. дор., а я был начальником движения Одесской дороги.

Шауфус был человек порядочный, знавший железнодорожное дело, но очень узкий, с отсутствием всякой инициативы и всякой государственной жилки.

---

[1]) Вариант: * Тут же он просил меня вернуть ему его письма, которые он мне писал во время моего председательства. Я их ему вернул, о чем потом очень сожалел. Там потомство прочло бы некоторые рисующие характер государя мысли и суждения*.

Почему он был назначен министром путей сообщения—я не знаю; думаю, потому, что у Горемыкина имение в Новгородской губернии, и поэтому он часто ездил по Николаевской железной дороге; вероятно, по поводу своих поездок он имел различные сношения с начальником этой дороги—Шауфусом.

Обер-прокурором святейшего синода, вместо князя Оболенского, был назначен князь Ширинский-Шахматов; тот самый Ширинский-Шахматов, который был товарищем обер-прокурора святейшего синода при Победоносцеве, и, когда я сделался председателем совета министров, он должен был покинуть пост товарища обер-прокурора святейшего синода вместе с Константином Петровичем Победоносцевым; это тот самый Ширинский-Шахматов, которого даже Победоносцев считал реакционером.

Затем остался из министров моего министерства только управляющий министерством торговли Федоров, который управлял министерством после увольнения Тимирязева. Федоров—это в высокой степени почтенный культурный человек, но культурный с точки зрения чисто русской, мало знакомый с заграничной жизнью и мало причастный к заграничной культуре постольку, поскольку она не отражалась и не отражается в наших университетах и в нашей литературе, человек чрезвычайно рабочий, умный, скромный и во всех отношениях человек безусловно чистый. Горемыкин не только предлагал, но и просил его сделаться министром торговли, но Федоров отказался, предпочитая выйти в отставку, так как заявил, что он взглядов ни Горемыкина, ни других его министров, судя по тому, как эти взгляды ими выражались в прошедшем, безусловно не разделяет и поэтому с ними служить не может.

На пост министра внутренних дел был назначен Столыпин. В то время я Столыпина считал порядочным губернатором. Судя по рассказам его знакомых и друзей, почитал человеком порядочным и поэтому назначение это считал удачным.

Затем, когда ушел Горемыкин, и он сделался председателем совета министров, то я этому искренно был рад и в заграничной газете (я в то время был заграницей) высказал, что это прекрасное назначение, но затем каждый месяц я все более и более разочаровывался в нем.

Что он был человек мало книжно-образованный, без всякого государственного опыта и человек средних умственных качеств и среднего таланта, я это знал и ничего другого и не ожидал, но я никак не ожидал, чтобы он был человек настолько неискренний, лживый, беспринципный; вследствие чего он свои личные удобства и свое личное благополучие и в особенности благополучие своего семейства и своих многочисленных родственников

поставил целью своего премьерства. Впрочем, о нем мне придется говорить еще несколько раз и далее.

До моего выезда заграницу последовало опубликование всех важнейших государственных актов, которые служат ныне основою существующего государственного строя, а именно: основные законы, положение о Государственном Совете и Государственной Думе со всеми дополнениями, временные правила о печати, о собраниях и сходках, все положения о выборах и т. д. Только более или менее второстепенные государственные акты или законы, которые были выработаны еще в мое министерство до созыва Государственной Думы, были опубликованы после моего ухода. Точно так же до моего ухода был опубликован указ о функциях комитета финансов, а равно и комитета министров. Хотя все основные и капитальные законы, которые были выработаны в мое министерство, при моем главенствующем участии и почти исключительно по моей мысли, в настоящее время служат основою государственного строя, тем не менее некоторые из частей этих законов, не будучи отмененными, или не исполняются, или толкуются совершенно неправильно. И для того, чтобы лишить Государственную Думу, а равно и все русское общество возможности представить неоспоримые доказательства неправильности толкований всех этих законов, все журналы бывших заседаний, в которых участвовал или граф Сольский, или сам его величество, а равно и протоколы этих заседаний составляют государственную тайну.

В свое время, никогда не подозревая, что это может случиться, я на эти журналы и на эти протоколы не обращал должного внимания и не сохранил у себя их копий. Теперь, как мне передавали, все эти журналы и протоколы имеются в нескольких только экземплярах и находятся под особым тайным хранением. Так, в прошлом году по поводу одной неправильной ссылки в Государственном Совете на происходившее в одном из заседаний под председательством государя императора, когда я, как бывший председатель совета министров, хотел просмотреть журнал или протокол этого заседания и, вследствие моего письма, мне открыли архив Государственного Совета, я там ни журнала, ни протокола не нашел. Когда я спросил, имеется ли этот журнал и протокол, мне сказали, что такого журнала и протокола не имеется; а между тем, через несколько месяцев товарищ министра внутренних дел, а ныне государственный секретарь Крыжановский мне передал, что все это имеется и в 3 экземплярах, но держится в тайне, так как если бы публиковали все журналы и протоколы бывших заседаний, когда разрабатывали все основные законы или законы о Государственной Думе и Государственном Совете, то пришлось бы многие из этих законов толковать в другом смысле сравнительно с теми

толкованиями, какие им были даны лицемерным министерством Столыпина.

Когда я еще был премьером, был возбужден вопрос об упразднении комитета министров, что и имело известное основание, так как, раз был образован совет министров, то комитет министров сам собой как бы упразднялся, потому что дела верховного управления должны были рассматриваться в совете министров, а дела законодательные—в Государственной Думе и Государственном Совете. Но я был против упразднения комитета министров до тех пор, пока все дела нового государственного преобразования не настроятся, так как имел в виду, что придется все-таки, может быть, некоторые мероприятия, имеющие наполовину характер административный и наполовину законодательный, проводить через комитет министров, как учреждение полу-административное, полу-законодательное.

Когда я ушел, последовал указ о полном упразднении комитета министров. С теоретической точки зрения эта мера была правильной, если бы затем совет министров не брал на себя решения многих вопросов, имевших характер законодательный, которое ранее проводилось через комитет министров, и, таким образом, вышло, что та маленькая гарантия, которая существовала при рассмотрении подобных дел в комитете министров, так как комитет министров состоял не из одних министров, но из председателей департаментов Государственного Совета и других лиц, его величеством назначенных, эта маленькая гарантия отпала, и дела, имеющие законодательный характер, начали произвольно вершить в совете министров.

*Покуда я устраивал финансы империи и не упрочил ее кредит до степени, соответствующей великой державе, на что я употребил одиннадцать лет упорного труда, хотя часто шел против течения и гладил против шерсти, меня переносили; когда увидели, что финансы империи упрочены, а между тем я назвал настоящим именем (ребячеством) дальне-восточную авантюру и всячески удерживал от последних приступов этого ребяческого беснования, приведшего к войне, меня от дел уволили, посадив на почетный пост председателя комитета министров, по выражению его величества, когда он мне предложил занять этот пост — «высшее место в империи».

Когда нужно было выйти из постыдного положения, явившегося последствием позорной войны, и никто не хотел брать на себя тяжелой миссии заключить мир, то государь должен был в конце концов обратиться ко мне с просьбою поехать в Америку его первым, чрезвычайным и уполномоченным послом. Отказывались от этой тяжелой миссии (Нелидов, Муравьев,

В. С. Оболенский) по очевидной причине. Какой бы мир ни был заключен, затем сказали бы: «А если бы мир не был заключен, то мы разнесли бы японцев, как раз заключили мир, когда мы собирались с силами. Виноват, значит, тот, кто заключил мир». И государь, по обыкновению, сам тем, которые говорили, что напрасно заключили мир, давал впоследствии понять, что мы е г о п о д в е л и (понимай, как хочешь).

О том, что государь это говорил, было напечатано в «Новом Времени» за подписью самого А. С. Суворина. А. С. Суворин (родоначальник направления «чего изволите»), конечно, не написал бы такую вещь, если бы он не был уверен, что так желательно. Если же мир не был бы заключен и потом последовали еще большие бедствия, то сказали бы: «Да это он виноват всем этим бедствиям, потому что не заключил мира, когда это было своевременно и возможно».

По моему глубочайшему убеждению, если бы не был заключен Портсмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержался бы на престоле дом Романовых.

Далее, когда потребовалось спасти положение в октябре 1905 г. и все отказывались от власти, то, конечно, опять государь обратился ко мне. Вошло как бы в сознание общества, что несмотря на мои самые натянутые отношения к его величеству или, вернее говоря, несмотря на мою полную «опалу», как только положение делается критическим, сейчас начинают говорить обо мне... Но забывают одно—что всему есть конец...*

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ.

Первая Дума. Столыпин.

Новый выборный закон дал первую Государственную Думу гораздо более левую, чем ожидали. Думу эту, кажется, прозвали Думою «народного возмездия». Мне кажется, было бы правильнее ее прозвать «Думою общественного увлечения и государственной неопытности».

В сущности в Думе главнейшая партия была кадетов, и если бы кадеты обладали хотя малою долею государственного благоразумия и понимания действительности и партия эта решилась бы отрезать от себя «революционный хвост», то первая Дума просуществовала бы долго и, вероятно, имела бы за собою историческую честь введения и воплощения русской конституции так, как она была определена 17-м октябрем и последующими во исполнение манифеста 17-го октября законами, созданными моим министерством. Дума же та увлеклась, зарвалась. Она была распущена, и затем явилось бестактное Выборгское воззвание.

После опубликования 6-го августа совещательной Думы Булыгина, которая, конечно, не могла не обратиться в законодательную, когда было приступлено к выборам, министр внутренних дел Булыгин издал циркуляр всем губернским властям, в котором выражалось повеление государя, чтобы выборы производились совершенно свободно, и администрация никоим образом не вмешивалась в выборы в смысле влияния на выборы тех или других лиц.

Кажется очевидным, что после 17-го октября этот циркуляр, выражающий повеление государя, уже тем паче был обязателен, так как манифест 17-го октября выражал переход к закономерной свободе и устранению административно-полицейского усмотрения. Поэтому, конечно, мое министерство в выборы

не вмешивалось, а только наблюдало, чтобы они совершались в порядке с соблюдением всех законов, для выборов установленных. Министр внутренних дел не выражал никакой тенденции к вмешательству, но если бы он и вздумал проявить такую тенденцию, то, конечно, встретил бы во мне препятствие. Очевидно, его величество согласно циркуляра Булыгина и не высказывал ему—П. Н. Дурново—какие бы то ни было соображения о желательности вмешательства, но в известной степени Дурново и временные генерал-губернаторы, руководствовавшиеся его направлением, влияли на выборы в том смысле, что многими незаконными, произвольными действиями, о которых я большею частью узнавал post factum, они будоражили общественное мнение и способствовали выбору более левых представителей, которые ставили своим лозунгом: «долой бюрократию, долой ее произвол, долой смертные казни, административные ссылки и тюремные заключения, и да водворится законность, да подчинится верховная власть законодательной».

Его величеству не угодно было признать, что такой образ действий администрации способствовал левизне Думы, и в письме ко мне от 15-го апреля государю угодно было писать:

«Мне кажется, что Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря... полнейшего воздержания всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах».

Итак, циркуляр Булыгина должен был быть для декорации, правительство исподтишка все-таки должно было влиять на выборы. Одним словом, законы—это одна вещь, а исполнение их—другая. Мало ли что говорится хотя бы в законах и государевых актах! Это лозунг, введенный Столыпиным, которого правительство, хотя и с меньшим нахальством, нежели при Столыпине, держится и поныне и будет впредь держаться, покуда не произойдет чего-либо особого!..

В чем же заключался существенный недостаток выборного закона, последовавшего после 17-го октября?

Главнейше в том же, в чем заключался недостаток закона 6-го августа, ибо выборный закон 17-го октября не мог изменить главную черту закона 6-го августа—его, если можно так выразиться, крестьянский характер. Тогда было признано, что держава может положиться только на крестьянство, которое по традициям верно самодержавию.

Царь и народ!..

И действительно тогда все, что говорили Гучковы и графы Бобринские, и Крестовниковы (председатель московского биржевого комитета), и Мещерские («Гражданин»), и Суворины («Новое

Время»)—все под тем или другим соусом требовали или домогались ограничения неограниченности царя, один народ безмолвствовал. Поэтому такие архи-консерваторы, как Победоносцев, Лобко и прочие, все настаивали на преимуществах в выборном законе крестьянству. Когда же крестьянство без всякого другого ценза, кроме ценза «крестьянство», в значительном числе явилось в Государственную Думу по закону 17-го октября, который все, что касалось крестьянства, оставил без изменения с тем, что было определено в законе 6-го августа, то оказалось, что оно или беспрограммно, или имеет одну лишь программу — «дополнительный надел землею, продолжение действия великого императора освободителя». А когда правительство уже Горемыкина явилось в Думу и сказало:

«Земли ни в каком случае, частная собственность священна», то тогда крестьянство пошло не за царским правительством, а за теми, которые сказали:

«Первое дело мы вам дадим землю да в придаток и свободу», т.-е. за кадетами (Милюков, Гессен) и трудовиками.

Крестьянство и крестьянские выборы дали весь тон Думе, а закон 17-го октября в этом отношении очень мало изменил бы положение, если бы после манифеста 17-го октября оставил выборный закон 6-го августа без изменений. При создании этого закона доминировали две, впоследствии друг друга исключавшие мысли, с одной стороны: только крестьянство осталось верно неограниченному самодержавию, а с другой: мы поэтому соберем преимущественно крестьянскую Думу. Но упустили из виду, что первая мысль находится в соответствии со второй только при условии, что и политика неограниченного самодержца останется прежняя, по которой народ мог искать высшей справедливости только у царя самодержца, а когда политика эта одновременно с созывом Думы изменилась и то, что самодержец Александр II считал справедливым, самодержец Николай II признал преступным и поползновением на чужую священную собственность, то все положение вещей перевернулось. Тогда именно лица, которые имели большой полный карман, а особливо земельную собственность, из будирующих либералов, мечтающих об ограничении своего монарха, с испугу забыли все прошедшее, и многие из них начали кричать:

— Царь, явилась крамола, требуют уничтожения основ, на которых зиждутся современные культурные государства, священного права собственности. Твои ближайшие слуги по малохарактерности или коварству тебе изменяют, гони их, а тех, которые просят тебя продолжать политику наделения землею крестьянства, примененную твоим великим дедом, казни их, ссылай и сажай в тюрьму.

Явился и галантный, обмазанный с головы до ног русским либерализмом, оратор школы русских губернских и земских собраний, который и совершил государственный переворот 3-го июня, уничтожив выборный закон 17-го октября и введший новый закон 3-го июня—закон, который очень прост с точки зрения принципов, положенных в его основу, ибо он основан только на таком простом принципе: «получить такую Думу, которая в большинстве своем, а следовательно и в своем целом, была бы послушна правительству. Думцы могут для близира и говорить громкие либеральные речи, а в конце концов сделают так, как прикажут»*.

В конце апреля месяца последовало открытие нового Государственного Совета и Государственной Думы; ранее открытия Государственной Думы происходило торжественное, предварительное открытие этих учреждений в Зимнем Дворце; там присутствовали, с одной стороны, все члены Государственного Совета, а с другой стороны, все съехавшиеся члены Государственной Думы.

Государь явился в зал, в котором присутствовали члены Государственного Совета и Государственной Думы, в порядке большого выхода, со всеми высшими чинами двора и со всею свитою. В зале дворца присутствовал весь чиновный мир, а равно и высшее общество.

Выход этот, имеющий, конечно, историческое значение, так как это был первый и единственный выход государя императора к представителям народа, как верхней, так и нижней палаты—был крайне торжественен.

Его величество был довольно бледен, но довольно спокоен и имел весьма торжественный вид.

Государь император сказал слово весьма государственное и разумное. Очень жаль, что некоторые из указаний его величества были не выполнены по точному их смыслу.

* Не буду здесь приводить это слово; в нем для меня впоследствии сделалась знаменательной следующая фраза: «Да исполнятся горячие мои желания видеть народ мой счастливым и передать сыну моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное».

Эта тирада находилась в проекте приветственного слова, переданного, как это мне сделалось впоследствии известным, Трепову 25 апреля и составленного В. И. Ковалевским, между прочим, при участии столпов партии народной свободы, группы тех же деятелей, которые тем же путем представили критику основных законов, составленных советом, о чем я говорил ранее, передавая историю основных законов*.

Это открытие нового Государственного Совета и Государственной Думы, во всяком случае встреча монарха с представителями народа—представляла собою исторический акт.

Кажется, имеется картина, нарисованная каким-то художником, в которой изображен момент, когда государь, окруженный членами Государственного Совета и членами Государственной Думы, читает свою речь.

Я пробыл в Петербурге до открытия Государственной Думы и Государственного Совета; присутствовал в новом Государственном Совете еще несколько недель, а затем в мае уехал заграницу.

Когда я еще был в Америке, я уже говорил, что тогда все наиболее консервативные государственные деятели веровали в то, что оплот консерватизма лежит в крестьянстве и посему и Дума первая вышла, по преимуществу, Думой крестьянской. Если бы, действительно, крестьянство было только консервативно, как это предполагали, то ограниченное число представителей либеральных профессий, а равно рабочих, не могло бы совершенно изменить характер Думы; все-таки первенствующее положение, первенствующее влияние при выборе Думы принадлежало бы крестьянству, и, может быть, Дума эта постепенно сделалась бы благоразумной и даже консервативной, если бы к ней иначе отнеслось правительство. В то время крестьянство, а следовательно и значительная часть Думы, поддерживали идею принудительного отчуждения земли в пользу крестьянства, т.-е. в некотором роде хотели провести ту же самую меру, которую провел император Александр II при освобождении крестьян. Такое стремление естественно вызвало отпор со стороны правительства, и за этот отпор правительство винить нельзя ни в коем случае; но правительство погрешило в том, что оно не дозволило Думе обсуждать вопрос о земельном устройстве крестьян.

Согласно основным законам, Государственная Дума — это есть первая законодательная инстанция. То, что Дума представляет Государственному Совету, не составляет для Государственного Совета обязанности принять мнение Государственной Думы. Государственный Совет мог устранить все те крайности, которые Дума по крестьянскому вопросу могла бы ему, Государственному Совету, представить.

Не подлежит никакому сомнению, что правительство не сомневается и не сомневалось, что Государственный Совет,— половина членов которого назначена его величеством,—никоим образом не согласился бы с Государственной Думой во всех ее крайних мнениях относительно земельного устройства крестьян. Если бы даже, что совершенно ожидать было невозможно, Государственный Совет согласился, или принял бы некоторые из край-

ностей Государственной Думы, то и тогда от его императорского величества зависело закон не утвердить. Между тем, по предложению Горемыкина, было решено ни в коем случае не допустить Государственную Думу до обсуждения вопроса о крестьянском земельном устройстве, в который бы вошло принудительное отчуждение частно-владельческих земель. И как только Дума начала обсуждать вопрос о земельном устройстве с точки зрения принудительного отчуждения частно-владельческих земель, конечно, за плату, правительство решило заранее Думу такую разогнать.

Предложение о такого рода действиях правительства было сделано Горемыкиным в одном из заседаний, под председательством государя императора, когда я еще был председателем совета, и это было одною из причин, которая вынудила меня оставить пост председателя совета министров, так как я с подобного рода образом действий согласиться не мог. Из моего письма, в котором я просил государя меня уволить от обязанностей председателя совета министров, видно, что это обстоятельство было одной из причин, почему я просил государя уволить меня от места главы правительства. Я держался того убеждения, что пусть этот вопрос перегорит в горниле Государственной Думы: чем больше Дума его будет обсуждать, тем более она, Дума, будет встречать затруднений к осуществлению идеи принудительного отчуждения, которое легко проводится на бумаге, но гораздо труднее могло быть осуществлено в жизни.

Несомненно, что по мере обсуждения этого вопроса в Думе, в самой стране, во многих классах населения, явились бы протесты против такой меры. Только вследствие одного слуха о том, что такая мера может быть проводима в Государственной Думе, явилось объединение как дворян, так и вообще частных собственников.

Несомненно, что опасность или признак опасности отчуждения частно-владельческой собственности послужила к поправению наших земств, но так как правительство Горемыкина категорически противилось самому обсуждению такой меры в Государственной Думе, то вследствие этого Дума, и без того левого направления, совершенно бросилась в левую сторону. Между правительством и Думою явились такие обостренные отношения, что никаких дел вести в Думе было невозможно.

Нужно сказать, что самое назначение министерства Горемыкина перед самым созывом Государственной Думы, министерства, которое заключало членов, известных всей России, как крайние реакционеры и поклонники полицейского режима, конечно, не могло служить к успокоению первой Государствен-

ной Думы, Думы левого направления, да еще такого тревожного направления, какое было в то время, когда, можно сказать, громадное большинство россиян как бы сошло с ума.

Таким образом, уже в июне месяце правительство решило разогнать первую Думу, но если этого не сделало в июне, то только потому, что оно опасалось последствий такой меры. Оно опасалось, как бы такая мера не произвела еще большей смуты в России сравнительно с той, которая была перед 17-м октября 1905 года.

Министр внутренних дел Столыпин входил в сношение с местными начальниками о том, как они считают: можно ли решиться разогнать Думу, не произойдет ли от этого общего смятения, или нельзя? Московский градоначальник генерал Рейнбот мне рассказывал, что Столыпин особливо боялся возмущения в Москве, и поэтому он узнавал по телефону,—может ли он положиться, что в Москве не произойдет революция в случае, если Дума будет разогнана.

О том, что закрытие Думы будет иметь последствием возмущение в России и возмущение не психологическое, но физическое, сама Государственная Дума и в особенности представители конституционно-демократической партии (кадеты) усиленно проповедывали и распространяли по этому предмету различные слухи. Слухи эти, видимо, действовали на правительство и смущали правительство.

Столыпин был особенно озабочен Москвой, вероятно, потому, что перед этим в московского генерал-губернатора адмирала Дубасова была брошена бомба. В это время вообще происходили отдельные анархические выступления.

Замечательно, что после 17-го октября, в мое министерство, в течение полугода, даже в то поистине революционное время, которое мы переживали, не было таких резких анархических выступов и смут, какие явились после того, как вступило министерство Горемыкина и начало проявлять явно реакционные меры.

Правительство в то время явно растерялось, так что генерал Трепов вел переговоры даже с кадетской партией, с Милюковым во главе, о сформировании кадетского министерства, и эту мысль о кадетском министерстве Трепов поддерживал. Столыпин не сочувствовал этому министерству. Но не сочувствовал ли он ему потому, что направления этого министерства он, Столыпин, опасался, или потому, что он боялся, что он должен будет уступить свое место кому-либо другому, этого я не знаю: но мне известно, что Столыпин отговаривал государя согласиться с мыслью Трепова—составить министерство из кадетов, но, с другой стороны, Столыпин не решился распустить Государственную Думу, боясь крайних революционных эксцессов.

Первая Государственная Дума была распущена по инициативе и настоянию Горемыкина. Как я слышал от самого Горе-

мыкина, вот как это случилось: Горемыкин был у государя и настаивал на необходимости роспуска Государственной Думы, так как Горемыкин уверял, что с этой Думой правительство ничего сделать не в состоянии, что Дума эта только будет революционизировать страну. После доклада Горемыкина его величеству на это угодно было соизволить и подписать указ о роспуске Государственной Думы. Это было 7-го июля.

Горемыкин вернулся в Петербург, послал указ в сенат для опубликования, а сам лег спать и приказал себя не будить. Ночью он уже получил распоряжение указ не опубликовывать, но так как он спал и приказал себя не будить, то распоряжение это ему и не было передано, а потому на другое утро указ этот появился. Таким образом, злые языки говорили, что Дума была распущена вследствие известного, составляющего характерную черту Горемыкина, постоянного стремления к полному спокойствию.

Одновременно с роспуском Государственной Думы последовало и увольнение Горемыкина и назначение на его место Столыпина. Увольнение Горемыкина было для него неожиданно. Государь император, согласившись распустить Государственную Думу и подписав указ, затем объявил Горемыкину, что он его освобождает от поста председателя совета, что для него, Горемыкина, было совершенно неожиданно. Он не без основания приписывает такое решение его величества, с одной стороны — интриге Столыпина, а с другой стороны—воздействию Трепова.

Трепов, который сам выдвинул Горемыкина, как председателя совета, с ним не уживался. Трепов полагал, что, если будет назначен Горемыкин, то Горемыкин будет во всем его слушаться, а поэтому он и рекомендовал Горемыкина. Вероятно, Горемыкин во многом и слушался Трепова, но постольку, поскольку это послушание должно было переменить натуру Горемыкина, это было невозможно. Горемыкин любил покой и отдохновение, поэтому он мало являлся в Государственную Думу, выступал в Государственной Думе только несколько раз и то с декларациями, заранее написанными и такими, которые могли только раздражать Государственную Думу. Трепов находил это недостаточным, он указывал Горемыкину,что Горемыкин должен принимать деятельное участие в дебатах Думы, не спускать Государственной Думе и против каждого ее решения представлять возражения. Это было совсем не в характере Горемыкина. Горемыкин по натуре—манфишист. Вследствие этого, как мне рассказывал Горемыкин, Трепов составил вроде инструкции Горемыкину, как он должен поступать в отношении Думы, в каких случаях он должен являться и как должен воздействовать на Думу. Эта инструкция, с резолюцией государя, что он находит ее правильной, была передана его величеством

Горемыкину как бы для руководства. Это окончательно охладило Горемыкина к Трепову, а с другой стороны, и Трепова к Горемыкину. Поэтому, надо думать, уходу Горемыкина, для него совершенно неожиданному, содействовал также и Трепов. Вероятно, Трепов докладывал, что для того, чтобы собрать новую Думу, более спокойную, необходимо, чтобы министерство было составлено из людей марки более либеральной, а потому такие лица, как Горемыкин, Стишинский—главноуправляющий земледелия, князь Ширинский-Шахматов—обер-прокурор святейшего синода, должны уйти и быть заменены лицами более либеральной марки. В то время Столыпин крайне либеральничал: он говорил в Думе весьма либеральные речи, давал всевозможные обещания. Он проповедывал и полную веротерпимость и обещал уничтожение всяких исключительных положений, существовавших и поныне существующих для крестьян, и расширение образования, и различные блага инородцам и т. д.

Вот Трепов и думал, и не без основания, втереть очки российским избирателям и при помощи такого либерала, как Столыпин, получить более консервативную Думу, сравнительно с первой Государственной Думой.

Вместо Стишинского был назначен главноуправляющим земледелия князь Васильчиков, прекрасный человек во всех отношениях, джентельмен, человек с большим состоянием, либеральный больше на словах, чем на деле, и человек мало деловой [1]). А вместо обер-прокурора князя Ширинского-Шахматова был назначен попечитель петербургского учебного округа Извольский, вероятно, только потому, что он брат Извольского, министра иностранных дел.

[1]) Князь Васильчиков, как я об этом говорил ранее, — человек в высшей степени порядочный, но не деловой. Я помню, что когда Святополк-Мирский был назначен министром внутренних дел, то он хотел взять себе в товарищи князя Васильчикова.

Когда князь Васильчиков был у меня и я в первый раз вел с ним деловой разговор, то он, вероятно, нашел, что я чересчур консервативен, так как князь Васильчиков высказывал гораздо более либеральные воззрения, нежели я.

Затем назначение князя Васильчикова не состоялось и, как мне передавал князь Мирский, не состоялось потому, что князь Васильчиков написал род программы, только при условии принятия которой он мог занять место товарища министра внутренних дел, при чем в числе прочих пунктов его программы был пункт о закономерном отношении к Финляндии, в смысле точного исполнения финляндской конституции.

Князь Мирский докладывал эту программу его величеству, и его величеству не совсем понравилось такое отношение князя Васильчикова к Финляндии.

Знаменательно, что когда прошло несколько лет и князь Васильчиков, оставя уже пост министра, сделался членом Государственного Совета, то при образовании клуба националистов в Петербурге—князь был выбран

Как мне говорили, Столыпин хотел назначить обер-прокурором князя Оболенского, который был обер-прокурором святейшего синода при мне и который состоит в близком родстве со Столыпиным, но государь на это назначение не согласился, а потому Столыпин решительно не знал, кого назначить, и вот в одно из заседаний совета министров, когда Столыпин сказал, что не знает решительно кого назначить, Извольский сказал: «Назначьте моего брата», тот и назначил. Этот Извольский, обер-прокурор, человек очень порядочный, имеет некоторые достоинства, но, конечно, не представляет собою человека, который мог бы с успехом занимать какой бы то ни было государственный пост, а особливо пост обер-прокурора святейшего синода, так как Извольский никогда никакого отношения к церковному управлению не имел и по натуре недостаточно широк для поста министра.

Вместе с роспуском Государственной Думы были приостановлены занятия в Государственном Совете.

В это время, вслед за роспуском Государственной Думы произошло так называемое «Выборгское воззвание». Выборгское воззвание заключалось в том, что, как только Дума была закрыта, некоторые из членов Государственной Думы, преимущественно из партии кадетов, направились в Выборг, устроили там митинг, на котором и подписали известное Выборгское воззвание, воззвание, которое приглашало всех крестьян протестовать против произвольного роспуска Думы и, между прочим, прекратить уплату государству податей и налогов. Конечно, это действие было совершенно революционное и непатриотичное.

Члены Думы собрались в Выборге, боясь, что в другом месте они будут сейчас же разогнаны. В Выборге же они успели

пошел в председатели этого клуба, клуба вполне политического, крайне узкого, который, главным образом, имеет в виду преследование всех инородцев Российской империи.

Точно так же, когда в 1911 году через Государственный Совет проходил финляндский закон, вполне нарушивший все конституционные гарантии Финляндии, — князь Васильчиков был из числа тех, которые подали голос за этот закон.

Все-таки я должен сказать, что князь Васильчиков делал это малосознательно, так как по его натуре, как мне кажется, он глубоких убеждений иметь не может.

В течение последних 5—6 лет не только общественные деятели, но и государственные деятели так резко меняли свои убеждения, держа нос по ветру, что указанный мной случай с князем Васильчиковым не представляет ничего особенного. Можно по пальцам перечислить тех государственных деятелей, которые не изменили ни своих убеждений, ни своего фланга, начиная с 1905 года, и этот разврат в государственных мыслях, убеждениях и действиях — произошел, главным образом, от режима, установленного Столыпиным.

составить митинг и подписать воззвание, хотя и там, когда они собрались, то в скором времени были предупреждены губернатором, что они должны разойтись, иначе он должен будет принять меры. На этом воззвании подписалось несколько лиц, вполне благоразумных и вполне достойных, так, например: проф. Петражицкий, инженер Михайлов—член Государственной Думы от Черноморской области, и некоторые другие, которые совсем не сочувствовали этому воззванию, но не могли не подписать, так как иначе они были бы обвинены своими товарищами в трусости, с другой стороны, некоторые члены Государственной Думы совершенно случайно не подписали этого воззвания, так как не знали о том, что митинг этот на другой день состоится в Выборге. Так как все члены, подписавшие воззвание, были затем судимы и обвинены и понесли кару в виде тюремного заключения, а главное—лишились навсегда права быть выбранными в Государственную Думу, то те члены, которые случайно не подписали этого воззвания, конечно, значительно выиграли.

Перед закрытием Государственной Думы вся Петербургская и Киевская губернии были объявлены на военном положении. 12-го августа последовало покушение на жизнь Столыпина на Аптекарском острове, а 13-го августа был убит командир Семеновского полка генерал Мин, который усмирял московское восстание и усмирял весьма успешно, что ему делало большую честь. К сожалению, после усмирения восстания он допустил многие эксцессы, ничем не вызванные, и эти эксцессы не могут быть ничем оправданы.

Покушение на жизнь Столыпина, между прочим, имело на него значительное влияние. Тот либерализм, который он проявлял во время первой Государственной Думы, что послужило ему мостом к председательскому месту, с того времени начал постепенно таять, и, в конце концов, Столыпин последние два-три года своего управления водворил в России положительный террор, но самое главное, внес во все отправления государственной жизни полнейший произвол и полицейское усмотрение. Ни в какие времена при самодержавном правлении не было столько произвола, сколько проявлялось во всех отраслях государственной жизни во времена Столыпина; и по мере того, как Столыпин входил в эту тьму, он все более и более заражался этой тьмой, делаясь постепенно все большим и большим обскурантом, все большим и большим полицейским высшего порядка, и применял в отношении не только лиц, которых он считал вредными в государственном смысле, но и в отношении лиц, которых он считал почему бы то ни было своими недоброжелателями, самые жестокие и коварные приемы.

*

Мне несколько лиц говорило, что после катастрофы на Аптекарском острове, когда он в разговорах проводил такие мысли, которые совершенно противоречили тому, что он говорил ранее, когда он был предводителем дворянства в Ковно, губернатором в Саратове, а потом министром внутренних дел, то он на это отвечал: «Да, это было до бомбы Аптекарского острова, а теперь я стал другим человеком».

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ.

Моя поездка заграницу летом 1906 г.

Теперь я перехожу к изложению обстоятельств, имевших место при моей поездке заграницу. В мае месяце я уехал прямо в Брюссель к моей дочери. В Брюсселе пробыл дней 10, познакомился там с принцем Наполеоном, империалистическим претендентом на французский престол. Тогда еще он не был женат на дочери короля Леопольда Бельгийского, так как король не соглашался выдать за него дочь из соображений политических, так как он проводил большую часть своего времени во Франции и там весьма жуировал, а потому он полагал, что, выдав свою дочь за претендента на французский престол, он может этим несколько попортить свои отношения к Французской республике.

Как-то раз принц Наполеон, с которым я обедал у тамошнего первого банкира Ламберта, женатого на дочери парижского банкира Ротшильда, просил меня прийти к нему запросто со своей женой завтракать. Через несколько дней я пошел к нему завтракать. Меня удивило то, что у него в доме вся его прислуга и лица, там находившиеся, не называли его иначе, как ваше величество, т.-е. представляя себе, как бы он есть французский император. Там я узнал, что отставные офицеры французской армии и даже некоторые из действующих офицеров империалисты поочередно приезжают к нему и по несколько месяцев дежурят и исполняют обязанности адъютанта. Точно так же все французские пожилые империалисты, с известными более или менее именами, поочередно приезжают к нему и исполняют обязанности обер-гофмаршалов, т.-е. иначе говоря, как бы министров двора. Хотя завтрак был совершенно простой, тем не менее, соблюдался весь этикет, как бы на завтраке у императора.

После завтрака он меня попросил зайти к нему в кабинет, где я наедине имел с ним такой оригинальный разговор: он мне сказал, что вот он хорошо знает меня по моей государственной деятельности и по репутации, которою я пользуюсь в Европе,

что он хотел ко мне обратиться, чтобы я ему дал совет, как ему поступить, и мне объяснил, что дело заключается в том, что в виду такого неспокойного настроения во Франции, которое существует, и каковое беспокойство идет от того, что с каждым днем все усиливается крайняя партия социалистов, его советчики ему советуют явиться во Францию и сделать империалистическое пронунциаменто, т.-е. объявиться императором, и просил сказать, что я по этому предмету думаю, при чем он мне сказал, что особенно во Франции беспокоятся, что там дошли до таких крайностей, что даже говорят о возможности министерства Клемансо, такого крайнего человека с социалистическими идеями.

На это я ответил принцу, что как мне ни неприятно ему сказать то, что я думаю, тем не менее, в виду его доверчивого ко мне отношения, я считал бы нечестным ему не сказать откровенно мое мнение, а мое мнение таково, что такая авантюра не может иметь никакого успеха, что я убежден в том, что, если Клемансо сделается президентом министерства, то министерство Клемансо обратится в министерство буржуазное; что там все социалисты—до тех пор, пока не входят во власть, а когда входят во власть, то сами обстоятельства складываются так, что они видят, что проводить свои социальные теории они не в состоянии. Поэтому, с точки зрения экономической, материальной—Франция представляет собой страну с наименее прогрессивным финансовым и экономическим законодательством; хотя она и республика, но соседние государства провели в свою государственную экономическую, финансовую жизнь гораздо большие демократические реформы и принципы, нежели Франция.

На это принц мне пожал руку и сказал, что он очень рад от меня это слышать, так как и он внутри души был того же мнения. Действительность вполне оправдала мои указания. После этого министерства Клемансо было министерство такого крайнего социалиста, как Бриана, и эти министры со своими коллегами социалистами и крайними, как только делались министрами, не выходили из рамок государственного благоразумия, и до сих пор во Франции не введена даже такая мера, как подоходный налог, который введен уже давно и в Германии, и в Англии, и в других европейских государствах.

Из Брюсселя я с дочерью и зятем должны были неожиданно выехать в Экслебэн, где находилось семейство Нарышкиных, т.-е. отец и мать моего зятя с некоторыми детьми, так как Василий Львович Нарышкин заболел воспалением легких и там умер. Моя же жена с внуком отправилась в Париж. Из Экслебэна моя дочь с зятем поехали в Петербург вместе с гробом Василия Львовича, чтобы похоронить его в Невской Лавре, а я вернулся в Париж и с внуком поехал в Виши.

В Виши я получил телеграмму от известнейшего, замечательного ученого Мечникова, в которой он меня спрашивал, могу ли я его принять. Я Мечникова знал еще с Новороссийского университета, так как, когда я кончал курс, он там начал профессорствовать по кафедре зоологии. Так как он был, по тому времени, довольно крайних идей, а я был гораздо более консервативных идей, то мы с ним не особенно сходились, тем не менее, я его отлично знал. Я ответил Мечникову, что я его во всякое время с большим удовольствием приму.

* Однажды в Одессе я имел с Мечниковым большой спор по поводу защиты диссертации на магистра моего товарища Лигина (впоследствии попечителя варшавского учебного округа). Мечников и его компания из естественников, имея самые слабые математические познания, его хотели провалить потому, что он маменькин сынок и консерватор.

Обратились к знаменитому геометру Шалю, который ответил, что за диссертацию Лигина следовало бы дать доктора, а не только магистра механики. Вот этот милейший, достойнейший и талантливейший Мечников меня также упрекал, что я мало убил людей. По его теории, которую он после выражал многим, я должен был отдать Петербург, Москву или какую-либо губернию в руки революционеров. Затем через несколько месяцев их осадить и взять, при чем расстрелять несколько десятков тысяч человек. Тогда бы, по его мнению, революции был положен конец.

Некоторые русские с восторгом и разинутыми ртами слушали его речи. При этом он ссылался на Тьера и его расправу с коммунистами. Впрочем, Мечников прибавил: это я так говорю—ведь я не политик...

Затем и в России начали при критике моих действий ссылаться на Тьера. Какое невежество и потемнение разума. Начать с того, что Тьер искусственно коммуну не создавал. Мечников в основу своих пожеланий ставит грубейшее провокаторство. Затем Тьер действовал, опираясь на народное собрание, выбранное всеобщею подачею голосов. Он громил Парижскую коммуну, опираясь на мандат и желание всей Франции. Относительно репрессий не он толкал национальное собрание, а обратно—он его всячески сдерживал.

Если бы после 17 октября было собрано всеобщею подачею голосов народное собрание, то оно бы потребовало от меня не всеобщих расстрелов, а полного прекращения таковых. Но мало того, оно потребовало бы еще отказа династии Романовых от престола и во всяком случае отказа государя от царства и передачи всех виновных в позорнейшей и страшнейшей войне верховному суду. В результате произошла бы братоубийственная война, которая, вероятно, окончилась бы отложением некоторых

наших окраин и занятием некоторых наших провинций чужеземными армиями. Ведь наша армия в 1.000.000 человек была в Манчжурии, и мне удалось только к моему уходу почти через полгода вернуть большую ее часть в Россию*.

Мечников ко мне приехал и просил меня дать ему совет по следующему делу: ему предлагают в Оксфорде кафедру с 3.000 фунтов стерлингов жалованья и с квартирой, отоплением и освещением на счет университета, т.-е. с жалованьем около 30 тыс. рублей, и он меня спрашивает, советую ли я ему принять это место или нет. Я его вопроса не понял и спросил его: «А сколько вы получаете, будучи одним из главных деятелей в институте Пастера в Париже»? Он сказал, что он получает 3 тыс. франков, но без всяких других каких-нибудь добавлений. Тогда я ему ответил, что, по моему мнению, вопрос кажется довольно ясен для ответа. На это он мне сказал, что для него вопрос совершенно не ясен, потому что он ни за что не переменил бы положения у Пастера на профессора в Оксфорде, хотя там жалование больше и материальное обеспечение больше, но только у него есть сомнение: он получает из России по второй закладной из земельного имущества своей жены около 8 тыс. рублей в год, и вот он в сущности на это и живет. Если только он может быть уверен, что это не пропадет, что он это будет получать, то, конечно, он никогда никакого места не примет и останется в институте Пастера, где он приобрел репутацию не только во Франции, но и во всем свете. Судя по тому, что происходит в России и, главным образом, вследствие идей об экспроприации земельного имущества, его стращают, что он может эти деньги потерять и не получить. В этом случае он жить в Париже не в состоянии и должен будет принять кафедру в Оксфорде. Я его успокоил и сказал, что принудительной экспроприации земель в большом объеме не будет, и если бы даже она была, то она будет производиться за вознаграждение, а следовательно он получит и соответствующий капитал, поэтому он может быть совершенно покоен. Он мне поверил. Конечно, так и случилось. Это обстоятельство меня с ним очень сблизило.

Из Виши мы поехали в Экслебэн, куда к нам вернулись из Петербурга моя дочь с зятем; затем, пройдя курс лечения в Экслебэне, мой зять, дочь и внук уехали в Брюссель, где он служил в дипломатическом корпусе, а я с женой проехали через Швейцарию и хотели подняться до Кельна по Рейну и затем еще заехать в Брюссель, но в Майнце моя жена заболела, что нас и задержало во Франкфурте.

Во Франкфурте доктор решил, что и мне нужно сделать операцию, поэтому мы поселились в Гомбурге и пробыли там

около месяца. Рядом с Гомбургом находится Соден. В этом городе лечился мой большой приятель, бывший тифлисский предводитель дворянства, князь Меликов, который затем от той болезни, от которой он лечился, через несколько лет умер.

Я тогда ездил на автомобиле к Меликову, и однажды меня удивило одно обстоятельство: когда я уходил от него, то меня сопровождали незнакомые лица. Затем, когда бывший директором департамента полиции Коваленский, который затем застрелился, и я шли на поезд сесть в вагон, вместе с двумя неизвестными лицами, то они меня почти вплотную окружали. Я не мог понять, в чем дело. На следующий день я заметил, что за мною ходят всегда и всюду агенты, но агенты не русской полиции, а немецкой. Тогда я обратился за объяснениями к тамошнему нашему консулу. Этот консул мне сказал, что ему начальник франкфуртской полиции передавал, что он получил приказание из Берлина учредить около меня охрану, но причины, чем это вызвано, он не знает.

Скоро после этого времени я покинул Гомбург и уехал в Брюссель и оттуда в Париж. В Париже я остановился в гостиннице Бристоль. Ко мне пришел известный Рачковский, бывший ранее начальником всей нашей секретной полиции заграницей, о котором я говорил ранее, и затем ближайшим человеком при председателе совета министров, меня заменившем, Горемыкине.

С падением Горемыкина, он временно оставил Петербург и приехал в Париж, где он имел обширные связи. И вот он у меня был; я его спросил, не знает ли он, по каким причинам последнее время, когда я был в Гомбурге, германская секретная полиция установила надо мной охрану. Он сказал, что он не знает, но узнает у Ратаева, а Ратаев был жандармский офицер, который заменил Рачковского, когда он должен был оставить пост начальника секретной полиции в Париже. Он заменил Рачковского специально по полицейской части, а Мануйлов по части прессы.

Когда я приехал в Париж, некоторые лица пришли ко мне в первый же день моего приезда и говорили, чтобы я был осторожнее, выходя на улицу, так как, пожалуй, могут на меня сделать покушение. Вследствие этих предупреждений, а равно и случившегося в Гомбурге, я спросил Рачковского, насколько эти предупреждения правильны, и рассказал ему, что случилось в Гомбурге. Он мне сказал, что наведет точные справки у Ратаева, и на другой день пришел ко мне и мне рассказал следующее, при чем показал мне и соответствующие документы; из этих документов было видно, что в Содене жил один студент из евреев,

который должен был покинуть Россию. Я помню, что когда я бывал у князя Меликова, то встречал этого студента.

Вот этот студент написал главе русской революционной анархической партии того времени о том, что я живу в Гомбурге, иногда приезжаю в Соден, что он трудно болен чахоткою, что ему все равно остается жить только несколько месяцев, по его мнению, а потому, если только партии это желательно, чтобы я был убит, т.-е., что мое убийство может принести партии пользу, то он готов совершить это убийство. Письмо это он адресовал лицу, которое в то время было во главе партии в Париже, а именно, с еврейской фамилией Рабинович или Гурович. Он состоит доктором в одной из парижских больниц. Эта партия со своим главою обсуждала этот вопрос и не решилась принять на себя решение, как следует в данном случае поступить и то, что следует ответить студенту; поэтому этот доктор отправил запрос студента к главе всей революционно-анархической организации заграницей того времени, а именно, известному Гоцу. Этот Гоц, богатый человек, был студентом в России, затем был сослан в Сибирь, из Сибири бежал и, имея значительный капитал, встал во главе всей революционно-анархической организации, но так как он в Сибири подорвал свое здоровье, то проживал большею частью на юге Швейцарии или Италии, но в это время он был в Берлине, где ему должны были делать серьезную операцию.

Письмо из Парижа было получено в клинике в Берлине, как раз перед самой операцией, а поэтому администрация клиники ему письма не передала; между тем, операция была совершена неудачно, т.-е. он, больной Гоц, ее не выдержал и умер. Тогда берлинская полиция, зная, что Гоц есть глава анархистов, открыла письмо, которое было адресовано на его имя и которое он не успел распечатать, и нашла именно этот запрос из Парижа о том, как следует в данном случае поступить, дать ли разрешение студенту меня убить или не давать. Берлинская полиция завладела этим письмом и послала его Ратаеву и одновременно телеграфировала во Франкфурт, чтобы была установлена охрана, так как германскому правительству было бы очень неприятно, если бы я был убит в пределах Германии. Послали это письмо Ратаеву потому, что слыхали и знали из газет, что я собираюсь из Германии проехать в Париж, и для того, чтобы в Париже были приняты меры.

Таким образом я узнал, почему это во Франкфурте я был охраняем. Одновременно Рачковский сказал от имени Ратаева, что он принял соответствующие меры и что я в Париже могу ходить и бывать всюду совершенно спокойно.

* Когда я был еще в Aix les Bains (Франция), там через посольство получил от министра двора письмо от 17 июля такого

содержания: «Считаю нужным с вами поделиться впечатлениями только что бывшего у меня разговора с государем императором. Когда, говоря о настоящем политическом положении [1]), было упомянуто ваше имя, его величество высказался в том смысле, что возвращение ваше в настоящее время в Россию было бы весьма нежелательным. Я признал необходимым сообщить вам это мнение его величества, дабы вы могли им сообразоваться при дальнейших планах вашей поездки». Это было не что иное, как высочайшее повеление не возвращаться в Россию. В ответ на это письмо я сейчас же ответил просьбою об увольнении меня от службы. Через несколько дней я узнал о разгоне первой Государственной Думы. Вследствие этого я телеграммой на имя почт-директора задержал посланное прошение. Когда первые громы от разгона первой Государственной Думы улеглись и министерство Горемыкина, совершившее этот разгром, пало и вместо него явилось министерство Столыпина, заряженное тем же порохом, как и министерство Горемыкина, находившееся первое время в тумане напускного либерального конституционализма, то я около 20 августа (из Гомбурга) ответил министру двора барону Фредериксу следующим письмом: «Получив ваше письмо от 17 июля с любезным «советом не возвращаться в настоящее время» на мою родину, я на другой день послал прошение об отставке. Но засим в ясном сознании тех кровавых последствий, которые будет иметь роспуск Думы, и находя не патриотичным в такое время возбуждать личные вопросы, я задержал письмо в Петербурге. С тех пор прошло более месяца и ныне считаю возможным вновь высказаться по тому же эпизоду. Когда я оставил пост председателя совета министров, по соображениям, которые я имел счастье доложить в особом письме и которые для государя императора не были новы, так как ранее я имел возможность излагать их словесно и письменно, я не заметил, чтобы просьба моя не соответствовала высочайшим видам. Тем не менее, его императорскому величеству благоугодно было отпустить меня весьма благосклонно и отметить перед страною мои заслуги крайне милостивым рескриптом и наградою.

Затем было назначено министерство, в которое вошли лица, которые по прошедшей своей деятельности не могли встретить в Думе и большинстве общества иного чувства, кроме чувства презрительной вражды. Министерство это должно было изобразить скалу [2]). Оно ее изобразило, по крайней мере в смысле

[1]) Которое, вопреки ожиданиям государя, сложилось еще более черно, благодаря политике Горемыкина-Трепова, нежели это я ожидал.

[2]) Это выражение изволил употребить его величество, когда я ему откланялся после моего ухода и когда государь сказал мне, что будет назначено министерство Горемыкина.

свойства скалы—молчать, переносить удары, выказав неспособность отвечать мыслью на мысль.

Наконец, революционная Дума была распущена не во время, вследствие решения ее обратиться к стране по аграрному вопросу, вызванного по меньшей мере не политичным обращением по тому делу самим министерством. Таким образом поводом к роспуску Думы правительство почло уместным избрать вопрос (крестьянский), по которому было всего опаснее распускать народное собрание. Кровавые последствия сего действия налицо, и они еще выкажутся более выпукло. Я, в вашем присутствии, в последнем заседании по основным законам, имел честь докладывать его императорскому величеству по поводу мнений, высказанных тогда Горемыкиным по предмету политики правительства относительно будущей Думы по аграрному вопросу (не дозволить говорить о принудительном отчуждении, а если заговорят, то разогнать Думу), что роль правительства в этом деле должна быть выжидательная и примирительная, а не вызывающая.

Ужасно жалко, что правительство дало совершенно явные поводы внушить крестьянству, что правительство государя императора, если не против, то во всяком случае не за него. Решение по удельным землям скорее подольет в огонь масло, чем воду [1]). Распустив так неудачно Государственную Думу, Горемыкин и некоторые части министерской скалы испарились. Остался, насколько мне известно [2]), честный и решительный человек Столыпин, который сел верхом на манифест 17 октября, мой всеподданнейший, высочайше одобренный доклад, его сопровождающий, а равно на целый ряд законов, изданных в мое министерство, и покуда на сем коне гарцует, благо министерство еще не стиснуто денежными нуждами, благодаря колоссальнейшему займу, который мне удалось сделать перед самым моим уходом. Дай бог ему полного успеха, но как бы этот конь без надлежащего ухода скоро не сел на ноги [3]). Как только я оставил пост председателя совета министров, официальное отношение ко мне резко изменилось [4]). Министерская газета «Россия»,

---

[1]) Вслед за роспуском Думы из-за вопроса об обязательном возмездном отчуждении в известных случаях земли в пользу крестьян и вступлением Столыпина вместо Горемыкина, последовал указ об отдаче в некоторых случаях удельной земли в пользу крестьян за очень серьезное денежное вознаграждение. Этим преследовалась цель, недостигнутая, замаслить крестьянство.

[2]) Мне рассказывали о нем князья Оболенские, в особенности Алексей, бывший в моем министерстве обер-прокурором. Как оказалось, они глубоко ошиблись в квалификации Столыпина под влиянием родственных чувств.

[3]) К несчастью, вследствие операции Столыпина 3-го июня, сел и теперь еле двигается.

[4]) Неофициальное было уже враждебно через несколько месяцев, если не недель после 17 октября.

заменившая официальное «Русское Государство» (чистоплотный... господин Сыромятников вместо нечистоплотного Гурьева) в наивно ребяческом предположении министров, что весь мир на другой же день не будет знать, что в сущности это также официальная газета министерства, сейчас же, не без благословения подлежащих министров, начала меня всячески инсинуировать. Члены кабинета, не имея мужества назвать себя по имени, начали излагать анонимно (один из членов кабинета) [1]) иностранным корреспондентам свои политические «credo», при чем всякий раз не упускали случая направить на меня стрелы, но, к моему благополучию, пропитанные не ядом отсутствующего мышления, а лишь детскою слюною. Честный Столыпин и генерал Трепов сочли также нужным объявить заграничным корреспондентам, что мои действия были ошибочны. Иностранные корреспонденты все это печатали, зная слабость читателей ко всему пикантно-комическому. На-днях публицист Столыпин, неоднократно объявлявший, что он брат премьера и находится с ним в добрых братских отношениях, снисходительно отнесясь к моим талантам (подумаешь, какая честь), объявил, что ему достоверно известно, что я содействовал распространению легенды о влиянии Трепова [2]). Это уже более серьезно [3]), и пусть сие сообщение остается на совести автора и тех, которые инспирировали пьяненького газетчика Столыпина [4]).

Наконец, сегодня опубликована почти во всех газетах телеграмма императору Вильгельму монархических партий «истинно-русских людей» (в простонародии черносотенцев), которые, по крайней мере в мое время, пользовались особым благоволением некоторых правительственных сфер [5]), приписывающая мне все беды России и объявляющая меня чуть ли не еврейским владыкою. Одновременно мне передавали, что ближайшие члены семьи его императорского величества изволят также меня обвинять во всем ныне происходящем в нашем оте-

---

[1]) Это был Шванебах, удаленный мною из министерства после 17 октября и взятый Горемыкиным снова (на пост государственного контролера), когда я ушел.

[2]) Было мудрено содействовать распространению легенды, всем известной еще до 17 октября. Ныне эта л е г е н д а с д е л а л а с ь д о с т о в е р н ы м ф а к т о м. Тут нет ничего мудреного! Чем Трепов хуже французского доктора Филиппа, старца Распутина и проч.?

[3]) Потому что было сделано с целью вооружить против меня государя, так как такие заметки ему подносились Столыпиным.

[4]) Любезный брат премьера был известен своими кутежами и неразборчивостью вообще.

[5]) Дурново, Трепова, великого князя Николая Николаевича, а после меня особенно благоволением дворцовых сфер и лично императора Николая II.

честве [1]). Вам, как истинно благородному свидетелю событий 17 октября, моего отношения к манифесту и затем сочлену моего министерства, известно, насколько это верно.

Наконец, сегодня мне сообщают, что в Петербурге, не без участия правительственных лиц, готовят целые диссертации, имеющие доказать, что я виновник в смуте и в несчастной войне, которая послужила главной причиной к смуте. И я по моему официальному положению должен на все это молчать...

Все вышеизложенное меня понуждает вернуться к моему первоначальному побуждению, вызванному вашим письмом с «советом» [2]) не возвращаться «в настоящее время» в отечество, несмотря на то, что в «настоящее время» даже русские эмигранты-революционеры и бомбисты нашли себе легальный или нелегальный приют в России.

Зная меня, я надеюсь, что вы не сомневаетесь в том, что превыше всего претило бы моей совести сделать по личному вопросу что-либо, что было бы не только неприятно, но просто неудобно для государя императора. Но если бы полное оставление мною государственной службы могло находиться в соответствии с желаниями и видами его императорского величества, то чувство самоуважения не могло бы ни на минуту колебать мой выбор, я немедленно подал бы прошение о полной отставке. Не имея соответствующих средств к жизни и не желая лишать мое семейство тех удобств, к которым оно привыкло, покуда я буду в силах, я и в частной службе могу зарабатывать соответствующие средства и косвенно приносить пользу обществу. Может быть, по нынешним временам не излишне прибавить, что никакое изменение в моем положении никогда и ни в каком случае не будет в состоянии поколебать мои чувства верноподданнейшей преданности моему государю и тем принципам, впитанным мною с молоком матери, которые его императорское величество, как русский монарх, в себе олицетворяет. Надеюсь, что наши рыцарские чувства подскажут вам необходимость скорейшего на сие письмо ответа».

Письмо это, конечно, было представлено по получении его величеству, но время шло, и я на него ответа не получал. Тогда, около 10 октября, я отправил министру двора из Франкфурта письмо следующего содержания:

---

[1]) Императрица Мария Федоровна мне говорила после 17 октября, что я будто бы вырвал у государя манифест 17 октября, как это ей говорил сам государь император. Императрица Александра Федоровна после моего ухода говорила своим приближенным, что я виновен во всех смутах. Раз государем был дан такой пароль, неудивительно, что великие князья в роде Николая Николаевича, Николая Михайловича, Александра Михайловича начали это разносить по всем углам.

[2]) Письмо это, конечно, было написано по повелению государя, а потому являлось для меня как бы высочайшим повелением.

«Тому назад 20 дней я почел корректным сообщить вам мой взгляд и мои побуждения, вызванные письмом вашим от 17 июля, крайне оскорбительное значение коего усугубилось сопутствующими фактами, часть коих мною вам передана. В заключительных строках моего письма я высказал: «Если полное оставление мною службы могло бы находиться в соответствии с желаниями и видами его императорского величества или даже если бы то или другое решение этого вопроса по его незначительности было безразлично государю императору, то чувство самоуважения не могло бы ни на минуту поколебать мой выбор. Я немедленно подал бы прошение о полной отставке.

Неполучение в столь продолжительное время ответа дает мне явное и твердое основание заключить, что то или другое решение моего личного дела совершенно безразлично для государя императора, что, впрочем, совершенно естественно, а потому благоволите представить его императорскому величеству прилагаемое мое прошение. Усердно прошу вашего содействия к скорейшему его удовлетворению».

Затем я переехал в Брюссель к моему зятю, где пробыл несколько дней, чтобы вернуться в Париж, откуда выехал в Петербург. В Брюсселе я получил от министра двора письмо следующего содержания:

«Не преминув, по получении вашего письма, доложить его содержание государю императору, я выждал возможность более обстоятельно переговорить с его величеством по поводу вопроса о вашем возвращении в Россию, что решил сделать во время нашей поездки в шхеры. Могу вам теперь с уверенностью сказать, что государь, высказывая желание о невозвращении вашем в Россию, имел исключительно в виду обстоятельства данной минуты, полагая ваше присутствие здесь нежелательным из опасения, чтобы недоброжелательные лица не воспользовались бы им, как средством (?) для осложнения и без того трудной задачи министерства, но ни в каком случае как личное к вам недоброжелательство. Его величество, снисходя (??) к желанию вашему для личных ваших дел (?) вернуться в Россию и полагая, что в настоящее время ваш приезд не вызовет серьезных (?) осложнений политического характера, поручил мне сообщить вам, что не находит препятствий к вашему возвращению. Мне особенно приятно иметь возможность присовокупить, что по возвращении вы встретите со стороны его величества благосклонный прием, и что государю императору безусловно угодно, чтобы вы не оставляли государственной службы».

Письмо это было помечено 10 сентября. Было ли получено мое второе письмо до написания приведенного или нет, мне в точности неизвестно, но достоверно известно, что Коковцову

сделалось известным, что как только европейские банкирские сферы пронюхали, что я стараюсь оставить государственную службу, то мне со всех сторон начали сыпать предложения о занятии мест в частной службе, конечно, с громадными вознаграждениями, и он не преминул об этом передать Столыпину, а также известно то, что государь, ранее нежели решился дать мне благосклонный ответ, совещался с членами правительства.

Когда я получил письмо барона Фредерикса, я ему телеграфировал, что, если он считает нужным, то может не докладывать моего второго письма государю, на что сейчас же получил ответ, что он счел корректным не представлять моего второго письма с прошением об увольнении, но показывал ли он его государю или нет, мне в точности неизвестно, но, зная обстановку и лиц, я думаю, что, конечно, показывал.

Затем, как я говорил, из Брюсселя я переехал в Париж, чтобы поехать в Петербург*.

В Париже, перед моим выездом в Петербург, я виделся с министром двора бароном Фредериксом, с которым лично я и мое семейство с его семейством находились и в настоящее время находимся в очень хороших и дружеских отношениях. Но барон Фредерикс, видимо, избегал разговора со мною по этому предмету и только высказал, что, если бы он был вместо меня, то он старался бы жить побольше заграницей, на что я ему ответил, что я вообще предпочитаю жить в России, а кроме того, у меня нет соответствующих средств, чтобы жить заграницей так, как я могу жить в России.

Когда я был в Париже, я получил известие об ужасном покушении, которое имело место 12-го августа на Аптекарском острове, когда была кинута в приемной председателя совета министров бомба, которой убило несколько человек в приемной министра и ранило его бедных детей—сына и дочь. Это убийство меня очень взволновало и возмутило, вследствие этого я телеграфировал Столыпину, выражая ему мое соболезнование, и получил от него в ответ очень любезную телеграмму.

Почти одновременно я получил в Париже от некоего князя Михаила Михайловича Андроникова телеграмму на французском языке такого содержания:

«Узнав о вашем скором возвращении, поступаю по совести вследствие искренних и верных чувств, к вам питаемых, умоляю вас продолжить ваше пребывание заграницею. Опасность для

вашей жизни здесь более серьезна нежели вы думаете, это мое последнее слово. Приезжайте, если хотите умереть».

Эта телеграмма на меня имела обратное действие, я решил немедленно выехать в Петербург и поехал туда с женой. Таким образом я вернулся в Петербург в августе месяце 1906 г.

Этот М. М. Андроников весьма странный человек. Он сын очень почтенного человека князя Андроникова, бывшего адъютанта великого князя Михаила Николаевича, а мать его некая Берг, помещица в Балтийской губернии. Кончил он курс в Пажеском корпусе, а затем занимался и ныне занимается какою-то странной профессией. Он втирается ко всем министрам, старается оказать этим министрам всякие одолжения, сообщает иногда весьма интересные для этих министров сведения. Таким образом он влез и ко мне, когда я был министром финансов, и в течение 8 лет был ко мне вхож, не в мой дом, а ко мне в служебный кабинет. Ничего такого дрянного никто про него сказать не может, но все, когда говорят об Андроникове, как-то недоумеваючи улыбаются, не понимая, что он собою именно представляет. Живет он в отеле Бельвю на Морской, против гостиницы Франция, знакомые его самые разнообразные. И в настоящее время он ближайший друг и военного министра, постоянно бывает и у него и у его супруги, и у министра внутренних дел Макарова—и у него и у его супруги, бывает и у Коковцова. Коковцов его принимает, хотя Коковцов еще недавно, говоря о нем, сказал: «Это большая дрянь».

С тех пор, как я покинул пост председателя совета министров, Андроников у меня бывает очень редко. Всякий раз, когда бывает, надевает виц-мундир, относится крайне почтительно, иногда сообщает интересные новости. Повидимому, он также близок или вхож к министру двора. Он мне последнее время передавал несколько записок, очень умно написанных, которые он, как говорил, представлял его величеству через министра двора. Записки эти были писаны покойным Шараповым.

Шарапов был человек большого таланта и довольно слабой морали. Я знаю, что Андроников, после того, как я уехал из России в 1906 году, сблизился с партией союза русского народа, с Дубровиным и с градоначальником Лауницем, бывал на собраниях союза русского народа. Когда я, после моего приезда в Петербург, с ним заговорил, чем была вызвана телеграмма, он мне сказал, что эта телеграмма была вызвана тем, что он слыхал в собрании союза русского народа от Дубровина, что решено, как я вернусь, меня убить и что об этом ему говорил градоначальник, что решено меня убить. Он даже мне говорил, что у него есть мемуары, и что там подробно все описано, и, когда я попросил мне показать мемуары, он сказал, что мне покажет, но до сих пор не показал, говоря, что они где-то заперты.

У меня являлись странные мысли и сопоставления: с одной стороны, совет, а совет государя есть в сущности приказание не возвращаться в Россию, а с другой стороны, когда я подал в отставку и видели, что я не намерен подчиниться этому совету, затем вдруг я получаю уведомление от Андроникова, чтобы я не возвращался в Россию, потому что меня убьют, т.-е. хотели, чтобы я не возвращался в Россию, как бы воздействуя на меня страхом.

Затем все-таки на вопрос, кто такой Андроников, я ответить не могу, я могу сказать следующее, что, во всяком случае, по натуре, по его скромности, он большой сыщик и провокатор, и в некотором отношении интересный человек для власть имущих; но делает ли он это все по любви к искусству или из-за денег, я сказать не могу. Вот еще недавно он мне дал прочесть очень интересную записку пресловутого Безобразова о причинах войны, затем мне сказал, что кроме этой записки имеется еще том приложений с различными документами и что он мне впоследствии даст и эти документы. Мне, конечно, было бы интересно прочесть документы. Возвращая ему записку, я просил прислать документы. Это издание, как он сам говорил, написано на пишущей машинке в 20 экземплярах, взято им со стола министра внутренних дел. Но когда я ему написал, это было месяца два тому назад, что вот возвращаю ему записку и ожидаю продолжения, то с тех пор о нем ни духу, ни слуху.

Итак, я возвратился в Петербург.

* По приезде я немедленно увидался со Столыпиным и просил его повлиять, на кого следует, чтобы меня освободили от государственной службы, на что Столыпин ответил: «Если вы хотите непременно уйти, то вас силою никто удержать не может, но да будет вам известно, что ваш уход, особенно в настоящее время, все равно что брошенная удачно анархическая бомба». Я, конечно, ему ответил, что в таком случае я отказываюсь от своего намерения.

Через несколько дней после этого я явился к государю. Его величество меня принял как ни в чем не бывало. О высочайшем повелении не возвращаться в Россию, о моей просьбе об увольнении ни слова. Говорили только о строющемся императору Александру III памятнике. Аудиенция продолжалась минут двадцать. После этого (в ноябре 1906 года) я более с государем не имел случая говорить впредь до аудиенции, которую я имел в этом году (1912), и только видал его величество на торжественных приемах. Мне говорили, что после моего приема в ноябре 1906 года государь сказал своим интимным: «А все-таки, какой Витте умный человек, не сказал мне ни одного слова

о прошедшем». Конечно, после свидания со Столыпиным я от всех предложений, мне сделанных от частных обществ, отказался. А затем пошла на меня охота, как на дикого зверя; сначала решили взорвать мой дом и подложили в трубы адские машины, а затем, когда это, благодаря богу, не удалось, то решили бросить бомбу, когда я буду ехать в Государственный Совет, и это не удалось вследствие того, что руководитель этих покушений, Казанцев, который распоряжался и убийством члена первой Думы Иоллоса, агент охранного отделения, член союза русского народа, действовавший под маскою социалиста-анархиста, был познан, как агент охранного отделения, своими сотоварищами по убийствам и покушениям, действительно социалистами-анархистами, и был за несколько часов до времени, назначенного для бросания бомбы, зарезан анархистом Федоровым. Все это сказочно и невероятно, но все это действительно было. В моем архиве, в числе массы бумаг, которые служат подкреплением моих настоящих набросков, есть все дело, официальное, о покушении на меня и другие несомненные документы, в том числе замечательная переписка моя по этому предмету с Столыпиным. Эта переписка мне дает нравственное право назвать его большим политическим...

Убийство Герценштейна (профессора, члена первой Думы) в Финляндии, затем Иоллоса (тоже члена первой Думы) в Москве, некоторые мелкие убийства в политическом смысле, затем покушения на меня—все это сделано союзом русского народа при участии и попустительстве агентов полиции и правительства вообще. Все это было скрыто судебным ведомством, заведомо неправильным ведением следствия. Конечно, государь не принимал никакого участия в этих кровавых делах, но ему были, если не приятны, то безразличны и курьезны все эти убийства и покушения. Но совершавшие эти убийства и покушения знали, что его величество будет на это реагировать по-меньшей мере безразлично, а затем власть будет всячески стараться все это покрыть. Кто такая эта власть?.. *

---

*

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ.

Между I и II Думами.

Во время междудумья, между первой и второй Думами, правительство опубликовало целый ряд правил, по силе статьи 87 основных законов. По смыслу этой статьи, во время роспуска Думы правительство может принимать законодательные чрезвычайные меры впредь до созыва Государственной Думы, при чем в течение двух месяцев после созыва Думы соответствующий закон должен быть представлен в Государственную Думу.

Столыпин из этой статьи, посредством самого неправильного и произвольного ее применения, создал целое законодательство, основанное на этой 87 статье.

По этой статье, во время междудумья, Столыпин разрешал не только чрезвычайные меры, не терпящие отлагательства, но и такие меры, которые могли терпеть отлагательство еще целые годы.

Так, по этой статье, он предрешил все преобразования по крестьянскому вопросу; по этой статье он издал закон о старообрядцах и сектантах; наконец, по этой статье он принял целый ряд мер охранительного и полицейского порядка, но мер законодательных.

Статья 87—автором которой был я,—очевидно, имеет в виду исключительные, чрезвычайные меры, которых отложить до созыва Государственной Думы нет возможности, и притом такие меры, которые не предрешают ничего по существу; например, разрешение крестьянского вопроса в порядке статьи 87, очевидно, предрешает весь вопрос капитальнейшей государственной важности по самому его существу.

Когда такой закон продержится полгода и в соответствии с ним начнется переделка землеустройства, то ясно, что после этого итти в обратном направлении почти что невозможно. Во всяком случае, это породит целый хаос!

Я уверен, например, что если бы по ст. 87 Столыпин не предрешил крестьянского вопроса, то те основания, которые были приняты Столыпиным, впоследствии были бы в корне изменены законодательными учреждениями; но законодательные учреждения ничего существенного изменить не могли, потому что они приступили к обсуждению этого дела уже после продолжительного действия закона по статье 87-й. Кроме того, закон этот, несомненно, не получил бы одобрения Думы и Государственного Совета, если бы ко времени рассмотрения этого закона уже не была созвана третья Государственная Дума, Дума, которая состоит, в большинстве случаев, из ставленников Столыпина.

У Столыпина явилась такая простая, можно сказать, детская мысль, но в взрослой голове, а именно, для того, чтобы обеспечить помещиков, т.-е. частных землевладельцев, чтобы увеличить число этих землевладельцев, нужно, чтобы многие из крестьян сделались частными землевладельцами, чтобы их было, скажем, не десятки тысяч или сотни тысяч, а, пожалуй, миллион. Тогда борьба для крестьянства с частными землевладельцами всевозможных сословий: дворянского, буржуазного и крестьян личных собственников—будет гораздо тяжелее.

Эта простая детская мысль, зародившаяся в полицейской голове, привела к изданию крестьянского закона, так называемого закона 9-го ноября 1906 года, который затем с различными изменениями прошел и в Государственной Думе и в Государственном Совете, и который составляет ныне базис будущего нашего устройства крестьян.

В основе этого проекта положен принцип индивидуального пользования. Вообще проект этот, в сущности говоря, заимствован из трудов особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной промышленности, но исковеркан постольку, поскольку можно было его исковеркать, после того, как он подвергся хирургическим операциям в полицейских руках.

Индивидуальная собственность была введена так, как высказывалось и сельско-хозяйственное совещание; но вводится она уже не по добровольному согласию крестьян, а принудительным порядком. Частная собственность по этому закону вводится без всякого определения прав частного собственника и без выработанного для этих новых частных собственников-крестьян правомерного судоустройства.

В конце концов проект этот сводится к тому, что община насильственно нарушается с водворением крайне сомнительных частных собственников крестьян, для достижения той идеи, чтобы было больше частных собственников, ибо полицейское

соображение, внушившее эту меру, таково, что если этих частных собственников будет много, то они лучше будут защищаться.

Одним словом, весь проект основан на том лозунге, который с цинизмом был высказан Столыпиным в Государственной Думе, что этот крестьянский закон создается не для слабых— т.-е. не для заурядного крестьянства,—а для сильных.

Конечно, очень может быть, что время переработает и этот закон и при посредстве времени образуется новое удовлетворительное устройство крестьянства. Но мне мнится, что ранее достижения такого результата последуют большие смуты и беспорядки, вызванные именно близорукостью и полицейским духом этого нового крестьянского закона (закона 17 июня).

Я чую, что закон этот послужит одной из причин пролития еще много невинной крови. Был бы очень счастлив, если бы мое чувство меня обмануло.

Замечательно, что одним из защитников этого закона при обсуждении его в Государственном Совете явился тот же г. Стишинский, соучастник мер совершенно противоположного характера, принятых в министерстве графа Дмитрия Толстого, и ярый защитник общины и стадного управления крестьянством. Но Стишинский не мог устоять перед очами главы правительства, чтобы не оказать ему преданности или, вернее, чувства лакейства.

Также меня огорчило и то, что после того, как был издан этот закон, его стал приводить в исполнение нынешний главноуправляющий земледелием и государственными имуществами— Кривошеин, который в сельско-хозяйственном совещании являлся сторонником общинного управления, и именно потому, что эту идею сельско-хозяйственное совещание не разделяло, оно не без участия Кривошеина было закрыто и было основано совещание Горемыкина, которое имело проводить совершенно иные идеи, а именно идею общинного землевладения.

Для того, чтобы успокоить несколько крестьянство, по инициативе Столыпина были приняты и некоторые паллиативные меры, которые принесли крестьянам весьма мало пользы, но расстроили некоторые хозяйства; так, например: по его инициативе, большинство удельных земель и степных угодий были переданы крестьянскому банку для продажи крестьянам. Продажа удельного имущества, конечно, значительно уменьшила обеспечение царствующего дома и, по сравнительной незначительности этого имущества, не могла принести никакой существенной пользы крестьянам.

Точно такое же значение имела мера о продаже крестьянам земельных оброчных статей и лесных угодий казны.

Такое же значение имела мера об обращении пригодных земель Алтайского округа для устройства переселенцев. Алтайские земли—это есть земли, принадлежащие государю.

При такой обширной империи, как Россия, и при быстром увеличении населения государства, всегда было полезно иметь некоторый запас земельных угодий, и быстрая одновременная растрата этих угодий—мера, в хозяйственном отношении, не рациональная, а между тем, оказать сколько бы то ни было заметную пользу крестьянам не могла.

Одновременно с этим, пользуясь междудумьем, Столыпин издал ряд мер для подавления смуты, как-то: повеление об усилении ответственности за распространение среди войска противоправительственных суждений и учений и, на основании ст. 87, правило о военно-полевых судах. Правило это заключается в том, что, по усмотрению правительства, виновных можно предавать не обыкновенным судам, ни даже военным судам, действующим в нормальном порядке на основании закона, но особым полевым судам для расправы, как бы на войне, при чем было оговорено, что в судах этих не должны принимать никакого участия военные юристы, а суды должны состоять просто из строевых офицеров. Конечно, подобный суд недопустим в стране, в которой существует хотя бы тень гражданственности и закономерного порядка.

Этот проект военного прокурора генерала Павлова был представлен в совет министров в то время, когда я был председателем совета министров, но тогда совет министров на экстраординарную и чрезвычайную по своей огульной жестокости меру не согласился. Мера эта не была введена и при Горемыкине, а затем ее ввел Столыпин. Затем Столыпин начал принимать некоторые меры в отношении Финляндии, не вполне соответствующие финляндской конституции. Так как финляндский сейм к этому не отнесся равнодушно, то последовало закрытие сейма 5-го сентября 1906 года.

Можно сказать, что Столыпин был образцом политического разврата, ибо он на протяжении 5-ти лет из либерального премьера обратился в реакционера, и такого реакционера, который не брезгал никакими средствами для того, чтобы сохранить власть, и произвольно, с нарушением всяких законов, правил Россией.

Но в то время, в междудумье, после закрытия первой Государственной Думы, между первой и второй Думами, равно как и при первой, так и при второй Государственной Думе, Столыпин стеснялся обнаружить свою истинную физиономию, а потому часто говорил весьма либеральные речи и принимал либеральные меры;

делалось это для того, чтобы закрыть глаза тем классам населения, в поддержке которых он в то время нуждался.

Еще при первой Государственной Думе он приютил союз русского народа.

Союз этот, между прочим, составленный из простых воров и хулиганов, получил в его управление большую силу, так как правительство и органы правительства его всячески поддерживали не только материально, но и посредством полицейской силы. Это продолжалось до тех пор, пока не была распущена вторая Государственная Дума и не был им изменен выборный закон, в силу которого Столыпин мог собрать такую Думу, какая ему нравилась, ибо по теперешнему выборному закону и способам действий полиции, при выборах в Думу проходят те, которых желает правительство. Большинство Государственной Думы состоит или из открытых правых, или же из тех же правых, но под различными масками либерализма; и почти все, так или иначе, стремятся добыть от правительства награды или же различные материальные выгоды.

Таким образом, если глава правительства, выступивший с самого начала на сцену под маской рыцаря без страха и упрека, оказался человеком, весьма легко меняющим свои убеждения выгоды ради, то этим самым он показал пример и другим, поэтому нет ничего удивительного, что большинство Государственного Совета и другие политические деятели утеряли всякие принципы и действуют по минутному влечению, держа нос по ветру, как это делает хорошая лягавая собака.

В числе либеральных мер, которые Столыпин предпринимал для того, чтобы несколько задобрить крестьян,—кроме тех, о которых я говорил ранее,—был, между прочим, указ сенату о понижении платежей заемщиков крестьянского банка, были изданы правила о порядке устройства последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантских общин, а также о правах и обязанностях этих лиц, указ сенату о разрешении выдавать крестьянам ссуды из крестьянского банка под залог надельных земель и другие меры, носившие либеральный характер.

17-го октября 1906 года последовало назначение нового временного прибалтийского генерал-губернатора, генерала Меллер-Закомельского. Меллер-Закомельский был назначен вместо

генерала Соллогуба, который был назначен временным генерал-губернатором Прибалтийского края в мое министерство.

Генерал Соллогуб—человек в высокой степени порядочный, уравновешенный и замечательный, как военный, в особенности, в смысле теоретическом. Я думаю, что в настоящее время из всех наших военных, в смысле теоретических знаний, в смысле, так сказать, военной культуры, генерал Соллогуб представляет собою первый номер. Он был назначен в Прибалтийский край по моему желанию, потому что я, зная генерала Соллогуба, считал его за человека весьма толкового, твердого и уравновешенного. Все мои ожидания он вполне оправдал.

Должен сказать, что в 1905 году, как до 17-го октября, так и после 17-го октября, прибалтийские губернии были одни из тех губерний, в которых смута проявлялась с наибольшей силой.

Столыпин хотел, чтобы генерал Соллогуб принимал в отношении населения меры, которые не были в согласии с его убеждениями, поэтому между Столыпиным и Соллогубом произошли разногласия, которые привели к увольнению Соллогуба, и он пожелал совершенно выйти в отставку; ныне Соллогуб состоит членом правления Восточно-Китайской железной дороги, чем он был и ранее, когда носил военный мундир; еще при мне Соллогуб был членом правления Восточно-Китайской железной дороги от военного министерства.

Меллер-Закомельский—человек довольно темный, хотя и с большим темпераментом. Когда я был председателем совета министров, то Меллер-Закомельский был начальником дивизии, где-то на юге, кажется, в Симферополе.

По рекомендации начальника генерального штаба того времени, генерала Палицына, я выбрал Меллер-Закомельского для совершения известной карательной экспедиции по Сибирской железной дороге для уничтожения на этой дороге забастовки, которая задержала всю эвакуацию действующей армии из Забайкалья.

Эту операцию Меллер-Закомельский совершил очень хорошо. Вообще, если бы Меллер-Закомельский не был генералом, то по своему характеру он был бы очень хорошим тюремщиком, особливо в тех тюрьмах, в которых практикуются телесные наказания; он был бы также очень недурным полицейским и хорошим обер-полициймейстером, в смысле поддержания внешнего порядка.

Столыпин и назначил Меллер-Закомельского в Прибалтийский край, имея в виду, что Меллер-Закомельский не постеснится в средствах, чтобы окончательно уничтожить гидру смуты; впрочем, Меллер-Закомельскому в этом отношении не пришлось много сделать, потому что смута эта была погашена еще ранее при генерале Соллогубе; хотя тамошнее дворянство не вполне

доверяло Соллогубу и, боясь его закономерности, на случай новой вспышки смуты, хотело иметь генерал-губернатора, если можно так выразиться, сорванца.

Барон Меллер-Закомельский, как уроженец Прибалтийского края, как человек, не брезгающий средствами—он был желателен для культурного немецкого дворянства, как временный генерал-губернатор Прибалтийских губерний, в том смысле, что, если смута где-нибудь проявится, то такой генерал-губернатор сумеет ее сейчас же погасить оружием и розгами.

Но так как, с одной стороны, средства эти были не нужны, а с другой стороны, Меллер-Закомельский допускал различные произвольные действия, в особенности в денежном отношении, то скоро, по желанию дворянства, он должен был покинуть пост прибалтийского генерал-губернатора.

Дворянство прибалтийских губерний во всей своей совокупности не имеет большой силы, но некоторые представители его имеют традиционный доступ ко дворцу, а потому дворянство это часто имело значительное влияние на ход дела в прибалтийских губерниях.

В позапрошлом году я встретился с Меллер-Закомельским в Виши; он там был с своей дочерью, молодой девицей, очень разбитною и по манерам своим более похожей на молодую даму довольно либеральных манер, нежели на девицу; при чем, как мне передавали, дочь Меллер-Закомельского умела держать в руках такого зверя, как ее папаша.

В прошлом году, осенью, я видел Меллер-Закомельского в Биаррице, где он вел крупнейшую игру в биаррицком игорном доме, проигрывая и выигрывая десятки тысяч франков в течение дня. Меллер-Закомельский жил там, как говорили, тоже с своей дочерью. Как-то раз мне случилось увидеть эту дочку—оказалось, что это совсем не та, которая была в Виши, и которая, в действительности, была его дочерью.

Игра Меллер-Закомельского в игорном доме на такие крупные суммы и жизнь с подложной дочкой шокировала всех русских, ибо все-таки Меллер-Закомельский был членом Государственного Совета; он был назначен на это место тогда, когда его отозвали с поста прибалтийского генерал-губернатора.

В Биаррице мне передавали, что Меллер-Закомельский, проиграв несколько десятков тысяч франков, покинул Биарриц, впрочем, уплатив все свои долги.

Когда я приехал сюда, в Петербург, то в конце прошлого года, или в начале этого председатель Государственного Совета говорил мне, что он должен был докладывать государю императору о том, что невозможно Меллер-Закомельского оставлять членом Государственного Совета, ибо Меллер-Закомельский совершил такие действия, которые просто граничат с подлогом.

Меллер-Закомельский, имевший в Царстве Польском майорат, обратился к его величеству с просьбой: разрешить ему продать этот майорат. Его величеству угодно было дать на это разрешение, тогда Меллер-Закомельский продал майорат, при чем продал его за гораздо более высокую цену, сравнительно с той, которая была им показана. Это было сделано Меллер-Закомельским для того, чтобы уменьшить налог в пользу государства. Проделка Меллер-Закомельского была раскрыта.

Кроме того, Меллер-Закомельскому было разрешено продать майорат, но деньги он должен был оставить неприкосновенными, как полученные от продажи майоратного имущества; между тем, Меллер-Закомельский внес в банк только те деньги, которые соответствовали тому налогу, который он платил казне, а весь излишек—не внес.

В таком положении было это дело, когда мне о нем говорил председатель Государственного Совета Акимов. Каким образом все это дело кончилось—мне неизвестно, но только Меллер-Закомельский больше в Государственный Совет не является и в списки присутствующих членов Государственного Совета с первого января не попал.

В ноябре месяце 1906 г. обнаружилось дело Гурко-Лидваль. Дело это заключается в том, что вследствие неурожая нужно было производить закупку хлеба. Закупка эта, вопреки всем правилам, была передана Гурко некоему Лидвалю—иностранцу, который не мог исполнить переданный ему контракт.

Все это было сделано товарищем министра внутренних дел Гурко с нарушением законов и при таких обстоятельствах, которые ясно указывали на корыстные цели.

Поднялся шум. В то время еще новый выборный закон в Государственную Думу не был издан. Ожидалась вторая Дума, при которой заглушить подобные действия, касающиеся желудка крестьян—ибо хлеб этот должен был закупаться для их прокормления,—скрыть, затушить подобные действия было нельзя, и поэтому в газетах поднялось все это дело по закупке хлеба.

Сначала Гурко пробовал в газетах отписываться, но в конце концов было назначено следствие. Это следствие было поручено сенатору Варварину. Он произвел дознание и обвинил Гурко в поступках, влекущих за собою самые серьезные наказания, вследствие чего Гурко был предан суду сената.

После целого ряда перипетий в этом деле, Гурко сначала был устранен от должности исполняющего обязанности товарища министра, а затем, несмотря на всякие меры, посредством которых желали свести дело Гурко на-нет, все-таки наступило время суда, и сенат обвинил Гурко и присудил его к увольнению от службы. Это наказание, как мне многие говорили, было весьма

слабым, потому что, если бы это был не Гурко, а кто-нибудь другой, то наказание было бы гораздо более строгим. Гурко же—человек крайне консервативного и даже реакционного направления,—человек, несомненно, умный, знающий, толковый и талантливый, но человек sans foi ni loi. Таким я его знал, когда он еще не был товарищем министра внутренних дел.

Гурко был назначен товарищем министра внутренних дел при мне, когда я был председателем совета министров, по желанию министра внутренних дел Дурново. Я этому назначению не сопротивлялся, так как считал, что выбор своих ближайших помощников принадлежит министрам. О том, что представляет собою Гурко, все его положительные и отрицательные стороны Дурново были известны не менее, чем мне.

В этом деле опять проявился характер Столыпина. Несомненно, о всех своих мерах относительно Лидваля Гурко докладывал Столыпину, и Столыпину, конечно, все это было известно; он только не мог разобраться в том, что это дело пахнет плутовством,—но уж это такое индивидуальное свойство Столыпина: не понимать многих дел, с которыми он должен был манипулировать!

Затем, когда поднялось все это дело, то Столыпин совсем от него отстранился, т.-е. сделал так, как будто бы все это ему было совершенно неизвестно, и этим распоряжался один Гурко.

Само собой разумеется, что от министра вполне зависит: доверяться или не доверяться своим товарищам—это дело его усмотрения; но утверждал ли Столыпин предположения Гурко по доверию к нему, или он предоставил Гурко делать то, что принадлежит власти самого министра—это дело только Столыпина. По своему обыкновению, он сию же минуту выдал своего сотрудника, а сам умыл руки, как будто бы это до него совсем не касается.

Министр юстиции Щегловитов мне как-то говорил, что вот он имеет в виду нескольких сенаторов, которых очень было бы желательно сделать членами Государственного Совета и, в особенности, указывал на Варварина.

Когда я спросил Щегловитова:—Почему же он не представляет государю,—Щегловитов мне ответил, что он Варварина представлял государю, но его величество на это назначение не согласился, сказав, что он никогда не забудет действий Варварина по преданию суду Гурко; что, в сущности говоря, предание суду Гурко и суд над ним произошел от расследования Варварина, при чем министр юстиции мне сказал, что Варварин расследовал это дело совершенно правильно; затем Щегловитов наивно прибавил:

— Вот, я теперь ищу случая, как бы предоставить Варварину такое дело, чтобы он мог себя реабилитировать.

Через некоторое время после этого явилось дело Лопухина, бывшего директора департамента полиции, который вследствие этого дела был сослан в Сибирь и поныне находится в Сибири.

Лопухин был судим особым присутствием сената, а Варварин для того, чтобы отличиться, был назначен председателем этого присутствия. Он и отличился, присудив Лопухина к каторжным работам, и только общее присутствие сената уменьшило это наказание, заменив его ссылкою.

Все же, по моему мнению, да и по мнению компетентных юристов, Лопухин мог быть присужден—хотя его проступок прямо законом не предвиден—при соответственном применении законов, самое большее на несколько месяцев тюремного заключения.

С своей стороны, защищать Лопухина я никоим образом не могу, так как о Лопухине я довольно отрицательного мнения, ибо, когда он был при Плеве директором департамента полиции, то он значительно произвольничал, много совершил несправедливостей, многих людей сделал несчастными, но, тем не менее, я не могу не сказать, что над Лопухиным был устроен суд крайне несправедливый, и недаром суд этот называется судом «Варвариным».

Недавно я слыхал от члена совета министерства внутренних дел, бывшего очень близким к Столыпину, что после осуждения Лопухина Столыпин передавал из секретных сумм пять тысяч рублей Варварину.

После разгона первой Государственной Думы, как я уже раньше говорил, было известное Выборгское воззвание.

Столыпин привлек всех лиц, подписавших это воззвание, к ответственности, и они должны были подвергнуться наказанию.

Но здесь опять-таки произошел Шемякин суд: Столыпин все дело направил не для того, чтобы совершить правосудие—при правильном правосудии лица эти могли подвергнуться замечанию, выговору, пожалуй, тюремному заключению,—но он направил все следствие к тому, чтобы лишить этих лиц прав на выборы в Государственную Думу. Все эти лица принадлежали преимущественно к конституционно-демократической партии, к кадетской партии, т.-е. к партии либеральной (программу которой можно разделять или не разделять—это другой вопрос), в числе членов которой были наиболее культурные люди нашей интеллигенции, имевшие известный престиж в России. И вот цель Столыпина, главным образом, и заключалась в том, чтобы все эти лица были приговорены к такому наказанию, вследствие которого они потеряли бы право быть выбранными когда-либо в Государственную Думу.

Таким образом, лица эти подверглись тюремному заключению, с лишением права на выборы в Государственную Думу.

Как мне передавали весьма компетентные юристы, и в данном случае статьи были подобраны опять-таки несоответственно; решением этим преследовались не столько цели правосудия, сколько цели политические, и опять-таки вся эта махинация была сделана Столыпиным, в руках которого теперешний министр юстиции Щегловитов являлся ничем иным, как полицейским орудием, ибо Щегловитов не есть глава правосудия, а скорее глава или одна из глав тайной секретной полиции.

Таким образом, так называемая конституционно-демократическая партия (кадеты) лишилась наиболее видных своих представителей, а потому она в значительной степени утратила шансы на выбор ее членов в Государственную Думу.

Лиц, подписавших Выборгское воззвание, а равно и других деятелей либерального направления, после вступления Столыпина председателем совета министров, некоторые дворянские собрания начали бойкотировать, исключая их из дворянских обществ.

Вследствие этого, костромское дворянское депутатское собрание постановило: принять в свою среду некоторых из дворян, которые были удалены дворянскими собраниями других губерний. Затем 20-го декабря 1906 года последовал адрес совета объединенных дворянских обществ тридцати одной губернии, протестующих против действий костромского дворянского собрания. С тех пор образовался совет объединенных дворянских обществ, который действует и по настоящее время.

Совет этот, равно как и собрания дворянских обществ— особой пользы не приносят, так как там проводились и проводятся довольно крайние реакционные идеи, при чем преимущественно соблюдаются интересы дворянского сословия; относительно же крестьян, там проповедуется обыкновенная теория, а именно, что крестьяне должны находиться совершенно под другим режимом, нежели все остальные подданные государя, что будто бы этот особый режим для крестьян составляет их благо. Удивительно, что подобные средневековые теории многими из дворянских деятелей принимаются всерьез, и они искренно верят этой теории.

Впрочем, в последние годы собрание дворянских обществ и совет дворянских обществ тридцати одной губернии стали несколько благоразумнее и в последнее время некоторые вопросы обсуждаются там довольно толково и дельно.

22-го декабря последовало убийство градоначальника Лауница.

Лауниц был назначен градоначальником, когда я был еще председателем совета министров, по желанию его величества и выбору Дурново; я же был уведомлен об этом, как о факте совершившемся. Так как петербургский градоначальник непосредственно подчинен министру внутренних дел, то, хотя я это назначение считал несоответственным, тем не менее, не счел нужным протестовать, как я это сделал по поводу назначения некоторых министров—назначение которых, вследствие моих протестов, и не состоялось.

Мои опасения относительно Лауница вполне оправдались; сделавшись градоначальником, вместо генерала Дедюлина, он начал проводить самые крайние реакционные идеи, вошел в союз русского народа—и, с одной стороны, был протектором этого союза, а с другой—союз, приобретя силу, стал протежировать градоначальнику. Подобные крайности, в которые вдался Лауниц, конечно, ни к чему доброму привести не могли.

22-го декабря в Институте экспериментальной медицины, который находился под покровительством принца Ольденбургского, открывалось новое отделение, а именно отделение по кожным болезням. Я тоже был приглашен на это открытие, но, с тех пор как я не занимаю министерского поста, я вообще на все эти открытия и торжества не езжу, а потому и на этот раз не поехал.

На открытии был градоначальник; после молебна, когда он сходил с лестницы, в него выстрелил революционер-анархист и убил Лауница наповал. Затем и этот революционер был немедленно же убит присутствующими—военными или полицейскими.

Кто он такой был—мне неизвестно, да тогда это вообще никому не было известно; поэтому, для того, чтобы распознать, кто был этот революционер,—употребили следующее довольно оригинальное средство: отрезали ему голову, положили в спиртовую банку и эту банку всем показывали.

Узнали ли—кто он такой или нет—мне неизвестно, но несомненно, что это был один из партии революционеров-анархистов, назначенный, по приговору этой партии, для убийства Лауница.

Будучи вообще противником всяких убийств, подобных настоящему, и находя, что убийства эти для развития прогресса в государстве приносят гораздо больше вреда, нежели пользы, я, тем не менее, должен сказать, что раз эта партия находит, что только убийством подобных лиц можно достигнуть государственного устройства, более соответствующего гуманным началам, то довольно естественно, что они убили Лауница.

27-го декабря последовало такое же убийство главного военного прокурора Павлова. Павлов был прокурором военного

суда, когда я был председателем совета министров, и тогда он пользовался репутацией крайне жестокого человека.

Это он представил в совет министров предложение об установлении полевой юстиции.

Совет министров во время моего премьерства предложение генерала Павлова отверг единогласно. Но Столыпин во время междудумья ввел эти правила полевой юстиции, и полевая юстиция существовала до второй Государственной Думы. Закон о полевой юстиции был введен в порядке статьи 87-й, т.-е. на основании того, что Дума не существует, а потому, впредь до созыва Думы, совет министров может вводить те или другие экстренные, чрезвычайные меры.

Когда же была собрана вторая Государственная Дума, то закон о полевой юстиции должен был обсуждаться в Государственной Думе. Рассмотрев этот закон, Государственная Дума отвергла его, но это не помешало Столыпину провести ту же самую меру другим порядком, т.-е., внеся положение о полевой юстиции—которое дает администрации полнейший произвол судить и рядить военными полевыми судами всякого, кого пожелает правительство,—в военное законодательство, которое не подлежит обсуждению законодательных собраний, т.-е. Государственной Думы и Государственного Совета.

Конечно, и этот акт со стороны Столыпина был опять-таки неправилен; он являлся прямым обходом точного смысла как основных законов, так и положения о Государственной Думе и Государственного Совета,—тем не менее, порядок этот существует и до настоящего времени.

Генерал Павлов, инициатор и ярый сторонник полевой юстиции, вообще, в отношении всех дел, касающихся гражданских лиц, которые судились по военным законам, был крайне несправедлив и беспощаден. Он часто получал предупреждения о том, что он будет убит.

Вследствие этого, генерал Павлов, живя в казенном здании, там, где помещается высший военный суд, в последнее перед его убийством время, не выходил совсем на улицу, а утром, чтобы подышать чистым воздухом, выходил в садик, находящийся во дворе этого здания.

27-го декабря неизвестный вошел в этот сад, убил Павлова и затем убежал.

В конце декабря произошли крупные рабочие беспорядки в Одессе, которые продолжались и в начале 1907 года.

Государственная роспись на 1906 год была утверждена в прежнем порядке, т.-е. через прежний Государственный Совет тогда, когда я еще был председателем совета министров.

На 1907 год предстояло утвердить новую государственную роспись, но так как вторая Государственная Дума и Государственный Совет были собраны только в конце февраля месяца, то государственная роспись не могла быть рассмотрена и утверждена, а потому явился вопрос: как в данном случае поступить? Законы, очевидно, не могли предвидеть—и не предвидели—чтобы роспуск Думы мог быть сделан таким образом, как это было сделано правительством Столыпина, т.-е., распустив Государственную Думу в июле месяце, не собрать новую Думу немедленно, скажем в сентябре или октябре, т.-е. в такой срок, чтобы она могла рассмотреть роспись на 1907 год. Такого произвола действий со стороны правительства, конечно, закон предвидеть не мог. Поэтому явилось такое экстраординарное положение, что в 1907 году пришлось начать жить, не имея государственной росписи; государственная же роспись не имелась именно потому, что правительство, как бы намеренно, не собрало во-время Государственную Думу.

Вследствие этого, 1-го января был распубликован проект государственной росписи, который должен будет рассматриваться Государственной Думой и Государственным Советом, когда эти законодательные учреждения будут собраны, а до того времени, до времени созыва законодательных учреждений, в порядке верховного управления был ассигнован,—согласно объявленной, но никем не утвержденной государственной росписи,—временный кредит на время с января по июнь месяц, т.-е. почти на полгода. Мера эта, конечно, была безусловно произвольная.

11-го января последовало увольнение морского министра адмирала Бирилева и назначение вместо него адмирала Дикова.

Когда я уходил из председателей совета министров, то адмирал Бирилев очень меня уговаривал этого не делать, высказывая, что он знает от ее величества, что государь не желал тогда меня отпустить.

Я говорил Бирилеву, что я готов остаться, если будут уважены те условия, которые я поставил и исполнение которых я считаю необходимым для того, чтобы я мог явиться в Государственную Думу. Кроме того, я говорил Бирилеву, что я уверен в том, что если даже эти условия и будут уважены, то вслед за тем, через некоторое время, я буду поставлен в такие условия, что все равно должен буду, быть может, покинуть место председателя совета министров, но уже не по собственному желанию и не по собственной инициативе.

На это мне Бирилев сказал: «Ну, этого не может быть»,—и добавил следующее:

— Когда государю императору угодно было назначить меня морским министром, то я сказал его величеству, что я, конечно, исполню всякое его приказание, а потому, если он желает, чтобы я был морским министром, то я приму это место, что, конечно, я не ставлю никаких условий, а только прошу одно: когда его величество будет мною недоволен и пожелает, чтобы я ушел, то он скажет мне об этом совершенно откровенно.

* После моего ухода он остался морским министром и, когда мне случалось в 1907 году его встречать, он только жаловался на великого князя, когда же я его как-то спросил, продолжает ли он думать, что я сделал ошибку, что ушел в виду влияний великого князя и прочих закулисных деятелей, он ответил утвердительно, сказав:

— Раз государь не сказал вам, что он вам не доверяет, вы должны были ему верить и вести свою линию.

Через несколько месяцев вдруг я узнаю, что Бирилев уходит; я поехал к нему, и он мне рассказал следующее:

На-днях он получил проект,—написанный крайне неразработанно,—преобразования всего морского ведомства, с приглашением на следующий день приехать в Царское Село для обсуждения этого проекта. Суть проекта заключалась в подразделении министерства на две самостоятельные части: собственно на морское министерство и генеральный штаб морского ведомства. Независимо от сего учреждаются три начальника флотов—дальне-восточного, балтийского и черноморского, которые все непосредственно подчинены только государю, в сущности при посредстве его военно-походной канцелярии, начальником которой был флигель-адъютант (ныне адмирал свиты) граф Гейден, порядочный человек, но пороха не выдумавший. Таким образом вместо одного хозяина в морском ведомстве являлись пять хозяев (министр, начальник штаба и три начальника флотов), которыми по проекту всеми должен был руководить его величество. Поехавший на следующий день с указанным поездом, он в том же вагоне застал генерал-адъютанта Дубасова, генерал-адъютанта Алексеева (пресловутого главнокомандующего) и не помню еще кого-то. Оказалось, что все приглашены для обсуждения того же проекта преобразования морского министерства. Приехавши в Царское, они были приняты в приемной государя, где был приготовлен стол для заседания. Государь, как мне рассказывали Бирилев и Дубасов, начал с того, что предупредил приглашенных о том, что разосланный проект есть плод его долгих размышлений, что он составлен по его указаниям и что присутствующие должны это иметь в виду. Затем он пригласил Гейдена прочесть проект указа, при котором он намеревался объявить

этот проект, как окончательный закон, и доложить основания проекта.

Гейден прочел указ и доложил, что закон намеревается дать ту же организацию, которая существует в Германии и которая существует в военном ведомстве после разделений функций военного министерства и генерального штаба. Затем его величество просил присутствующих высказаться откровенно. Бирилев высказался против проекта и на указания Бирилева, что его величество фактически будет не в состоянии в своем лице объединить раздробленные самостоятельные единицы морского ведомства, проектируемые проектом, государь заметил, что, однако, в Германии Вильгельм это делает. На это высочайшее указание Бирилев счел возможным ответить, что он не знает точно порядков в Германии, но думает, что при парламентском правлении в Германии там императору гораздо менее забот и дела, нежелии мператору российскому, но то, что ему известно, это то, что, вероятно, германскому императору смолоду было достаточно времени основательно заниматься морским делом, так как он имел в своих руках подробный проект, сделанный лично Вильгельмом, броненосца, такой проект, который не спроектирует настоящий моряк-специалист. (Конечно, такие ответы император Николай II стерпит, но никогда не простит, в противоположность его августейшему отцу, который такой ответ никогда не стерпел бы, да, конечно, и не вынудил бы его, но затем легко мог простить.)

Дубасов высказался совершенно против рассматриваемого проекта со свойственной этому честному деятелю прямотой и определенностью, при чем, как бывший морской агент в Берлине, разъяснил, что рассматриваемый проект в сущности не имеет ничего общего с тою организациею, которая существует в Германии.

Генерал-адъютант Алексеев, конечно, высказался уклончиво.

Защищал проект только Гейден.

Государь проект в заседании не подписал, как имел намерение в начале заседания, а, закрыв заседание, сказал, что он примет соответствующее решение, и благодарил присутствующих.

Когда государь прощался с Бирилевым, то Бирилев просил его величество разрешить ему последовать за его величеством в кабинет. Оставшись наедине, Бирилев сказал государю, что, когда его величество его пригласил занять пост морского министра, то он, Бирилев, поставил лишь одно условие или просил лишь о том, чтобы государь сказал ему откровенно, как только он потеряет к нему доверие. Так как он, очевидно, доверие это потерял, то он, Бирилев, просит освободить его от поста министра. На это государь ответил:

— Я к вам доверия не потерял.

Бирилев заметил тогда ему, что составление проекта помимо него, Бирилева, и морского министерства, проекта, который, как государь объяснил в заседании, есть плод его долгих размышлений и который составлен по его указаниям, более, нежели слова, показывает полную потерю к нему доверия, а потому он не может долее оставаться министром. После этого объяснения его величество отпустил из своего кабинета Бирилева. Через несколько дней он был уволен и назначен членом Государственного Совета. Бирилев, будучи одно время очень мил императрице и императору за свои шутки и анекдоты, очень желал попасть в генерал-адъютанты. На это он имел некоторые, если можно так выразиться, права;—кого только император Николай II не делал генерал-адъютантом и не брал к себе в свиту. В этом отношении он не далеко ушел от императора Павла, который, между прочим, сделал своего брадобрея генерал-адъютантом. Но, конечно, после происшедшего инцидента с уходом Бирилева с поста министра уже всякие шансы для генерал-адъютантства были потеряны. Затем проект, из-за которого ушел Бирилев, более на свет до настоящего времени не появлялся и, вероятно, не появится, так как Гейден женился на фрейлине императрицы, разведясь со своей женой, а потому, оставаясь в свите, более походной канцелярией государя не заведует и от двора вообще удалился.

Морское ведомство пребывает в полном разложении и, конечно, не будет надлежащим образом воссоздано при теперешнем режиме *.

Таким образом, 11-го января был уволен Бирилев, и на его место назначен старый адмирал Диков, человек весьма порядочный, с незапятнанной во всех отношениях репутацией, Георгиевский кавалер; но, конечно, ни по своим способностям, ни по своим летам Диков не был предназначен для того, чтобы занять пост морского министра, а потому он продержался на этом посту очень недолго и должен был покинуть этот пост,—о чем, может быть, я буду иметь случай говорить далее.

Государь император назначил Дикова потому, что в то время он не мог найти соответствующего человека. Прежде всего государь остановился на пресловутом адмирале Алексееве.

Адмирал Дубасов мне рассказывал, что как-то государь его вызвал и предлагал ему занять пост управляющего морским министерством.

Адмирал Дубасов от этого назначения уклонился, ссылаясь, между прочим, на свое здоровье, но главное основание его отказа, как мне объяснил Дубасов, заключалось в том, что при существовавших условиях он считал невозможным исправить наше морское ведомство. Невозможность эта, по его мнению, заключа-

лась в следующем: 1) в крайней дезорганизации морского ведомства, в особенности, после всех наших поражений во время Японской войны,—после Цусимы, а затем 2) вследствие естественного недоверия ко всему, что касалось морского ведомства со стороны Государственной Думы и Государственного Совета, и, наконец, 3) вследствие невозможности,—по мнению Дубасова, мнению, которое разделяю и я, вести дело при том влиянии, которое имел великий князь Николай Николаевич, как председатель комитета государственной обороны.

Дубасов—человек очень твердого и решительного характера. Он не орел,—для того, чтобы что-нибудь усвоить, ему требуется довольно много времени, но раз он усвоил, сообразил,—тогда он крайне тверд в своих решениях. Вообще, Дубасов человек в высшей степени порядочный и представляет собою тип военного. При таких его свойствах, свойствах самостоятельности и уважения к самому себе—Дубасов, конечно, не мог ладить с председателем государственной обороны великим князем Николаем Николаевичем, про которого, если бы он не был великий князь, говорили бы, что он «с зайчиком» в голове.

Когда Дубасов отказался от поста морского министра, то государь император сказал:

— Как вы думаете? Я полагаю назначить на пост морского министра,—раз вы от этого поста отказываетесь,—адмирала Алексеева?

Когда Дубасов не мог не выказать своего ужаса и сказал государю, что, по его мнению, после всего того, что произошло на Дальнем Востоке, и той постыдной роли, которую во всем этом деле играл Алексеев—назначить его морским министром—это прямо сделать вызов обществу, его величеству благоугодно было заметить, что многие нарекания на Алексеева совершенно неосновательны, неправильны, так как не знают о том, какие Алексеев имел инструкции от него (государя).

Дубасов ответил на это его величеству, что если даже оставить в стороне эту часть, то, во всяком случае, он настолько знает Алексеева, как адмирала, что, вне зависимости от его деятельности на Дальнем Востоке, он должен сказать, что Алексеев, как морской министр, который должен иметь задачу—восстановить русский флот—немыслим.

Может быть, этот разговор государя с Дубасовым повлиял на его величество и, не имея никого, он назначил морским министром Дикова.

Одновременно с назначением Дикова, в товарищи ему был назначен адмирал Бострем.

Адмирал Бострем был долго морским агентом в Англии при постройке там наших судов. О нем говорили, что он человек не без способностей. Я его слышал несколько раз в Госу-

дарственном Совете, он говорил довольно дельно, но весьма резко и не так, как должен был бы говорить человек благовоспитанный.

С уходом Дикова ушел с поста товарища министра и Бострем и был назначен начальником Черноморского флота. Несколько месяцев тому назад Бострем по суду был уволен от этого места, ибо он при движении эскадры, находившейся под его командой, проявил свой характер, допустил произвол, что имело последствием, что один из кораблей сел на мель и, кажется, погиб.

* По поводу изложенного выше инцидента с закулисным проектом преобразования морского министерства с подразделением на два независимых отдела—собственно министерства и генерального штаба, по примеру того, как это существовало в то время в военном ведомстве, кстати замечу, что это было сделано в военном ведомстве по инициативе великого князя Николая Николаевича после назначения Куропаткина командующим войсками в действующую армию (1904 году) и уже в прошедшем (1909) году уничтожено, опять все сосредоточено в руках военного министра, и даже комитет обороны уничтожен. Это произошло, главным образом, потому, что великий князь Николай Николаевич потерял свое всеобъемлющее значение, что должно было отчасти случиться с водворением хотя значительно оскопленных (не столько первоначальным законом, сколько последующими мероприятиями Столыпина) представительных камер, но преимущественно потому, что черногорская принцесса, жена принца Юрия Лейхтенбергского, которую с ним развели, чтобы выдать за великого князя Николая Николаевича, разошлась с императрицей, или, вернее, страсть, к ней питаемая, угасла и перешла на госпожу Вырубову. Если бы не эти причины, то, вероятно, до сих пор сказанное подразделение военного ведомства существовало бы, несмотря на всю его несуразность. Такое подразделение действительно существует в Германии, но там оно проведено органически, с ног до головы, там боевая, строевая, т.-е. чисто военная часть систематически отделена от административной: первая в лице корпусных командиров находится в руках императора, который действует через своего начальника походной канцелярии и независимого от военного министра начальника генерального штаба (фельдмаршал великий Мольтке), а административная находится в руках военного министра, который входит в состав министерства и имеет дело с представительными собраниями депутатов. Наша же военная система заимствована в шестидесятых годах из французской военной окружной системы, в которой административная, строе-

вая, боевая, военно-ученая части—все слиты вместе. На местах все подчинено командующему военным округом, в центре—военному министру, входящему в состав министерства, которому фактически подчинены и командующие военными округами. Обе системы имеют свои преимущества и свои недостатки, но они систематичны, оба здания построены по определенному плану. У нас же в 1904 году, оставляя все на низах и в туловище без изменения, взяли да вместо одной головы (военного министра) посадили две независимые (военного министра и начальника генерального штаба). Конечно, из этой пробы ничего выйти не могло.

Как только новобрачная супруга великого князя потеряла значительную долю симпатии, сам великий князь потерял значительную часть влияния, а как только сие влияние сократилось—неестественное подразделение военного министерства, на самом верху усилившее многовластие, всегда сопутствующее безвластию, было уничтожено, и все сосредоточилось в руках нового военного министра генерала Сухомлинова, который приобрел, повидимому, большое влияние, вероятно, по началу «медовых месяцев», так сродных натуре императора, а кроме того, оказалось, что он презабавный балагур. Я его лично мало знаю, а насколько могу судить по предыдущей его деятельности, он должен иметь некоторые положительные достоинства, в том числе уравновешенность и спокойствие, которые он проявил, будучи генерал-губернатором в Киеве во время моего министерства *.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ.

Покушение на мою жизнь.

Когда я вернулся из заграницы, то к моему дому было поставлено несколько агентов охранного отделения, из которых кто-либо постоянно, поочередно сидел у меня в вестибюле. Заметив это, я им дал маленькую комнату для того, чтобы они могли быть там и не находиться в вестибюле, в виду того, что ко мне приходило много лиц, и они могли видеть, что у меня сидят агенты охранного отделения. Таким образом, со стороны Столыпина и со стороны находящейся в его ведении секретной полиции было оказано в отношении меня как бы особое предупреждение.

Через некоторое время по моем приезде я начал получать угрожающие письма с различными значками, как-то — с крестом, скелетом, которыми меня предупреждали, что вот такие-то партии решили меня убить. Я на эти письма не обращал внимания и их уничтожал.

29-го января мне жена предложила ехать вечером в театр; мне не хотелось, и я не поехал вечером, а ожидал доктора по горловым болезням. Часов в 9 вечера пришел ко мне бывший мой сотрудник, когда я был министром финансов, Гурьев, довольно известный публицист, который помогал мне составить одну работу, касающуюся дел Дальнего Востока. Я ему для этой работы предъявил некоторые документы из моего архива, и, так как я не хотел, чтобы эти документы выходили из моего дома, то для справок он приехал ко мне. Между прочим, это дало повод к такому инциденту: как-то раз,—уже это было впоследствии, через несколько месяцев после того момента, который я описываю,—приехал ко мне министр двора барон Фредерикс и обратился ко мне с следующим разговором: он мне сказал, что он пришел ко мне от его величества передать просьбу государя о том, что ему сделалось известно, что я хочу издать какую-то книгу, касающуюся наших финансов и управления финансами

В. Н. Коковцова и, так как ему сказали, что я хочу изобразить наши финансы и наше управление в неодобрительном виде, то он просит меня эту книгу не издавать. На это я ответил барону Фредериксу, что я никакой книги подобной не составлял и не собираюсь составлять, а поэтому и прошу доложить государю, что дошедшие до него сведения совершенно ложны. Я догадался, что это ему доложил, вероятно, В. Н. Коковцов, который, узнавши, что ко мне ходит Гурьев, думал, что я собираюсь вместе с Гурьевым писать что-нибудь о современных финансах.

Гурьев вообще был нелюбим Коковцовым, потому что, когда Коковцов вступил на должность министра финансов, то Гурьев написал статью, в которой он высказал различные вообще финансовые соображения и сказал, что мы дошли до того, что на должность министра финансов вступают лица, мало подготовленные к этой должности, и что это напоминает те объявления, которые печатаются в газетах, где кухарки предлагают свои услуги и говорят, что кухарка за повара; вот и эти министры финансов своего рода кухарки за повара. Это очень не понравилось Коковцову; может быть, другой государственный деятель не обратил бы на это никакого внимания, но у Коковцова есть маленькая черта обидчивости, и в зависимости от этой маленькой обидчивости он этого выражения никогда не мог простить Гурьеву.

Но так как я опасался, что барон Фредерикс может неточно передать мой ответ государю императору, то я сейчас же, по уходе барона, написал его величеству письмо, в котором сообщал, что у меня был барон Фредерикс, который передал то-то; что я ничего подобного не собирался печатать, что я ничего не составляю и, если приходит Гурьев, то он приходит составлять такую работу, которая, если когда-нибудь и появится в печати, то, вероятнее всего, после моей смерти. В этом письме я государя благодарил, что государь, получивши такого рода сведения, был так милостив, что соизволил справиться лично у меня, верно это или не верно? Этим последним я намекал государю, что если бы его величеству угодно было всегда делать то же самое, то, вероятно, массы тех сплетен, которые доходят и доходили до него, и которым он, вероятно, по крайней мере в некоторой части, верил и верит, что этих сплетен не существовало бы, или, по крайней мере, они не производили бы на него того впечатления, которое могут производить.

Итак, я возвращаюсь к 29-му числу. Гурьев ко мне пришел, я вынул документы, он начал просматривать. В это время мне доложили,—это было часов в 10 вечера, что ко мне пришел доктор. Доктор приходил ко мне раза два в неделю, так как я болел горлом, и моя болезнь уже тянулась десятки лет, то он приходил, чтобы мне прополаскивать горло. Я сказал Гурьеву,

что так как ко мне пришел доктор, то уж, пожалуйста, отложите вашу работу на следующий какой-нибудь день; приходите ко мне другой раз, предупредите меня по телефону, и тогда я вам дам все эти документы. Он меня просил не прерывать начатую им работу и мне сказал, что он просит меня позволить удалиться с этими документами в другую комнату, чтобы он мог заняться, покуда я буду возиться с доктором. Я согласился на это и сказал моему камердинеру, чтобы он отвел Гурьева в верхний этаж моего дома, а именно, в гостиную моей дочери.

Когда моя дочь вышла замуж за Нарышкина, то гостиная ее и спальня не были обитаемы, и поэтому эти комнаты мало, или почти не топились. Камердинер отвел туда Гурьева и, когда он вошел, то увидел, что в комнате очень холодно. Вследствие этого мой камердинер пошел и сказал истопнику, чтобы тот пришел и затопил печку. Между тем Гурьев расположился работать, делать выписки из документов, а в это время со мной занимался доктор. Не успел доктор окончить осмотра, как пришел ко мне сверху камердинер, очень встревоженный, и говорит, что Гурьев очень просит меня немедленно прийти наверх по очень важному делу. Я просил доктора отложить дальнейший его осмотр моего горла на следующий раз, а сам пошел наверх.

Когда я пришел наверх, то увидел во вьюшке печки четырехугольный маленький ящик; к этому ящику была привязана очень длинная бичевка. Я спросил Гурьева, что это значит? На что истопник мне ответил: что, когда он отворил вьюшку, то заметил конец веревки и начал тащить и, вытащив веревку арш. 30, увидел, что там есть ящик. Тогда они за мной послали. Я взял этот ящик и положил на пол. Ящик и веревка были очень мало замараны сажей, хотя несколько и были. Тогда Гурьев хотел, чтобы этот ящик вынесли из дому и его там вскрыли. Так как я несколько раз был предупреждаем, что на меня хотят сделать покушение, то мне пришла мысль в голову, не есть ли это адская машина. Поэтому я сказал Гурьеву и людям, чтобы они не смели трогать ящика, а сам по телефону дал знать охранному отделению. В то время охранным отделением города Петербурга заведывал полковник Герасимов, ныне генерал, состоящий при министре внутренних дел.

Немедленно приехали из охранного отделения, сначала ротмистр Комиссаров, ныне он заведует жандармским управлением Пермской губернии, а в то время он заведывал самым секретным отделением в охранном отделении, за ним приехал Герасимов, потом судебный следователь, товарищ прокурора, з атем директор департамента полиции и наехала целая масса полицейских и судебных властей.

Ящик этот ротмистр Комиссаров вынес сам в сад и раскупорил его. Когда он раскупорил, то оказалось, что в этом ящике

находится адская машина, действующая посредством часового механизма. Часы поставлены ровно на 9 часов, между тем было уже около 11 часов вечера. Тогда, когда он вскрыл ящик и разъединил вспышку, а вспышка должна была произойти посредством серной кислоты, то принес ее в дом и положил на стол около моего кабинета в моей библиотеке. Все начали осматривать эту машину, затем составлять всевозможные протоколы.

Сейчас же делали допросы,—в это время Гурьев уже уехал,—при чем допрашивали прислугу, допрашивали истопника, как он нашел, а также меня. Я им показал все то, что я кратко выше изложил, при чем Герасимов мне задал вопрос: не подозреваю ли я кого-нибудь в том, что сделано, кто подложил машину? Я наивнейшим образом сказал, что совершенно никого не подозреваю, что я личных врагов не имею, политические мои враги в то время были не анархисты, а союз русского народа, т.-е. крайние правые, и что я не могу себе представить, чтобы эти лица могли сделать на меня покушение и еще в таком ужасном виде, потому что, если бы это покушение совершилось, то пострадали бы не только я, но могла пострадать моя жена и моя прислуга.

Они в это время осматривали все. Между прочим, дворник им показал, что за несколько дней до этого, или днем ранее этого, 28-го числа подходил к нему какой-то господин в дохе, так что воротник был поднят, и лицо его было незаметно, и что он спрашивал у дворника, где находятся моя спальня и спальня моей жены? Дворник ответил, что он этого не знает. Тогда он сказал, что если граф и графиня спят с левой стороны, то он советует перейти направо. Подозревая, это этот господин есть, вероятно, из той шайки, которая мне подложила адскую машину, я не понимал, почему он советует перейти с левой стороны дома на правую, потому что направо спальня моя и жены, а налево комнаты были пусты. Они мне спустили адскую машину на левую сторону дома, поэтому я думал, что дворник спутал, что, может быть, тот человек советовал перейти с правой на левую, но потом я случайно разъяснил, в чем дело.

Затем последовали все допросы вне дома. Вечером часов в 11 вернулась моя жена из театра и была крайне удивлена тою массою полицейских и судебных властей, которые наполняли мои комнаты.

Рассматривая все, делая всевозможные исследования, никто из судебных властей и полицейских не догадался пойти на крышу и посмотреть, есть ли какие следы хода к той трубе, которая соответствует той комнате, во вьюшке которой найдена адская машина. Между тем, в этот вечер ко мне пришел курьер, который был при мне, когда я был министром финансов и потом председателем совета министров, Николай Карасев, человек

очень смышленый. Он сейчас же полез наверх и усмотрел, так как в это время был снег, и все крыши были в снегу, что есть след, идущий с крыши соседнего дома Лидваля к этой трубе, о чем он и передал судебному следователю, и тогда судебный следователь проверил это только на следующий день и, действительно, нашел эти следы.

Затем Николай Карасев передал мне свое соображение, что, по его мнению, надлежит проверить все трубы, не имеются ли еще где адские машины, но я проверить никак не мог, так как это было поздно ночью. Все власти уже поразъехались, а агенты охранного отделения, находившиеся при мне, смотрели на все это, как посторонние зрители. При таких условиях я с женой легли спать, но, конечно, сна не могло быть особенно спокойного при таких обстоятельствах; к счастью, у меня жена очень решительная и твердая женщина, а поэтому мне ее успокаивать было не нужно, скорее она своим хладнокровием успокаивала мои нервы.

Мы не знали, к кому же обратиться, чтобы проверить трубы, нет ли в других трубах адской машины. Мы боялись, если мы обратимся к нашим трубочистам, то, может быть, они и подложат машину, или, во всяком случае, тогда скажут, что это, мол, трубочисты наши подложили машину; вследствие этого моя жена обратилась к генералу Сперанскому, заведующему Зимним дворцом, прося его прислать дворцовых трубочистов. Генерал исполнил просьбу, и на другое утро, 30 января, все трубы были проверены, при чем в соседней трубе была найдена вторая адская машина, которая таким образом переночевала в трубе.

Эта адская машина попала не в верхний этаж, а в нижний, в запасную трубу, которая проходит мимо трубы, идущей к камину, находящемуся в столовой, и так как машина не нашла себе упора, то ее лица, покушавшиеся на мою жизнь, привязали наверху к трубе, так что она висела в нижнем этаже, как раз в столовой в запасной трубе.

Сейчас же вторично было дано знать охранному отделению, и агенты охранного отделения вынули эту вторую машину; разрядил ее тот же Комиссаров и нашел, что эта адская машина совершенно такой же системы, как и первая, при чем этот факт ясно показал, что та полицейская и судебная публика, которая накануне вечер проводила у меня для того, чтобы раскрыть, кто подложил первую машину, очень мало заботилась о моей безопасности и о безопасности моего дома, а заботилась гораздо более раскрыть и доказать что-то другое.

Когда при первом допросе меня судебный следователь спрашивал: подозреваю ли я кого-нибудь, и намекал на мою прислугу, я ответил, что я за свою прислугу ручаюсь и уверен, что никто из них не мог этого сделать и никогда не сделает. Я тогда,

с своей стороны, обратился к полковнику Герасимову и спросил: «А вы думаете, кто бы мог сделать покушение?» Он ответил, что он точно не знает, но, может быть, это кто-нибудь из правых.

Затем эти машины были переданы в лабораторию артиллерийского ведомства для того, чтобы сделать экспертизу. Экспертиза нашла, что машины эти не взорвались потому, что они были уложены в ящики, которые не могли дать полный ход молоточку будильника, в машине находящемуся, и поэтому молоточек будильника не мог разбить трубочки с серной кислотой, а вследствие этого и машины не могли взорваться.

Затем лаборатория артиллерийского ведомства нашла, что в остальном машины сделаны очень хорошо, и они должны были взорваться от двух причин: или от биения молоточка будильника, или, если будильник не действовал, то тогда от топки печи. Будильники действовать не могли, вследствие того, что машины были вложены в узкие ящики. А что касается второй причины, то случайно она не могла иметь места потому, что спустили первую машину в такую комнату, где печь не топилась каждый день, а раза 2—3 в неделю; вторая же машина, которая была вложена в запасную трубу, если от будильника взорваться не могла, то, так как она находилась в трубе, которая не топилась, она не могла взорваться и от топки; таким образом, вторая машина могла взорваться только от детонации, т.-е. если бы взорвалась первая машина, то от детонации взорвалась бы и вторая. Таким образом, первая и сама могла только взорваться от топки печи, вследствие узкости ящика, а вторая машина могла взорваться только по силе детонации, в случае взрыва первой машины.

Затем явился вопрос: какие же могли быть последствия, если бы машины взорвались. В этом отношении экспертиза дала то показание, что была бы разрушена стена, могли быть повреждены комнаты, как те, в которых были заложены машины, так и соседние, но так как я и моя жена были в спальне, то вред нам мог быть произведен случайно, если бы мы случайно находились в столовой или в тех комнатах. Так как будильник был поставлен на 9 часов, то обыкновенно в 9 часов в тех комнатах мы не бывали,—в столовой случайно могли быть в 9 часов вечера, а что касается того, что если бы машины взорвались от топки, то вопрос зависел от того, когда топка была, во всяком случае ясно, что покуситель ошибся: он полагал, что мы находимся в тех комнатах в той стороне дома, в которой мы не находились, и там никто не жил, а в ближайших только жила прислуга, и прислуга могла бы пострадать.

Как я сказал, экспертиза указала на то, что стены были бы разрушены, может быть, потолки были бы разрушены первого

и второго этажей, но вообще экспертиза, повидимому, тоже старалась указать, что разрушения хотя и были бы, но не грозили всему дому.

На другой день, конечно, во всех газетах было напечатано о случае. Ко мне явились некоторые из моих друзей, наших знакомых, и, между прочим, явился министр двора, но явился не как министр двора, а просто как наш добрый знакомый. Его величество и его семья никакого жеста по поводу раскрытого покушения не сделали и никакого внимания мне не оказали.

На другой день я получил анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что я должен послать 5.000 рублей в конверте в Народный Дом в какое-то помещение, что там будет человек, который примет эти 5.000 рублей. Я это письмо вложил в конверт и отправил директору департамента полиции того времени Трусевичу. Трусевич был у меня в тот же самый день вечером, когда была положена и открыта адская машина. Я никакого ответа от Трусевича не получил.

Прошло несколько дней, я получил вторично анонимное письмо, в котором мне сообщалось, что вот я не ответил на первое письмо, а вследствие этого на меня будет сделано второе покушение, и чтобы я ответил с посланным, который должен вручить это письмо человеку, стоящему на одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту. Тогда я дал это письмо агенту охранного отделения, который был при моем доме, и рассказал ему, в чем дело, и сказал ему, чтобы он накрыл преступника. Агент охранного отделения преступника не накрыл, и затем я его больше не видел никогда, так как агенты охранного отделения несколько раз менялись и тогда были переменены, а письмо тоже мне не было возвращено, а агентом было передано в охранное отделение.

Меня с первого раза удивил способ ведения расследования; во-первых, прежде всего, самым покушением на меня никто собственно не интересовался, и агенты охранного отделения, и судебное ведомство совсем не интересовались фактом покушения на меня и раскрытием покусителей, а все как бы желали напасть на след и возможность придраться и сказать, что, мол, это была симуляция преступления, что в сущности адские машины были спущены не с трубы, а положены прямо во вьюшку из дому.

Это предположение опроверглось после того, как была найдена другая адская машина в трубе, спущенная и привязанная веревкой наверху трубы. Допрос, который сделал судебный следователь Гурьеву у себя, не у меня на квартире, прямо был такого рода, что видно было, что судебная власть очень бы

желала того, чтобы прийти к заключению, что это преступление было симуляцией, а не истинным покушением. Но им не удавалось на этой почве найти какой-нибудь базис. Точно так же обратило их внимание, почему это ящик и веревка были чистые, и это дало повод как бы направить следствие к тому, что самая чистота ящика и веревки показывают, что эта машина была заложена изнутри. Между тем, дело объяснялось просто: так как печь топилась редко, а труба чистилась одинаково всякий раз, как приходили трубочисты, которые чистили трубы всех печей, и тех, которые топились, и тех, которые не топились, или мало топились, то поэтому все трубы и были чисты, но на это следователь не обратил никакого внимания. Видимо, мысль была направлена к тому, чтобы найти симуляцию.

Затем производилось следствие. В производстве следствия я в курсе не был, только слыхал несколько раз от судебных властей, что следствием открыть преступников не могут, но вот о том, что это преступление было симулировано, т.-е., что преступления не было, а только была какая-то комедия преступления, то эта версия была так распространена полицией и судебным ведомством, что она достигла в ближайшие дни и верха. Так мне передавали некоторые лица, которым я не имею права не доверять, хотя был бы рад, если бы это было не так, что первые дни даже государь высказывался в том смысле, что не я ли сам себе подложил адскую машину, чтобы мой дом взорвать, для того, чтобы приобрести более популярности и обратить на себя внимание. И когда ему было указано, что мало вероятно, чтобы граф Витте мог такую вещь сделать, то он сказал: «Может быть, действительно, граф Витте не может сделать, а может быть, по его желанию, его знакомые, его доброжелатели, которые думали таким образом увеличить его популярность». Но должен сказать, что это было недолго и, вероятно, в зависимости от тех рассказов, и настроение наверху менялось. Очевидно, что государь император сам мог знать об этом деле постольку, поскольку ему докладывали; поэтому, если его величество выражал такое мнение, то, следовательно, ему в этом смысле докладывали и председатель совета министров Столыпин, и министр юстиции, между прочим, большой негодяй — Щегловитов.

Что Щегловитов хотел укрепить именно эту версию, это я знаю из того, что некоторые члены Государственного Совета и, между прочим, мой большой приятель—Стахович, товарищ министра юстиции по школе правоведения, мне говорил, что после покушения на меня был разговор в Государственном Совете во время антракта, и некоторые указывали на возмутительность такого покушения, и министр юстиции характерно улыбнулся и заметил: что да, может быть, это покушение было в сущ-

ности сделано лицами, живущими в доме графа Витте, может быть, и с его ведома.

Министр юстиции, который позволяет себе такого рода вещи говорить, какого имени он заслуживает? Он заслуживает именно то имя, с которым, наверно, сойдет с поста министра юстиции, которое он достаточно заслужил в общественном мнении России, т.-е. название каторжника.

Я об этом разговоре в Государственном Совете не знал, мне его передавали уже через несколько месяцев после того, как он имел место.

Через 2—3 месяца после этого покушения я встретил министра юстиции в Государственном Совете. Государственный Совет тогда заседал в дворянском собрании на Михайловской площади, и спросил министра юстиции: а в каком положении расследование, раскрыты преступники или не раскрыты? На это мне министр юстиции сказал: «Нет, еще покуда не раскрыты, а кстати, я сегодня говорил по вашему делу с государем императором». Я спросил, по какому поводу. Он сказал: «Вы знаете, артиллерийское ведомство сделало исследование того особого рода динамита, который был вложен в машины; так как это взрывчатое вещество в первый раз попало в руки артиллерийского ведомства и, повидимому, оно венского изготовления, поэтому, с разрешения судебной власти, одна склянка динамита была взорвана за городом, там, где происходит стрельба пушками, и оказалось, что это вещество такой силы, что если бы эти машины взорвались у вас в доме, то не только бы ваш дом был бы весь взорван и снесен, но той же участи, в значительной степени, подвергся бы и соседний дом Лидваля».

Тогда я его спросил: «А что же государь на это сказал?» Он говорит: «Вынул из ящика своего стола план вашего дома, подробно мне показывал по плану, как и где были положены адские машины, а когда я заметил его величеству о том, что эти взрывчатые вещества были такой силы, то его величество мне заметил: «Ну, если кладут адские машины, то ведь не для того, чтобы шутить». Из этого я усматриваю, что к тому времени мысль его величества о том, что я, или кто-нибудь из моего дома могли подложить машины для моей популярности—уже потеряла силу, и государь уже об этом более не соизволил говорить. Я повторяю, что уверен, что государь повторял то, что ему говорили. Я только одно не могу вспомнить без боли в сердце, что его величество, после того, как я служил его отцу и ему около 15 лет, жертвуя и своим благополучием, и своими материальными средствами, и своею жизнью для него и для родины, может настолько меня не знать, чтобы тому лицу, которое ему

высказало такое предположение, не повелеть молчать и такой гнусности никому не говорить.

Затем уже после, значительно после, я совершенно случайно узнал, кто был тот господин, который подходил к моему дому за день-два до предполагаемого взрыва и который предупредил дворника, чтобы я перешел с левой стороны и перенес спальню мою и спальню жены на правую сторону.

Я дальше расскажу формальную часть следствия, а покуда я рассказывал предварительную часть дела, освещая событие, как оно имело место, какие впечатления я вынес и что я по этому делу узнавал.

Как я говорил, через много времени после совершения этого преступления, мне один знакомый передавал, что к нему приехал один студент политехнического института и передавал ему, но под честным словом, что он этого никому не передаст. Он мне передал это, а потому я и не считаю возможным указать это лицо. Так, этот студент рассказал ему, что он сын офицера пограничной стражи (генерала), что на сестре его матери женат Казаринов. Этот Казаринов—вице-председатель общества Михаила Архангела, образованного Пуришкевичем,—это одна из партий подкупных борцов за сохранение устоев, приведших нас к Японской войне и к 17-му октября 1905 года, как последствию этой войны.

Вот приехал его отец и остановился у Казаринова, женатого на сестре его жены. Он нашел, что Казаринов занимается устройством двух адских машин, и когда его спросил этот генерал, для кого эти машины приготовляются, он сказал, что мы приготовляем, чтобы взорвать графа Витте и его дом. Так как я имею гордость считать как учащихся, так и учащих в Политехническом институте, а равно и пограничную стражу, в числе моих поклонников и доброжелателей, то этот генерал сказал Казаринову, что если бы он не был ему родственник, то он сейчас же бы дал знать полиции, а теперь он больше у него оставаться не может, и сейчас же от него уехал и потом перестал бывать у него.

Затем студент говорил, что он знает, что за несколько дней до 29-го января, когда подложили мне адские машины, то сам Казаринов переехал в маленький дом, находящийся против моего дома. Дом деревянный, где внизу находится трактир, а наверху второстепенные меблированные комнаты. Поселился Казаринов в этих комнатах для того, чтобы наблюдать за картиной взрыва моего дома, который должен был совершиться 29-го января, в 9 часов утра. За день до этого у него заболел дифтеритом его ребенок. У Казаринова, вследствие

религиозного экстаза, вызванного смертельной болезнью его ребенка, разыгралось угрызение совести; он не мог остановить преступления, но он подошел к дворнику и дворнику сказал, чтобы я переходил с левой стороны дома на правую, т.-е. место более безопасное, не объясняя причины и не зная, что я живу именно на правой стороне, а не на левой. Он думал, что я живу на левой стороне потому, что вечером и ночью на левой стороне было гораздо темнее, а на правой светлее, ибо у нас и в спальне вечером горит огонек.

Я об этом эпизоде не мог передать следственной власти, потому собственно этот эпизод не вошел в следствие, так как я не хотел компрометировать этого студента политехнического института, а равно и его отца, ибо я должен был бы все семейство Казариновых между собою расстроить, а о том, что Казаринов такой субъект, который на такую вещь вполне способен, то это известно всем тем, кому известно, что такое Казаринов.

Меня тогда же очень удивило отношение ко всему этому делу тех охранников, которые были при мне. Я в скором времени убедился, что эти охранники были поставлены около моего дома не для того, чтобы меня охранять, а чтобы за мною следить, а в случае надобности и скомпрометировать. Только в последние месяцы я не замечаю около себя охранников, а в прежнее время они постоянно филировали около моего дома и даже имели квартиру в соседнем доме, чтобы следить за мною, за тем, что у меня делается и что я делаю, дабы в случае какой-нибудь некорректности с моей стороны меня скомпрометировать там, где это было нужно. Но так как я никакой компрометации не боялся и не имею основания бояться, то я этому не придавал значения, но только в скором времени просил уволить меня от агентов охранного отделения в том смысле, чтобы они не ходили в моем доме. Но если в настоящее время за мною не следят, то я не могу быть уверенным, чтобы швейцар моего дома не был агентом охранного отделения. Тем не менее, если швейцар—человек очень исправный, то мне безразлично, если он докладывает, куда ему следует, о том, кто у меня бывает, и я этим швейцаром дорожу. По этому поводу я припоминаю такой разговор с графом Милютиным: как-то он рассказывал, что когда он был военным министром, то у него был один курьер, который очень долго у него служил; когда он оставил пост военного министра и хотел переселиться в Ялту, то этот курьер не согласился поехать с ним. Он очень опечалился, но ему кто-то из лиц, близких к департаменту полиции, сказал: «Зачем, граф, вы печалитесь, ведь этот курьер, понятно, не может поехать в Ялту, потому что здесь он получал двойное содержание, от вас, и от охранной полиции, ибо он агент секретной полиции,—и от секретной полиции он получает больше, чем от вас, и естественно,

что первого он не хочет лишиться». Из этого видно, что граф Милютин в течение многих лет, будучи военным министром, ближайшим лицом к императору Александру II, все-таки подвергался надзору, вероятно со стороны, шефа жандармов, графа Петра Шувалова. Граф Милютин мне рассказал это с соболезнованием. Я же, с своей стороны если мой швейцар агент охранного отделения, что я более нежели подозреваю, этим доволен, так как имею хорошего швейцара сравнительно за недорогую плату.

26 мая того же года заседание Государственного Совета было отменено вследствие полученных сведений, что готовится террористический акт. Сведение это было передано председателю Государственного Совета Акимову, и поэтому заседание было перенесено на 30 мая. Накануне заседания ко мне вечером приехал Иван Павлович Шипов, бывший министр финансов в моем министерстве, и предупредил меня, чтобы я 30-го не ездил в заседание Государственного Совета потому, что меня предполагают дорогой убить бомбой; при чем мне передал, что это сведение он имеет от Лопухина, что Лопухин, который живет в одном доме и на одной и той же лестнице, как и он, зашел к нему,—хотя он с Лопухиным домами не знаком,—и сказал ему, что, так как он знает, что Шипов очен дружен со мною, то он считает необходимым его предупредить, что предполагается завтра, когда я буду ехать в Государственный Совет или обратно, бросить в меня бомбу. При чем я должен сказать, что Лопухин после того, как он был уволен от службы, вошел совсем в кадетскую партию вместе с князем Урусовым, и так как он был специалистом по всяким розыскам и вообще по делам секретной полиции, то он занимался в этой партии специально вопросами сыска, то-есть контролем над тем, что делает секретная полиция, ибо уже тогда вполне обнаружилось, что секретная полиция не брезгает никакими средствами для расправы с теми, которых она считала своими врагами, или с теми лицами, которые ненавистны кому-либо из высших власть имущих. Я сказал Шипову, что я ему очень благодарен, но что я сожалею, что это он мне сказал, потому что, может быть, я завтра на заседание не поехал бы, но раз меня предупреждают, что завтра, когда я буду ехать туда или обратно, в меня бросят бомбу, раз известно, что это Шипову передал Лопухин, и Лопухину, как сказал он, это достоверно известно от членов Государственной Думы,—это была вторая Государственная Дума, крайне левого направления,—которые считали нужным предупредить меня, потому что в сущности это покушение исходит не от левых, таким образом, следовательно, об этом покушении известно стольким лицам, что если я не поеду в Государственный Совет и обратно, то, очевидно,

я покажу свою трусость; поэтому я решил ехать. Единственная предосторожность, которую я принял, по настоянию моей жены, была та, что я утром поехал завтракать к Быховцу, женатому на сестре моей жены, и оттуда поехал в Государственный Совет не в своем автомобиле, а в его карете.

Приехавши в Государственный Совет и просидевши там все заседание, никакого покушения не было. Когда я выходил из Государственного Совета, то я никак не мог найти карету Быховца, потому что кучера я не спросил о его имени и первый раз его видел, и кучер меня, видимо, ранее не видел. Вследствие этого, не будучи в состоянии найти экипажа, я пошел домой пешком; пошел по Невскому пр. мимо Европейской гостиницы, затем встретил порядочного извозчика, сел на него и приехал домой. Таким образом я пришел к тому заключению, что в данном случае была ложная тревога.

На следующий день во всех газетах появилось, что 29 мая около Пороховых, близ Ириновской жел. дор., в лесу исправительной колонии убит неизвестный человек в то время, когда он изготовлял бомбу и что, по слухам, эта бомба предназначалась для какого-то члена Государственного Совета. Поэтому мне нетрудно было догадаться, что на меня не было сделано покушения 30 мая именно потому, что, вероятно, главный покуситель был убит.

Следствие по этим делам производилось в течение почти 3 лет. Я, по мере производства следствия, получал от судебного следователя документы, но только те, которые мог получать потерпевший, согласно закону, т.-е. только одни показания допрашиваемых и свидетелей. Дело об убийстве лица около Пороховых, которое приготовляло бомбу, производилось одним следователем; дело покушения на меня производилось другим следователем, дело о приготовлении к моему убийству, приготовлении, которое делалось в Москве, производилось третьим следователем, и все эти следователи действовали независимо друг от друга, а затем и менялись. Я увидел, что, в особенности при алчном желании замять дело, следствие это ни к чему прийти не могло. Я, с своей стороны, тщательно собирал по этому предмету документы, те, которые мог собрать, и преимущественно официального характера, за подписью чинов судебного ведомства.

Видя, что следствие производится нарочно для того, чтобы не раскрыть преступления, я несколько раз обращался к прокурору судебной палаты Камышанскому. Камышанский был назначен прокурором судебной палаты во время моего министерства и по моему настоянию. Так как в мое министерство петербургский судебный округ и, главным образом, прокуратура совершенно почти забастовали, т.-е. боялись энергичных дей-

ствий, я на это обращал внимание министра юстиции. Министр юстиции мне говорил, что нет соответствующего прокурора судебной палаты, так как прокурор судебной палаты Вуич назначен директором департамента полиции, и он не может подыскать соответствующего лица; что между товарищами прокурора есть люди очень энергичные, но только люди крайне правого направления. На это я заметил, что я не вижу препятствий к тому, чтобы был человек правого направления, лишь бы только в точности исполнял законы и не боялся решительных мер. Таким образом Камышанский, сравнительно совсем молодой человек, был назначен прокурором судебной палаты.

Вследствие этого, вероятно, Камышанский относился ко мне с некоторым уважением и благодарностью.

Видя, что следствие так производится, что, очевидно, не желают раскрыть преступления, я его пригласил как-то к себе и начал ему говорить о крайне безобразном ведении следствия. На это мне Камышанский ответил буквально следующее: «Ваше сиятельство, вы совершенно правы, но мы, т.-е. прокуратура и следователи, иначе не можем поступать. С первых же шагов для нас сделалось ясным, что для того, чтобы раскрыть и обнаружить все дело, необходимо тронуть и сделать обыски у таких столпов вновь явившихся спасителей России, как доктор Дубровин, между тем, мы сделать этого не можем».

Я его спросил: «Почему вы этого сделать не можете?» На что он мне ответил: «Вот почему: потому что если мы только этих лиц арестуем и сделаем у них обыски, то мы не знаем, что мы там найдем, наверно, нам придется итти дальше и выше». Затем он кончил так: «Пусть нам скажет министр юстиции, что мы не должны стесняться и можем арестовать Дубровина и подобных ему лиц; и затем, если, как это несомненно, они выдадут лиц, выше их стоящих, то, что мы можем итти дальше и за это не подвергнемся никакой ответственности. А раз нам такого указания не дадут и не дают, то естественно, что мы следствие крутим, с целью замазать истину».

Вследствие этого, я был у министра юстиции. Не говоря ему о разговоре моем с Камышанским, я ему говорил о крайне безобразном ведении всего дела и что ведется нарочито для того, чтобы не обнаружить то, что происходило. Министр юстиции отговаривался, говорил, что он потребует дело. Он потребовал от прокурора судебной палаты записку по сему делу. Прокурор ему дал записку и копию записки дал мне. В этой записке прямо указано, где виновные и по какому пути следует итти, чтобы найти виновных, но министр юстиции опять не принял решительно никаких мер.

Поэтому я был вторично у министра юстиции и ему резко в конце концов сказал: «Знаете, что вы меня доведете до того, что я сделаю скандал и скандал для вас и для правительства весьма неприятный». Это было последнее свидание мое с министром юстиции, и после этого я прервал с ним всякие личные сношения.

Тем не менее в течение 3-х лет, в которые производилось следствие, многие побочные обстоятельства послужили к выяснению дела и, главным образом, газетные статьи главного лица, которое совершало на меня покушения посредством бомбы, Федорова, бежавшего заграницу и описавшего в газете «Matin», каким образом эти покушения готовились и как одно из них посредством адской машины было произведено.

Через 3 года судебный следователь сделал постановление, что за нерозыском тех лиц, которые покушались на мое убийство и за смертью руководителя этих лиц—Казанцева, дело это прекращается.

Все это дело находится в моем архиве и в нескольких экземплярах в различных местах для того, чтобы на случай, если пропадет один экземпляр, остался другой, так как дело это характеризует то положение дела, в котором очутилась Россия после управления Столыпина и Щегловитова. Дело это, составленное из официальных документов, несомненно устанавливает следующие факты: Казанцев—гвардейский солдат в отставке был один из агентов охранного отделения, которых покойный Столыпин именовал идейными добровольцами, т.-е. такими лицами, которые занимались делами секретной полиции, охраной и убийствами тех лиц, которых они считали левыми и вообще опасными для реакционного течения.

Этот агент охранного отделения принимал участие в убийстве Герценштейна в Финляндии, совершенном агентами охранного отделения и агентами союза русского народа, который в то время слился с охранным отделением так, что трудно было найти, провести черту, где кончаются агенты секретной полиции, охранного отделения, и где начинаются деятели так называемого союза русского народа, действующего в Петербурге под главным начальством доктора Дубровина и в Москве Грингмута и затем, после его смерти, протоиерея Восторгова.

Убийство Герценштейна произведено под главным начальством доктора Дубровина агентами полиции и союзниками. Затем у главы союза русского народа явилась мысль убить и меня. Об этом вопросе было обсуждение между главными союзниками; об этом, вероятно, знал и градоначальник Лауниц. Пресловутый князь М. М. Андронников, конечно, втерся в союз русского народа и к Дубровину, и к Лауницу, и так как он у них узнал,

что в случае, если я возвращусь в Россию, то меня убьют, то и дал мне телеграмму в Париж, чтобы я не возвращался, телеграмму, о которой я говорил ранее.

Секретарь доктора Дубровина Пруссаков, который затем рассорился с Дубровиным и дал показание судебному следователю, указал, что Дубровин говорил своим сотрудникам о необходимости меня убить и, главное, овладеть документами, которыми я обладал и которые находятся у меня в доме, что будто бы (чему я не верю) на необходимость уничтожить все находящиеся у меня документы имеется высочайшее повеление, ему переданное.

Таким образом Дубровин очень интересовался и науськивал некоторых лиц на то, чтобы меня убить и овладеть моим домом или его разорить. Из следствия видно, что исполнение этой задачи взяли на себя не Дубровин и петербургские союзники, а почли более удобным поручить это дело московским союзникам, а для сего Казанцева, который участвовал в убийстве Герценштейна, так сказать, командировать в Москву.

В Москве Казанцев поступил под главенство графа Буксгевдена, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, и как бы поступил к нему управляющим его домом, хотя его домом, собственно, не занимался, а имел какую-то кузницу около Москвы, где, между прочим, и изготовлялись различные снаряды.

Таким образом ясно, что петербургская боевая дружина, находящаяся в главном распоряжении Дубровина, не решилась совершить на меня покушение, боясь, что сейчас же будет открыта, и для отвода глаз это поручение передала в Москву. В дальнейшем главную роль играли: граф Буксгевден, чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, и агент охранного отделения и вместе с тем и член русского народа и монархических, крайних московских партий, Казанцев.

Казанцев приобрел некоего Федорова; Федоров был искренним революционером, анархистом, хотя рабочий, по умственным способностям полукретин, затем другого рабочего, тоже крайне левого направления, Степанова.

Из Москвы экспедиция, состоящая из этих трех лиц, приехала в Петербург, остановилась в меблированных комнатах, находящихся близ Невского проспекта, значит, в самом центре города. Затем, очевидно, Казанцев имел сношения и с здешними крайними правыми группами, а именно с Дубровиным, а также и с группой Михаила Архангела, если в то время Казаринов уже был в этой группе, а может быть еще в то время он был в группе Дубровина.

Эти лица, вероятно, адские машины получили от Казаринова, поэтому Казаринов, интересуясь, какое разрушение

произведут эти машины, и поселился против моего дома в меблированных комнатах, о чем я говорил ранее.

29-го января они через соседний дом Лидваля прошли, поднялись там на крышу сарая, с этой крыши пролезли на крышу моего дома, где помещаются кухни и людские, а оттуда по крыше влезли на крышу моего главного фасада и заложили адские машины, но, очевидно, они ожидали взрыва в 9 часов вечера, но взрыв не последовал. Так как взрыв не последовал, то из следствия видно, что на другой день тот же самый Федоров был отправлен к моему дому утром и должен был влезть опять тем же путем на крышу и бросить в эти трубы тяжесть, которая должна была разбить адские машины и тем произвести взрыв, но когда он подходил к дому, то его предупредил Казаринов, что все раскрыто, машины из труб вынуты, и поэтому эти лица с огорчением возвратились в Москву, при чем Федорову и Степанову было внушено, что я должен быть убит по решению главы революционно-анархической партии, как крайний ретроград, который подавил революцию 1905—1906 года.

Приехавши в Москву, как показывает то же следствие, тот же самый Федоров, под руководством Казанцева, убил депутата первой Государственной Думы и одного из редакторов «Русских Ведомостей» Иоллоса. Совершив это убийство, они изготовили уже там бомбы и приехали в Петербург для того, чтобы бросить мне бомбу, когда я буду ехать на улице.

Из того же следствия видно, что в Москве всем этим руководил чиновник при московском генерал-губернаторе, граф Буксгевден, и что он, т.-е. Буксгевден, когда Казанцев должен был совершать через Федорова мое уничтожение, приезжал в это время в Петербург.

Я Буксгевдена лично не знаю, по рассказу же бывшего московского генерал-губернатора Дубасова и его супруги граф Буксгевден представляет собою на вид человека очень скромного, сам он состояния не имеет, но его жена имеет и человек он более, нежели ограниченный.

Когда вторично приехал сюда Казанцев, вместе с Федоровым и Степановым, то тогда уже была вторая Государственная Дума открыта, и Степанов передал некоторым из членов Думы крайней левой партии о причинах, почему они приехали и, затем, как они убили Иоллоса.

Эта партия, крайняя левая, всполошилась и объяснила Федорову и Степанову, что они являются игрушками в руках черносотенной партии, что Иоллос убит по постановлению черносотенной партии их руками. Казанцев уверил Федорова, что Иоллоса нужно было убить, потому что Иоллос похитил значительные суммы денег, которые были собраны на революцию.

Вследствие такого разоблачения Федоров решил убить Казанцева, чтобы отомстить ему за его обман, и вот решено было бросить мне бомбу, когда я буду ехать в Государственный Совет. 29-го мая они поехали недалеко от Пороховых начинять бомбу взрывчатым веществом, которую они привезли с собою из Москвы. В то время, когда Казанцев начинял эту бомбу, Федоров подошел к нему сзади и кинжалом его убил, прободав ему горло. Таким образом бог спас меня и вторично.

Затем, так как Казанцев был агентом охранного отделения, для меня несомненно, что все, что он делал, было известно и петербургскому охранному отделению и союзу русского народа, и когда он был убит, то сейчас же полиция узнала, кто убит, тем не менее, полиция сделала так, как будто убит неизвестный человек, и дала время, чтобы как Федоров, так и Степанов могли скрыться, потому что, очевидно, если бы они были арестованы, то все дела были бы раскрыты, и было бы раскрыто, откуда было направлено покушение на мою жизнь.

Когда Федоров и Степанов скрылись, тогда Степанов скрылся где-то в России и до сих пор, вероятно, находится в России, но полиция во время Столыпина все время делала вид, как будто она его найти не может. А Федоров перебрался через финляндскую границу в Париж и там сделал все разоблачения.

Вследствие моих настояний, судебный следователь потребовал от Франции возвращения Федорова; я настаивал о том перед министром юстиции. Наконец, после долгих, долгих промедлений Федоров был потребован, но правительство французское Федорова не выдало и, когда я был в Париже и спрашивал правительство о причинах, то мне было сказано, что Федоров обвиняется в политическом убийстве, а по существующим условиям международного права виновные в политических убийствах не выдаются; но при этом прибавили: конечно, мы бы Федорова выдали в виду того уважения, которое во Франции мы к вам питаем, тем более, что Федоров в конце концов является все-таки простым убийцей, но мы этого не сделаем, потому что, с одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Федорова, а с другой стороны, словесно нам передает, что нам было бы приятно, если бы наше требование не исполнили.

Я знал, что правительство будет отказываться, что Казанцев есть агент охранного отделения, и поэтому старался иметь в руках к этому доказательства. Сколько раз я ни обращался к судебному следователю, но он по этому предмету не делал никаких решительных шагов, он все требовал от охранного

отделения и от директора департамента полиции, чтобы ему дали ту записку, которую я получил после того, как у меня были заложены адские машины, в которой меня уведомляли, что от меня требуют 5.000 рублей и что, в противном случае, на меня будет сделано второе покушение, именно ту записку, которую я имел неосторожность передать директору департамента полиции. На все его требования этой записки он не получал под тем или другим предлогом.

Наконец я вмешался в это дело, писал директору департамента полиции, просил вернуть записку; директор департамента полиции долго не отвечал и потом ответил, что он эту записку передал в охранное отделение, ну, а там ее найти не могут.

Перед самым окончанием следствия судебный следователь Александров получил явное доказательство, что Казанцев есть агент охранного отделения, и так как он, видимо, был вынужден вести все следствие таким образом, чтобы свести на нет, то, вероятно, из угрызения совести, в последний раз, когда он у меня был, он мне показал фотографический снимок записки и спросил, та ли это записка, которую я послал директору департамента полиции и в которой требовалось от меня 5.000 руб. Я посмотрел и говорю: «Та самая, где это вы эту записку достали?» Он мне сказал буквально следующее: «У меня есть другое дело, дело не политическое, и мне нужен был почерк одного агента сыскного отделения петербургского градоначальства; поэтому я пошел в это отделение, чтобы попросить образец почерка этого агента сыскного отделения. На это заведующий архивом отделения сказал: «У нас здесь есть почерки всех агентов, как сыскного, так и охранного отделения, так как при Лаунице охранное и сыскное отделения были слиты, и вот, если хотите, то можете поискать в этих шкафах».

Я взял, достал почерк этого агента сыскного отделения, а потом мне пришло в голову: «а посмотрю-ка я, нет ли здесь почерка Казанцева». Посмотрел на букву К., Казанцев. Затем взял образец почерка, и вот этот образец есть то, что я вам показываю. Я обратился к заведующему архивом и спросил его: «Чей же это почерк?» Он говорит: «Это известного агента охранного отделения Казанцева, который был убит около Пороховых Федоровым».

Я попросил судебного следователя, не может ли он мне оставить на несколько часов этот образец. Он оставил, и я, с своей стороны, снял фотографический снимок с этой записки. Таким образом, я получил более или менее материальное удостоверение того, что Казанцев есть агент охранного отделения.

Из всего, мною изложенного, очевидно, что покушение, которое делалось на меня и на всех живущих в моем доме, т.-е. на мою жену и на мою прислугу, делалось, с одной стороны,

агентами крайне правых партий, а с другой стороны, агентами правительства, и если я остался цел, то исключительно благодаря судьбе.

Когда судебный следователь сделал постановление о прекращении следствия, то я написал письмо к главе правительства Столыпину 3-го мая 1910 года, в котором ему изложил, в чем дело, выставил все безобразие поведения в данном случае правительственных властей, как судебных, так и административных, указал на то, что при таких условиях естественно, что высшее правительство стремилось к тому, чтобы все это дело привести к нулю, и в заключение выразил надежду, что он примет меры к прекращению террористической и антиконституционной деятельности тайных организаций, служащих одинаково и правительству, и политическим партиям, руководимых лицами, состоящими на государственной службе, и снабжаемых темными деньгами, и этим избавит и других государственных деятелей от того тяжелого положения, в которое я был поставлен. Письмо это было составлено известным присяжным поверенным Рейнботом, и мне принадлежит только общая идея этого письма и в некоторых местах его стиль. Ранее, нежели послать это письмо, я его передал, одновременно и все трехтомное дело о покушении на меня, таким юристам, как члены Государственного Совета— Кони, Таганцев, Манухин, граф Пален. Все они признали, что письмо, с точки зрения фактической и с точки зрения наших законов, совершенно правильно и что, может быть, только стиль несколько ядовитый, но что это дело уже лично мое.

Столыпин, получив это письмо, был совершенно озадачен; он, встретясь со мною в Государственном Совете, подошел ко мне со следующими словами: «Я, граф, получил от вас письмо, которое меня крайне встревожило». Я ему сказал: «Я вам советую, Петр Аркадьевич, на это письмо мне ничего не отвечать, ибо я вас предупреждаю, что в моем распоряжении имеются все документы, безусловно подтверждающие все, что в этом письме сказано, что я ранее, нежели посылать это письмо, давал его на обсуждение первоклассным юристам и, между прочим, такому компетентному лицу, престарелому государственному деятелю, как граф Пален».

На это Столыпин ответил: «Да, но ведь граф Пален выживший из ума». Этот ответ показывает степень морального мышления главы правительства. И затем он раздраженным тоном сказал мне: «Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь? Скажите, какое из моих заключений более правильно, т. е.

идиот ли я или же я участвовал тоже в покушении на вашу жизнь?» На это я Столыпину ответил: «Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый, с вашей стороны, вопрос».

Затем я уехал заграницу и несколько времени никакого ответа от Столыпина не получал и уж, когда я вернулся в Петербург, то через 7 месяцев получил от него ответ, весьма наглый, на мое письмо. В этом ответе,—это было письмо 12-го декабря 1910 года, — он самым бесцеремонным образом отвергает некоторые факты и входит в довольно наглые инсинуации.

Я не преминул 16-го же декабря 1910 года ему дать подобающий ответ, ответ весьма жестокий, но вполне им заслуженный, но в котором в заключение я высказал, что, так как, очевидно, между главою правительства, министром юстиции и мною по этому предмету существуют разногласия, то я прошу, чтобы все это дело было поручено рассмотреть кому-нибудь из членов Государственного Совета—сенаторов, юристов, близко знакомых со всем следственным делом, для того, чтобы они высказали— кто из нас прав: я ли, утверждая, что все следствие было сделано с пристрастным участием агентов правительства и что следствие было ведено для того, чтобы прикрыть все это, или же он, Столыпин, и министр юстиции, которые утверждают противное, а именно, что правительство здесь не при чем. При чем я перечислил тех членов Государственного Совета, которым кому-нибудь из них я просил бы передать это дело для дачи заключения его величеству. Перечислил я лиц всех партий, и крайних правых, и крайних левых, так как для меня безразлично, кто будет производить это рассмотрение, ибо каждый из них не мог бы прийти к иному заключению, чем к какому я пришел, потому что каждый из этих лиц—суть члены Государственного Совета, и, при каких бы то ни было политических разногласиях и личных чувствах в отношении ко мне, никто бы не уронил себя до такой степени, чтобы не признать того, что я утверждаю, так как это вытекает математически из всего обширного дела, у меня имеющегося.

Должен сказать, что как первое письмо, так и ответ Столыпина, и второе письмо, обсуждались в совете министров. Через некоторое время после моего второго письма я получил краткий ответ от главы правительства, в котором он меня уведомлял, что, мол, он докладывал мою просьбу о поручении расследовать дело кому-нибудь из сенаторов, что его величеству благоугодно было самому этим делом заняться и что, рассмотрев все дело, его величество положил такую резолюцию: что он не усматривает неправильности в действиях ни администрации, ни полиции, ни юстиции и просит переписку эту считать поконченной.

Само собой разумеется, что его величество, ни по своей компетенции в судебных делах, ни по времени, которое он имеет

в своем распоряжении, не мог рассмотреть и вникнуть в дело, и эта резолюция его величества, которая, очевидно, написана по желанию Столыпина, показывает, как Столыпин мало оберегал государя и в какое удивительное, если не сказать более, положение он его, государя, ставил.

Переписка моя, все дело о покушении на меня, как я говорил, состоящее из 3 томов, находится у меня в архиве, точно так, как и переписка моя между мною и Столыпиным. Переписка эта, в виду смерти Столыпина, не составляет уже такого особого секрета и, может быть, я ее распубликую еще при моей жизни. Тогда общество увидит, до какого позора дошли судебная власть и правительство в управлении Столыпина.

Разве только эти дела имели место в его управлении? В его управление не только убивали лиц, которые по тому или иному поводу были неудобны, когда они принадлежали к тем сословиям, т.-е. к толпе, за которую никто вступиться не может, или не посмеет, но даже подобные убийства практиковались и в отношении тех лиц, которые по своему положению могли бы иметь какую-нибудь защиту, но все-таки таковую не находили.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ.

Вторая Дума. Государственный переворот 3 июня 1907 года.

20 февраля открылась вторая Государственная Дума.

Вторая Государственная Дума, по направлению своему, мало отличалась от первой Думы. Разница заключалась только в том, что ко второй Думе революционное брожение и вообще крайнее увлечение уже несколько поостыли, а затем в Думу эту не попали многие выдающиеся деятели, которые были в первой Думе и которые были устранены Столыпиным от выборов, вследствие Выборгского воззвания и особого толкования закона о лицах, подвергшихся привлечению к следствию и суду.

Они были устранены от выборов в Государственную Думу таким способом: вначале Столыпин держал всех привлеченных лиц, не назначая суда,—а лица эти, будучи под судом, не могли выбираться, а потом посредством применения такой статьи, в силу которой лица эти лишились права выбора в Государственную Думу, независимо от тюремного заключения.

Я и в то время не понимал: почему правительство делает вторую пробу с Государственной Думой, собирая ее на основании существовавшего и единственно имеющего силу выборного закона, объявленного после 17-го октября 1905 года, так как для меня было ясно, что сущность думских воззрений второй Государственной Думы будет такая же, как и первой и, если бы по тому же закону продолжали выбирать и последующие Думы, то сущность последующих Дум была бы та же самая, как и предыдущих. Сущность же эта заключается в том, что Дума не может не иметь своих самостоятельных убеждений, соответствующих народному самосознанию данного времени; она не может быть в услужении у правительства, и ее члены—дежурить в приемной у председателя совета министров и у других министров. А так как

направление правительства совершенно явно выказалось, и оно заключалось в том, чтобы править Россией не в соответствии с народным самосознанием, а в соответствии с мнениями, большей частью эгоистичными, а иногда и просто фантазиями кучки людей, находящихся вблизи трона, то, очевидно, Дума, выбранная по закону, изданному после 17-го октября, никоим образом и ни в каком случае не могла бы ужиться с таким правительством.

Но Столыпин этого, повидимому, не понимал, или не хотел понимать, рассчитывая, что в конце концов Дума подчинится фантазиям и государственным экспериментам правительства, имеющего почву не в уважении и популярности России, а в выборе, основанном на угодничестве тех лиц, которые понравились.

Около того времени произошли следующие события личного свойства, но имеющие государственное значение.

10-го марта умер Константин Петрович Победоносцев. Это был последний могикан старых государственных воззрений, разбитых 17-го октября 1905 года. Но, тем не менее, как я уже имел случай говорить,—это был, действительно, очень крупный могикан. К. П. Победоносцев был редкий государственный человек по своему уму, по своей культуре и по своей личной незаинтересованности в благах мира сего, которые приобрели такое преимущественное влияние на решение дел в последние годы, особливо со времен министерства Столыпина.

Я счел потребностью своего сердца быть на первой и на последующих панихидах над трупом К. П. Победоносцева, а также присутствовать на его похоронах.

Смерть эта подняла во мне все воспоминания прошедшего, а особенно воспоминания о светлых годах царствования императора Александра III.

14-го марта последовало в Москве убийство члена первой Государственной Думы Иоллоса. Как я уже рассказывал, убийство это было произведено Казанцевым и Федоровым в антракте между двумя покушениями на меня.

31-го марта умер председатель Государственного Совета Фриш (который заменил графа Сольского); это был честный человек, прекрасный юрист, весьма добросовестный человек, но в конце концов—это был только государственный юрист и чиновник. Вместо него последовало назначение Акимова.

Назначение это всех довольно удивило; ибо Акимов представляет собою человека более нежели ограниченного, без

всякого государственного воспитания, сравнительно мало культурного, человека честного, но не имеющего никакого государственного опыта.

Акимов был назначен председателем Государственного Совета в то время, когда на этот пост имели большие права, нежели он, десятки лиц, а потому было ясно, что Акимов был назначен вследствие того, что он представляет собою, с одной стороны, реакционера, а с другой—человека с полицейским кулаком и послушного.

Я думал, что вследствие этих его качеств Акимов был выбран государем императором, но потом мне говорили, что будто бы государь останавливался и на других лицах, но что назначение Акимова произошло вследствие желания Столыпина. Столыпин же пожелал Акимова будто бы потому, что вообще Столыпин желал иметь такого председателя Государственного Совета, который бы шел по его указаниям, а, конечно, такого между членами Государственного Совета было бы очень трудно найти. Так, между прочим, останавливались на Горемыкине, но, конечно, Горемыкин не мог бы быть в умственном и нравственном подчинении у Столыпина уже по одному тому, что он имеет несравненно больше сведений, знаний и государственного опыта, нежели Столыпин. При таких обстоятельствах Столыпин будто бы виделся с Акимовым, и Акимов обещал ему, что, если он будет назначен председателем Государственного Совета, то всячески будет содействовать Столыпину, т.-е. будет находиться у него как бы в услужении.

Должен сказать, что в действительности этого не было. Акимов, большею частью, шел и вел дело не в соответствии со стремлениями Столыпина, и Столыпин говорил своим близким, что его Акимов как бы провел, что если бы он знал, что Акимов будет таков, то он бы его не рекомендовал.

В марте месяце был уволен от должности директор политехнического института князь Гагарин.

18-го февраля был сделан обыск в общежитии политехнического института, и в этом общежитии будто бы была найдена бомба, вследствие чего общежитие было закрыто (оно закрыто и по настоящее время). Правление института было отдано под суд—это послужило причиной увольнения князя Гагарина.

Князь Гагарин—прекраснейший, честнейший и благороднейший человек, с характером ученого, в высокой степени порядочной семьи. Все его семейство представляет собою образец порядочности. Жена князя Гагарина—близкая родственница Столыпина.

Как мне тогда же говорили, эта пресловутая бомба не была заготовляема в общежитии, а была подброшена полицией для того, чтобы иметь повод закрыть общежитие института, а затем

и привлечь правление в суд. Иначе князя Гагарина было бы очень трудно привлечь в суд по обвинению в революционных стремлениях, так как он принадлежал к такой семье, что предположение о его революционных стремлениях не могло бы выдержать никакой критики.

В конце концов, князя Гагарина отдали под суд и судили в сенате; суд этот был устроен довольно искусственно.

Князя Гагарина отрешили от должности, но через это он нисколько не потерял уважения ни в обществе, ни между всеми его знакомыми.

После суда над ним я виделся с женою князя—княгинею Гагариной, которая рассказала мне всю эту историю; она мне объяснила, что все это было подстроено. Когда же я ее спросил: говорили ли вы об этом Столыпину?—то она мне ответила, что с таким п... она говорить и знаться не намерена.

Когда открылась вторая Государственная Дума, то, конечно, прежде всего приступили к рассмотрению бюджета. Этим думали в значительной степени занять и отвлечь внимание Государственной Думы от более колких вопросов, но так как с первого же раза обрисовался характер Думы, то правительство многие из тех законов, которые оно издало по ст. 87, а главным образом законы характера политического и полицейского, не представило в Государственную Думу, почему законы эти потеряли свою силу, хотя на практике то же самое продолжало действовать, но не в силу закона, а в силу сепаратных распоряжений и произвольных действий правительства.

7-го мая последовало правительственное сообщение в Государственной Думе и Государственном Совете «о задержании членов преступных сообществ, поставивших целью посягнуть на жизнь государя, великого князя Николая Николаевича и Столыпина». Дело это затем слушалось в с.-петербургском военно-окружном суде в августе месяце. Но так как оно слушалось при закрытых дверях, то разобраться в этом деле крайне трудно.

Меня уверяют,—это мнение поддерживают и заграничные левые издания,—что будто бы все дело, если не вполне, то в значительной мере, было выдумано и провоцировано для того, чтобы произвести впечатление на общество.

Я, с своей стороны, не берусь поддерживать такое мнение, хотя, с другой стороны, после всех историй с провокациями, с Азефом и проч. историями, касающимися действий секретной полиции и самого Столыпина,—я бы не дал свою руку на отсечение в доказательство того, что покушение это действительно имело место.

Меня в особенности удивляет то обстоятельство, что в этом деле Столыпин поставил свое имя наряду с именем государя и великого князя Николая Николаевича.

Во время междудумья по статье 87, между прочим, также был издан и закон «об ответственности за восхваление преступных деяний в речи и печати». Правительство не хотело прекратить действие этого временного закона, вследствие непредставления его в Государственную Думу, почему закон этот и был представлен в Государственную Думу, но 21 мая он был Думою отклонен.

Все время проявлялось явное разногласие между деятельностью правительства и деятельностью Государственной Думы. Было ясно, что так дело итти не может. А потому Столыпин начал разрабатывать вопрос о том, каким образом сделать так, чтобы под благовидным предлогом распустить вторую Государственную Думу и затем, в случае разгона второй Думы, решить вопрос, как поступить: собрать ли третью Думу или же сделать coup d'état—государственный переворот.

К этому времени Столыпин приобрел уже значительную силу и в глазах императора и придворной партии. Сила Столыпина заключалась в одном его несомненном достоинстве, это—в его темпераменте. По темпераменту Столыпин был государственный человек, и если бы у него был соответствующий ум, соответствующее образование и опыт,—то он был бы вполне государственным человеком. Но в том-то и была беда, что при большом темпераменте Столыпин обладал крайне поверхностным умом и почти полным отсутствием государственной культуры и образования. По образованию и уму, в виду неуравновешенности этих качеств, Столыпин представлял собою тип штык-юнкера.

Но государю и придворной партии, повидимому, нравились его отважность и его храбрость; что же касается других качеств, то для оценки их не было достаточно компетентных судей.

Затем Столыпину весьма повезло вследствие двух несчастий.

Одно несчастье—до него, как человека, совсем не касалось, а другое—коснулось его, как человека.

Первое—это несчастье с генералом Треповым, т.-е. то, что не успел Столыпин вступить на пост председателя совета министров, как Трепов умер от разрыва сердца.

Благодаря Трепову я не мог продолжать оставаться председателем совета министров, так как я не мог ужиться с бесшабашностью в государственных делах, а потому, по собствен-

ному желанию, ушел с должности главы правительства. Та же самая причина значительно повлияла и на уход, но уже не добровольный, Горемыкина, с поста председателя совета. Я не сомневаюсь в том, что если бы Трепов и при Столыпине был жив, то он в значительной степени подкашивал бы влияние и авторитет Столыпина. Но первое счастье Столыпина и заключалось в том, что Трепов неожиданно умер.

Таким образом, несчастье с Треповым явилось счастьем для Столыпина.

Вторым счастливым событием для Столыпина было несчастье у него самого, а именно взрыв на Аптекарском острове, взрыв, при котором пострадали его сын и дочь.

Несомненно, это покушение не могло не возмутить всякого порядочного человека, и это возмущение естественно породило симпатии к Столыпину.

Я, с своей стороны, даже думаю, что если бы Столыпин был один, не имел вокруг себя семейства, то он бы не обратился в то, чем он стал; он бы делал ошибки, по отсутствию государственного образования, делал бы, может быть, резкие, неуместные выпады, но оставался бы уважающим себя честным государственным деятелем.

Но, как говорят все лица без исключения, имевшие с ним дело, Столыпин, будучи человеком с темпераментом, и с большим самостоятельным темпераментом в отношении всех, терял этот темперамент, когда он имел отношение к своей супруге.

Супруга Столыпина делала с ним все, что хотела; в соответствии с этим приобрели громаднейшее значение во всем управлении Российской империи, через влияние на него, многочисленные родственники, свояки его супруги.

Как говорят лица, близкие к Столыпину, и не только близкие лично, но близкие по службе, это окончательно развратило его и послужило к тому, что в последние годы своего управления Столыпин перестал заботиться о деле и о сохранении за собою имени честного человека, а употреблял все силы к тому, чтобы сохранить за собою место, почет и все материальные блага, связанные с этим местом, при чем и эти самые материальные блага он расширил для себя лично в такой степени, в какой это было бы немыслимо для всех его предшественников.

Вторая Государственная Дума была распущена 3-го июня 1907 года.

Я помню, что перед роспуском Думы я два раза видел министра двора барона Фредерикса. Один раз я был у него по своему личному делу; между прочим, барон Фредерикс заговорил со мною о том, что предполагается выработать новый выборный

закон, на что я ему сказал, что я, с своей стороны, советовал бы, чтобы в совет министров, который будет вырабатывать этот закон, были приглашены прежние государственные деятели, знающие историю этого дела.

В соответствии с этим, в заседание совета, который разрешил вопрос о новом выборном законе, были приглашены Горемыкин, Акимов и Булыгин.

В другой раз сам министр двора пришел ко мне, по собственной ли инициативе или не по своей инициативе—этого я не знаю. Разговор между нами происходил в моем кабинете, в котором висит портрет императора Александра III.

Министр двора поставил мне вопрос: не могу ли я дать совет, что делать? На что я ответил барону Фредериксу, что мне трудно дать совет, так как я не знаю о всех обстоятельствах дела. Ответ этот барон Фредерикс, повидимому, почел за желание с моей стороны уклониться, так как вообще после 17-го октября было в моде такое предположение: что я, мол, знаю, как спасти Россию, но только не хочу этого сделать.

Тогда барон Фредерикс сказал мне:

— Наверное, граф, вы знаете, как бы следовало поступить. Скажите, как бы вы поступили?

Я на это рассердился и дал ему такой ответ:

— Я, действительно, знаю, как бы следовало поступить, но только не могу вам сказать, так как это будет бесполезно, потому что сделать то, что я вам порекомендую—вы все-таки не сможете.

Барон Фредерикс продолжал настаивать:

— Нет, вы все-таки скажите: что же следует сделать, может быть, мы это сделать можем.

Тогда я обернулся к портрету императора Александра III и, показав на портрет, сказал: «воскресите его!»

После такого моего ответа, которым барон Фредерикс был очень удивлен, мы с ним расстались [1]).

Новое положение о выборах в Государственную Думу выработал пресловутый Крыжановский, который был товарищем министра внутренних дел, а при Столыпине и его головою.

---

[1]) Вариант: * Перед 3-м июня ко мне приходил министр двора барон Фредерикс, по собственной инициативе или будучи послан свыше, и спрашивал мое мнение. Я ему сказал, что или следует терпеливо ждать, чтобы по закону 17-го октября получилась благоразумная Дума, что, весьма вероятно, и случится после того, как Дума будет многократно распускаема, как это делалось в Японии, когда там была введена конституция, но это будет возможно, если правительство будет корректно исполнять законы, изданные после 17-го октября, по точному смыслу и духу их, или следует выработать новый выборный закон, приняв во внимание все недостатки существующего

Как мне говорили, было всего только одно заседание в совете министров, рассматривавшее этот закон; в заседании этом участвовали: Акимов, Горемыкин и Булыгин, при чем, как кажется, некоторые из приглашенных членов были в разногласии с членами совета по отношению этого выборного закона.

Во всяком случае, закон этот был выработан крайне наспех; он был выработан до такой степени наспех, что, как мне достоверно известно, некоторые его части менялись уже тогда, когда закон этот набирался в типографии.

Было решено распустить вторую Государственную Думу и немедленно, согласно основному закону, назначить срок выборов в новую Думу, но только уже по новому выборному закону, иначе говоря,—сделать государственный переворот, ибо, согласно основному закону, всякие изменения в законе о выборах могут производиться не иначе, как через Государственную Думу и Государственный Совет.

Решив сделать этот coup d'état, тем не менее, не решились, распуская или разгоняя Думу, не назначить срок для выборов в новую Думу и не дать нового выборного закона, т.-е. не решились вполне уничтожить 17 октября или, иначе говоря, уничтожить законодательные учреждения, а только решили сделать такой закон, чтобы Государственная Дума была вполне послушна.

* После издания закона, в моем присутствии П. Н. Дурново расспрашивал составителя закона 3-го июня Крыжановского, почему, например, в таком-то уезде приняты такие-то нормы, а в таком-то другие, и на это Крыжановский, если хотите, пренаивно, отвечал, что это сделано для того, чтобы явился благонадежный выборщик—тут нужно было дать большинство голосов таким-то элементам, а там другим. Какие в конце концов результаты даст выборный закон 3-го июня, вопрос темный.

Я думаю, что закон этот долго не устоит, или он будет изменен на более разумный, принципиальный, или Думы совсем не будет. Для чего собственно иметь Думу?

Для того, чтобы она выражала желания и волю народа, всей сознательной его части, во всяком случае большинства

и имевшийся маленький опыт применения их. Если решиться стать на второй путь, то я бы поступил так: издал бы временный новый закон, поручающий выработать новый выборный закон представителям городов и земств, и затем провел бы этот законопроект через Государственный Совет. Если работа эта потребовала бы более продолжительное время, то, имея в виду, что без Думы при существующих законах продолжительное время обходиться нельзя, может быть этому собранию представителей земств и городов можно бы было поручить временно некоторые функции Государственной Думы. Я высказал эту мысль, как совершенно сырую *. — См. т. I, стр. 252.

мыслящей и чувствующей России. Иначе Думы совсем не нужно, она является бесполезной. Ведь кроме Думы имеется высшая палата—Государственный Совет, который должен представлять собою сосредоточение государственного опыта, знания и авторитета. Несомненно, что Совет лучше и скорее выработает и установит всякий закон, потребный по данному времени, он часто не может лишь выработать законы, соответствующие идеалам мыслящего и чувствующего большинства населения, ибо Государственный Совет далек от него и по жизни и по насущным интересам. При Государственном Совете не опасны и увлечения Думы, ибо он всегда может увлечения эти остановить. Для этого и существуют высшие палаты. Создать же низшую палату, которая по политической пульсации своей представляет Государственный Совет, но только низшей пробы, по меньшей мере бесполезно. Такая Дума народных желаний не выражает, а служит большим тормозом к движению законодательства. Государственный Совет с такой Думой и считаться не будет; первую Государственную Думу Государственный Совет боялся, но в известной мере с ней считался, а настоящую третью Думу Государственный Совет не боится и с ней не считается. Между ними нет никакой гармонии. Дума может сказать Государственному Совету: «Вы не являетесь представителями народа, его желаний и идеалов», а Государственный Совет с таким же правом может также сказать Думе, прибавив к тому: «мы по крайней мере государственно грамотны, а вы полуграмотны».

Так как Государственная Дума идет в одну сторону, а Совет в другую, то правительство, с полным нарушением смысла статьи 87-й основных законов и статьи 17-й правил о государственной росписи, принимает капитальнейшие меры и само без законодательных палат в значительной мере правит Россией *.

Затем нужно было найти и предлог для роспуска Думы.

2-го июня последовало сообщение: «Об обыске 5-го мая у члена Государственной Думы Озоля, о раскрытии замысла 55-ти членов Государственной Думы социал-демократической партии ниспровергнуть существующий государственный строй и о привлечении указанных 55-ти членов Государственной Думы к ответственности». Сделав это сообщение и произведя, конечно, этим впечатление на Россию, 3-го июня, т.-е. на следующий день, последовал манифест и указ о роспуске Государственной Думы и о назначении созыва новой Думы на 1-е ноября 1907 года по новому выборному закону; тогда же было опубликовано и новое положение о выборах в эту Думу.

Как это утверждают, о чем несколько месяцев тому назад было суждение и в настоящей Государственной Думе при закры-

тых дверях: опубликование 3-го июня 1907 года о замыслах 55-ти членов Государственной Думы ниспровергнуть существующий государственный строй было в значительной степени провоцировано и преувеличено, такого замысла не было, все это в значительной степени была провокация министерства внутренних дел.

С своей стороны, я имею основание думать, что это было именно так: Столыпин воспользовался некоторыми желаниями членов социал-демократической партии произвести смуту для того, чтобы облечь эти желания в замысел, имеющий государственное значение; это было сделано для того, чтобы произвести такое впечатление о грозящей государству опасности, чтобы общественное мнение легче переварило государственный переворот 3-го июня 1907 года.

Переворот этот по существу заключался в том, что новый выборный закон исключил из Думы народный голос, т.-е. голос масс и их представителей, а дал только голос сильным и послушным: дворянству, чиновничеству и частью послушному купечеству и промышленникам.

Таким образом, Государственная Дума перестала быть выразительницей народных желаний, а явилась выразительницей только желаний сильных и богатых, желаний, делаемых притом в такой форме, чтобы не навлечь на себя строгого взгляда сверху.

По форме же переворот этот заключался в том, что он совершенно нарушил основные государственные законы, изданные в мое министерство, после 17-го октября 1905 года.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ.

От государственного переворота 3 июня 1907 года до убийства Столыпина 1 сентября 1911 года.

После роспуска второй Думы курс правительства Столыпина сделался еще более реакционным, хотя в это время, а именно 13-го июня, последовало увольнение от должности государственного контролера Шванебаха [1]). Он уволился потому, что не ужился со Столыпиным, с другой стороны, он ушел из-за реакционных дел сверх того предела, который считал благоразумным в то время Столыпин, который затем сам этот предел в значительной степени перешел и дошел ко времени его убийства до полного обскурантизма и, еще более, до полного произвола в своих действиях во всех областях государственного правления и даже до полного произвола в своих отношениях с государем императором.

---

[1]) Я познакомился с Шванебахом, когда поступил в министерство финансов директором департамента железнодорожных дел; это был человек культурный, воспитанный, хорошо владеющий языками, но весьма легковесный и легкомысленный, ни к какому серьезному делу непригодный; так его и трактовали в министерстве финансов. Поэтому в министерстве финансов Шванебаху не давали никакого хода.

Мой предшественник Вышнеградский совсем устранил его от дела, потому что ни один из начальников Шванебаха не хотел его иметь у себя. Так, когда Шванебах был вице-директором кредитной канцелярии,— директор этой канцелярии не пожелал иметь его вице-директором, потому что Шванебах не оказывал ему никакой помощи; Шванебах был сделан товарищем управляющего государственным банком, и точно так же управляющий государственным банком постарался от него отделаться, как от человека совершенно излишнего. Когда я сделался министром финансов, то, чтобы не обижать совсем Шванебаха, я сделал его членом совета министра финансов, но никаких сколько-нибудь серьезных поручений ему не давал.

Шванебах нашел путь к министерским постам не посредством работы, а посредством подлаживания к русским высочайшим принцессам. Так,

Увольнение Шванебаха было вызвано, отчасти, делами политическими, ибо Шванебах вмешивался в эти дела и совсем не шел по тому направлению, по которому пошел Извольский. Шванебах был по крови и по натуре немец, а потому он придерживался, или, вернее, стремился к созданию хороших отношений с Австрией и Германией и старался найти лазейку к императору Вильгельму.

Через 2 или 3 года после его ухода он скончался в Германии, в одном из немецких городов недалеко от места пребывания германского императора. Хотя он, ни по своему положению, ни по своему прошлому, не имел никакого опыта, ни образования, ни способностей, которые должны быть присущи политическому деятелю, тем не менее, он вмешивался в политические дела и в совете министров имел частые столкновения с Извольским, который держался совершенно обратного направления, т.-е. искал сближения с Англией, или, вернее говоря, его соблазняли на сближение с Англией.

Вследствие стремления Шванебаха вмешиваться в политические дела, до него не касающиеся и в которых он не имел никакого понятия, произошла в значительной степени та смелость, с которой Эренталь в 1908 году присоединил к Австро-Венгрии Боснию и Герцеговину и сделал болгарского князя болгарским царем.

Барон Эренталь, который за это присоединение сделался графом, был в 1905—1906 году австро-венгерским послом в Петербурге, ранее этого он был два раза в России—раз в качестве секретаря посольства и другой раз — в качестве советника посольства.

служа еще в министерстве финансов, он как-то влез в доверие к великой княгине Екатерине Михайловне и был при ней не то управляющим, не то секретарем. Через этот пост он пролез к княжнам черногорским, женам великих князей Николаевичей, и получил от них толчок к дальнейшей карьере.

Когда я был еще министром финансов, то его величество как-то заговорил со мной о том, что он желал бы, чтобы Шванебах сделался членом комитета финансов. Я против этого возражал, указывая, что Шванебах является человеком, не имеющим никакого авторитета в серьезных финансовых делах, и что это не мое мнение, а мнение всех высших чиновников министерства финансов. Поэтому его величество эту мысль оставил.

Затем черногорские княжны втерли Шванебаха в товарищи министра к Алексею Сергеевичу Ермолову.

По довольно обыденному в нашей бюрократии приему, когда товарищами министров делаются лица подобного пошиба, как Шванебах, то они употребляют все свои усилия, чтобы подставить ножку своему начальнику и сесть на его место. Так и Шванебах впутался в интригу, во главе которой стоял Горемыкин, и таким образом влез на пост главноуправляющего землеустройством и земледелием.

Незадолго перед тем, когда он был послом и я сделался председателем совета, он женился на австро-венгерской аристократке, красивой очень девушке, но пожилых лет, которая играла роль при дворе. Барон Эренталь несколько ранее делал предложение этой девушке, но она отказывала, потому что она была знатной фамилии, а он был—барон Эренталь, сын еврейского банкира. Когда же он сделался послом, а она пожилой девушкой, хотя и сохранившей следы красоты, то она вышла за него замуж.

Вот, когда я был председателем комитета министров и, в особенности, председателем совета министров, то барон Эренталь стремился установить между мною и им, а равно между моей женой и его женой, более интимные отношения. Но, с одной стороны, потому, что я был очень занят, а с другой стороны, потому, что барон Эренталь не внушал мне симпатии, наконец, потому, что в то время все вопросы, которыми мы могли бы соприкоснуться с Австро-Венгрией, не были на очереди, между мною и Эренталем сохранились чисто формальные отношения, и мы виделись очень редко. Затем Эренталь подружился со Шванебахом.

Летом 1906 года, когда я уже уехал заграницу, после созыва Государственной Думы, дружба барона Эренталя со Шванебахом совсем укрепилась. Барон Эренталь жил в Териоках и постоянно приезжал в Петербург и завтракал у Шванебаха.

Как я говорил, после того, как я покинул пост председателя совета министров и мое место занял Горемыкин, Шванебах сделался государственным контролером, а следовательно и был в курсе многих государственных дел. И вот, посредством такой близости к Шванебаху, Эренталь мог узнать настоящее положение, в каком находилась в то время и в котором и по настоящее время в некоторой степени находится Россия.

Для того, чтобы сделаться приятным правительству Горемыкина, а затем и Столыпина, он систематически проповедывал самые реакционные воззрения в отношении России, он везде говорил, что я сделал громадную ошибку, что настоял на конституции, что русский народ еще находится в полудиком состоянии, что Россия не может управляться посредством народовластия, а должна управляться абсолютным и неограниченным императором. Подобные речи были чрезвычайно приятны господам министрам и в высших дворцовых сферах, а потому Эренталь сделался «persona gratissima». Вследствие этого, он вполне ознакомился с состоянием России; знакомство это, конечно, его привело к такому заключению, что после позорной Японской войны Россия на продолжительное время обессилена и не в состоянии вести активную политику на Западе; что смута, последовавшая за войной, еще более расстроила политический организм России, что 17-е октября не может в скором времени

восстановить положение России в мировом концерте, ибо, давши 17 октября, затем его испугались и начали всякими правдами и неправдами брать то, что дали, обратно.

В конце концов, из всего этого заключение таково: что теперь Россия бессильна, а потому другим странам и следует устраивать свои дела и делишки. Эренталь как раз в это время был назначен министром иностранных дел Австро-Венгерской империи. Когда он, откланявшись, покидал Россию, то ему, между прочим, правительство Горемыкина дало следующее поручение, как бы прося его отплатить за то радушие, которое правительством ему было оказано, а именно—передало ему особую записку-памфлет, направленный против меня лично.

В этой записке, в некоторой степени, выражались и те мнения, которые усердно проповедывал Эренталь, находясь послом в России, а именно, что была сделана ошибка, что была дана конституция. Конечно, для Запада такую мысль в неприкрытом виде высказать было нельзя, а потому была высказана такая мысль, что, конечно, конституция—большое благо, но что манера и способ, которым она была дана, является бедственным, что все это, мол, наделал я, а я представляю собой такого человека, который думает только о себе и о своей славе и, подобно тому примеру, который был в древнем мире, что Герострат сжег целый город для того, чтобы прославиться,—и я, мол, дал конституцию и возбудил пожар во всей России для того, чтобы лично прославиться.

Эта записка, составленная Шванебахом, была с благословения председателя совета министров Горемыкина передана Эренталю с просьбой, не может ли он передать эту записку императору Вильгельму. Цель записки заключалась в том, чтобы, как можно более, подорвать мое имя и мое положение, как в России, так и заграницей.

Нужно сказать, что как у правительства Горемыкина, так и у правительства Столыпина и, даже в некоторой степени, у нынешнего правительства я почему-то стою поперек горла, как бельмо в глазу. Они ужасно боятся, как бы не случилось так, чтобы я не вошел опять во власть; боятся этого, во-первых, потому, что все они цепляются за власть и никак не могут понять, что есть такие люди, которые нисколько властью не дорожат, а с другой стороны, эти лица боятся и того, что с моим уходом они столько наделали гадостей, что, если бы я вступил во власть, то как бы я им не отомстил, что эта месть может проявиться даже помимо моего желания, так как, конечно, я не мог бы скрыть все те преступления, которые министрами были совершены со времени моего ухода.

Между тем они знали, что за границей вообще относились и ныне относятся ко мне с большим уважением и что император Вильгельм лично относился ко мне с особым вниманием, что выразилось в тех чрезвычайных наградах, которыми он меня почтил. Вот у этих господ и явилась мысль подорвать меня в глазах Вильгельма.

Подобную, довольно некрасивую миссию взял на себя барон Эренталь и, после того, как принял пост министра иностранных дел, ездил в Берлин представляться германскому императору и передал ему эту записку. Затем эта записка через год времени приблизительно была опубликована в одном из французских журналов «Revue de Revues», редактором которого состоит некий Фино.

Будучи в Париже, я заинтересовался узнать, откуда редакция этого журнала взяла эту записку. Фино сказал мне, что она была передана ему, с просьбой напечатать, Шелькингом. Шелькинг—это способный человек, бывший в дипломатии секретарем в берлинском посольстве, а потом в Гааге за что-то был уволен со службы, затем занимался публицистической деятельностью одно время в Париже, затем приехал сюда и здесь занимается публицистикой и этим зарабатывает себе средства. В настоящее время он пишет в «Биржевых Ведомостях». Он хороший знакомый Горемыкина или, вернее сказать, является при Горемыкине человеком, который оказывает Горемыкину всякие услуги. Его сестра была очень красивая, замужем за вторым мужем—Сементовским-Курило.

Я имею основание думать, что записка эта никакого впечатления на Вильгельма не произвела, но как это обстоятельство, так и черносотенное послание к императору Вильгельму, которое он получил от союза русского народа в Киеве, за подписью Юзефовича, а может быть, некоторые указания из более высоких источников, заставили понять Вильгельма, что дальнейшее его внимание ко мне может не понравиться государю императору, а поэтому он со мною с тех пор не виделся, хотя мне известно, что в тех случаях, когда он отзывался обо мне, то отзывался всегда с большой симпатией, называя меня самым умным человеком в России. Я, с своей стороны, не делал тоже никаких попыток видеться с германским императором.

Возвращаясь к барону Эренталю, я должен сказать, что, благодаря всем тем картам, которые ему раскрыли в Петербурге г. Шванебах и другие его коллеги, приехавши в Австрию, он начал распоряжаться так, как бы России не существовало, но об этом, вероятно, я буду иметь случай еще говорить впоследствии.

15-го июля того же 1907 года последовало подписание трактата о торговле и мореплавании и рыбной конвенции с Японией. Трактат этот последовал во исполнение Портсмутского договора, но по отношению рыболовли в водах Дальнего Востока этим трактатом были даны Японии большие права и выгоды, нежели это непосредственно вытекало из договора.

Это был первый шаг Извольского к большему сближению с Японией.

В июле месяце государь император ездил в Свинемюнде видеться с германским императором. При этом свидании, как мне говорили, германский император весьма советовал государю императору, не отнимая того, что было им дано России 17 октября, твердо и решительно действовать против всех либеральных, а в особенности, революционных проявлений.

19-го августа последовало освящение храма Воскресения Христова на месте, где было совершено 1-го марта покушение на великого царя освободителя Александра II. На этом освящении присутствовал государь император.

В августе государь отправился в финляндские шхеры. Во время плавания по этим шхерам яхта его величества «Штандарт» была посажена на подводный камень. Сначала предполагали, нет ли здесь какого-либо покушения, но затем скоро убедились, что никакого покушения не было и произошло это от полнейшей неопытности наших моряков и, главным образом, адмирала, состоящего при его величестве, флаг-капитана Нилова.

Этот Нилов—прекрасный малый, большой кутила, вечно находится под влиянием паров Бахуса, очень предан государю, любим государем. Он в молодости был очень любим князем Мещерским, так что у князя Мещерского имеются на его столе различные фотографические карточки мичмана Нилова в различных позах. Тогда он был красивым молодым человеком. Нилов женат на княжне Кочубей, бывшей фрейлине великой княгини Марии Павловны.

Благодаря Нилову, пресловутый князь Мещерский, который одно время, во время и после Японской войны, был забыт государем, опять пролез к его величеству, бывает у него, иногда, вероятно, дает ему всякие советы и пишет ему письма. Я не думаю, чтобы князь Мещерский мог иметь особое влияние на государя; напротив того, князь Мещерский в своем «Гражданине» скорее проводит те мысли, которые приятны государю, да он и не добивается проведения каких-нибудь политических

мыслей. Всегда его отношения к монархам и ко власть имущим имеют одну цель: получить денежные субсидии на его журнал «Гражданин», субсидии, на которые князь Мещерский живет вместе со своими молодыми людьми, а с другой стороны, для того, чтобы наиболее любимых молодых людей возможно более награждать за счет казны.

Так, наиболее любимый молодой человек его, Бурдуков, отставной корнет, не имеющий никакого ни образования, ни воспитания, состоит камергером двора его величества, получает усиленное содержание, состоит чиновником особых поручений при министре внутренних дел и даже, кажется, на случай смерти Мещерского, когда он, Бурдуков, останется без протекции, ему заранее определена пенсия, сравнительно в большем размере, если только Бурдуков покинет службу.

12-го сентября последовало назначение государственным контролером Харитонова вместо уволившегося Шванебаха. Харитонов при мне был товарищем государственного секретаря, а государственным секретарем был барон Икскуль. Харитонов человек умный, способный, хороший юрист большого опыта, но есть продукт воспитания петербургских канцелярий вообще и государственной канцелярии в частности. Этот продукт выражается в преклонении формуле «чего изволите».

Он, может быть, и был за конституцию, а затем и против конституции; он был за Финляндию, а теперь против. Он сам принимал ближайшее участие в первоначальном редактировании самых либеральных основных законов, которые затем поступили при мне в совет министров и которые довольно существенно переделаны, а затем он сам, когда это было нужно, в качестве сотрудника членов кабинета Столыпина, являлся на кафедру, чтобы толковать эти законы совершенно в обратном смысле, сравнительно с тем смыслом, который эти законы имеют, и смыслом, который отлично известен Харитонову.

Но все-таки, при всех его положительных умственных способностях и знаниях и крайней слабости к политической морали, главным образом, он есть чиновник. Я помню, что когда мы обсуждали проект основных законов в той редакции, которая преимущественно принадлежит ему, я к нему обратился с вопросом: почему он, например, написал такую-то статью или такую-то. Он мне на это не отвечал по существу и ограничивался объяснениями, которые по его мнению были исчерпывающими: что такая-то статья взята из японской конституции, а такая-то статья из шведской конституции, такая то статья из итальянской конституции, и все его объяснения—такого рода.

13-го сентября последовало опубликование конвенции между Англией и Россией по делам Персии, Афганистана и Тибета. Эта конвенция знаменовала крутой поворот наш от политики сближения или, иначе сказать, флирта с Германией к сближению и флирту с Англией, а так как дамы, как Англия и Германия, являются особами довольно ревнивыми и снабжены умственными способностями, не менее развитыми, нежели у нас, то и мы попали в двойственное положение и покуда отделываемся из этого двойственного положения тем, что Германию уверяем, что мы, конечно, любим более всего Германию, а с Англией флиртуем более для виду, и Англии, когда нужно, говорим обратное. Я думаю, что долго на этих уверениях жить будет невозможно, и полагаю, что, кроме тех неожиданностей, которые уже эта двойственность проявляет в наш ущерб, она будет проявляться в неблагоприятном для нас смысле и в будущем.

В сущности, сближение с Англией само по себе не имеет особо важного значения, но оно важно потому, что Англия есть союзница Франции, а мы являемся тоже союзницей Франции, а потому сближение с Англией на почве заключения конвенции по вопросам наиболее колким в наших отношениях с Англией представляется если не заключением тройственного союза, то во всяком случае созданием тройственного соглашения, и поэтому недаром дипломатия прозвала это соглашение, в противоположность тройственному союзу (Германия, Австрия и Италия)— тройственным соглашением entente cordiale de trois puissances.

Само по себе это соглашение представляется нам невыгодным потому, что оно дает более выгод Англии, нежели нам. История соглашения такова: после Портсмутского договора, когда на обратном пути я был в Париже, то ко мне приехал Козелл-Поклевский, который в то время был первым секретарем английского посольства, очень близкий человек к королю Эдуарду VII.

Он приехал ко мне от имени короля приглашать приехать к королю в Англию. Когда я от этого приглашения уклонился потому, что не имел права поехать в Англию к английскому королю без соизволения государя императора, то Поклевский мне, на основании конспекта, который он имел в руках, развил идею о соглашении с Англией,—соглашении, которое в общих чертах тождественно с тем, которое впоследствии было заключено Извольским по всем вопросам, в которых являлись постоянные столкновения с Англией и, главным образом, по делам Персии, Афганистана, Тибета и Персидского залива.

При этом Козелл-Поклевский мне передал, что он приехал в Париж по поручению короля Эдуарда и с ведома и разрешения

нашего посла, графа Бенкендорфа. Я просил Козелл-Поклевского передать королю, что если я буду, как это предполагает король, приехавши в Россию, во власти и буду иметь влияние на международные отношения, а об этом я не имею никаких сведений, то король может быть уверен, что я употреблю все средства для того, чтобы установить между Россией и Англией нормальные, добрые отношения.

Должен сказать, что в это время отношения наши с Англией были таковы, что его величество относился к англичанам весьма недружелюбно: так мне неоднократно приходилось слышать выражения, при которых между жидами и англичанами, и англичанами и жидами не делалось никакой разницы. Затем я добавил Козелл-Поклевскому, что, будучи сторонником самых добрых отношений с Англией, тем не менее, если буду во власти, не соглашусь на заключение конвенций с Англией, содержание которых мне было доложено Поклевским. Не соглашусь потому, что я считаю, что Россия, несмотря на неосторожную войну с Японией, все-таки осталась такой великой страной, что должна иметь руки свободными и не связывать себя договорами.

При этом я имел в голове то обстоятельство, что договор с Англией, конечно, возбудит ревность у Германии, что придется заключать договор с Германией и, в конце концов, на этих договорах нас совсем обкромсают. Поэтому, покуда я был председателем совета министров, Англия более не предлагала нам заключать конвенции и только тогда, когда я ушел, тот же Козелл-Поклевский, который, между прочим, был очень близок к Извольскому (он был близок к нему потому, что был секретарем миссии в Японии, когда Извольский там был посланником; затем, как говорили злые языки, Извольский, который постоянно нуждался в деньгах, пользовался состоянием Козелл-Поклевского, человека весьма богатого)—тот же Козелл-Поклевский был посредником между Извольским и правительством Великобритании для заключения конвенции от 31-го августа 1907 года, опубликованной 13 сентября того же года по делам Персии, Афганистана и Тибета.

Как я говорил, конвенция эта сама по себе более выгодна Англии, нежели нам, и вот почему: самая главная часть этой конвенции есть соглашение по отношению Персии. Персия, особливо вся северная ее часть, наиболее населенная и наиболее продуктивная, можно сказать, испокон века находилась под нашим доминирующим влиянием.

С завоеванием южных частей Кавказа, когда-то бывших провинциями Персии и Турции, вся северная часть Персии, как бы естественно предназначалась в будущем, если не обра-

титься в часть великой Российской империи, то, во всяком случае, обратиться в страну, находящуюся под полным нашим протекторатом.

Мы для такого результата пожертвовали нашей русской кровью, понимая под словом «кровью» кровь всех верноподданных русского царя, в том числе и всех туземцев Кавказа, а равно пожертвовали и многими материальными средствами.

При таком положении дела, по моему убеждению, дальнейшую участь Персии следовало предоставить историческому течению, не связывая себе рук. Главная наша политика должна была заключаться в благорасположенном покровительстве над Персией и точно так же, как другие провинции юга Кавказа соединились с Россией, в близком будущем и северная часть Персии должна постепенно стать провинциями русского государства. Конечно, для этого требовалось одно условие, это то, чтобы жители Кавказа чувствовали благо российского подданства, чтобы жители эти чувствовали, что к ним относятся, как к сынам Российской империи, а не как к чужим иностранцам. Одним словом, чтобы Кавказом управляли на основании тех принципов, которыми им управляли создатели Кавказа: светлейший князь Воронцов, фельдмаршал князь Барятинский, великий князь Михаил Николаевич и даже нынешний почтенный наместник граф Воронцов-Дашков, а не так, как им управлял князь Голицын и как им хотел управлять штык-юнкер Столыпин.

Между тем, согласно конвенции с Англией, южная Персия в экономическом отношении должна находиться под доминирующим влиянием России, а вообще Персия, т.-е. центральное правительство Персии, ее политика, должны находиться под влиянием как России, так и Англии, которые должны действовать по взаимному соглашению.

Очевидно, что, так как центральное правительство Персии находится в Тегеране и вообще в северной части Персии, то этим самым мы предоставляем Англии значительное влияние в Персии и на северную часть ее. Но, независимо от этого, ведь нельзя же делить страну относительно влияний между Россией и Англией без согласия на то других держав, которые могут иметь такую же самую претензию, как и Англия.

Из изложенного ясно, что конвенция России с Англией относительно Персии, если даже не предвидеть претензии других стран, могущих быть относительно Персии,—представляет собой дележку не вполне справедливую или, иначе говоря, равноценную. С этим, пожалуй, можно бы еще помириться, но нужно было быть крайне близоруким, чтобы не предвидеть, что можем мы делить между собой Персию, как пожелаем, но для того, чтобы эта дележка осуществилась, необходимо и согласие других стран.

На Персию в смысле экономическом издавна имела претензию Германия. Так, когда я еще в 1904 году был в Германии и заключал торговый договор с канцлером Бюловым, уже тогда Бюлов очень сетовал на Россию, что она не вполне допускает свободу сбыта в Персии германских продуктов. Это выразилось, с одной стороны, прежде всего запрещением транзита через Батум, а засим и в других мерах, а именно, в том, что мы за последние десятки лет перед заключением конвенций с Англией совсем забрали в руки Персию, особливо ее северную часть, устроив дороги в Тегеран, Тавриз, учредив много новых консульств, давая Персии деньги взаймы, т.-е. устроив ей государственные займы под залог таможенных доходов и, таким образом, взяв под свой надзор и под свое влияние таможенные сборы, один из главнейших государственных доходов Персии.

До соглашения с Англией наши отношения к персидским шахам были такого рода, что явно указывали на полное государственное подчинение Персии России. Главная невыгода конвенции с Англией по отношению к Персии заключалась в том, что не предвидели германского вмешательства, и, действительно, после заключения этой конвенции, Германия начала домогаться, чтобы ее продуктам был обеспечен доступ в Персию. В конце концов в 1910 году при свидании императоров в Потсдаме было намечено соглашение с Германией относительно Персии, соглашение, которое было опубликовано в прошлом 1911 году во время конфликта между Германией и Францией по Марокккскому делу.

В силу этого соглашения с Германией о Персии, мы обязались соединить железные дороги в северной Персии с германской Багдадской железной дорогой, обязались не чинить никаких препятствий экономическому влиянию Германии на севере Персии, т.-е. относиться к Германии, как к наиболее благоприятствуемой нации в отношении ввоза ее продуктов в северную Персию и вообще ее финансовой и экономической деятельности.

Что же в конце концов за нами оставалось? Присоединить к себе Персию в политическом отношении мы не можем, так как это противоречит соглашению с Англией. Экономической выгоды в Персии мы решительно не можем иметь никакой, так как, очевидно, конкурировать на севере Персии с немцами при условии, что Персия должна предоставлять немцам те самые экономические условия, какие она предоставляет нам, также не можем. В результате ясно, что мы подписали конвенцию, при которой мы Персию в будущем потеряем, мы там можем только иметь неприятности по политическому надзору, но выгод мы иметь не можем никаких.

Что касается Афганистана, то Афганистан, согласно существующему положению вещей, представляет собой буфер между Англией и Россией. Конечно, Россия не может иметь никакой претензии на какое бы то ни было приобретение в Афганистане, а равно и на какое бы то ни было существенное влияние на афганистанское правительство, но Россия очень заинтересована в том, чтобы Афганистан оставался буфером. Между тем, по соглашению, Афганистан должен оставаться буфером между Англией и Россией, но этот буфер в политическом отношении должен находиться под влиянием и надзором лишь одной Англии в такой степени, что мы даже не можем иметь претензии на пребывание наших дипломатических агентов постоянно или временно в Афганистане.

Все, что мы желали бы предъявить афганистанскому правительству, мы должны это делать через Англию. В результате выходит так, что Афганистан остается буфером, но находящимся под полным влиянием Англии. Естественно рождается сомнение: такого рода буфер не окажется ли когда-нибудь начиненным динамитом, против нас направленным?

Что же касается Тибета, то по соглашению Англия и Россия обязались не вводить в Тибете своих миссий или вообще какую бы то ни было силу. Мне представляется, что в данном случае ограничение Англии по отношению к Тибету едва ли не излишне, так как мы какое бы то ни было влияние в Тибете при уравновешенном суждении иметь не можем. Для того, чтобы иметь какие-нибудь виды на Тибет, нужно обладать чересчур развитой воинствующей жестокостью.

Наконец, одновременно с конвенцией 31 августа мы дали обязательство Англии не претендовать на наше морское влияние на южные порты Персии. Против такого обязательства едва ли можно возражать. Из изложенного ясно, что конвенция с Англией повлекла за собой конвенцию и с Германией по отношению Персии и в результате Персия вышла из наших рук. Российская империя в будущем на Персию никаких видов, не только политических, но и экономических, иметь не может. Она может только там играть роль полицейского—и до поры до времени, покуда то или другое управление Персии не окрепнет и не водворит в стране надлежащий порядок.

Поэтому я и считаю конвенцию 31-го августа безусловно для нас невыгодной.

14 сентября последовало опубликование высочайше утвержденного «положения о созыве предстоящего чрезвычайного собора русской церкви и порядка производства дел в оном». В этом законодательном оповещении одновременно с утвержден-

ным положением говорилось о предстоящем чрезвычайном соборе, но прошло уже 5 лет, а собора этого не собиралось, и насколько можно судить, и ныне не предполагается к созыву.

Это тоже была одна из мер отвода глаз, так обильно практиковавшаяся во времена режима Столыпина, продолжающаяся и по его смерти. Между тем наше высшее церковное управление с каждым годом все расстраивается. Высшее управление это теряет всякий церковный авторитет, т.-е. теряет влияние на души православных сынов своих.

Ныне происходящие события: со старцем Распутиным, иеромонахом Иллиодором, архиепископом Гермогеном, какими-то кликушами, Митькой и другими показывают, в какую бездну пало высшее управление православной церкви. Несомненно, что это не может не отражаться на всей церковной жизни России и, следовательно, и на всем государственном строе России, на всей государственной мощи России, а между тем не подлежит никакому сомнению, что православная церковь и ее служители сыграли в создании России, в особенности ее культуры, совершенно выдающуюся и исключительную роль, и до настоящего времени в высших сферах и, в сущности говоря, во всем народе России православная церковь играет громаднейшую роль. С поколебанием православной церкви будет колебаться вся жизнь народа, и в этом заключается едва ли не самая опасная сторона будущей исторической жизни России.

28 сентября того же года скончался известный Грингмут. Грингмут происходит от иностранных евреев. Он приехал в Москву и был преподавателем латинского языка в Катковском лицее. Катков взял его под свое покровительство. Грингмут принял православие, затем был преподавателем в лицее, после этого со смертью Каткова инспектором и чуть ли не директором лицея и был одним из сотрудников «Московских Ведомостей», газеты, принадлежащей московскому университету и отданной правительством в аренду Каткову.

Грингмут представлял собой все свойства ренегата. Известно, что нет большего врага своей национальности, своей религии, как те сыны, которые затем меняют свою национальность и свою религию. Нет большего юдофоба, как еврей, принявший православие. Нет большего врага поляков, как поляк, принявший православие и особливо одновременно поступивший в русскую тайную полицию.

Я Грингмута, когда был министром, довольно часто видел. Он часто приезжал из Москвы и считал своим долгом ко мне являться. Он представлял собой человека, несомненно, умного,

довольно образованного, по манерам крайне уравновешенного, по наружности имел тип еврейский, еврея-блондина.

Когда в 1904 году начались смуты и революция, то первое время он не знал, куда ему пристать. Одно время он совсем отступил от политики, а когда после 17 октября народились союзы русского народа, которыми воспользовался затем Столыпин, взяв союзников в качестве полицейской силы и в качестве громил-хулиганов, то ренегат-еврей Грингмут объявился главою союза русского народа в Москве. Его особенно толкнуло на этот шаг то обстоятельство, что, когда в мое время шел вопрос о том, кому передать «Московские Ведомости», то я отнесся довольно скептически к решению министра внутренних дел передать их Грингмуту.

Но, тем не менее, после того, как он сделался редактором «Московских Ведомостей», он все-таки ко мне приехал, спрашивая моих указаний, а когда он пристал к союзу русского народа и начал писать резкие статьи против 17 октября и всех законов, из этого акта вытекающих, то я потребовал от министра внутренних дел—тогда был Дурново—принятия энергичных мер против «Московских Ведомостей», т.-е. потребовал, чтобы в отношении революционеров правых, во главе которых стоял Грингмут, применялись те же самые меры, которые применялись по отношению революционеров левых.

Когда я ушел от председательства в совете, то Грингмут этого никак забыть не мог и обрушился против меня и 17 октября с полною силой. Для того, чтобы быть истинным союзником, конечно, нужно быть врагом евреев, ибо какой же ныне консерватор не жидоед. По нынешним временам тот, кто не жидоед, не может получить аттестации истинного консерватора. Поэтому и он сделался жидоедом. Тем не менее, это не мешало ему несколько лет ранее находиться в особой дружбе с директором международного банка Ротштейном и пользоваться его подачками.

В течение всего времени, со вступления на пост председателя совета министров Столыпина, происходили отдельные анархические революционные убийства. Между прочим были убиты некоторые губернаторы, в том числе губернатор Александровский; были убиты различные второстепенные агенты правительства; был целый ряд покушений на высокопоставленных лиц, при чем между этими покушениями очень трудно было разобраться, какие из них имели характер покушения действительного, а какие имели характер провокационный.

Ибо со времени вступления на пост министра внутренних дел Столыпина, последовала полная дезорганизация полиции

и в особенную силу вошли Азеф и Ландейзен, принимавшие влиятельное участие в революционно-анархической партии, одновременно будучи агентами тайной полиции. Мне кто-то возразил, когда я сказал, что во времена Столыпина Азеф, Ландейзен и прочие социал-революционеры и одновременно агенты охранной полиции восприняли особую силу,—указывая на то, что ведь Азеф и Ландейзен существовали и ранее, и при Дурново, т.-е. в то время, когда я был председателем совета министров, а Дурново был министром внутренних дел.

На это замечание, с формальной стороны совершенно правильное, я ответил следующее: действительно, эти господа существовали и ранее Столыпина, при Дурново и при предшественниках Дурново, но вот какая разница между прежним режимом и режимом Столыпина: в каждом доме, в особенности в котором нет особых современных приспособлений для очистки нужных мест, имеются лица, которые занимаются этим делом, ибо без них в иных случаях обойтись нельзя. Они и играли эту роль при предшественниках Столыпина, а уже при Столыпине они занимались не очисткою нужных мест в том или ином случае, а сели на кресло рядом с главою министерства внутренних дел и секретной полиции Столыпиным, и произошло это от того, что Столыпин, вступая в министерство внутренних дел в такое трудное время, не имел решительно никакого понятия об организации русской секретной полиции и об ее функциях. Для него это было в полном смысле слова terra incognita.

Я, по своей предыдущей деятельности, в 1905 году все-таки был более знаком с организацией министерства внутренних дел и в частности с секретной полицией, нежели Столыпин,—но несмотря на все настояния, шедшие от общественных деятелей, с одной стороны, и в некоторой степени от его величества, с другой стороны, я все-таки, сделавшись председателем совета министров, не согласился принять портфель министерства внутренних дел именно потому, что я считал себя некомпетентным в ведении дел секретной полиции. А между тем в революционное время, в особенности в то время, когда я вступил председателем совета, не было времени учиться, нужно было вступить и сию же минуту начать действовать.

Это было главною причиною, почему я настаивал на назначении министром внутренних дел Дурново, который ранее, чем быть товарищем министра внутренних дел, был директором департамента полиции, а еще ранее долго служил в судебном ведомстве в прокуратуре и по характеру своему был склонен к занятиям, которые составляют специальность тайной и секретной полиции.

Я тогда же говорил: что если бы у нас было особое министерство полиции, то я бы, конечно, принял министерство внутрен-

них дел. Но так как эти две части со времени Александра II соединены — после того, как было уничтожено так называемое третье отделение,—то я, не считая возможным немедленно сделать разъединение полиции от министерства внутренних дел, так как это возбудило бы значительное опасение, что не предполагается ли возобновить печальной памяти третье отделение,— я не могу принять министерства внутренних дел.

Между тем, Столыпин, со свойственной ему отвагой, ничтоже сумняшеся, принял министерство внутренних дел и начал заниматься делами высшей полиции и, кроме того, в свои товарищи по управлению полицией взял прокурора саратовской судебной палаты, по знакомству с ним, так как он был сделан министром внутренних дел с поста саратовского губернатора.

Таким образом вся полиция в такое трудное время очутилась в руках лиц, совершенно незнакомых с тем делом, которым они должны были заниматься.

Вследствие этого лица, подобные Азефу и Ландейзену, и начали играть роль, так, например, Ландейзен был столь повышен, что во время путешествия императрицы Марии Феодоровны заграницу сопровождал ее и, как мне говорили, в поездах был приглашаем на высочайшие завтраки.

При таком положении вещей ничего нет удивительного, что и происходили революционно-анархические убийства: так в октябре месяце был убит начальник тюремного управления Максимович и вместо него был назначен Курлов.

Курлов, когда я был председателем совета, был минским губернатором, при чем на него была масса нареканий: одни его обвиняли, будто он трус, что он сидит себе дома запертым и боится выходить, другие в том, что он человек крайне произвольный, который не признает законов тогда, когда эти законы почему-либо для него неудобны, и таким образом водворяет в губернии не законное управление, а управление по усмотрению Курлова.

Вследствие этого Курлов, в мое министерство, должен был покинуть пост минского губернатора. Это произошло не по моей инициативе, но когда это совершилось, то я был доволен.

На меня в особенности подействовал, в смысле неблагоприятного мнения о Курлове, один весьма почтенный помещик в Минской губернии, поляк. Во время моего председательствования, вдруг распространился слух, что пресловутый председатель совета рабочих Носарь предполагает меня арестовать, а я в то время жил в запасной половине Зимнего дворца и жил так, как живу и в настоящее время, т.-е. без всякой охраны, не так, как потом устроился Столыпин, когда он, живя в Елагином дворце, обратил сей дворец чуть ли не в крепость, окруженную массою полицейских, точно так же, как и живя

в Зимнем дворце и потом на Фонтанке в доме министерства внутренних дел, где также был окружен массою всевозможных полицейских; и, конечно, если бы явились неожиданно рабочие, под предводительством Носаря, то они, пожалуй, и могли бы, если не арестовать, то произвести большой переполох и скандал.

Как-то раз утром я встал и посмотрел во двор, вижу, во дворе стоит взвод преображенцев; я удивился и спросил: что это такое? Тогда мне доложили, что был распущен слух, что Носарь хочет меня арестовать, и поэтому полицией была вызвана из соседнего помещения часть Преображенского полка, взвод с офицером в мой двор, двор дома, где я жил.

Я, конечно, просил меня от этой охраны избавить. Солдаты ушли, а офицера, командовавшего этой частью, я пригласил завтракать. Вот, отец этого офицера затем был у меня и мне рассказал целый ряд произвольных действий, которые допускал Курлов, будучи минским губернатором.

Когда я покинул пост председателя, то, может быть, именно потому, что Курлов был уволен в мое министерство, он сейчас же был назначен киевским губернатором. В Киеве он пробыл недолго и никакого следа во время своего управления не оставил; затем после убийства начальника тюремного ведомства Максимовича он был назначен министром Щегловитовым начальником главного тюремного управления.

Меня это не удивило, потому что по пословице—сапог сапогу пара, а по нравственному государственному облику, Щегловитов еще, пожалуй, похуже Курлова.

Курлов, как оказалось, приобрел особое благоволение союзов русского народа. Союзники и в настоящее время являются лицами благоприятными, а в то время они принимали чрезвычайно влиятельное участие в управлении государством, а потому и выдвинули Курлова сперва на пост начальника тюремного управления, а затем так его восхваляли, что он был назначен товарищем министра внутренних дел Столыпина по управлению полицией и сделался правой рукой Столыпина по управлению полицией. Выбор этот был сделан лично его величеством, по рекомендациям, которым государь придавал большое значение.

Для того, чтобы Курлова назначить на этот пост, пришлось расстаться с Макаровым, нынешним министром внутренних дел, который, хотя и ничем особым не отличался, но тем не менее уже привык более или менее к делам департамента полиции и представляет собою человека небольшого, в смысле способностей, таланта и знаний, но корректного, твердого и уравновешенного.

Чтобы освободить пост Курлову, его величество сделал государственного секретаря, барона Икскуль, членом Государ-

ственного Совета, а Макарова сделал государственным секретарем и вместо него назначил Курлова.

Как мне известно, назначение Макарова государственным секретарем было для него весьма неприятно, и, когда его величеству благоугодно было сказать Макарову, что он его назначает на пост, как повышение, Макаров высказался, что он очень благодарен, но предпочел бы остаться на прежнем посту; но из дальнейшего разговора он увидел, что его величество желает непременно, чтобы он освободил место, и, конечно, он уже никаких возражений против этого не делал.

Курлов таким образом был сделан товарищем министра по делам полиции. Мне также известно, что за некоторое время до назначения Курлова, когда об этом ходили слухи, то Столыпинская партия, облыжно себя наименовавшая партией 17-го октября, выражала как бы неудовольствие назначению Курлова, и Столыпин уверял, что он никогда на такое назначение Курлова не согласится, имея о Курлове самое дурное мнение. Но это, конечно, нисколько не мешало этому назначению состояться, ибо Столыпин, по принятой им линии поведения, имел в виду, главным образом, остаться на посту и пользоваться всеми благами, которые ему этот пост давал, а поэтому на словах делал препятствия, делал различные жесты, которые как бы означали, что он хочет покидать свой пост, в случае того или другого обстоятельства, но все это оставалось пустыми словами и воздушными жестами.

В конце концов, он, как маршал Мак-Магон, мог сказать: J'y suis et j'y reste, но только прибавив следующие слова: et je m'en fiche.

Курлов окончил курс в одном из военных училищ, кажется, в Николаевском кавалерийском училище, затем сделался офицером и прошел военно-юридическую академию и, кажется, служил в пограничной страже. Потом вышел в отставку и поступил в министерство юстиции и оттуда добрался до поста минского губернатора. Он человек, несомненно, не без способностей и, как я мог видеть впоследствии, человек лично храбрый и мужественный, а посему те сведения, которые я о нем имел, как о человеке трусливом, когда он был в Минске, не оправдались. Но он человек с весьма шаткими принципами и начиненный полной произвольностью, поэтому очень мало считался с законами и на каждом шагу произвольничал. Дел секретной полиции, конечно, он не знал и был любим всеми крайними монархическими партиями. С полной бесшабашностью тратил он секретные казенные деньги, которые выдаются в громадных цифрах на содержание секретной полиции под рубрикою—на расходы, известные его императорскому величеству, в самой широкой степени, между прочим и на свои нужды и удовольствия.

Нужно сказать, что в этом отношении ему подавал пример его прямой начальник Столыпин, который также казенные деньги тратил на жизнь и на такие предметы, которые никто из его предшественников на казенные средства не относил.

Курлов, сделавшись товарищем министра, приобрев власть и возможность тратить направо и налево казенные деньги, проявил свою неустойчивость в нравственных принципах, даже в семейной жизни. Не будучи товарищем министра внутренних дел, он был женат на очень почтенной женщине, кажется, старше его годами, из купеческого звания и сравнительно очень богатой. После того, как он прожил с нею десятки лет, сделавшись товарищем министра внутренних дел, ему понравилась молодая жена его адъютанта, а поэтому, долго не думая, он своей жене прописал отставку, после того как истратил все ее деньги, и женился на жене своего адъютанта. Пользуясь своею властью, а также милостивым расположением его величества, он легко сладил с двумя разводами: сам развелся со своей женой, развел жену своего адъютанта и сейчас же на ней женился. По вопросам о разводах лица царской фамилии пренебрегали правилами и обычаями, а сделать то же самое Курлову и бог простил.

Курлов, собственно не зная и не понимая сущности организации секретной полиции, ее окончательно расстроил, и все дело окончилось катастрофой 1-го сентября 1911 года в Киеве.

1-го ноября открылась новая Государственная Дума по новому выборному закону, изданному с полным нарушением конституции, данной 17 октября 1905 года, посредством государственного переворота.

Я уже говорил, что самый этот закон такого рода, что он давал в Государственной Думе место только преимущественно сильным и послушным, а так как, кроме того, при выборе этой Думы был пущен в ход как полицейский аппарат, так и подкуп на казенные средства, то Дума эта явилась особенно угодливой.

О том, что правительство употребляло на это средства денежные, между прочим, было открыто и при судилище генерала Рейнбота, о чем я буду иметь случай говорить далее. Рейнбот, как на суде, так, кроме того, и мне лично говорил, что когда он был московским градоначальником, то перед выборами третьей Думы особые заботы Столыпина заключались в том, чтобы были выбраны представители так облыжно наименованной партии 17-го октября.

Рейнботу были Столыпиным даны специально средства для того, чтобы непременно прошел в члены Думы Гучков, и Рейнбот должен был прибегнуть к подкупу.

Вероятно, в то же время, т.-е. 1-го ноября 1907 года, у Столыпина, очевидно, явилась мысль спихнуть почтеннейшего

финляндского генерал-губернатора Герарда, и он, вопреки желанию Герарда, назначил ему в помощники генерала Зейна.

Когда Герард в мое председательство в совете министров был назначен финляндским генерал-губернатором, то он тогда просил, чтобы дали соответствующие места в России трем военным лицам: Рейнботу, Драчевскому и Зейну. Он говорил, что эти лица, назначенные в Финляндию Бобриковым, проводили политику, совершенно несоответствующую тем началам, которых держится он и которые обязательны после манифеста 22 октября 1905 года по княжеству Финляндскому. Тогда, при моем содействии и министра внутренних дел Дурново, удалось устроить этих лиц: Рейнботу дали место казанского губернатора, где Рейнбот в то время, когда я был председателем, вел отлично дело, водворил спокойствие, не прибегая ни к каким исключительным положениям, всюду показываясь сам и везде ездивши по губернии.

Драчевскому было предоставлено место градоначальника в Ростове, и оттуда он был назначен градоначальником в Петербург. Этот человек не без способностей, недурной, но человек который сделает все, что ему прикажут.

Наконец, Зейну было дано место губернатора в Гродно. Из этих трех—это самый неспособный и бесцеремонный человек. На нем, очевидно, Столыпин и остановился, чтобы подставить ножку Герарду и занять его место. Это был человек, подходящий для Столыпина, ибо он не является генерал-губернатором, а является услужником Столыпина, да и всякого председателя совета.

Его достоинства заключаются в том, что он спокойно и без зазрения совести будет проводить все то, что ему прикажут.

21 ноября последовало покушение на жизнь московского генерал-губернатора Гершельмана. Я Гершельмана не знал. Как я слышал, он был довольно бравый генерал, но без всякой политической культуры; затем, так как он, хотя и во втором поколении, является еврейским ренегатом, то уже по общему правилу явился жидоедом и нравственным союзником союза русского народа.

2 декабря последовало назначение генерала Толмачева одесским градоначальником. В мое министерство одесским градоначальником был назначен генерал Григорьев. Генерала Григорьева я знал очень давно; когда я был еще начальником движения одесской железной дороги, то он был в числе военных, которые были командированы для изучения железно-

дорожной службы, затем он служил помощником заведующего передвижением войск на одесских и затем на юго-западных дорогах, далее состоял при командующем войсками; и в особенности его ценил и он был очень близок к командующему войсками в одесском округе графу Мусин-Пушкину, очень почтенному человеку, большому царедворцу, с которым я находился в отличных отношениях.

Когда вследствие ревизии сенатора Кузьминского, ревизии, которая выказала деятельность тамошнего градоначальника Нейдгардта в весьма непривлекательном виде, он должен был покинуть пост одесского градоначальника, куда он был назначен по протекции с поста калужского вице-губернатора, потому что когда-то он был командиром роты Преображенского полка и того баталиона, которым командовал наследник цесаревич, нынешний император Николай II, то я считал полезным, в виду крайне смутного брожения в Одессе, назначить туда градоначальником человека военного и потому запросил командующего войсками: как он находит, соответствующий ли был бы градоначальник состоящий при нем генерал Григорьев. Командующий войсками, который был в то время и временным генерал-губернатором, барон Каульбарс ответил, что это назначение он бы почел прекрасным.

Вследствие этого Григорьев и был назначен градоначальником. Григорьев домовладелец города Одессы и человек, имеющий большое состояние по жене. Он женат был на дочери богатого одесского купца. Григорьев, по моему мнению, управлялся в Одессе отлично. Но с моим уходом и когда председателем совета явился Столыпин и его обсела вся семья его жены Нейдгардтов, то один из братьев его жены, бывший градоначальник в Одессе, чувствовал обиду в том, что вот он, проявив крайнюю мизерность своего духа и потому не будучи в состоянии остаться в Одессе градоначальником, был замещен Григорьевым, который отлично справился со своей задачей; а потому, конечно, начал критиковать Григорьева мужу своей сестры, хотя Григорьев так вел дело, что к нему придраться не могли, тем не менее, постоянное недовольство и трение из Петербурга вынудили его подать в отставку.

Тогда, вместо него был назначен генерал Новицкий, бывший начальник жандармского управления в Киеве, человек способный, весьма энергичный, весьма порядочный и хороший человек, хотя с различными слабостями, но он в Одессе пробыть долго не мог, так как он был назначен в преклонных летах и будучи болен сердечною болезнью.

В то время положение градоначальника, точно так, как и в настоящее время, в Одессе не есть синекура, ибо Одесса представляет собой такое место, где бывшая смута оставила наиболь-

шие следы, а вследствие управления Столыпина смута еще, хотя и в скрытом состоянии, ныне значительно возросла.

У генерала Новицкого во время занятий произошел разрыв сердца. Тогда вдруг явился на свет божий генерал Толмачев, человек, заслуживающий упоминания во всех отношениях. Он служил ранее на Кавказе в военной службе и ушел с Кавказа, если не по желанию, то во всяком случае при полном удовольствии наместника, графа Воронцова-Дашкова. По крайней мере я слышал лично от графа Воронцова, что генерал Толмачев невозможный человек. Как мне говорили, на пост одесского градоначальника он был рекомендован всесильным в то время председателем союза русского народа, разбойником Дубровиным. Повидимому, Толмачев с Кавказа приехал в Петербург и добился расположения этого негодяя.

Приехавши в Одессу, он являлся первое время, на словах, человеком беспартийным и благонамеренным. Но в непродолжительном времени его фигура выказалась во всей своей непривлекательной неприкосновенности. Он не только не исполнял, игнорировал законы, но прямо наплевал на все законы, ввел абсолютный произвол, вмешивался во все дела, не только государственные, общественные, но и частные. С особенной силой он преследовал евреев, а так как значительное количество населения в Одессе составляют евреи, ибо Одесса есть город, в котором дозволено евреям жить, то Толмачев во всем видел евреев и жидов, а потому и всех преследовал. Его вмешательство входило во все отрасли жизни города, так, например, он запретил в больницах употреблять докторам какие бы то ни было наркотики, кроме хлороформа. Он распоряжался и в учебных заведениях и в университете. Постепенно, посредством лжи, клеветы и доносов, разогнал во всех учебных заведениях города всех самостоятельных и порядочных людей и поставил всюду своих ставленников,—людей, большею частью, или совсем ничтожных, или таких, которые с легкостью продают свою совесть и честь.

Посредством давления он разогнал всех более или менее порядочных деятелей городского управления и насажал туда союзников и черносотенцев, или людей с продажною честью. Одновременно он дебоширничал в ресторанах и в различных заведениях с продажными девицами.

Конечно, с самого начала он бросился в объятия черносотенных партий и главы их, графа Коновницына. Но, по мере развития затхлой, черносотенной атмосферы в городе Одессе, когда всякая нормальная честная жизнь была парализована, между черносотенцами, как это имеет место в других городах, начался раздор, так как они не всегда могут поделить добычу своей обскурантной деятельности. Так, Коновницын пошел на ножи с Толмачевым и должен был бросить Одессу и пересе-

литься в Петербург и таким образом избавил Одессу от заразы, которую он вносил в город.

Затем явились различные черносотенные газеты, которые друг с другом грызлись и грызутся. Толмачев не мог ужиться никак с генералом Каульбарсом, командующим войсками, хотя генерал Каульбарс, уж он ли не был черносотенцем: он был даже, можно сказать, главою черносотенцев. Все эти пререкания, как и в других местах, так и в Одессе, происходили от одной причины: от того, что они не могут поделиться добычей, подобно тому, как гиены начинают грызться над падалью, после того, как они заморят то или другое животное,—так и человек, который сойдет с пути чести, правды и нравственности, постепенно погрязает в нечистотах, так и политические партии, политические деятели, которые отбрасывают в сторону законность, справедливость и честность во всех отношениях, постепенно погрязают в разврате, подобно продажным бульварным дамам.

В такое состояние обратился Толмачев со всеми своими приспешниками. Первое время Толмачев пользовался особым расположением Столыпина. Я сам слыхал от Столыпина о нем самые благоприятные отзывы, но по мере того, как Толмачев все забирал силу и получал похвальбу свыше, он все более и более зазнавался.

Одно время он был настолько в силе, что способствовал увольнению командущего войсками генерала Каульбарса, одного из столпов одесских союзников, к которому ранее государь был очень расположен. Это показывает силу его. Вероятно, когда вступил в такую силу, то он начал несколько игнорировать и самого Столыпина, а уж Столыпин этого терпеть не мог, поэтому он начал его сдвигать. Сам Столыпин, конечно, ничего бы не сделал, ибо Толмачев, будучи градоначальником в течение около 4-х лет, уже приобрел устой в высших сферах, но Столыпину благоприятствовали другого рода обстоятельства, которые дали ему возможность постепенно подкосить силу непослушного ему генерала Толмачева.

Столыпин вооружился на Толмачева не за все безобразия, которые он сделал, а за то, что он не продолжал быть ему безусловно верным и послушным. Через несколько месяцев после убиения Столыпина, Толмачев был сменен уже при министерстве Коковцова, несколько месяцев тому назад, и этому содействовал, и, можно сказать, Одесса этим обязана,—флаг-капитану Нилову.

Оказывается, что граф Коновницын большой приятель Нилова, так как они в молодости еще служили вместе во флоте и, вероятно, имеют некоторые одинаковые наклонности, по крайней мере в числе этих наклонностей мне известно, что оба далеко не враждебно относятся к поклонникам Бахуса. Этим обстоя-

тельством и объясняется, почему года два тому назад, когда произошла первая баталия между Толмачевым и Коновницыным, граф Коновницын поехал в Ялту, и во всех газетах было напечатано, что граф Коновницын был приглашен его величеством на интимный завтрак. Это сообщение газет многих чрезвычайно поразило, ибо многие обыкновенные смертные постесняются пригласить к себе завтракать и сидеть за одним столом с таким субъектом, как граф Коновницын. Все, конечно, поняли, что, значит, его величество подвели: он не знал и, вероятно, до сих пор не знает, что такое, собственно говоря, граф Коновницын. А затем уже начали относиться в высших сферах к генералу Толмачеву более хладнокровно, и, в конце концов, он лишился места градоначальника и ныне находится в отставке и на пенсии.

Город Одесса, можно сказать, единодушно благодарит бога и судьбу, что он даровал этому городу, значительно пострадавшему в Толмачевское время, счастье избавиться от такого градоначальника. Конечно, как только Толмачев оставил свой пост, начали всплывать всякие его проделки: целый ряд денежных злоупотреблений и несколько убийств.

Оказывается, что генерал Толмачев, между прочим, практиковал такую систему в отношении некоторых революционеров, настоящих или мнимых, которых Толмачев заподозревал в том, что они имеют намерение покуситься на его жизнь. Он их арестовывал, затем, при переводе из одного арестного места в другое, устраивал так, чтобы дать повод арестованному бежать, и как только он бежал,—а для этого иногда сама полиция его уговаривала,—стража в него стреляла и укладывала на месте.

Когда был уволен генерал Каульбарс с поста командующего одесским военным округом, я, признаться, сказал, что ему это поделом. Каульбарс, будучи временным генерал-губернатором, утвердил приговор о расстрелянии двух молодых евреев, одного 19-ти лет, а другого 17-ти. Мать этих евреев пришла к моей сестре, живущей в Одессе, прося помощи, при чем все время плакала, что убиты два ее сына, которые ровно ни в чем не виноваты и даже не были в том месте, где было совершено какое-то действие, за которое они были расстреляны. Моя сестра не могла поверить этому рассказу старой еврейки. Она отправилась к Каульбарсу и спросила его: правильно это или нет? На что Каульбарс ответил: «Да, Софья Юльевна, это совершенно правильно, но успокойтесь, я уже нашел действительно виновных, и они уже расстреляны». А когда моя сестра заметила: «Барон, как вы можете относиться к жизни человеческой так, как вы отнеслись»,—то на это Каульбарс сказал моей сестре: «А вы знаете, ведь в этом виноват ваш брат».—Почему мой брат?

«А потому, что, когда он был председателем совета, то тогда я ему предложил, чтобы совсем были уничтожены военные суды и чтобы было предоставлено право казнить прямо генерал-губернатору, тогда бы я сам все дело разобрал и, наверное, не казнил бы этих двух евреев, так как сразу нашел бы, что они не виноваты, а так как дело разбиралось военным судом, то военный суд меня подвел, и я утвердил его приговор».

После назначения Толмачева одесским градоначальником, он разгромил всю бывшую городскую думу, и в новый состав думы вошли преимущественно черносотенцы и лица по его назначению. В то время Толмачев управлял Одессой так, как в нынешние времена не управляют в своих царствах азиатские неограниченные властители.

Когда я был в 1908 году в Одессе, то как раз в это время приезжал в Одессу производить расследование генерал-адъютант Пантелеев по делу столкновения между офицерами и городовыми, в результате коего офицер был на улице убит городовым. Эпизод этот произошел таким образом: городовой по какому-то поводу резко и дерзко поступил с проходящей девицей, за нее заступился офицер, офицер этот чуть ли не толкнул городового; тогда другой городовой офицера этого убил, при чем объяснил на следствии, что он убил потому, что по полиции градоначальником был отдан приказ, что если городового не слушаются, а в особенности сопротивляются силой, то городовые имеют право в таких лиц стрелять.

Вследствие происшедшего конфликта между городовым и офицером, военные в Одессе крайне возмутились, явились крайне натянутые отношения между командующим войсками генералом Каульбарсом и Толмачевым, и вот Пантелеев был прислан туда для того, чтобы это дело разобрать и умиротворить гражданскую власть с военными.

Я слышал от генерал-адъютанта Пантелеева, что, когда он вернулся в Петербург, то он предъявил Столыпину, что было бы желательно вывести Одессу из военного положения, в котором она находится. Так как Одесса тогда находилась на военном положении, Столыпин ему ответил, что он ничего бы против этого не имел и даже этого желал бы, чтобы перевести Одессу из военного положения на чрезвычайное.

Мы находимся в таком режиме, что у нас существуют три положения: военное, чрезвычайное и исключительное. Все эти три положения дают громаднейший произвол власти, и затем различные местности России объявляются: одни на военном положении, другие на чрезвычайном, а третьи на исключительном.

Столыпин выдумал еще четвертый вид особого положения. Это,—когда местность находится в нормальном состоянии и никакое положение неприменимо в полном объеме, а только начальнику города или губернии дается право издавать обязательные постановления. Пожалуй, последний вид особого положения самый худший, именно потому, что он не регулируется никаким законом, а потому под видом смягчения состояния, в котором находятся жители в данной местности, вводится полнейший произвол администратора. Такой вид положения совершенно соответствует характеру Столыпина: с одной стороны, показывается либеральность, а с другой стороны, под видом этой либеральности допускается подличать.

Генерал Пантелеев докладывал результат своего расследования его величеству и высказал, что было бы полезно перевести Одессу из военного положения в низший разряд—исключительного, но что Столыпин, хотя этому сочувствует, стеснялся об этом представить государю, в виду особого расположения государя к Толмачеву. На это его величеству было угодно сказать: я не понимаю, почему Столыпин думает, что я бы постеснялся перевести Одессу из военного положения в другой вид исключительного положения. Толмачев такой градоначальник, что ему никакого исключительного положения не нужно, он и без всяких исключительных положений всегда сделает то, что сделать подобает, не стесняясь существующими законами.

Толмачеву, конечно, многие государственные деятели были крайне не по нутру, и хотя, когда я приезжал в Одессу, он передо мною расстилался, но я знал, что он относится ко мне крайне враждебно. Так я имел случай видеть его донесение министру внутренних дел,—а министр внутренних дел сообщил это государю,—где он заявлял, что было бы весьма неудобно, если бы великий князь Александр Михайлович взял на себя звание почетного председателя выставки, которая делалась в Одессе, ибо в комитете этой выставки есть люди неблагонадежные, доказательством чего служит то, что они, между прочим, выбрали меня, известного кадета, в почетные члены выставки.

Я в Одессе воспитывался в университете, затем играл в Одессе довольно видную общественную роль, а поэтому та улица, на которой я жил, будучи студентом, около университета, которая называлась в мое время Дворянской, была переименована, по постановлению городской думы, в улицу Витте. Эта улица проходит как раз около одного из фасадов университета, а около других двух фасадов проходят улицы более значительные: Херсонская и Софийская.

Вот, Толмачев научил городскую думу, чтобы она переименовала улицу моего имени, которая носила это имя уже десятки лет, в какое-нибудь другое название. Так как переименование улицы с одного названия на другое название может делаться только с разрешения министра внутренних дел, а они боялись, что такого разрешения не получат, так как вообще переименование улиц, особенно носящих имя еще живых лиц, никогда не допускалось, то они придумали следующую комбинацию: дума постановила переименовать улицу моего имени в улицу императора Петра I.

Когда до меня дошло сведение об этом постановлении думы, то я в 1908 году, ранее выезда моего за границу, виделся со Столыпиным. Столыпин мне передал, что до него такое решение еще не доходило, что он сомневается в том, что такое решение могло состояться, но если бы оно состоялось, то он уверен, что оно не получит осуществления, так как он этого не допустит.

Одновременно зная, что Столыпин действует всегда под влиянием двух своих сотрудников—товарища министра Крыжановского и начальника главного управления по делам местного хозяйства Гербеля, я говорил по этому предмету и с ними, и они мне сказали, что постановление думы невозможно и во всяком случае не получит утверждения.

В 1908 году, вернувшись из-за границы, я был в Одессе и, хотя в газетах и было о том, что городская дума постановила такое вышеуказанное переименование, но, проходя раз по этой улице, я нашел, что везде на улице находятся вывески—улица Витте.

Когда же я приехал в Петербург в начале 1910 года, как-то раз ко мне приходит неожиданно князь Алексей Оболенский и говорит, что он имеет мне передать неприятную вещь, которую он узнал от товарища министра Крыжановского, и затем мне рассказал, что, так как постановление одесской городской думы касалось переименования улицы моего имени на улицу имени Петра Великого, т.-е. касалось царской особы, то постановление этой думы представлено его величеству в конце 1909 года, когда государь император был в Ялте, и что его императорское величество соизволил согласиться на постановление одесской городской думы.

Одесская городская дума решила переименовать улицу моего имени в улицу Петра Великого, несмотря на то, что перпендикулярно проходят две гораздо более значительные улицы—Херсонская и Софийская, по двум причинам: с одной стороны, чтобы дело дошло до государя, а с другой стороны, для того, чтобы раз это наименование совершится, то, чтобы новая городская дума не пожелала изменить постановление и снова переименовать улицу в улицу моего имени, Витте, так как все жители

города Одессы привыкли ее так называть, и боясь, что такая дума, а она явится, как только уничтожится в Одессе черносотенное влияние, не вернулась бы опять к моему имени, и решила переименовать улицу во имя такого великого императора, как Петр, чтобы затем дальнейшее переименование опять в мое имя было невозможно.

Для того, чтобы узнать, как же отнесся к этому делу Столыпин, я поинтересовался узнать, как было представлено во всеподданнейшем докладе государю императору постановление одесской городской думы, т.-е., что Столыпин доложил государю о том, что это постановление является актом совершенно необычайным, никогда прежде не имевшим места, и высказал ли он свое мнение по существу, чтобы такое постановление думы оставить без последствий.

Оказалось, что Столыпин, несмотря на переданное мне свое мнение о том, что постановление такое пройти не может, никакого заключения во всеподданнейшем докладе не представил, а прямо представил постановление городской думы на благовоззрение его величества, а его величество почел соответственным утвердить такое постановление.

По этому предмету мне тогда же из министерства внутренних дел была доставлена следующая справка: когда император Александр III пожелал, чтобы московский генерал-губернатор князь Долгоруков оставил свой пост вследствие того, что князь Долгоруков оказывал особую протекцию евреям—главнейшим образом всемогущему в то время банкиру из евреев, находившемуся в Москве, Полякову, который держал в своих руках не только свою банкирскую контору, но также московский международный банк и московский земельный банк, а потому имел весьма сильное влияние на экономическую жизнь города Москвы и Московской губернии,—и на место Долгорукова назначил генерал-губернатором великого князя Сергея Александровича, то московская городская дума, дабы услужиться, тоже сделала постановление о переименовании Долгоруковского переулка, который проходит около дома московского генерал-губернатора, в переулок великого князя Сергея Александровича. Так как постановление Думы касалось великого князя, то оно было представлено на благоусмотрение его величества императора Александра III, и император Александр III, соответственно своему прямому и благородному характеру, постановление это вернул министру внутренних дел с надписью: «какая подлость».

11 декабря последовало увольнение московского градоначальника Рейнбота. Рейнбот был назначен московским градо-

начальником, как я уже говорил, при Дубасове. Так как он был человек энергичный, то он, как градоначальник, вел себя весьма хорошо, хотя и допускал некоторые произволы, но сравнительно с другими градоначальниками и губернаторами он все-таки, как умный человек, если и произвольничал, то произвольничал в умеренных дозах. Я нисколько такого действия не оправдываю, но только хочу сказать, что, как московский градоначальник, все-таки он имел более хороших сторон, нежели дурных.

Он очень понравился государю императору. Государь император взял его в свою свиту; затем государь император дал ему разрешение, что когда он приезжает в Петербург, то он может прямо к нему являться, не испрашивая разрешения его величества. Вследствие этого Рейнбот стал часто ездить в Петербург, бывать у его величества и, вероятно, его величеству многие вещи передавал, которые затем узнавал Столыпин, и Столыпину это не нравилось.

Вероятно, Столыпин увидел в Рейнботе своего будущего соперника, и это было не без основания, потому что Рейнбот очень решительный человек, но имеет тормоза, так как он человек умный и довольно культурный, он был в 2-х военных академиях, тогда как у Столыпина именно этих тормозов не было вследствие его крайней ограниченности и, кроме того, влияния многочисленнейших родичей, часто весьма сомнительной нравственности. Поэтому Столыпин сочинил сенаторскую ревизию над Рейнботом.

Производить ревизию был назначен известный Гарин. Гарин—это не что иное как простой чиновник, сделанный сенатором, оставшийся с воззрениями подобострастия к уму и желаниям всякого начальства. Поэтому он повел сенаторскую ревизию довольно пристрастно. Многие вещи, которые были поставлены в вину Рейнботу, были в значительной степени преувеличены. Как и всегда, нет дыма без огня; опять-таки вследствие этого открылись некоторые неправильности: но если бы и другие правители России допускали эти неправильности, то еще можно было бы жить.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что, если бы назначить сенаторскую ревизию канцелярии министра президента—министра внутренних дел Столыпина, в департаменте полиции и в других учреждениях, находившихся в ведении Столыпина, то там будет найдено гораздо больше неправильности, злоупотреблений и нарушений законов, чем те, какие были найдены у Рейнбота.

Таким образом, к Рейнботу Столыпин привязался не столько вследствие того, что у Рейнбота были некоторые неправильности и некорректности, сколько, главным образом, потому, что Рейнбот представляется личностью, которая pouvait faire face Столыпину, а поэтому он решил его скушать.

Гарин пользуется некоторым расположением государя, потому что он был директором департамента полиции во время Трепова и потом составлял вместе с Треповым резолюции на мои всеподданнейшие доклады и журналы совета министров; это обстоятельство, вероятно, повлияло на то, что государь придал большее значение ревизии Гарина, нежели это имело место при других обстоятельствах. В конце концов, Рейнбот должен был подать в отставку и отчислиться от свиты. Недавно его судили. Суд, как то обыкновенно делалось при режиме Столыпина и Щегловитова, был в значительной степени подленький, и Рейнбота присудили к очень тяжелому наказанию; но одновременно суд просил уменьшить это наказание, и когда дело дошло до государя, то его величество повелел совершенно помиловать Рейнбота, т.-е. повелел наказание суда не приводить в исполнение.

Я уверен, что большинство лиц, знакомых с этим делом, были довольны такою милостью государя, тем более, что помилованием государя, последние годы не без участия Столыпина, воспользовались явные убийцы и подстрекатели к убийствам,—хотя бы сам Дубровин, который даже за подстрекательство на убийство не был привлекаем к суду, и его все сотрудники были милуемы.

С открытием третьей Государственной Думы, созданной Столыпиным и составленной из лиц, ему угодных, конечно, между ним и Государственной Думой, т.-е. ее большинством, руководимым Гучковым,—а тогда большинство было, так называемой, партией 17 октября,—установились наилучшие отношения.

Поэтому 11 декабря в первый раз у председателя совета министров, главы правительства был раут, в котором участвовали 200 членов Государственной Думы.

В начале 1908 года последовало увольнение Кауфмана с должности министра народного просвещения и назначение вместо него Шварца.

Увольнение Кауфмана произошло по следующим обстоятельствам: Столыпин, опершись на третью Государственную Думу, как я уже говорил, начал все более и более реакционироваться. При таком положении вещей Кауфман сделался ему уже не подходящим.

Конечно, как в области министерства народного просвещения, так и во всем прочем, реакционирование Столыпина происходило под влиянием сфер, стоявших выше его; Столыпин имел только характер и мужество жертвовать своею и чужою жизнью, но не имел характера и мужества противопоставить свои убеждения течениям, исходящим из сфер, выше его стоящих.

Как я говорил, Кауфман, по всему своему прошлому, был человек, совсем не подходящий к должности министра народного просвещения, а потому, естественно, он совершенно попал в руки Герасимова.

Герасимов был назначен товарищем министра народного просвещения по моему указанию и инициативе, в то время, когда я был председателем совета министров, а министром народного просвещения был назначен высоко-почтенный человек граф Иван Иванович Толстой.

Герасимов был назначен в товарищи министра народного просвещения, с одной стороны, потому, что он всю службу провел по министерству народного просвещения, а с другой стороны, вследствие данной Герасимову особой рекомендации в смысле разумности и консервативности его взглядов. Рекомендация эта исходила как от московского предводителя дворянства князя Трубецкого, так и от архи-консерватора и реакционера, но человека «с зайчиком в голове»—бывшего предводителя московского дворянства—в молодости адъютанта императора Александра III, ныне первого чина двора, человека, особо близкого к императрице Марии Феодоровне—графа Сергея Дмитриевича Шереметева.

Действительно, насколько я мог познать Герасимова, когда я был председателем совета министров, он представлял собою человека знающего, определенных и твердых убеждений, убеждений разумно-консервативных.

Так как не без основания считали, что, в сущности говоря, Кауфман был руководим во всех своих действиях Герасимовым, то естественно, прежде всего, пожелали увольнения Герасимова. Столыпин поставил это увольнение условием Кауфману; но Кауфман на это не пошел, прося и его уволить вместе с Герасимовым. Столыпин уговаривал Кауфмана остаться министром народного просвещения, но Кауфман оказался человеком настолько порядочным, что на такую комбинацию не согласился, а поэтому они оба вместе были уволены, при чем пилюля, поднесенная таким образом Столыпиным Кауфману, была несколько позолочена тем, что одновременно Кауфмана сделали первым чином двора. Герасимов же был уволен в полную отставку.

Так как с созывом третьей Государственной Думы последовало как будто бы какое-то затишье или, вернее говоря, смута была загнана (как и до настоящего времени она загоняется) в подполье, то, благодаря этой видимости спокойствия, начались визиты иностранных царствующих особ государю императору.

27-го марта приезжал в Петербург черногорский князь Николай, вероятно, для того, чтобы выпросить какой-либо куш денег.

Затем 13-го апреля приезжал румынский наследник, и одновременно прибыл в Царское Село новый шведский король

Густав Адольф, вступивший на престол после смерти своего отца Оскара.

По случаю прибытия шведского короля было несколько празднеств и, между прочим, официальный торжественный обед. На этот обед был приглашен и я, а так как по старшинству моей службы я являюсь одним из старших, то я имел удовольствие обедать за главным столом, за которым сидели: император, императрица, царская фамилия, шведский король, наследный румынский принц и высшие чины государства.

После этого обеда, по обыкновению, в соседней зале был cercle и представление присутствующих шведскому королю.

Я, видимо, обратил на себя внимание свиты шведского короля, так как все они пожелали мне представиться и мною интересовались, что довольно естественно после Портсмута и 17 октября.

Во время cercle его величество многих представил королю, но я не удостоился представления. Это было сделано в такой форме, которая не могла быть не замечена присутствовавшими.

27-го мая последовала встреча их величеств с великобританскими королем и королевой в Ревеле. Это был первый визит царствующего монарха Англии в Россию; визит этот являлся как бы естественным продолжением заключенного с Англией соглашения относительно Персии, Афганистана и Тибета, т.-е. продолжение шага дружественного и формального сближения Англии с Россией. В этом смысле визит этот имел историческое значение.

В июне месяце того же года последовало анархическое убийство члена Государственного Совета графа Алексея Павловича Игнатьева, о котором я имел случай говорить ранее.

Граф Игнатьев приехал в Тверь на земское собрание и во время этого собрания был убит одним из анархистов-революционеров, по приговору этой партии.

Я имел случай говорить о графе Игнатьеве и обрисовать его личность. Это был недурной человек, но большой великосветский карьерист. С 1905 года он сделался столпом реакционерства; ему мы обязаны многими реакционными мерами, в том числе и тем, что до настоящего времени не имеем нормального закона об исключительных положениях, а равно и закона о свободе вероисповедания.

Из списка тех лиц, которые подверглись с 1905 года убийству анархическо-революционной партии, ясно видна полная осмысленность этих убийств, в том отношении, что они устра-

няли тех лиц, которые, действительно, являлись вреднейшими реакционерами, хотя, разумеется, убийства эти представляются возмутительными, ибо убийства политические не могут оправдываться ни совестливою нравственностью, ни даже целесоответственностью.

Я был очень возмущен этим убийством и телеграфировал графине Игнатьевой, которую я знал, так как встречал ее у моего друга, бывшего министра внутренних дел Сипягина, но ответа из Твери не получил.

Затем, когда привезли тело графа Игнатьева в Петербург, то графиня Игнатьева, которая была родственницей Сипягина,— имела основание думать, что я приду на отпевание графа; но я был предупрежден запискою г-жи Дубасовой (сестры покойного Сипягина), чтобы я на отпевание не приходил, так как мое присутствие может произвести дурное впечатление на графиню Игнатьеву.

Убийство графа Игнатьева, естественно, подействовало на нее удручающим образом, и так как эта особа представляет собою существо весьма неуравновешенное и ограниченное, то она с тех пор начала заниматься политикою на почве церковности; у нее с тех пор по настоящее время происходят какие-то политические церковные собрания, в которых участвуют и некоторые правительственные лица. Салон графини Игнатьевой впутывается во все истории с Иллиодором, Гермогеном, Распутиным, во все события, знаменующие собою нынешнее разложение в высших этажах православной церкви.

12-го июля его величество ездил в Ревель, где произошло свидание с президентом французской республики—Фальером. По возвращении из Ревеля его величество отправился в шхеры, откуда вернулся лишь 7-го октября.

16-го сентября последовало высочайшее утверждение положения совета министров «о процентных нормах для приема лиц иудейского вероисповедания в учебные заведения». В сущности говоря, мера эта законодательного характера, а поэтому она должна была бы проходить через Государственную Думу и Государственный Совет; но она прошла в порядке верховного управления потому, что уже в то время Столыпин понимал, что Дума в значительной степени перестала быть законодательным учреждением, а обратилась в своего рода государственное учреждение, подчиненное министру внутренних дел.

Этот акт был одним из первых существенных актов, которым правительство Столыпина объявило войну русскому еврейству. До этого времени правительство на это не решалось, боясь, как к этому отнесется народное представительство.

Когда я был председателем совета министров, то вопрос о процентном отношении евреев в школах был возбужден графом Иваном Ивановичем Толстым, но возбужден в совершенно обратном смысле, т.-е. в смысле уничтожения тех стеснений относительно образования евреев, которые были в то время. Новым же положением совета министров сделан был шаг в совершенно обратном направлении, в направлении значительного стеснения еврейства в получении образования в русских средних и высших учебных заведениях.

Характерно то, что годом раньше, когда еще не было третьей Государственной Думы, совет министров обсуждал вопрос вообще о различных стеснениях и ограничениях, которым подвергаются евреи в России, и тот же самый совет под председательством Столыпина высказался в смысле необходимости пойти по пути постепенного уничтожения существовавших ограничений; это было установлено положением совета министров. Журнал этого совета находится у меня в архиве.

Его величество не соизволил утвердить этот журнал, а менее чем через год тот же Столыпин со своим правительством пошел по совершенно обратному направлению, и постепенно в России водворилось довольно политически нецелесообразное и несоответствующее гуманно-христианской точке зрения гонение на евреев.

Я должен сказать, что относительно еврейского вопроса держусь определенного мнения.

Мое убеждение заключается в том, что политика всяких ограничений евреев не может привести ни к какому результату, так как эту политику à la longue выдержать совершенно невозможно. Этому служит примером история еврейства во всех западных государствах.

Можно относиться к евреям так или иначе: ненавидеть или относиться к ним индиферентно—это дело личного чувства, но чувство это не может преодолеть естественного течения вещей, по которому евреи, в силу того факта, что, все-таки, они—люди, постепенно приобретают все права верноподданных граждан.

Я только нахожу, что этот принцип уничтожения ограничений прав евреев должен вводиться постепенно и возможно более медленно.

Такого взгляда держалось правительство императора Николая I, такого взгляда держался и император Александр II; император Александр III несколько отступил от этого направления и пошел по пути ограничения еврейства. Но, как все, что делал император Александр III, он делал это умеренно, благоразумно, хотя и твердо.

Со вступлением на престол императора Николая II последовало другое направление. Началось медленное и постепенное уничтожение сделанных ограничений, но, когда Столыпин вступил в силу,—после того, как он почуял, что наступило время, когда желают отомстить евреям за недобросовестное поведение многих из их числа,—пошел по этому неразумному пути и начал принимать ряд ограничительных мер против евреев.

Первого октября скончался в Париже великий князь Алексей Александрович. Это был прекраснейший человек, весьма добрый, никому не делавший зла, очень приятный в своих сношениях, имеющий то качество, которым должен обладать великий князь, а именно благородство. Внешность Алексея Александровича также соответствовала его рангу. По существу и в политическом отношении—это был человек совершенно слабый.

Во всяком случае, смерть великого князя огорчила не только всех его друзей, но и всех лиц, близко его знавших.

В отношении лично меня, а в особенности моей жены, великий князь был в высокой степени внимателен и любезен, даже после того, как я ушел с поста председателя совета министров, когда сделалось модным набрасываться на меня со всех сторон.

Когда явилась Государственная Дума, то прежде всего выяснилось, что не может существовать безответственное перед законодательными собраниями учреждение, в виде комитета обороны, комитета, который концентрируется в особе великого князя Николая Николаевича, человека более нежели неуравновешенного; а с другой стороны, не может существовать независимый от военного министра генеральный штаб (генерал Палицын), который, в сущности говоря, находился под полным влиянием всесильного в военных и морских делах великого князя.

Сейчас же после открытия третьей Государственной Думы, при обсуждении бюджета, были произнесены Гучковым и Савичем весьма резкие речи, направленные против комитета обороны и генерального штаба, как учреждений, которые вследствие своей неответственности являются принципиально вредными. Поэтому независимость начальника генерального штаба была поколеблена. Начальнику генерального штаба было предложено устроиться так, чтобы подчиниться военному министру. Палицин на это пойти не мог, а поэтому он оставил свой пост и был назначен членом Государственного Совета и затем в утешение был послан в Китай чрезвычайным посланником, по случаю вступления на престол малютки-императора.

На место Палицына был назначен начальник киевского военного округа и киевский генерал-губернатор Сухомлинов.

В марте 1909 года последовало увольнение военного министра Редигера и назначение вместо него начальника генерального штаба Сухомлинова.

То, что Редигер будет уволен, я предвидел ранее, а именно тогда, когда последовало увольнение начальника генерального штаба Палицына и уничтожение этого поста, как самостоятельного, и подчинение его военному министру. Для меня было ясно, что такой шаг не будет прощен великим князем Николаем Николаевичем и что он со своей стороны отомстит Редигеру при первом удобном случае.

Я уже ранее говорил, что в то время Государственная Дума весьма демонстративно занималась военными делами. Господа Гучков, Саввич и др. бутафорные военные произносили в Думе весьма критические речи по поводу военного и морского министерств.

В 1909 году при рассматривании военного бюджета на этот год Гучков произнес речь, в которой, между прочим, высказывался о том, что наши командующие войсками военных округов не находятся на высоте своего положения.

Редигер, давая объяснения в Государственной Думе по поводу военного бюджета, между прочим, заметил, что действительно между командующими лицами имеются лица, не вполне соответствующие своему назначению, но что это правительству отлично известно, и его величество, несомненно, в свое время дал по этому предмету надлежащие указания. Вот, Редигеру было поставлено в упрек то, что как он смел сказать, что между командующими войсками имеются лица несоответствующие. По этому поводу он имел объяснение с его величеством. Его величество поставил ему это в большой упрек и высказал, что после этого ему будет очень трудно оставаться военным министром; поэтому Редигер оставил пост военного министра, и на его место был назначен Сухомлинов.

Редигер представляет собою тип весьма умного, толкового, характерного и энергичного военного генерала, хотя более кабинетного, нежели боевого. Человек он еще полный сил и с большою трудовою способностью.

Генерала Сухомлинова, который состоит военным министром и до настоящего времени, я знаю сравнительно мало, но он мне представляется человеком способным, но довольно поверхностным и легкомысленным; большой любитель женского пола; женат уже на третьей жене, из которых две последние были разведены, и, к его несчастью, и третья жена ныне больна едва ли не смертель-

ной болезнью. Я не думаю, чтобы Сухомлинов был из тех, которые могли бы поставить нашу армию на высоту, подобающую значению России.

* По основным законам, по моей инициативе, государю императору в отношении обороны (т.-е. военного и морского ведомства) предоставлена не только полная власть верховного управления, но и законодательная в размерах значительно больших, нежели в других областях государственного управления, т.-е. в гражданских ведомствах. Когда Столыпин сделал coup d'état посредством выборного закона 3-го июня, передавшего законодательную власть в руки кучки преимущественно «услужников», самозванно именующихся партией 17-го октября, чему способствовал и способствует общий режим произвола, зиждящийся на военных судах и всяких исключительных положениях, и, таким образом, создалась «Столыпино-послушная» Дума, то, повидимому, установилось такое соглашение, может быть, молчаливое соглашение, по которому правительство предоставило партии 17-го октября говорить речи и наводить критику по поводу всего, что касается обороны государства, хотя это не входит в компетенцию законодательных учреждений (Дума и Государственный Совет). Взамен же того вожаки эти обязались не касаться и, во всяком случае, не нарушать режима белого террора и полного административного произвола.

Дума установила комиссию обороны, которая с комическим видом компетентности судила и рядила все вопросы обороны, при чем из комиссии она исключила всю оппозицию, забывая, что если она сама боялась так называемых левых, как могущих действовать в ущерб обороне (хотя история показывает, что кроме самых крайних, когда дело касается обороны, все люди остаются верными сынами своего отечества, если, конечно, в свою очередь отечество признает их за равноправных сынов своих), то ведь может наступить время, когда оппозиция будет иметь громадное большинство (что имело место при первой и второй Думах до coup d'état 3-го июня), и тогда это самое большинство может исключить из комиссии обороны всех так называемых правых и вновь испеченную партию националистов и действовать так, как этого большинство ныне боится, т.-е. в ущерб обороне государства, иначе говоря—пойдет на самоубийство.

Если это так, то основные законы были правы, что изъяли из ведения законодательных учреждений всю организацию обороны, всю, так сказать, военную часть, предоставив им эту часть лишь постолько, посколько она касается ассигнования денег, т.-е. посколько это касается общего бюджета обороны государ-

ства. Но это было сделано по моей инициативе не по соображениям доверия или недоверия к патриотизму выборных законодательных собраний, а по неуверенности в их зрелости, так как они только-что рождались под русским солнцем, по необходимости многие вещи, касающиеся обороны государства, не разбалтывать, т.-е. по неуверенности в умении новых депутатов, так сказать, младенцев, держать язык за зубами, и, наконец, по конструкции выборного закона (как первоначального, так и 3-го июня), который исключил из шансов быть выборными тех, которые знают военное дело, т.-е. военных специалистов. Между тем, созданное после 3-го июня положение делало как раз противоположное тому, что имело в виду 17-е октября и основные законы. Дума как бы обязалась избегать осуществления нормальной, без которой немыслимо великое государство в XX веке, гражданской свободы, а как бы для отвода глаз и щекотания наболевшего национального самолюбия после позорной Японской войны ее вожакам (вернее, вожакам самозванной партии 17-го октября) предоставлено было судить, рядить и болтать по поводу организации обороны, т.-е. организации военных сил—одним словом, как бы состоялось между вожаками большинства Думы и Столыпиным такое соглашение:

«Вы, вожаки Думы, можете играть себе в солдатики, я вам мешать не буду, тем более, что здесь я уже совсем ничего не понимаю, а зато вы мне не мешайте вести кровавую игру виселицами и убийствами под вывеской полевых судов без соблюдения самых элементарных начал правосудия».

Вожаки партии 17-го октября ежегодно по поводу бюджета и других вопросов, касающихся обороны государства, говорили речи, в которых критиковали военные порядки, выражали различные общие пожелания и выказывали свой либеральный патриотизм, критикуя действия великих князей. Такие речи были новы для русской публики, хотя они ничего серьезного не содержали и не могли содержать, но, с одной стороны, выносили на свет божий некоторые разоблачения, приносимые думским деятелям теми или другими обиженными своим начальством чинами, а с другой стороны, касались царских родственников, которых государь постоянно в рескриптах восхвалял как лиц, имеющих громадные заслуги перед отечеством, с выражением своей сердечной любви, благодарности, уважения и преданности.

Новизна этого явления давала обществу надежды, в обществе говорили:

«Хотя партия 17-го октября до сих пор ничего не сделала несмотря на то, что от нее зависят весы думских решений, но мы на них надеемся, смотрите, какие смелые и решительные речи их вожаки говорят по поводу военных и морских вопросов.

Ай да молодец Гучков; ай да ловко отделал морского министра Звегинцев; смело и со знанием дела говорит Саввич».

Но те, которые знали цену этих ораторов и имели понятие о деле, конечно, ничего от этой болтовни не ожидали. Какие это специалисты, откуда они могут знать то, что с такою комическою авторитетностью провозглашают?

О том, что великие князья, занимая высшие военные посты без надлежащих заслуг и подготовки, не неся никакой ответственности, всегда представляли, за некоторыми исключениями, зло, это всем известно. Зло это приняло особо вредные размеры в царствование Николая II, с одной стороны вследствие характера этого государя, а—с другой потому, что постепенно великие князья в это царствование до катастрофы, разразившейся с Японской войной, забрали в свое безответственное, всегда связанное с особым фаворитизмом, управление все отрасли администрации обороны государства. Хотя между ними как исключение попадались великие князья, оказавшие несомненные услуги государству своими просвещенными и благородными взглядами вообще и в частности в военном деле.

Что же касается указаний господ думских ораторов по существу, то они могли говорить только с чужого голоса, не имея никакой авторитетности в обсуждаемых вопросах.

Гучков, председатель комиссии обороны, главный оратор по военным делам, с военным делом встречался лишь как военный авантюрист. Сначала он служил в средней Азии, кажется на Закаспийской дороге, будучи вольноопределяющимся в мирное время, а следовательно стрелял только в зверей, затем он был несколько месяцев в Африке волонтером во время англо-бурской войны, наконец, когда мне удалось достигнуть проведения великого Сибирского пути через северную Манчжурию посредством образования общества Восточно-Китайской железной дороги, то, согласно концессии на эту дорогу, в полосе отчуждения дороги под видом полиции была образована охранная стража из военных, временно отпущенных из войск (затем при мне же, когда я был еще министром финансов, охрана эта вошла в корпус пограничной стражи на общем основании); в эту охранную стражу попал Гучков, как любитель сильных ощущений, по знакомству своему с полковником Гернгросом, который мною был выбран как начальник охранной стражи, а затем как начальник заамурского округа пограничной стражи. Это тот самый Гернгрос, который во время войны с Японией командовал корпусом и был одним из тех, который не ударил лицом в грязь. В охранной страже Гучков себя проявил лишь следующим.

Как только приступили к постройке магистрали Восточно-Китайской железной дороги, начали проявляться пререкания между строителями (инженерами и техниками) и охранниками

(офицерским составом). Было несколько случаев поединков. Тогда я приказал передать строителю дороги (главному инженеру) Юговичу и (начальнику охраны) полковнику Гернгросу, чтобы они объявили своим подчиненным, что я не считаю возможным допускать, чтобы русские люди, приехавшие в Китай, чтобы делать государственное дело, давали китайцам своего рода представление в форме дуэли, по понятиям китайцев просто представление взаимного самоуничтожения, а потому если кто-либо желает драться на дуэли, то пусть уезжают в пределы России и там, если хотят, дерутся и несут все последствия, с сим сопряженные. Не успел я сделать это распоряжение, как получил уведомление, что ротмистр охранной стражи Гучков (я тогда в первый раз узнал о его существовании) вызвал на дуэль одного инженера, а так как последний отказался драться, то Гучков счел соответственным его ударить. Конечно, в ответ на это донесение был отправлен приказ мой об увольнении Гучкова от службы. Этот приказ разошелся с телеграфным донесением Гернгроса о том, что Гучков сам сейчас же после совершонного им поступка подал прошение об отставке, которое на месте же было принято. Вот вся практика Гучкова в военном деле и вся его военная школа. Затем Гучков, принадлежа к купеческой семье, если чем-либо серьезно и занимался, то только высшею коммерциею в прямом смысле этого слова, т.-е. торговал.

Гучков вообще был любителем сильных ощущений. Эта же черта проявлялась вообще у многих московских купцов-самодуров. Так, например, я помню, Хлудов, который вместе с Черняевым также был в Средней Азии, охотился на тигров, потом привез тигров в Москву и с этими тиграми спал, пока один тигр ночью на него не набросился, но был им убит из револьвера, который лежал всегда около него.

Во время Японской войны он ездил в качестве представителя Красного Креста на войну и вел себя храбро. Вообще, как я уже сказал, Гучков—любитель сильных ощущений и человек храбрый. Но Гучков возмыслил, что он представляет собою серьезного военного. Он добился того, чтобы быть председателем в думской комиссии обороны, и пожелал вершить все военные дела на том, мол, основании, что военное и морское ведомство, как показала Японская война, находятся в полном упадке, а поэтому он, Гучков, в комиссии явился как бы спасителем нашей армии и государственной обороны.

Звегинцев служил самое короткое время в моряках и затем перешел в кавалергарды, где также прослужил только несколько лет и вышел в отставку. По воспитанию и образованию, конечно, он все-таки выше Гучкова, будучи сыном почтенной дворянской семьи. Вот весь его матрикул. Будучи министром финансов и лично зная его почтенного отца, бывшего при мне воронежским

губернатором, а потом членом совета министра внутренних дел, я узнал о существовании его сына, члена Думы, оратора по вопросам обороны, из следующих обстоятельств.

Прародители дальне-восточной авантюры, разразившейся Японской войною и общей катастрофой, о чем, кажется, я уже имел случай говорить в этих заметках, были почтеннейший граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, конечно, не сознававший, чем это кончится, и великий князь Александр Михайлович, одержимый зудом авантюризма (теперь он занимается воздухоплаванием, но, конечно, сам никогда не полетит). Дело началось с отправки на Дальний Восток комиссии, которая должна была, под видом экономического исследования Кореи, изучить ее более или менее с военно-географической точки зрения, получить концессии у корейского императора и положить начало завладения Кореей. Конечно, комиссия эта была отправлена на Дальний Восток по секрету от одних министров (в том числе от меня), вопреки несочувствию других (военного и морского министров) и при зажмуриваньи глаз третьих (министра иностранных дел и министра двора). Министр двора, почтеннейший барон Фредерикс, мне рассказывал, что когда явился к нему Безобразов, который первое время был правой рукою великого князя Александра Михайловича, просить, чтобы, согласно высочайшего повеления, ему было выдано из кабинетских сумм 200.000 рублей на эту экспедицию, то он отказался иметь какие-либо сношения с Безобразовым и просил государя избавить его от сношений с этими господами, а отнес 200.000 рублей в пакете государю, чтобы он передал деньги Безобразову через кого-либо другого. При таких условиях, конечно, в комиссию не вошел ни один дельный и серьезный человек. Были взяты посторонние и ведомствам, и общественным учреждениям лица, в том числе оказался и Звегинцев, отставной, кажется, штабротмистр кавалергардского полка.

Что касается Саввича, то это по специальности естественник, кажется анатом, сателлит Гучкова и Звегинцева, и на мой вопрос, почему он явился в Думе деятелем именно по военным и морским делам, мне ответили, что он очень любит читать военные брошюры.

При таком положении вещей нужен был первый случай, чтобы дело разъяснилось. Такой случай представился в 1909 году, когда в Государственный Совет поступил из Государственной Думы законопроект о штате генерального штаба морского ведомства. Согласно этому проекту, Государственная Дума устанавливала законом не только сумму расхода на это военное учреждение, но и количество должностей, ранг и права каждого, а следовательно и самую организацию этого военного учреждения, при чем, так как это делалось законом, то, следовательно, всякое самое ничтожное изменение штата могло осу-

ществиться только через Государственную Думу и Государственный Совет.

Таким образом, утверждая этот закон, создавался прецедент, в силу которого не только ассигнования сумм на те или другие учреждения военного ведомства должны зависеть от Государственной Думы и Государственного Совета, но и вопросы самой организации и во всех деталях чисто военных учреждений должны также зависеть от этих законодательных учреждений. В конце концов права верховного вождя армии сводились бы преимущественно к военному представительству. При обсуждении этого законопроекта в комиссиях Государственного Совета произошло разногласие. Некоторые члены спрашивали мое мнение, как лица, принимавшего главное участие в составлении основных законов. Я высказал свое положительное заключение, что от законодательных учреждений зависит общий бюджет, а потому и бюджет ведомства обороны (военного и морского), но самая организация обороны, т.-е. вся так сказать военная часть обороны, не подлежит ведению этих учреждений. Это очевидно при беспристрастном толковании основных законов по прямому их смыслу. В данном случае от Государственного Совета зависит дать или не дать ту или другую сумму на ежегодное содержание морского генерального штаба, сумму, которая затем должна вноситься в бюджет на общем основании, но от этих учреждений не зависит утверждать штаты генерального штаба, т.-е. определять законодательным порядком подробную организацию морского генерального штаба. В таком положении вещей нет ничего особенного; и в других странах с парламентами—парламенты подробные штаты военных учреждений не утверждают, а касаются дела только с финансовой, бюджетной стороны.

В Японии император относительно военного и морского ведомства имеет еще большие права, нежели русский император, даже так, как я понимаю наши законы.

В разговорах со мною по этому делу Маклакова (кадета, члена Государственной Думы) и Ковалевского (члена Государственного Совета, самой левой группы) они признали, что такое толкование основных законов совершенно правильно. По этому вопросу приходил ко мне председатель бюджетной комиссии, бывший мой товарищ, когда я был министром финансов, Романов, я ему тоже высказывал мой взгляд, предупредив его, что я в этом смысле буду говорить в общем собрании, т.- е. я считаю своею обязанностью выяснить значение соответствующих статей основных законов; на мой же вопрос о том, как на это смотрит Столыпин, Романов мне сказал, что в виду разногласий по этому вопросу в комиссии он был у председателя совета министров, желая знать его точку зрения, но что Столыпин ему ответил, что он знает доводы одной и другой стороны, но определенного

убеждения еще себе не составил, на что я заметил, что едва ли октябристы так распинались бы по этому делу, если бы они не чувствовали поддержки Столыпина.

Я видел также председателя Государственного Совета Акимова, который, спрашивая мое мнение по данному делу, на мой вопрос о мнении Столыпина ответил, что он был у него, и он ему сказал, что определенного мнения себе не составил, но что, с другой стороны, он поощряет всех, чтобы давали голос за проект в том виде, в каком он пришел из Думы.

Наступили заседания по этому предмету; представитель правительства, морской министр, прочел речь, как мне потом сделалось известным, составленную канцелярией совета министров и заявляющую, что правительство поддерживает законопроект, пришедший из Думы. Обсуждение заняло два заседания, при чем в первом заседании я подробно выяснил значение основных законов, поскольку они касаются морского и военного ведомства, из каковых объяснений моих было ясно, что вожаки Думы, занимаясь военными вопросами, делают это для отвода глаз или для балагана и что по точному смыслу законов от Думы зависит дать или не дать денег на генеральный штаб, а равно определить размер этой суммы на основании расчетов, которые обязано представить правительство, но подробное определение самого штата с указанием размеров содержания каждому лицу, класса должности и всех прав, с этою должностью связанных, зависит от верховного вождя армии и должно делаться в порядке верховного управления. Я сорвал с Столыпина маску и показал, что в угоду думскому большинству он желает ограничить верховную власть государя императора и ограничить вопреки явному смыслу основных законов, составленных под моим руководством. После многих речей, сказанных в защиту различных точек зрения, в заключительное заседание явилось все министерство, которое в лице министра финансов Коковцова (так как Столыпин заболел и очень просил Коковцова явиться защищать проект) высказалось за проект Думы. При голосовании проект Думы был принят лишь голосами явившихся министров (так как по закону, все министры, которые состоят членами Государственного Совета, имеют право голоса), иначе говоря, если бы эти министры воздержались от голоса, то проект Думы не был бы принят большинством нескольких голосов. Но соображения, высказанные в Государственном Совете против проекта и, вообще, аллюров, принятых Думою в вопросах военных, были столь вески, что государь не утвердил проект, прошедший через Государственную Думу и Государственный Совет и поддержанный правительством. Когда это случилось, для меня совершенно неожиданно, во-первых, потому, что, несомненно, правительство не могло поддерживать законопроект

Государственной Думы в Государственном Совете без согласия его величества (впоследствии я узнал, что речь, читанная морским министром и составленная канцелярией совета министров, была просмотрена государем и даже после этого просмотра получила некоторые исправления), и, во-вторых, что, как все газеты, содержимые на счет казны или субсидируемые правительством, совершенно правильно после вотума Государственного Совета заявили, что я, по мнению Столыпина, оказал громадную услугу правительству, ибо, если бы мои доводы представил кто-либо другой, то государь мог бы не утвердить законопроект, но достаточно того, что эти доводы исходили от меня, чтобы государь принял противоположное решение (такова была уверенность Столыпина в силу тех инсинуаций в отношении меня, к коим он, вероятно, при своих докладах по полицейской части прибегает), т.-е. утвердить представляемый законопроект.

Когда последовало это решение, Столыпин сейчас же начал заявлять, что он подаст в отставку, что, конечно, для него было бы единственное достойное решение, и одновременно его органы начали пугать, что если он уйдет, то явится черносотенное министерство. Он все время пугал министерством Дурново, лидером правых в Государственном Совете, и это пугание действовало на оппозицию и на более или менее либеральную часть печати.

Тогда этот прием в виду различных обещаний Столыпина по осуществлению манифеста 17 октября еще многими принимался всерьез. Но уже к тому времени, 1909 г., я понял Столыпина, а потому на недоумения, обращенные ко мне либералами, к которым я не потерял уважения, я дал следующие объяснения. Во-первых, все, что я говорил в Государственном Совете, я говорил по полному убеждению и считал себя обязанным дать эти объяснения как инициатор тех статей основных законов, которые касаются обороны государства. Во-вторых, эти статьи основных законов не представляют ничего необыкновенного сравнительно с положением дела в некоторых других не только монархических, но даже республиканских государствах. В-третьих, я очень рад, что решением, принятым его величеством, не утвердившим законопроекта о морском генеральном штабе, будет обнаружено истинное значение того соглашения между Столыпиным и вождями октябристами, по которому первый получил веревку, а вторые солдатиков. В четвертых, Столыпин не из тех, которые сами уходят, а потому не только проглотит решение государя, но пойдет далее на всякие меры, идущие от крайних правых, лишь бы сидеть на своем месте, и, наконец, это решение будет иметь то громадное значение, что представит собою начало тех событий, которые окончательно снимут маску как со Столыпина, так и с самозванной партии 17 октября, обнаружив, что как первый, так и вторые не что иное как народи-

вшийся после 17 октября препротивный тип русских конституционных оппортунистов, не имеющих за собою ни опытности и знаний бюрократов, ни убеждений истинных либералов и крайних левых, страдающих за свои убеждения, ни, наконец, честности правых и даже крайних правых, откровенно высказывающих и проводящих свои убеждения, хотя часто весьма дикие и похороненные в других государствах еще в средневековые времена и во всяком случае в пепле прошлых столетий.

Все слухи о том, будто Столыпин оставит свой пост, конечно, оказались пустою буффонадою. Не только этого не случилось, но случилось совершенно обратное. По повелению государя совет министров во избежание инцидентов, подобных случившемуся с законом о морском генеральном штабе, занялся вопросом инструирования ведомств, какие вопросы, касающиеся обороны государства, должны вноситься в Государственную Думу и какие нет. Конечно, при этом обсуждении между министрами происходили разногласия.

В конце концов Столыпин, все уступая и уступая, не только отказался от тех взглядов, которые министерство проводило при дебатах со мною и лицами одинаковых со мною мнений при обсуждении законопроекта о генеральном штабе, но пошел еще дальше тех мнений, которые я высказывал по вопросу об истинном смысле основных законов по вопросам обороны. Совет установил положения, определяющие, какие вопросы, касающиеся обороны, должны вноситься в законодательные учреждения, какие нет и в такой неопределенной форме, что теперь многие вопросы, которые по основным законам должны вноситься в Думу, могут не вноситься и прямо восходить на утверждение его величества. Но и этого мало.

Эти положения за скрепою того же Столыпина, высочайше утвержденные, объявлены в собрании узаконений и, следовательно, при кодификации законов государственною канцелярией войдут в новое собрание законов. Наконец, по поводу запроса в Государственной Думе о незаконности последовавшего закона по вопросу о пределах законодательной власти по военному и морскому ведомству также Столыпин представил объяснения, что закон этот не что иное, как существующий закон, но только в правильном его толковании, совершенно противоположном тому толкованию, которое он давал около полугода назад, когда он стращал наивных людей, что он подаст в отставку, если с ним не согласятся.

Его же партия, боясь неприятных суждений при рассмотрении запроса по существу, отделалась от него тем, что признала, что последовавшие высочайше утвержденные положения совета есть не что иное, как административная инструкция, нисколько для законодательных учреждений не обязательная.

Конечно, высказывая такое мнение, большинство Думы не могло не сознавать, что оно нелепо, ибо, во-первых, самый факт инструкции по такому важному делу, не соответствующий смыслу закона, раз эта инструкция обязательна для ведомств, не может быть терпим, а во-вторых, последовавшее высочайшее положение не представляет собою инструкцию, а составляет новый закон, вошедший в собрание узаконений.

После этого эпизода Столыпин, конечно, не мог удержаться на скользком пути игры в честный либерализм и пожертвовал для материальных личных благ своими quasi-либеральными и конституционными убеждениями, и пошел по тому пути, по которому стеснялись итти даже его такие предшественники, как граф Д. Толстой, Н. Дурново и Плеве. Если эти лица и шли по пути крайнего консерватизма и иногда не брезговали для сего средствами, то не корчили из себя политически-целомудренных Веньяминов *.

12 августа последовало упразднение совета государственной обороны, т.-е. уничтожение доминирующего влияния великого князя Николая Николаевича на военные и морские дела. Таким образом последовательность событий шла следующим порядком: великий князь Николай Николаевич выдумал разделение министерства на военное министерство и генеральный штаб и посадил начальником генерального штаба своего человека генерала Палицына, одновременно устроив комитет государственной обороны, который, в сущности говоря, делал то, что хотел великий князь Николай Николаевич.

Военный министр, покойный Сахаров, оказался невполне сговорчивым, а потому он ушел с поста военного министра и на его место был назначен Редигер, которого великий князь считал более сговорчивым.

Когда явилась третья Государственная Дума, то благодаря комиссии обороны и желанию Гучкова взять под свою опеку военное и морское ведомства, положение великого князя, человека безответственного, сделалось крайне неудобным.

Редигер от великого князя эмансипировался, и место начальника генерального штаба было уничтожено. Палицын ушел, и вместо него был назначен начальником штаба подчиненный военному министерству Сухомлинов.

Подобный шаг не мог остаться со стороны великого князя безнаказанным, и поэтому военный министр Редигер скоро потерял свой пост, и военным министром сделался Сухомлинов, которому были подчинены все учреждения военного ведомства. Затем пришло время великого князя, и Сухомлинов уничтожил комитет обороны и спихнул великого князя, так что в течение

года—года полтора, он совсем потерял влияние на государя, и, кажется, только последнее время опять начал приобретать это влияние.

Я уже имел случай говорить о бароне Эрентале и о том, как он провел правительство Столыпина вообще, а в частности Извольского. Извольский имел слабость ездить заграницу, делать различные визиты, летом он был, между прочим, в Австрии у австрийского посла в Петербурге графа Берхтольда, теперешнего министра иностранных дел в Вене.

Там Извольский встретился с Эренталем, и вот, в Бухало, имении посла, произошел между Эренталем и Извольским разговор.

По версии Эренталя оказывается, что он говорил Извольскому о своем предположении присоединить Боснию и Герцеговину к Австрии, и Извольский против этого, будто бы, не возражал, а только ставил условием,—открытие для русского флота Дарданелл, на что он, Эренталь, не дал определенного ответа.

По версии же Извольского, Эренталь, будто бы, сказал ему о предположении присоединить Боснию и Герцеговину, а Извольский против этого возражал. Он же Эренталю, со своей стороны, говорил, действительно, о том, что России желательно было бы открытие Дарданелл.

Так или иначе, но в конце концов, Эренталь, зная полную слабость России, зная положение дел в России в силу услужливости Шванебаха и министерства Столыпина, просто бравировал положением дел и в один прекрасный день объявил, что Босния им присоединяется к Австрии, при чем предварительно вошел в соглашение с князем болгарскимФердинандом, которого он сделал болгарским царем. Таким образом на свете стало два царя: один царь русский, а другой—болгарский.

Это случилось в 1909 году в декабре месяце. Политические отношения были очень натянуты, и вот, пользуясь этим натянутым положением дела, которое В. Н. Коковцов крайне преувеличил в Государственной Думе, Государственная Дума, не рассмотрев бюджета, дала разрешение министру финансов произвести заем до суммы 450.000.000 руб.

Затем, предположение о займе рассматривалось в финансовом комитете, в котором я состою членом, где опять-таки В. Н. Коковцов изображал политическое положение крайне обостренным, вследствие чего может произойти война, и не только может, но имеется полное вероятие, что война произойдет, и война эта вспыхнет в ближайшем будущем. Поэтому, хотя условия займа были крайне невыгодны, тем не менее, финансовый комитет, заявив, что только в силу удостоверений прави-

тельства о таком опасном положении, он, если, действительно, таково положение политическое—о чем комитет судить не может—со своей стороны, высказывается за заем.

Таким образом, Владимир Николаевич Коковцов, пользуясь именно этим положением, вырвал согласие на заем, крайне невыгодный.

Я тогда же имел беседу с директором кредитной канцелярии Давыдовым и указал ему, еще ранее рассмотрения дела в финансовом комитете, что я считаю заем этот крайне невыгодным, что следовало бы лучше повременить, и что, если повременить, то можно достигнуть лучшего займа. Тогда мне Давыдов откровенно сознался, что Коковцов, будучи осенью в Париже, почти уговорился уже относительно займа, и что теперь ему трудно пойти обратно, при чем, относительно условий заключения займа, Давыдов мне тогда сказал, что он также признает их для России весьма невыгодными.

Таким образом совершился этот заем. Верил ли Коковцов в предстоящую войну—я не знаю.

Что же касается меня, то я в душе этому не верил, так как был убежден, что Россия воевать не может, а поэтому сделает все, чтобы избежать войны.

И, действительно, несмотря на присоединение к Австрии Боснии и Герцеговины и объявление Фердинанда болгарским царем, Россия эту пилюлю проглотила, никакой войны не было, и только наша дипломатия и наше правительство были посрамлены в глазах всей Европы. Это посрамление осталось и до настоящего времени; оно, в конце концов, было причиною того, что Извольский не мог оставаться министром иностранных дел, так как он показал полнейшую свою легкомысленность.

20 декабря 1908 года умер о. Иоанн Кронштадтский. Я познакомился с Иоанном Кронштадтским в первые годы, когда я сделался министром финансов. Он пожелал меня видеть, был у меня в министерстве финансов и в моей квартире, когда я переехал в казенную квартиру, служил молебен.

На мою жену Иоанн Кронштадтский произвел очень сильное впечатление.

Служил Иоанн Кронштадтский и говорил отрывисто. По-видимому, он был человек совсем не образованный.

Мне, как и всем вообще россиянам, было известно, что он оказывает большое влияние своею проповедью и своим своеобразным почтенным образом жизни на простой русский народ. Но на меня он никогда впечатления не производил.

Мои чувства в отношении Иоанна Кронштадтского подкупило то обстоятельство, что его очень чтил император Але-

ксандр III. Когда Александр III умирал в Ливадии, то туда был вызван о. Иоанн.

Когда наступила Японская война, и началось брожение, повидимому, о. Иоанн Кронштадтский потерял компас и вместо того, чтобы явиться нейтральным, независимым проповедником, отцом православных христиан, он сделался партийным человеком; подпал под влияние союза русского народа и Дубровина: начал делать различные черносотенные выпады и, по моему убеждению, проявил много действий недостойных не только отца церкви, имеющего претензию на руководительство душами православных христиан, но даже недостойных хорошего умного человека.

Все это произошло от того, что священник о. Иоанн Кронштадтский был человек ограниченного ума, недурной человек, но несколько свихнувшийся приближением к высшим, а в особенности, царским сферам. Это обстоятельство, как я видел в своей жизни, ужасно развращает всех не твердых и не убежденных в своих принципах людей. Этому же подвергся и о. Иоанн Кронштадтский.

В конце концов, я все-таки признаю, что о. Иоанн был человеком, сделавшим в своей жизни гораздо более пользы, нежели вреда, в особенности, он сделал очень много пользы простому народу. Вообще, между нашими священниками о. Иоанн Кронштадтский, пожалуй, выдавался своим характерным своеобразием. Но нужно было жить в совершенно смутное, не только в политическом, но и духовном смысле, время, чтобы относиться к о. Иоанну (особенно перед смертью его), к этому, в конце концов, только хорошему человеку—как к святому.

Я, с своей стороны, нахожу, что это один из актов кощунств над русской православной церковью. Начать с того, что о. Иоанн Кронштадтский был просто священник, он не был ни схимником, ни монахом; не отказался в своей жизни ни от чего, что составляет благо мирян и белого духовенства, не отказался ни от семейной жизни, ни от чего прочего,—все это не может составлять аттрибутов человека, который при жизни объявляется святым.

После смерти о. Иоанна Кронштадтского, как его похороны, так и устройство особого собора, в котором он похоронен, опять-таки все это вещи, имеющие гораздо более демонстративно-политический характер, нежели явление, истекающее из духа православия, явление, которое носило характер неведомого для человечества на этой планете ореола святости.

8 января последовало увольнение морского министра Дикова, и вместо него неожиданно был назначен контр-адмирал свиты его величества Воеводский.

С Воеводским его величество и ее величество познакомились во время плавания в шхерах, и он им очень понравился. Сам по себе он представляет скорее кавалергардского офицера, нежели моряка. Человек он почтенный, в смысле деловом и в смысле таланта ничего собой не представляющий; человек с хорошими манерами и весьма порядочный. Одним словом, он обладает всеми такими хорошими качествами, которые, тем не менее, нисколько не делают человека государственным деятелем и морским министром.

В то время, когда наш флот был уничтожен и подлежал восстановлению, для всякого, кто столкнулся с Воеводским, хотя раз в жизни, и говорил с ним полчаса, было ясно, что это назначение не серьезное.

Почти одновременно произошло увольнение Ивана Павловича Шипова с поста министра торговли и назначение вместо него министром торговли Тимирязева. О Шипове я имел случай несколько раз говорить после того, как он был со мною в Портсмуте, а затем министром финансов в мое министерство, сделавшись, после моего ухода с поста председателя совета министров, членом государственного банка. Министр финансов Коковцов командировал его на Дальний Восток, в Китай и Японию, для того, чтобы поближе ознакомиться с положением, в каком очутился Дальний Восток, и специально с вопросами, связанными с русско-китайским банком.

Когда он вернулся с Дальнего Востока, то ему было предложено занять пост посла в Японии, так как бывший там послом Бахметев оказался не соответствующим, по крайней мере, с точки зрения министра иностранных дел Извольского. Очевидно, что предложение Шипову принять пост посла в Токио, с одной стороны, основывалось на том, что он был со мною в Портсмуте и в некоторой степени участвовал в заключении Портсмутского договора, а с другой стороны, он только что приехал с Дальнего Востока, совершив большую поездку в этих странах. Сам по себе Шипов человек, как я уже говорил, толковый, умный и почтенный.

Одновременно был свободен в это время пост министра торговли, за смертью Философова, поэтому ему также предлагали занять и этот пост. Таким образом он получил два предложения. Он приходил ко мне советоваться. Я ему, с своей стороны, очень советовал принять пост посла в Токио, а не министра торговли, во-первых, потому, что я считал, что Шипов к посту министра торговли не подготовлен, так как он делами торговли и промышленности никогда специально не занимался, а во-вторых, потому, что я считал вообще невозможным порядочным

и самостоятельным людям служить при водворившемся режиме, вообще, и, в частности, при режиме Столыпина; между тем как пост посла более или менее самостоятелен и во всяком случае не имеет никакого прямого соотношения с внутренней политикой. Но Шипов, несмотря на мой совет, не объяснив мне причины, не послушался моего совета и принял пост министра торговли.

Как я потом узнал, это произошло потому, что он в это время влюбился в очень порядочную девушку, классную даму смольного института, а поэтому не хотел покидать Россию; вскоре он и женился.

Как я предвидел, Шипов не мог оставаться министром торговли и промышленности и 8 января 1909 года должен был покинуть этот пост. Когда он покинул этот пост, то, через некоторое время он был у меня; во время министерства он у меня не бывал, и вообще все мои сотрудники, которые были мне очень близки, когда делались министрами, меня избегали, как я догадывался, потому, что они стеснялись, будучи министрами, стать в ту противоположность моих воззрений, с одной стороны, и воззрений, которые проводил на практике глава правительства, Столыпин, с другой.

Как я говорил, на место Шипова последовало назначение Тимирязева. Тимирязев был уволен с поста министра торговли, когда я был председателем министерства; уволен он был потому, что вообще в то время, полагая, что наступит в России режим демократической республики, он проводил самые крайние мысли и возился с самыми крайними публицистами, передавая им все то, что делалось в правительстве.

Ближайшим поводом его увольнения было то, что он по всеподданнейшему докладу, сделанному без моего ведома и ведома всех его коллег, выдал 30.000 рублей Матюшенскому для организации рабочих, организации по тому времени умеренной, не революционного характера [1]).

Но так как Тимирязев ожидал водворения в России чуть ли не демократической республики, то покинул пост министра торговли,—министерства, далекого от подобных воззрений,—без особой печали; под либеральным флагом он устроил себе выборы в члены Государственного Совета от торговли и поступил в русский банк для внешней торговли.

Во время первой и второй Дум он продолжал либеральничать и делать различные левые выпады в Государственном

[1]) См. главу XXXIX.

Совете; затем, когда явилась третья Дума, то он благоразумно сообразил, что он ошибся: что никакой демократической республики не будет, а между тем его левизна в Государственном Совете, конечно, левизна расчета, а не убеждений, видимо, крайне не нравилась другим членам Государственного Совета от торговли и промышленности и его выборщикам. А между тем, так как выборные члены Государственного Совета в каждые три года тянут жребий, и одна треть из них по жребию уходят, и должна быть возобновляема новыми выборами, то предстояло в непродолжительном времени Тимирязеву тянуть жребий. Он отлично понял, что если только по жребию он должен будет уйти, то никогда вновь выбранным не будет [1]). И поэтому он начал усиленно ухаживать за Столыпиным, являлся в Государственном Совете его адвокатом по всем вопросам, до него касающимся, и в особенности ломал стрелы, защищая Амурскую железную дорогу.

Такое поведение Тимирязева очень Столыпину понравилось, и Столыпин, когда ушел Шипов, предложил ему пост министра торговли и промышленности, который он занял, пришедши к убеждению, что у нас останется монарх, и, во всяком случае, еще долгое время не будет республики.

Когда Шипов оставил пост и был заменен Тимирязевым, то Шипов был у меня, и я его спросил: скажите, пожалуйста,

[1]) Вариант. * Согласно закона, лица, на государственной службе находящиеся, а в том числе члены Государственного Совета от короны, не могут совмещать с этим должности в частных обществах и таким образом составлять себе большие вознаграждения. Так Тимирязев получает пенсии 7.000 руб., вознаграждения, как выборный член Государственного Совета, 6.700, да затем в частных обществах несколько десятков тысяч. Но для того, чтобы частные общества хорошо платили, им нужно быть полезным.

Так как Тимирязев поступил членом совета в банк, то он должен был услуживать министру финансов, чтобы иметь от него фавор. Эта услужливость, однако, в скором времени породила недоразумение между Тимирязевым и прочими членами Государственного Совета от торговли и промышленности. В тех случаях, когда в Государственном Совете проводились меры, не вполне согласные с интересами крупной промышленности и торговли, но в проведении которых по той или другой причине был заинтересован министр финансов, Тимирязев начинал всячески поддерживать в Государственном Совете министра финансов. Это породило недоразумение между ним и другими членами Государственного Совета от торговли и промышленности. Его перестали выбирать в комиссии. Наиболее влиятельные члены прямо мне говорили, что так или иначе, а его заставят уволиться от членов Государственного Совета от торговли. К тому же в ближайшее время предстояло выбытие по жребию двух членов Государственного Совета от торговли и промышленности. Тимирязев, вероятно, боялся, что жребий как раз может упасть на него. Тогда он проделал следующий вольт. Подъехал к председателю министерства Столыпину, являясь всюду его явным партизаном *.

какая истинная причина вашего ухода; на это он мне ответил, что вообще не мог ужиться с режимом Столыпина; между прочим, указывал на то, что Столыпин человек довольно, в некотором отношении, мелкий, так, например, когда Шипов у него был первый раз, то он ему показывал целую коллекцию различных телеграмм, поздравлений, которые он получает и собирает систематически и составляет целую библиотеку, при чем прибавил мне, это такого рода поздравления, телеграммы, выражения радости, которые, конечно, и вы получали, будучи министром финансов и председателем совета министров, тысячами и которые вы рвали и бросали, а Столыпин все это не только собирает, но всякому новому человеку, который к нему приходит, показывает эти свои лавры с особым самодовольствием.

Когда я сказал Шипову: «Но, однако же, ведь не эти свойства характера Столыпина могли заставить вас подать в отставку с поста министра?» На это мне Шипов ответил: «Да, ближайшей причиной было то, что мне приказывали делать то, что я по совести считал сделать невозможным, а именно, раздачу казенных нефтяных земель некоторым лицам, которым земли эти были обещаны его величеством. Я на это пойти не мог и должен был подать в отставку, при чем он мне прибавил, усмехаясь,— увидим, как из этого положения выйдет Тимирязев».

«Я знаю Тимирязева,—ответил я,—очень просто выйдет, даст земли, кому прикажут, да еще сам поднесет его величеству предложение относительно раздачи земель тем лицам, которые ему, Тимирязеву, могут быть полезны».

Так и вышло, вскоре когда Тимирязев сделался министром, и, когда кидали жребий, кто должен уйти из членов Государственного Совета от торговли, то этот жребий пал на Тимирязева.

* Но по закону он остался в звании члена Государственного Совета до новых выборов.

Новые выборы должны были состояться в июне. Меня тогда Крестовников и Авдаков спрашивали, кого выбирать. Я им советовал не выбирать в члены Государственного Совета из чиновников, а из промышленников и торговцев, но Тимирязев, став министром торговли и промышленности, конечно, уже мог влиять на выборщиков, а в том числе на Крестовникова и Авдакова. Они мне дали это понять; я им сказал:

— Смотрите, выберете Тимирязева, затем он уйдет из министров в отставку, чтобы ему служить в частных обществах, а уже затем, согласно закону, должность члена Государственного Совета от торговли и промышленности ему будет обеспечена на 9 лет, так как уже в течение 9-ти лет он не подвергнется баллотировке (согласно закону).

Так и случилось *.

Так как он был министром торговли и промышленности и так как выборы зависят во многом от него, то он устроил сам выборы и был выбран в члены Государственного Совета на новый срок, затем, будучи очень короткое время министром торговли и промышленности, он испросил многим лицам, от которых он зависел, как деятель в банке русском для внешней торговли и других акционерных обществах, которые он номинально покинул, сделавшись министром торговли и промышленности, всевозможные награды. Таким образом все эти деятели получили через руки Тимирязева различные ордена, чины и почетные звания.

Устроив себе свое положение таким образом, он все-таки соболезновал, что покинул частную службу. Он в течение того времени, когда был министром торговли и промышленности, от этих частных обществ вознаграждения не получал, или если получал, то не в форме жалованья; поэтому он начал искать предлога, как бы ему снова уйти от поста министра торговли и промышленности, раз он снова выбран в члены Государственного Совета, и одарил наградами лиц, от которых он зависел, находясь на частной службе.

К счастью, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло; у него умерла жена; он придрался к этому предлогу и заявил, что так на него действует это несчастье, что он больше заниматься не может, и просил его отпустить в отставку, одновременно упросив Столыпина, чтобы он был сделан первым чином двора, подобно тому, как был сделан Кауфман.

Столыпин на это согласился и, послав государю его отставку, послал письмо, прося сделать Тимирязева первым чином двора.

* Как раз в это время в Государственной Думе рассматривался бюджет на 1910 год и в общем собрании Государственного Совета рассматривалась смета горного департамента, при чем был поднят вопрос о незаконной раздаче различных нефтяных земель. Тимирязев должен был давать объяснения и, давая эти объяснения, явился в крайне жалкой роли: ибо он признал, что эти земли были розданы незаконно, но все свалил на его величество и сказал в заключение громкую фразу, что «нельзя отнимать у его величества права, ему богом данные, утирать слезы несчастных, и что это одна из лучших сторон монархизма». На что было не без ехидства замечено, что тут идет дело об утирании слез только егермейстерских и шталмейстерских. Речь его была настолько бессовестна, что даже крайние правые, на которых он рассчитывал, не стали на его сторону, и вся Дума проводила его с кафедры с возмущением. Сказав эту речь и как бы сыграв роль защитника монарха, носящего в своей душе призрак уми-

рающего (а формально по закону уже 17 октября 1905 года умершего) принципа неограниченного самодержавия, послал немедленно в Ялту прошение об отставке. Отставка получилась с просьбою Столыпина при увольнении с поста министра дать Тимирязеву первый чин двора—обер-гофмейстера. Так и было сделано, потому что это дело, дойдя до государя, представилось так: «Бедный Тимирязев уходит вследствие смерти жены, во время своего кратковременного министерства он исполнял все желания государя, все приближенные государя были им очень довольны, он оказался очень любезным человеком, перед уходом он сказал прекрасную речь в защиту прав монарха, как же его не сделать первым чином двора». Когда последовал приказ, то Тимирязев сейчас же себе заказал дорого стоющий мундир первого чина двора и одновременно начал справляться, может ли первый чин двора занять официальное место в коммерческом банке. Ему показали закон, гласящий, что не может, что, конечно, государь может все разрешить. Тогда он начал говорить, что он не просил его сделать первым чином двора, что это было сделано без его ведома, что он должен занять место председателя совета русского банка для внешней торговли (еще бы—с таким громадным содержанием!), а потому он поедет в Ялту просить государя ему это разрешить. Конечно, он рассчитывал на то, что раз его сделали обер-гофмейстером, то не отнимут же у него этот придворный чин, если он объяснит, что он должен служить в частных обществах, так как он иначе существовать не может, и, кроме того, он не просил этой награды.

Расчет был очень тонкий, но может быть оттого, что был тонкий, он и прорвался. Государь его принял на несколько минут и как только он заикнулся, что не может существовать без службы в частном обществе, то ему было дано понять, чтобы он уходил из первых чинов двора, и через несколько недель последовал указ об увольнении в отставку первого чина двора Тимирязева с производством в действительные тайные советники. Случай небывалый. Прошло же это, как мне рассказывал В. Н. Коковцов, следующим образом. Столыпин сказал Коковцову, что он просил государя, так как Тимирязев умолял его сделать это для его дочери, оставшейся без матери. С другой стороны просьба Столыпина могла быть недостаточна для такой награды. Нужно было подготовить почву у министра двора, чтобы он если не оказал бы содействия, то по крайней мере не препятствовал бы. По объяснению Коковцова, как Тимирязев этого достиг, видно из телеграммы, у него находящейся в копии на имя генерала Мосолова, директора канцелярии почтеннейшего министра двора барона Фредерикса. Телеграмма эта гласит: «Счастлив сообщить вам, что мой доклад о таком-то удостоился

утверждения государя», а доклад касался отдачи без торгов одному, кажется, армянину не согласно с законом нефтяных земель, за которого хлопотал Мосолов.

Когда Тимирязев, оставив пост министра и будучи возведен в первый чин двора, приехал сейчас же после того в Ялту, чтобы благодарить и затем просить дозволить ему служить в частном банке, то ранее он, конечно, явился к министру двора, чтобы объяснить ему причину приезда и передать, что назначение его обер-гофмейстером, совершенно для него неожиданное, поставило его в крайнее затруднение, так как он должен принять место в частном обществе. Но как раз приблизительно в это время в Ялте появился Коковцов, который, представляя собою сосуд зависти, объяснил наивнейшему барону всю махинацию Тимирязева.

В результате его хитрый шаг не удался, и теперь он, обеспечив себя выборами на 6 лет членом Государственного Совета от торговли и промышленности и состоя действительным тайным советником в отставке, занимается делами банка и другими коммерческими аферами.

Говоря о поездке Шипова на Дальний Восток, я, чтобы не пропустить дальнейших моих рассказов, не остановился на событиях, связанных с Дальним Востоком, и хочу их рассказать в настоящее время.

Когда я был в Портсмуте, то мне совершенно было ясно, что можно было достигнуть лучших мирных условий, если бы мирный договор касался не только раздела влияний и принадлежности Японии и России, но, и совершив этот раздел, мирный договор пошел бы далее и закрепил разделы между обеими странами, в том отношении, что каждая страна обязалась бы защищать права другой страны на то, что по разделу ей досталось, т.-е. мирный договор продолжить в смысле договора союзного. Я об этом и вел весьма осторожный разговор с первым уполномоченным Японии—Комурой. Комура тоже дал мне ответ довольно уклончивый, но из этого ответа я понял, что я в состоянии буду достигнуть того, чтобы мирный договор содержал в себе положение, если не союзное вообще, то во всяком случае, дружеское и союзное в частности. Поэтому я телеграфировал министру иностранных дел, графу Ламсдорфу, что я считаю, что следует переговорам дать такое направление, и просил указаний из Петербурга.

Через несколько дней я получил на мое предложение ответ уклончивый и скорее отрицательный. Поэтому я более разговора по этому предмету с Комурой не поднимал. Таким образом, заключив мирный договор с Японией, мы разъехались не как друзья, которые бы обязались поддерживать то, что каждой стране доставалось, а как лица, договорившиеся, чтобы прекра-

тить войну, но будет ли это прекращение на долгое время или это является более или менее продолжительным антрактом военных действий—вопрос этот остался на-весу.

Когда я вернулся в Россию, то мне сделалось ясным, что тот ответ, который я получил из Петербурга на мою мысль—заключить договор не только мирный, но и более нужный, последовал потому, что не только между военными, но и между гражданскими лицами все продолжала появляться мысль и обсуждение о необходимости реванша. Эту мысль о реванше за проигранную нами и проигранную позорно войну с Японией проповедывала не только некоторая, довольно большая, кучка военных и гражданских чинов, но мысль эта проповедывалась ежедневно и в некоторых органах и газетах весьма распространенных; главою такого направления было «Новое Время».

Такое настроение, конечно, имело влияние на высшие сферы и даже на самый престол. Большинство лиц, которые трубили о реванше, конечно, трубили потому, что ни они, ни их родичи крови на войне не теряли, а что касается материальных дел, то даже от войны выиграли, играя на всяких спекуляциях. Но шумиха эта многими принималась совершенно всерьез.

Вопрос о реванше нашел весьма серьезного покровителя в комитете государственной обороны, находившемся под председательством великого князя Николая Николаевича. При такой протекции этой несуразной мысли, конечно, мысль эта принимала все большие и большие размеры, подобно хорошо вздуваемому мыльному пузырю.

В комитете обороны обсуждали целый ряд мер для осуществления реванша. Этою мыслью был, конечно, охвачен и председатель совета министров Столыпин, поэтому он, совместно с военными лицами, проповедывавшими реванш, поднял вопрос о сооружении Амурской железной дороги, дабы иметь такой путь, который, по мнению авторов этой затеи, пробегая по русской территории, мог быть обеспечен от захвата неприятелем, т.-е. японцами.

Вопрос об этой дороге был внесен в Государственную Думу и в Государственной Думе он встретил полное сочувствие в пресловутой комиссии обороны г. Гучкова. Как в комиссии, так и в Государственной Думе для того, чтобы решить проведение этой железной дороги, лицами официальными предсказывалось, что война с Японией чуть ли не неизбежна, и даже указывалось, что она должна случиться не позже 1911 или 1912 года, т.-е. того года, который ныне протекает. Это показывает, в какой степени в то время было затмение, под влиянием трубных звуков о реванше.

Государственная Дума приняла постройку этой громадной дороги, которая потребует громаднейших средств от бедного русского народа и в результате представит собою дело, которое принесет России гораздо более вреда, нежели пользы, если оно в состоянии принести России какую бы то ни было пользу.

Под тем же трубным звуком реванша, сооружение этой дороги было проведено в Государственном Совете. Я энергично возражал против этой дороги, объяснял, что она в случае столкновения с Японией никакой пользы не принесет, ибо она может быть так же захвачена неприятелем, как и Восточно-Китайская дорога. Между тем она послужит для окитаяния не только северной Манчжурии, но и всего нашего Амурского края. Нам до поры до времени гораздо выгоднее оставить наш Амурский край в том положении, в каком он находится—полудиком, малонаселенном, нежели поднять искусственно-экономически чрезвычайное кровообращение в этом крае; кровообращение, основанное на чуждой нам крови китайцев, корейцев и иностранцев. А главное, что эта дорога потребует громаднейших средств, которые могли бы быть с гораздо большею пользою употреблены на оборону наших дальних приморских окраин и Забайкальской области Восточно-Китайской дороги.

Насколько это уже обрисовалось в настоящее время, едва ли мои предсказания не были основательны; по крайней мере теперь оттуда из-за Амурья идут те же сведения, какие я предсказывал.

Нужно отдать справедливость министру иностранных дел Извольскому, что он был едва ли не один во всем правительстве, который понял, что после того поражения, которое мы понесли на Дальнем Востоке и которое отразилось на полном нашем ослаблении в делах западных, нам необходимо найти прочный базис соглашения с Японией, дабы мы могли обернуться с востока на запад и постараться восстановить наш авторитет, который был так высоко поднят на западе отцом императора Николая II, блаженной памяти, императором Александром III. Поэтому он сперва заключил с Японией договор о рыболовстве в водах Дальнего Востока, согласно тому, как это было определено в Портсмутском договоре, но дал Японии несколько более широкие права, нежели это истекало из смысла Портсмутского договора, а затем заключил с Японией договор, по которому обе стороны, Россия и Япония, обязались поддерживать status quo на Дальнем Востоке, но, вместе с тем, он отдал Японии, в полное ее обладание, Корею, тогда как по Портсмутскому договору Япония имела право лишь на преобладающее влияние в Корее.

Несомненно, что если бы во время Портсмутского договора я получил разрешение мирный договор продолжить в договор дружеский, союзный, а в особенности, если бы я уступил Корею Японии—о чем в то время и подобной мысли не приходило в голову, и если бы она пришла в голову, считали бы ее дерзкой, изменнической, то не только не пришлось бы уступить Японии пол-Сахалина, но, вероятно, и значительная часть южной ветви дороги, может быть до самого Мукдена, осталась бы за Россией.

Тем не менее, я не могу не признать, что то, что сделал Извольский, он сделал хорошо, ибо этим он дал возможность России быть более или менее спокойной на Дальнем Востоке и заняться делами на западе, дабы не обратиться на западе в страну, голос которой имеет второстепенное значение, подобно, например, голосу, скажем, Испании. Хотя, с одной стороны, несомненно, что ныне на Дальнем Востоке первой скрипкой являемся уже не мы, а Япония, а потому несомненно и то, если мы не бросим авантюристический дух и снова будем затевать авантюры на Дальнем Востоке, то каждое приобретение нами какой-нибудь территории на Дальнем Востоке будет иметь последствием приобретение Японией территорий, несоразмерно значительно большей важности. Поэтому нам бы следовало, в отношении Дальнего Востока, строго придерживаться status quo и не пускаться в новые авантюры.

Между тем, насколько до меня доходят сведения, в последние месяцы мы, повидимому, пускаемся в авантюры в Монголии, и отделение Монголии от Китая, пользуясь неурядицей в Китае, ныне произошло не без нашего тайного влияния и, пожалуй, науськивания.

В 1909 году последовало увольнение министра путей сообщения Шауфуса, во-первых, потому, что он не сходился со Столыпиным, а во-вторых, потому, что он был болен. Вместо него был назначен Рухлов, тот самый Рухлов, о котором я говорил в предыдущих моих воспоминаниях, которого его величество пожелал видеть на посту министра торговли и промышленности в моем министерстве, но я ходатайствовал перед государем императором о том, чтобы это назначение не состоялось, так как Рухлов не имеет решительно никакого понятия о делах министерства торговли и промышленности, хотя и представляет собою толкового и умного чиновника, а главным образом потому, что Рухлов человек—такого великого князя, как Александр Михайлович, вечно занимающегося интригами.

В феврале месяце последовало увольнение от должности обер-прокурора святейшего синода Извольского и назначение

на его место Лукьянова. Как назначение Извольского обер-прокурором, так назначение затем, вместо него, Лукьянова обер-прокурором представляет собою явление весьма удивительное. Извольский был назначен обер-прокурором после вступления на пост председателя совета Столыпина и ухода из обер-прокуроров князя Ширинского-Шахматова.

Столыпин желал назначить обер-прокурором князя Алексея Оболенского, своего близкого родственника, который был обер-прокурором в моем министерстве, но его величество на это не изъявил своего согласия, и тогда был назначен Извольский. Лукьянов же был назначен вместо Извольского потому, что он был рекомендован его величеству министром народного просвещения Шварцем, как человек твердый, а тогда, как и теперь, была особенная мода на так называемых твердых людей.

25 мая последовало назначение товарища министра иностранных дел Чарыкова послом в Турцию, вместо весьма почтенного выдающегося дипломата, прекрасно знающего дела ближнего Востока, Зиновьева. Как раз сегодня появилось в газетах, что Чарыков назначен присутствующим в сенат, иначе говоря уволен от должности константинопольского посла и уволен при особых обстоятельствах; так как обыкновенно послы назначаются членами Государственного Совета, а не в сенат.

Когда последовало назначение Чарыкова послом, то для всех лиц, которые хотя немного знали Чарыкова, было ясно, что Чарыков сколько бы то ни было удовлетворительным послом на месте, требующем деятельности, быть не может.

Чарыков человек недурной, порядочный, весьма ограниченный, склонный к занятиям нумизматикой и другими подобными нервоуспокоительными учеными делами, но никоим образом не обладает тою светлостью ума и талантливостью, которые требуются от деятельного дипломата.

Было не ясно, почему именно потребовалось взятие из Константинополя такого выдающегося и компетентного человека, как бывший посол Зиновьев, и назначение такого — во всех отношениях ниже посредственности, как Чарыков. Тогда говорили, что это произошло от того, что Зиновьев очень стар, хотя Зиновьев в настоящее время состоит членом Государственного Совета и, несмотря на свои преклонные лета, очень бодр.

Затем уже после выяснилось, что нужно было освободить пост товарища министра иностранных дел для Сазонова, который был нашим дипломатическим агентом в Риме при Папе, но главным его достоинством было то, по тому времени, что женат он на сестре жены Столыпина.

*

После довольно постыдной истории с присоединением Боснии и Герцеговины к Австрии, министр иностранных дел Извольский просил государя освободить его от поста министра иностранных дел, так как его положение стало невозможным. Мне тогда Извольский говорил, что государь на это согласиться соизволил, и он поедет послом в Испанию. Когда я его спросил: а кто же займет его пост? Он мне сказал: что, вот, говорят об нескольких кандидатах, все о лицах совершенно, по моему мнению, несоответствующих, и в том числе о князя Енгалычеве, бывшем военном агенте в Берлине, который если известен в высшей дворцовой сфере, то только известен, как человек, обладающий высшей способностью интриги, свойственной семейству графов Игнатьевых; вероятно, потому, что мать его сестра Николая Павловича и Алексея Павловича Игнатьевых.

Я тогда же высказал Извольскому мое удивление о том, каким образом подобные лица могут быть назначены министром иностранных дел. Тогда он мне сказал, что—«что же делать, когда некого». Я ему указал на несколько фамилий, между прочим на Гартвига, нынешнего посланника в Сербии. Он мне ответил, что государь никогда не назначит министром иностранных дел человека, не носящего русской фамилии.

Тогда я сказал Извольскому, что ваш большой грех, что вы себе не взяли таких сотрудников, которых могли бы подготовить на пост министра, и указал, что когда я был министром финансов, то имел около себя целый ряд помощников и сотрудников, которые ныне занимают самые высокие государственные посты. Тогда он мне ответил, что я в дипломатическом корпусе не вижу лиц, которых бы я мог назначить товарищами и подготовить в министры.

Я, между прочим, ему указал на Сазонова, сказавши, что, будучи недавно в Риме, я познакомился с Сазоновым и что Сазонов, хотя человек малоопытный в делах политических, так как не сделал надлежащую карьеру, но если бы он был взят в товарищи, то, как человек умный, он может быть прошел бы школу такую, что мог бы подготовиться к занятию поста министра.

На это Извольский ответил, что это невозможно, что Сазонов был только секретарем посольства и советником посольства очень недолго в Лондоне, затем секретарем дипломатического агентства при Папе Римском и теперь дипломатическим агентом и что все остальные вопросы, особенно восточные и центральные, он не знает и о них понятия не имеет.

Через несколько месяцев после этого Извольский почел для себя выгодным, дабы укрепить свое отношение к Столыпину, назначить Сазонова своим товарищем, а прошло еще несколько месяцев,—Извольский должен был покинуть пост мини-

стра иностранных дел, и Столыпин вывел Сазонова в министры иностранных дел.

Я почитаю Сазонова человеком порядочным, очень неглупым, болезненным, со средними способностями, не талантливым и сравнительно малоопытным.

В конце мая приехало в Петербург турецкое посольство с извещением государю императору о восшествии на престол Оттоманской империи султана Магомета второго.

В конце 1908 года произошла в Турции революция. Султан Абдул Гамид был свергнут с трона. В Турции была объявлена либеральная конституция, и на престол вступил родственник султана Магомет второй, который, в сущности говоря, является ничем иным, как пешкою. Переворот этот совершила так называемая младотурецкая партия, а в сущности говоря, войско.

Таким образом турецкий переворот и перемена режима есть дело исключительно рук военных, и до сих пор новый режим в Турции держится силою военных. Я лично не особенно верю в долговечие этого режима. Мне представляется, что турецкая конституция в том виде, в каком она введена и действует, крайне не прочная, и что скорее Турция от этого переворота потеряла, нежели выиграла. Впрочем, другие лица, в том числе константинопольский французский посол Бомпар, с которым я говорил об этом подробно, вполне не разделяют мое мнение, хотя и не ручаются за то, что существующий турецкий режим не подвергнется снова какому-либо перевороту.

Замечательно, что господин Гучков, путешествуя по разным местам, а в том числе и по Турции, и затем, приехавши в Россию, восхищенно говорил о турецкой конституции и сравнивал младотурецкую партию с партией октябристов. Я думаю, что это сравнение не особенно лестно для младотурецкой партии и, с другой стороны, так как эта младотурецкая партия представляет собою, в сущности говоря, изменников в отношении султана Абдул Гамида, то мне кажется, что и в этом отношении сравнение Гучкова не вполне удачно, так как он, если и имеет какие-нибудь изменнические замыслы, то во всяком случае их бережет при себе.

Я не имею никакого твердого основания утверждать, что Гучков имеет какие-нибудь замыслы такого рода, хотя это лето во Франции мне пришлось говорить с некоторыми живущими там русскими и один из них мне говорил, будто бы еще недавно ему Гучков сделал следующую конфиденцию; он говорил: в 1905 г. революция не удалась потому, что войско было за государя, теперь нужно избежать ошибку, сделанную вожаками революции 1905 года, в случае наступления новой революции, необ-

ходимо, что войско было на нашей стороне, потому я исключительно занимаюсь военными вопросами и военными делами, желая, чтобы, в случае нужды, войско поддерживало более нас, нежели царствующий дом. Передаю эти слова без всякого утверждения в их достоверности.

30 мая его величество с семейством уехал в финляндские шхеры и имел свидание с германским императором, а оттуда отдал визит королю шведскому и 22 июня вернулся в Петергоф.

Затем, отбыл в Полтаву на торжества, по случаю 200 лет Полтавской битвы. Эта поездка стоила очень много денег в смысле охраны государя, при чем там явился особым действующим лицом по охране Курлов, который еще тогда более усилил к себе расположение государя. Как говорят, Курлов для охраны взял в свое распоряжение 250.000 рублей и не представил по поводу этих расходов никакого отчета.

По поводу празднования Полтавской битвы, государь оказал несколько милостей, при чем Кочубея, потомка знаменитого Кочубея, теперешнего начальника уделов, сделал генерал-адъютантом.

По поводу празднеств этой битвы и семейство Столыпина хотело как-нибудь выдвинуться, и поэтому был везде пущен слух, будто бы во время Полтавской битвы, между прочим, отличился какой-то военный Нейдгардт. В публике по этому предмету немало смеялись, так как не понимали, какой Нейдгардт, который будто бы прежде был финляндцем; ибо гораздо более вероятно и даже достоверно, что предки Нейдгардтов были скорее евреями, может быть финляндскими, нежели военными.

29 июня вернулся его величество в Петергоф, и 2 июля прибыл в Петергоф с визитом король и королева датские, т.-е. брат вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Опять был торжественный обед. Я опять имел счастье быть приглашенным на этот обед и опять сидел, как это было при обеде шведскому королю, у большого стола, недалеко от государя и от короля и королевы датских.

Во время обеда король часто смотрел на меня и говорил с императрицей Марией Феодоровной. После обеда был cercle подобно тому, как это обыкновенно принято и как это было во время визита шведского короля, но так как при визите шведского короля я получил незаслуженное оскорбление, о котором ранее рассказывал, то в ту комнату, где был cercle, не пошел,

а оставался в соседней комнате. Затем, мне передавали, будто бы датский король желал, чтобы я был представлен ему, и некоторые высшие лица были очень удивлены, что я не пришел в ту комнату, где происходил cercle. Не пошел же я потому, что не желал себя поставить в такое положение, в какое меня поставил государь император при представлении шведскому королю.

11 июля его величество отправился сделать визит на яхте Штандарт в Шербург президенту Французской республики.

Оттуда его величество поехал в Англию и отдал визит королю Эдуарду VII. При возвращении из Англии в Россию—Петербург, близ Рендсбурга, его величество виделся с германским императором и вернулся в Петергоф 28 июля.

В августе же месяце было утверждено положение об особом приеме евреев в средние учебные заведения. Это было новое ограничение евреев и сделано вопреки закону, помимо Государственной Думы и Государственного Совета.

25 августа Государь уехал в Крым. Из Крыма его величество ездил в Италию отдать столь запоздалый визит итальянскому королю Виктору Эммануилу. Визит этот происходил в Раконидже. Все это было сделано довольно неожиданно и без торжественности в видах большей охраны государя императора.

Государь император из Италии вернулся в Ливадию, при чем оба раза совершил поездку, минуя прямой путь через Австрию, выражая этим как бы протест против присоединения Боснии и Герцеговины к Австро-Венгрии.

16 октября его величество вернулся в Крым.

5 декабря умер великий князь Михаил Николаевич. Государь император вернулся в Царское Село на погребение великого князя Михаила Николаевича, которое совершилось 23 декабря.

Летом и осенью 1909 года я по обыкновению пробыл заграницей. Моя жена совсем поправилась. Я ездил в Виши, а потом оттуда поехал в Биарриц, где я жил несколько месяцев с внуком и дочерью и ее мужем, а к концу ноября вернулся в Петербург.

В феврале месяце 1910 года приезжала в Петербург депутация от французского парламента. Прием этой депутации

частью общества был радушный, но правительственные сферы, а равно Государственный Совет, не знали, на какой ноге себя держать: с одной стороны, они имели перед собой представителей парламента французской республики, а с другой стороны, эта французская республика находится в союзном отношении с Россией, — поэтому при приеме французов официальными сферами мы были только вежливы и не более того.

В феврале приезжал сюда царь болгарский Фердинанд и царица болгарская Элеонора. Я не был приглашен на официальный обед, который давал государь царю и царице болгарским, вероятно вследствие моего несоответствующего, с точки зрения высших сфер, поведения на обеде, данном датскому королю; но царь болгарский с царицей были на балу у графини Шуваловой, рожденной Барятинской, и я был на этом балу, и, хотя я держался в отдалении, но болгарский царь, как только меня заметил, сейчас же направился ко мне и сказал мне следующие слова: «А ведь все произошло так, как вы предвидели и мне говорили». Как следует понимать эту фразу, я не знаю. Я помню, что с болгарским царем, тогда князем Фердинандом, я имел два довольно продолжительных собеседования,— одно на Елагином острове, когда князь Фердинанд приезжал ко мне с визитом, а другой раз у болгарского посланника, когда я был приглашен туда обедать. Обед давался в честь князя болгарского, хотя число приглашенных было очень ограничено.

Я в Болгарии не бывал и не особенно в курсе дела, но насколько я понимаю царя болгарского—он культурный и в высокой степени ловкий и характерный человек. Благодаря его способностям, личным качествам, он сделался царем, и мне кажется, что он в настоящее время находится в гораздо более близких отношениях с Австрией, нежели с Россией, хотя и старается сохранить отношения с Россией.

9-го марта приезжал в Царское Село король Петр сербский. Я его совсем не видел, так как не был приглашен на обед, который давал ему император.

В апреле месяце, а именно 23-го, произошло выдающееся мировое событие, а именно кончина короля Эдуарда VII. Несомненно, что король Эдуард был выдающийся монарх, что я приписываю, с одной стороны, его личным природным качествам, а с другой стороны, это был монарх, который знал жизнь, ибо он вращался во всех складках этой жизни впредь до вступления на престол уже в очень пожилых летах.

Благодаря ему Англия вошла почти в союзные отношения с Францией и благодаря ему установлено тройственное соглашение Англии, России и Франции. Эдуард был на мировом поприще сильный соперник императору Вильгельму, ибо он показал, что может, если не вертеть императором Вильгельмом, то во всяком случае, часто загораживал ему поле мировой дипломатической деятельности. Несомненно, что для Вильгельма смерть Эдуарда была большим политическим счастьем.

2-го июня их величества отправились в шхеры, а оттуда в Ригу на торжества, по случаю 200-летнего присоединения Прибалтийского края к России, и государь вернулся затем в Петербург только 19-го июня.

Ранее торжеств в Риге, связанных с открытием памятника императору Петру I, Столыпиным и его окружающими был пущен слух, что, мол, на этих торжествах Столыпин будет возведен в графы. Это довольно обыденный прием, своего рода провокаторский—бросить какую-нибудь мысль в оборот, в надежде, что, может быть, кто-либо и поймается на эту удочку, но в данном случае заряд был холостой.

7-го августа его величество принимал английского чрезвычайного посла, приезжавшего сообщать о восшествии на престол Георга V. Георг V, двоюродный брат, по матери, государя императора, и между ними есть чрезвычайное сходство, хотя мне представляется, что император Николай несколько красивее короля Георга. Затем, повидимому, император Николай обладает большими способностями, чем король.

Так как ее величество продолжала болеть болезнью, которою она болела уже много лет, характера нервно-психического, отражающегося на сердце, то их величества отправились в замок, принадлежащий дармштадтскому дому, находящийся близ Наугейма.

Я с июля месяца до дня приезда его величества был во Франкфурте, час езды от Наугейма. Приезд их величеств в Наугейм был заранее известен, но если бы и не был заранее известен, то он сделался бы известен, потому, что вдруг многим русским, пресмыкающимся перед высшими сферами, оказались необходимы воды или наугеймские, или близ Наугейма лежащие, между прочим, Гомбурга.

Поэтому в Гомбурге явились многие русские высокопоставленные особы, затем за несколько дней ранее приезда их вели-

честв в Наугейме, во всех окрестностях и во Франкфурте появились сотни наших агентов тайной охранной полиции.

Эти русские агенты русской секретной полиции носят на себе особый отпечаток: в костюме, манерах, так что, с маломальски опытным взглядом, всегда можно их узнать безошибочно, и я заметил многих из них потому, что они с особым любопытственным удивлением встречались со мной и чуть ли не стремились сделать мне поклон.

Независимо от русской полиции, приехали во Франкфурт и Наугейм многие полицейские из Берлина.

Перед приездом государя во Франкфурт, в доме, на очень видном месте, была показываема картина, недурно нарисованная,—погром евреев в Киеве после 17-го октября 1905 года, нарисованная каким-то польским художником, при чем вдали виднелась фигура императора Николая II.

Несомненно, что эта картина имела характер провокационный, она изображала события, которые в действительности имели место, может быть в несколько преувеличенном виде.

Франкфуртская полиция не знала, как поступить с этой картиной, уговаривала всячески антрепренера этой выставки снять картину и закрыть выставку. Антрепренер не поддавался; в конце концов, кажется, вмешалось городское управление, которое рассуждало совершенно правильно, что пребывание государя около Франкфурта даст большие заработки городу, а поэтому не в интересах города заниматься политикой в данном случае, а тем более способами не вполне приличными, так как можно иметь те или другие мнения относительно русского правительства, вообще, и, в частности, русского императора, тем не менее, никоим образом нельзя забывать, что русский император является гостем Германии. Простая вежливость требует к нему подобающего и приличного отношения.

Я покинул Франкфурт и поехал в Виши в день приезда их величеств в Фридберг, между прочим потому, чтобы не встречаться со многими из лиц свиты государя. Ее величество не ездила из замка Фридберга в Наугейм принимать ванны, а большею частью ванны эти брала в самом замке. Вообще лечение ее шло, как мне говорили франкфуртские профессора и знаменитости, недостаточно рационально и именно по этой причине Наугейм не принес ее величеству надлежащей пользы. Между прочим, оказалось, что в Наугейме наилучшие профессора—еврейского происхождения, и герцог дармштадтский рекомендовал своей сестре—императрице одного доктора, который оказался еврейского происхождения. При той атмосфере жидоедства, в которой мы находимся, конечно, было сочтено неудобным лечиться под руководством, хотя и очень известного доктора, но из евреев; поэтому императрица была в руках их

петербургского, состоящего при них доктора Боткина и местного доктора не еврея—лиц, не имеющих никакого авторитета, а к тому же Боткин не имел никакой практики в наугеймских водах.

Во время пребывания государя в Фридберге, во Франкфурте жил министр иностранных дел Извольский. В это время вопрос об уходе Извольского уже был решен. Извольский хотел занять место посла в Лондоне; поэтому был вызываем посол из Лондона граф Бенкендорф с тем, чтобы уговорить его занять пост посла в Париже, но Бенкендорф на это не согласился и остался в Лондоне, а Извольский был назначен на пост посла в Париже, а вместо него управляющим министерством сделался товарищ его Сазонов.

Это случилось как раз перед поездкой государя в Потсдам. Сперва государь и его свита пожелали устроить свидание с германским императором где-нибудь около Наугейма. Германский император счел, не без основания, для себя несоответственным, раз государь наш находится в Германии, ехать к нему с визитом и пожелал, чтобы наш государь приехал к нему с визитом в его постоянное местопребывание, т.-е. в Потсдам.

Государь этому желанию, весьма правильному, подчинился и поехал в Потсдам, и там были предрешены и в принципе установлены все пункты соглашения нашего с Германией, относительно открытия Персии полному экономическому влиянию Германии, о чем я говорил ранее. Это соглашение с Германией относительно Персии, которое было естественным следствием нашего соглашения с Англией относительно Персии, уничтожило даже те выгоды, сравнительно с теми выгодами, которые мы предоставили Англии, которые на нашу долю вытекали из русско-английского соглашения.

Были ли в Потсдаме еще другие соглашения или нет, это неизвестно. Я думаю, что нет. Но несомненно, что были весьма дружеские разговоры, и разговоры эти были не только между управляющим русским министерством иностранных дел и германским канцлером и германским министром иностранных дел, но также и между двумя императорами.

Вообще, поездка государя в Потсдам значительно перевернула стрелку нашего политического благоволения от Англии к Германии. В настоящем, 1912 году, стрелка эта опять повернулась в сторону Англии, что было явно демонстрировано недавно, несколько недель тому назад, визитом к нам английских общественных и государственных деятелей. Англичане были встречены у нас, как наверху, так и в обществе, и в правительственных сферах с особой дружбой, как будто бы приехали исконные наши друзья, при чем совсем было забыто, что англичане в послед-

нее столетие всюду проявляли к нам свое недружелюбие и нанесли нам массу вреда в международных отношениях и в военных столкновениях.

Я думаю, что такой оборот стрелки в сторону Англии не пройдет для нас даром, и германский император выдерет нас за это немножко за уши. Если он еще это не сделал, то только потому, что в настоящее время в Германии происходит парламентский кризис, так как новые выборы в рейхстаг дали крайне левую палату, совсем не соответствующую ни воззрениям Вильгельма, ни традициям германского правительства.

Когда, после визита, сделанного русским императором в Потсдам, государь император воротился опять в Дармштадт, откуда вернулся в Россию только 3-го ноября, было замечено то обстоятельство, что во время официального обеда, данного германским императором русскому, при пребывании нашего императора в Потсдаме, было решено не говорить никаких, произносимых в таких случаях, речей: поэтому ни германский император, ни русский не сказали ни слова.

Это объяснили тем, что сказать истинную причину приезда государя в Потсдам, а равно и выяснить те результаты, которые последовали вследствие этого приезда, было неудобно, а сказать, что этот приезд не имел политического характера, а только характер чисто семейный, значило бы сказать неправду и сказать то, чему Европа не поверит.

После сделанного русским императором официального визита из Дармштадта в Потсдам, германский император посетил русского, поехавши для сего в Дармштадт. Это посещение носило частный, фамильный характер.

После совершонных визитов Сазонов был сделан из управляющего—министром иностранных дел, что означало, что германский император остался Сазоновым доволен. Не знаю, насколько Сазонов оправдает надежды и доверие германского императора.

В конце декабря 1910 года умер эмир бухарский, и эмиром был сделан его прямой наследник, который, между прочим, воспитывался в России и служил некоторое время в русских войсках.

В конце 1910 года произошло и следующее весьма важное событие—умер наш великий писатель граф Толстой. Событие это дало повод к различным инцидентам. Все газеты, конечно, не могли не быть переполнены статьями по поводу этого события. Правительство не знало, как отнестись к этому событию.

Его величество сделал резолюцию на донесении о смерти Толстого, что Толстой был великий художник, а затем, что бог ему судья.

Я со своей стороны, все-таки, думаю, что Толстого, кроме бога, будут постоянно судить русское общество и русский народ, что Толстой кроме того, что был великим писателем-художником, был и великим человеком, что многие из его политических взглядов, может быть, неверны, и я лично нахожу, что некоторые из них представляют заблуждение, но что, тем не менее, Толстой не только в области художества, но и в области мышления оказал и будет оказывать на Россию и не только на Россию, но и на умы всей Европы громадное влияние.

Влияние его происходит от того, что он в своих мыслях и суждениях умел отрешиться от многих мнений, которые внушены исключительно эгоистическою природою человека. Наконец, величайшая заслуга графа Толстого,—это то, что он искренно верил в бога и своим громадным талантом умел внедрить эту веру в сердца многих тысяч людей и, таким образом, боролся с атеизмом и русским нигилизмом, которые имели такое большое влияние на умы молодого русского поколения семидесятых годов прошлого столетия.

Что касается правительства, то и тут оно хорошо не знало, на какой ноге танцовать: с одной стороны, совсем игнорировать такое великое событие, как смерть Толстого, было невозможно; безусловно охулить этого великого человека было невозможно, а с другой стороны, допустить выражение особой печали и печальных манифестаций по поводу смерти Толстого было неудобно, а потому и в этом случае, выражая как бы соболезнование по поводу смерти, вместе с тем, принимали исподтишка полицейские меры для того, чтобы все соболезнования выражались в обществе в возможно скромных размерах.

Замечательно то, что ни один, не только из русских, но также и из иностранных писателей, не имел и ныне не имеет такого мирового значения, как Толстой. Никто из писателей заграницей не был столь популярен, как Толстой. Этот один факт сам по себе указывает на значение таланта этого человека.

В конце 1910 года произошло неожиданное назначение управляющим министерством народного просвещения Кассо. Кассо был назначен вместо Шварца; оказалось, что и Шварц являлся недостаточно зараженным идеями союза русского народа, а потому не соглашался со Столыпиным.

Столыпин при всем своем либеральничании требовал от министра таких мер и такого игнорирования законов, на которые Шварц не пошел. Вследствие этого, он и оставил пост министра народного просвещения.

Назначение Кассо для всех было загадкой, ибо о том, кто такой Кассо, никому не было известно, ибо этот господин никогда ни в чем себя не проявил. По происхождению он греко-молдаванин; по воспитанию—воспитанник французских и немецких средних и высших учебных заведений; по родству—он знаменит тем, что приходится, кажется, племянником Ренану по его жене, если не племянником, то каким-то родственником.

На все вопросы: откуда взялся сей министр—первые недели никто ничего не мог ответить. Затем выяснилось, что Кассо очень близкий человек родственницы Столыпина, живущей в Москве, и что там Столыпин с ним познакомился, и его тетка ему его очень рекомендовала. Как она ему его рекомендовала, конечно, это остается тайной, но можно думать, что она, не имея компетентности судить о научных заслугах Кассо, внушила своему племяннику, что Кассо милый человек, отличный собеседник и человек, который, будучи министром народного просвещения, никогда ничем не будет стесняться, а уже тем паче русскими законами.

Такая аттестация, конечно, не могла не прельстить Столыпина и побудить его назначить на пост начальника просвещения русской империи. Говорили, что Кассо не был известен также и его величеству, но когда его величество познакомился с Кассо, то, вероятно, последний государю понравился, так как уже 26-го февраля 1911 года он из управляющего министерством был сделан министром.

Когда это назначение Кассо управляющим было сделано, я был в Биаррице, а теперешний глава правительства, а тогда бывший министром финансов, Коковцов, был в Париже. Я написал, между прочим, Коковцову о том: что это у нас творится, откуда идут эти все престранные назначения на различные высокие посты и в том числе назначение Кассо? На это Коковцов мне ответил: что он по этому предмету не знает ничего и ничего не может разъяснить, так как он сам недоумевает, а затем в письме, которое у меня хранится, прибавляет, что ныне процветает полное, неприкосновенное самодержавие, но только самодержавие наоборот, что означает: что самодержцем является не государь император, а его премьер-министр.

19-го февраля 1911 года последовало празднование 50-летия освобождения крестьян. Сначала правительство было хотело не принимать никакого участия в этом празднестве, но затем был дан свыше ордер, чтобы лучше это событие взять в свои руки, дабы не допустить, чтобы крайние партии по этому случаю сделали различные демонстрации. Так и было поступлено: все, что надлежало сделать, с точки зрения официальной,—было сделано.

2-го марта праздновалось 200-летие правительствующего сената. По поводу этого события его величеству было угодно подчеркнуть хорошее поведение сената в последние годы, в том смысле, что Сенат более руководствовался целесообразностью и желаниями свыше, нежели законами. Поэтому государь император присутствовал при официальном торжестве в самом Сенате, а затем и дал сенаторам в Зимнем дворце торжественный обед.

Замечательно то, что на эти торжества не был приглашен высокопочтеннейший человек, член Государственного Совета, обер-камергер, министр юстиции императора Александра II, граф Пален, выдающийся государственный деятель по своему благородству и по своей порядочности, человек, которому ее величество, вдовствующая императрица-мать, делает визиты и бывает у него. И даже по поводу этого события не вспомнили, что если такой человек до сих пор не сенатор, то только по забывчивости. А между тем, по поводу этого торжества, такому господину, как нынешний министр юстиции Щегловитов, дали звание статс-секретаря, сделали сенатором. Кроме того, сделали сенаторами и других лиц, которые, во всяком случае, и менее достойны и менее имеют права, нежели высокопочтенный граф Пален.

В 1910 году член Государственного Совета Пихно, о котором я имел случай говорить в моих воспоминаниях, набрал соответствующее количество подписей и представил в Государственный Совет проект закона, который изменял порядок выборов в члены Государственного Совета от юго-западных и северо-западных губерний.

Дело в том, что по закону каждое губернское земство выбирает в Государственный Совет члена от своей губернии. Этот закон—постоянный, а так как есть несколько губерний, в которых земство еще не было введено,—да и до сих пор в некоторых губерниях оно не введено,—то для таких губерний был установлен временный закон, по которому члены Государственного Совета от этих губерний выбираются не земствами, а съездами землевладельцев.

Так как в северо-западных и юго-западных губерниях масса землевладельцев поляков, то, естественно, члены Государственного Совета от этих губерний почти все были поляки. Было только одно исключение, а именно: в Киевской губернии был выбран русский помещик граф Бобринский.

Пихно, взамен временного закона о выборах в не земских губерниях, представил новый закон, который был комбинирован таким образом, чтобы при выборах поляки оставались в меньшинстве, а чтобы были выбираемы русские дворяне.

Нужно заметить, что если в северо-западных и юго-западных губерниях имеют большое влияние польские помещики, то происходит это потому, что они, не имея сколько-нибудь широкого доступа к государственной службе, сидят в своих имениях и занимаются ими, вследствие чего и имеют на местах большое влияние.

Проект закона Пихно встретил возражения членов Государственного Совета, а в том числе и от меня.

При рассмотрении дела в общем собрании явился Столыпин, который высказал в довольно мягкой форме, что, конечно, не вполне естественно, что от западных губерний все члены Государственного Совета—поляки, но, тем не менее, он считает, что не следует принимать закона, предложенного Пихно, так как существующее положение в западных губерниях—временное, и что он, с своей стороны, обязуется в возможно скором времени представить закон о введении земского положения, как в северо-западных, так и юго-западных губерниях.

Вследствие этого закон Пихно не был принят, хотя я уверен, что он не был бы принят и в том случае, если бы Столыпин и не сделал сказанного заявления.

Затем министерство внутренних дел начало разрабатывать закон о введении земства в северо-западных и юго-западных губерниях.

Последовали с мест, со стороны черносотенцев и националистов, которые, конечно, составляют крайне незначительное меньшинство, но по нынешним временам имеют большой голос,—ходатайства, чтобы закон о введении земства был так составлен, чтобы они приобрели преимущественную, если не исключительную, власть над местными нуждами.

После долгих перипетий, Столыпин, конечно, таким тенденциям уступил, так как он видел, что они находят сочувствие в высших сферах.

Поэтому до Государственного Совета дошел такой закон, по которому посредством искусственных комбинаций от земских выборов были, если не устранены, то в чрезвычайной степени ограничены крестьяне, из которых громадное большинство в этих губерниях составляют русские и православные.

Крестьяне были устранены потому, что ныне мы живем в такое время, когда действует провозглашенный Столыпиным принцип, что государство и государственная власть должны существовать для сильных, а не для слабых, а как известно в России почти всю массу населения составляют слабые, и только незначительное меньшинство составляют сильные, преимущественно дворянство.

Само собой разумеется, что если бы на земских выборах был дан соответствующий голос крестьянству, то русские поме-

щики-дворяне, из которых большинство не живет на местах, а служит на государственной службе, и которые купили там имения только для спекуляции,—эти дворяне попали бы в земство только в самом незначительном количестве; земство же преимущественно составило бы русское крестьянство и только отчасти польское дворянство.

Проект Столыпина был составлен с таким расчетом, чтобы польских помещиков по возможности исключить; в особенности же проект этот пугался русского крестьянства, а потому и права русского крестьянства совершенно ограничил.

Проект этот встретил в Государственном Совете решительный отпор.

Крайние правые находили, что вводить земство в этих губерниях совсем не следует, так как губернии эти, в виду разнородности населения, а также особого стратегического и политического их положения находятся совершенно в исключительных условиях.

Умеренные дворяне были против этого проекта, потому что находили невозможным делать различие между дворянами поляками и дворянами русскими, не без основания указывая, что такое различие, т.-е. различные курии для выбора поляков-дворян и дворян-русских ведут не к объединению дворянства в этих губерниях, а к полному их разъединению, между тем, как в настоящее время, в громадном большинстве случаев, между русскими дворянами и дворянами-поляками существует полная солидарность.

Прения были очень жарки, и я должен был высказать Столыпину многие вещи, крайне для него неприятные. В результате, посредством голосования, несмотря на то, что Столыпин пришел давать голоса в пользу самого себя, вместе со всеми своими министрами—членами Государственного Совета, все-таки закон Столыпина был отвергнут.

Столыпин был этим чрезвычайно озадачен и не без основания считал, что главным виновником его провала был я, вследствие моих речей и данных, мною представленных, хотя я в Государственном Совете никогда не принадлежал ни к какой партии и в настоящее время также не принадлежу ни к какой партии, а поэтому говорю лично от себя и только то, что я лично думаю.

По этому законопроекту я участвовал не только в общем собрании Государственного Совета, но и был выбран из членов Государственного Совета в комиссию, рассматривавшую предварительно этот проект.

В этой комиссии я обнаружил и указал на то, что цифры, представленные министерством внутренних дел в доказательство

правильности некоторых выводов, сделанных в представлении министерства внутренних дел, заведомо подложны.

По поводу такого моего указания, представитель министерства внутренних дел в этой комиссии, Гербель (недавно назначенный членом Государственного Совета) сначала резко мне возражал, но затем не мог молчаливо не согласиться, что мои указания точны.

Вероятно, это еще более рассердило Столыпина, и с тех пор Столыпину во всех делах мерещился я. Когда Столыпину говорили о его врагах, то он говорил, что не придает значения всем своим врагам, единственно кого он боится,—это—графа Витте.

На это я через друзей Столыпина ему передал, что я никогда его врагом не был и не нахожусь в числе его врагов, а нахожусь только в числе тех лиц, которые поняли громадную разницу, существующую между тем Столыпиным, который говорит благородные и либеральные речи, и тем Столыпиным, который действует как министр внутренних дел и глава правительства; что действия его отличаются такой произвольностью и бессовестностью, до которых никогда не доходили самые реакционные министры, как, например, Вячеслав Константинович Плеве; что происходит это именно потому, что те реакционные министры были люди умные, чего бы я не мог сказать о Столыпине.

После такого вотума Государственного Совета, Столыпин сейчас же подал государю императору прошение об отставке, заявив при этом, что он может остаться лишь при том условии, если его императорское величество утвердит его предположения по поводу вотума Государственного Совета.

Государь эту отставку принял весьма хладнокровно, сказав, что подумает и даст ему ответ, и даже не интересовался узнать, какие это условия, при которых Столыпин согласился бы остаться председателем совета министров.

Таким образом после подачи Столыпиным в отставку все были уверены, что отставка эта будет принята, но тут, к сожалению, вмешались известные своими интригами великие князья Александр Михайлович и Николай Михайлович; они начали уговаривать Столыпина взять свою отставку обратно; начали пропагандировать в высшем обществе, что если Столыпин уйдет, то произойдет развал.

К великому сожалению, кажется, впутали в эту историю достойнейшую и благороднейшую императрицу Марию Феодоровну, по крайней мере о том, что ее величество оказывала содействие тому, чтобы Столыпин не ушел—слух об этом был

распространен по всему Петербургу; вытекало же это, может быть, из совершенно случайных обстоятельств, а именно из того, что как-то раз, в один из этих дней, его величество был в Аничковском дворце у своей августейшей матери, а с другой стороны, и из того обстоятельства, что великий князь Александр Михайлович, как известно, женат на дочери Марии Феодоровны, сестре императора Николая II.

Столыпин, видя такое настроение, конечно, решил не делать уступок и потребовал от его величества исполнения его кондиций, при которых он согласен остаться председателем совета министров.

Кондиции эти заключались в следующем:

1-я. Распустить на несколько дней Государственную Думу и Государственный Совет, а в эти дни, в силу статьи 87 основных законов, ввести закон о земствах в западных губерниях, который провалил Государственный Совет.

Эта кондиция была самая бессовестная, ибо она в корне и безусловно нарушала основные законы государства, а следовательно и конституцию; независимо от этого она ставила его величество в самое неудобное положение как в отношении законодательных собраний, так и в отношении его верноподданных ультра-правых.

2-я кондиция Столыпина была следующая:

Чтобы предложить членам Государственного Совета—крайним правым—Дурново и Трепову, которые, по мнению Столыпина, интриговали,—вели против этого закона интригу,—заболеть и получить отпуск до 1-го января следующего года.

Дело в том, что по закону присутствующие члены Государственного Совета не могут быть сменены или уволены. Неправильное толкование закона дало повод правительству каждый год 1-го января в опубликованных списках присутствующих членов Государственного Совета не помещать тех членов, которые ему нежелательны. В этом заключается нарушение закона. Но, во всяком случае, после 1-го января члены, помещенные в списках, как присутствующие, никоим образом не могут быть исключены из присутствующих, а поэтому Столыпин потребовал, чтобы Дурново и Трепову были даны отпуски до 1-го января с тем, чтобы они до 1-го января не приходили в Государственный Совет, после же 1-го января Столыпин, конечно, имел намерение их в списки не включить.

Очевидно, такое требование идет вразрез не только с основными законами, но является простым издевательством как над законами, так и над личностями, ибо можно относиться с различных точек зрения к членам Государственного Совета Дурново и Трепову,—я не их поклонник, так как не могу сочувствовать их ультра-правой программе,—но, тем не менее, оба эти лица,

как члены Государственного Совета, действовали и действуют в пределах законом им предоставленных прав, а поэтому так шельмовать членов Государственного Совета: давать им отпуска, которых они не просят, не только составляет нарушение основных законов, но и издевательство над этими лицами.

Кризис, заключавшийся в том, примет ли государь кондиции Столыпина или не примет, продолжался чуть ли не более недели, при чем в это время указанные великие князья и другие члены общества вели отчаянную пропаганду, уверяя, что только благодаря Столыпину прекратились революционно-анархические акты, т.-е. покушения, и что как только Столыпин уйдет—покушения эти возобновятся. Конечно, такая перспектива могла очень действовать на высшие сферы.

В конце концов, Столыпин и его прихвостни торжествовали: Государственная Дума и Государственный Совет были распущены на эти три дня, и в это время был введен по ст. 87 закон о земствах в западных губерниях; а засим, Дурново и Трепов получили предложение воспользоваться отпуском.

В конце концов, Столыпин и его прихвостни торжествовали, но для мало-мальски дальновидного человека было ясно, что это торжество накануне его политической гибели.

Когда это случилось, вся Россия была этим возмущена, были возмущены как Государственная Дума, так и Государственный Совет.

Столыпин давал объяснения своих действий как в Государственном Совете, так и в Государственной Думе, при чем в Государственном Совете он давал объяснения весьма почтительные для Государственного Совета и не особенно лестные для Государственной Думы, а в Государственной Думе давал объяснения весьма подобострастные в отношении Государственной Думы и весьма не лестные для Государственного Совета. Но на этот раз Столыпин не провел ни Государственный Совет, ни Государственную Думу.

Как Государственный Совет остался при мнении о неправильности его действий, так и Государственная Дума,—которая в этом отношении имеет большой простор и самостоятельность,—признала действия Столыпина безусловно неправильными и незаконными.

А агент Столыпина в Государственной Думе, глава так называемой партии 17-го октября, Гучков заявил, что он порицает действия Столыпина и благоразумно удалился из Петербурга, предприняв поездку на Дальний Восток, конечно, в расчете

переждать, что из всего этого выйдет. Если Столыпин провалится, то это будет сделано без него, а если снова всплывет, то тогда он себя не скомпрометирует в глазах Столыпина и опять, посредством угодничества, найдет в нем поддержку и благоволение.

Член Государственного Совета Трепов был очень близок к государю и пользовался особой милостью его величества, поэтому и имел право просить у его величества аудиенции для передачи различных своих государственных впечатлений и мнений. Этим правом он воспользовался и в настоящем случае. Дурново же молча подчинился приказанию воспользоваться отпуском.

Член Государственного Совета Гончаров, весьма почтеннейший человек, принадлежащий к правой группе и ранее перед Дурново бывший лидером правой группы, так возмутился всем этим, что просил уволить его из членов Государственного Совета.

В тот же день, когда все это случилось, вечером, по телефону из редакции газет меня спрашивали: не получил ли и я приказа воспользоваться отпуском?

Таким образом, очевидно, ходили слухи, что я был в числе этих членов Государственного Совета—Дурново и Трепова, но слухи эти оказались неосновательными, потому что я ничего не получал.

Указанные же великие князья торжествовали и могли торжествовать, так как, конечно, все это дело в значительной степени было делом их рук. Так что не совсем без основания я слышал такой афоризм: что Столыпина убил не Багров, а эти великие князья, т.-е. иначе говоря, если бы великие князья не вмешались в дело, до них совсем не касавшееся, и Столыпин вышел бы в отставку, то, по всей вероятности, он преспокойно, благополучным бы образом жил, сохранив за собой уважение, как такой государственный человек, который при известных обстоятельствах, для сохранения собственного достоинства, умеет выходить в отставку.

Какое горячее участие указанные великие князья принимали во всем этом деле, между прочим, видно из следующего:

Как раз после того, как государь принял кондиции Столыпина и вернул ему отставку, был вечер у князя Платона Оболенского. Я на этот вечер не поехал, а там была моя жена, и среди приглашенных был очень близкий мне человек—член Государственного Совета Стахович, был там и великий князь Николай Михайлович. Конечно, на этом вечере очень много говорили

о происшедшем. Великий князь распинался за Столыпина и выражал Стаховичу такое мнение: что если бы от него зависело, то он не только предложил Дурново и Трепову воспользоваться отпуском, но просто разогнал бы весь Государственный Совет.

Через некоторое время после случившегося, мне передавал тот же Стахович, что он, будучи в давнишних хороших отношениях с Гучковым, беседовал, однажды, с ним относительно всего этого происшествия, при чем Гучков ему сказал, что Столыпин еще 1-го января просил государя не помещать в список присутствующих членов государственного совета Дурново и Трепова, но что его величество на это не согласился. Затем, Столыпин прибавил Гучкову:

«Если бы я захотел, чтобы граф Витте не был помещен, то я уверен, что на это его величество согласился бы; но только я не решился этого сделать, так как я знаю, какою большею репутацией пользуется граф Витте за границей, и это произвело бы большой шум в Европе».

Еще на-днях, на приеме у вновь прибывшего австро-венгерского посла, ко мне подошел один старец в ленте и спросил меня, не могу ли я его принять. Я сказал, что с большим удовольствием, и указал на следующий день и час. Старик этот ко мне явился и начал рассказывать взволнованным голосом следующее: он представился, что он член совета министра внутренних дел, тайный советник Пшерадский, что он один из ближайших сотрудников Столыпина, что Столыпин назначил его членом совета, и вот что с ним случилось. Рассказ его часто прерывался слезами.

Когда,—говорил он,—государь не принял последней отставки Столыпина по делу о введении земств в западных губерниях, то главный мотив, который увидел государь для отказа, был тот, что, мол, Столыпин прекратил революцию и что при нем не будет более производиться всяких анархических убийств. Столыпин это и хотел доказать, что при нем, действительно, более революционно-анархических убийств быть не может.

Как раз через некоторое время последовало убийство одного прокурора в поезде. Убийство это явно было совершено революционерами-анархистами, но все следствие было ведено так, что, мол, это было простое убийство, на почве грабежа.

Наконец было поймано лицо, которое прямо указало, что оно убило и по решению революционного комитета. Это лицо поместили в Севастополе в тюрьму. Затем тюремщики устроили так, что дали возможность этому лицу бежать, но одновременно

сделали таким образом, что как только он убежал, часовые его сейчас же застрелили, и, таким образом, следы того, что это было преступление на почве революционно-анархической, скрыты.

Затем произошло следующее, лично его, старика, касающееся: на сестре его жены женат некий морской офицер Курош. Этот Курош в 1905 году, когда в Финляндии, в крепости Гельсингфорс, тамошние революционеры подняли революционный флаг, со своего судна стрелял в этих революционеров. Тогда же было постановлено предать его смерти, и послали ему этот смертный приговор, но почему-то, по той или другой причине, приговор этот не был приведен в исполнение.

Затем, так как теперь снова обострились отношения между Финляндией и русским правительством, то финляндские революционеры снова подняли вопрос о Куроше, но решили, что лучше убить не самого Куроша, а его сына—юношу 17-ти лет, находящегося в одном из петербургских учебных заведений, и в мотивировке своего решения постановили, что если убьют Куроша, так что же,—Курош мучиться не будет, а вот, если они убьют его сына, то это тогда будет более мучительно для Куроша, потому что он сына любит и всю свою жизнь будет мучиться и таким образом получит должное возмездие за то, что он стрелял в революционеров.

Вот,—продолжал этот почтенный старик,—Курош поехал в плавание. Мы поехали на дачу, которую занимал Курош, где-то недалеко от Риги. Там были: мой племянник, его, Куроша, сын и жена Куроша. Жена уехала. Таким образом на даче остался этот старик Пшерадский, его жена и сын Куроша. Вот старик мне рассказывает: раз вечером, когда этот молодой человек ложился спать, то он и его жена пришли в его комнату с ним проститься. Он, племянник старика, подошел к окну и хотел его запереть, а окно выходило в сад,—в это время у окна появился какой-то человек и в то время, когда он закрывал окно, сделал несколько выстрелов и убил его наповал.

Началось следствие и вот, — говорят, — после следствия, а следствие вел судебный следователь Александров,—тот самый, который в последней стадии вел судебное следствие о покушении на мою жизнь и который никак не мог найти виновных,—так вот Александров повел все следствие так, что, мол, этот молодой человек сам застрелился.

Он сам, этот член совета министра внутренних дел, служил очень долго в судебном морском ведомстве и сам юрист. Когда он начал смотреть судебное следствие, он увидел, что все дело велось до такой степени безобразно, что даже в показаниях некоторых лиц судебный следователь вынимал средние подлинные листы и вставлял такие, какие были нужны для доказательства, что этот сын сам себя убил, а не убит революционерами, что

отец этого Куроша, моряк, получил от государя-императора, когда сын был убит, очень сердечную телеграмму, с выражением соболезнования, что это убийство в высокой степени печально.

Старик говорил мне: «Ведь моего племянника убили на моих глазах и, несмотря на это, следствие ведется так, чтобы доказать, что тут было простое самоубийство». Когда я спросил этого старика: «Я не понимаю, почему это делается?» Он ответил: «Очень просто, Столыпин, после того, как остался председателем, т.-е. после того, как его величество не принял его отставки по делу западных земств, вследствие уверений, что с уходом Столыпина начнутся революционные выступления, дал приказ, чтобы все те убийства, которые будут на политической почве, признавать, что эти убийства есть простые убийства. Соответственно этому, было дано распоряжение, и это распоряжение и практикуется».

Так как убийство Куроша произошло еще, когда Столыпин был жив, то следствие и приняло это направление. Когда я спросил старика: «Скажите, пожалуйста, вы обращались к морскому министру или министру юстиции?» Он сказал, что обращался к морскому министру и что тот возмущался, а что касается министра юстиции, то он, старик, сказал, что он не обращался к такому негодяю, так как, в сущности говоря, Щегловитов держался все время министром юстиции при Столыпине только потому, что был у него лакеем, и министр юстиции, глава русского правосудия, обратился в полицейского агента председателя совета министров.

18 марта последовало смещение Воеводского с поста морского министра и назначение его членом Государственного Совета; вместо Воеводского был назначен его величеством адмирал Григорович,—бывший товарищ Воеводского.

Григорович ныне пользуется большим расположением государя императора; насколько он оправдывает расположение его величества, это мы увидим в будущем.

Пока же носятся такие слухи: что Григорович человек толковый, знающий, впрочем, достаточно переговорить несколько слов с Воеводским и с Григоровичем, чтобы видеть разницу между тем и другим: второй—человек серьезный, а первого—серьезным человеком считать трудно.

Затем, говорят, что будто бы Григорович ведет все дело весьма рискованно, что все его обещания и проекты в конце концов не будут выполнены, что, между прочим, теперь в морском министерстве водворилось такое взяточничество, какого прежде никогда не было,—но все это пока одни разговоры.

Вследствие отказа Гучкова от звания председателя Государственной Думы, 22-го марта последовало избрание другого пред-

седателя—Родзянко, человека неглупого, довольно толкового; но все-таки главное качество Родзянки заключается не в его уме, а в голосе,—у него отличный бас.

2-го мая последовало назначение обер-прокурором святейшего синода—Саблера и увольнение от этой должности Лукьянова. Я нахожу это назначение правильным, ибо все те обер-прокуроры, которые были после Победоносцева впредь до Саблера, были, собственно говоря, в церковных делах дилетантами, а поэтому, не водворив новых начал в русской православной церкви, которые были намечены комитетом министров при рассмотрении указа 12 декабря 1904 года, вместе с тем не могли иметь никакого влияния на текущую жизнь и текущие церковные дела, по той простой причине, что они не знали ни лиц, ни дел.

Я находил назначение Саблера правильным, потому что во всяком случае Саблер был товарищем обер-прокурора святейшего синода при Победоносцеве, служил очень долго в святейшем синоде и, несомненно, знает во всех деталях дела всех церковных учреждений. Что касается принципиальных взглядов Саблера, то мне представляется, что он является таким же лицом, каким являются и все другие министры, т.-е. такие государственные деятели, которые всегда идут более или менее по ветру.

Может быть, косвенно, я несколько повлиял на назначение Саблера, потому что за несколько месяцев до его назначения,—месяца за $1^1/_2$—2, я говорил о Саблере очень подробно с одним из весьма почтенных иерархов, который ни в какие политические дела, ни в какие политические интриги не вмешивался, который был далек от Иоанна Кронштадтского, Гермогена, Иллиодора и Распутина и проч. Я высказывал ему мое мнение, что, может быть, при настоящем положении вещей, всего было бы лучше, если бы обер-прокурором был сделан Саблер, а затем, мне сделалось известно, что этот почтенный иерарх проводил эту мысль от себя в Царском Селе.

В начале мая 1911 года приезжал в Царское Село наследник германского престола Фридрих с супругой, затем эмир бухарский, а потом сиамский принц Чакрабон.

Наследного принца я встречал ранее в Петербурге, где лично с ним познакомился. В этот приезд я его встретил у германского посла во время раута и концерта. На этом рауте было много публики, и я с принцем не говорил, так как он ко мне не подошел, а я к нему подходить не хотел. Была ли это случайность или это объясняется иначе—я этого сказать не могу.

2-го июня в Кронштадт прибыла эскадра Северо-Американских Соединенных Штатов, но эскадра была принята довольно сдержанно.

23-го июня умерла великая княгиня Александра Иосифовна, которая очень долго болела и была весьма стара. Александра Иосифовна — супруга великого князя Константина Николаевича, который умер уже в пожилых годах, в начале царствования императора Александра III.

2-го июля их величества отбыли в шхеры и 27-го возвратились, при чем был смотр в высочайшем присутствии, так называемых, потешных.

В то время была мода на потешных, вероятно, потому, что полагали, что этими мальчиками, играющими в военных, подымают патриотический, национальный дух. Этому делу придавали государственное значение, почему смотр потешных производил государь император; вообще это было обставлено с особой торжественностью. Но, конечно, это потешное дело так и осталось—потешным, но не для детей, а для взрослых.

19-го августа в Петербург приезжал сербский король Петр с наследником, а 27 августа его величество отбыл в Киев на открытие в высочайшем присутствии в Киеве памятника императору Александру II.

Я же в мае месяце поехал за границу и вернулся из-за границы только в начале декабря.

Во Франкфурте мне делали две довольно серьезных операции, при чем первая операция производилась под хлороформом. Я лежал под хлороформом $1^1/_2$ часа.

На эту операцию я решился потому, что тамошние профессора, которым я вполне верю, сказали мне, что эта операция необходима, ибо у меня постоянно будут воспаляться те или другие части головы,—а я, как раз, предыдущей зимой первый раз пролежал некоторое время в постели и не выходил из дома, вследствие воспаления среднего уха, сопровождавшегося большой болью. И вот, во Франкфурте профессора мне сказали, что если я не сделаю операцию, то у меня постоянно будут происходить те или другие воспаления и, в конце концов, я все же должен буду сделать эту операцию; пока я еще настолько силен, что под хлороформом могу выдержать эту трудную операцию, но, что через несколько лет, вследствие моего возраста, может быть, я уж не буду в состоянии выдержать подобной операции. Поэтому я решился сейчас же сделать операцию.

После этой первой, очень большой операции, я через месяц сделал вторую, менее важную. Следы этой операции я чувствую до настоящего времени, так как в некоторых местах лица еще не вернулась чувствительность.

В августе месяце я был в Биаррице у моей дочери.

Ход событий за последние годы открыл для меня с очевидностью последствия режима Столыпина. Для меня было ясно, что Столыпин вооружил своими произвольными, жестокими и обманчивыми действиями миллионы людей; никогда прежде ни один из государственных деятелей, погибших от руки революционеров, не имел и сотой части того количества врагов, которых нажил Столыпин. Независимо от сего он потерял уважение всех мало-мальски порядочных людей.

При таком положении вещей для меня было ясно, что со Столыпиным произойдет какая-либо катастрофа, и он погибнет,— раз он упрямо, во что бы то ни стало, желает держаться своего положения ради различных выгод и почета.

Столыпин вооружил против себя не только революционеров и анархистов, т.-е. лиц, которые желают беспорядков, но миллионы инородцев; он даже сумел своею двойственною политикою вооружить против себя черносотенцев, после того, как эти черносотенцы первые два года его министерства были его главною опорою.

Брат Столыпина, через два года после вступления Столыпина на пост председателя совета министров, с особенным цинизмом заявил в «Новом Времени», что, подобно известному выражению Шекспира: «Мавр, уходи, ты мне больше не нужен», и его брат также сказал черносотенным организациям, которые были его верными слугами: «Уходите, вы мне больше не нужны».

Благодаря этой атмосфере, для всякого, мало-мальски благоразумного, человека было совершенно очевидно, что Столыпин, уцепившись за свое место, на этом месте и погибнет.

Я был настолько в этом уверен, что когда у меня в Биаррице был Диллон, известный английский корреспондент, который очень часто, по целым месяцам, живет в России,—и спросил мое мнение о положении вещей,—я ему говорил, что я глубоко убежден в том, что со Столыпиным произойдет какая-нибудь катастрофа, которая несколько изменит положение вещей.

Действительно, 1 сентября в Киеве, при исключительно театральной обстановке, произошло покушение на жизнь Столыпина [1]).

---

[1]) В день получения известия о ранении Столыпина граф Витте вписал в свои заметки следующие слова:

2 сентября 1911 года. Вчера в Киеве тяжко ранен Столыпин. Таким образом открывается 3-е действие после 17 октября. Первое действие — мое министерство, второе — Столыпинское.

Был торжественный спектакль в присутствии его величества и его августейших дочерей. На этом спектакле была масса знати, все министры. В Столыпина произвел выстрел агент охранного отделения, который,—как это ныне говорят газеты,—был революционер-анархист. Он произвел выстрел в Столыпина из браунинга в присутствии государя императора. Через несколько дней вследствие полученной раны Столыпин умер.

Конечно, это убийство само по себе возмутительно и не может быть оправдано с точки зрения человеческой, но если оно не может быть оправдано, то оно может быть понятно.

Всякие убийства, с точки зрения человеческой, нравственных принципов, не могут быть оправданы, тем не менее, убийства во всех видах постоянно производятся; многие из этих убийств производятся лицами, власть имущими. Так, между тысячами и тысячами людей, которые были казнены во время премьерства Столыпина, десятки, а может быть сотни людей были казнены совершенно зря,—иначе говоря эти люди были убиты властью, которую Столыпин держал в своих руках.

Великий Наполеон сказал: «У государственного человека сердце должно быть в голове», к сожалению, у Столыпина нигде не было сердца—ни в груди, ни в голове.

Убийство Столыпина омрачило все празднества в Киеве. Начерченная программа этих празднеств была исполнена наскоро. Его величество, побывав в Чернигове, уехал в Крым, где пробыл до поздней осени,—он вернулся в Петербург после 6-го декабря.

Убийство председателя совета министров Столыпина может быть не имело бы места, если бы в свое время не вмешались в дела, совсем до них не касающиеся, великие князья. Ибо после того, как Государственный Совет отклонил проект Столыпина о введении земства в западных губерниях, в той форме, в какой этот проект прошел в Государственной Думе, когда вследствие этого отклонения Столыпин подал в отставку и поставил его величеству своего рода ультиматум о том, чтобы вопреки основным законам распустить Государственную Думу и Государственный Совет и ввести земство в западных губерниях по ст. 87, затем вырвал из Государственного Совета некоторых членов оного, которых Столыпин признавал за своих врагов,—если бы, говорю я, после того, как он подал этот ультиматум и заявил, что в противном случае он уйдет в отставку, великие князья не вмешались в дело, то я знаю, что дело кончилось бы следующим образом: государь император, конечно, этого ультиматума не принял бы, а преспокойно сказал бы Столыпину, что если он считает нужным уйти в отставку, то пускай уходит; наверное Столыпин вышел бы в отставку и был бы жив и в на-

стоящее время и может быть со временем мог бы еще играть какую-нибудь роль в государственном правлении. Но великие князья в этом случае вмешались в дело,—в особенности два злополучные великие князя Александр и Николай Михайловичи, и, главным образом, под их влиянием было принято другое решение: был принят невозможный ультиматум Столыпина, невозможный в том смысле, что он совершенно противоречит нашим основным законам и является актом величайшего произвола. Все это кончилось тем, что бедный этот Столыпин так запутался, что и погиб в Киеве от руки охранника.

Могут сказать, что это—случайность, что этой случайности могло бы и не быть. Я со своей стороны думаю, что это не есть случайность; что при том режиме, который водворил Столыпин, так или иначе, а дело должно было кончиться его гибелью.

Это могло случиться немного ранее, немного позже, не от руки еврея Багрова, а от руки кого-нибудь другого, но все-таки все вероятности говорили за то, что это так кончится. Но, тем не менее, если даже считать, что убийство Столыпина было простой случайностью, то все-таки факт остается фактом.

Если бы за несколько месяцев до его смерти, когда он подал в отставку, вследствие непринятия Государственным Советом проекта введения земства в западных губерниях, он ушел и великие князья не вмешались в дело, до них не касающееся, то, уйдя в отставку, Столыпин, несомненно, остался бы жив, потому что все те, кто считали, что в деятельности Столыпина есть масса вреда, бросили бы мысль об его насильственном уничтожении, так как раз он вышел бы в отставку, то не мог бы уже более наносить никакого вреда.

После убийства Столыпина со стороны некоторых политических партий последовало муссирование значения этого убийства. Под влиянием этого муссирования, его величество оказал целый ряд милостей жене Столыпина, при чем супруга Столыпина вела себя со свойственною ей бестактностью.

Узнав, что муж ее ранен, она приехала в Киев и, как мне рассказывал В. Н. Коковцов, она сказала государю очень глупую фразу. Когда государь вошел в комнату, где уже лежал труп Столыпина, она, как истукан, шагами военного подошла к государю и сказала: «Ваше величество, Сусанины еще не перевелись в России»,—затем сделала несколько шагов задним ходом и стала на свое место.

Ее театральная походка сопровождалась глупой театральной фразой, ибо я нисколько не сомневаюсь, что Столыпин,—если бы он не был председателем совета министров и жизнь государя была бы в опасности, при чем от него зависело бы спасти жизнь государю,—Столыпин поступил бы так же, как Сусанин, но так поступили бы десятки и десятки тысяч верноподданных его

величества, которые чтут в лице государя не Николая Александровича, но принцип русского царя, тот принцип, при влиятельном значении которого создалась великая Россия.

Столыпин был человеком с большим темпераментом, человеком храбрым, и пока ум и душа его не помутились властью, он был человеком честным.

Но в данном случае Столыпин погиб не как Сусанин, а как погибали и погибают сотни государственных деятелей, которые употребляют данную им власть не на пользу государства и народа, но в пользу своего личного положения, а применительно к Столыпину надо сказать: в пользу не столько своего личного положения, как в пользу положения своих многочисленных родственников, из которых многие представляют собою лиц далеко не первой пробы.

Супруга Столыпина вела себя так же бестактно и во время похорон.

Под влиянием шумихи, поднятой националистами и приверженцами Столыпина, появился целый ряд статей, в которых говорилось, что исчезновение Столыпина составляет громадное бедствие для России, а вслед затем была открыта подписка на различные памятники, которые чуть ли не по всей России должны быть поставлены в память Столыпина.

Но, конечно, эта совершенно искусственная шумиха скоро улеглась, не прошло еще и полгода, а настроение в России по отношению к Столыпину совершенно изменилось,—Россия оценила его по достоинству.

Будучи председателем совета министров, своим темпераментом, своею храбростью Столыпин принес некоторую дозу пользы, но если эту пользу сравнить с тем вредом, который он нанес, то польза эта окажется микроскопической.

В своем беспутном управлении Столыпин не придерживался никаких принципов, он развратил Россию, окончательно развратил русскую администрацию, совершенно уничтожил самостоятельность суда; около себя, в качестве министра юстиции, он держал такого лицемерного и беспринципного человека, как Щегловитов. Столыпин развратил прессу, развратил многие слои общества, наконец, он развратил и уничтожил всякое достоинство Государственной Думы, обратив ее в свой департамент.

Я не сомневаюсь в том, что то, на что я указываю, будет впоследствии указано с большею обстоятельностью, с большим хладнокровием, когда этот смрад произвола, от страха доносов и наказаний, в котором живет в настоящее время Россия, несколько уничтожится, и будет водворена в стране не на словах, а на деле законность, т.-е. то, что именуется правовым порядком.

Кстати, я слышал из достоверных источников, что государь не мог простить Столыпину того издевательства, которое он над ним совершил, представив ему свою отставку вместе с кондициями, и хотя тогда его величество эти кондиции принял и отставку вернул, но еще перед выездом в Киев на одном из докладов государь, по окончании доклада перед уходом Столыпина, сказал ему:

— А для вас, Петр Аркадьевич, я готовлю другое назначение.

Эта фраза весьма поразила Столыпина. Какое это было назначение—я не знаю. Одни говорят: посла, а другие говорят будто бы наместника на Кавказ.

Во всяком случае Столыпин, воспользовавшись открытием памятника Александра II, хотел устроить себе в Киеве громадное торжество.

Конечно, перед этим торжеством в газетах появились провокационные слухи, что в Киеве Столыпин получит «графа».

Затем, земские учреждения, введенные по ст. 87, должны были благодарить его величество за те благодеяния, которые им сделаны,—подразумевая, что эти благодеяния были сделаны именно им, Столыпиным, и совсем забывая, что они были сделаны с полным нарушением и издевательством над основными законами и над конституцией.

Вообще Столыпин любил театральные жесты, громкие фразы, соответственно своей натуре он и погиб в совершенно исключительной театральной обстановке, а именно: в театре, на торжественном представлении, в присутствии государя и целой массы сановников.

Конечно, после смерти Столыпина его приверженцы начали говорить о том, что Столыпин погиб по вине директора департамента полиции, командующего жандармами; что будто бы секретная полиция и начальство этой полиции сделали ряд непростительных промахов.

Все это может быть и так, но только те, которые это говорят, забывают то, что Столыпин был главою, начальством всей русской полиции,—все ему были подчинены, а поэтому в том, что случилось, виноват прежде всего он сам.

Я не только не возражаю, но вполне согласен с тем, что наша полиция, а в особенности секретная, при Столыпине совершенно была дезорганизована и совершенно деморализована, о чем я имел случай говорить ранее.

Но кто же в этом был виноват? Виноват сам Столыпин: он был министром внутренних дел, он был главою всей полиции; все назначения, более или менее важные, кем были сделаны? Им были сделаны. Вот, если бы Столыпин был председателем совета министров и, положим, министром финансов,—в каком

положении находится Владимир Николаевич Коковцов,—или же он был бы председателем совета министров, не имея никакого министерства,—в каком положении был я,—если бы тогда совершилось убийство, то можно было бы сказать, что в этом виноваты одинаково министр внутренних дел и начальник полиции. Но ведь те, которые винят полицию, прежде всего винят самого покойника.

С этой точки зрения, если в погибели Столыпина виновата исключительно полиция, то, значит, виноват прежде всего сам покойник. Значит, Столыпин погиб из-за самого себя, вследствие того, что он взялся вести такое дело, о котором не имел никакого понятия, и вел его притом с такой смелостью, которая присуща деятелям, не имеющим сознания опасности, и тем взрослым людям, которых бог обидел, лишив их того аппарата, который служит людям для того, чтобы уметь оценивать и понимать свои поступки.

Когда умер Столыпин, то почти одновременно вернулся из поездки на Дальний Восток его сателлит Гучков. Хотя, уезжая на Дальний Восток, он говорил, что он отрекается от политики Столыпина, но, возвратившись и после события со Столыпиным, он сообразил, что ему и его партии выгоднее совершать возможно более громкую тризну по поводу смерти Столыпина, для того, чтобы пропагандировать для будущих выборов в Государственную Думу, предстоящих через несколько месяцев, как себя, так и свою партию 17-го октября.

Поэтому он в собрании кадетов партии 17-го октября сказал речь о величии покойника Столыпина и в этой речи без всякого особого повода задел меня. Эта речь появилась в хронике «Нового Времени» 15-го сентября 1911 года. Так как эта речь содержала многие явные несоответствия истине, то после появления этой речи, на следующий день появилась в «Новом Времени» краткая заметка, в которой говорилось, что Гучков просит заявить о том, что в этой хронике многое изложено не совсем верно. Но помещение ответа речи в хронике «Нового Времени» сделало уже надлежащее впечатление, а поэтому эту заметку нельзя было иначе рассматривать как хитроумную отговорку.

Речь Гучкова вызвала, с моей стороны, напечатание в «Новом Времени», от 25-го сентября, объяснения. Моё объяснение вызвало письмо Гучкова, напечатанное 27 сентября в «Новом Времени», и это письмо вызвало мой ответ. Ответ этот должен был появиться в «Новом Времени», и «Новое Время» приняло и обещало на следующий день напечатать, но на следующий

день заявило моему секретарю, что оно желает, чтобы из моего ответа были выкинуты многие места, на что мой секретарь не согласился, согласно данной ему мною инструкции из Биаррица.

Письмо это было напечатано одновременно в «Речи», «Русском Слове» и других газетах. Все эти документы, как представляющие известный интерес, характеризующие взгляд на управление Столыпина, помещены мною ниже сего.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ.

Коковцов—премьер-министр.

После покушения на Столыпина обязанности председателя совета министров были возложены на Коковцова, а обязанности министра внутренних дел на Крыжановского. Государь, как я говорил, уже в то время, когда Столыпин лежал раненый, но еще не умер, ездил в Чернигов поклониться тамошним мощам. Когда он вернулся, то Столыпин уже умер. На другой день государь отбыл в Севастополь и, ранее своего отбытия, назначил окончательно Коковцова председателем совета министров.

Что в это время, со дня покушения на Столыпина до его смерти, в течение 4 дней, происходило, можно в некоторой степени судить по следующему. Когда я был в Биаррице, то за несколько недель до поездки государя в Киев я получил от некоего Сазонова письмо, которое мне было прислано не обыкновенным порядком, а через оказию.

Сазонов в настоящую минуту издает газету «Голос Земли». Я его знаю очень давно, но он всегда во мне не внушал доверия, а потому я с ним виделся очень редко и старался не допускать его ко мне. Познакомился я с ним, когда я ездил с Вышнеградским в Среднюю Азию. Когда он там появился, вел довольно крайние разговоры, но, ведя крайние разговоры в смысле левизны, он, тем не менее, старался ухаживать за Вышнеградским и за мною, а также старался приблизиться к великому князю Николаю Константиновичу, который в то время жил в Средней Азии, находясь в опале.

Вместе с тем Сазонов, будучи ненормальным, допускал действия, прямо преследуемые уголовным законом. Он написал несколько книг, при чем являлся ярым проповедником общинного устройства. Затем он начал издавать в Петербурге газету «Рос-

сия»; на издание этой газеты ему дали средства некоторые московские промышленники; добыл эти деньги некий Альберт.

Альберт этот был еврейского происхождения и был поставлен на Путиловский завод москвичами, главным образом Мамонтовым. В этой газете «Россия» участвовали довольно известные публицисты: как-то—Дорошевич, известный фельетонист, который ныне пишет в «Русском Слове», Амфитеатров, находящийся ныне за границей, куда он бежал после того, как написал в «России» известный фельетон—«Семейство Обмановых», в котором он, в своеобразной окраске, описывает последнее поколение царствующего дома Романовых.

Газета «Россия» была крайне левого направления. За этот фельетон газета была закрыта, автор фельетона, Амфитеатров, бежал за границу, где живет и по настоящее время, хотя оттуда пишет в некоторые русские газеты; Сазонов был сослан во Псков, но в скором времени он оттуда выбрался; одно время он был вхож к Плеве. Во времена с 1903—1905 годов он участвовал в различных левых газетах и после 17-го октября почел для себя выгодным примкнуть к союзникам, т.-е. к союзу русского народа, перезнакомился с Дубровиным, Пуришкевичем и проч. В молодости он, как говорят, был очень близок к Желябову, убийце императора Александра II.

Когда в 1906 году я вернулся из-за границы, то он как-то был у меня, прося оказать ему содействие, дабы митрополит Антоний разрешил ему жениться на теперешней жене, так как имелись какие-то препятствия к этому браку. Я в этом отношении оказал ему содействие.

Тогда Сазонов, между прочим, мне сказал, что вот он, из разговоров со мной, убедился, что я предан государю, а что после того, когда я покинул пост председателя совета министров, то он в этом сомневался и даже был одним из тех, которые хотели меня убить.

По мере того, как наверху кучка союзников приобретала все большую и большую силу, он все более и более к ним примыкал, вследствие этого он постепенно начал устраивать свои дела: так попал в гласные думы, потому что поступил в услужение стародумской партии и теперешнему городскому голове Глазунову, но, повидимому, он все никак не мог хватить какой-нибудь денежный куш.

Для этой цели он сблизился с некиим Мигулиным [1]), профессором-фельетонистом, профессором финансового права, чело-

[1]) См. главу XL.

веком крайне расплывчатой нравственности и убеждений. Сила этого Мигулина и карьера заключается в том, что он женат на дочери профессора харьковского университета Алексеенко, который был одно время попечителем учебного округа, а теперь председателем финансовой комиссии Государственной Думы, коей он состоит членом.

Когда крайние реакционеры перестали быть новинкой и союзники, в значительной степени, потеряли свое влияние и силу, то он начал приближаться к тем лицам духовного звания, или занимающимся духовными проповедями—как архиепископ Гермоген, иеромонах Иллиодор и старец Распутин; в особенности он очень подружился с последним. Распутин останавливался у него на квартире и, когда приезжает в Петербург, живет у него на квартире, поэтому некоторые дамы великосветского общества, которые ездят к Распутину, у него бывают на квартире. В конце концов, он создал себе особое отношение к Распутину, нечто в роде аналогичного с содержателем музея, показывающего заморские чудовища.

Так как эти господа имели значительное влияние, а в особенности последний, то он и упер свое благосостояние на этом влиянии. Всюду он ходил, показывая Распутина; в разговорах уверял, что он имеет особую силу и особое влияние через Распутина, имел случай доказать это влияние и в результате добился следующего: он начал издавать журнал еженедельный «Экономист», журнал чрезвычайно посредственный, в котором участвуют Алексеенко и Мигулин.

Журнал этот занимался постоянным нападением на министра финансов Коковцова. Коковцов, который очень чувствителен к этим нападкам, принял меры, чтобы нападки эти прекратились, и дал «Экономисту» прямые и косвенные субсидии в виде объявлений, которыми этот журнал, очень мало читаемый, держится и в настоящее время. С тех пор «Экономист» в каждой своей статье прославляет финансовые таланты Коковцова, но, конечно, Коковцов не мог купить влияния Сазонова, а следовательно и Распутина, такой малой подачкой; потребовались большие, а поэтому Сазонов и Мигулин представили проект хлебного банка, который будто бы имеет целью устранить железнодорожные залежи, происходящие после урожая.

Министерство финансов, конечно, такого устава другим бы лицам не дало, но ему сейчас же дало. Но устроить хлебный банк не удалось: все банкиры и спекулянты, которые с удовольствием устроили бы банк, говорили, что нам нужен устав обыкновенного банка, а не хлебного, потому что хлебный банк это есть затея мертворожденная.

Тогда министерство финансов сейчас же переменило Сазонову устав из хлебного банка в английский банк. Они устав этого банка продали, кажется, за 250 тыс. руб. Эту сумму поделили между собой Мигулин и Сазонов и, насколько мне известно, часть этой суммы досталась и Алексеенко. Сазонов решил на часть этой суммы устроить газету, на устройство этой газеты, которая имеет в виду восхвалять Коковцова, потребовал новых подачек от министерства финансов, и директор кредитной канцелярии как-то позвал к себе директоров банка и высказал, что министр финансов очень желал бы, чтобы они помогли устроить газету Сазонову. Они сделали между собой подписку и дали кроме того сумму около 100 тыс. руб.

Всего этого Сазонов добился шантажем. Он вынудил Коковцова сделать все это для того, чтобы он был за него, а не против него, а стращал он, Сазонов, своим громадным влиянием в Царском через Распутина. Таким образом создалась теперешняя газета «Голос Земли», которая держится прогрессивного направления. Там участвуют многие лица в роде профессора Ходского, но эти лица сделаны из такого же нравственного теста, как и Сазонов, т.-е. в конце концов шантажируют печатным словом.

Как это ни удивительно, но несомненно, что Сазонов имел значительное косвенное влияние, держа в руках Распутина, а Распутин в свою очередь имел (имеет ли теперь, не знаю) громадное влияние в Царском.

Вот этот Сазонов так в конце июля или августа месяца и написал мне письмо, в котором он просит моего содействия: не могу ли я уговорить некоторых банкиров дать ему денег на газету, но, главным образом, цель его письма, которую он излагает, заключалась в следующем: он мне сообщал, что судьба Столыпина спета, что государь твердо решил от него избавиться и не позже, как после торжеств в Киеве; что государь остановился для назначения министром внутренних дел на Хвостове, нижегородском губернаторе. Затем идет различная похвальба Хвостова и его родичей и говорится, что они, т.-е. Сазонов с Распутиным, едут в Нижний окончательно переговорить по этому предмету с Хвостовым, но что у них есть только одно сомнение,— это, что Хвостов молод и едва ли он сможет заменить Столыпина в качестве председателя совета, но что он будет только прекрасный министр внутренних дел, а затем закидывается удочка в виде вопроса, не соглашусь ли я занять место председателя совета министров, дабы дать авторитетность новому министерству.

Насколько это предложение было искренне, я не знаю. Я на это тоже через оказию ответил Сазонову, что я получил

его письмо и остался в недоумении—кто из нас сумасшедший: Они, которые мне такую вещь предлагают, или я, которому они считают возможным такую вещь предлагать.

Нужно сказать, что Хвостов—это один из самых больших безобразников. Между нынешними губернаторами Столыпинской эпохи есть масса больших безобразников, но Хвостов имеет перед ними первенство: для него никаких законов не существует.

Как раз перед этим временем, как мне говорили, он, Хвостов, представил, вероятно, через Сазонова и Распутина, всеподданнейшую записку, в которой он излагал, что ныне Россия пребывает в положении скрытой революции и смуты, которые не были уничтожены Столыпиным, а загнаны в подземелье, что если не будут приняты меры против революционеров и смутьянов, то революция в самом скором времени вырвется наружу, и в числе мер, которые необходимо принять, предлагал главную, заключающуюся в том, чтобы всех лиц, подозреваемых, как революционеров и смутьянов, просто-напросто, тем или другим путем, но энергично уничтожать.

Возвращаюсь к назначению Коковцова председателем совета министров, 9-го сентября, перед выездом государя из Киева. Назначение это, как я слышал из уст Коковцова, произошло следующим образом в день выезда государя. Его величество до самого выезда не принял никакого окончательного решения. Он виделся с Коковцовым и другими министрами, которые в то время там находились, но относительно своих решений ничего не проявил.

Когда уже министры и все власти были на вокзале, в ожидании приезда их величеств, отправлявшихся в Крым,—вдруг появился фельдъегерь, который направился к той кучке, где стояли министры, и сначала как будто подошел к министру юстиции, а потом к нему, Коковцову, и сказал Коковцову, что его величество его ждет во дворце. Он взял автомобиль и экстренно поехал во дворец.

Приехал во дворец, когда государь и государыня уже собирались выходить, чтобы ехать на вокзал. Государь вошел с ним в кабинет и обратился к нему со следующими словами: «Я, Владимир Николаевич, обдумавши всесторонне положение дела, принял такое решение: я вас назначаю председателем совета министров, а министром внутренних дел Хвостова, нижегородского губернатора».

Тогда, по рассказу Коковцова, он обратился к государю и начал его умолять, чтобы он Хвостова не назначал, сказав ему: «Ваше величество, вы находитесь на обрыве, и назначение такого

человека, как Хвостов, в министры внутренних дел, будет означать, что вы решились броситься в этот обрыв». Государь этим был очень смущен, но видя, что государыня уже стоит в шляпе и его ждет, ответил Коковцову: «В таком случае, я прошу вас принять место председателя совета министров, а относительно министра внутренних дел я еще подумаю», при чем Коковцов сказал, что он бы советовал назначить министром внутренних дел Макарова. Конечно, он указал на Макарова, как на человека, который, несомненно, принадлежит к крайним правым, человека очень ограниченного, но ничем не замаранного, повидимому, человека искреннего, хотя сделанного не из того теста, которое было бы нужно для министра внутренних дел по настоящему времени. Прежде всего Макаров не имеет и никогда не будет иметь, по качеству своей личности, какого-нибудь серьезного авторитета.

Затем Коковцов государю, конечно, писал о Макарове, и в результате, когда государь приехал в Ялту, то он, согласно представления Коковцова, назначил Макарова министром внутренних дел.

Как мне говорили, в период этих 5 дней, между покушением на Столыпина и его смертью, интрига шла во-всю: министр юстиции Щегловитов интриговал, чтобы ему сделаться председателем; главноуправляющий земледелия и землеустройства Кривошеин—дабы ему сделаться председателем, а Коковцов—чтобы ему сделаться председателем.

Я должен сказать, что Коковцов из этих 3 кандидатов является, как деятель, более серьезным, но, что касается интриг, то он этим двум последним не уступит, а может быть, еще в этом роде деятельности посильнее их.

Когда был назначен министром внутренних дел Макаров, то Крыжановский обиделся и не хотел оставаться товарищем министра внутренних дел. Крыжановский—человек менее солидный, нежели Макаров, и менее надежен, нежели Макаров. Я думаю, что он обладает значительно меньшим нравственным цензом, нежели Макаров, а с другой стороны, он несколькими головами выше Макарова по знанию, таланту и уму. Крыжановский был собственно головою Столыпина и головою хитрою.

Он заставлял Столыпина делать многие такие вещи, которые бы сам, будучи министром внутренних дел, не сделал никогда. Между прочим, план действий после того, как Государственный Совет не утвердил проект Столыпина о введении земств в западных губерниях, был внушен Столыпину Крыжановским.

Будучи все время при Столыпине и зная все государственные секреты этого безобразного полицейского времени, конечно,

оставлять Крыжановского без удовлетворения было бы невозможно, а потому Крыжановский был назначен государственным секретарем, вместо Макарова.

Затем было опубликовано 17-го сентября о назначении сенаторской ревизии киевского охранного отделения, по случаю покушения на Столыпина. Ревизором был назначен сенатор Трусевич, который заведывал секретной полицией до Курлова.

С этим Трусевичем я довольно близко познакомился в тот день, когда у меня была в доме обнаружена адская машина. Тогда он приезжал и очень интересовался этим делом, у меня завтракал, и я сразу понял, что Трусевич—человек, которому доверять нельзя. Это тип полицейского сыщика-провокатора.

Курлов был уволен в отставку и вместо него заведующим полицией Российской империи был назначен Золотарев—прокурор новочеркасской судебной палаты.

Когда открылась Государственная Дума, то все ожидали, какое направление примет Коковцов, так как обществу было известно, что Коковцов, особенно в последние годы, не сходился со Столыпиным и поэтому во всех крупных вопросах был с ним в разногласии и оставался при особом мнении. Он оставался при особом мнении по поводу всех финляндских законопроектов Столыпина, самым безобразным образом нарушающих финляндскую конституцию.

Он был против Столыпина по вопросу о введении земств в западных губерниях и по многим другим вопросам; он явно показывал, что он совсем не согласен со Столыпиным, с его псевдонационалистическим направлением.

Все думали, что Коковцов обнаружит свое особое направление, не впадающее в безумные крайности Столыпина, при рассмотрении законов, внесенных еще Столыпиным, которые еще Дума не рассмотрела. Некоторые полагали даже, что Коковцов возьмет эти проекты обратно, но я, зная Коковцова, отлично понимал, что Коковцов протестовал против проектов Столыпина совсем не потому, что он не разделял эти проекты: потому, что Коковцов может и разделять и не разделять проекты, те или другие меры, сообразно обстоятельствам, и будет делать то, что он считает в данный момент для себя выгодным, раз он достиг цели, к которой отчасти стремился, хотя достиг по обстоятельствам, от него независящим и им непредвиденным, а именно встал на место Столыпина; он будет продолжать такую политику, какую пожелают наверху, а так как, с другой стороны, и Столыпин тоже вел такую политику, какую желали наверху, для того, чтобы не уйти со своего поста, то, следовательно, Коковцов будет делать то же самое, что делал Столыпин.

Разница будет заключаться разве только в том, что Столыпин, ведя крайнюю политику, в смысле национализма, по указанию сверху, сам увлекался этим направлением и в пылу спора и борьбы прибавлял к этому направлению своего жара. Коковцов же своего жара прибавлять не будет, так как он более благоразумный, умный и знающий, сравнительно со Столыпиным, и будет стараться даже смягчить эти крайние направления, но постольку смягчить, поскольку это возможно, дабы его не заподозрели наверху в его либерализме и дабы не лишиться, хотя на золотник, высочайшего благоволения.

Поэтому в Государственной Думе при первом же рассмотрении одного из законов по финляндскому делу, внесенных еще Столыпиным, по которому Коковцов, будучи только министром финансов, был противоположного мнения, он явился в Государственную Думу, сказал, по обыкновению, длинную речь,—он говорит очень хорошо, очень длинно и очень любит говорить, так что его московское купечество прозвало «граммофоном»—и суть этой речи заключалась, в сущности, в том, что направление политики не может меняться в зависимости от того, кто председатель совета; политика делается не министрами, а идет сверху; что когда он был только министром финансов, то мог и не соглашаться с направлением, которое вел Столыпин по указанию свыше, но раз он и министр финансов, и председатель совета министров, то, конечно, другого направления, кроме того, которого держался Столыпин, держаться не может, и это так, с точки зрения Коковцова, естественно, что он удивляется, как могли подумать, что он может держаться какого бы то ни было другого направления кроме того, которого держался Столыпин.

Таким образом в своих воспоминаниях я дошел до 1912 года. Временно я прекращаю свою работу.

2 марта 1912 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Князь В. П. Мещерский.

Из тех лиц, с которыми мне пришлось встретиться, когда я сделался министром путей сообщения, наиболее интересным лицом был князь Владимир Петрович Мещерский, так называемый Вово Мещерский, известный редактор-издатель не менее известного «Гражданина», хотя известность эта как самого князя, так и «Гражданина», по моему мнению, более печальна, нежели почтенна.

Я встречал этого князя Мещерского еще тогда, когда я служил на Юго-Западных железных дорогах; раза два, когда я бывал в Москве на железнодорожных съездах, я встретился с ним у Ивана Григорьевича Дервиза.

Этот Иван Григорьевич Дервиз был председателем правления Рязанско-Козловской железной дороги, брат того известного Павла Дервиза—богача; он не имел состояния, но, получая очень большое жалованье, жил в Москве довольно широко, был очень милый и очень умный человек. Я был с ним очень близко знаком. П. Дервиз был женат на княжне Марье Ивановне Козловской. Эта самая Марья Ивановна, после смерти Дервиза, вышла замуж за генерала Дукмасова, который несколько недель тому назад умер, будучи генералом от инфантерии и старшим членом военного совета.

Так вот, я встречал Мещерского раза два у Дервиза; Дервиз был с ним на ты, так как по школе правоведения Мещерский был товарищем Дервиза. Я был очень удивлен, что встречался с Мещерским только в кабинете Дервиза, который был, как я уже сказал, с ним на ты, а в гостиной у Дервиза—Мещерский не бывал.

Как-то раз я и спросил Марью Ивановну: знает ли она князя Мещерского?

Она ответила:—Он бывший товарищ моего мужа, муж с ним на ты, и, когда Мещерский приезжает из Петербурга, он у него

бывает, но я его не принимаю, так как это человек грязный. (Но не объяснила мне, в чем заключается его грязь.)

Когда я сделался директором департамента и переехал в Петербург, то я встретился с Мещерским как-то раза два летом в различных загородных садах, в летних театрах. Всякий раз Мещерский подходил ко мне, заговаривал, очевидно, желая со мною ближе познакомиться. Но я не имел никакого желания или влечения к этому знакомству, а потому наши разговоры так и кончались.

Когда я сделался министром путей сообщения, то в числе служащих по этому министерству находился некий Колышко, чиновник особых поручений при министре путей сообщения. Из справки я увидел, что этот Колышко был прежде чиновником особых поручений у графа Толстого при министерстве внутренних дел.

Вот, однажды как-то приехал ко мне Мещерский просить, чтобы я обратил внимание на этого Колышко, так как человек он очень способный... (Вообще приемы Мещерского были всегда удивительно сладки и подобострастны.)

Я обратил внимание на Колышко и заметил, что действительно он человек очень бойкий, хорошо очень пишет. Оказалось, что он женат на княжне Оболенской. Был прежде офицером, чуть ли не уланом, вышел в отставку и вообще был, как я уже сказал, человек очень бойкий.

Так как он состоял чиновником по особым поручениям у министра путей сообщения, а раньше был чиновником особых поручений у министра внутренних дел Толстого, то я о нем особых справок не наводил. Он мне понравился своею бойкостью, в особенности бойкостью своего пера.

Затем князь Мещерский начал писать различные статьи о различных злоупотреблениях в ведомстве—в департаменте шоссейном и водяном, именно в округах путей сообщения. Я и сам знал, что в этих округах делается масса различных злоупотреблений; это делается и доныне; в настоящее время производится расследование о различных злоупотреблениях в киевском округе путей сообщения.

Мещерский тогда посоветовал мне, чтобы я дал возможность Колышко показать свои способности, чтобы я послал его произвести расследование в могилевском округе путей сообщения. Я согласился на это и летом послал Колышко делать ревизию этого округа, а других чиновников послал делать ревизию других округов.

Через несколько месяцев явился Колышко и привез расследование, из которого ясно обнаружилось, что в могилевском округе путей сообщения делаются большие злоупотребления. Но одновременно с этим до меня начали доходить сведения,

что хотя Колышко и хорошо производит расследования, но держит себя при этом по-хлестаковски, т.-е. придает положению, которое он имеет в Петербурге, совсем несоответствующее значение; он играл роль человека, как будто бы имеющего большое влияние, одним словом изображал из себя очень важного петербургского чиновника, чего на самом деле, конечно, не было.

По поводу этого расследования я решил уволить начальника округа путей сообщения, предать его суду. Вследствие этого я должен был обратиться в сенат. Сенат не согласился со мною и сделал обратное постановление, главным образом потому, что против этого был директор департамента водяных и шоссейных сообщений Фадеев, который занимал это место до того времени, когда я сделался министром путей сообщения, а потом состоял сенатором. Вот он-то и имел влияние на то, что сенат не согласился на эту меру и мне отказал. Поэтому я должен был обратиться к государю императору. Государь император принял решение вопреки мнению сената, по которому этот начальник округа был предан суду.

Я рассказываю эту историю только для того, чтобы объяснить, каким образом я ближе познакомился с Мещерским.

Мещерский несколько раз приглашал меня на обеды, я у него был; встречал там министра внутренних дел И. Н. Дурново, директора департамента министерства внутренних дел Кривошеина, будущего министра путей сообщения, полковника Вендриха, Тертия Ивановича Филиппова и др. Затем и Мещерского я приглашал раза 2—3 к себе на обед.

Вообще роль Мещерского мне была неясна и непонятна. Он издавал «Гражданин». «Гражданин» не имел большого числа читателей, хотя, тем не менее, он имел некоторое влияние в известном кругу; но меня удивляло, каким образом Мещерский издает этот «Гражданин», откуда он берет деньги?

Как-то раз, когда я уже сделался министром финансов, приезжает ко мне Дурново и говорит, что вот ежегодно испрашивается определенная сумма денег, а именно 80 тысяч, для редактора и издателя «Гражданина»; что деньги эти назначались из фонда на чрезвычайные надобности; что сумму эту испрашивал министр финансов и передавал ее в министерство внутренних дел, а министр внутренних дел вручал эту сумму Мещерскому. (Я припомнил тогда, что действительно, когда я был министром путей сообщения, то иногда у Вышнеградского я встречал между прочим и Мещерского.)

Далее Иван Николаевич Дурново сказал мне, что государь император находит, что подобного рода процедура, чтобы министр финансов докладывал государю о выдаче денег «Гражданину», затем эти деньги вручались министру внутренних дел, а уже министр внутренних дел передавал бы их Мещерскому,—совер-

шенно излишня; что государь сказал, что лучше, чтобы это прямо делал министр финансов. При чем Дурново прибавил, что он просил государя вывести его из этого дела, так как вообще он в князе Мещерском разочаровался.

В следующий доклад, я докладывал государю императору, что вот мне Иван Николаевич Дурново передал относительно Мещерского его высочайшее повеление.

На это государь император мне ответил: что, действительно, Мещерскому, по его желанию, выдается 80 тысяч рублей на издание «Гражданина», что он (государь) хочет, чтобы это делал я, чтобы я сам непосредственно вручал эти деньги Мещерскому.

Конечно, это приказание государя я принял к исполнению, и меня крайне заинтересовала личность Мещерского. Что такое Мещерский и почему к нему такие отношения государя?

По этому поводу я говорил и с графом Воронцовым-Дашковым, и с Победоносцевым.

Граф Воронцов-Дашков сказал мне, что Мещерский это такой господин, с которым он не желает знаться и которому он руки не подает.

Победоносцев сказал мне, что Мещерский просто негодяй, такой грязный человек, с которым он также не желает знаться, хотя знает он его очень хорошо, знает его еще с молодости. И вот он рассказал мне, что такое представляет из себя Мещерский.

Мещерский из отличной семьи князей Мещерских; отец его, князь Мещерский, был женат на дочери известного историка Карамзина, что и дает повод князю Мещерскому постоянно говорить о том, что он внук Карамзина. Вообще, по рождению Мещерский из хорошего общества и вследствие того, что Карамзин имел известную близость к царской семье, он, Мещерский, был в числе тех двух-трех молодых людей, которые, как сверстники цесаревича Николая Александровича, были выбраны для того, чтобы постоянно играть и заниматься с цесаревичем. Потом, когда цесаревич делал путешествие по России, то Мещерский, а затем еще и другой молодой человек сопровождали его.

Вместе с цесаревичем Николаем Александровичем ездили, в качестве преподавателя, Константин Петрович Победоносцев и Борис Николаевич Чичерин. (Победоносцев—будущий известный государственный деятель,—тогда он был только профессором,—и Чичерин, тоже будущий известный профессор, а потом московский городской голова.) Таким образом, Константин Петрович знал Мещерского еще совсем молодым человеком. Тогда я понял, почему Победоносцев говорил, что он знает Мещерского еще с молодости и знает, что он грязный человек, человек, которому ни в коем случае не следует доверяться.

Помню, он тогда прибавил: «Вот вы увидите, если вы будете оказывать ему какую-нибудь ласку, увидите, как он вам за это отплатит».

Затем он мне объяснил, почему так относился к Мещерскому император Александр III.

Император Александр III, если употребить институтское выражение, обожал своего брата цесаревича Николая. Когда цесаревич Николай умер, то все, что окружало его брата, все ему было дорого. Поэтому император Александр III считал как будто бы своим нравственным долгом тем лицам, с которыми был дружен и близок цесаревич Николай, с своей стороны оказывать точно так же дружбу, внимание и привязанность. Таким образом понятно, что император Александр III перенес свое внимание и на князя Мещерского, тем более, что он встречал Мещерского тогда, когда Мещерский состоял при его старшем брате, как ровесник, для занятий и для игр, т.-е. он встречался с ним тогда, и близость эта явилась, можно сказать, с юношеских лет. Итак, мне стало понятно, почему император Александр III так относился к Мещерскому; с одной стороны, он относился к нему так во внимание к памяти цесаревича Николая, а с другой стороны по самому характеру своему,—Александр III был очень тверд в своих привязанностях. Но, тем не менее, Мещерский бывал у Александра III чрезвычайно редко, и, если можно так выразиться, ходил с заднего хода, и у Александра III, как у императора, и у его семейства никогда не бывал. Мне показалось это интересным: почему это происходит?

Тогда мне объяснили, что когда император Александр III был еще цесаревичем, то Мещерский бывал у него, как у хорошего знакомого; тогда же он встречался с графом Воронцовым-Дашковым, который был тогда (молодым человеком) адъютантом при будущем императоре Александре III. Но Мещерский держал себя так, что это коробило цесаревну Марию Феодоровну, и поэтому Мария Феодоровна, после некоторых его выходок, сказала, что она не желает, чтобы Мещерский переступал порог ее жилища, при чем назвала его негодяем. Вследствие этого Мещерский не был принимаем императором, как человек, с которым он знаком, а был принимаем, так сказать, более или менее с заднего крыльца.

Но Мещерский—человек, умеющий очень подделываться; кроме того, нужно признать, что Мещерский обладает хорошим литературным, публицистическим талантом, даже можно сказать, выдающимся талантом, и так как он писал статьи в тон императору Александру III, то естественно, что император до известной степени ценил его публицистическую деятельность. Кроме того, никто не умел так кляньчить и унижаться, как князь Мещерский, и этим постоянным кляньченьем и жалобами на свою

трудную жизнь он достиг того, что государь решил выдавать ему ежегодно на издание «Гражданина» сумму в 80 тысяч рублей, которую я, будучи министром финансов, в течение двух лет выдавал ему до смерти Александра III, а раньше, как я уже объяснил, сумма эта выдавалась Вышнеградским министру внутренних дел для передачи Мещерскому.

При этом я заметил, что «Гражданин», где только мог, лягал графа Воронцова-Дашкова, но лягал так, чтобы не очень форсировать императора Александра III. То же самое было и относительно Победоносцева. Что же касается И. Н. Дурново, то прежде «Гражданин» его очень восхвалял, но после того, как Дурново отказался быть посредником по передаче денег Мещерскому, «Гражданин» начал страшно ругать и Дурново.

Итак, государь император приказал мне непосредственно передавать Мещерскому деньги на издание «Гражданина». Таким образом, в течение двух лет я передавал ему по 80 тыс. руб. в год (в 1892 и 1893 г.г.). Всякий раз выдача эта была оформлена моим особым всеподданнейшим докладом, при чем деньги эти передавал директор департамента казначейства.

Такое положение, в которое я был поставлен по отношению к Мещерскому, побудило его особенно искать сближения со мною; поэтому он всячески за мною ухаживал; с другой стороны, что вполне естественно, это дало мне возможность еще более узнать Мещерского.

Я убедился, что император Александр III почти никогда не видал Мещерского, но Мещерский аккуратно делал ему разные сообщения, т.-е. посылал ему нечто вроде своего дневника, в котором писал обо всех выдающихся политических событиях. С своей стороны, император иногда тоже писал Мещерскому.

Нужно знать привязчивость князя Мещерского и уменье его влезть в душу, чтобы не удивляться тем отношениям, которые установились между ним и императором Александром III. Такие отношения между Мещерским и императором Александром III установились, как я уже говорил, в виду того случайного положения, которое занял Мещерский в сердце императора Александра III, вследствие воспоминаний императора о своем умершем старшем брате цесаревиче Николае.

Как я уже говорил, Мещерский бывал очень редко у императора, и бывал, если можно так выразиться, с заднего крыльца, при чем он продолжал себя вести таким образом, что еще больше вооружил против себя императрицу. С ним происходили постоянные скандалы. Один из скандалов был таков, что выплыл наружу—это именно, так называемая, история с трубачом. История эта такого рода:

В лейб-стрелковом батальоне находился один трубач—молодой парень—который очень понравился Мещерскому. Этот

парень бывал у Мещерского. Командиром батальона в то время был граф Келлер; граф Келлер, узнав об этом, наказал трубача и потребовал, чтобы трубач этот больше к Мещерскому не ходил. Тогда Мещерский начал, по своему обыкновению, доносить на Келлера, писать грязные статьи в «Гражданине». Благодаря его доносам и статьям граф Келлер должен был оставить командование батальоном. Но затем расследование всего этого дела установило совершенную правоту графа Келлера и удивительно грязную роль во всем этом деле князя Мещерского. Вследствие этого граф Келлер был реабилитирован в своей служебной карьере и вскоре получил назначение директором Пажеского корпуса. Потом он был сделан губернатором в Екатеринославе. Во время Японской войны он поехал на войну и, как известно, славно погиб там, командуя отрядом.

Эта грязная история с трубачом разнеслась по всему Петербургу; вероятно, она сделалась известна и императрице и вооружила ее еще более против Мещерского.

В числе молодых людей, которые находились под особым покровительством князя Мещерского, был и Колышко, о котором я уже раньше говорил. Затем Колышко был устранен . . . . . ради другого молодого человека, некоего Бурдукова. Этот Бурдуков до настоящего времени играет в жизни князя Мещерского не то, чтобы преобладающую роль, а просто доминирующую роль. Бурдуков может сделать с этим старым развратником все, что он захочет.

Мещерский являлся самым ревностным защитником, покровителем и ходатаем особой компании, которая всегда при нем находилась. Но в этой компании вообще всегда какое-нибудь одно лицо, какой-нибудь молодой человек играл доминирующую роль.

Так, Колышко из простого офицера (он кончил курс юнкерского училища) сделал себе следующую карьеру: он был чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, потом чиновником по особым поручениям при министре путей сообщения, когда я был министром путей сообщения. Затем, после того, как я ушел из министерства, при моем заместителе Кривошеине, Колышко, опять благодаря тому же князю Мещерскому, играл особую роль, пока не должен был оставить службу вследствие нареканий на него. Дело это даже восходило в суд.

Колышко постоянно уверял, будто бы обвинение было неправильно на него возведено,—я в это дело не вникал . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Тем не менее, как я уже говорил, Колышко, несомненно, человек талантливый; несомненно, он имеет большой литератур-

*

ный талант, ...

. . . . . .

Мещерский встретил другого молодого офицера Бурдукова, который совсем завоевал его сердце, и до настоящего времени этот Бурдуков делает из Мещерского все, что захочет . . .

. . . . . .

. . . . . .

Замечательно, что Бурдуков, будучи простым армейским офицером, не имея никакого ни таланта, ни образования, будучи человеком вполне ничтожным,—в настоящее время уже камергер, член тарифного комитета министерства финансов от министерства внутренних дел и чиновник особых поручений при министерстве внутренних дел. Кроме того, он имеет некоторые средства, потому что, благодаря Мещерскому, ему постоянно давали какие-то поручения, связанные с различными денежными подачками. Так, например, он несколько раз ездил в Туркестан по поручению министерства земледелия (бывшее министерство государственных имуществ) для изучения коврового дела в Туркестане. Всякий раз за эти командировки он получал по несколько десятков тысяч рублей. Конечно, командировки эти не могли иметь никаких последствий. Даже как-то раз, насколько мне известно, он получил командировочные деньги, совсем не ездивши в Туркестан.

Когда в конце 1894 года (20 октября) умер император Александр III, то князь Мещерский был этим очень огорчен. И я нисколько не сомневаюсь, что он был искренно огорчен смертью императора, потому что Александр III был, действительно, его благодетелем. Наконец, всякий, кто имел счастье приближаться к императору Александру III, не мог не быть огорчен его смертью, потому что император Александр III был такою привлекательною и высокою личностью, которая не могла не внушать к себе глубокого уважения, преданности и любви.— С другой стороны, князь Мещерский был поражен этой смертью и потому, что он чувствовал, что материальное его положение будет значительно изменено.

Перед новым годом, т.-е., когда наступал срок, когда я должен был докладывать о выдаче Мещерскому 80 тыс. руб. на издание «Гражданина»,—Мещерский явился ко мне и упрашивал меня, чтобы я доложил государю и доложил в возможно благоприятном для него смысле.

Я перед наступающим 1895 годом докладывал об этом государю императору и доложил ему все дело так, как я его рассказал. Император, видимо, был уже настроен против Мещерского; для меня было совершенно ясно, что он никогда не говорил с своим отцом о Мещерском, но слышал отзывы и отзывы, конечно, совершенно справедливые о Мещерском от своей августейшей

матери. Поэтому при моем докладе, он отнесся к Мещерскому крайне недоброжелательно и сказал, что он о Мещерском неблагоприятного мнения и продолжать ему что-нибудь выдавать он не намерен и что изданию «Гражданина» он не придает никакого значения. Вообще, император отнесся к Мещерскому скорее даже враждебно, нежели благосклонно. Тем не менее, я доложил государю, что сразу ликвидировать это дело нельзя, что Мещерский издавал «Гражданин» много лет при непосредственной поддержке его августейшего отца и что следовало бы, во всяком случае, дать ему время, чтобы его ликвидировать.

Тогда император приказал выдать Мещерскому 80 тыс. рублей, но велел мне предупредить Мещерского, что эти 80 тыс. рублей выдаются ему в последний раз, что больше выдавать Мещерскому каких-либо денег он не желает и кроме того просит Мещерского к нему ничего не писать и к нему ни с чем не обращаться.

Я приказал Мещерскому выдать 80 тыс. руб. и передал ему о повелении государя.

Потом я узнал, что Мещерский все-таки написал государю (передал он свое письмо через генерала Васильковского, бывшего управляющего Аничковым дворцом, через которого и впоследствии неоднократно передавал свои письма государю); при письме он представил государю и все те письма, которые писал ему император Александр III для того, чтобы показать свою близость к императору.

Император Николай II,—как он сам мне потом рассказывал,—вернул ему все эти письма обратно и вторично подтвердил, что просит к нему никогда ни с чем не обращаться.

Мещерский был в отчаянии; многократно приходил ко мне и все просил, умолял меня, чтобы я при случае заговорил опять с государем о нем. Вероятно, он обращался с такими же просьбами и к другим министрам—между прочим и к министру графу Делянову, так как он, Мещерский, числился служащим по министерству народного просвещения. Но все ходатайства его в течение того времени—когда министрами внутренних дел были Иван Николаевич Дурново и затем Горемыкин—ни к чему не приводили.

И вот, наконец, когда министром внутренних дел сделался Дмитрий Сергеевич Сипягин, который находился с Мещерским в некотором отдаленном родстве, то Мещерский этим родственным чувством сумел воспользоваться и, со свойственной ему способностью влезать во все отверстия, оказал такое влияние на Сипягина, а с другой стороны, Д. С. Сипягин—на государя, что император Николай II разрешил Мещерскому писать ему письма, подобные тем, какие он писал его отцу. Таким образом установились отношения между Мещерским и императором, при чем в скором времени государь император приказал мне выдавать Мещерскому деньги на издание «Гражданина».

При императоре Александре III «Гражданин» был ежедневной газетой, а после того, как Мещерский был лишен субсидий в 80 тыс. р.—«Гражданин» сделался еженедельной газетой—можно сказать листком; в этом виде он издается и до настоящего времени.

Итак, государь император приказал выдавать субсидию на издание «Гражданина» в размере 18 тыс. р. в год, при чем эти 18 тыс. р., пока я был министром, он всякий раз, ежегодно, получал по особому всеподданнейшему докладу; насколько мне известно, он продолжал их получать и после меня, продолжает получать и в настоящее время.

Когда Мещерский получил таким образом возможность писать государю, то в скором времени я заметил, что с государем у него установились отношения довольно близкие. Так, мне князь Мещерский несколько раз показывал письма государя, в которых государь император писал ему на «ты».

Как известно, император Александр II ко всем своим близким и подчиненным обращался на «ты», но этот обычай вывел император Александр III, который ни к кому, кроме как к своим родным, не обращался на «ты». Тем более это нужно сказать и об императоре Николае II, потому что, как я уже говорил, император Николай II человек в высокой степени деликатный, воспитанный в заграничном духе, с точки зрения именно внешнего воспитания, а следовательно обращение (с его стороны) к князю Мещерскому на «ты» показывало безусловно особую милость государя к Мещерскому, милость, которую вообще он никому из своих приближенных лиц, ни министрам, ни другим лицам, с которыми государь император имеет постоянные сношения,—не оказывал.

Мне Мещерский объяснил, что он особо как-то раз умолял государя оказать ему милость и в память тех отношений, которые были между ним и императором Александром III, обращаться к нему, к своему верному слуге на «ты».

Когда случилось несчастье с Сипягиным, который был убит Балмашевым, то явился вопрос: кто будет министром. На другой уже день я узнал, что министром будет Плеве.

Плеве был назначен министром потому, что об этом писал государю Мещерский, который очень рекомендовал Плеве (в качестве министра), как человека, который в состоянии поддержать порядок и задушить революционную гидру, от руки которой пал действительно высоко почтенный министр и глубоко порядочный и честный человек—Сипягин.

Такая рекомендация со стороны Мещерского являлась странной, потому что как-то раз, еще за несколько месяцев до смерти Сипягина, я, Мещерский и Сипягин обедали (не помню у кого—у Мещерского или у Сипягина); Сипягин жаловался

на то, что он не может вести дело так, как бы он хотел, что он встречает различные затруднения, и говорил, что если будет так продолжаться, то он будет вынужден уйти. Тогда возник естественно вопрос: если он уйдет, кто же может быть назначен вместо него? Когда было произнесено имя Плеве, то Сипягин сказал, что это будет самое большое несчастье для России, если министром будет назначен Плеве,—и Мещерский не только против такого мнения не возражал, но даже с таким мнением Сипягина согласился. Так как Мещерский считал себя поклонником Сипягина и был близок к нему, то было крайне странно, что через несколько месяцев после этого разговора он рекомендовал именно Плеве.

Будучи министром, Плеве чрезвычайно покровительствовал Мещерскому, всем его ублажал; при нем Бурдуков был сделан членом тарифного комитета министерства финансов от министерства внутренних дел. Вообще Плеве исполнял всякие просьбы о различных наградах, с которыми к нему обращался Мещерский. Мещерский часто бывал у Плеве; он, вероятно, давал ему благие советы, как управлять Россией, а с другой стороны, он узнавал от Плеве много различных сведений для своего «Гражданина».

Вообще «Гражданин», в течение всего времени издания его Мещерским, всегда пользовался и пользуется, хотя и в ограниченном кругу читателей, известным влиянием. Происходило это и происходит от того, что, с одной стороны, как я уже говорил, Мещерский, несомненно, человек талантливый, имеет некоторую опытность, а с другой стороны, потому что «Гражданин», вследствие особого положения Мещерского, часто являлся осведомленным, т.-е. знал такие вещи, которые другим газетам и изданиям были недоступны; наконец, объясняется это еще и тем, что Мещерского считали вообще человеком влиятельным (и считали его влиятельным не без основания), а потому естественно находился такой круг читателей, который покупал «Гражданина» и читал его, в виду такого его влияния.

Кроме того, у Мещерского всегда раз в неделю по вечерам собирались. На этих вечерах я никогда в жизни не был, но мне говорили, что на этих вечерах собиралось большое общество, состоящее большею частью из лиц, искавших какую-нибудь протекцию или поддержку, не исключая и лиц, стремящихся в Государственный Совет. Так, например, я знаю несколько лиц, которые попали в Государственный Совет, вероятно, благодаря ходатайству и рекомендации Мещерского, а именно: член Государственного Совета Платонов, член Государственного Совета Шевич, и вообще многие другие лица также получали различные места благодаря протекции Мещерского—места губернаторов и другие высшие места в провинции.

Так, например, когда я был министром финансов, то князь Мещерский страшно ко мне приставал и страшно на меня обижался, жалуясь, что я никогда не исполняю никаких его справедливых просьб; он хотел, чтобы я одного податного инспектора по фамилии Засядко, человека вообще не без способностей (он был из числа молодых людей, любезных князю Мещерскому), непременно сделал управляющим казенной палатой где-нибудь в России. Я долго на это не соглашался, но потом, когда открылось место управляющего казенной палатой в Царстве Польском в Полоцке,—я назначил его управляющим казенной палатой.— Затем, как только вступил Плеве, он сделал г. Засядко председателем губернской земской управы в Твери (после того, как председатель по выборам должен был быть, по высочайшему повелению, заменен председателем по назначению).

Когда я сделался председателем совета министров, в 1905 году, то я застал г. Засядко управляющим губернией в Самаре и, конечно, как только я вступил на этот пост, то он через 2—3 месяца потерял это место. Но потом, когда я ушел из председателей совета, то он опять, благодаря протекции Мещерского, получил место губернатора в одной из губерний Царства Польского, где он находится и до настоящего времени.

Этот Засядко вообще человек очень неглупый, не особенно дурной, но, конечно, сделал он эту карьеру не из-за своего ума, не из-за своего образования (он тоже просто из отставных офицеров; кончил курс, кажется, в Пажеском корпусе), не из-за своих талантов и заслуг, а исключительно благодаря своей близости,— когда он был еще молодым человеком,—к князю Мещерскому.

Когда министром внутренних дел сделался князь Святополк-Мирский—человек весьма благородный, чистый и честный, то Мещерский хотел к нему проникнуть; он неоднократно просил меня об этом, но я, конечно, желания Мещерского не исполнил. Тогда он старался проникнуть через другие пути; наконец, он что-то написал государю, так что государь сам заговорил с Святополк-Мирским о Мещерском. Когда император Николай II заговорил с Святополк-Мирским о Мещерском, то он сказал государю, что считает Мещерского такого рода человеком, которого государь не только не должен знать, но даже произнесение имени князя Мещерского устами государя императора,—по его мнению,—оскверняет эти царственные уста. Поэтому в течение кратковременного министерства князя Святополк-Мирского—Мещерский не играл никакой роли, но, тем более, он всячески марал Святополк-Мирского, писал всевозможные клеветы на него государю императору и делал различные выпады против Святополк-Мирского в своей газете.

Когда Святополк-Мирский после рабочей манифестации (в начале 1905 г.) должен был покинуть пост министра и вместо

него министром внутренних дел был назначен Булыгин, а затем в скором времени товарищем его сделался Трепов (который, в сущности говоря, был не только товарищем министра внутренних дел, но и диктатором, в каковой роли он находился не только впредь до того времени, когда случилось 17-е октября и я сделался председателем совета министров, но и после этого, вследствие чего, отчасти, я и должен был покинуть пост председателя),— то Мещерский также особенного успеха у Булыгина и у Трепова не имел; отношения его к государю продолжались, но уже не в такой степени, как это было раньше; так что можно сказать, что при Мирском, а потом при Булыгине и Трепове—Мещерский был отдален от государя.

Отдаление это произошло отчасти от того, что Святополк-Мирский был безусловно против Мещерского, а с другой стороны, Булыгин и Трепов также относились к Мещерскому с неуважением; главной же причиной этого отдаления было то, что Мещерский в Японскую войну играл особую роль.

Надо отдать справедливость Мещерскому, что он был против этой войны, против этой истории, против Безобразова, Вонляр-лярского, Абазы и вообще всей этой банды, которая вовлекла нас в японскую войну; он имел в данном случае смелость откровенно писать об этом государю. Когда вся эта война разразилась, разразились все несчастные последствия этой войны, то государя это весьма охладило к Мещерскому, так как ни предупреждениям Мещерского, ни предупреждениям многих других лиц, и прежде всего моим,—относительно несчастных последствий, которые будет иметь эта война,—государь не придавал должного значения.

Я отлично помню, как 6 мая 1903 года приходит как-то ко мне Мещерский и показывает мне письмо государя, в котором государь говорит ему (содержание письма приблизительно было таково):—Я тебе очень благодарен за то, что ты мне пишешь всю правду и предупреждаешь относительно тех лиц, которые, по твоему мнению, ведут меня к войне. За эти сообщения я тебе очень благодарен, но остаюсь при прежнем своем мнении, и завтра ты увидишь этому доказательства.

Я спросил Мещерского: по поводу чего ответил ему государь? Мещерский сказал мне, что он получил письмо это в ответ на его предупреждения о всех тех лицах (которых он перечислял по-фамильно), которые вели самую мерзкую и опасную интригу, приведшую нас к войне. Письмо это (которое мне Мещерский прочел), которое я отлично помню, было написано в весьма едкой и остроумной форме. Но письмо это я не считаю возможным ныне здесь привести.

Так вот это письмо государя было ответом на его письмо.

Мещерский спросил меня, что значит фраза в письме: «Завтра ты увидишь по этому предмету мое мнение». Я ответил, что я также не могу этого понять. Но на другой день мы прочли, что Безобразов сделан статс-секретарем, генерал Вогак, который был один из помощников Безобразова и ездил с ним на Дальний Восток,—причислен к свите его величества; затем последовали и другие награды. Одним словом, Безобразов сделался чуть ли не самым влиятельным лицом у государя.

Вот это отрицательное отношение Мещерского к Японской войне и его довольно резкие по этому предмету письма к государю, из которых одно,—как я уже говорил,—я читал, вероятно, и послужили поводом охлаждения государя к Мещерскому. Охлаждение это,—как мне известно,—продолжалось довольно долго, именно весь 1906, 1907 и, кажется, 1908 год. И вот только в последнее время, в последний год или $1^1/_2$, Мещерский опять воспрянул; государь, кажется, раза два его принимал и вообще опять начал к нему благоволить.

Но я, со времени оставления мною поста председателя совета министров, более с Мещерским не знаком и ни в каких с ним сношениях не нахожусь. Произошло это вот почему:

Когда я вернулся из Портсмута, то Мещерский писал мне всевозможные дифирамбы; был у меня и плакал, уверяя, что Россия погибла и что единственное спасение России заключается в конституции; необходимо дать России конституцию. После этого, когда произошло 17-е октября, и России, действительно, была дана очень умеренная и очень консервативная конституция (которая, между прочим, можно сказать, почти что уже похоронена Столыпиным), и как только я покинул пост председателя, то Мещерский накинулся на меня, писал всякие гадости. Особенно возмутила меня одна статья, в которой говорилось, что, конечно, я теперь, в виду такого состояния России, бросил Россию, поеду заграницу и буду заграницей жить, а Россия может страдать, будет проливаться кровь, а я теперь на все готов плевать, благо что, по соображениям Мещерского, я имею некоторые средства, которые и дозволяют мне жить заграницей.

Затем он начал писать, конечно, в угоду направлению, которое все более и более стало преобладать, а именно начал писать в духе крайне черносотенного, консервативного направления. Начал уверять, что 17-е октября, и затем вот эта конституция была дана потому, что я чуть ли в это время совсем не помешался; что я в это время был совсем помешанный, невменяемый, а потому и поднес государю императору такого рода акты.

Тем не менее, написав такую статью, Мещерский и господин его адъютант, ...—Бурдуков,—имели нахальство ко мне явиться; конечно, я их не принял

(это было сейчас же после того, как я покинул пост председателя совета министров).

Затем я поехал заграницу и был в Гомбурге, куда под предлогом лечения почел нужным явиться и господин Мещерский, а главным образом, для того, чтобы как-нибудь ко мне приблизиться и не терять со мною связь. Но это Мещерскому не удалось.

С тех пор я Мещерского не признаю, несмотря на то, что он вначале,—пока думал, что я могу опять прийти к власти,—всячески ко мне старался влезть, но все его вылазки, а также и вылазки господина Бурдукова, всегда с пренебрежением отвергал и отвергаю до настоящего времени.

Между прочим, когда я был председателем совета министров, то в первые же дни моего председательствования, ко мне явился Мещерский, который упрашивал меня причислить к своей канцелярии некоего Мануйлова. Я знал, что Мануйлов был агентом департамента полиции и, после ухода Рачковского, агентом министра внутренних дел в Париже; знал это потому, что когда я в качестве председателя комитета совета министров был в Париже, то ко мне раза два являлся Мануйлов.

Мещерскому относительно его просьбы я сказал, что решительно ничего не имею против того, что если Мануйлов хочет, пусть припишется к моей канцелярии, оставаясь в департаменте полиции, если только на это согласен министр внутренних дел. Затем, я просил начальника моей канцелярии Вуича снестись с министром внутренних дел. Министр внутренних дел ответил, что он решительно никаких препятствий не имеет, а поэтому этот Мануйлов был причислен к моей канцелярии и находился в ведении директора канцелярии и управляющего канцелярией—Вуича (который ныне состоит сенатором), человека в высокой степени порядочного, благородного и редко честного.

Лично я ни в каких непосредственных сношениях с Мануйловым не находился; только раза два пришлось мне иметь с ним непосредственные отношения, что было известно и Вуичу.

Дело заключается в следующем:

Как-то раз приходит ко мне Мануйлов и от имени князя Мещерского очень просит, чтобы я принял священника Гапона. Я был очень удивлен, что священник Гапон находится здесь, и через несколько дней, конечно, выпроводил его заграницу. Но раньше, чем я его выпроводил, ко мне явился Мещерский и убеждал меня принять священника Гапона. Говорил, что Гапон раскаялся, что он может принести громадную пользу правительству в смысле сыска.

Но я сказал Мещерскому, что Гапона я никогда в своей жизни не видел, видеть не желаю и его не приму. Потом я сказал ему, что Гапон этот раз уже обманул Святополк-Мирского и Плеве,

когда, вследствие этой истории 9-го января 1905 года, на Дворцовой площади, благодаря Гапону, было убито несколько сот человек невинного народа, и что я с таким негодяем ни говорить, ни видеться не желаю. Так что, несмотря на все настояния Мещерского,—я просьбы его не исполнил.

Затем, как я слыхал, он обращался с такими же просьбами и к Дурново.

Мне на-днях говорили,—я сам этого не читал, может быть это и неверно,—но мне говорили люди довольно верные, что «Русское Слово» купило мемуары Гапона (который, как известно, уже давно убит), что мемуары эти будут летом печататься; что в этих мемуарах есть запись Гапона, относительно того, что когда он обращался к Мануйлову и Мещерскому и просил, чтобы я его принял, что тогда он лишь обманывал. В мемуарах Гапон, как мне передавали, пишет, что он хотел настоять, чтобы я его принял потому, что было решено меня убить, было решено, что Гапон придет ко мне с пистолетом и убьет меня из браунинга. Но это ему не удалось, потому что, несмотря на просьбы Мануйлова и Мещерского, я Гапона не принял, так как считал его негодяем.

Рассказывая это, я, конечно, уверен, что несмотря на низкие качества Мануйлова и Мещерского, они не знали намерений Гапона, а рассказываю это я (по поводу Мануйлова) только для того, чтобы охарактеризовать личность Мещерского, чтобы показать, какого рода этот человек. Раньше, чем была дана конституция,—он плакал и убеждал меня, что России необходима конституция, но когда конституция вышла из моды, то он начал кричать и накидываться на тех, кого он считает участниками этой реформы, благодаря кому конституция эта была дана.

Всю свою жизнь Мещерский только занимается своими фаворитами; из политики же он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и в пользу своих фаворитов. Так что я не могу иначе сказать про Мещерского как то, что это ужаснейший человек. Про это знают почти все, имеющие с ним сношения.

Как я уже говорил, относительно его предупреждал меня и граф Воронцов-Дашков и К. П. Победоносцев, которые иначе, как негодяем, его не называли; против него были и Тертий Иванович Филиппов и Дурново.

Затем, сам я видел, что до тех пор, пока какой-нибудь человек находится у власти и ему нужен—Мещерский пишет этому человеку дифирамбы, уверяя, что если только он уйдет, то Россия погибнет; а стоит только этому лицу уйти,—он на другой же день начинает обливать его помоями.

Брат Мещерского, который был попечителем московского учебного округа, а затем жил в Москве, Мещерского не при-

знавал, считая своего брата таким человеком, с которым знаться нельзя.

У московского князя Мещерского было пять дочерей, из которых на одной женат князь Васильчиков (тот, который был министром земледелия, а теперь член Государственного Совета), на другой князь Голицын, а на остальных лица известные и вполне порядочные из общества. Все эти племянницы, а также и их мужья не признают этого Мещерского и считают постыдным для себя быть с ним знакомыми.

Вот, что такое Мещерский, а поэтому нельзя иначе, как с большим соболезнованием думать о том, что подобного рода лица могли и могут иметь какой бы то ни было доступ к таким чистым лицам, как наши монархи. Тут, очевидно, происходит величайший обман, с одной стороны, и заблуждение—с другой.

Моя полемика с А. И. Гучковым.

НОВОЕ ВРЕМЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 1911 ГОДА
В ОБЩЕСТВАХ И СОБРАНИЯХ.

Сегодня вечером состоялось под председательством А. И. Гучкова заседание центрального комитета союза 17 октября при участии членов партии, живущих в Москве. Заседание было посвящено главным образом речи Гучкова в память П. А. Столыпина. Прежде всего память почившего была почтена вставанием. Гучков указал, что в лице Столыпина сошел человек, который по своим идеям, по своим стремлениям, по своим политическим задачам наиболее сходился с планами и стремлениями многих членов 17 октября. В виду этого к смерти этого человека союз не может отнестись так, как отнесся бы или мог бы отнестись к смерти всякого другого видного администратора и государственного деятеля, как бы крупно ни было его значение. Однако же, пусть собрание не ждет от оратора попытки охарактеризовать всю деятельность Столыпина, все его заслуги. Оратор прежде всего лично подавлен тяжестью утраты и не мог бы осуществить такую задачу во всей ее полноте под свежим впечатлением момента. Это требует серьезной и продолжительной работы, да и время для полной оценки Столыпина еще не наступило, потому что события слишком близки к нам. Гучков хочет лишь познакомить собрание с некоторыми эпизодами, которые имели прямое или косвенное отношение к союзу 17 октября.

Первый раз Гучков познакомился с личностью Столыпина, когда граф Витте формировал кабинет, и шла речь о приглашении в него общественных деятелей. Тогда на совещание были приглашены: профессор князь Трубецкой, Шипов и сам оратор. Им было предложено вступить в министерство. А. И. Гучков совершенно не хотел принимать портфеля, другие колебались, но во всяком случае все ставили известные условия. Прежде всего они хотели знать, кто будет их товарищами по кабинету, главное—кто будет министром внутренних дел. Граф Витте говорил о Дурново. Против него решительно запротестовали все присутствовавшие общественные деятели. Граф Витте предложил компромисс в виде назначения товарищами Дурново князя Урусова и Лопухина, которые будут де сдерживать Дурново; но общественные деятели решительно высказались против Дурново. Тогда князь Оболенский, присутствовавший на собрании, выдвинул имя Столыпина, рекомендуя его с прекрасной стороны. После долгих переговоров и колебаний граф Витте взял телеграфный бланк и написал вызов Столыпину в Петербург. Общественные деятели ушли в полной уверенности, что в кабинете будет Столыпин, но на другой день граф Витте собрал их и заявил, что передумал и остается при Дурново. Столыпин появляется

уже после, когда перед созывом первой Государственной Думы Горемыкиным был сформирован кабинет. Тут состоялось и непосредственное знакомство Гучкова со Столыпиным. Когда во время первой Государственной Думы зашла речь о кадетском кабинете, и вопрос об образовании его был в принципе почти решен, П. А. Столыпин был тот, который восстал против этой мысли и которому удалось доказать нежелательность такой комбинации.

Первая Государственная Дума была распущена, и Столыпин был назначен премьером. Гучков рассказал все более или менее известные подробности об отношении Столыпина ко второй и третьей Думе, остановившись обстоятельно на образовании правой группы в Думе и, особенно, в Государственном Совете уже во время третьей Думы, при чем деятельность этой группы в Государственном Совете была целиком направлена против Столыпина. Во главе этой группы стоял Дурново, а негласным ее вдохновителем был граф Витте. В первый раз кампания правых против Столыпина должна была проявиться на преобразовании русской миссии при японском правительстве в посольство. Правые хотели подчеркнуть в этом акте покушение революционного Столыпина на прерогативы монарха, который должен был провести это помимо Думы. Затем решено было оставить этот повод и ожидать более удобного случая. Случай нашелся в штатах морского министерства. Подробности этого инцидента достаточно известны. Когда эти штаты, пройдя через Думу и Государственный Совет, не удостоились высшего утверждения, Столыпин подал в отставку. В вопросе о штатах, как и в вопросе об японской миссии, всю интригу вел Дурново, инспирированный своим другом Витте, или вернее графом Витте через своего Дурново.

Третье столкновение Столыпина с этой кампанией было в вопросе о введении земства в западных губерниях. Все это дело настолько близко и настолько известно, что оратор не счел нужным о нем распространяться Он только заявил, что октябристы во всем, где только было возможно, шли совместно со Столыпиным, рука об руку с ним. В заключение Гучков говорил о душе Столыпина, о его сердце, о том, что это был прекрасный, благородный патриот в лучшем смысле этого понятия. Он горячо любил Россию и с особенно нежным, хорошим чувством произносил это слово Россия.

После Гучкова говорил местный октябрист доктор Куманин. Он произнес горячую тираду, зажигательные слова, посвященные памяти благородного человека и великого гражданина.

Затем вниманием собрания вновь завладел Гучков. По поводу появившегося в газетах сведения он дал несколько любопытных разъяснений. В газетах писали, что собственно неизвестно, кто убил Столыпина: революционеры или охрана. Нужно ли считать виновником Багрова или Курлова, Кулябка и камер-юнкера Веригина? Действительно, все здесь так запутано, что трудно разобраться в истине и выяснить, кто виноват. Вместе с тем в связи с покушением уже появились слухи, что есть стремление замять это дело, не дать возможности осветить его во всей полноте, что уже приняты в этом направлении известные шаги. Это дало повод преданным Столыпину октябристам и националистам, собравшимся на могиле премьера, выяснить создавшееся положение, при чем собравшиеся уполномочили от лица присутствовавших председателя Государственной Думы Родзянко обратиться к министру юстиции Щегловитову и заявить ему, что если дело об убийстве Столыпина не будет освещено в полном объеме, то Государственная Дума возьмет это дело в свои руки. Щегловитов спросил Родзянко: «Что это, угроза?» На это Родзянко ответил: «Нет, предупреждение». В собрании октябристов было выдвинуто имя сенатора Трусевича, как лица, которому должно быть поручено расследование этого дела. Об этом Родзянко тоже сообщил Щегловитову, который сказал, что и он думал об этом кандидате. Так ли это или нет, но во всяком случае Трусевичу поручено расследование этого дела. В газетах, говорил затем Гучков, сообщалось также, что в Киеве

состоялось соглашение между националистами и октябристами. Это не совсем так. Во-первых, в Киеве не были все представители обеих партий, а присутствовавшие, конечно, не могли брать на себя смелости решать за всю партию. Действительно, на могиле Столыпина октябристы и националисты объединились больше в общем чувстве скорби по поводу утраты Столыпина, но никаких решений и обязательств принято не было. Несомненно одно, что октябристы пойдут теперь с националистами по всем вопросам, по которым они могут итти совместно, например, по финляндскому вопросу. Но это совместное хождение будет только до известного предела. Например, в вопросе о церковно-приходской школе, если националисты не пожелают подчинить ее светской власти, октябристы за ними не пойдут; также разойдутся националисты с октябристами и по вероисповедному вопросу.

В заключение Гучков благодарил членов партии, собравшихся сегодня. Собрание аплодисментами подтвердило свою солидарность с заявлениями Гучкова о совместной тактике националистов и октябристов.

Сегодня же вечером со скорым поездом Гучков уехал в Петербург.

НОВОЕ ВРЕМЯ.
16 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА.

А. И. Гучков прислал нам письмо, в котором просит заявить, что заседание центрального комитета союза 17 октября в Москве было закрытое, представители печати на нем не присутствовали и этим, очевидно, объясняется, что сообщение нашего московского хроникера о произнесенных г. Гучковым речах совершенно не соответствует истине.

НОВОЕ ВРЕМЯ.
25 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА.

Граф С. Ю. Витте просит нас напечатать нижеследующее:

В «Новом Времени» от 15 сего сентября, в отделе «В обществах и собраниях» помещен отчет о заседании центрального комитета союза 17 октября. В этом отчете говорится, что будто бы А. И. Гучков в своей речи, между прочим, сказал следующее: (Следует цитата из приведенного выше отчета от слов «первый раз Гучков...» до слов «Все это дело настолько близко и настолько известно, что оратор не счел нужным о нем распространяться»).

В этом изложении содержится целый ряд сведений и утверждений, не соответствующих истине.

1. Графом Витте в совещании, о котором идет речь, были приглашены следующие общественные деятели: Д. Н. Шипов, которому был предложен пост государственного контролера; А. И. Гучков, которому был предложен пост министра торговли; князь С. Н. Трубецкой, которому был предложен пост министра народного просвещения; князь Урусов, которому предполагалось предложить пост министра внутренних дел, и М. А. Стахович, которому ничего не было предложено, так как он сразу заявил графу Витте, с которым находится доныне в самых дружественных отношениях, что желает баллотироваться в члены Государственной Думы и потому не считает удобным принять какой-либо правительственный пост, остальные же лица, в том числе и А. И. Гучков, не отказывались принять портфели и только ставили некоторые условия. Все эти деятели, кроме князя Урусова, были известны графу Витте, князь же Урусов был рекомендован ему на пост министра внутренних дел князем А. Д. Оболенским. Кроме вышеуказанных лиц и графа Витте в сказанном совещании принимал еще участие только князь А. Д. Оболенский.

2. Из предварительных, до совещания, объяснений с князем Урусовым графу Витте сделалось известным, что князь совсем не знаком с организацией и функциями русской секретной полиции, и потому ему не был предложен пост министра внутренних дел. По той же причине граф Витте не мог последовать совету совещания принять самому, оставаясь председателем совета министров, этот пост. Во время совещания князем А. Д. Оболенским был также предложен на пост министра внутренних дел саратовский губернатор П. А. Столыпин. Некоторые из присутствовавших отнеслись к этому предложению сочувственно; двое заявили, что Столыпина не знают; один заявил, что, насколько ему известно, Столыпин в своих действиях и мнениях неопределенен и изменчив. Граф же Витте на это предложение никак не реагировал, никакой депеши Столыпину не давал и не предполагал давать, находя, что предлагаемый кандидат не может занять место министра внутренних дел, не будучи знаком с некоторыми частями министерства и, главным образом, так же, как и князь Урусов, не будучи совсем знаком с организацией и функциями русской секретной полиции. Поэтому граф Витте на пост министра внутренних дел с самого начала совещания предложил П. Н. Дурново и настаивал на этом предложении, сознавая всю ответственность, которая на нем лежит, в случае катастрофы по неопытности министра внутренних дел, подобной той, которая произошла в Киеве и которая могла иметь еще неизмеримо более ужасные последствия, не произошедшие не вследствие распорядительности и опытности министра внутренних дел, а по божьей милости.

Если подобная катастрофа оказалась возможной через пять лет после оставления графом Витте поста председателя совета и после засвидетельствования «успокоения», то тем паче их графу Витте следовало опасаться во время полной смуты конца 1905 и первой половины 1906 годов, когда граф Витте был премьером.

3. В первом заседании совещания между графом Витте и вышеупомянутыми общественными деятелями последовало принципиальное согласие по всем главным вопросам, за исключением вопроса о назначении министра внутренних дел. Граф Витте настаивал на назначении Дурново, а общественные деятели, за исключением князя Урусова, высказывались против этого назначения. Князь Урусов убеждал своих коллег по совещанию, в виду трудного момента и невозможности медлить, согласиться на назначение Дурново и, с своей стороны, чтобы показать пример, заявил, что готов принять пост товарища Дурново по министерству. Вследствие такого разногласия, заседание совещания было отложено на несколько часов. В следующем заседании Шипов, Гучков и князь Трубецкой заявили, что они не могут войти в министерство, где будет Дурново, а граф Витте заявил, что он сожалеет, что лишается столь почтенных коллег, но не может отказаться от назначения Дурново.

Поэтому образование министерства с общественными деятелями не состоялось, и Дурново был назначен, но только управляющим министерством внутренних дел, хотя графом Витте был представлен в министры. Товарищем Дурново одновременно был назначен князь Урусов, а о назначении Лопухина товарищем министра внутренних дел не было ни в совещании, ни вне его и речи. Лопухин не мог входить в предположение графа Витте уже потому, что он был правой рукой В. К. Плеве.

4. Заявления, будто бы сделанные г. Гучковым в сказанном заседании, о том, что граф Витте был негласным вдохновителем правой группы членов Государственного Совета и лидера ее Дурново, «его друга», безусловно ошибочны. Всем членам Государственного Совета правой группы это отлично известно. Граф Витте ни в правой и ни в какой иной группе не состоял и не состоит. С Дурново у него сохранились хорошие личные отношения, но, вследствие разномыслия по многим принципиальным вопросам, они виделись редко и избегали деловых разговоров. В частности по делу

о миссии в Японии граф Витте не принимал никакого участия, и все это дело проходило в его отсутствие. По делу о штатах морского министерства граф Витте указал на точный смысл законов т а к, к а к о н и х п о н и м а л, к о г д а с о с т а в л я л. Правительство же Столыпина толковало эти законы в смысле ограничительном по отношению власти монарха, а затем, когда его величество не одобрил это толкование, то то же правительство в исключительном порядке растолковало те же законы в смысле значительно более широком, нежели их комментировал граф Витте. По делу о земствах в западных губерниях, граф Витте и многие ч л е н ы правой группы совершенно по различным и даже противоположным мотивам высказались против предложения правительства, — и граф Витте до сих пор держится убеждения, что принятое решение породит массу недоразумений и толков.

О т р е д а к ц и и. Сообщение А. И. Гучкова о том, что отчет нашего хроникера о речах, произнесенных в заседании центрального комитета союза 17 октября, не соответствует истине, графу С. Ю. Витте известно.

НОВОЕ ВРЕМЯ.

27 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

М. г. В № 12765 вашей уважаемой газеты помещено письмо графа С. Ю. Витте с возражением против некоторых мест того доклада (кстати, с большими искажениями переданного в газетах), который был сделан мною в заседании центрального комитета союза 17 октября. В общем, граф Витте излагает правильно ход дела с первой попыткой образовать правительство, как тогда называлось, из «общественных деятелей», и не вступает ни в какие противоречия с той версией, которая была сообщена мною в моем докладе. Однако, встречаются подробности, которые представляют известный интерес, но, за давностью времени, или запамятованы графом Витте, или сохранились в его памяти в искаженном виде. И немудрено: ведь среди той кипучей работы по постройке новой России на основах манифеста 17 октября, которой, казалось, был поглощен новый председатель совета министров, те переговоры, которые он вел с группой общественных деятелей, представляли для него небольшой эпизод, который мог и не сохранить отчетливого следа в его памяти. Внимание его собеседников было более пристально и могло оставить более резкий отпечаток в их воспоминаниях об этих событиях.

Главным пунктом разногласия в переговорах явился, действительно, вопрос о замещении поста министра внутренних дел. Граф Витте с самого начала весьма категорически высказал, что единственным его кандидатом на этот пост является П. Н. Дурново (тогда товарищ министра, заведывавший полицией). Главным доводом в пользу этого кандидата выставлялось его близкое знакомство с делами полиции, охраны, борьбы с революционными партиями: «он держит в руках все нити». Собеседники графа Витте не менее категорически возражали против этой кандидатуры. Возражения их имели в виду не столько политическую, сколько моральную фигуру кандидата. Ведь политическая физиономия господина Дурново в то время еще мало обрисовалась, а я лично имел некоторые веские данные, чтобы считать будущего борца против революции не столь непримиримым реакционером, каким он, видимо, перейдет в потомство. Я имел основание считать его достаточно гибким и покладистым, чтобы сделаться верным слугою всякого политического порядка, лишь бы этот порядок был прочен. На основании этих данных я легко мог себе представить господина Дурново в качестве министра внутренних дел при том конституционно-монархиче-

ском строе, который был заложен манифестом 17 октября, правда, при условии, чтобы этот строй был вне посягательств. Повторяю, главные возражения против этой кандидатуры относились к нравственной личности кандидата, к событиям из его прошлого, между прочим и к тому происшествию, которое нашло себе характеристику в одной высочайшей отметке. Горячим защитником кандидатуры господина Дурново явился, действительно, князь С. Д. Урусов, впоследствии член первой Государственной Думы. «Дурново лучше, чем его репутация», — говорил нам этот защитник, который и поступил вполне последовательно, согласившись итти к господину Дурново в помощники, в то время, как другие собеседники наотрез отказались сделаться его коллегами.

Может быть, не изгладилась из памяти графа Витте еще одна подробность этого эпизода. Был момент, правда непродолжительный, когда он уступил своим собеседникам и отказался от своего кандидата. Все описываемое происшествие имело место сейчас же после манифеста 17 октября,— когда царствовала самая широкая, я бы сказал, необузданная свобода печати. Председателю совета министров было доложено, что в распоряжении некоторых редакций имеется ужасающий материал разоблачений из прошлого его кандидата, что громовые статьи готовы в наборе и ждут только появления указа о назначении нового министра, чтобы вылить ушаты грязи и на него, и на все правительство, принявшее ответственность за такое назначение.

То, чего не могли достигнуть наши доводы в томительные дни длящихся переговоров, то в миг было достигнуто призраком скандала. Надо отдать справедливость графу Витте, что общественное мнение всегда представлялось ему силой, с которой следует ладить и за которой стоит ухаживать. Кандидатура господина Дурново пала, и тогда-то начались поиски новых кандидатов. Впервые тогда для меня прозвучало имя П. А. Столыпина. Граф Витте прав: имя это было названо князем А. Д. Оболенским, который очень горячо отозвался о выдающихся способностях саратовского губернатора. Кое-кто подтвердил, кое-кто отозвался незнанием. Определенно помню: отрицательного отзыва, о котором пишет граф Витте, никто не делал. Вероятно, граф Витте впадает невольно в весьма естественную ошибку, перенося свое позднейшее отрицательное суждение о личности покойного председателя совета министров на тот момент первого знакомства с самым именем его. В это же время всплыла и кандидатура господина Лопухина, бывшего директора департамента полиции при Плеве, а впоследствии эстляндского губернатора. Лопухин был назван князем Е. Н. Трубецким, который, в качестве его двоюродного брата, мог, конечно, лучше других судить о степени пригодности его к роли руководителя нашей внутренней политики. Кандидатура эта была, однако, можно сказать, одним взмахом устранена самим графом Витте, который напомнил о трусливом поведении эстляндского губернатора, позорно капитулировавшего в дни свобод в Ревеле. Позднейшая печальная история бывшего директора департамента полиции только подтвердила справедливость отрицательного к нему отношения графа Витте.

Вскоре, однако, произошла новая перемена. При возобновлении переговоров граф Витте заявил собеседникам с прежнею категоричностью, что он не может обойтись в своем кабинете без П. Н. Дурново. Нам оставалось только предостеречь в последний раз против той злосчастной точки зрения, в силу которой в основу выбора лица для руководства нашей внутренней политикой и, следовательно, в основу всей этой политики, ставились интересы охраны, политического сыска и борьбы с крамолой. Нам казалось, что при всей важности этих задач, они не должны заслонить собой ту необъятную область вопросов внутренней политики, которая при нормальных условиях должна бы составлять главное содержание деятельности государственной власти.

В частности, возвращаясь к личности будущего министра внутренних дел, я говорил графу Витте: «Призывая к власти нас, людей с воли, вы ищете не хороших техников, не хороших ведомственных министров. Среди ваших чиновников вы найдете на эти роли людей лучше нас. Вам нужны общественные деятели, которые принесут с собой, как бы авансом, в кредит, известную долю общественного доверия со стороны тех кругов, которые они представляют. Если бы мы, уступая вашим доводам, согласились стать коллегами господина Дурново, общественное мнение в миг развенчало бы нас, мы потеряли бы общественное значение, а следовательно и всякую цену для вас. В таком случае возьмите ведомственных министров: они вам более подходящи».

Переговоры были прерваны. Кабинет составился при участии П. Н. Дурново. Граф Витте, как видно, остался вполне доволен своим выбором, но и мне также не приходится раскаиваться в своем поведении.

Трудно возражать против последней части письма графа Витте, в которой он отрицает свои связи с правым крылом Государственного Совета и теми реакционными, внепарламентскими кругами, которые вели такую упорную и, теперь надо признать, такую успешную борьбу с покойным председателем совета министров. Был ли граф Витте вдохновителем этого похода? При настоящем состоянии наших исторических источников это трудно доказать документально, но для тех, кто, как я, стоял вблизи политической сцены последнего времени, была ясно видна та опытная, искусная рука, которая из-за кулис расставляла фигуры и дергала марионетками. Во всяком случае, общность конечной цели — борьба против нового политического строя, общность ближайших тактических задач, в числе которых первой являлось устранение того лица, которое было убежденным сторонником этого строя и стояло поперек дороги всяких реакционных политических экспериментов, эта общность являлась результатом, если не сговора, то внутреннего сродства. А что приемы борьбы у этих единомышленников были разные, то кто же не знает, что своеобразная личность графа Витте избегает действовать шаблонами и ходить проторенными путями?

Тяжкое время пережито нами. И пережито ли? На этом, сравнительно коротком периоде нашей истории, начиная с войны, сколько скопилось ошибок, преступлений, тяжких ответственностей. А сама война! Ее причины, ее течение, ее исход... Разве победа была так невозможна? Разве нашу несчастную армию, истекавшую кровью, разве ее поддержали? Много явилось теперь «спасателей» отечества. Из всех щелей и нор выползают они. А где они тогда были? Ведь, как известно, этих «спасателей» всегда является тем больше, чем меньше отечество нуждается во спасении. Многие из них тогда еще не решили, по какую сторону баррикады стать, «не знали, желать ли им побед нашей армии». Суд человеческий уже опоздал, суд истории не наступил. А перед этим судом покойный Петр Аркадьевич Столыпин явится с иным титулом, чем титул министра полиции.

А. ГУЧКОВ.

РЕЧЬ.

8 ОКТЯБРЯ 1912 ГОДА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

Вследствие отказа редакции «Нового Времени» поместить полностью мое письмо в редакцию, прошу вас напечатать его в вашей газете.

Только что получил «Новое Время» от 27 сего сентября, в котором помещено письмо А. И. Гучкова по моему адресу.

Прежде всего напоминаю, в чем дело.

В «Новом Времени» появилось подробное изложение речи, произнесенной многоуважаемым А. И. Гучковым в Москве по поводу возмутительного убийства П. А. Столыпина,—при чем в этой речи многократно говорилось обо мне. На другой день в той же газете была помещена маленькая заметка, что А. И. Гучков просит заявить, что речь его была передана неверно, и некоторые места изложения не соответствуют истине; но что именно из напечатанной обширной речи соответствует истине и что нет, об этом умалчивалось. Так как большинство того, что было напечатано относительно меня, именно и не соответствовало истине, то я почел нужным дать разъяснения, которые были напечатаны в «Новом Времени», от 25 сего сентября.

А. И. Гучков ныне признает, что мои разъяснения в общем изложены правильно, а, следовательно, многие факты в речи А. И. Гучкова так, как они были переданы в «Новом Времени», не соответствуют действительности. «Но встречаются подробности, говорит А. И. Гучков, которые представляют известный интерес и которые запамятованы графом С. Ю. Витте». Какие это подробности?

«Главным пунктом разногласия (в совещании с общественными деятелями),—говорит А. И. Гучков,—явился, действительно, вопрос о замещении поста министра внутренних дел. Граф Витте с самого начала высказался, что единственным его кандидатом на этот пост является П. Н. Дурново (тогда товарищ министра внутренних дел, заведывающий полицией)» (sic!). «Главным доводом в пользу этого кандидата выставлялось его близкое знакомство с делами полиции, охраны, борьбы с революционными партиями: «он держал в руках все нити». «Собеседники графа Витте (кроме князя Урусова), не менее категорически возражали против этой кандидатуры». Далее А. И. Гучков говорит: «может быть, не изгладилась из памяти графа Витте одна подробность этого эпизода. Был момент, правда, непродолжительный, когда он уступил своим собеседникам и отказался от своего кандидата». «Ему было доложено, что в распоряжении некоторых редакций имеется ужасающий материал из прошлого его кандидата, что громовые статьи готовы в наборе и ждут появления указа о его назначении, чтобы вылить ушаты грязи на него и на все правительство, принявшее ответственность за такое назначение».

Вот это есть первая подробность, которая мною запамятована...

В совещании с общественными деятелями, как я уже писал, я выставил единственного кандидата (по тому времени) на пост министра внутренних дел — П. Н. Дурново, и высказал тогда же доводы к такому моему бесповоротному решению. Но доводы эти были несколько иные, нежели те, которые изложены выше. А. И. Гучков или запамятовал, или ему не было известно, что П. Н. Дурново, хотя тогда и был товарищем министра внутреннних дел, но не заведывал полицией и не имел к ней касательства, а потому я никак не мог указывать на это обстоятельство в пользу моего кандидата. П. Н. Дурново заведывал полицией в качестве директора департамента при министрах внутренних дел— графе Толстом и Иване Николаевиче Дурново, а затем был сделан сенатором. Потом, через несколько лет, он был приглашен на пост товарища министра внутренних дел Д. С. Сипягиным и оставался на этом посту при Сипягине, Плеве, князе Святополк-Мирском и Булыгине, но ни при одном из этих министров не заведывал полицией и не имел к ней прямого касательства, а заведывал почтами и телеграфом. При А. Г. Булыгине всею полицией, на особых правах, заведывал генерал Трепов, а ближайшими его помощниками были директор департамента полиции, ныне сенатор, Гарин, а его действительным помощником — Рачковский.

В это ужасное время смуты и неурядицы, после 17 октября, я и принял пост председателя совета министров и собрал совещание с некоторыми

общественными деятелями, которым было предложено войти в мое министерство. Доводы, которые я им тогда представлял в пользу моего решения представить на пост министра внутренних дел П. Н. Дурново, были следующие. Я высказал, что у нас со времени уничтожения при графе Лорис-Меликове третьего отделения, к сожалению, заведывание всею, как секретной, так и наружной, полицией соединено с обширнейшим министерством внутренних дел. Что на пост министра внутренних дел нашлись бы лица, которые удовлетворили бы всех присутствовавших в совещании, но между ними нет лица, которому известны организация и функции русской секретной полиции. В настоящее время, говорил я, разъединить полицию от министерства внутренних дел, что необходимо сделать в будущем, невозможно, хотя бы уже потому, что это даст повод кричать, что после 17 октября прежде всего восстановили ненавистное в свое время III отделение. С другой стороны, смута охватила всю империю, а потому, по лежащей на мне ответственности за безопасность царствующего дома и за жизнь граждан Российской империи, я считаю необходимым, чтобы министр внутренних дел, вступающий в управление в момент революции, мог бы сразу взять в руки весь полицейский аппарат и с надлежащей компетентностью им управлять: дабы не было Азефов, Багровых и других многочисленных, по выражению погибшего министра внутренних дел, «идейных добровольцев», к которым он причислил также «Казанцева», и которые расплодились тысячами за последнее время. Для того, чтобы назначить на пост министра внутренних дел человека, которому сейчас же придется принимать решительные меры в области полиции, а не учиться и ссылаться на других, мне приходится выбирать, — говорил я, — или из сотрудников и учеников В. К. Плеве, или из сотрудников генерала Трепова, или предложить пост министра внутренних дел П. Н. Дурново, человеку твердому, решительному и знающему организацию русской секретной полиции.

Вот какие доводы в пользу выбора П. Н. Дурново мною были представлены, — выбора, который мною был бесповоротно решен до совещания, а потому я думаю, что А. И. Гучкову показалось, что во время совещания был н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й момент, когда я отказался от своего кандидата. Но, во всяком случае, был ли такой момент, или нет, это такая подробность, которая едва ли имеет какое-либо значение для дела.

В заключение своего изложения рассматриваемого эпизода А. И. Гучков замечает: «Переговоры были прерваны. Кабинет составился при участии П. Н. Дурново. Граф Витте, как видно, остался вполне доволен своим выбором, но и мне не приходится раскаиваться в своем поведении».

Я, действительно, остался доволен своим выбором в том отношении, что во время полнейшей смуты, когда я находился во главе правительства, не было такой поразившей весь мир своими сказочными особенностями катастрофы, которая произошла в Киеве, не было покушений не только на лиц царствующего дома, но и на более или менее видных деятелей и проч. и проч., а между тем, в мое время также не было института исключительного порядка смертных казней, установленного и получившего, так сказать, право гражданства во время расцвета третьей Государственной Думы, то-есть, расцвета «нового политического строя»,— по выражению А. И. Гучкова, такого применения смертной казни, о котором не мечтали до 17-го октября и во время моего премьерства даже самые крайние реакционеры. Если же замечание А. И. Гучкова о моем полном довольстве выбором относится до течения общей политики того времени, то я разошелся с тем течением политики, которое явилось после некоторого времени моего премьерства и к которому склонился и П. Н. Дурново, а потому, собравши Государственную Думу, я просил государя императора оказать мне милость и сложить с меня председательствование в совете министров.

Другая подробность, на которую указывает А. И. Гучков, как на такую, которую я запамятовал, касается того, что в сказанном совещании

никто не высказался о предложенном на пост министра внутренних дел П. А. Столыпине отрицательно, — между тем, я сказал, что один из присутствующих в совещании заявил, что «насколько ему известно, Столыпин в своих действиях неопределителен и изменчив». Смею утверждать, что это не я запамятовал. Я не считаю себя в праве в печати указать, кто именно из уважаемых членов совещания, видный общественный деятель, высказал отрицательное мнение о Столыпине, но если А. И. Гучкову угодно, ему лично я это напомню.

Наконец, в речи А. И. Гучкова, напечатанной в «Новом Времени», говорилось, будто бы я был негласным инспиратором правых членов Государственного Совета и их лидера П. Н. Дурново, в их выступлениях против покойного премьера. Я заявил, что это безусловно неверно, что, я уверен, подтвердит громадное большинство моих почтенных коллег всех партий Государственного Совета. Теперь А. И. Гучков говорит, что ему трудно возражать против моего отрицания, так как он, конечно, никаких доказательств к своему утверждению, что я был вдохновителем правых членов Государственного Совета, их лидера П. Н. Дурново и «реакционных, внепарламентских кругов», не имеет, но для него, «стоявшего близко к политической сцене последнего времени, была ясно видна та опытная, искусная рука, которая из-за кулис расставляла фигуры и дергала марионетками». «Во всяком случае, общность конечной цели — борьбы против нового политического строя, общность ближайших тактических задач, в числе которых первой явилось устранение того лица, которое было убежденным сторонником этого строя и стояло поперек дороги всяких реакционных политических экспериментов, эта общность явилась результатом, если не сговора, то внутреннего сродства» (моего и реакционеров).

Итак, А. И. Гучков не может представить никаких доказательств моих инспираций, а только это его догадки, его политическое чутье. Против такой аргументации трудно возражать. Я, с своей стороны, заявляю, что никогда, ни прямо, ни косвенно ни с кем ни в какие конспирации против несчастного П. А. Столыпина я не входил, и что никто не в состоянии представить доказательства противного. Это не что иное, как полицейско-политическая легенда, уже давно пущенная, отчасти из боязни моего престижа и, главным образом, для того, чтобы дискредитировать своих противников.

Всему свету известно, что новый строй был провозглашен манифестом 17-го октября 1905 года и очерчен законами, изданными в согласии с этим манифестом, когда я стоял во главе императорского правительства. Всему свету не менее известно мое исключительное и ответственное участие в создании этих актов, установивших «новый политический строй». От тех убеждений, которые я тогда имел смелость и счастье высказать моему повелителю государю императору, я никогда не отказывался, а воспоминание об этом наполняет ныне мою жизнь и составляет мою гордость. Известно, что правые реакционеры относятся ко всему, что было сделано 17-го октября и во время моего премьерства, вполне отрицательно, и свою ненависть к этим актам, обыкновенно, переносят на мою личность. Так как я не привык, без доказательств, кого-либо заподозревать, а тем паче оглашать об этих заподозреваниях, то с своей стороны, уверен, что реакционеры, полагающие, что нужно 17-е октября уничтожить, думают вполне искренно. Я их мнение не разделяю, нахожу, что то, к чему они стремятся, будет гибельно для царя и моей родины, но их мнение я понимаю: оно искренно и ясно. Но о каком «новом строе» говорит А. И. Гучков, за который будто бы погиб убежденный сторонник этого строя? В чем сохранились начала 17-го октября, вопло-

щенные во время моего премьерства в законы, вслед затем опубликованные? Об этом, если писать, то нужно писать томы. Но я утверждаю, что в новом обновленном строе, защитником которого теперь является А. И. Гучков, сохранился лишь труп 17-го октября, что под флагом «конституционного режима» в последние годы лишь указывали пределы царской власти, но свою собственную власть довели до неограниченного абсолютного и небывалого произвола. Для меня такие прогрессисты не более симпатичны, чем искренние, прямые реакционеры. На эту тему, по моему особливому участию в 17-м октябре, я не могу говорить спокойно. Об этом, как правильно замечает А. И. Гучков, скажет история...

В заключение же приведу следующее. Реакционеры, с одной стороны, и приверженцы погибшего премьера, с другой,—возбуждают во мне те же чувства, которые я испытывал, посещая в последнее время «revues» на злободневные темы во французских театрах. Когда на сцене похитители снимают Джиоконду и оставляют вместо нее старую стену, то зрители волнуются и огорчаются, когда же похитители снимают Джиоконду и вместо нее на старую стену вешают поддельную Джиоконду, с накрашенными ланитами и обведенными глазами, то зрители возмущаются и выходят из себя...

Биарриц, 30 сентября 1912 года.

ГРАФ ВИТТЕ.

Именной указатель

(Римские цифры обозначают том, арабские — страницу.)

Абаза, Александр Аггеевич, предс. департ. энономии Гос. Сов., I, 11, (мнение о Куропаткине) 125—127, 184, 213, 261, 408.

Абаза, контр-адмирал, тов. нач. гл. упр. торгов. морепл., I, 193, 236, 267 (покупка аргентинского флота), 317; II, 167, 169, 477.

Абдул-Гамид, турецкий султан, II, 425.

Авелан, адмирал, морской министр, I, 8, 269, (увольнение от должности после Цусимского боя), 318.

Авдаков, II, (выборы Тимирязева в члены Гос. Сов.) 416.

Адлерберг, граф, финляндский ген.-губ., II, 213.

Азеф, агент тайной полиции, I, (убийство Плеве и вел. кн. Сергея Алекс.) 303; II, 56, 85, 227, 279, 357, (развитие провокационной деятельности при Столыпине) 378.

Акимов, М. Г., предс. Гос. Сов., II, 145, (назначение мин. юст.) 149; (председательствование в Гос. Сов.) 150—151; 167, 170, 237, 241, 248 (кандидатура в председ. совета министров), 274; (увольнение с поста министра) 278; (устранение Меллер-Закомельского из Гос. Сов.) 319; 343, (назначение председ. Гос. Сов.) 355—356; 360; (военный законопроект) 361.

Аладьин, член перв. Гос. Думы, I, 446; II, 179.

Александра Иосифовна, вел. кн., супруга Константина Николаевича, II, 446.

Александра, королева Англии I, 1—2.

Александра Федоровна, императрица, I, 1, 4, 31, 92, (отношение к Куропаткину) 123—125; 157—158, (враждебное отношение к гр. Витте) 159, 189; 198, 216—217, (мнение государыни, что «государь все может») 220; (влияние Серафима Саровского на рождение Наследника) 221; 223, (отношение к Филиппу) 224—225; 230, (отношение к Вильгельму II) 255; (уверенность, что весь народ, кроме интеллигенции, за царя) 270; 283, 285, 286, 309, 358, 387; (ложная беременность) 389; 417, 452; II, (заявление, что гр. Витте вырвал манифест) 5—6; 8, 13, 19, 25, 28, 38—39, 42, 71, 72, 103, (мистическая близость к генералу Орлову и к фрейлине Вырубовой) 126—127; 146, (близость к «истинно-русским» людям, 227; (замужество; влияние на государя) 228—229; 243, 245, 265, 266, 268, 275, 306, 328, 330, (лечение в Фридберге) 429—430.

Александровский, губернатор, II, 377.

Александров, судебный следователь, II, (причастность охранного отделения к покушению на гр. Витте) 350, (дело Куроша) 443.

Александр I, император, I, 3, 159, 399; II, 202, 203, 265.

Александр II, император, I, 10, 26, 64, 174, 213, 252, 397, 400, 403, 405, 422, 427, 429—434, 439, 440, 441, 443, 448; II, 13, 17, 42, 104, 202, 203, 209, 228, 249, 266, 287, 343, 369, 397, (открытие памятника Александру II в Киеве) 446.

Александр III, император, I, (перевоз тела) 1—4; 5, 9, 10, 11, 14, 21—22, 25, 26, 30, 34, 39, 61, 66, 67, 69, 70, 73, 81, 97, 103, 136, 138, 156, 172, 173, (отношение к вел. кн. Александру Михайловичу) 187; 189, 190, 209, 213, 216, 229, (отношение к Германии) 245—246; (таможенная война с Германией) 247—248; (отношения к Вильгельму II; заключение первого торг. дог. с Германией) 249; (железная воля и высокая честность государя; прекращение «священной дружины») 249—254; 258, 295, 303, 304, 414, 418, 419, (учреждение Дворянского банка) 424; 429, 432, 434, 439, 441, 465; II, 7, 13, 42, 46, (увольнение П. Н. Дурново с поста директора департ. полиц.) 58—59; 63, 89, 135, 166, 199, (отношение к Финляндии) 203—208; 209, 212, 213, 228, 249, 252, 266, 310, 355, 360, 391, 394, 397, 412, 421, (отношения к кн. Мещерскому) 468—470; 472—474.

Александр Михайлович, вел. кн., I, 10, 16, 17, 110, (содействие Безобразову) 149—150; 180, (учреждение главн. управ. торг. морепл.) 187—192; (доносы и интриги) 193—194; 202, (привлечение Безобразова из изгнания) 203; 257, 269, 316, 317; II, (увольнение с поста главноупр. торг. мор.) 53; 163, 169, 172, 306, 389, 404, 422, 438, 439 и 449.

Александр, наследник сербский, I, 219.

Алексинский, член I Гос. Думы, I, 446.

Алексеев, адмирал, наместник Дальнего Востока, I, 128, 145, (назначение наместником) 195; 227, (мелочность и нечестность) 229; 236, (затягивание переговоров с Японией) 237—238; (назначение главнокомандующим) 239; (карьера Алексеева) 240; 242, (смещение с поста главком.) 243; 268, (упразднение комитета Дальнего Востока) 319; 330, 333; II, 326, 327, (кандидатура на пост морского министра) 329.

Алексеев, советник при корейском императоре, I, 117.

Алексей Александрович, вел. кн., I, (устройство в Либаве военного порта) 5—8; 9, 16, 36—37, 63, 101, (чрезвычайный кредит на увеличение флота) 118; (борьба с вел. кн. Александром Михайловичем) 188—191; 318; II, (смерть) 398.

Алексеенко, профессор, чл. Гос. Думы, II, 157, 456—457.

Алексей Николаевич, наследник-цесаревич, I, 156, 221, 251, 262, 317; II, 29, 40.

Альберт, директор Путиловского завода, I, (отзывы о Безобразове) 197; II, (субсидирование газеты «Россия») 455.

Амфитеатров, А. В., литератор, II, 455.

Анастасия Николаевна, жена принца Ю. М. Лейхтенбергского, затем жена вел. кн. Николая Николаевича, I, (выдача субсидий) 216; 219, 313; II, 330, 365.

Андрей Владимирович, вел. кн., I, 160—161.

Андронников, М. М., князь, II, (характеристика) 34—35; (предупреждение графа Витте о заговоре) 308—310.

Анненский, Н. Ф., писатель, I, 280.

Анапуло, завед. отдел. коммерческ. образ. мин. фин., I, 208—209.

Антоний, митрополит московский, I, 222, (особое совещание по вопросу о веротерп.) 295—297; 298; II, 455.

Антонович, А. Я., тов. министра фин., I, 71, 73.

Арсеньев, К. К., академик, I, 280, 292.

Аскенази, франкфуртский гражданин, II, 263.

Ато Иосиф, член абиссинской депутации, I, 104.

Августа-Виктория, герм. императрица, I, 376—377, 383.

Багров, убийца Столыпина, II, 264, 441, 449.

Бадмаев, доктор тибетской-медицины, I, 39.

Балинский, сын психиатра, I, 137—139.

Балмашев, студент, убийца Сипягина, I, 165.

Баранов, капитан, I, 315.

Барятинский, князь, наместник Кавказа, I, 172; II, 373.

Бахметьев, русский посол в Токио I, 386; II, 413.

Безобразова, жена статс-секретаря, I, 149.

Безобразов, статс - секретарь, I, 128, (план неофициального захвата Кореи) 148—150; 177, 184, 186—187, 193, 195, (назначение статс-секретарем) 196; 197, (влияние на государя) 202—203; 236, 242, 319, 322, 333; II, 167, 310, 404, 477, 478.

Безобразов, генерал, команд. Кавалерг. полка, II, 67.

Бекман, финляндский ген.-губ., II, 222, (назначение ген.- губ. и увольнение с поста) 225—226.

Бенкендорф, граф, посол в Лондоне, I, 261, 380; II, 431.

Бенкендорф, граф, обер-гофмейстер, II, 29.

Бергман, хирург, проф. берлинского унив., I, 164.

Берхтольд, австрийский посол в Петербурге, II, 410.

Бирилев, морской министр, I, 194, (назначение министром) 318; 326, 387, 391, (подписание биоркского соглашения) 394; II, 82, 97, (карательный отряд из взбунтовавшихся моряков) 125; 126, 170, 237—238, 268—269, (отставка) 325—328.

Бисмарк, канцлер Германск. имп., I, 138, 208, 246, 248, 260, 405.

Бобриков, финлянд. ген.-губ., II, 201, (финляндская политика) 210; 214—215, (убийство Бобрикова) 216—217; 219, 222, 224.

Бобринский, В. А., чл. Гос. Думы II, (расширение выборного закона в Гос. Думу) 101—103; 104, 286.

Бобринский, Алексей, граф, мин. пут. сообщ., II, 104.

Бобринский, граф, петерб. предв. двор., I, 311, 399, 424.

Богданович, генерал, I, 238.

Боголепов, Н. П., мин. нар. просв., I, (одобрение насильственных действий полиции) 134; (убийство) 163—164.

Бок, лейтенант, морской агент в Берлине, женатый на дочери Столыпина, II, 79.

Бомпар, французский посол в России, II, 190, 425.

Бострем, адмирал, тов. морск. мин., II, 329—330.

Боткин, лейб-медик, II, 431.

Бриан, премьер-министр Франции, II, 298.

Брянчанинов, публицист, I, 339.

Буадефр, ген., I, 12—13.

Будберг, барон, главн. упр. ком. прош., I, 269, 390, 451 ; II, 12, 20, 22, 30, 31.

Буксгевден, граф, чиновн. особ. пор. при моск. ген.-губ., II, (организация покушений на жизнь гр. Витте и чл. Гос. Д. Иоллоса) 347—348.

Булацель, П. Ф., I, 450.

Булыгин, мин. вн. дел, I, (назначение мин. вн. д.) 284; 286, 305, (составление рескрипта о привлечении выборных к законод.) 308—311; 319, 396, 398, 450; II, 34, 43, (увольнение) 47; 60, (свобода выборов в I Гос. Д.) 83; 86, 137, 138, 218, 267, 274, (об устранении воздействия при выборах в Гос. Д.) 285; 360, 477.

Бунге, Николай Христианович, мин. фин., I, 12, 70—71, 207, 408, 410, 418, 419, 424, 425; II, (финл. политика) 205.

Бурдуков, отставн. корнет, II, 370, (близость к кн. Мещерскому; карьера) 471—472; 475, 478—479.

Буренина, купчиха, I, 225, 313.

Буренин, сотрудник «Нового Времени», I, 305.

Буржуа, мин. иностр. дел Франции, II, 190,

Бурцев, В. Л., I, (письмо к гр. Витте) 336; II, 179.

Бутовский, чл. Гос. Сов., II, 151.

Бюлова, графиня, жена герм. канцлера, I, 259.

Бюлов, граф, герм. канцлер, I, 235, (черты характера Бюлова) 258—259; (подписание торг. дог.) 260; 336, 340, 371, (свидание императоров в Свинемюнде) 395; II, (Алжезирасская конференция) 186 — 187; 189, 190.

Быховец, II, 344.

Вагнер, проф. берлинск. унив., I, 70.

Валь, фон, ген., петерб. градонач., I, 278.

Вальдерзэ, ген.-фельдм. герм. армии, I, 145.

Ванновский, П. С., военный мин., I, 10, 36—37, 40, 81, 106, (захват Порт-Артура) 108; (увольнение) 113; 121—122, (расследование насильственных действий полиции против студентов) 134—135; (назначение мин. нар.

просв.) 164; (оставление должности мин. нар. просв.) 167; 243; II, (либерализм) 92—93; 207, 208, 212—213.

Варварин, сенатор, II, (дело Гурко) 319—320; (дело Лопухина) 321.

Варнава, архимандрит, I, 222.

Варшавский, II, 262.

Васильковский, генерал, II, 473.

Васильчиков, князь, мин. землед., II, 118; (назначение мин.) 293—294; 481.

Велепольский, граф, I, 105.

Вашингтон, президент Сев.-Ам. Соед. Шт., I, 364.

Вендрих, мин. пут. сообщ., II, 467.

Верховский, чл. Государств. Сов., I, 77.

Виктория, королева Великобритании, I, 64.

Виктория-Луиза, дочь имп. Вильгельма II, I, 376, 378, 382, 383.

Виктор Эммануил, король Италии, I, 232—233; II, 195, (свидание в Ракониджи) 427.

Вильгельм I, император Германии, I, 96—97, 249—250; II, 177.

Вильгельм II, император Германии, I, 63, 96, 97, (приезд в Россию; разговор с Николаем II о порте Киао-Чао) 98—101; (переписка с графом Витте о занятии Киао-Чао) 111; 112, 116, (привет адмирала Атлант. океана адмиралу Тихого океана) 184—185; (соглашение в Биорках) 226; (предупреждение о приготовлении Японией к войне) 227; (свидание в Потсдаме) 235—236; (охлаждение отношений к России) 245—246; 247, (тамож. война) 248; (пристрастие Вильгельма к мундирам) 249; 254—255, (успокоение относит. зап. границы) 257; 258, 259, 260, 315, (Марокканский инцидент) 334—335; (свидание в Биорках) 336; 340, 354, 355, 359, 363, (приглашение гр. Витте по заключении Портсмутского мира) 371—372; (свидание с гр. Витте в Роминтене) 375—383; 387, (соглашение в Биорках) 390—394; (свидание с Николаем II в Свинемюнде) 395; II, 23, 176, 181, 182, 183, (противодействие русскому займу) 185—189; (отказ Германии от участия в займе) 194; 195—196, 305, 327, 365, 367—369, 374, 427, 429, (свидание императоров в Потсдаме) 431—432.

Винавер, М. М., прис. пов., I, 446; II, (еврейское равноправие) 262—263.

Владимир Александрович, вел. кн., I, 9, 67, 230, 311, 399; II, 13, 25, 91—92, 184, 210, 214, 241.

Власовский, полковник, моск. оберполициймейстер, I, («Ходынка») 55—58; 275.

Вогак, ген. свиты его вел., I, 196; II, 478.

Воеводский, морск. мин., II, 412—413, (увольнение) 444.

Вонлярлярский, отставной полковник, I, 148, 184, (концессия на разработку золот. прииска) 206; II, 477.

Воронцов, светл. кн., наместник Кавказа, I, 172; II, 373.

Воронцов-Дашков, И. И., граф, мин. двора, I, 24, 56—57, (увольнение с поста мин. двора) 92—94; (содействие Безобразову) 149—150; (назначение наместн. Кавказа) 172; 202, 269, 437, 440, 451; II, 63, 203, 373, 385, 404, (отношение к кн. Мещерскому) 468—469; 470.

Врублевский, II, 130.

Вуич, директор деп. полиции, II, 345.

Вуич, Н. И., сенатор, пом. упр. дел. сов. мин., II, (справка о манифесте 17 октября) 6—17; 19, 21, 29, 35, 41, 73, 100—101, 152, 479.

Вуич, жена сенатора, дочь Плеве, II, 101.

Вырубова (Танеева) *Анна*, фрейлина императрицы Александры Федоровны, II, (близость к императрице и к генералу Орлову) 126—127; 146, 330.

Вышнеградский, мин. фин., I, 74, 414, 424; II, 95, 467, 470.

Вышнеградский, председатель правления С.П.Б. межд. банка, II, 197, 454.

Гагарин, князь, директ. пет. полит. инст., I, (назначение) 210; (увольнение) 211; (предание суду) II, 356—357.

Гагарина, княгиня, жена дир. пет. пол. инст., I, 210, (отзыв о Столыпине) 211; II, 356—357.

Гагарина, княгиня, статс-дама императрицы Марии Александровны, I, 210.

Газенкампф, генерал, II, 74.

Ганото, министр иностр. д. Франции, I, (объявление соглашен. с Францией союзом) 101—103.

Гапон, священник, I, 277, 279, (движение рабочих 9-го января 1905 г.) 307—309; II, 113, (попытки войти в соглашение с правительством) 152—155; (заступничество кн. Мещерского) 479—480.

Гарин, сенатор, II, (сотрудничество с Треповым) 63—64; 85, 145—146, 163, (ревизия над Рейнботом) 392—393.

Гартвиг, русский посланник в Сербии, II, 424.

Гартинг, агент тайной полиции, II, 56, 85.

Гаяши, японский посол в Лондоне, I, 261.

Гедеман, корреспондент «Matin» в Портсмуте, I, 340.

Генрих Прусский, принц, брат императора Вильгельма, I, 97.

Георгий Александрович, вел. кн., I, 156.

Георг V, король Англии, II, (сходство с Николаем II) 429.

Герард, Н. Н., финл. ген. губ., I, 437, 440; II, 201, (назначение ген. губ.) 221—225; 383.

Герасимов, начальник петербургского охранного отделения, II, 335, 337.

Герасимов, тов. мин. нар. просв., II, (назначение в виду консерватизма) 93; (увольнение за либерализм) 93—94; 394.

Гербель, нач. главного упр. по делам местн. хоз., II, 390, (введение земства в западных губ.) 438.

Гермоген, архиепископ, II, 376, 396, 456.

Гернгрос, корпусный командир, II, 402.

Герценштейн, член первой Гос. Думы, II, 44, 49, 54, 133, 311.

Герцог Дармштадтский, брат Александры Федоровны, I, 255, II, 430.

Гершельман, генерал, московский генерал-губ., II, (покушение) 383.

Гессе, генерал, дворцовый комендант, I, (назначение) 30—33; (уничтожение дневника Сипягина) 166—167; 203, (собирание сведений о Филиппе) 224; 266, 282, (близость к Юзефовичу) 293; II, 63.

Гессе, жена дворцового коменданта, I, 32.

Гессе, киевский губернатор, I, 32.

Гессен, И. В. I, 265, 305, 339, 450 II, (отношение гр. Витте к партии народной свободы) 177—178; (составление основных законов) 244; 287.

Гейден, граф, начальник военно-походной канцелярии его величества, II, (проект реорганизации морск. министерства) 327—328.

Гейден, П. А., граф, чл. перв. Гос. Д., I, 450; II, 104—105.

Гейден, граф, финляндский генерал-губернатор, I, 89, 315, 317, 337; II, 209.

Гинзбург, барон, II, (еврейское равноправие) 262.

Гирс, министр иностранных дел, I, 81.

Гирш, лейб-хирург, I, 156.

Глазов, генерал, министр нар. просвещ., I, 445, 451; II, (увольнение с поста мин.) 47; 91.

Глазунов, петербургский гор. голова, II, 455.

Голенищев-Кутузов, гр., I, 292.

Голицын, Григорий, князь, главнокомандующий на Кавказе, I, 85—87, (политика обрусения) 169—172; II, 373.

Голицын, князь, московский гор. голова, I, 450; II, 133.

Голицын-Муравлин, князь, I, 292.

Головин, Ф. А., председ. Госуд. Думы, II, 133.

Голубев, председ. деп. Гос. Совета, I, 291, 304, 434; II, 101.

Гончаров, член Гос. Совета, II, 441.

Горемыкин, Ив. Л., министр внутр. дел, I, (назначение министром) 25—30; 106, 133, (консервативное направление деятельности; одобрение насилий против студентов) 134; (увольнение от должности мин.) 135—136; (рапорт Татищева о переговорах Горемыкина с английскими промышленниками) 137—140; 289, 318, 366, 400; (защита земских начальников) 418; (возражения против освобождения полиции от взыскания податей) 435—436; 439; 440—441, (совещание по крестьянскому вопросу) 442—443; II, 11, 20, 22, 29—30, 43, 46, 60, 64, (назначение и увольнение с поста председ. сов. мин.) 71—72; 85, 102, 108, 166, 167, 171—172, 200, 235, 241, 242, 243, 248, 259, 271, (назначение вновь председ. сов. мин.

274 — 275; 281, (роспуск первой Гос. Думы и увольнение с поста предс. сов. мин.) 290—293; 301, 303, 304, 305, 315, 356, 360, 365, 366, 367.

Горький, Максим, I, 280.

Готенгер, глава банкирского дома. I, 37.

Гоц, революционер, II, 302.

Грант, генерал, командующий войсками нью-иоркского округа, I, 361.

Гредескул, профессор, I, 450.

Григорович, адмирал, морск. мин., II, (назначение) 444.

Григорьев, генерал, одесск. градонач., II, 383—384.

Грингмут, издатель Московских Ведомостей, I, 417, 440, 450; II, 5, 167, 376—377.

Гродеков, генерал, чл. Гос. Сов., I, 355; II, (назначение главнокоманд. вместо Линевича) 123.

Грубе, финан. агент в Персии, I, 153—155.

Гудович, граф, петербургский губ. предводит. двор., I, (записка 26 предводителей двор.) 320.

Гудович, графиня, II, 163.

Гурко, И., варшавский генерал-губернатор, I, (увольнение) 13; 87, 104.

Гурко, В. И., товарищ министра внутренних дел, I, 13; II, 161, (дело Гурко-Лидваль) 319—320.

Гурлянд, руководитель газеты «Россия», II, 253.

Гурьев, Н. А., редактор «Русского Государства», II, 253, 305, 332, 333, 334—335, 338.

Густав-Адольф, король шведск., II, (приезд в Россию) 395.

Гучков, А. И., председ. Гос. Думы, I, 294, 418, 424; II, 54, 57, 81, 87, 101, 103—104, (несочувствие автономии Польши) 130; 133, 178, 257, 286, 382, 393, 398, (военный законопроект третьей Гос. Думы) 402—404; 409, 420, (переворот в Турции) 425; 440, 441, 442, (отказ от председательствования в Гос. Думе) 444; 452.

Давыдов, директор кредитн. канц., II, 411.

Дедюлин, дворцовый коменд., I, 39; II, 63.

Делянов, граф, мин. нар. просв., II, 473.

Делькассе, франц. мин. иностр. дел, I, 155, 214, 333, (сближение Франции с Англией) 334; 370, 379; II, 189.

Ден, финляндский генерал-губернатор, II, 206, 210.

Дервиз, Иван Григорьевич, председ. правления Московско-Рязанской жел. дор., I, 20; II, 465.

Дервиз, член Гос. Совета, I, 434; II, 465.

Дервиз, Мария Ивановна, II, 465.

Джорж, Генри, писатель, I, 362.

Диков, адмирал, морской мин., II, 325, (назначение министром) 328—329; (увольнение) 412.

Диллон, публицист, I, 340, (интервью с океана по воздушному телеграфу) 341; II, 447.

Дмитрий Павлович, вел. кн., I, 456.

Дмовский, II, (военное положение в Польше) 130—131.

Долгорукова (Юрьевская), княгиня II, 104.

Долгорукий, князь, генерал-адъютант, I, 256.

Долгоруков, князь, московский ген.-губ., II, 391.

Долгоруков, князь, обер-гофмаршал, I, 437, 440.

Долгоруков, Пав. Дмитр., князь, (ка-де.) II, 66, 133, 179

Долгоруков, Петр Дмитр., князь, тов. председ. перв. Гос. Думы, I, 438, 456; II, 66, 133.

Дорошевич, В. М., фельетонист, II, 138, 455.

Драгомиров, Михаил Ив., киевский генерал-губернатор, I, 106, 278.

Драчевский, генерал, петербург. градоначальн., I, 278; II, 383.

Дубасова, II, 396.

Дубасов, адмирал, моск. ген.-губ., I, (занятие Квантунской области) 115; 173, 189, 316; II, (усмирение крестьянских волнений в Черниговской и Курской губ.) 115—116; 158, (назначение моск. ген.-губ.) 132; 137—139, (московское восстание) 140—141; (покушение на жизнь Дубасова) 142—144, 291; (отказ от поста морск. министра) 326, 328, 329, 348, 392.

Дубровин, председатель союза русск. народа, I, (характеристика черносотенных организаций) 223; 235, 283, 284, 311, 401, 409, 417, 450; II,

5, (близость к вел. кн. Николаю Николаевичу) 33; (укрепление положения) 74—75; 94—95, 99, 110, 178, 227, 267, 309, (покушение на убийство гр. Витте) 345—347; (назначение Толмачева) 385; 393, 412, 455.

Дурново, Иван Николаевич, м. вн. д., I, 2, (отзыв об императоре Николае II) 3; 13—14, (увольнение от должности министра) 25—26; 176, 212, 236, 412; (защита земских начальников) 417; (дворянская комиссия) 422—424; 426, 428; II, 59, 409; 467, (субсидия «Гражданину») 467—468, 470, 473, 480.

Дурново, П. П., генерал, московский генерал-губернатор, I, 452; II, 110, 135, 137.

Дурново, Петр Николаевич, министр вн. дел, I, 166—167, (доклад Плеве с доносом об участии гр. Витте в злоумышлении против государя) 181; 289, 294, 305, (необходимость широких либеральных преобразований) 459; II, 33—34, 41, (характеристика) 58—61; 66—67, (разоблачение погромной организации в департаменте полиции) 69—70; 74, (назначение мин. вн. дел) 85—89; (за расширение амнистии) 99—100; (арест совета раб. деп.) 112; 116, 137, 139, 145, 147, 149, 150, 153, 167, 170, 196, 237, 248, 250, 263, 265, 267, 271, 273, (увольнение с поста министра; награды) 277—278; 286, 320, 323, 361, 377, 378, 383, 407, 439, 441, 480.

Дюпюи, франц. мин. внутр. дел, I, 155.

Екатерина Михайловна, вел. кн., II, 365.

Елена Павловна, вел. кн., I, 213.

Елизавета Федоровна, вел. княгиня, сестра императрицы, I, 285, 456.

Енгалычев, князь, дворцовый комендант, I, 293; II, 30, 31, 63, 424.

Ермолов, А. С., министр земледелия, I, 269, 271, 273, 308; II, 160, 166, 365.

Ермолов, генерал, военн. агент в Англии, I, 325, 330.

Жерве, адмирал, I, 13.

Жермен, глава банка «Crédit Lyonnais», II, 176.

Завойко, I, (записка о передаче Дворянского и Крестьянского банков в министерство внутр. дел) 197—198.

Засулич, Вера, II, 13.

Засядко, губернатор, II, (близость к кн. Мещерскому) 476.

Звегинцов, чл. Гос. Думы, II, 402, 403—404.

Зволянский, директор департамента полиции, I, (уничтожение рапорта Татищева о Горемыкине) 140; II, 85.

Зверев, тов. мин. нар. просв., I, 164.

Зенгер, мин. нар. просв., I, (назначение министром) 167—168; 171; II, 91.

Зейн, помощн. финляндского ген.-губ., II, 383.

Зиновьев, русский посол в Константинополе, II, 423.

Золотарев, тов. мин. внутр. д., II, 460.

Зубатов, агент департамента полиции, I, 177—180, 234, 277; II, 85.

Иванов, сенатор, II, 149.

Иващенко, А. П., товарищ министра финансов, I, 17.

Игнатьева, графиня, жена киевского ген.-губ., II, 396.

Игнатьев, Алексей Павлович, граф, чл. Гос. Сов., киевский генерал-губернатор, I, 105—106, 288 (назначение председателем совещ. по пересмотру исключительн. положений) 294; (назначение председателем совещания по вопросу о веротерпимости) 296; 299, 300, 304, 311; II, 26, 46, 49, 102, 167, 241, (убийство революционерами) 395—396; 424.

Игнатьев, Н. П., граф, министр внутренних дел, I, 26, (антиеврейский закон) 170; 288; II, 424.

Извольский, А. П., министр ин. дел, I, (отказ от поручения вести мирн. переговоры с Японией) 323; 353, 371, (соглашение с Англией) 395; II, 38, (назначение министром) 276—277; 365, (политика сближения с Англией) 365; (сближение с Японией) 369; (соглашение с Англией) 371—372; (анексия Боснии и Герцеговины) 410; (увольнение) 411; 413, 421, 422, 424, (назначение послом в Париж) 431.

Извольский, П. П., обер-прокурор синода, II, (назначение) 293—294; (увольнение) 422—423.

Икскуль, барон, государ. секретарь, I, 304; II, 99, 100, (проект основных законов) 236; 370 (назначение чл. Гос. Совета) 380.

Иллиодор, иеромонах, I, 389, 409; II, 33, 376, 396, 456.

Иловайский, издатель газ. «Вече», I, 450.

Имеретинский, светлейший князь, варшавский генерал-губернатор, I, 88, 104; II, 132.

Ито, маркиз, I, (неудачная попытка заключить соглашение Японии с Россией) 183—184; 185, 327, 346, 350, 351.

Иоанн Кронштадтский, I, (свидание с Филиппом) 220; II, (характеристика; близость к союзу русского народа) 411—412.

Иоллос, Г. Б., член первой Гос. Думы, II, 49, 311, 348, 355.

Казанцев, агент охранного отдел., II, 178, 311, (покушение на жизнь гр. Витте и убийство Иоллоса) 347—350; 355.

Казаринов, вице-предс. об-ва Михаила Архангела, II, 178, (покушение на жизнь гр. Витте) 341—342; 347.

Кази, помощник морск. мин. Чихачева, I, 6—8, (предположение о назначении министром путей сообщения) 16—18; (борьба с морским мин. Чихачевым) 188—189; 190, 316.

Камышанский, прокурор петербургской судебн. палаты, II (дела о покушениях на жизнь гр. Витте) 345.

Кантакузен, княгиня, графиня *Сперанская*, I, 361.

Кантакузен, князь, граф Сперанский, I, 25.

Каприви, граф, канцлер Германии, I, (заключение первого торгового договора России с Германией) 248; 260.

Каракозов, I, 253.

Карпович, студент, убивший мин. нар. пр. Боголепова, I, 163.

Картавцев, управляющий дворянским банком, I, 425.

Кассини, граф, русский посол в Испании, II, (Алжезирасская конференция) 183; 185, 190.

Кассо, мин. нар. просв., I, (режим произвола и усмотрения) 163—164; II, 261, (назначение министром) 433—434.

Катков, II, 376.

Каульбарс, команд. войсками одесского округа, II, 384, (столкновение с Толмачевым) 386; (смертные казни) 387; 388.

Кауфман, мин. нар. просв., II, 93, 255, 260, (назначение министром) 279; (отставка) 393—394; 417.

Каханов, статс-секретарь, I, 434.

Кайо, мин. фин. Франции, I, 155.

Келлер, граф, генерал, II, 471.

Кергель, редактор журнала «Revue économique», II, 180.

Кирилл Владимирович, вел. кн., I, 161.

Китайская императрица-регентша, I, (соглашение о Порт-Артуре) 115; 146, 151.

Клемансо, президент французского кабинета министров, I, 338; II, 298.

Клейгельс, ген.-адъют., киевский ген.-губерн., I, (назначение генерал-губернатором) 278; 451; II, 110.

Кобеко, Дмитрий Фомич, член Гос. Сов., I, (совещание о печати) 292—293; II, 151, 254, (неудовольствие государя за закон о печати) 256.

Ковалевский, Владимир Иванович, тов. мин. ф., I, 62; II, 96, (составление проекта основных законов) 244; 288.

Ковалевский, Максим Максимович, II, (составление проекта основных законов) 244; 405.

Ковалевский, директор департамента полиции, II, 301.

Козелл-Поклевский, советник посольства в Лондоне, (соглашение с Англией) I, 371—372; II, 371—372.

Козлов, генерал, московский генер.-губерн., I, 51, 451.

Козлянинов, генерал-адъютант, I, 32.

Коковцов, Владимир Николаевич, министр финансов, I, 67, 202, 257, 269, 271, 280, 302, 308, 325, 328—330, 354, 390, 399, 437—438, 439, 446, 448, 451, II, 76, 90, 98, (увольнение с поста мин. финансов) 99—100; 108, 168—169, 175, (поездка в Париж по поводу займа) 180—181; 184—185, 193, 197 (ходатайство о награде за участие в совершении займа) 199—200; 250, (перлюстрация писем) 252; 255, 274,

(назначение мин. финансов) 278; 307, 309, 333, 406, (заем) 410—411; 413, 418, 419, 434, 449, 452, (поручение председательства в совете министров) 454; (субсидии Сазонову и Мигулину) 456—457; (назначение председателем тов. мин.) 458—459, (политика Коковцова) 460—461.

Колышко, чиновник особых поручений министерства путей сообщения, II, (близость к кн. Мещерскому) 466—467; (карьера Колышко) 471.

Комиссаров, жандармский ротмистр, II, (организация еврейских погромов) 68—69; (покушение на жизнь гр. Витте) 334—336.

Комура, главноуполномоченный Японского правительства в Портсмуте, I, 343, 345, 346, 350, 351, 356; II, 419.

Кондратенко, генерал, I, 261.

Кони, А. Ф., сенатор, член Гос. Совета, I, 291, 292; II, 351.

Коновницын, граф, председ. одесск. союза р. н., II, 33, (близость к Толмачеву и разрыв с ним) 385; (завтрак у государя) 386—387.

Коновницын, граф, адъют. адмирала Дубасова, II, 142.

Константин Константинович, вел. князь, I, 6—8, 119, 189, 292, (разрешение издания евангелия на малороссийском языке) 300.

Константин Николаевич, вел. кн., I, 292; II, 446.

Корейский император, I, 117; II, 404.

Коростовец, чиновник мин. иностр. дел, I, 330.

Корф, барон, II, (закон о выборах в Гос. Думу) 102.

Косич, член Гос. Совета, II, 151.

Котю, I, 317.

Коцебу, генерал, I, 384.

Кочубей, князь, начальник уделов, II, 166, 426.

Крапоткин, П. А., анархист, I, 446.

Красовский, I, 450.

Крестовников, Г. А., председ. московск. биржевого комитета, II, 134, 286, 416.

Кривошеин, А. В., мин. земл., I, 440, 442; II, (возражения гр. Витте против назначения Кривошеина мин. земл.) 163—164; (предположение государя о назначении Кривошеина мин. земл.) 168—172; 252, 314, 459.

Кривошеин, министр путей сообщения, I, (увольнение) 14; (злоупотребление казенным имуществом) 15—16; II, (близость к кн. Мещерскому) 467; 471.

Крыжановский, С. Е., госуд. секретарь, II, 101, (объяснение в Гос. Думе о газете «Россия») 253; (выборный закон 3 июня) 360—361; 390, (управление мин. вн. д.) 454; (назначение госуд. секретарем) 459—460.

Ксения Александровна, великая княгиня, I, (выход замуж за Алекс. Михайловича) 187.

Кузьминский, сенатор, II, (ревизия деятельности Нейдгардта) 384.

Кузьмин - Караваев, В. Д., генерал, профессор юридической академии, I, 458; II, 101.

Кулишер, М. И., присяжный поверенный, II, (еврейское равноправие) 262.

Куломзин, член Гос. Совета, I 296, 440.

Курино, японский посол в Петербурге, I, 185, (предвоенные переговоры с Японией) 237—238; 346.

Курлов, тов. министра внутренних дел, I, 30, 39, II, 85, 379—381, (назначение тов. мин. вн. д.) 382; 426, (увольнение в отставку) 460.

Куропаткин, А. Н., военный министр, I, 82, (назначение военн. мин. Поддержка идеи захвата Порт-Артура) 113—114; (разочарование государя в Куропаткине) 122—123; (характеристика) 124; (мнение Скобелева и А. А. Абазы о Куропаткине) 125—126; (инцидент с дневником) 127—128; (предложение Австрии приостановить перевооружение артиллерии) 130; (возражения против мирной конференции) 131; (план захвата Манчжурии) 142; (боксерское восстание) 145; (фактическое занятие Манчжурии) 146—148; 156, 158, 195, 204, 228, 239, (назначение командующим манчжурской армией) 240—243, 244, 259, 261, 268, (поражение под Мукденом) 307; 312, 313, 327, 355, 388, 413; II, 118, 122, (финляндская политика) 201—202; 207, (закон о воинском устройстве Финляндии) 208—215; 226.

Курош, морской офицер, II, (дело об убийстве Куроша) 443.

*

Кутайсов, граф, иркутский генерал-губернатор, I, 452.
Кутлер, Н. Н., министр земледелия, II, 71—82, (проект о наделении крестьян землею) 158—161; (увольнение от должности мин. земл.) 162—164; 166, 168, 170, 171.
Кутузов, граф, управл. дворянским банком, I, 425.
Кшесинская, танцовщица, II, 228.

Ламберт, бельгийский банкир, II, 297.
Ламсдорф, Владимир Николаевич, граф, министр иностранных дел, I, 91—92, 128, 131, (назначение мин. ин. д.) 145; 147 (захват во дворце китайской императрицы договора 1896 года) 151, 152; 156, 157, 196, 200—201, (устранение мин. ин. дел от участия в переговорах с Японией) 227; (отношение к Японской войне) 229—230, (увольнение в отставку) 231; 233, 235, 236, 237, 238, (смерть) 256, 257, 258, 261, 269, 316, 317—321 (выбор уполномоченного для мирных переговоров с Японией) 323—326; 328, 333, 336, 353, 354, 359, 369, 371, 386, (уничтожение биоркского соглашения) 390—391; II, 38, 82, 98, 170, 182, 186, 187, 190, 192, 237, 238, (увольнение с поста министра) 276—277, 279, 419.
Ландезен, II, 85, 378—379.
Ласар, профессор берлинского университета, I, 363.
Лауниц, петерб. градоначальник, I, 221; II, 309, (убийство) 353.
Лафайет, генерал, I, 364.
Леонтьев, абиссинский граф, I, 104—105.
Леопольд, король Бельгии, II, 297.
Лепин, префект парижской полиции, I, 336.
Леруа-Болье, Поль, экономист, II, 180.
Лейхтенбергский, Ю. М., принц, I, 215—216, 224.
Ливен, светл. князь, управл. двор. банком, I, 425.
Лигин, попечитель варшавского округа, II, 299.
Лидваль, II, (дело Гурко-Лидваль) 320.
Лидерс, генерал, I, 384.
Линден, статс-секретарь по финляндским делам, II, 218, (манифест по делам Финляндии) 219—220.
Линевич, генерал, главноком. манчж. арм., I, 145, (привоз из китайского похода больших ценностей) 151; (ограбление пекинского дворца) 312—313; 327, 331, (посылка государю на утверждение плана наступления) 355—356; II, (увольнение с поста главнокомандующего) 119; (телеграмма о прибытии в действующую армию анархистов-революционеров) 121; 123.
Литвинов-Фалинский, II, 111—112.
Ли-Хун-Чан, I, (приезд на коронацию) 38, 40, (соглашение о Восточно-Китайской железной дороге) 41—44; (подписание секретного соглашения с Китаем) 46—48; (визит эмира бухарского к Ли-Хун-Чану) 50—51; (сохранение в тайне сведений о договоре) 51—52; (отношение к «Ходынской» катастрофе) 54—55; 59, 60, 61, 62, 63; (получение подарка за принятие соглашения о Порт-Артуре) 115; 118.
Лобанов - Ростовский, А. Б., министр иностранных дел, I, (назначение министром) 21—24; (проведение Симоносекского соглашения) 34—37; 40, 44—45, 46, (составление секретного договора с Китаем) 47—49; (русско-японский договор о Корее) 59; 63, 91, 144.
Лобко, Ник. Львов., госуд. контрол., I, 121—122, 269, 271, 398, 399, 412; II, 313.
Лопухин, А. А., директор департ. полиции, эстляндский губернатор, I, 179, 233, 266, 288; II, (увольнение от должности губернатора) 66—67; (разоблачение погромной деятельности департ. полиции) 67—69; 85, 110, («Варварин суд») 321; (покушение на жизнь гр. Витте) 343.
Лопухин, С. А., прокурор киевск. суд. пал., II, (кандидатура в министры) 148.
Лорис-Меликов, граф, министр внутренних дел, I, 26, 213, 291; II, 58.
Лубэ, президент Французской республики, I, 72, (доверие к Рачковскому) 137; 155, (советы примириться с Японией) 331—332; 336, 337, 340,

(убеждение Николая ввести в России народное представительство) 372; (французские социалисты, входя в правительство, перестают быть социалистами) 373; II, 181.

Лукьянов, обер-прокурор синода, I, 168; II, 91—92, 99, (назначение обер-прокурором) 423; (увольнение) 445.

Львов, Н. Н., I, 450.

Лященко, М. М., сын кавалерийского генерала, I, (участие в поездке с Горемыкиным по Англии) 137—139.

Магомет II, турецкий султан, II, 425.

Макаров, адмирал, I, 244, 469—471.

Макаров, А. А., мин. внутр. дел, II, (речь в Гос. Думе о расстреле рабочих на Ленских приисках) 113; 250, 309, (назначение госуд. секретарем) 380—381; (назначение министром) 459—460.

Макензи - Уоллес, корреспондент короля Эдуарда в Портсмуте, I, 339.

Маклаков, В. А., член Гос. Думы, II, 54, 179, 405.

Максимович, варшавский ген.-губернатор, I, 452.

Максимович, нач. главн. тюремного управления, II, 380.

Малахов, генерал, команд. войск. московск. окр., II, 137.

Малешевский, директор кредитной канцелярии, I, 193.

Мамонтов, II, 455.

Мансуров, Б. П., член Государственного Совета, I, 77.

Мануйлов-Манасевич, завед. тайной полиц. в Париже, I, (наблюдение тайной полиции за гр. Витте) 226; II, (сношения с Гапоном) 152—155; 301, (близость к кн. Мещерскому) 479—480.

Манухин, мин. юстиции, I, 308, 309; II, 63, 82, 98, (амнистия) 99, 138, (поведение на посту министра) 145—147; (уход с поста министра юст.) 148—149, 351.

Мария, принцесса датская, I, 153—154.

Мария Федоровна, императрица, I, 4, 9, 18, 20, 25, 57, 153—154, 188, 200, 216—217, 235, 246, 300, 301, 304; II, 25, (отношение к манифесту 17 октября) 38; 89, 211, (охлаждение отношений с государем из-за финляндского вопроса) 226, 227, 306, 379, 394, 426, 435, 438—439, (враждебное отношение к князю Мещерскому) 469—471.

Марков II, II, 178.

Марков, директор департамента неокладных сборов, I, 66.

Маркс, экономист, I, 405; II, 43.

Мартенс, профессор международн. права, I, 330, 350; II, 192—193.

Матюнин, I, 148.

Матюшенский, сотрудник «Новостей», II, (присвоение 23.000 руб., выданных на восстановление Гапоновских организаций) 154—155; 414.

Медем, генерал, моск. обер-полицеймейстер, II, 135—136.

Меликов, князь, тифлисский предводитель дворянства, II, 264, 301, 302.

Мелин, президент французского министерства, I, (интриги против введения золотой валюты в России) 73—74.

Меллер - Закомельский, генерал, ген.-губ. Приб. края, II, (карательная экспедиция в Сибирь) 119; (восстановление движения по Сибирской ж. д.), 122; (назначение генерал-губерн.) 316—318; (темные дела; увольнение) 319.

Фон Мендельсон - Бартольди, Эрнест, член германской палаты господ, глава берлинского банкирского дома, I, 235, 340; II, 194—195, 197—198.

Менделеев, Д. И., профессор химии, I, 415, (попытка установить морской путь на Дальний Восток по северному побережью Сибири) 469—471.

Меньшиков, М. О., публицист I, 279, 388, 450, (признание необходимости перехода к конституционному образу правления) 458; 459.

Мехелин, председат. финляндского сената, II, 220, 222—223.

Мечников, И. И., II, 299—300.

Мещерский, В. П., князь, редактор «Гражданина», I, 61, (назначение Плеве мин. вн. дел) 165; 179, (близость к государю) 196; 226, (увольнение Зубатова) 234; (потеря доверия государя) 235; (попытка завязать отношения с Святополк-Мирским) 267; 279, 292, 408, 425, 440, (признание необходимости введения конституции) 459; II, 93,

(прикомандирование Манасевича-Мануйлова к канцелярии сов. мин.) 152; (ходатайство о Гапоне) 153; 286, 369—370, (характеристика кн. Мещерского) 465—481.

Мейндорф, барон, генерал-адъютант, II, 123.

Мейндорф, барон, генерал-майор, нач. конвоя свиты его велич., I, 197.

Мейндорф, баронесса, урожд. кн. Васильчикова, I, 197.

Мигулин, профессор, II, (проект принудительного отчуждения земель в пользу крестьян) 157—159; (учреждение хлебного банка) 455—457.

Микадо, I, 350; II, 240, 405.

Милашевич, по первому мужу Шереметьева, I, 263.

Милица Николаевна, жена велик. кн. Петра Николаевича, I, 215—217, 220; II, 365.

Миллер, П. И., тов. мин. фин., II, 79.

Милюков, П. Н., I, 265, 339, 450; II, 54, 133, 178, (составление проекта основных законов) 244; 287, (переговоры об образовании министерства) 291.

Милютин, граф, военный мин., II, 115, 209, 213, (надзор тайной полиции) 342—343.

Мин, генерал, командир Семеновского полка, II, 80—81, (восстание в Москве) 141; (убийство) 295.

Митька, юродивый, II, 376.

Михаил Александрович, вел. кн., I, 154, (объявление наследником престола) 155—156; (сомнения о наследовании престола) 157—158; (характеристика вел. князя) 160; (увлечение принцессой Кобургской) 161; 194, 311; II, 38, 40, 102, 241.

Михаил Николаевич., вел. кн., I, 12, 23, 86, 157, (секвестр церковных армянских имуществ) 171—172; 187, 249; II, 211, 214, 280, 273, (смерть) 427.

Михайловский, статистик московского земства, I, 315.

Михайлов, член первой Гос. Думы, II, 295.

Мольтке, фельдмаршал, I, 314.

Монтебелло, граф, французский посол в России, I, 59, 74.

Морган, американский миллиардер, I, (странности Моргана) 362—364; II, (отказ от участия в займе 1906 г.) 193—194.

Моренгейм, бар., русский посол в Париже, I, 136.

Морозов Савва, I, 454; II, 66, (беседа об ограничении самодержавия) 133—134.

Мосолов, генерал свиты его велич., I, 286; II, 6, 11, 13, 22, 30, 32—33, 418—419.

Мотоно, японский госуд. деятель, I, 346.

Муравьев-Амурский, граф, военный агент в Париже, I, (провозглашение доктора Филиппа святым) 215.

Муравьев, М. Н., граф, министр иностранных дел, I, (назначение министром) 90—92; (депеша о занятии Киао-Чао) 107; (захват Порт-Артура) 108; (протесты Англии и Японии) 117; (отказ от влияния в Корее в пользу Японии) 117; 124, (мирная конференция) 130—132; 143, (смерть графа Муравьева) 143; 144, 171, 230, 260.

Муравьев, Николай Валерианович, министр юстиции, I, (расследование о ходынской катастрофе) 57—58; (предполагаемое назначение министром вн. дел) 133—134; 136, 144—145, 156, 159, 171, 215, 269, 271, (назначение послом в Риме) 275—276; 280, 305, (назначение и отказ от поручения вести мирные переговоры с Японией) 323—324; 330, 336, 338, 369; II, 45, 236, 283.

Муравьев, граф, виленский ген.-губ., II, 210.

Муромцев, С. А., председ. перв. Гос. Д., II, 101—102, (составление проекта основных законов) 244.

Мусин-Пушкин, граф, команд. войск. одесск. окр., I, 176, 192.

Мусин-Пушкин, граф, управл. дворян. банком, I, 425.

Набоков, В. Д., I, 265, 305, 450; II, 66, 133.

Набоков, К. Д., чиновник мин. иностр. дел, I, 330.

Наполеон I, II, 448.

Наполеон III, I, 214; II, 176.

Наполеон, принц, претендент на франц. престол, II, 297—298.

Нарышкина, Александра Николаевна, жена обер-гофмаршала, I, 159, 404, (автономия университетов) 444.

Нарышкин, Василий Львович, II, (смерть) 298.

Нарышкин, Лев Кириллович, внук гр. Витте, I, 331; II, 122, 298.

Нарышкин, приближенный вел. кн. Николая Николаевича, II, 34—35.

Нарышкин, член Госуд. Совета, I, 311, 399.

Нарышкин, Э. Дм., обер-гофмаршал, I, (враждебное отношение государыни к гр. Витте) 159; II, 211—212.

Натан, доктор, II, 263.

Некрасов, Н. А., поэт, II, 43.

Нелидов, русский посол в Константинополе, I, (предположение о захвате Босфора) 82—83; 230, (перевод послом из Рима в Париж) 233; (отказ от ведения мирных переговоров с Японией) 323; 336, 338, 369; II, 45, (странное легкомыслие) 190—191; 283.

Немешаев, мин. путей сообщ., II, 97, 167, 170, (увольнение с поста министра) 277—278.

Нестли, представитель банкирского дома, I, 37.

Нейдгардт, одесск. градоначальник, сенатор, I, 453; II, 57, 110, (увольнение) 384.

Нейцлин, представитель синдиката французской группы банков для совершения русского займа, I, 372—373; II, 176, (заем 1906 г.) 183—185; (осуществление займа) 191—195; 198.

Николай I, император, I, 399—400; II, 397.

Николай II, император, I, 1, 3, 4, 5, (посторонние влияния) 6—9; 10, (характеристика) 11; (прием члена Гос. Сов. Абазы) 12; (увольнение варшавск. ген.-губ. Гурко) 13; 14, (увольнение Кривошеина и назначение Хилкова) 15—18; (назначение министром Лобанова - Ростовского) 21—24; (назначение Горемыкина) 25—30; 31, (назначение Гессе дворцовым комендантом) 32; (упразднение дворцовой охраны) 32—33; (недопущение Японии к захвату Ляодунского полуострова) 34—37; 38, 39, 40, 42, (прием Ли-Хун-Чана) 43; (заключение договора с Китаем) 44—46; (отношение к ходынской катастрофе) 51—59; 61, (посещение нижегородской выставки) 63; (посещение Австрии, Германии, Дании, Англии, Франции и Дармштадта) 63—65 (введение металлического золотого обращения) 73—74; (предположение о захвате Босфора) 81—84; 86, 90—92, (назначение министром двора Фредерикса; изменение порядка рассмотрения сметы министерства двора) 93—95; (предложение императора Вильгельма об установлении боевых пошлин против Северо - Американской республики) 100; (сообщение императора Вильгельма о предполагаемом занятии порта Киао-Чао) 101; (приезд франц. президи. Фора) 103; (поездка в Царство Польское) 104; (прием депутации короля Абиссинии) 104—105; (отказ от захвата Порт-Артура) 108—109; (занятие Порт-Артура) 110—114; 118-119—120 (увольнение военн. мин. Ванновского) 121; (назначение Куропаткина военн. мин.) 122; (разочарование в Куропаткине) 123; 124, 125, (увольнение Куропаткина) 127 — 128; (Гаагская конференция) 131—132; 133, 134, 135, 136, 137, 139, (назначение гр. Ламсдорфа мин. ин. д.) 143—144; (поход на Пекин) 145; (двойственность поведения в вопросе о Манчжурии) 147—148; (осуществление планов Безобразова) 149—150; (вопрос о передаче престола старшей дочери) 156; (болезнь государя) 157—158; 159—160, 162, (сближение с князем Мещерским) 165; (уничтожение дневника Сипягина) 166—167; (сочувствие политике репрессий на Кавказе) 170—171; (анти-еврейская политика) 176; 177, 180, (донос об участии гр. Витте в злоумышлении против государя) 181—182; (ревельские морские маневры) 184—185; 186, 187, (увольнение от должности мор. мин. Чихачева) 188—189; (вырванные законы) 189—190; (учреждение главн. упр. торгов. мореплав.) 191—193; (учреждение наместничества на Дальн. Востоке) 195; (внезапность назначений Алексеева, Безобразова, Вогака) 196; 197, (распоряжение о выдаче незаконной ссуды бар. Мейндорфу) 198; (увольнение гр. Витте от должности мин. фин. и назначение председ. ком. мин.) 199—200, 201, (колебание государя между Безобразовым и графом Витте) 202—203; (постоянное ожидание войны) 204; (поддержка финансовой политики гр. Витте) 205; (враждебное отношение к привлечению иностранного капитала и к фа-

бричной инспекции) 206—207; 209, 213, (субсидии королю черногорскому и его дочерям) 216—219; (открытие мощей Серафима Саровского) 220—221; (благоволение к кн. Ширинскому-Шахматову) 222; (черносотенные организации) 223; (отношение к Филиппу) 224—225, (исключение мин. иностранных дел при переговорах с Японией) 226—227; (нежелание войны с Японией) 227; (коварство Николая II) 229; (отношение к мин. ин. д. гр. Ламсдорфу) 230—231; (отказ от поездки в Италию) 232—233, (отношение к кн. Мещерскому) 234—235; (свидание с Вильгельмом в Потсдаме) 235—236; (пренебрежительное отношение к переговорам с Японией) 237—238, 239, (назначение Куропаткина командующим армией под давлением общественного мнения) 240; 242, (смещение Алексеева с поста главнокомандующего; напутствие войск) 243—244; 245, 247—248, (поднесение адмиральского мундира Вильгельму II) 249; 250, 252, 254, (перемена отношений к Вильгельму II) 255—256; (уступки Германии по торговому договору) 257; 258—259, 261, 262, (назначение Святополк-Мирского мин. вн. д.) 263; 264, 265, 266, 267, 268, (совещание министров в ноябре 1904 г.) 269; (отношение к общественному мнению) 269—270; 271, (решение вступить на путь реформ) 272; (удаление из указа 12 дек. 1904 г. пункта о выборных представителях) 273—274; (выстрел из орудия в царскую беседку) 277; 279, 282, 283, (противоречивая политика) 284; (прием рабочих депутаций) 285; 286, (отношение к еврейским погромам) 288; 289, 290, 291, (назначение членами совещания о печати Юзефовича и кн. Голицына - Муравлина) 292 — 293; (перемена отношения к пересмотру «исключительных положений») 294; (совещание о веротерпимости) 295—298; 300, 301, 302 (оживление деятельности совета министров) 303—305; 307 (два акта 17 февраля 1905 г.) 308—311; 312, 313, 314, (назначение Рождественского начальн. эскадры) 315—317; (склонность к миру после цусимского поражения) 318; (увольнение от должностей после цусимского поражения вел. кн. Алексея Александр., Авелана и адмир. Алексеева) 318; (прием депутации земских и городских деятелей) 320; (записка 26 губерн. предводителей дворянства) 320; 321, (выбор уполномоченного по ведению мирных переговоров с Японией) 322—325; 326, 327, 333, 334, (свидание с Вильгельмом в Биорках) 336; (перемена отношений французов к России) 337; 352, 353, (уступка южной части Сахалина) 354; 355—356, 357, (возведение Витте в графское достоинство) 358; (устранение дифференциальных пошлин с американских продуктов) 361; 365, (письмо президента Рузевельта по поводу вероисповедных ограничений) 366; 371, (поручение гр. Витте явиться к Вильгельму) 372; (разговор с президентом Лубе о введении в России народного представительства) 373; 374, 381, 386, 387, 388, 389, (соглашение с импер. Вильгельмом в Биорках) 390—394; 398—399, 412, 413, 417, (переселенческий вопрос) 419—420; («бессмысленные мечтания») 421; («дворянская комиссия») 422—423; 426, (отрицательное отношение к образованию крестьянской комиссии) 428; (письмо гр. Витте к государю о нуждах крестьян) 429—434; 435, (учреждение особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности) 436, 437—438; (вопрос об отмене выкупных платежей) 439; (закрытие совещания о нуждах сельско-хозяйственн. промышленности) 441; 444, 448, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 464—467; II, 2, (манифест 17 октября 1905 г.) 5—13; 24, 25—27, 28, 29, 30, 31—32, 33, (подписание манифеста 17 окт. 1905 г.) 35—37; 38, 39, 40, 41, (озлобление общества против самодержавия) 42; 43, 45, (увольнение Победоносцева, Булыгина и Глазова; назначение обер-прокурором синода Оболенского) 46—47; 53, 58, (влияние Трепова) 62—66; (увольнение Лопухина) 67; (снисходительность к Комиссарову и жандарму гр. Подгоричани) 69—76; (инструкция поведения в Гос. Думе председателя совета министров) 72; 75, 76, 79, (неудовольствие по поводу отсутствия правительственного воздействия при выборах в первую Гос. Думу) 82—83; (отрицательное отношение к П. Н. Дурново)

86; (благоволение к П. Н. Дурново) 88—89; (устранение согласованности кабинета министров) 90; 91 — 94, 97, (амнистия) 99; (увольнение Коковцова) 100; (закон о выборах в Гос. Думу) 102—104; 110, 111, 114, 119, 120, (восстановление движения по сибирской ж. д.) 121—122; (похвала капитану Рихтеру за чрезмерную жестокость при подавлении беспорядков в Приб. кр.) 125—126; 127, (одобрение жестоких действий карательных отрядов) 127—128, 135, 137, 138, 140, 141, (увольнение Дубасова) 142—143, (смертная казнь покушавшемуся на Дубасова) 143—144, 145; 146, 147, (увольнение мин. юст. Манухина) 148; (назначение Акимова мин. юст.) 149; (назначение Акимова председ. Госуд. Совета) 150; 157, (увольнение мин. земл. Кутлера) 161—163; 166, (петиция черносотенцев о смещении министерства гр. Витте) 167; (проект назначения министрами Кривошеина и Рухлова) 168—170; (назначение Никольского упр. мин. зем.) 171; (наступавшее успокоение) 173—174; 178, 181, 183, 184, 188, (уверения Вильгельма, что займа совершить не удастся) 193—194; 196, 197, (отношение государя к займу) 199; (отношение к Финляндии) 201—226; (женитьба; влияние жены) 227—229; 236, 237, 238, (издание основных законов) 243; 244, 247, 248, 252, (недовольство законами о печати) 256; 258, 259, (антисемитизм) 261; (черты характера Николая II) 265—266; 267—269, (отставка гр. Витте) 270—273; (назначение председ. сов. мин. Горемыкина) 274—276; (увольнение графа Ламсдорфа) 277; (увольнение министров Шипова, Немешаева, Никольского, гр. Толстого, Акимова, Дурново и Философова) 278; 279, 280, (тайные журналы Государ. Совета) 282; 283, 284, (выборы в первую Гос. Думу) 285—286; 287, (открытие Гос. Думы и Гос. Совета) 288—289; (роспуск первой Госуд. Думы) 290—292; (увольнение Горемыкина и назначение Столыпина) 292—293; 294, (предложение графу Витте не возвращаться в Россию) 303—308; (отношение к политическим убийствам) 310—311; (недовольство осуждением Гурко) 320; 323, (увольнение морск. министра Бирилева) 325—326; (проект реорганизации морского министерства) 326—327; (назначение морского министра Дикова) 328—330; 331; 322—333, 338, 339, 340, (прекращение дела о покушении на жизнь гр. Витте) 352—353; (назначение Акимова председ. Гос. Совета) 356; (дело о покушении на государя) 357; 364, 365, (свидание с Вильгельмом в Свинемюнде) 369; (авария царской яхты) 369; 371, 374, 384, 386, (особое расположение к Толмачеву) 389; (переименование улицы гр. Витте) 390—391; (отношение к Рейнботу) 392—393; (непредставление гр. Витте шведскому королю) 395; 396, (введение процентной нормы для евреев) 397—398; (увольнение Редигера) 399; 402, (военный законопроект в третьей Гос. Думе) 406—408; 410, 416, 417, 422, 423, 426, (свидание с королями датским и английским, президентом французским и импер. германским) 426—427; (свидание с Виктором Эмануилом; приезд царя болгарского) 427—428; (приезд короля сербского) 428; 429, (картина погрома с изображением государя) 430; (свидание с императором германским в Потсдаме) 431—432; 433, (юбилей сената) 435; (введение земства в западном крае) 439—440; 442, (увольнение мор. мин. Воеводского и назначение Григоровича) 444; (смотр потешным) 446; (убийство Столыпина) 448; (милости вдове Столыпина) 449—450; 451, 454, (решение устранить Столыпина) 457; (назначение Коковцова председателем сов. мин. и Макарова мин. вн. д.) 458; 467, (отношение к кн. Мещерскому) 472—474; (охлаждение государя к кн. Мещерскому) 477.

Николай Александрович, цесаревич, II, 46, 468, 469.

Николай Константинович, вел. кн., II, 454.

Николай Михайлович, вел. кн., I, 159; II, 306, 438, 441, 449.

Николай Николаевич, вел. кн., I, (назначение Сахарова военн. мин.) 129; 161, 217, 220, (мистицизм) 224; (признание императора полубогом) 225; (назначение главнокомандующим армией против Германии) 228; (назначение председателем совета государственной обороны) 313—314;

324—327, (уничтожение биоркского соглашения) 393—394; II, (манифест 17 октября 1905 г.) 10—12, 16, 20, 21, 23—24, 25—27, 29, (влияние на подписание манифеста государем) 32; (склонение симпатий государя к черносотенникам) 33; (влияние на Ник. Ник. рабочего Ушакова) 34—35; 37, (одобрение подписания государем манифеста 17 октября) 37; 41, 67, (мистицизм) 72—73; (боязнь стать мишенью революционеров; близость к Дубровину) 74—75; 76, 110, 118, 121, 123, 125, (посылка войск в Москву для подавления восстания) 140—141; 221, 225, 241, 268, 305, 329, (потеря влияния на государя) 330—331; 357, 399, (упразднение совета государств. обороны) 409; (мысли о реванше после Японской войны) 420.

Николай, князь черногорский, I, (получение субсидии от Николая II) 216—218; II, (приезд в Петербург) 394.

Никольский, А. П., министр земледелия, I, 459; II, 161, (назначение мин. земл.) 171; (увольнение с поста министра) 277—279.

Никольский, Б., профессор, чл. союза русск. нар., II, 167.

Нилова, жена адмирала, II, 369.

Нилов, адмирал флаг-капитан, I, 267; II, (авария царской яхты) 369; (увольнение Толмачева) 386.

Новиков, российский посол в Вене, I, 138.

Новицкий, одесский градонач., II, 384—385.

Нольде, Э. Б., барон, управл. канцелярией комитета мин., I, 272, (составление указа 12 дек. 1904 г.) 273; II, 101.

Носарь (Хрусталев), председатель совета рабочих депутатов, II, 34, 78, 79, (образование совета рабочих депутатов в Петербурге) 107—108; (арест) 111; 112, 179, 379—380.

Оболенский, Александр Дмитриевич, князь, член Госуд. Совета, I, 210.

Оболенский, Алексей Дмитриевич, обер-прокурор, член Гос. Совета, 210, 221, 425, 434, 436; II, 6, (составление манифеста 17 окт. 1905 г.) 10; 15, 16, 21, 29, 30, 35, 41, (назначение обер-прокурором синода) 46—47; 56, 73, 81—82, 84, 98, 102, 148, 170, 231, 237, 247, 281, 294, 304, 390, 423.

Оболенский, Валериан Сергеевич, кн., тов. мин. ин. д., I, 201, 256, 324; II, 45, 277, 283.

Оболенский, И., князь, генерал-губ. Финляндии, I, (порка крестьян Харьковской губ.) 169; II, (назначение генерал-губернатором) 217—218; 219.

Оболенский, Николай Дмитриевич, генерал свиты его величества, I, 210; II, 7, 13, (записка о составлении манифеста 17 октября) 17—24; 27—29, 30, 31.

Оболенский, Платон, князь, II, 484.

Обручев, Н. Н., начальник главного штаба, I, 7, 13, 36, 81—82, 121—123, 413.

Обручев, секретарь морского министра Чихачева, I, 7.

Озоль, член второй Гос. Думы, II, (дело с. д. членов второй Гос. Думы) 362—363.

О'Конор, английский посол в Петербурге, I, (беседа о Порт-Артуре) 112.

Ольга Федоровна, велик. княгиня, супруга Михаила Николаевича, I, 187; II, 214.

Оловянников, I, 450.

Ольденбургский, Александр Петрович, принц, I, 168, (комиссия по борьбе с чумою и другие учреждения, связанные с именем принца) 463; (сходство с императором Павлом) 464; (оригинальность принца) 465—467; II, 214.

Ольденбургский, Петр Георгиевич, I, 463.

Орлов, князь, нач. походной канцел. императора, I, 286; II, 10, 20, 27—28, 31, 74.

Орлов, генерал, II, 125, (карательная экспедиция в Прибалт. крае) 126; (близость к императрице Александре Федоровне и ее фрейлине Вырубовой) 127; 146.

Оскар, король шведский, II, 395.

Остен-Сакен, граф, российский посол в Берлине, I, 258; II, 186, 190, 228.

Отт, лейб-акушер, I, 389.

Павел I, император, I, 3, 292, 464; II, 217, 265, 328.

Павлов, главный военный прокурор, II, 248, 315, (составление проекта полевых судов) 323—324; (убийство Павлова) 324.

Павлов, советник посольства в Пекине, I, 114.

Пазухин, управл. канцеляр. мин. вн. д., I, 422.

Пален, граф, министр юстиции, I, 57—58, 304; II, 8, 12—13, 26, 58, 146—148, (несменяемость судей) 242; 271, 351, 435.

Палицын, генерал, нач. генерального штаба, I, 314, 355, 393; II, 121, 122, 124, 398—399, 409.

Пантелеев, генерал -адъютант, II, (расследование действий Толмачева) 388—389.

Пашутина, вдова начальн. военно-медиц. академии, II, 164.

Пергамент, О. Я., прис. пов., II, 66, (беседа с гр. Витте о лейтенанте Шмидте) 114.

Петражицкий, Л. И., профессор, чл. Гос. Д., I, 306; II, 295.

Петрова, жена директ. депар. полиции, I, 140.

Петров, вице-директор кредитной канцелярии, I, 12.

Петрункевич, И. И., член первой Гос. Д., II, 55.

Петр Великий, II, 237, 238, (переименование улицы гр. Витте) 390—391.

Петр, король сербский, I, 219—220; II, (приезд в Россию) 428, (приезд в Петербург) 446.

Петр Николаевич, вел. кн., I, (выдача пособия) 215—217; 220; II, 25.

Пильский, сотрудник «Новостей», II, 154.

Пихно, Д. И., член Госуд. Совета, издатель газеты «Киевлянин», I, 292, 450; II, (проект изменения выборов в Гос. Сов. от неземских губерн.) 435—436.

Плансон, чиновн. мин. иностранных дел, I, 330, 369.

Платонов, член Гос. Совета, II, (рекомендация кн. Мещерского) 475.

Плеве, В. К., министр внутренних дел, I, (характеристика гр. Витте и Победоносцева) 25—28; 134, 136, 138, (назначение мин. вн. дел) 165—167, (одобрение порки харьковских крестьян) 169; (политика репрессий на Кавказе) 170—172; (агрессивная политика в еврейском вопросе) 173—175; (кишиневский погром) 176—177; (набожность Плеве) 178; (зубатовщина) 179—180; (убийство Плеве) 181—182, 195, 196, 198, (поддержка компании Безобразова) 202—203; 212, (провозглашение святым Серафима Саровского) 221; 222, (увольнение Рачковск.) 224; (наблюдение тайной полиции за гр Витте) 226; 233—234, 235, («для удержания революции нужна маленькая победа») 239; 257, 260—261, 271, 277, 288, 303, 322, 344, 387, 388, 408, 412, 416, (защита интересов дворян) 423—424; (противодействие развитию операций крестьянского банка) 426; 434, (репрессии против деятелей совещаний о нуждах сельско-хозяйственной промышленности) 438—439; II, 13, 34, 56, 57, 58, 60, 85, 152, 202, (назначение статс-секретарем Финляндии) 210; (финляндская политика) 211—216; 217, 225, 226, 262, 409, 455, (влияние князя Мещерского на назначение Плеве мин. вн. д.) 474—475; 476, 479.

Плеве (сын мин. вн. д.), управляющий делами совета мин., II, 101, 113, 177.

Плеске, управл. госуд. банком, I, 197, (назначение мин. финансов) 198—200; 202, 328.

Победоносцев, К. П., I, 3, 25, (отзывы о Плеве и Сипягине) 28; 29, (вопрос о наследовании престола старшей дочерью государя) 156; 159, 171, 190, (провал проекта конституции Лорис-Меликова) 212—213; 220—221, 222, 230, 253, 269, 271, 273, 291, 292, (противодействие совещанию по пересмотру вопроса о веротерпимости) 295—298; (главный тормоз в разрешении старообрядческого вопроса) 300; (составление манифеста 17 февраля 1905 г.) 309; 311, 398—399, 430, 434, (удаление от дел) 451; II, (увольнение от должности обер-прокурора) 46—47; 129, 236, 265, (реакционность кн. Ширинского-Шахматова) 281; 287, (смерть) 355; 445, 468, 470.

Подгоричани, граф, жанд. офицер, II, (организация погрома в Гомеле) 70.

Покотилов, агент мин. фин., впоследствии посланник в Пекине, I, (влияние Ли-Хун-Чана и Чан-Ин-Хуана на соглашение о Порт-Артуре) 115; (грабеж военными начальниками частных имуществ в Пекине) 146; 323, 330, 386.

Поливанов, генерал, помощн. военн. мин., II, 124.

Половцев, А. А., гос. секретарь, I, 12, 23—24; II, 231.

Поляков, II, 391.

Попов, профес. военно-мед. акад., I, (болезнь государя) 156.

Посадовский, граф, помощник рейхсканцлера Бюлова, I, 258, 260.

Постников, профессор, директ. петерб. политехн., I, 407; II, 53—54.

Потоцкий, граф, II, (отзыв о Рухлове) 172—173.

Потоцкий, генерал, воспитатель вел. кн. Михаила Александровича, II, 241.

Проппер, издатель «Биржевых Ведомостей», II, (беседа представителей прессы с гр. Витте по поводу манифеста 17 окт.) 47—51; 253.

Пуанкарэ, министр финансов Франции, II, 190, 191—192.

Пуришкевич, В. М., I, 235, 401, 409, 417; II, 267, 341, 455.

Путилов, тов. мин. фин., управл. двор. и крест. банками, I, 138; II, 167.

Путятин, князь, полковник, I, («полковник от котлет») 221—222; 309, 409.

Пушкин, А. С., II, 43.

Пшерадский, член совета мин. вн. д., II, (дело об убийстве Куроша) 442—443.

Радолин, князь, посол Германии при русском дворе, I, 98, (беседа о занятии Порт-Артура и Киао-Чао) 112; (Марокккский вопрос) 370—371; 379.

Распутин, старец, II, 72, 305, 376, 396, (близость к Сазонову) 456—457; (назначение губернатора Хвостова министром внутр. д.) 457—458.

Ратаев, агент тайной полиции, II, 301—302.

Раух, генерал, II, 73, 74.

Рафалович, финансовый агент в Париже, II, 177, 180, 187, 191, 192, 194.

Рачковский, завед. тайной полицией в Париже, I, (способности и авторитет Рачковского) 136—137; (близость Рачковского к Горемыкину) 138; (доклад о Филиппе) 223—224; 293; II, 66, (причастность к организации еврейских погромов) 68; 85, 110, 153, 301—302.

Ревельсток, представитель лондонских банков, II, 193, 195.

Редигер, генерал, военный мин., I, 451; II, 6, 9, 26, 82, 97, 170, 237; (увольнение) 399; 409.

Ренненкампф, генерал, II, (карательная экспедиция в Сибирь) 119; (восстановление движения по Сибирской ж. д.) 122—123.

Рейнбот, генерал, моск. градоначальник, II, 104, 291, (подкуп при выборах членов Гос. Думы) 382; 383, (ревизия; суд) 391—393.

Рейнбот, присяжный поверенный, II, 351.

Рихтер, генерал-адъютант, I, 269, 451; II, 13, 16, 20.

Рихтер, капитан-лейтенант, II, (карательная экспедиция в Прибал. кр.) 125—126.

Рихтер, член совета мин. финансов, I, 418.

Родзянко, М. В., председатель Гос. Думы, II, (избрание председателем) 445.

Рождественский, адмирал, командир эскадры, I, 315, 316, 317.

Розен, барон, посланник в Японии, а затем в Соед. Шт., I, (совет бросить затеи на Ялу) 228—229; 237, (Портсмутский мир) 330—331; 344—345, 346, 350, 352—353, 357, 360.

Розен, германский поверенный в делах в Марокко, I, 370.

Романов, Петр Михайлович, тов. министра финансов, I, 52, 328; II, (военный законопроект) 405.

Ротшильд, Альфонс, барон, I, 72, (о мистицизме при русском дворе) 214, 373; II, 176—177.

Ротшильд, Эдуард, барон, I, 214; II, 263.

Ротштейн, управл. международ. банком, I, 193.

Рувье, председатель франц. кабинета министров, I, (настойчивые советы примириться с Японией) 331—332; 335, 336, 338, (Марокккский вопрос) 370—371; 372, 373, 374,

379, 380, 383; II, 181, 183, 187, 190, (русский заем) 191.

Рузевельт, президент Сев. Америк. Соедин. Штатов, I, 321, 322, (телеграмма, посланная в Японию) 342—343; (завтрак у президента) 344—345; 346, 347, 350, 354, 355, 356, (симпатии на стороне японцев) 359; 360, 361, 365, (письмо государю по поводу вероисповедных ограничений) 366; 388.

Руманов, сотрудник «Русского Слова», II, 250.

Русин, лейтенант, I, 324, 331.

Рутковский, агент мин. фин. в Лондоне, I, 261.

Рухлов, мин. пут. сообщ., II. 53, 163, (предположение государя о назначении министром земл.) 168—170; (характеристика) 172—173; (назначение мин. пут. сообщ.) 422.

Саблер, В. К., обер-прок. синода, I, 292, (совещание по вопросу о веротерпимости) 295—297; 298; II, (назначение обер-прокурором) 445.

Сабуров, А. А., член Гос. Совета, министр нар. просв. I, 291, 296; II, 101, 103.

Саввич, член совета мин. вн. д., II, (расследование гомельского погрома) 70.

Савич, член Гос. Думы, II, 399, 402, 404.

Сазонов, издатель «Голоса Земли», «России», «Экономиста»; II, (авантюры и странности) 454—458.

Сазонов, мин. иностр. дел, I, 326; II, (назначение тов. мин. иностр. дел) 423; (назначение министром) 425; (свидание в Потсдаме) 431—432.

Сазонов, убийца Плеве, I, 181.

Самофалов, Н. В., профессор киевского универс., II, 149.

Самарин, Федор, член Гос. Совета, II, (приглашение на пост министра земледелия) 164; (уход из членов Государственного Совета) 165.

Самойлов, полковник, I, 325, 331.

Санин, ротмистр, I, 148.

Сарриен, президент франц. кабинета министров, II, 190, 191.

Сахаров, военный мин., I, (назначение) 128—129; 269, (учреждение совета госуд. обороны) 313; II, 409.

Сахаров, генерал-адъютант, II, (прекращение крест. волнений в Саратовской губ.) 115.

Святополк-Мирский, князь, мин. вн. д., I, 222, (удаление кн. Мещерского от государя) 234; (назначение мин. вн. д.) 263; (расхождение с Сипягиным и Плеве) 264; (недовольство государя направлением Мирского. Разрешение съезда общественных деятелей) 265; 266, (отрицательное отношение к князю Мещерскому) 267; (доклад государю о даровании некоторых вольностей) 268; (враждебное отношение Николая II к интеллигенции) 269; (такое же отношение Александры Федоровны) 270; 271, 274, 275, (совещание о демонстрации рабочих накануне 9 января 1905 г.) 280—281; (увольнение от должности мин. вн. д.) 282; (причины катастрофы 9 января) 283, 284, 305, 439; II, 34, 60, 178, 271—272; (враждебное отношение к кн. Мещерскому) 476—477; 479.

Се, Леон, I, 72.

Семенов - Тян - Шанский, П. П., чл. Гос. Совета, I, 274, 404, 434, 440; II, 160, 161.

Сементовская-Курило, II, 368.

Серафим, архиерей, I, (кандидатура на пост петербургского митрополита) 222.

Серафим Саровский, I, 195, (открытие мощей) 220—222; 223, 244, 315; II, 229.

Сергей Александрович, великий князь, I, 9, (ходынская катастрофа, влияние на государя) 55—59; 92—93, 133, 136, 164, (мероприятия против евреев) 173—174; 176, 178, 180, 273, 274, (уход с поста московского генерал-губернатора) 275—276; 285, (убийство) 303; II, 71, 93—94, 132, 135, 391.

Сеймур, английский адмирал, I, 145.

Сипягин, Д. С., министр внутренних дел, I, (характеристика Витте и Победоносцева) 25—28; 59, 133, (назначение мин. вн. дел) 134—136; 139—140, (вопрос о престолонаследии) 157; (убийство Сипягина) 164—165; (уничтожение государем дневника Сипягина) 166—167; 171, 178, 211, 224, 234, (крестьянская комиссия) 436; 438, 465; II, 34, 59, 60, 88, 212, 214, 215, 251, 396, 473, 474, 475.

Сипягина, Александра Павловна, жена мин. вн. д., I, 166—167, 251.

Скалон, варшавский ген.-губ., I, 452; II, 128, 130, 132.

Скалон, офицер лейб-гусарского полка, II, (получение противозаконной ссуды) 90—91.

Скобелев, генерал, I, (отзыв о Куропаткине) 126—127.

Слиозберг, присяжный поверенный II, (еврейское равноправие) 262.

Соллогуб, генерал-лейтенант, ген.-губ. Прибал. края, II, 122, (назначение временным генерал-губернатором) 125; 126, (деятельность и увольнение) 317; 318.

Сольская, Мария Александровна, графиня, II, 91, 135.

Сольский, Д. М., граф, председатель Государств. Совета, I, 194, 269, 271, 273, (деятельность совета министров) 303—304; 310—311, 328, 434, 436, (закон о собраниях) 447; (об учреждении совета министров); 448, 452, 457; II, 7, 8, 14, 18, 24—25, 100—101, 135, 169, 200, 211, (составление основных законов) 230—231; 233, 235, 236, 240, 257 (назначение председателем обновленного Гос. Сов.) 280.

Сперанский, генерал, II, 77.

Стахович, А. А., I, 450; II, 133.

Стахович, М. А., член Гос. Сов., I, 450; II, 54—55, 81, 94, 101, 133, 339, 441—442.

Стевен, чл. Гос. Сов., II, 151.

Стенэль, жена художника, I, (смерть президента Фора) 102.

Степанов, рабочий, II, (покушение на жизнь гр. Витте) 347—349.

Стессель, генерал, комендант Порт-Артура, I, 261, 307—308.

Стишинский, нач. главн. управл. землеустр. и земледелия, I, 422, 424, 434, 442; II, 102, 167, (назначение главноуправляющим земледелия) 172; 279; (увольнение) 293; 314.

Столыпина, О. Б., жена председателя совета министров, I, 453; II, 359, (поведение после смерти мужа) 449—450.

Столыпин, А. А., публицист, II, 110, 305, 447.

Столыпин, П. А., министр внутренних дел, I, (перлюстрация писем) 25; (траты казенных денег на свои нужды) 30; 33, 86, 106, 163, 164, (отзыв о Столыпине кн. Гагариной) 211; 222, 283, 284, 289, 291, 294—295, 299, 300, 301, 303, 318, 366, 397, 426, 453; II, 48, 56, (приспособляемость Столыпина) 72, 79, 83, 85, 89, 93, 94, 99, 104, (фактическое уничтожение начал 17 окт.) 109; 110, 115, 133, 143, 148, 156, 165, 172, 179, 201, 225, 232—233, 234, 235, 242, 244, (закон о полевых судах) 248; 249, (перлюстрация писем) 250—252; (беззастенчивость Столыпина) 253; (произвол в применении законов о печати и собраниях) 255—258; (антисемитизм) 261; 263, 264, 270, 274, 279, (назначение министром) 281; 286, (возражения против кадетского министерства) 291; (назначение председ. сов. мин.) 292—293; 294, (взрыв на Аптекарском острове) 295; 296, 304, 305, 308, 310, 311, (применение 87 ст. зак. основных) 312—315; (либерализм Столыпина) 316; (назначение Меллер-Закомельского генерал-губернатором) 317; (дело Гурко-Лидваль) 319—320; (дело Лопухина) 321; (выборгский процесс) 321—322; (полевые суды) 324; 330, 332, (расследование о покушении на жизнь гр. Витте) 351—353; 355, 356, 357, (роспуск второй Гос. Думы) 358—359; 360, (дело соц.-демокр. депутатов 2-й Гос. думы) 363; 364, 366, 373, (созыв церковного собора) 376; 377, (развитие провокационной деятельности полиции) 378—379; (назначение Курлова тов. мин.) 380; 381, 382, 383, 384, 385, (расположение к Толмачеву) 386; (увольнение Толмачева) 386; (пристрастие к «особым положениям») 388—389, 390, 391; (устранение Рейнбота) 392; раут членам третьей Гос. Думы) 393; (увольнение Кауфмана и Герасимова) 394; (введение процентной нормы для евреев) 396—397; 400, (отношение к третьей Гос. Думе) 401; (военный законопроект в третью Гос. Думе) 406—409; 410, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 422, 423, 426, (назначение Кассо мин. нар. просв.) 433; 436, (законопроект о земстве в западн. губ.) 436—441; 442—444, (убийство Столыпина) 447—452; (решение Николая II устранить Столыпина) 457—458; 459, 460, 461.

Струков, генерал-адъютант, II, (крестьянские волнения в Тамбовской и Воронежск. губ.) 115; 116.

Субботич, генерал, I, 148.

Суворин, А. С., издатель «Нового Времени», I, 388—389, 400, 450; II, 48, 52, 78, 108, 138, 179, 284, 286.

Суворин, Б. А., I, 339.

Сухомлинов, военн. министр, I, 278, 326; II, 75, 331, (назначение нач. ген. штаба) 399; (назначение военным министром) 399; 409.

Сухотин, Н. Н., омский генерал-губ., I, 452.

Сыромятников, редактор «России», II, 253, 305.

Сюн-Кин-Шен, китайский посол в Петербурге, I, 118.

Таганцев, Н. С., член Гос. Совета, сенатор, I, 291, 296; II, (отказ от поста министра нар. просвещ.) 53—54; 91, 101, 103, 205, 223, (против смертной казни) 247; 351.

Танеев, главноуправл. канцелярией его велич., I, 269.

Тардье, сотрудник газеты «Temps» I, (интервью гр. Витте о некорректности французских левых газет) 338; 369; II, 191.

Тарле, Е. В., профессор, II, 81, 109.

Татищев, агент мин. фин. в Париже, I, (донесение о переговорах мин. вн. д. Горемыкина и его сотрудников с промышленниками Англии) 137—138; II, 252.

Тенишев, князь, комиссар всемирной выставки в Париже, I, 155.

Терещенко, жандармский офицер, II, (расстрел рабочих на Ленских приисках) 112.

Терещенко, вдова киевского сахарозаводчика, I, 454.

Тернер, член Госуд. Совета, I, 434.

Тимашев, министр торговли, II, 193.

Тимирязев, мин. торг., I, 62, 194, 258; II, (назначение министром торговли) 95—97; (восстановление Гапоновских рабочих организаций) 152—155; (увольнение от должности мин. торговли) 155; 247, 281, (вторично назначение мин. торговли) 414—415; (раздача нефтяных земель) 416—418; (оставление поста министра) 419.

Толмачев, одесский градонач., II, 85, 383, (связь с Дубровиным; назначение градоначальником) 385; (деятельность в Одессе) 386; (увольнение) 387; (распоряжение государя) 389.

Толстой, Д., граф, министр внутренних дел, I, 26, 176, 212, 408, 418, 422; II, 409.

Толстой, Иван Иванович, граф, министр нар. просв., II, 13, (назначение и увольнение мин. нар. просвещ.) 91—93; (процентная норма) 260—261; 273, 278, 394, (проект отмены процентной нормы) 397.

Толстой, граф, I, 440.

Толстой, Лев Николаевич, I, 259, 362, 438, II, 43, (смерть Льва Николаевича) 432—433.

Трепов, Д. Ф., I, 2, 173—174, 178, 224, 275, (назначение петербургским генерал-губернатором) 282—283; (причины, вызвавшие назначение Трепова генерал.-губ.) 284; (создание искусственных рабочих депутаций) 285; (характеристика) 286—288; 289, 293, 302, 305, (назначение тов. мин. вн. д.) 318—319; 440, 442, (автономия университетов) 445—446; (образование союзов) 450; 451, 455, 457, 459; II, 9, 11, 12, 26, 31, 38, 43, 46, 47, (требование представителей прессы об удалении Трепова) 49; 55, 56, 58, 60, (назначение дворцовым комендантом) 62; (влияние на государя) 63—66; (причастность к погромной организации департ. полиции) 68; 70, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, (возражения против амнистии) 99; 108, 110, 132, 135, 139, 140, 145, 146, 148, 150, (признание необходимости принудительного отчуждения помещичьих земель) 157; 158, 164, 166, 171, (удерживание гр. Витте на посту председ. сов. мин.) 174; 196, 218, 236, 240, 243, (составление основных законов) 243—244; 253, 259, 267, 268, 274—276, 277, 288, (переговоры с кадетами об образовании министерства) 291; 292, 303, 305, (смерть) 358; 393, 477.

Трепов, член Гос. Совета, бывш. таврич. губерн., II, 164, (увольнение в отпуск) 439—441.

Троцкий (Бронштейн), председатель совета рабочих деп. Петербурга, II, 34.

Трубецкой, Е. Н., князь, профессор, II, (приглашение на пост мин. нар. просв.) 54—56; 81, 87, 91, 101—103, 133.

Трубецкой, П. Н., князь, московск. предводитель дворянства, I, (записка 26 предвод. дворянства) 320; II, 93, 133, 394.

Трубецкой, С. Н., князь, профес. московск. университета, I, (депутация земских и городских деятелей) 320; 445; II, 55, 133.

Трусевич, директор департамента полиции, II, (покушение на жизнь гр. Витте) 338; (ревизия киевского охранного отделения) 460.

Тыртов, адмирал, морской министр, I, 8, 81, 108, (назначение министром) 189—190.

Тышкевич, граф, II, (волнения в Польше) 130.

Тьери, французский экономист, I, 72—74.

Тьер, II, 198, 299.

Урусов, С. Д., князь, тов. мин. вн. д., I, 287, 288; II, 54, (назначение тов. мин. вн. д.) 56—57; (речь в Госуд. Думе об организации еврейских погромов департ. полиции) 69; 84, 85, 86, 87, 166, 343.

Урусов, князь, посол в Париже, I, 136, 214, 233.

Ухтомский, князь, издатель «Петербургских Ведомостей», I, 39, 40; II, 48.

Ушаков, рабочий экспедиции заготовления гос. бумаг, II, (воздействие на вел. кн. Николая Николаевича) 34—35; 78.

Фадеев, дир. деп. водян. и шосс. сообщ., II, 467.

Фадеев, Р. А., генерал, дядя гр. Витте, I, 24, 384.

Фальер, президент французской республики, II, 190, (свидание в Ревеле) 396; (свидание в Шербурге) 427.

Федоров, М. М., тов. мин. торговли, II, 96, (назначение упр. мин. торг.) 171; (уход с поста министра) 281.

Федоров, рабочий, II, (покушение на жизнь Витте) 347—349; 355.

Фердинанд, царь болгарский, II, 365, (провозглашение царем) 410—411; (приезд в Россию) 428.

Филиппов, Тертий Иванович, государственный контролер, I, (доклад о Кривошеине) 15; II, 467, 480.

Филипп, доктор, I, 215, (мистические сеансы) 220; (получение диплома доктора медицинской академии и чина действ. ст. совет.) 223—225; 389, 393; II, 229, 305.

Философов, государственный контролер, II, 95, 99, 102, 150, 170, 274, (увольнение с поста гос. контролера) 278; 413.

Фино, редактор французского журнала «Revue des Revues», II, 368.

Фишель, участник банкирского дома Мендельсона, II, 193, 195.

Фор, Феликс, президент французской республики, I, 68—69, (приезд в Петербург) 101—104.

Франц Иосиф, император австрийский, I, 63, (приезд в Петербург) 96.

Фредерикс, барон, министр двора, I, 93—94, 156, 157, 226—227, 231, 252, 282, 283, 285, 286, 289, 452; II, (справка о манифесте 17 октября 1905 г.) 6—7; 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, (переговоры с гр. Витте о манифесте 17 окт.) 30—32; 37, 41, 64, 99, 116, 277, 280, (предложение графу Витте не возвращаться в Россию) 302—303; 333, 338, 359—360, 404, 418.

Фрезе, командующий войсками виленского округа, I, 451.

Фридрих - Вильгельм, наследник германск. престола, II, 445.

Фриш, Э. Ф., предс. Госуд. Совета, I, 171, 269, 304, 434; II, 101, 147, 211, 223, (назначение вице председат. обновленного Гос. Совета,) 280; (смерть) 355.

Фулон, генерал, петербург. градоначальник, I, 277, 278, 279, 280, 282.

Харитонов, государственный контролер, I, 304; II, 235, (назначение государственным контролером) 370.

Хвостов, А. Н., нижегородский губернатор, II, (кандидатура на пост мин. вн. д.) 457—459.

Хвостов, А. А., сенатор, I, 440.

Хилков, князь министр путей сообщения, I, 14, (назначение министром) 18 — 21; 273, 450, 455;

II, 9, (увольнение с поста мин.) 97.
Хлудов, II, 403.
Ходский, профессор, II, 457.
Хомяков, Н. А., председатель Гос. Думы, II, 90, 91.
Хомяков, А. Н., писатель, I, 410.
Христиан, король датский, I, 64, (беседа о вел. кн. Михаиле Александровиче) 154; II.

Чакрабон, принц сиамский, II, 445.
Чан-Ин-Хуан, китайский сановник, I, (получение подарка за принятие соглашения о Порт-Артуре) 115; 118.
Чарыков, посол в Константинополе II, (назначение и увольнение) 423.
Чапский, граф, II, 130.
Черевин, генерал-адъютант, I, (отмена дворцовой охраны) 31—32; II, 63.
Черняев, генерал, I, 384; II, 403.
Четвериков, I, 454.
Чирский, советн. германск. посольства в Петербурге, I, 111.
Числова, танцовщица, I, 313.
Чихачев, Николай Матвеевич, морской мин., I, 7—8, 36, (увольнение от должности министра) 188 — 190; 437, 440; II, 8, 26.
Чичерин, Борис Николаевич, профессор, II, 211 — 212, 468.

Шаевич, доктор философии, I, (Зубатовские организации в Одессе) 179.
Шарапов, II, 167, 309.
Шапиров, корпусный врач пограничной стражи, II, 164, 170.
Шаufус, министр пут. сообщ., II, 172, (назначение министром) 280 — 281; (увольнение) 442.
Шахматов, А. А., академик, I, 450.
Шванебах, Министр Земледелия, I, 446, 451, 454, II, 82, 84, 98, 99, (проект наделения землей в Сибири солдат действующей армии) 119—120; 160, 166, 180, (назначение государственным контролером) 278; (назначение и увольнение) 364—365; (интриги против гр. Витте) 366—367; 410.
Шварц, мин. нар. просвещ., II, (назначение министром) 393; (рекомендация Лукьянова в обер-прокуроры) 423; (увольнение) 433.
Шевич, член Гос. Совета, II, (рекомендация кн. Мещерского) 475.
Шелькинг, публицист, II, 368.
Шен, германский посол в России, II, 189, 190.
Шервашидзе, князь, состоявший при императрице Марии Федоровне, I, 235, 322.
Шереметьев, генерал-от-кавалерии, главноначальствующий на Кавказе, I, 85.
Шереметьев, С. Д., граф, обер-егермейстер, I, (пропажа дневника Сипягина) 166—167; 347, 449; II, 74, 251, 394.
Шереметьев, граф, флигель-адъютант, I, 166.
Шидловский, член Гос. Совета, I, (комиссия по рабочему вопросу) 301—302.
Шипов, Д. Н., председат. моск. губ. з. у., I, 450; II, 54, 81, 85, 87, 95, 101 — 103, 133, 178.
Шипов, Ив. П., мин. финансов, I, 323, 330, 399, 441—442; II, 82, (выдача незаконн. ссуды по требованию импер.) 90; 100, 167, 180, (заем 1906 г.) 183—184; 197, 199, (увольнение с поста министра) 277; (предупреждение гр. Витте о готовящемся покушении) 343; (назначение и увольнение с поста мин. торговли) 413—414; (раздача нефтяных земель) 416.
Ширинский-Шахматов, кн., обер-прок. синода, I, (расположение государя) 222; 300; II, (назначение обер-прок.) 281; (увольнение) 293; 423.
Шифф, глава еврейского финансового мира в Америке, I, (еврейская депутация у гр. Витте в Петербурге) 360.
Шишкин, тов. министра иностранных дел, I, 21, 64, 81—83.
Шмидт, лейтенант, II, (расстрел) 114.
Штраус, I, (еврейская депутация у гр. Витте в Портсмуте) 360.
Штюрмер, II, 85, 167.
Шувалова, графиня, II, 428.
Шувалов, Павел Андреевич, граф, посол в Берлине, I, 13, 87—88, 90—91, 248.
Шувалов, Петр Андреевич, граф, шеф жандармов, II, (тайное наблюдение за гр. Милютиным) 343.

Щегловитов, мин. юстиции, II, 99, (назначение тов. мин. юст.) 150; 242, 256, (назначение министром) 279; (недовольство государя

сенатором Варвариным) 320; 322, (покушение на жизнь гр. Витте) 339—340; 380, 393, 435, (прислужничество перед Столыпиным) 444; 450.

Щербатов, князь, I, 440, 456.

Щербачев, сенатор, II, 149.

Щербино, земский статистик Воронежск. губ., I, 438.

Эдуард VII, король Англии, I, 4, 339, 371—372, 395; II, 371, (приезд в Ревель) 395; (посещение Англии Николаем II) 427; (смерть короля) 428.

Элеонора, царица болгарская, II, 428.

Эмир бухарский, I, (визит к Ли-Хун-Чану) 50—51; II, 432, 445.

Эренталь, барон, австро-венгерский посол в Петербурге, II, (анексия Боснии и Герцеговины) 365—368; 410.

Эйленбург, граф, посол Германии в Вене, I, 375—376, 377, 378, (особая близость гр. Эйленбурга к императору Вильгельму II) 382—383; II, 188, 196.

Эйленбург, граф, министр двора Вильгельма II, I, 376, (экстраординарные награды гр. Витте) 381—382.

Югович, инженер, строитель Восточно-Китайской ж. д., II, 403.

Юзефович, киевский цензор, I, 292—293, 417; II, 368.

Ямагата, японский госуд. деятель, I), 346.

Янжул, академик, II, (отказ от поста мин. торговли) 155.

Ячевский, правитель канцелярии варшавского ген.-губ., II, 132.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Цена 2 р. 75 к.